

РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

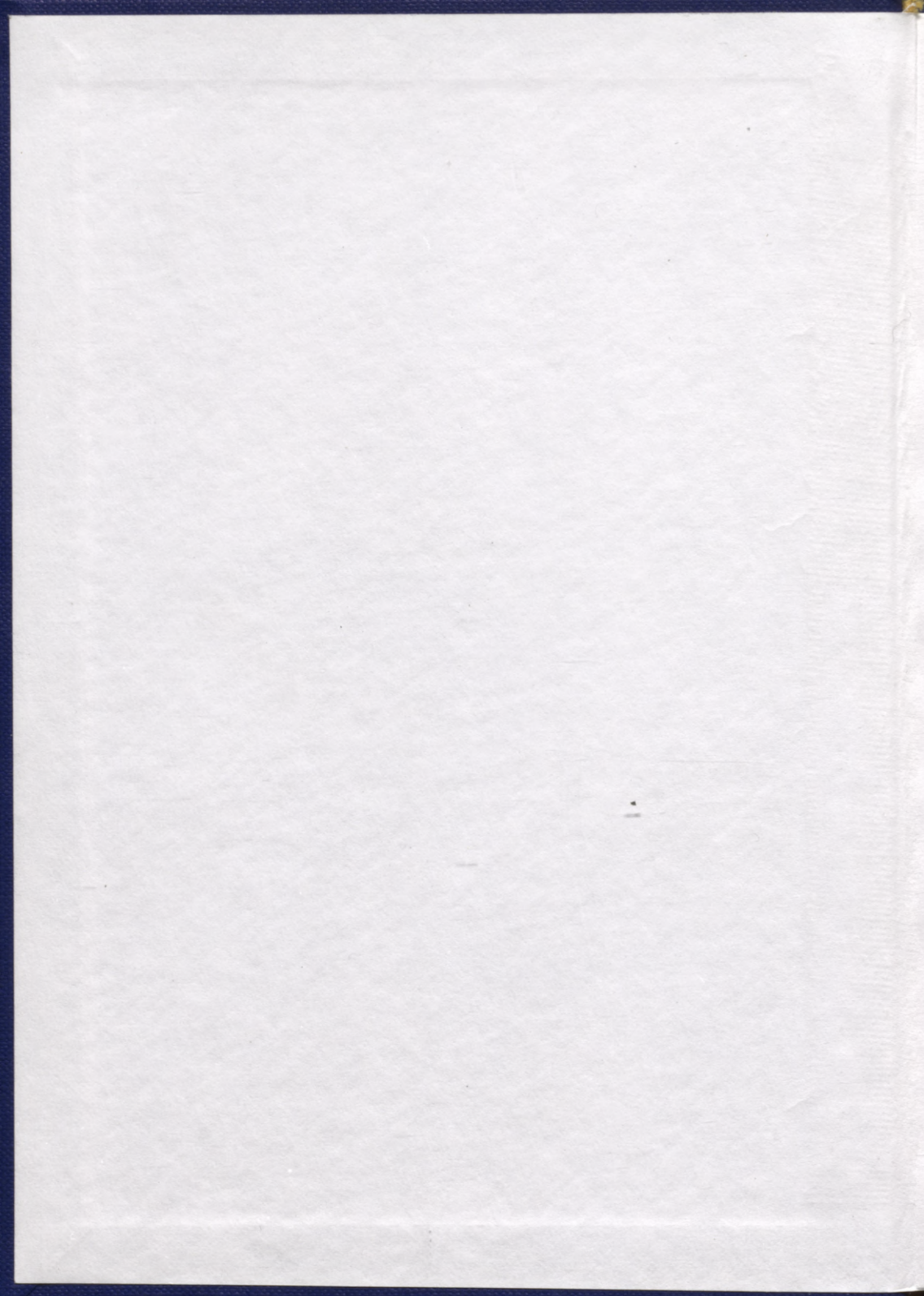
РАЙНИС
И ЕГО
БРАТЯ

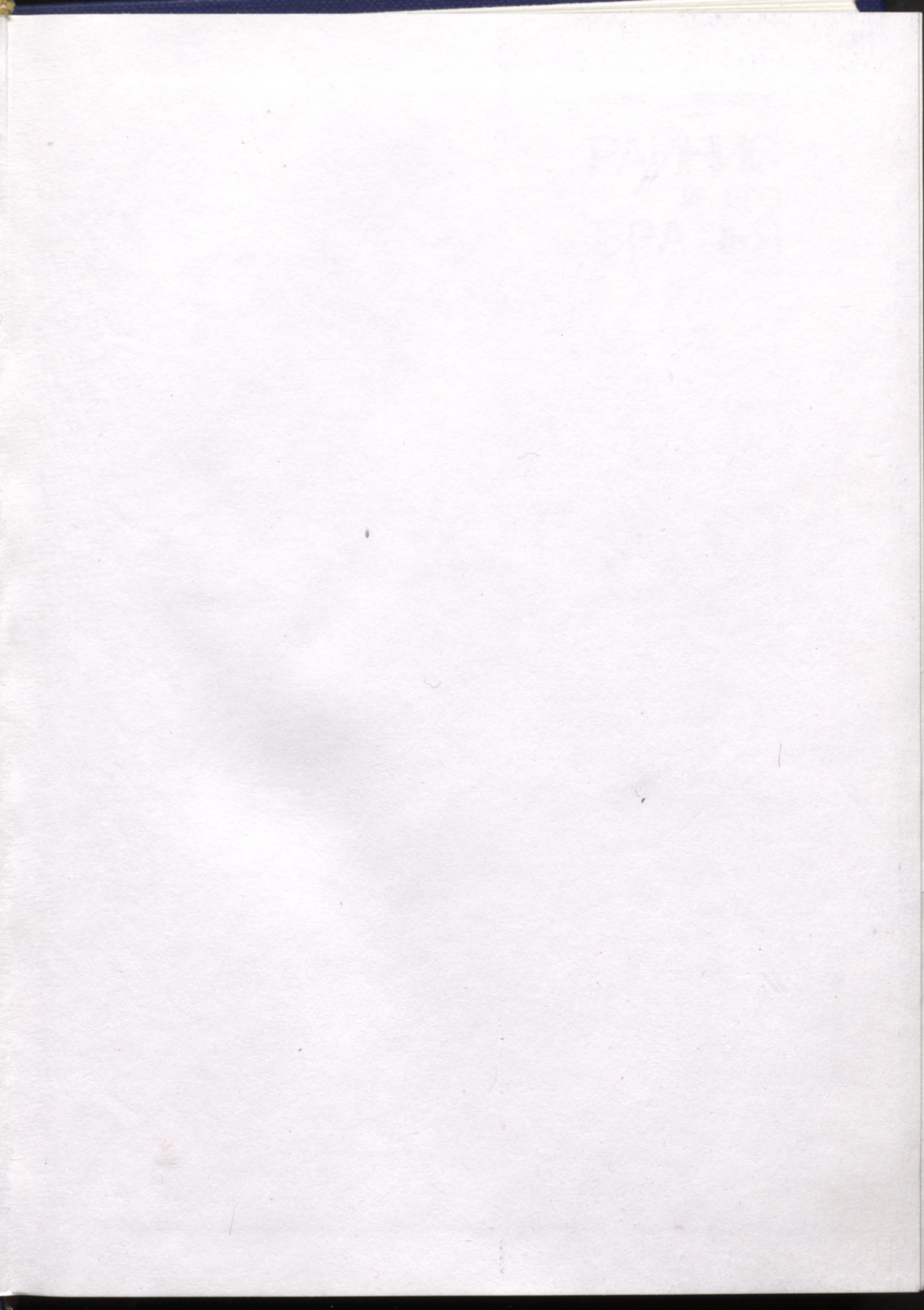
РАЙНИС
И ЕГО
БРАТЯ

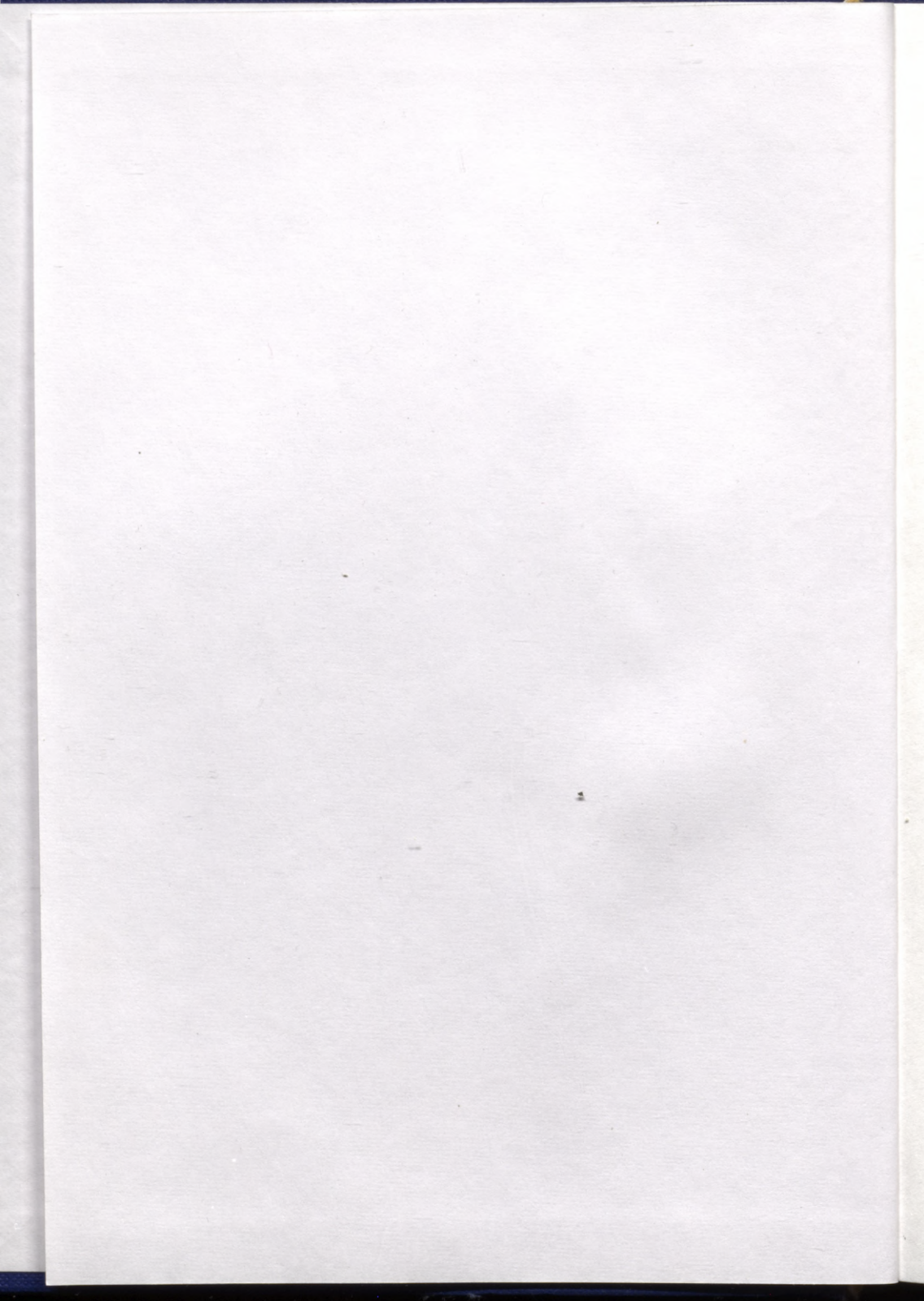


РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

РАЙНИС
И ЕГО
БРАТЬЯ
СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ
ОДНОГО
ПОЭТА







РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

РАЙНИС
И ЕГО
БРАТЯ

РАЙНИС
И ЕГО
БРАТЯ

FORM 100-100-100

PAINTING

N. B. O.

REPAIR

К 2000-3
147

К
8

РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

РАЙНИС И ЕГО БРАТЯ

СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ
ОДНОГО
ПОЭТА



© Роялд Добровенский
© Издательство Эксмо, 2000

ISBN 9884 — 502 — 75 — 2

UDK 821.161.1 — 31 + 82.0:821.174
Д 56

Latvijas Nacionālā
BIBLIOTĒKA

0300030888

Художник ИЛМАРС БЛУМБЕРГС



KULTŪRKAPITĀLA FONDS

Книга издается при поддержке
Фонда культуркапитала Латвии

РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

Д 56 РАЙНИС И ЕГО БРАТЬЯ. Семь жизней одного поэта. — Р.: «Karogs»,
2000, 672 стр.

«Райнис и его братья» — роман русского писателя о латышском поэте и мыслителе. Для читателя книга эта — шанс открыть для себя новую страну. Сказанное относится не только к тем, кто доселе ничего не знал о Латвии, но и к людям, прожившим в ней многие годы. Роман-коллаж — словно мозаичная картина, включившая в себя сотни документальных свидетельств, стихов и протоколов, дневниковых записей и писем. При всем том перед нами именно роман — история личности, увлекательная и трагичная, история любви и дружбы, неслыханного предательства и великого самопожертвования. А спор поэта Райниса и его друга юности П.Стучки, — одного из ближайших соратников В.И.Ленина, — выводит нас далеко за рамки одной судьбы, одной страны и одной эпохи, к самым жгучим проблемам современного мира.

Автор книги, Роальд Добровенский, известен также своими биографическими романами о русских композиторах Бородине и Мусоргском, изданными в Риге в середине восьмидесятых годов.

ISBN 9984 — 505 — 72 — x

© Роальд Добровенский,
© Илмарс Блумбергс, 2000

Сотворивший роман «Райник и его братья» писался (в частую, еще Улану, эмигрантская) более десяти лет. **Посвящается ВЕЛТЕ КАЛТЫНЕ** над ней при переводе. Книга затевалась при одной, в замыслах при другом опыте, в том же городе, но уже в другом государстве. Да и соотношения наизрядно.

На самом деле с 1987 года я писал и делал что-либо над рукописью. Если мне при этом не армяны и немцы, почти столько же — на то, чтобы в какой-нибудь на русском язык трагедии Райниса «Индрали и Арле» и «История двух братьев». Говорилось увидеть райнисовские леса, пройти в горах моего детства в Латвии, России, Швейцарии, Канаде, чтобы мне не было прожить, — занятие потрудней, пожалуй, чем — да и не обязательно писать. Книга росла и росла себе понемногу, с тем же успехом в себя что-то от происходящего возле.

Жизнь и оправдание бы так роман-коллаж. Коллаж — потому что сотни в шесте писем, дневниковых записей, протоколов, воспоминаний, справок, цитат, фотоматериал, из которого настояла вещь сложна. И тогда и решилось, чтобы читатель, решивший почитать, а из чего оно состоит? — индурливал всякой раз нагуру, подлинник, а если бы он решил заглянуть за занавеску, поинтересоваться — что там, — то и в подкладке надо бы документ и переписка. Кроме про-ого, без тактично было бы — чтобы заведователю, рассказывая о латвийском лете, отараться переписать что-то, говорить о своем лете там, где индурливал восхваление, и там и бытия. Давно стало привыкаться к тому и другим персонажам Седьмого и что-то мелочная вещь, год требуется.

Так всякий индурливал бы исследователя (в роман-биография — может и исследованно), берясь за работу, и не знал, куда она приведет. Сложнее всего до косяной судьбы это меня лично — открытие. Обнаружилось вещь, которая о себе не знает, там Райник, которые были индурливал для его индурливал, но, ведь тоже до конца себя не улади, пока не придет его-то, кому бы индурливал и взглянуть на нас, что-то было, что захочет лучше познать себя — меня нас.

Полдюжностать, чтобы индурливал бы не переключался с платиной, но какой-либо другой язык. Индурливал на русском и документах индурливал вперевод. Переводы в индурливал и немцы — автору индурливал, где не указано иначе.

Library of Congress

WELLESLEY

0300030822

Department of the Interior

От автора

Биографический роман «Райнис и его братья» писался (а частью, если угодно, *монтировался*) более десяти лет. И каких лет! Мир в очередной раз перевернулся. Книга затевалась при одном, а завершалась при другом строе, в том же городе, но уже в другом государстве. Да и тысячелетие на исходе.

Не скажу, что с 1987 года я только и делал что сидел над рукописью. Года два-три ушли на архивы и библиотеки, почти столько же — на то, чтобы заново перевести на русский язык трагедии Райниса «Индулис и Ария» и «Иосиф и его братья». Понадобилось увидеть райнисовские места, пройти дорогами моего героя в Латвии, России, Швейцарии. Наконец, годы эти нужно было прожить, — занятие потрудней, пожалуй, чем исторические романы писать. Книга росла и росла себе понемногу, с неизбежностью вбирая в себя что-то от происходящего вовне.

Жанр я определил бы так: роман-коллаж. Коллаж — потому что сотни и тысячи писем, дневниковых записей, протоколов, воспоминаний, справок, стихов есть тот материал, из которого настоящая вещь сделана. Я того и добивался, чтобы читатель, решивший пощупать: а из чего оно сшито? — обнаруживал всякий раз натуру, подлинник, а если бы он решил заглянуть за изнанку, поинтересоваться — что там, — то и в подкладке нашел бы документ и первоисток. Кроме прочего, бестактно было бы русскому литератору, рассказывая о латышском поэте, стараться перешеголять его, говорить вместо него там, где им самим все схвачено: и дни и события. Даю слово моему герою и другим персонажам без ревности и промедления везде, где требуется.

Как всякий добросовестный исследователь (а роман-биография — всегда исследование), берясь за работу, я не знал, куда она приведет. Обнажившаяся до корней судьба для меня лично — открытие. Обнаружились вещи, которых о себе не мог знать сам Райнис, которые были невидимы для его современников. Мы ведь тоже до конца себя не увидим, пока не придет кто-то, кому заблагорассудится взглянуть на нас со стороны, кто захочет лучше понять себя — через нас.

Большинство цитируемых текстов никогда не переводились с латышского на какой-либо другой язык. Некоторые из писем и документов публикуются впервые. Переводы с латышского и немецкого — автора везде, где не указано иначе.

И последнее.

Книга эта была бы невозможна без труда — на протяжении столетия! — множества талантливых и самоотверженных людей: дешифровщиков райнисовских рукописей, музейных хранителей и библиографов, текстологов и комментаторов, издателей, литературоведов, мемуаристов как в Риге, так и в латышском зарубежье. Спасибо им, живым и ушедшим, всем вкупе и каждому персонально.

ПРОЛОГ

Мир был беспределен.

Плоская, ничем не ограниченная земля уходила из одной бесконечности в другую, теряясь в тумане чудес, миражей, в переплетениях сполохов, радуг, вихрей.

Границы, тоже зыбкие, наблюдались разве в христианском мире. А там, за морями и пустынями, за турками, маврами, эфиопами, пигмеями; там, за капищами языческими, за истуканами, чьи темные рожи испачканы свежедымящейся человеческой кровью, там... что? — никто не знал.

Незнание — сплошь обещание, и не знаешь — в том и прелесть — что именно обещано. Ища, глядя вперед и вверх зачарованно, хоть и в пропасть ступишь. Знание крест-накрест перечеркивает тысячи возможностей, оставляет одну. Такова узаконенная супружеская ласка: безопасная, надежная, пресная, — против шалой влюбленности. Брось! Не люби ее, плюнь, отрекись, понял ведь чем рискуешь? — всем! И пусть. Предчувствие погони, затеваемой — мужем, отцом, братом? Жестокой погони, бешеной, копытами по тебе... а вдруг и по ней тоже? Спешка, ночь, оборванный вскриком поцелуй, обрубленный ударом, стоном, хрипом. Ну что, никогда больше?

Нет, чего уж там: нужна другая кровь, спокойная, мирная, рыба, чтобы желать только дозволенного и только в умеренных дозах. Эти, перекрещивающие свою отрыжку и свой раздирающий зевок на ночь — разве они живут?!

И думал, крестя рот, раздернутый в неудержимой, сладкой, честной зевоте, все о том же: Боже милостивый, всеблагий, не дай мне сделаться ни охотником ни дичью, ни судьей ни преступником, ни палачом ни жертвой. Эти, шныряющие из конца в конец, с волчьей клыкастой ухмылкой, с кривыми ногами наездников, разучившихся ходить, они и ссать-то, по слухам, наострились не слезая с коня; эти, просовывающие в женскую плоть неопрятный отросток так же лихо и равнодушно, как клинок под ребро, не знающие твердой почвы, не помнящие, что есть на земле постоянство, — разве ж они живут?!

Мир был бесконечен не токмо вширь, но и ввысь, и вглубь. Чудеса дыбились над головой: там, возле звезд, в шуршанье и шелесте незримых ангельских крыл трепетала музыка. Страхи, мерзости, по-змеиному скользкие, копошились внизу, заполонив до последних бездн преисподнюю.

Леший водил: по лесу да в трясины; морские чудища проглатывали корабли; водяной топил, домовый душил.

Ангел указывал путь; бес подставлял подножку, нырял в твою же нутро и оттуда щекотал, похихикивал.

Новость насущна как хлеб, — изголодавшись, за нее и готовы платить не торгуясь.

Странник, пилигрим, шут, пройдоха, школяр, бродяга. Вечно ненавидимый, вечно желанный. Разносчик новостей и чесотки, песенок, сплетен, соблазнов, разрушитель всего, что непрочно, а прочно-то что?

Муж гонит в дверь, жена привечает в окно. Жена выгонит, — а дочка наутро ходит с необъяснимой улыбкой.

Художник больших дорог, враль, попрошайка, а может, и вор? Злая карикатура на рыцаря. Петлистый заячий след — его последний рисунок; и зарыт без креста, как собака.

Странник странствует, странны и речи и очи его.

Странник странствует, из страны в страну, рыцарь — рыщет.

Давно ли на дорогах Лотарингии, Венгрии, Сербии... а потом и в Константинополе, а там и в Земле Обетованной видели впервые всадника с красным крестом на правом плече? Крестonosца.

Видели при взятии Никеи, Антиохии, Эдессы. Сколько молитв вознесено. Сколько перерезано глоток, вопящих, выстанывающих, вываивающих напоследок: «Алла, Алла-а-а!» — и дрогнули, не вынесли последнего напора сельджуки, июля 15 дня 1099 года пал Иерусалим, и слезы брызнули из глаз, узревших центр мира, Голгофу, и подломились колени освободителей Гроба Господня, через столько смертей и мук, через наваждения адские преступивших и веривших непреложно, что вожделенный этот миг смоеет с них как губкой коросту грехов и пороков и голубиной, новорожденной чистотой оросит заскорузлые души.

Великий, и впрямь очистительный миг! А дальше что? А дальше — сильнее зачесались шрамы, заныли свежие раны, и примолкшие было страсти опять треплют душу, и память, подлая, кровоточит.

Монахи, обосновавшиеся на Святой земле еще лет за тридцать до взятия Иерусалима, когда итальянские купцы из Амальфи построили

здесь монастырь, лечебницу для пилигримов и посвященную святому Иоанну часовню, хлопочут, из сил выбиваясь. Но не всех им дано исцелить, да и не все раны видимы оком, телесны.

Иоанниты, называют этих монахов, *госпитальеры*. Число их растет. К *серой братии*, ухаживающей за больными, добавились пресвитеры, этих дело — исповедовать и отпускать грехи, причащать умирающих. И раненые и врачующие нуждаются в защите — от зыркающих глазами в ночи сарацинов, от врагов, заведенных среди христиан за годы походов, от мародеров. И вот появляются меж госпитальерами рыцари, исцеляющие только мечом, зато разом от всех болезней, прошлых и будущих.

В 1113 году иоанниты получили от папы Пасхалия II особый устав, к 1118 вполне сложился первый духовный рыцарский орден. Иоаннитов узнавали по черному плащу с белым крестом.

Через год возник могучий, суровый орден *тамплиеров* — храмовников. Название происходило от их первой резиденции: послужил ему дворец, воздвигнутый на том самом месте, где стоял некогда храм царя Соломона.

Эти носили белую мантию с красным осьмиугольным крестом.

В 1144 году турки отвоевали Эдессу. Последовал второй крестовый поход, окончившийся срамом неоспоримых, сплошных неудач. Еще миновало лет сорок — и египетский султан Салах-ад-дин захватил опять Иерусалим; этого уж никак нельзя было перенести, и новый, третий крестовый поход возглавили могущественнейшие христианские государи: император Священной Римской империи германский король Фридрих I Барбаросса, Филипп II Август Французский, английский король Ричард по прозванию Львиное Сердце.

Что скажут нам эти имена? Смутно напомним кому-то детство? Татьяна Васильевна... — знаю, вашу учительницу истории звали по-другому, и не так, иначе, заговаривалась, чуть не пела она при рассказе. И ваша не привставала в решающие моменты на цыпочки, а моя — привставала, чтобы уж наверняка и навеки, в самую тьму наших безграмотных душ заложить то обстоятельство, что Фридрих Первый Барбаросса был рыжебород, отсюда и прозвание: барба — борода, росса — красная, — и утонул в 1190 году при переправе через реку Салеф в Киликии (то-то было ужасу! шуму! переполоху!).

Ричард Львиное Сердце разбил султана Салах-ад-дина, но на обратном пути был схвачен людьми Леопольда Австрийского, которого

имел несчастье смертельно оскорбить при осаде Акки в Палестине. И Ричард, со своим львиным сердцем, томился в заточении года три, пока не был выкуплен за 150 000 серебряных марок, — я мог что-то перепутать, но едва ли.

При осаде той самой Акки, крепости на берегу Средиземного моря, немецкие купцы из Любека и Бремена тоже устроили палатку для ухода за ранеными. Палатка затем, ввиду обилия страждущих, обратилась в госпиталь. Госпиталь же дал начало новому ордену, основанному «для оказания помощи больным и бедным паломникам германского происхождения».

Поначалу *Тевтонский* или *Немецкий* орден, *Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum*, провозглашал одни лишь цели милосердия, и первый его статус заимствован у монахов-иоаннитов. Но в разгар крестового похода, в ожесточении непрерывных схваток орден быстро обретал характер воинственный. Уже к 1189 году ему понадобился новый устав. За образец были взяты жесткие правила тамплиеров.

О чем говорили там, при осаде Акки, не желавшей сдаваться? Беспроглядными южными ночами, в темноте или у скупого огня — что должно было цениться в тягучие часы ожидания? Балагурство? Да, и любовные враки, похвальбы и похабство; но этот товар приедается быстро. А вот в особенной цене должны были быть замысловатые повести о приключениях, о неведомых и далеких странах, Боже упаси, не южных и не восточных: обрыдли сладость и терпкость этих мест, душу мутит от чужеродного знойного неба, и одно лишь напоминание о прохладных полноводных реках, об осенних облетающих лесах, золотистых, багряных — точно лед к горячему лбу.

Потом-то — да... потом, через годы, кто выживет, один из пятерых, кто достигнет своей страны, тот вспомнит весь блеск Востока, изумится и ему, и себе, ахнет над каждой минутой, забыв лихорадку, склоки, тогдашние жары и жажды, а вытащив из памяти азарт битв, виденные или промотанные сокровища, миндалевидные глаза отнятых у врага, бессловесных красавиц, сладостные их, лестные для мужского самолюбия стоны.

Да, но теперь-то они хотят слышать про Север, про льды, выюги. И торговые люди из Любека и Бремена рассказывают им, слышите, про славный город Висбю; берег далекого холодного моря возникает средь ночи. Кто-то обронил имя реки: *Дюна*, — широкой, полноводной реки с большими зелеными островами; из морского залива она позволяет

проникнуть в глубину страны, населенной язычниками, простодушными и жестокими как дети.

Любекские и бременские купцы знают и те страны и эти. Должно быть спорят, кто первый попал в страну ливов: недавно, нет, давно, лет тридцать назад буря занесла немецкий корабль в устье той самой Дюны впервые; корабль был из Бремена. «Буря-то бурей, а мы там и раньше бывали!» — выпаливает пятнадцатилетний мальчишка из Любека, и все смеются: он-то, ясное дело, где только не бывал! Юнец, насупившись, запоминает лица смеющихся. Ни одному, ни одному из них он никогда не простит! И смех обрывается. Мальчик не сам по себе попал из Любека в Акку: чей он? Кто за ним стоит? Не всякий может позволить себе смеяться где попало.

Грубое время. Но всегда находятся люди, которым это самое, наличное время как раз впору. Быстро, легко привыкали к запаху и виду крови, человекоубийству. Рыцари постигали это ремесло с пеленок, но и вчерашний крестьянин протыкал людей деловито, умело, и превратив врага в неживой предмет, снимал с него (если было что снимать) свои трофеи с хозяйственной сноровкой. Притом в любой момент он мог поменяться с поверженным турком или египтянином местами — и тоже не ждал бы сострадания.

Стервятники, тяжелые от сытости, тучей кружили над Средиземноморьем. Проголодавшись, падали сверху, рвали когтями и клювом привядшую плоть, равнодушно терпя соседство шакалов и грызунов: чего уж там... всем хватит, — и не видели никакого различия между мясом христиан, язычников, мусульман, иудеев, между всем тем, что говорило, бахвалилось еще вчера по-французски, по-немецки и по-итальянски или по-арабски призывало пророка.

Божьим именем осенялись и двигались громадные полчища, и с надзвездных высей, может быть, открывался смысл и ритм в приливах-отливах пестрой человеческой массы, в столкновениях и откатах, оставлявших на покинутом месте трупы, недвижимые, неповоротливые как мешки с тряпьем.

Известно, чем еще досаждают осады. Пища грубая, скудная. Даже свежий бриз не справляется с вонью. Армия, месяц за месяцем изнывающая у стен крепости, — это всегда очень много дерьма.

Пробивая любое зловоние, светом невидимым возносится к небу молитва. Чем грязнее, черствей дни и ночи, тем неотступнее хотение чистоты. Не в каждой душе оно — не в каждой второй и, быть может, не в каждой десятой. Не в диковинку беспричинная злоба, крысиная

жадность. Погоня за добычей, за сладким куском, за бесчувственной механической лаской походной шлюхи...

Но есть умы и души, которые на дешевую приманку не купишь. Фанатики веры. Мудрые мужи, видящие, что Западу не обойтись без Востока. Полководцы, хладнокровно прикидывающие свои и чужие потери. Мечтатели, даже во сне бормочущие о священном Граале. Есть полоумные. Есть одержимые распутством и есть аскеты, давшие обет воздержания и исполняющие его, к изумлению разудалых товарищей. Есть неподкупные воины Христа, есть пресвитеры и монахи, не устающие отмаливать свои и чужие грехи.

Сомкнулись и переплелись в смертельных бойцовских объятиях две отдельные ветви рода человеческого; этим объятиям никогда уже до конца не разомкнуться, и Бог, каким бы именем ни окликали его снизу охрипшие глотки, не непричастен, кажется, к происходящему.

Духовная непререкаемая власть соединялась в ордене с законами воинского подчинения. Вдаль уходил этот путь, в потемки грядущего, и был он забран решеткой, возвышающейся от земли до небес. Смотри, не вздумай шагнуть вбок. И смерть твоя не будет легка, и за гробом отступнику обещаны муки, для которых не достанет воображения у нас, грешных.

Именем любви множилось и множилось невиданное ожесточение. Ежедневное палачество освящалось. Святой провозглашалась ненависть к иноверцам, которую в человеке так легко разжечь и так трудно потушить или просто направить в другую сторону. Священной именовалась вся целиком борьба последних ста лет, все ее перипетии и атрибуты. Ненависть называла себя залогом и воплощением христианской любви. Так самовлюбленная чума могла бы сравнить свои бубоны и язвы с луговыми цветами.

Перемены, происшедшие в христианском и мусульманском мирах к концу XII столетия, перевернули все и внутри людей. Из их лиц смотрели не прежние глаза. Общество сбрасывало с себя вчерашние обычаи и законы, как змея сбрасывает выползень — старую кожу. Многие не догадывались еще, что время их выпотрошило и подменило.

Из действующих лиц наступавшего будущего заметен родственник архиепископа Бременского Альберт. В 1189 году он упоминается как

настоятель кафедрального собора в том же Бремене. Он из рыцарского рода Аппельдерн.

В Риме в то же время выростала, наливалась силой фигура, от которой в будущее пала почти тысячелетняя, густая тень: граф Лотарио ди Сеньи. Граф изучал теологию в Париже и в Болонье. В разгар третьего крестового похода он уже кардинал, ему в это время двадцать девять лет.

Два упомянутые молодых человека встретятся, хотя и не сразу. Уцелевшим крестоносцам надобно прежде возвратиться из Палестины и Сирии, несколько насильственных и естественных смертей должны произойти, дабы расчистить дорогу тому и другому.

Умрет папа римский Клементий III, и синклит кардиналов изберет его преемника. В январе 1198 года начнется понтификат папы Иннокентия III, мирское имя которого, граф Лотарио ди Сеньи, окажется с тех пор погребено и забыто.

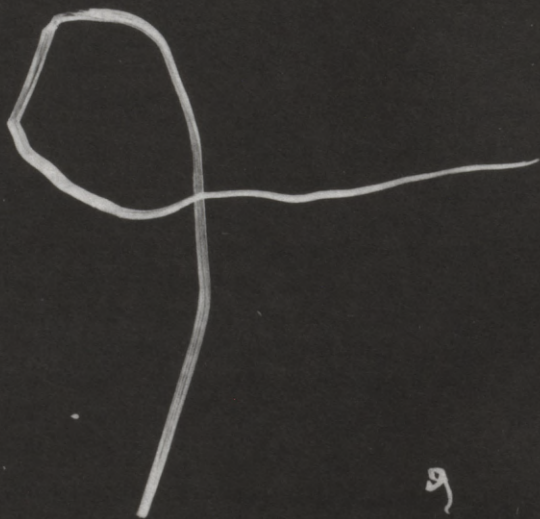
Поприще для упомянутого Альберта из Бремена готовилось Провидением и людьми вдалеке от папского престола — в Ливонии, о которой любили потолковать немецкие купцы и где-нибудь у себя, в Саксонии, и на острове Готланд, и в дальних опасных путешествиях: в Сирии, Палестине.

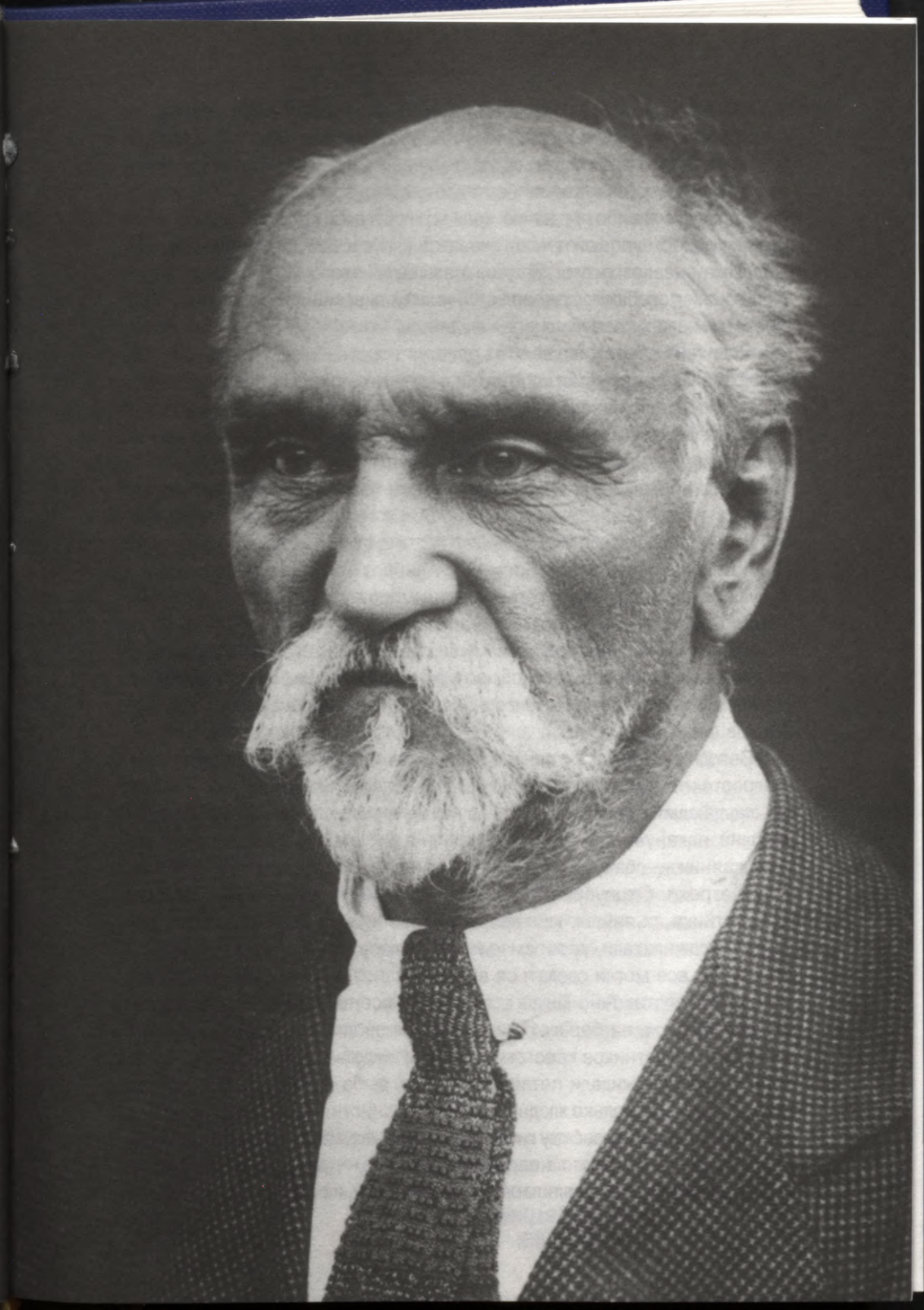
Устье реки Дюны было входом в целую страну, за которой простирались земли множества племен и народов: княжества, укрепленные города, тайные лесные укрытия, разбойничьи логова, языческие капища, православные храмы. Воинственная Литва, Полоцк, Новгород, Псков... Торговые пути, проложенные здесь издревле, время от времени зарастали забвением, глохли, потом возникали вновь — не точь-в-точь там же, где прежде, — рядом или поодаль, но возобновлялись непременно, ведя от Севера к Югу. Неистребимые свидетельства того, что части человечества, разъятые неведомо когда, тянутся друг к другу, будто желая срастись.

Первый католический миссионер в Ливонии, монах Мейнхард, успел, заручившись согласием князя Полоцкого, коему ливы платили дань, построить каменный храм верстах в тридцати от устья Дюны; успел крестить местных язычников и пережить их отпадение от веры. Архиепископ Бременский, сознавая всю важность задачи, за которую взялся Мейнхард, возвел его в епископский сан.

Умер Мейнхард в 1196 году. Бертольд, прибывший ему на смену, был встречен ливами враждебно. Пришлось покинуть негостеприимный край

1865 - 1929





в немалой спешке. Бертольд кинулся в Рим за подмогой. В 1198 году он вернулся, уже не один, а с войском, которое тут же и занялось своим прямым делом: стало драться. И в первой же битве Бертольду... «не повезло», хотел сказать я, но какое уж тут везенье или невезенье: смерть ждала его. По преданию, конь его испугался какого-то внезапного шума и понес; суровый прелат оказался вдруг в самой гуще язычников. Лив Имаут заколол его. (Другие называют этого Имаута *Имантом*). Соратники погибшего озверели. Они жгли ливские дома, вытапывали посеы, гнали и травили ливов как дичь.

Язычники, пережившие этот приступ ярости, были приведены к покорности. Приняли христианство, иные — не в первый раз. Поклялись платить церковный налог. Но стоило отбыть военным отрядам, как эти упрямцы бросились в Даугаву (местное название реки, которую немцы именовали не иначе как *Дюна*) — смывать с себя следы крещения. Свои, все видевшие боги должны были понять и простить.

...Выехав из родного Бремена, Альберт направился не к своей будущей пастве, а ко двору германского императора, оттуда — к датскому королю.

Папа римский поддерживал Альберта с первых его шагов. Иннокентий III объявил крестовый поход против язычников-ливов и их ближайших соседей. Всем, отправлявшимся в Ливонию, гарантировалось отпущение грехов.

Сегодня не каждому внятно это словосочетание. Грех греху рознь. Подросток, в полусне предавшийся рукоблудию и наутро, красный от стыда, дающий себе слово, что это не повторится, и головорез, прикончивший накануне безвинного встречного и вовсе не помышляющий о раскаянии, — оба грешники. Всем до единого крестоносцам отпускались в с е грехи. Отцеубийцы, изверги-насилыники, мошенники, пираты, развратники, пьяницы, клятвопреступники, двоеженцы, осквернители могил, поджигатели, кровосмесители, шулеры, разбойники с большой дороги, — все могли сделаться вновь незапятнанными как младенцы: для этого достаточно было с весны до осени побыть с епископом Альбертом там, на берегах широкой, полноводной Дюны. О, конечно, каждый из участников крестового похода рисковал жизнью. Но многих и на родине поджидали петля, колесо или дыба. И затем, трудно себе представить, насколько хладнокровно большинство живущих относилось тогда к грозившей отовсюду гибели. Смерть была, можно сказать, нормой, продолжающаяся долго невредимая жизнь — редкостью. Трусость извинительной представлялась разве в холопах, но и холоп наказывался

за ее проявления преобольно. В бессмертии души сомневалось не больше народу, чем теперь в том, что земля — шар. Ценой краткой земной жизни обрести жизнь вечную? «Какой дурак откажется от столь выгодной сделки?» — как заметил один из купцов, плывших к берегам Ливонии вместе с Альбертом. Увечья страшили более, но тоже не чрезмерно. Увечье, позволявшее жить и действовать самостоятельно, не унижало мужчину, а скорей украшало в глазах детей, других мужчин, женщин. Боевые шрамы были в цене и даже на противника иной раз действовали отрезвляюще. Искалеченный непоправимо — исчезал с лица земли почти так же незамедлительно, как мертвец. Кто в состоянии был хотя бы просить милостыню, мог и выжить... В могилу как будто никто не спешил. Могилы никто не страшился. Человек терпел свое тело, вместилище кишок и пороков, соблазнов и хворей, но поглядывал на него как бы извне: душа его, как бы это сказать, издала и сверху наблюдала его, покачивала головой (понимаю, это странно звучит: какая же у души может быть голова? Но жест именно тот: покачивала...) — отчужденно, осуждающе, — мол, долго мне еще с тобой канителиться?

В 1200, последнем году истекавшего столетия епископ Альберт во главе целого флота из двадцати трех кораблей вошел в устье Дюны-Даугавы. Уже подымаясь вверх против течения к резиденции своих двух предшественников, к Икшкиле, он столкнулся с ливами. Все повторилось. Крестоносцы жгли дома и селения, вытапывали нивы. Снова язычники запросили мира и объявили, что согласны креститься. Веры им не было. Альберт, однако же, сделал вид, что не сомневается в их искренности. В честь примирения он устроил грандиозный пир, на который позвал ливских вождей и старейшин. В разгар пира расслабившиеся гости были схвачены и заточены. Недавний радушный хозяин явился — но отнюдь не затем, чтобы покаяться в вероломстве. Все будут освобождены, объявил он, при одном условии: каждый должен призвать сюда своего сына, наследника и оставить заложником у крестоносцев.

Так тридцать молодых знатных ливов попали к Альберту; позже он для верности вывез их в Германию. Известный род баронов Ливенов, кажется, происходил от одного из этих юношей.

На правом берегу Дюны, при впадении в нее малой речки Ридзини и всего в нескольких верстах от морского залива епископ основал город. Место было на редкость удобное и живописное, недаром здесь и прежде

стояло поселение ливов. Альберт приказал разровнять площадку для рынка, вокруг всего будущего города насыпать земляной вал, заложил и тут же начал строить храм. Так началась Рига.

Немецкие купцы, ремесленники, как сказано, частью прибыли вместе с кораблями, частью спешили вдогон, тончайшим чутьем схватывая запах верной, долгой поживы.

Епископу Альберту мало оказалось крестоносцев, прибывавших на одно лето. Краткий набег хорош для диких кочевников: налетел, взял свое и пропал навеки. Рижскому прелату нужно глядеть далеко вперед, что взято — не отдавать никогда. В 1202 году объявляется о создании нового рыцарского ордена для борьбы с язычниками в Ливонии и близлежащих краях. Вскоре папа римский утверждает его специальной буллой. *Меченосцы* (маленький крест и большой красный меч острием вниз — их отличительный знак) — единственный духовно-рыцарский орден, основанный при Иннокентии III.

Так Альберт получил небольшое, но постоянное и возобновляемое войско. Неиссякаемость его обеспечивалась людскими резервами Священной Римской империи и памятливым вниманием папы.

В 1205 году очаг отчаянного сопротивления возник в Саласпилсе, недалеко от Риги. Ливы бились с закованными в железо рыцарями, кажется, уже вовсе ничего не страшась и желая скорее смерти, чем новой неволи. Меченосцам пришлось туго. Немало их полегло на песчаной земле, рядом с разбросанными там и сям валунами. Бывали дни, когда уныние охватывало пришлецов: казалось, новые дикари вырастают из почвы сами по себе, как ледниковые камни, и конца этому не будет. Пришлось оголить Ригу, поставив в строй всех здоровых мужчин, вызвать подмогу из Саксонии. Но ничто не помогло бы, если бы не поддержка крещеных ливов. Этим и вовсе нечего было терять; с угрюмой яростью они защищали незримого и грозного чужеземного бога; теперь и он обязан был защитить их.

Ливский вождь Каупо, принявший крещение еще при Мейнхарде, совершивший затем путешествие в немецкие города и в Рим, обласканный самим папой, теперь напал на бывший свой замок в Турайде. Вместе с меченосцами избивал своих единоплеменников, вчерашних друзей; замок был взят и сожжен.

И в 1207 году братья Христова воинства получили от епископа в вечное владение треть завоеванных ливских земель. Им причиталась также третья часть от всего, что удастся завоевать впредь. Мертвой хваткой, как лесные клещи, вцепились в тело страны безземельные отпрыски старых северогерманских родов. Насосавшись крови, клещ и рад бы отпасть, но поздно, и никакая сила уже не оторвет от жертвы разбухшего паразита: он и собою, похоже, перестал быть, сделавшись наростом чужой плоти, болячкой, несчастьем и хворью другого существа.

Ожесточение тех битв неопишимо. Древних обитателей Балтии невозможно было приучить к неволе: лишившись оружия, они бросались на обидчиков с голыми руками, руки свяжут — норовили зубами впитаться в кольчугу. При всей бессмысленности, нелогичности такого сопротивления, быстрая дрожь пробегала по хребту рыцаря, влажному от размашистых движений, от ударов, в которые каждый раз приходится вкладывать всего себя.

Тринадцать раз предпринимал епископ Альберт трудные, опасные поездки в Германию и в Рим.

Снова и снова язычники напрягались в немыслимом, нечеловеческом усилии, чтобы сбросить с себя проклятых чужаков. Казалось, этого-то последнего натиска пришлецы не должны выдержать: сколько их может быть? Выдохнутся, откатятся, отступят, свалятся в изнеможении и, кто выживет, сбегут наконец-то, — должен же быть предел их жадности и упорству? Да и где взять столько женщин, чтобы нарожать еще грубых, закованных в броню и ненависть — взамен нарвавшихся на меч, опрокинутых, ушедших на речное дно со всем своим железом?

Но где-то там, за морем, хватало матерей, наверно таких же железных; хватало оружейников, хватало корабельных верфей. Не знали отчаянные латгалы, селы, ливы, курши, что силы, ополчившиеся на них, неистоимы: владыка полумира стоял за ними. Давно бы задохнулось нашествие, — но защитники Кокнесе и Еркики, деревянных и земляных укреплений воевали с папой римским и германским императором, и никакой самой длинной пикой, ни одной самой меткой стрелой не достать было неуязвимых противников.

Тринадцатый век... *Тринадцатость*, чертоводюжинность того столетия почувствовали на себе многие народы, и страшно отозвалась она на их дальнейшем пути. Век, в который орды Чингисхана, а потом внука его Батыея обрушились на Русь (тысяча двести *тридцать седьмой* год!).

Столетней называют обычно войну Англии с Францией (1337—1453), а между тем, то была *вторая* столетняя война в Европе: *первой* следовало бы считать войну на берегах Балтии, начавшуюся для местных народов и племен в двенадцатом и окончившуюся где-то на излете тринадцатого века. И если в той Столетней войне, которую под этим именем изучают школьники всего света, бывали перерывы, перемирия, длившиеся годами и даже десятилетиями, то столетняя война в Балтии велась пятью поколениями завоевателей и пятью поколениями автохтонов год за годом без перерывов, без просветов.

Между сном и явью, но ближе ко сну, теряя власть над тем, что клубится обрывками в воображении, ленивым краешком воли пытаешься вызвать их: папу Иннокентия III, епископа Альберта, братьев-рыцарей, их врагов. Что-то видится: поступь, одежды, мокрый парус, тонкие нетерпеливые лодыжки лошадей. Но вместо лиц — темноты, неясные провалы. Нет, не достать до них — далеко! А они достают до нас, дотягиваются: живем в мире, устроенном так, а не иначе, в том числе и их заботами.

...Ох, что уж. Начали доставать и мы до них. Все рьяней, все непоправимей. Убивая и торопливо ошкуривая землю, обесцениваем все, из-за чего ломали копыя сто поколений, вымываем почву из-под их ног, из-под костей, из-под смысла подвигов и преступлений, а ведь не всегда, но был смысл!

Однако ж — не о том я...

Я желал бы выбрать в той семисотлетней, семьсотпятидесятилетней дали, и еще чуть-чуть отступив... отыскать два лица, девичье и мужское. Среди язычников. Уже хлебнувших лиха, но не покорившихся. Смелых, переполненных жизнью, еще сродненных с лесными тварями, с богами и духами балтийских берегов, еще соединенных с природой видимой и невидимой тысячами таких связей, о которых мы уже и не помним. Молодость кипит в них; догадка о человеческом бессмертии для них не догадка, а простое и веселое знание, входящее в состав духа и тела. Мне нужны эти двое, не другие. Опасность горячит и влечет их как праздник. Кровь их должна течь в жилах быстрее, напор и состав ее должны отличаться от среднего. Это потому, что ручью этой крови далеко бежать,

через десятки поколений, и надобно не ослабеть, не остудиться, не оскудеть, в той же густоте и силе добежать до младенческого тельца моего героя, и дальнейшее будет делом его роста и понимания, там-то мы разберемся, с Божьей помощью. Мне нужны те двое, что пробьют сквозь века и дичайшие препятствия эту свежесть, первозданность и *самость* древнего языка и племени, пришедшего в Балтию вслед за отступавшим ледником, за первопоселенцами из числа трав, деревьев, птиц и животных.

Как должны хотеть друг друга те двое и все те в цепи, все за ними, как впитывать картины и звуки, соки земные, воздуха, мглы, свет звездный, ночной и поштучный, и днѣвный, снопом; запахи пищи и воскурений, и волка, и пса, и милых волос, земляники на солнце, борьбы и соитий, дождей, яркой радуги (радуга пахнет озоном), как бесповоротно должны быть вовлечены в заговор холмы и луга, болота, особенно реки, — для них-то все наши столетия — не время, хотя кто их об этом спрашивал?

Но цепь, оттуда сюда, звено за звеном, для того и куется, чтоб все сохранялось как было, однако же с прибавленьем всего, что случится потом. Однажды это все: земля, язык, день и ночь, боги, духи, друзья и враги, свет и мрак (не всеобщий, а здешний, он пахнет песком и сосновой корой, морем, серыми валунами, отдающими ночью дневное тепло) назовется, найдет выражение в слове и мысли, в духе, — да, главное, в этом мучительно ищущем духе.

И народ — не всадник, оседлавший прибрежные дюны; скорее уж это кентавр, народ и земля (потому-то все равно куда ранить, все равно куда бьют: по народу ли, по земле; неправильно было б сказать, что больно обоим: каким «обоим», когда перед нами одно). И народ, давно уже сросшийся с телом и духом отчизны, однажды вдруг видит себя, осознает протекшее время как часть, входящую в семья растений, в состав земли и воды. Все вместе оказывается чем-то, что вызрело в новое слово. Такое, которого не было и быть не могло, поскольку другие слова вызревали иначе, по-другому, в других языках и под кожей другого оттенка, в глазах совершенно другого разреза.

У муравьев по-своему, у пчел — по-своему, но так у людей, у народов: поколения холят младенца, который придет, и обкатывают, строгают и точат язык, которым однажды и будет сказано то, чего нельзя не сказать. Поэт изначально храним, и родившие предков его, передавшие все, без чего он не сможет, сильны и хранимы, поскольку всякой земле и роду назначено это: разрешиться от немоты. Заявить о себе. О мире. О звездах. О Боге. О том, для чего они были и есть. И если ответ будет: ни для чего, — то и он должен быть дан.

FINDET

А что твой голос? — спросил старик, не выйдя из-за угла. —
 «Красивый, звонкий, как колокольчик». — «А ты слышишь, как
 плачет? — спросил старик, не выйдя из-за угла. — «Красивый,
 звонкий, как колокольчик». — «А ты слышишь, как плачет?» —
 спросил старик, не выйдя из-за угла. — «Красивый, звонкий,
 как колокольчик».

— Да, — сказал старик, не выйдя из-за угла. — «Красивый,
 звонкий, как колокольчик».

— Да, — сказал старик, не выйдя из-за угла. — «Красивый,
 звонкий, как колокольчик».

Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.
 Семь лет жила она в доме своем, — домик маленький, но уютный.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЕГИПЕТ

Ты куда собрался, Янис?

В Египет.

А-а, вон оно как. До Египта недалеко, чай верст пятнадцать будет.
А надолго ль ты едешь?

Надолго. Надо-о-олго!

А что ж ты не радуешься? Ты радуйся, парень.

Просто невыносимо. Все с ног сбились — тебя, тебя в дорогу собирают, а тебе хоть бы что, только бы с бродягами лясы точить. Радуетесь? Чему? Чему, я тебя спрашиваю? У-ух, достался же мне братик. Жан, Женечка... Бесчувственный, слезинки не уронит. Кто с тобой там будет возиться, как твоя Лизе? Ах, малыш, я сама не своя. Иди сюда, братик, не слушай старую ворчунью. Дай я тебя обниму.

Ты не такая уж старая. Бывают гораздо старей.

Отпрянула как от медведя. Всегда она так, сестрица Лизе: то чуть не задушит в объятиях, то вдруг оттолкнет тебя, и лицо делается каменное. Знаю, она лучшая из сестер, она всем пожертвовала для меня, для всех нас. Но что поделать, если я уезжаю, и лошади уже стоять не хотят, невтерпех. А мама где? Вот она, появилась как всегда неслышно, у нее лицо тоже несчастное, как бы и мне не разреветься. Вот папа, — он знает, как надо прощаться. Хлоп по плечу — держись, мальчуган! — к чему лишние нежности? Нежности, они к тому. А лошади уже рванули, лошади, — замечал ты? — никогда не оглядываются. Вот оно, оказывается, каково — отрываться от своих. Тебя выдернули из дому, как редьку из грядки, и все, прощай, брат. Сердце прыгнуло туда, к ним, обратно, а там уже никого. Домашние помахали-помахали руками и разошлись: осень, у всех дел хватает. Где старый Плиекшан, там всегда

и всем работы хватает, — как это они еще выбрали время с тобой попрощаться! У кого щеки были сухие, у кого мокрые.

А это чей голос? Верти не верти головой, не видать никого.

«Бедный странник! Бедный маленький ссыльный!» — раздается над самым ухом мальчика напевный, теплый, темный голос. «Почему же бедный? — сухо прошелестело рядом. — Почему же ссыльный?» «Потому что у него уже никогда не будет родимого дома».

— До-ома...

— О-о-ома, — передразнило какое-то странное эхо и растаяло. И звуковой просвет, дверца незримая, приоткрывшаяся незнамо куда, захлопнулась. Янис протер глаза. Они-то причем? Виноваты уши: дурака валяют, слышат то, чего нет.

Сонм латышских богов: старый Диевс с сыновьями, Перконс, Мать ветров и Мать моря, Мать леса, вэли — духи предков, — все, кажется, были здесь или угадывались, или были здесь и не здесь, согласно природе каждого. Многие истончились, как-то подсохли и съежились за всего лишь несколько веков, иные походили на призраков, — где их бывлая бодрость и стать? Их врожденное веселье? Могущество? Даже сравнительно недавно, лет сто пятьдесят назад, латыши по-другому чтили и помнили своих богов, в них искали прибежища от несчастий, не забывали дорогу в заветные рощи, на вершины священных холмов, не скупилась на подношения. Боги и духи живы, пока в них нуждаются. С тех пор, как явился и в здешних местах Распятый...

«Не будем об этом! Не будем об этом! Не будем об этом!»

Не будем...

Даже Мать счастья — Лайма — выглядит как богиня печали.

Не нужно печалиться.

Поглядите в глаза мальчику.

Янис, сын Кришьяниса, у тебя голубые глаза.

Знаем, ты будешь молиться Распятому и его невидимому Отцу, но помни: ты наш. Мы пестовали тебя, передавали из одного материнского живота в другой, столь же величественный, округлый как гора, плодоносный живот. Мы вели тебя через цепь продолжающих друг друга жизней. Спасали, выхватывали, бывало, из волосатых рук палача, отводили от тебя стрелу и меч, а если ты все-таки умирал, мы тебя воскрешали.

— Лети-лети искорка, я тебя раздую, — сказала Лайма.

— Бедный странник, бедный маленький ссыльный! — раздался напевный, теплый, темный голос Мары, владычицы смертей и рождений.

— Почему же бедный, почему же ссыльный? — не голос, а шелест.

— Это ты спросила, Мать ветров? Потому что у него никогда уже не будет родимого дома.

— *До-ома... О-о-ома...* — передразнило какое-то странное эхо.

Везла коляску с мальчиком, думается, пара гнедых лошадей. Почему пара? Одна лошадь в упряжке — несолидно, недостойно ни богатого арендатора, ни его теперь, увы, единственного сына. Да и лошадей побережь надо, лошади свои, не чужие; позаботься о них — и они добром отплатят. Так оно и с людьми. Коли хозяин таких простых вещей не понял — считай прогорел.

Домашние звали мальчика Жан, Жанчик, Женечка. Мы-то, может, и не будем его так называть, но что было такое имя, что наш герой на него отзывался, знать почему-то нужно. Мелочи всемогущи. Булавочный укол, пережитый на пятом дне жизни, отзовется через десятилетия чертой характера. Одна улыбка, просиявшая в раннем детстве, когда-нибудь, глядишь, удержит на краю бездны, ничем себя, впрочем, не выдав. Так в старинных романах незнакомец в маске спасает беспомощную красавицу от шайки разбойников и — ныряет на много страниц куда-то там в свои ночные леса.

Место, откуда мальчик уезжал в Египет, по-немецки именовалось Беркенхеген. Люди называли его Беркенеле. За девять лет жизни то был его четвертый дом.

Египет — древняя страна, с коей связаны сведения, тоже весьма скудные, о младенчестве другого человека, *Сына человеческого*, как Он себя потом любил называть. Тот, другой мальчик, как всем вокруг было известно, родился за 1874 года до того, как Янис Плиекшан распрощался с домашними и выехал из Беркенеле (и не прежде чем отъехав на версту, перестал оглядываться назад, глянул на дорогу, вздрагивающую толчками внизу, на струящиеся хвосты, на мускулистые ляшки лошадей, ходящие туда-сюда безостановочно, как паровозные поршни. Паровоз Янис дважды видел своими глазами).

Читаем в книге, очень старой: «*Се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его*».

Выслушав Ангела, являвшегося ему не впервые, Иосиф «*встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет*».

«*По смерти же Ирода, се, Ангел господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву; ибо умерли искавшие души Младенца*».

И в том же Египте задолго до Рождества Христова, в тех опрокинутых веках, где время исчисляется как бы вспять, не прибывая, а убывая ближе к наблюдателю... в каком-то вообще другом времени, протекавшем иначе и — кто знает, не стоявшем ли почти бездвижно? — сын Иакова, ветхозаветный Иосиф, проданный родными братьями измаильтянам за двадцать сребренников, оказался в рабстве.

История Прекрасного Иосифа, — сама тоже прекрасная, — была уже известна девятилетнему Янису. Первые свои рисунки мальчик сделал еще до отъезда в Египет. Он, кажется, копировал по памяти виденные где-то картинки: рисовал пальмы и пирамиды. Африканские пальмы. Египетские пирамиды.

Особенной религиозностью латыши, похоже, не отличались никогда. Христианство пришло к ним рука об руку с гибелью, говорившей на чужом и отрывистом языке. Встречались, должно быть, между монахами и рыцарями-меченосцами, покорявшими балтийские земли, и фанатики веры. Видней и слышней издалека люди жесткие, безжалостно-деловые. Меч несли они в одной руке, крест — в другой, но нередко перепутывали, в какой руке у них что: благословляли мечом, крестом гвоздя и калеча.

Не потому ли и спустя несколько столетий казалось многим: поскреби только что вышедшего из церкви латыша — и неглубоко, под первым же слоем обнаружишь язычника или безбожника.

Никак не относилось это к матери Яниса: она ухитрилась вырасти и остаться женщиной христоробивой, богобоязненной. Зато отец, высоченный, сильный, насмешливый, в храм заходил только по необходимости или, как нехорошо шутил он по-русски, «*лишь по большой нужде*», духовных особ терпеть не мог. Исключение делалось для пастора Оскара Свенсона — того, что дважды в неделю приезжал за пятнадцать верст, чтобы совершить в Беркенхегенской церкви необходимые службы и требы.

Свенсон с многочисленным семейством жил на берегу озера Лауце. По-латышски местность называлась Вилкамиестс. А второе название пастората, необычайное для этих краев, было: Египет. То был, конечно же, символ и знак для любого христианина. Египет — значит обитель, спасение от опасностей, от всех и всяческих Иродов.

Но и выше вставало и развевалось как флажок имя древней страны, залетевшее так далеко на север. Оно означало, что здешние места не сами по себе, что они приобщены к бездонной истории царств и народов, что этот отрезок времени и пространства принадлежит к длинным и запутанным путям человечества, неизвестно когда начавшимся и ведущим в завтра, тоже неведомое.

Тпру, приехали!

Их встречают. Чуть ли не все обитатели дома высыпали наружу. Сердце колотится.

Пастор Свенсон улыбается ободряюще. Мы ведь старые знакомые, говорит эта улыбка. Ну и нечего пугаться. Я и не пугаюсь, отвечает ему взглядом Янис. Вот и хорошо. Вот и договорились.

В девять лет, осенью 1874 года Янис Плиекшан был привезен в пасторат. Взгляды встречали его — ручаюсь — горящие любопытством. Нет загадочней новизны, вступающей в дом с чужой судьбой. А то, что приезжий — маленький... Маленький-то — да, но за ним и все большие стоят: он вроде посла от другой державы, поди тронь его, — за полтора десятка верст отзовется, чем и как, неизвестно, но — отзовется, это уж точно.

Смешно: кто ж его «трогать» собирается?

Два пасторских сына отсутствовали. Старший, Карл, был уже взрослый и жил отдельно. Шестнадцатилетний Эмиль учился в Риге, в гимназии. Рудольф тоже был намного старше Яниса. А вот уж дальше пошли его товарищи: Оскару десять лет, Эрнесту, как и Янису, девять, Берте восемь, Феликсу семь.

Почти всегда Янис был один среди трав, деревьев, животных, птиц, взрослых людей. Может быть, сейчас его одиночество кончится. Он и надеется на это, и трусит ужасно, так что коленки дрожат и ноги плохо держат, сгибаются. Не дай бог, кто-нибудь заметит.

Девочка заметила. Взялась уже его передразнивать. Изобразила, что и у нее коленки дрогнули, ноги подогнулись и... книксен, это она делала книксен. Никто никого не передразнивает, в первый-то раз. Мальчики кланяются, но очень умело. Кланяется и Янис. И думает

мучительно: так ли он поклонился? Не слишком ли гордо? Не слишком ли старательно? Правильно ли, что поклонился только один раз: заодно и девочке, и пастору Свенсону, и мальчикам? Не смеется ли кто над ним? Нет, кажется, ни один не смеется.

Мама сказала однажды: ты умрешь когда-нибудь от своей дурацкой гордости! Нет, думал он молча. Умирать? Это не для меня. Нет, мама, разве вы не знаете? Я ни за что, никогда не умру, не хочу, чтобы вы плакали.

Кони, что привезли его, могли быть и не гнедыми. Ученые люди не поленились, подсчитали, сколько раз в народных песнях — дайнах — упоминаются лошади той или иной масти. Оказалось: гнедые — 2411, чалые — 1246, вороные — 470, серые в яблоках — 166 раз. Песни латышские короткие, чаще всего в четыре строки. В одной говорится, как на закате приезжает брат на красивом, сером в яблоках коне и говорит сестренке: отведи его на ночь не на луг, а в яблоневый сад.

Биограф Райниса, Антон Биркертс, записал со слов поэта: «Отец был большой любитель лошадей. Он держал красивых коней для выезда. И у меня была слабость к лошадям, я очень любил ездить верхом».

Латышские художники, скульпторы столько раз изображали Райниса. И ни одному не пришло в голову показать его верхом на коне. А если бы решился кто-то, если бы, рисуя нам уже немолодого Райниса, художник сохранил портретное сходство, мы увидели бы Дон Кихота верхом на Росинанте. Да и пеший, без коня Райнис напоминал Дон Кихота, каким тот выглядит в старинных изданиях с гравюрами, прикрытыми тоненькой папиросной бумагой.

Приехав в Египет, в первый вечер, длинно-долго вытянувшись на чистых, пахнущих древесным углем простынях, он во всех подробностях помнит годы и дни предыдущей, только что оставленной жизни. Кое-что помнит словами, иное — осязанием, чутьем, почти равным чутью молодого зверька; помнит кончиком языка, его вкусовыми пупырышками; помнит внезапной, давно пережитой болью, горением щек, вспыхнувших когда-то от стыда, помнит отдельной памятью ног и рук и,

конечно же, синих глаз, все эти годы ненасытно распахнутых, поглощающих мир с такой жадностью, как будто его через минуту отымут.

Он помнит много такого, что скоро забудет. Забудет напрочь, — во всяком случае, никогда не вспомнит умом. Просыплются, как сквозь худое решето, сперва мелкие, а потом и все более крупные происшествия и события его детской жизни, те самые, что лепили его податливую душу. Сейчас это все еще в нем переливается и сверкает, завтра же соперничество и дружба, и главное, буквы, печатные строки и чужой, громадами скопленный в них опыт вытеснят все предыдущее. Оттеснят — в самую дальнюю глубину, откуда почти что и не достанешь.

Потом мы пойдем вместе с ним этой неминуемой дорогой. Но прежде нужно обратиться к началу. К самому началу, — только знать бы, где его искать, где оно?

В январе 1919 года Райнис занес в дневник вот какие слова. «Я взялся было писать свою биографию, но запнулся тут же, на первом слове: когда она начинается, жизнь каждого из нас? И моя? Моя жизнь? Когда я появился на свет. Но разве я не жил и до рождения? Закон и тот признает, что еще не рожденный живет, и жизнь его уже так значительна, что защищена от возможных посягательств угрозой сурового наказания. Древнейшая поэтическая философия прозревала еще более далекие истоки всякой жизни, видя в каждом рождении — возрождение... И новейшая прозаическая наука знает, что в короткие девять месяцев перед рождением каждый человек проходит через тысячелетия, может быть — десятки, сотни тысяч, а то и миллионы лет, уходит дальше, чем Вечный Жид, дальше, чем Годо, что является раз в тысячу лет, чтобы взглянуть на мир. А еще не родившийся человеческий детеныш не разглядывает издалека, нет, — он проживает самолично историю вселенной с ее первых дней, воплощается во все образы, какие только способна создать жизнь в своей безудержной фантазии; ребенок сам подобно оборотню побывал сотни раз растением, превращался в рыбу, пресмыкающееся, головного моллюска, перечувствовал ощущения всех созданий и тварей, узнал, каково дышит и растениям и рыбам, прежде чем стать человеком. Так когда же началась моя жизнь?..»

Самое раннее воспоминание поэта связано с Таденовой — тем домом, где он провел первые три года жизни. Вместе с няней он греется на солнышке. У забора где-то. Вот и все. Никаких других подробностей. Их и не нужно.

Тогдашнего, разделенного с няней солнца хватило на шестьдесят с лишним лет. Оно постоянно угадывается в глубине, даже не упомянутое. Да и упоминается без конца. Кого раздражает слово «солнце», то и дело возникающее в райнисовских стихах, тот пусть знает: это не «солнце вообще», а солнце 1867 или 1868 года, светившее в Таденаве, согревавшее малыша трех лет и его няньку.

Мальчик умел впитывать свет и тепло так, будто приходился солнцу родным сыном. Солнце у латышей женского рода: она. Впитывал свет, как материнское молоко.

Верстах в ста пятидесяти от Таденавы, хотя впрочем версты эти ни тогда, ни позже никто не считал, жила на хуторе Даукшас девочка, родившаяся в том же 1865 году несколькими месяцами раньше Яниса Плиекшана. Ровесников, девочку и мальчика, разделяли не только версты, но и годы: двадцать восемь лет, которые им предстояло прожить независимо друг от друга. Потом они встретятся, станут мужем и женой.

Первое впечатление, оставшееся в памяти девочки, она тоже опишет годы спустя. Опишет так подробно, что невольно закрадывается подозрение: что-то здесь домыслено. Не нарочно. Это как сон: вспоминаешь его и невольно добавляешь связки, детальки, подпорки, в которых сон не нуждался, ведь там без надобности наши вечные «оттого», «потому что», — сон прекрасно обходится без причин и следствий, и логика у него своя.

Девочку звали Иоганна Эмилия Лизете. Так записали при крещении, — у лютеран принято давать ребенку два-три имени, — но дома ее называли проще: Эльзой. Когда ей исполнилось... она пишет, что исполнился год, но мы будем осторожнее и скажем: однажды. Однажды девочку в первый раз вынесли на улицу. «Самое первое впечатление — ветер. Чье это дыхание, такое большое, сильное, веет в лицо? Кто это дует и почему я не вижу его?.. Солнце меня не так поразило: ветер мне больше нравился, он как бы заполнил меня всю, без остатка. Посмотрела я и вверх: что там такое блестящее, желтое? — но меня ослепило, огненные круги пошли перед глазами, и больше я туда не глядела».

Это все равно, говорит ли вспоминающий о себе чистую правду или присочиняет. И в правде, и в выдумке, и в умолчании он выражается с достаточной определенностью. Нужно только уметь вслушаться.

Мальчику запомнилось солнце.

Девочке запомнился ветер.

Случай, известный со слов старшей сестры Яниса, Лизе.

(К слову, у мальчика было тоже не одно, а два имени, второе — такое же, как у отца. Янис Кришьянис. Потом второе имя потерялось. А у девочки потерялись, можно сказать, все три. Потом и у него и у нее потеряются и фамилии).

Так вот, случай-то.

Мальчику года два?

Он сидит на траве, веточкой помахивает. Двор крестьянский. Хотя арендатор Таденавы представляется себе едва ли не помещиком.

Мальчик не замечает внимательного, круглого и злобного глаза, посматривающего на него.

Что бы такое вспомнить? Орел, похищающий Ганимеда? — нет, не то. Птица, громадная, встопорченная, страшная, сваливается невесть откуда на ребенка. Мальчик вступает в схватку. Не сам он — жизнь, трепещущая в нем, не желающая погибать так рано, сопротивляется. Со стороны — если было бы кому взглянуть со стороны — это напомнило бы, наверно, игру. Они почти одного роста: крупный старый кочет и ребенок.

Кто видал петушиные бои, тот может себе представить: противник у малыша был нешуточный. Дитя человеческое безоружно. Враг вооружен — железным клювом, когтями, шпорами.

Глядя сверху, можно посмеяться: подумаешь, битва богатыря с драконом. Глядя вровень, убедиться: да, битва. Петух — ну да, обыкновенный, старый, голенастый и жилистый петух напал на Яниса. Старшая сестра в ужасе: не подоспей она в последнюю секунду, и разъяренный кочет искалечил бы мальчугана или заклевал до смерти...

Сам-то Янис сражения с петухом не запомнил. Память, должно быть, выталкивала вон даже малейшее напоминание о той опасности. И чем старательнее выталкивала, тем упрямей выталкиваемое возвращалось в обличии совсем других — внешне — тревог, страхов, снов.

Не мог Райнис помнить и своих двух братьев: Сприцис и Карлис родились и умерли до его рождения. Дети умирали часто, до зрелых лет в крестьянских семьях доживал лишь каждый второй. Но и зная это, и наблюдая десятилетиями, как то к одним, то к другим соседям заявляется *костлявая*, как, отворотясь вдруг от стариков, обращает бездонный гниlostный взгляд на свежее личико младенца... все зная,

все понимая, люди не умели примириться с потерей, не говоря уж — привыкнуть. Правда, внешне латыши почти никак не выказывали свое горе; иноязычные господа, в которых жесткость и порой жестокость мирно уживалась с сентиментальностью, содрогались от мужицкой *бесчувственности*.

В первые годы жизни, когда почти бессловесный ребенок чуток позвериному к настроениям и погодам, когда окружающее прямо сказывается на нем и мелочи внутри него увеличиваются, точно под лупой, и все складывается про запас на дно котомки, из которой поздней будут доставаться или сами выныривать свойства ума, характера, — Янис Плиекшан должен был ощущать тоску родителей, их скорбь по умершим детям. Ничего этого он потом тоже не помнил, помнить ему и не полагалось, — выходить в дорогу следовало налегке, без груза. Груз никуда не делся, прятался в нем, приплюсовавшись ко многому, что там уже было.

Насколько же легче зверенышу, птенцу! Щенок ни за что не в ответе. А ты, человек, будешь расти вместе с долгами, скопившимися за тысячу лет. Все мертвецы твоего рода молча взывают: будь тем, чем мы так и не стали, вбери наши жизни, взвали на себя наши вины, найди тайный знак в надеждах, как будто лишившихся смысла. Тебе нужен ключ? Вот он: *слово*. Оно родилось прежде нас, умрет после вас: усвой, пойми, вырази.

Четыре года мальчику. Семейство переезжает. Он на всю жизнь запомнит эту дорогу. Не все подряд, но все, что нужно. Увидел по пути в лесу пни, показалось: они шевелятся. Принял за зверей.

Еще запомнилась река. Даугава.

Рядом с ней он теперь будет жить. Потом, через много лет, назовет себя сыном Даугавы. Сравнение, как и предыдущее, не будет выдуманным. Человек рождается ведь не однажды. Сперва мать родила его, Дарта. А потом, через годы, он оторвется от Даугавы, как от родимого лона.

Янис, сын Кришьяниса, сын Дарты, сын Даугавы.

Сельские работники в этих краях кочевали. Снимались с места обычно в Юрьев день, вместе со всем семейством двигались из одной волости в другую, разузнавали, где есть нужда в людях, каковы условия найма. Оставались, заключали договор с помещиком, арендатором или

владельцем хутора; бывало, что через год уходили дальше, бывало, и оставались надолго, сживались с хозяевами.

Кочевали и арендаторы. Минимальный срок аренды был шесть лет. Выжимая все возможное из одного хозяйства, арендатор исподтишка присматривал уже кусок полакомей, пожирней... Это кому везло, в ком обнаруживались необходимые таланты; кому не везло — шли на дно, чаще безропотно, чем ругаясь и богохульствуя. Впрочем, что ж там, на дне? Такая же работа, если ты не махнул на себя рукой, — а к работе латыш привычен.

Рандене на берегу Даугавы — добрая усадьба. Обширное земле-
владение, вместительные хозяйственные постройки, а дом такой, что и
дворянину впору. За широкой рекой, на том берегу — Динабургская
крепость. Из-за ее мощных стен наверняка хорошо видна усадьба и все
ее окружение, а в подзорную трубу можно разглядеть небось и каждого
ее обитателя в отдельности, включая собак, гусей, кур.

Рандене, кажется, создано было для того, чтобы выпестовать
однажды поэта. Два потока струились мимо дома: с одной стороны река,
с другой — дорога. Казалось, никогда не замирает ни та, ни другая.
Может, ночью дорога и пустела и умолкала, но это случалось, значит,
после того, как Янис засыпал и до того, как он открывал глаза утром.
И выходило, что дорога жила всегда: недолгие промежутки тишины лишь
обостряли слух, и опять раздавался скрип колес, дребезжание пружин и
рессор, слышались обрывки разговоров, выкрики, песни, смех, мелькали
розовые, желтые, серые лица, узлы, посохи. Лошадиные копыта выдавали
глухую дробь, подкова вдруг звонко ударялась о камень. Шли и ехали
мимо батраки и господа, солдаты, цыгане, белорусы, латгальцы, важные
немцы, евреи, литовцы, поляки. Дорога разворачивалась перед глазами:
нескончаемый свиток, в котором каждое слово новое, но как будто
и слышано где-то раньше.

Река ближе к Рождеству замерзала, и тогда по льду ходили и ездили.
Весной Даугава разливалась, эти две недели половодья Янис, пережив
однажды, любил и ждал: что-то в нем самом разливалось в эти дни так
же широко, так же необозримо и вольно. Вода, бывало, отовсюду
окружала их, обитатели Рандене делались островитянами. Однажды он
увидел плавающее за кустом свиное корыто — и в ладоши захолопал:

теперь у него есть своя лодка! И, отталкиваясь и правя шестом, путешествовал потом по ручьям и канавам, по лужам и целым озерам, от которых вскоре не оставалось и следа; только трава в местах, где успела погостить река, росла темнее и гуще.

Летом по Даугаве сплавляли плоты. Плотовщики были обыкновенно белорусы (их еще звали *гуды*). Если отец где-то задерживался дотемна и все ждали его, то и Янису иногда удавалось не спать и ждать вместе со всеми. Тогда все на свете делалось другим. Звезды горели вверх. На плотках жгли костры, пели. Голоса разносились над рекой гулко, тоже не по-дневному. Становилось зябко, и очень много звуков, скрипов, посвистов не удавалось разгадать, днем они никогда не повторялись. Сон набегал, туманил, сдвигал и растягивал события, проглатывал какие-то минуты, и шаги и бодрый голос отца вдруг выныривали как из омота.

Таинственная работа жизни, происходившая всегда в его жилах, в груди и животе, вызывала в нем острый интерес. Он обо многом спрашивал, не на все получая ответы. Мир уже начал разделяться на «можно» и «нельзя», «чистое» и «грязное». Слово «стыд» возникло в пестрой толпе первых понятий и быстро выделилось. Стыдно было ковырять пальцем в носу, стыдно было быть без штанишек, стыдно подходить к батрацким детям и играть с ними. «Неужели не понимаешь? Они в навозе копаются!» Всему, что сказано так рано, приходится верить. Ведь эти же самые люди вложили в тебя первые слова, научили маму называть мамой, реку — рекой.

Неужели так и было? Неужели Кришьянис и Дарта, в молодости небось перетаскавшие этого самого навоза не меньше любого батрака, запрещали сыну подходить к детям испољщиков и работников? Да, все правда. Формула взята из воспоминаний близких людей: «Не водись с ними, они грязные, — говорилось Янису. — От них навозом разит».

Дочь хуторянина, его ровесница, так рассказывала потом об этом. «Во двор меня не выпускали, хотя листья уже зазеленели. После болезни можно опять простудиться. А потом — мое нарядное платьице, мои туфельки! — а там, за порогом, слякоть, ветер и грязные батрацкие дети... Это чувство превосходства: я — хозяйская дочь! — как бы смешно оно ни выглядело, как бы ничтожна ни была разница между хуторянами в глазах, скажем, владельца барской усадьбы, — этот убогий «аристократизм» был не то чтобы мне привит, а, казалось, врожден, впитан

с молоком матери. Наши работники между собой величали меня *наследницей*, — и уж это слово я не пропустила мимо ушей».

Большая река и большая дорога.

И одинокий, очень одинокий ребенок. К этим временам относится такое воспоминание: зима, и он долго-долго, часами лежит на льду и смотрит: там, в глубине, течение шевелит водоросли. Лежал ли Янис действительно часами на льду? Сомнительно. Кто-то наверняка приглядывал за ним: ребенку пять лет! Не дали бы лежать на льду часами. Но так запомнилось. Такое длинное, протяженное во времени впечатление. Толща льда, прозрачная и, наверное, голубоватая. И там, за ней, — зеленые и бурые, змеящиеся, дышащие травы. Первое зрелище, первое окно — из одной жизни в другую.

Следующий эпизод уже запечатлен и подтвержден памятью других. Родителям Яниса было за сорок, когда хозяйка Рандене снова забеременела. Ни сама она, ни Кришьянис Плиекшан, видно, к этому не были готовы: в доме не оказалось даже колыбели. Малыш, которому было сказано, что скоро у него появится брат или сестренка, засуетился. Он тащил отовсюду деревяшки, доски, гвозди, веревки, — все, что казалось ему подходящим, чтобы изготовить люльку.

Родилась девочка, назвали Дорой.

Он любил ее уже заранее. И потом все детство, всю юность напролет эта братняя бережная любовь окружала девочку.

Дора стала и любимицей отца. Как сказано в Святом писании: отец «...любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его; и сделал ему разноцветную одежду».

Дора была мила Кришьянису Плиекшану, потому что она была «дочь старости его»: последнее дитя, точно подарок, неожиданный и оттого вдвойне дорогой.

В том же 1870 году, что и Дора Плиекшан, за тысячу верст оттуда, в волжском городе Симбирске, в семье инспектора народных училищ Ильи Константиновича Ульянова тоже родился ребенок, мальчик, названный Владимиром. Зачем нам понадобилось отвлекаться и вдруг переноситься мысленно с берега Даугавы на берег Волги, потом разьяснится. Пока же — несколько трогательных деталей, относящихся к детству русского ровесника Доры. Со слов его старшей сестры: Володя поздно начал ходить, притом падая, он всякий раз ударялся головой об пол. Весь дом звенел от его отчаянных криков. Очевидно, голова его была слишком тяжелой. Все спешили к нему на помощь, мать боялась,

что он серьезно разобьет себе голову «или сделается дурачком». Даже соседи с нижнего этажа слышали все время, как Володя Ульянов стучается головой об пол. При этом они говорили всегда: «Он у них вырастет или очень умным или уж очень глупым».

В Рандене Янис провел пятый, шестой, седьмой годы жизни. У отца с матерью всегда было много работы; мать, кроме того, сперва вынашивала пятое свое дитя, потом кормила, нянчила, занятая, конечно, больше маленькой, чем Янисом. Лизе в это время шестнадцать, семнадцать. Она учится, много читает, помогает матери по хозяйству, мурлычет про себя латышские, польские, немецкие песенки. Боюсь, что и ей в это время не до Яниса. Она займется им несколько позже.

Впечатления поражают этого ребенка непоправимо. Внешний мир часто наносит ему раны. Да ведь он ранит, царапает с утра до вечера каждого; задевает, царапает, ранит, — как без этого? Не на все же внимание обращать. Царапина завтра заживет, рана затянется... То-то, что иные из его ран оказались незаживающими. Натура такая. Или такие раны?

У матери была старинная Библия, вделанная в складень из двух деревянных крышек, обтянутых кожей; еще книга — песни божественные, — заключенная в красный сафьяновый переплет. Обе книги нравились и притягивали уже тем, что такие огромные.

Дело было весной. Родители собрались в гости, на ту сторону реки — в Динабург — и обещали взять с собой сына. Ему хотелось в гости. А хотеть, желать чего-нибудь он не умел умеренно, понемножку: всем существом бросался в желание, как голый ныряльщик в воду, и чем ближе было чаемое, ожидаемое, тем нестерпимей казалась малейшая отсрочка.

А тут — половодье. Даугава разлилась раньше времени, спутав все планы. Перебраться через пятиверстную ширь нечего было и думать. Возделенная поездка срывалась. Когда Янис понял это, он — уйдя за амбар, подальше от всех, — стал молиться. «Боже праведный, Боже милосердный, милый, добрый Боженька, Ты можешь все, молю Тебя: сделай так, чтобы вода ушла, помоги нам поехать в гости! Боже, внемли

моей молитве, Ты не откажешь, очень, очень Тебя прошу!» И много еще чего, горячо и бессвязно, шептал он; вся его крохотная — особенно с высоты небес — фигурка превратилась в молитву, так что не увидеть и не услышать ее сделалось уже нельзя. И дрогнуло огромное зеркало паводка, дрогнули все тысячи облаков и деревьев, домов, лодок, звериных и человеческих лиц, отраженных в нем, дрогнула вся растворенная в нем синева, и вода отступила от последней завоеванной ею черты.

Янис был потрясен. Ответ был дан так прямо, чудо явлено столь осязаемо, что мгновения этого хватило на годы. «С тех пор я твердо держался веры, старался всегда говорить только правду, вообще исполнять все заповеди. Христианский идеал казался мне достижимым. С этой верой я жил до пятнадцати лет».

В горячей этой вере было немало путаницы: воспринятая от латышской крестьянки, она, эта простодушная вера, была вся перевита представлениями сказочными, верованиями далеких предков, народными приметами и суевериями. Бог говорил с Янисом и выслушивал его пылкие молитвы по-латышски и не сердился, когда его спросонок перепутывали со старым языческим Диевсом, отцом людей и богов, а мать Иисуса Христа, Пречистую Деву Марию — с таинственной Марой, помогавшей в дымных и жарких хуторских баньках разродиться каждой латышке, если пришло время, и уводившей всех, от младенцев до стариков, кому суждено было уйти, — туда, за солнце, к солнцу другому, ей видимому, а смертным — нет.

Янис думал и об Ангелах Божиих, но хвостатые и рогатые черти почему-то виделись в воображении чаще и гораздо живей. Ого, как дробно постукивали, когда проснешься вдруг ночью, их копытца! «Кш-ш! — подлетая сверху и сбоку, махал на них руками и крыльями Ангел-спаситель. — Кыш! Убирайтесь на место!» И те убрались, не очень-то охотно и послушно, дурачась, дерясь и повизгивая на бегу.

А где их место было? Это Янис знал. «Летом из радостей радость — озеро и луг. Меня оттуда было не дозваться. На том конце луга стоял сенной сарай и старая-престарая рига. Там я пропадал, бывало, подолгу, особенно в середине дня, когда везде странная тишина и жуть какая-то разлита в воздухе. С этой ригой, с тогдашними впечатленьями прямо связана моя пьеса «Играл я, плясал».

Пьеса сочинялась в разгар войны, в 1915 году, в Швейцарии. Через сорок пять лет после тех вылазок маленького Яниса в жуткую, звенящую

тишину полуденного луга, в конце которого зияла чернотой приотворенных ворот древняя рига. Холод внутри полдневного жара, тьма посреди света. Маятник сердца то ли в горле, то ли в ушах. Ты крепишься, сколько можешь, но вдруг страх подхватывает тебя как пушинку, тащит и выбрасывает к родному порогу — полуослепшего, полузадохшегося. Никому не расскажешь, но сам-то запомнишь навеки: сила, вышвырнувшая тебя, не почудилась, была, и какая ж это темная, подземельем дышащая, мертвая снаружи, а с изнанки живая сила!

Русский мальчик, ровесник его сестры Доры, рос потихоньку там у себя, на Волге, неведомый миру. «Игрушки не увлекали его, он норовил поскорей сломать их, — расскажет через много лет его сестра Анна. — Так как мы, старшие, старались его от этого удержать, он от нас прятался. Раз на день рождения нянька подарила ему тройку лошадей из папьемаше, запряженных в сани. Он подозрительно пропал где-то с новой игрушкой. Начали мы его искать и нашли за одной дверью. Он стоял тихо и самоуглубленно и откручивал ноги лошадам, пока они одна за другой не отвалились». Через десятилетия, когда некая страшная сила будет отрывать ноги-руки, головы миллионам лошадок и человечков, не игрушечных, настоящих, — встрепенется ли, вскинется ли мальчик Володя во Владимире Ильиче? Кто знает. Вожди не упоминают о детстве, точно его у них никогда и не было.

Рандене. О весне и лете, кажется, уже упомянуто? Теперь — зима. Незамерзающие, дымящиеся полыньи на Даугаве. Визг санных полозьев по рыжеватому, отполированному до блеска насту. Сугробы. Утреннее откапывание и протапывание тропинок. Узор на стекле, протаивание в нем прозрачного кружка — губами, дыханием.

Трижды прожитый в Рандене цикл времен года; но мы пропустили осень.

«Осенью — оживленное сообщение с городом. Отец выращивал много капусты и травы на сено. Капусту продавал армии. Солдаты приходили и саблями отрубали капустные головы. Сено тоже увозили. В хозяйстве имелась и большая молочня. Молоко отправляли в город, и самим оставалось достаточно. Я и теперь питаюсь большей частью молоком и молочными блюдами».

Поздней осенью проводились артиллерийские стрельбы. Пушки Динабургской крепости стреляли оттуда, из-за реки, на семь километров. Снаряды пролетали над обитателями Рандене, падали за лесом, иногда задевали и обламывали верхушки деревьев. Там же, за лесом, после этого слышались звуки трубы, мелькали пестрые, как на празднике, флажки — сигнализация. Потом на дороге появлялись солдаты, разгоряченные, потные, всегда бегущие куда-то, как будто занятые взрослой жутковатой игрой, в которую чужих не принимают.

По окончании стрельб окрестные жители разбрелись по лесу, по лугам и полям. Искали искореженные куски металла: их можно было приспособить в хозяйстве, а не то продать. Дети были первыми. Бывало, находили неразорвавшуюся гранату. Тогда швыряли ее в костер или еще как-нибудь пробовали подорвать. Кого-то покалечило, — кого? Через годы он забыл, а тогда-то, конечно, помнил, знал все и во всех подробностях, передававшихся с прибавлениями по окрестным хуторам и усадьбам. Слухи пробегали немалые расстояния быстрее всякой сигнализации.

«Около 1870 года в округе распространилась какая-то эпидемия — кажется, холеры; много народу умерло. У меня осталось в памяти, как умершим клали в гроб бутылку водки... Тогда был голод, люди скитались в поисках работы и пропитания. Должно быть, перед тем был неурожайный, «сухой» год. Отец ставил жилой дом, строил хозяйственные помещения. Тогда же недалеко от нас строили железную дорогу, линию Калкуна—Паневежис*. Я бегал то и дело на стройку, так нравилось глазеть на все это. Времена были интересные, разворачивалась новая жизнь. Строили железную дорогу — и следом за ней шла промышленность. Все это так живо отпечталось в памяти детских лет (мне было 6—7)».

После военных учений родители брали его с собой в город, в Динабург. «Он казался мне высоким, огромным, и вся жизнь в городе, все движения оказывались быстрее, чем дома». Еще бы не быстрее!.. Но все-таки и в Рандене жизнь была проточной, текучей, приостанавливаясь и несколько застывая только зимою. Однако и тогда скрипели по дороге полозья, двигались и шумели люди, мать пела, сидя за старым ткацким станком, и пристукивала в такт, пригоняя к продольной нити основы новую поперечную нить, а к песне — песню.

* Часть железной дороги Динабург—Шяуляй, открытой в 1873 году.

«Первые мои литературные впечатления явились из народных песен, моя мать их знала очень много и петь любила; позднее, в гимназические годы, я записал с ее голоса больше сотни латышских народных песен. Так же точно и литовские песни, и скорбные народные мелодии белорусов (гудов) я слышал с пятилетнего возраста и лет до пятнадцати, самое меньшее. Литовец, старый Марцулис, может быть — самое глубокое из моих детских воспоминаний: как он целый день напролет крутит ручной жернов, как тянет нескончаемую песню, такую же монотонную, как его работа. По ночам, просыпаясь, я слышал напевы гуда Недзвецкого, нашего сторожа, — так поют осенние ветры. В воскресенье два работника, латгальцы, заводили долгую песню про графа Платера и его несчастную судьбу — как совсем молодым он окончил жизнь на виселице, своей волей пошел на смерть вместо брата-мятежника: брат только-только женился, вот граф и пожалел его. Помню и сейчас еще мелодию и несколько куплетов этой песни: так прекрасна была она и так печальна, что слушатели всякий раз заливались слезами. Мог бы я спеть еще и сегодня песню молоденького еврея-рекрута про солдатскую службу и про того же беднягу Платера. Молодому еврею, маляру, предстояло той самой осенью тянуть жребий и, может быть, идти в солдаты, оставив невесту. Ему ли было не понять, что творилось в сердце графа Платера!»

Песня была свежая. Меньше десятилетия отделяло тогда и певцов и слушателей от событий, так сильно подействовавших на народное воображение. Во время польско-литовского восстания 1863—1864 годов прямо напротив Рандене, на другой стороне реки томился в крепости, ожидая смерти, граф Леон Платер.

Строки из подлинного приговора:

«Полевой военный суд, признавая виновным графа Леона Платера в том, что, находясь в сношениях с польским революционным комитетом, он первым поднял знамя бунта в Витебской губернии... приговорил помещика графа Платера казнить смертью расстреливанием».

Песня что-то додумала, что-то перепутала, что-то пересотворила, но за ней была своя правда, более точная, чем правда протокола. Сила этой песенной правды была такова, что она проникала через все защитные покровы, через невидимую броню, которой отгораживается человек от чужих несчастий, и трогала внутри людей голое сердце.

Песня начиналась так:

*Повязали меня, помещика,
Господина большева, Платера,*

*Отвели меня в тюрьму темную,
Где ни проблеска света белого...
Как вели меня из тюрьмы потом
По Динабургу, через город весь,
Музыканты вокруг все стоят в строю
И поют, и играют про смерть мою.*

...А еще в этих местах, на этой реке, по которой, вспомним, проходил в древности путь «из варяг в греки» — или одно из ответвлений этого пути, — всегда соседствовали, задевали друг друга, торговали, дрались, мирились, рождались и взаимно отталкивались многие племена и народы. «Не считая уже упомянутых (то есть литовцев, белорусов, латгальцев), мы оказывались в повседневном общении с русскими, в том числе старообрядцами, с польским дворянством, немецкими бюргерами, а в доме нашем говорили примерно на восьми языках и наречиях, бывало, что и между собой — на всех восьми разом».

Как ни суди, круг впечатлений этого ребенка шире обыкновенного. Притом они не превращались в бессмысленный калейдоскоп случайностей: живой и постоянный приток новостей сочетался с устойчивостью обычаев и понятий, с налаженным кругооборотом крестьянских работ, выстроенным еще в предыдущих поколениях.

Живи маленький Янис только в усадьбе, вдали от многолюдных дорог, он бы вышел к своим зрелым годам бедней вполтину; живи он только в городе — и несколько улиц загородили бы от него луга и озера, разливы Даугавы... да что там перечислять — полсвета, полмузыки смолкло бы и погасло, не успев просиять или быть услышано.

Но ему досталось все вместе: река и дорога, город и живой деревенский простор. И еще невольное одиночество, потому что родителям было не до него; да тонкая кожа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЫБОР

Переезд! Опять переезд. И первая в жизни разлука.

Семья разделяется. Мать остается хозяйкой в Рандене, при ней и двухлетняя Дора. Кришьянис Плиекшан, Лизе и Янис перебираются в новый дом. Это недалеко. Версты две с небольшим нужно проехать вдоль берега, по большой дороге, до Земгальской Гривы. Этот городок Курляндской губернии заглядывал через широкую Даугаву в окна Динабурга, относившегося уже к губернии Витебской. Старый мост, соединявший берега реки, был границей. С прохожего здесь брали мзду: копейку. За что? Да так, ни за что; кто-то бочком-бочком норовил прошмыгнуть даром, — нет, брат, шалишь! Изжелта-седой еврей затевает бессмысленный спор с презрительно ухмыляющимся сборщиком пошлины: стенания, воздевания рук, призывание неба в свидетели, брань сопровождаются улюлюканьем и подзуживанием публики. Затор, сердитое лошадиное ржание, перепутывание морд, кнутовищ, оглобель, вожжей, иной раз — и кулаков.

Грива по-латышски — речное устье. Земгальская Грива — то место, где впадает в Даугаву речка Лауце. Тут рядом немецкая школа, в ней Лизе училась, в нее, Бог даст, со временем поступят и Янис, и Дора. Когда едешь из Рандене, через речку переезжать не нужно. За школой повернуть направо, дорога сама поведет, через Калкуну, то приближаясь к речке, то удаляясь от нее. Еще поворот; вот и белая церковь, и господское кладбище. Дальше тянется аллея, высоченные липы и вязы — прямой путь к барской усадьбе Беркенеле. Хозяин здесь теперь — Кришьянис Плиекшан. Кто бы мог подумать! Сравнялся... почти сравнялся с немецкими баронами: именно им, их предкам принадлежала эта аллея, эта усадьба. «А вон там, — указывает отец хладнокровно на каменное невысокое строение, — по ихнему приказу секли нашего брата до крови».

События своего и тем более чужого детства видятся нам как бы в перевернутый бинокль — уменьшенными до смешного. А смотреть надо, может быть, и в бинокль, но уж никак не в перевернутый. Пятнадцатикратное, если не больше, увеличение необходимо только для одного: чтобы возвратить событиям их истинный масштаб.

Если так именно, то есть правильно взглянуть на первое расставание семилетнего мальчика с родной матерью и младшей сестрой, то не будет нужды описывать его тогдашние волнения. Предвкушение будущего, тоже вдруг захлестывавшее, смесь любопытства и нечаянной (даже как будто неприятной) радости с ноющей болью: уезжать, отрываться от матери страшно — как второй раз родиться.

Да, кто спорит, недалеко уезжал он, не навсегда расставался. Верст десять теперь будут разделять их. Да вот беда: версты эти не раз и не два окажутся непреодолимыми. Нельзя владелице Рандене отрываться от хозяйства. Десять верст туда, десять — обратно. Где взять время? Как это, все бросив, отправиться куда-то не по делу, а просто так, повидаться? Точно так же и отец, и Лизе будут привязаны к своему новому дому, к трудным, особенно поначалу, нескончаемым хлопотам. Крестьянская жизнь строга и отлучек, даже самых кратких, не любит, — а жизнь Плиекшанов, при всем набранном размахе, была жизнью крестьянской. Единственный, кто мог себе позволить почаще отрываться от дома, был сам Кришьянис Плиекшан, — его к тому понуждали дела и, может быть, увлечения, которые никогда не были чужды его азартной и властной натуре.

Так что первое расставание — оно и было расставанием. Как оказалось, на долгие годы, а в чем-то, как опять же оно бывает с любым расставаньем, — навеки.

Аллея была длинная, в четверть километра. Внутри, под кронами, и в разгар дня были сумерки. Такие же старые могучие деревья окружали усадебный двор, в их тени дом, одноэтажный с фасада, смотрелся довольно угрюмо. И тем внезапней с другой стороны открывалась взгляду совсем другая картина. Дом, превращаясь тут в двухэтажный, оказывался на гребне крутого холма. Внизу курчавились сады, расстилалась по-южному живописная долина, вдали замыкавшаяся новыми холмами; дальше виднелись леса, рощи, где-то возле горизонта протянулась иргушечная издали железная дорога.

Реки здесь не было. Был зато пруд, мочила для льна, большой старый сад, а еще дальше — озеро.

Отец был занят с утра до ночи, да и ночевал часто не дома. Мальчик

с момента переезда оказался на попечении старшей сестры. Она делается и его первой учительницей.

Деда Райниса со стороны и отца и матери смолоду были грамотеи. Причем в тех местах и в те времена (начало девятнадцатого века) они не были исключением. По церковным книгам можно видеть, что из числа их ровесников к моменту конфирмации читать и писать умел каждый второй, в списках против их имен стояли две буквы: «у.г.» — то есть «умеет грамоте».

Кришьянис Плиекшан окончил приходскую школу. Учили там читать и писать по-немецки. Уже в молодые годы отец Райниса знал кроме родного еще три языка: немецкий, русский, литовский. Мать, Дарта Плиекшан, говорить умела на тех же языках, а читать, кажется, только по-латышски. Когда сын уедет в Ригу, он к сестрам и отцу будет обращаться в письмах по-немецки, а к маме — всегда и только по-латышски.

Литва была рядом с местами, где росли отец и мать Райниса. В Литву, например, ездили покупать поросят, — там они были дешевле.

Без немецкого нечего было и думать преуспеть в делах.

Русский — официальный язык империи — следовало употреблять в судебном присутствии, на рынке, в Риге и Витебске, просто на большой дороге, — чтоб тебя не обвели вокруг пальца.

Польский, белорусский, латгальский тоже понадобятся в новых местах и будут освоены по мере надобности. Кто многоязычен с детства, тому нетрудно освоить еще один говор или язык: ум его уже приспособлен к тому, чтобы отмыкать чужие системы звуков и связанные с ними миры (ведь изнутри каждого языка вселенная выглядит уже несколько иначе; каждый предмет не просто назван, он когда-то впервые увиден по-другому, соотнесен с соседними предметами и явлениями тоже не совсем так, как в твоей родной речи).

Крестьянин никогда не станет запоминать слова, которые ему не пригодятся сегодня-завтра. Только острая нужда может заставить его сделаться полиглотом. Многоязычен был мир вокруг, и это-то побуждало самых смекалистых, самых талантливых и еще: самых свободных, то есть небедных латышей обзаводиться полудюжиной языков и наречий. Они были вроде связки ключей, открывающих запечатанные входы; без них торкнешься туда, ткнешься сюда, — везде тупик.

А любили-то они свой врожденный, материнский язык. Звуки, пришедшие то ли вместе с материнской песней, то ли раньше, до нее. Как долго и вкусно тянутся долгие гласные, как коротки краткие! Как

звонят в родном языке звоны, как листья шуршат, шебуршат и шушукуются, как громахают громы, как умеет слово вместе с тобой, человеком, всхлипнуть и вздрогнуть! Ни от одного из чужих слов не становится сладко во рту или солоно или горько — хотя ничего еще не съедено, не попробовано на язык, кроме самих слов: «салдумс», «салс», «ругтумс»*.

...Лизе к восемнадцати годам была девушкой образованной, а не просто «умеющей грамоте». Она не только говорила по-немецки, но и писала без ошибок, точно, дельно и несколько сурово (но и не без юмора) выражая свою мысль. В школе она читала и по латыни, изучала историю — и потчевала своего семилетнего братца рассказами о древних богах и героях, греческих и римских. Латышская грамота была ей тоже известна, но Янису поначалу ее не досталось. Хозяйских детей принято было с первых шагов учить по-немецки, и Лизе взялась за дело именно так, как было принято.

Райнис со временем напишет о Лизе: «То была прекрасная и благородная душа, пламенно желавшая творить добро, но не знавшая путей к этому, наивная девушка, опытом суровой жизни приученная к исполнению долга и не позволявшая себе ни малейших сомнений». Это — из автобиографической новеллы «Упрямец». В записях для себя он куда строже. «Может быть, лучшая из нас...» — Да, это он написал. А дальше: старая дева, ограниченная, со всеми свойствами и странностями, отсюда вытекающими.

Опять новелла: «Росла она одиноко и никогда не умела по-настоящему свыкнуться со своим окружением, которому привыкла, однако же, безропотно подчиняться. Она прекрасная, заботливая хозяйка, душа дома. И никому так не постылы эти хозяйственные заботы, как ей, эта однообразная жизнь, мелочность, копеечные соображения, этот единственный разговор даже и по праздникам о скотине и курах... Но оставалась в ней тайная невысказанная надежда, единственно дававшая ей силы бороться: неся ярмо нудной повседневности, она тем самым ее и осилит, вырвется из трясины, сломит вечный гнет. А если не победит она, эту тайную борьбу продолжит ее духовный наследник, любимец, маленький Джек».

На самом деле старшая сестра звала его, как мы знаем, Жан, Жанчик, Женечка. «Все в ней содрогалось при мысли что он может оказаться одним из этих жалких людишек: Екабов, Кришьянисов (!!), Стефанов. По крайней мере, столько-то она смогла: назвать его Джеком. Она любила в нем свое несостоявшееся будущее и не знала, как ему помочь. Учение она понимала только так: строгость и самопожертвование. Человек

изначально дурен — вырвать корень зла, пока не поздно; лень, ложь — как им не быть? — вон, вон, как сорную траву с поля!»

Итак, Янис оказался после переезда в Беркенеле в полном распоряжении сестры, отданный на милость ей и ее любви, — а любить она умела, как выяснилось, только деспотически, так, как и ее самое любили.

Поле битвы сделались азбука, грамота, письмо, книга. Лизе появлялась перед младшим братом как олицетворение сурового долга. Голубенькими неуступчивыми глазами навстречу ей глядела естественная, еще никем не оспоренная свобода.

Райнис объясняет (из своего взрослого будущего): Джек, он же Янис, он же Жанчик отпихивал протянутую ему книгу потому, что был убежден — его отрывают от настоящего дела! Дело-то — вот оно: жизнь. Лес, пруд, сад, песни гуда Недзвецкого, игра. От всего настоящего, живого его за руку волокут к чему-то выдуманному и скучному и притом, кажется, не совсем настоящему, не совсем живому.

Азбука было немецкая. Слова были немецкие. Чужие слова жестче, строже своих. Нет в них домашней приветливости, а есть что-то от накрахмаленных воротничков, в которых торчат красные шеи самых важных, деревянных от немолодости гостей.

И милая сестра превращалась в неумолимую *die Schwester, die Lehrerin**, не знающую снисхождения и жалости, разом как будто забывшую, что можно друг друга любить. Отбирали у него солнце, волю, отбирали сестрину доброту и ласку, отбирали даже родные слова, а взамен совали под нос бумагу с черными значками. Измышленого живого ребенка Янис вдруг превращался в тупицу, противного себе и окружающим.

Правды пришлось доискиваться. Допытываться: что же там стряслось? Есть, значит, новелла «Упрямец». Кто-то разбил стекло, мальчик (Джек) уверяет, что не он, строгая сестра убеждена, что ее обманывают. Признайся, что соврал, говорит она, и ничего тебе не будет. Что делать Джеку? Стоять на своем? Сестра накажет. Соврать, что виноват? И потом уже лгать везде и всюду, когда и где это ему будет на пользу? «Где спасение? Нет спасения».

В записях, отывочных воспоминаниях из времен детства у Райниса многократно повторяется: «Меня не били». «Не секли». «Ни разу не сечен». И — на какой-то из сотен страниц — вдруг: «Розги единственный раз».

* Сестра, учительница (нем.).

Имеется и другой рассказ о том же происшествии. Несколько страниц в романе, написанном женой Райниса уже после его смерти и опубликованном в тридцатых годах XX века. Литературный псевдоним самой известной латышской поэтессы и драматурга, Эльзы Плиекшан, урожденной Розенберг, — Аспазия. Много раз она, Аспазия, повторяла, что в ее романе «Осенний соловей» изображены реальные события. Так оно и есть. Память у романистки, особенно там, где речь о ее друзьях, недругах или обидчиках, цепкая. Райнис в книге изображен под именем Ярмута Асминса.

«Видите ли, — промолвил Асминс, — когда-то я был таким ласковым мальчонкой, которого солнце гладило по головке, точно птенца. Милому боженьке я верил тогда, как отцу родному... У отца-то для меня никогда не было времени, вечные дела. Не оставалось для меня времени и у матери. Воспитателем моим сделалась старшая сестра; отравленная ранней горечью, она была со мной строга. Второй сестре еще предстояло подрасти, она была на пять лет младше меня... И однажды произошла катастрофа, повлиявшая на всю мою жизнь». (Дальше — уже известная нам история: разбитое стекло... нет, пропавший моток ниток; короче — предполагаемая мелкая провинность мальчишка, ставшая поводом для дальнейшего). И предложенный сестрой выбор: соври — и тебе будет хорошо, скажи правду — и тебя накажут. «Какая борьба кипела в бедной мальчишеской душе! Как трепетала слабая неокрепшая плоть перед розгами, которые уже злобно приготавлила сестра! Я остался при своей правде. И тогда сестра задрала мою рубашонку и излупцевала — да так, что рубцы выступили. Ни звука я не издал, и это распяляло сестру еще больше».

Все это рассказывает молодой талантливый журналист, редактор популярной латышской газеты женщине, в которую он влюблен и доверие которой хочет вернуть после серьезной, если не роковой размолвки.

Похоже, каждое слово тут действительно было сказано молодым Райнисом молодой Аспазии. *«И что мне оставалось? Стать лжецом, научиться выскальзывать отовсюду, как гладкая рыбешка проскальзывает сквозь ячеи сетей, или же возненавидеть все и вся? Трудно ребенку жить ненавистью, любовь потребна ему, как младенцу молоко матери.*

— Я тоже это знаю, — вставила Арта (главная героиня романа «Осенний соловей», бесспорно — автопортрет Аспазии).

— Тогда, — продолжал Ярмут, — я отказался от любви, согревающей, как согревает солнце. Стал искать спасения в себе самом. Растить в себе энергию.

— Возможно ли это? Ведь вы были совершенное дитя? — спросила Арта, глубоко тронутая.

— Я начал с того, что понемногу заглушал в себе влечения, которые могли бы увести в сторону или ослабить мои силы. Например, я любил сладости и мог бы их получать сколько угодно, но я себя пересилил и от лакомств отказался. Я не прочь был бы разгуливать в модных одеждах, сапогах, в шелковой рубаше с богатым поясом, в духе тогдашнего народного романтизма. Да и отец меня желал таким видеть, но я преодолел и это искушение. Понемногу я отбирал у себя все, оставляя лишь самое необходимое, чтобы научиться владеть собою, чтобы можно было сказать: да, я сам себя создал».

Новелла Райниса «Упрямец» и рассказ Ярмута Асминса, то есть того же Райниса в романе Аспазии различаются в деталях. В новелле автор умолчал о розгах. Об экзекуции, которая и есть суть катастрофы.

Катастрофы? Ну да. Ведь не наше же это слово, — его. Его слово, его ощущение, тут можно довериться прочитанному. «Катастрофа, повлиявшая на всю мою жизнь».

Происшедшее не казалось ему безвыходным. Оно было — для него, такого, каким он уже был, — безвыходным. Выхода и не нашлось. То беззаботное, всех любящее, ласковое дитя в несколько минут перестало существовать. Из тьмы, из полной гибели явилось на свет новое существо. Тихий, очень тихий мальчик. Решивший раз навсегда, что не приходится ни от кого ждать спасения, что надо жить в одиночку. Чтобы не зависеть от взрослых, совсем ни от кого не зависеть. Вот здесь его будущий характер выявился и, может быть, окончательно определился.

Пережитый слом, что-то вроде мутации, оказался началом длинной цепи. Жизнь этого человека выстроится как ряд почти отделенных друг от друга, почти заново начинаемых каждый раз жизнью. Причем всякий раз возрождение будет происходить как бы через смерть, через драму очередной безвыходности, очередной волчьей ямы. Свет будет рождаться из сгущения мрака. Из самой густой и концентрированной тьмы.

И вот что напишет Джек, Жанчик, Янис через сорок лет. Запись в дневнике Райниса, 23 февраля 1913 года. «Что было у меня, что осталось от материнской любви, от любви отца, от любимой? Никогда не умел я ни всего выслушать, ни всего сказать, — а что говорил, того не понимали. Я оставался чужим. Никогда никому я не мог довериться до конца, не боясь, что заветное твое подвергнут осмеянию. Жертвовать всегда умел, но это вовсе не то, что доверие и самоотдача, отдача твоей личности

другому, другой, чтобы выйти без всякой боязни из своей скорлупы. Народ... и даже дело мое — не понимают меня, я становлюсь и для них все более чужим, сам в себе вырастая. Есть ли надежда, что найдется когда-либо тот, кому можно открыться?»

Начало этой черной горечи — в истории с клубком или там с разбитым стеклом... трудно вчуже поверить, сколько вместе с ним разлетелось вдребезги.

Среди записей Райниса, относящихся к раннему детству.

«Два кризиса. —

Кровавый застенок.

Упрямец.

Первая любовь в Оландерне».

Первая любовь, конечно же, с нее нужно было начинать.

Еще запись.

«Понемногу пробуждается память

светлое пятнышко становится четче

разделяются оттенки, краски, линии — и ясной картиной выныривает мое детство. Так из света и солнца рождаются плитки жизни: тут вот — по моей воле, а там, глядишь, и без понуждения, сами собой».

«Сами собой» в записях Райниса повторяются строки о Лунной дочери, о пятилетней Иде Апсане.

Помню, меня когда-то озадачило это словосочетание: дочь Луны. Не слишком ли изысканно? — думалось в некотором смятении. Я не знал еще, что добрую тысячу лет латышская народная мифология женит Божьих сыновей на дочерях Солнца, что в дайнах живут с незапамятных времен Мать Земли и Мать Ветров, Мать Моря и Звездная дочь.

В этом ряду и райнисовская дочь Луны, — она тоже пришла откуда-то из песен, слышанных Янисом от матери в чутком полусознании младенчества.

За этим светом, за солнцем

И за самой собою —

Солнцеволосяя дочь Луны:

Трепет, сиянье зеленых глаз...

Это — первое воспоминание изгнанника, возвращающегося из далекой ссылки. Приближаясь к дому, измученный, рано постаревший человек был, точно вспышкой, освещен этим пробившимся издалека

взглядом: на него смотрела пятилетняя Ида Апсане, глаза ее как были когда-то, так и остались зелеными.

Ее отцом был Екабс Апсанс, арендатор, живший неподалеку, в Оландерне, — соседей разделяло не больше двух верст. Пликшан и Апсанс дружили домами. Когда родилась Дора, Екабс и Анна Апсансы стали ее крестными. И второе имя было дано Доре в честь ее крестной: Анна.

Ида Апсане была, может быть, первой девочкой, с которой маленькому Янису позволили говорить, играть. Одна его сестра была уже взрослой. Другой — всего два года, и живет она с мамой, в Рандене. С детьми батраков хозяйскому сыну видеться, как мы знаем, запрещено.

С тем большей силой должно было вспыхнуть в нем восхищение при взгляде на златоволосую гостью.

Нужен другой взгляд, чтобы осознать себя самого. Когда кто-то золотоволосый смотрит на тебя снизу вверх весело и доверчиво и видит, какой ты в свои семь лет умный, сильный, надежный, какой ты ловкий и прыгучий, — только тогда впервые видишь и ты сам себя.

Впервые он почувствовал, что можно любить другого, не принадлежащего тебе и твоему дому человека. Все твои — это ты сам, твое продолжение или ты — их продолжение, не все ли равно. А это золотоволосое создание явилось извне, и жизнь отозвалась сиянием, о котором в обыкновенных обстоятельствах никто не подозревал. Твое существование доводилось чужим и отдельным существованием до какой-то дивной полноты, и все, что жило вокруг разрозненно, насытилось общим, всесоединяющим смыслом. Девочка ничего для этого нарочно не делала, — так, смеялась, лепетала что-то, смотрела, бежала, останавливалась, касалась твоей руки... а деревья, постройки, муравьи, телята, люди вдруг связывались в цепочку, как слова в речи, и становились частью тебя, частью друг друга, частью чего-то, что было высоко над ними всеми и над тобой тоже.

Праздники ожидания прибавились к огромным гулким пространствам начинающих по пробуждении непредсказуемых дней. А вдруг Апсансы приедут? Или мы поедem к ним в гости? И мало ли что еще могло случиться в новом мире, перекроенном любовью. Что же в этом другом человеке такого? Каким таким ключиком он открывает в тебе смех и бессмысленное, победное торжество; почему хочется прыгнуть высоко-высоко

и, кажется, достанешь ветку сливы, до которой и взрослому-то не дотянуться. А когда тебе удастся рассмешить ее, то потом целый день помнишь, как ты замечательно ее рассмешил.

Я взялся рассказывать о жизни Райниса по порядку, но передо мной-то, нужно признаться, эта жизнь, вернее, эти семь жизней стоят не чередой, не цепочкой, а все одновременно, и я очень хочу, чтобы ощущение это постепенно передавалось читателю. Обыкновенная человеческая память устроена так, как мне нужно. Она не раскладывает по полочкам все, что с вами было, не отделяет предшествующее от последующего, не прикалывает каждый шаг и жест, как жучка на булавку, в порядке поступления. Все, что она сооблаговолила сохранить, свалено в блаженном беспорядке, что она захочет, то и вынет и покажет вам, или вы сами, приложив усилие, разыщете то, что понадобилось. Притом сила и яркость былых событий не зависят напрямую от их удаленности во времени, и ниточки причин и следствий там, внутри памяти, оборвались и перепутались; в том заколдованном пространстве время стоит или течет вспять или движется по-другому и, точно во сне, во всем проступает смысл, ясный и грозный, но перед которым пасует сиюминутный рассудок со всей своей деловитостью.

По этой-то логике, в этом-то свете мне нужно тут же, теперь же рассказать историю о том, как Екабс Апсанс в Динабурге забрел в известный дом, к *таким* женщинам и как обитательницы этого заведения обчистили арендатора, так что проснулся он с отвратительным вкусом во рту, голый и без гроша. Тривиальнейшее происшествие? Ну да. Только вот отец Иды Апсане после этого стал заговариваться: что-то в нем сломалось после этой оказии и уже никогда не поправилось. Эпизод относится к временам более поздним, но нам он понадобился здесь. Терпкая проза этой крестьянской трагикомедии почему-то необходима прямо рядом с благоуханной поэзией Яновой первой любви, с чистотой и прелестью двух детских взглядов, встретившихся лет сто двадцать с лишним назад и не отмененных протекшими временами ни на секунду, ничего не потерявших; два взгляда, зеленый и синий, — вот они смеются и радуются, и отвлекаются вместе на подбежавшую собачонку, на крутящийся в той же беспричинной радости куцый хвост.

И там, недалеко от пятилетней Иды Апсане — она же четырнадцатилетняя, живущая в пансионе вместе с младшей сестрой Яниса, Дорой. У бедняжки Иды на пальце нарыв, она весь день плачет и стонет. Янису в это время 16, он учится в немецкой гимназии в Риге. О несчастье Иды

Апсане он узнает из письма своей сестры. И сейчас он сидит, отвечает. «Скажи Иде, что мне жаль ее бедный большой пальчик и я желаю, чтоб он побыстрее выздоровел. Ну а теперь — сердечный привет всем, Иде в особенности (хотя бы потому, что она одна передавала привет мне) и много поцелуев тебе. А если еще какое дитя человеческое, за исключением старого и противного, пожелает, то я не против!» (Тут придется пояснить, что «старым и противным дитем человеческим» поименована содержательница пансиона, фрау Мюллер, над которой брат и сестра любили подшучивать).

И могила, ранняя могила Иды Марты Апсане — там же, на расстоянии каких-то шести быстрых, мгновенно и давным-давно пролетевших лет. Лизе в письмах довольно часто рассказывала брату об Иде, поддразнивала какими-то претендентами на руку его — как она не забывала присовокупить — «бывшей невесты». Но внезапная короткая болезнь и гибель навсегда оставили Иду «за этим светом, за солнцем и за самой собою». И когда поэт Райнис, преследуемый всемогущим государством, снова принужден будет бежать из Латвии, из России, — кто помашет ему вслед? Сорокалетнему — пятилетняя дочь Луны, Ида. Семилетнему (в сорокалетнем) — пятилетняя.

Поднял меня не рывок паровоза —

Ты, единственно ты!

Голого сердца коснулась ручонка,

Легкие пальчики, — дочка Луны!

Детства страна

Говорит мне еще раз: прощай!

Вслед за блаженным потрясением любви ждали маленького Яниса те два кризиса. Посреди безбедного, ясного, богатого людьми и событиями, но особенно красками, но особенно звуками, дивного детства мальчик провалился как в западню, как в замаскированную волчью яму в случай с сестриным наказанием. Нельзя было выбраться из ямы без посторонней помощи. Он тянул вверх руки, цеплялся за осыпающиеся стены, а навстречу ему склонялось лицо Лизе, как бы замещавшей вечно занятых мать и отца, воплощавшей все родное. Склонялось над ним, как во сне, это родное лицо, и дышало оно злобой и непреклонностью, и руки ее, такие знакомые, так часто гладившие его волосы, тянулись не затем, чтобы вытащить, а затем, чтоб столкнуть вниз, на самое дно, — но и дна не было, проклятая ловушка сообщалась с той бездной унижений, боли, несвободы, из которой тщетно пытались выкарабкаться по меньшей мере двадцать поколений его народа.

Два кризиса («кровавый застенок», «упрямец») сливаются в один. Только однажды Янис забрел в тот дом с маленькими зарешеченными оконцами, где когда-то терзали крепостных. С лестницей, липкой от крови. Кровь была пролита давно — и только что. То была все та же кровь, что и к нам липнет, и никак не отмыть ее, не стереть, хочется — не выходит. Здесь пытали и мучили. Раз, только раз он был там, — а память все возвращала и возвращала ему неосвещенные крутые ступени.

Нам-то что до тех обид, почти безобидных? Мы, столько знающие теперь о камерах Моабита и Лубянки, о газовых печах, о науськанных на голых узниках овчарках, о затопленных вместе с эсками баржах, — мы-то склонны подозревать, что помещицы жестокости это так... семечки. Ловишь себя на том, что хочется найти отдохновение там, в дымке веков, в простоте, патриархальности, уже недостижимой.

Но нет: кровь и там дымится. В 1872 году не все и не всё помнили хребтом, но уязвленная до рождения душа помнила и кровоточила. Эти плети могли гулять и по нём: наказывали по приказу господ и немцев, казнимые были крестьяне и латыши.

Те рубцы прибавлялись к рубцам на тоненькой кожице его спины. Сегодня почти непредставима такая сила сопереживания. Непрерывным потоком обрушиваются на нас рассказы о чужих несчастьях, о столкновениях, искалечениях, смертях, о бесконечной пытке, творящейся вблизи и вдали над людьми. Янис Плиекшан жил еще действительными событиями, жизнь была равновелика тому, что обнимали глаза, что слышали уши.

Да ведь и не только же сейчас, не только семь лет назад он родился? Знание о всех столетиях своего рода живо было в его крови. Это знание, присутствующее в человеке с первых его дней, в младенчестве наиболее свежо и полно, а с годами притупляется, его заносит помаленьку житейской пылью, песком дорог. Семилетнему Янису предстояло вырасти и сделаться поэтом своего народа. Не в обыкновенной степени надлежало ему поэтому слышать и ощущать ту древнюю суть, что прячется в памяти клеток, где бесконечно малое готово обернуться беспредельным.

Давние сражения, беспомощность, ярость, мощь восстающей, выпрямляющейся из-под в-три-погибели-согнутости, выпрастывающейся из-под гнета души, высшие миги и низшие миги, зигзаг молнии, гул и треск пожара, запретная ласка, лишаясь образа и формы, преображаясь в некий шифр, укладывались в непрерывную память поколений. Если бы генную память можно было, не нарушая хрупкой сохранности человека,

достать из тех пропастей, извлечь и разложить на составные, расколдовать, вынуть из нее первоначальные касания бытия... Нельзя этого. Слава Богу, есть тайны запечатанные. Эти соты с их содержимым не про вас, аналитики, раскладыватели по полочкам, анатомы. Эти тайны и живы-то лишь до тех пор, пока они — тайны.

Случайно приоткрываются иные из событий, которым надо бы быть в той копилке. Вот так из преджизни поэта Райниса сделался известен эпизод, относящийся к определенному месту и времени.

1445 год. Ливонские рыцари возвращаются из набега на русскую, новгородскую землю. Из кровавой сутолоки средневековья выхватим этот миг.

Водской пятиной называлась та область новгородской земли, куда ходили за добычей ливонцы. Край этот, который немцы называли Вотляндией, уже двести лет не давал им покоя. Вотланды (а в русских летописях — *водь*) — народ финского племени — сами по себе дать отпор железным всадникам и их безжалостным кнехтам не могли. Вступятся за них русские, когда узнают о набеге, но это когда еще будет! — а пока что деловито, неумолимо работают мечи. Женский визг, детский надрывный плач обрываются на самой высокой ноте. Кнехты хукают при ударе, как дровосеки. Иногда льющаяся кровь слышна, — точно откупорили бочку с вином; кости и сухожилия неприятно трещат, распадаясь. Крики, вой, иногда безумный, раздаются снова и снова. Бледность, сильная рвота бывают у новичков, и они потом стыдятся, выслушивая подначки бывалых бойцов. Есть любители именно сверлящего уха, именно что безумного животного воя (похоже иногда кричит задираемая волком, долго-долго терзаемая им в ночь коза). Правда, этакие любители почему-то со временем неважно кончают: сламывается что-то в них, внутри. То вдруг голос делается бабьим, то садится на брюхо незаживающий свищ, то глаза гноятся. Нет, воин должен быть храбр, спокоен и деловит; не столько страсть потребна в работе убийства, сколько сноровка.

На этот раз убийство — не цель набега. Ошеломить мирный здешний народец, отнять всякую волю к сопротивлению. Показать, что спасенья нет и не может быть, что пощады нет и не будет. Не дай им опомниться — бей! — можешь вращать для устрашения глазами, можешь и не вращать. Бей однако с выбором. Оставляй каждого второго, а потом и чаще, но помни: ни одного испуганного не должно остаться. Бей

с умом, заколи никому не нужного старика, а сына его оглуши, не слишком сильно: он пригодится. Теперь гони их, сгоняй в кучу! Оставь в покое меч, на тебе плеть, не давай им передышки, следи, чтобы хотя бы один удар доставался каждому без изъятия; конем, конем тесни! Ты что, первый раз в облаве? Эге-ге-ей, улю-лю! — положи их на землю, мордой в грязь; кто там поднял голову? — лишняя, лишняя у него голова; вот так-то лучше, и другие будут умней. Встать! Не понимают по-немецки? Пусть учатся. Встать! Лечь! Встать! Лечь! Еще сто раз! Эти два слова они уже не забудут.

Пыль. Белая какая-то, невкусная, не успевает осесть. Благо первым, открывающим шествие. Но не верится, что где-то там, впереди, есть ему начало: огромной кишкой извивается толпа пленных. Разделить бы их на отрезки... Но чем отдельней — тем неуправляемей и уязвимей. И без того то и дело приходится добивать отставших. Сам магистр погоняет жестом братьев-рыцарей, и взмах его руки передается мгновенно, судорогой нового оживления проходя по бесконечной колонне. Спешить, нужно спешить! Слишком неповоротливы немцы, обремененные тысячами невольников; слишком сложным куском пресной лепешки заткнуть все черные рты. Даже водопой становится предприятием сложным и опасным, и уровень их оцепенелости все труднее поддерживать, приходится сызнова поднимать планку жестокости, как бы бессмысленной, а на самом деле единственно разумной. Вот на берегу попутного озера очередная дюжина счастливых встает на колени в месиве из тростника, грязи, ила, только что оставленном их предшественниками. Вот они наклоняются, тянутся вперед как можно дальше, чтобы губами достать менее замутненную, не такую рыжую воду. Животные, как есть животные! Не верится даже, что каких-то два-три дня назад выглядели вполне по-людски, — высокие, куда выше среднего, по-своему, нужно признать, красивые. Хватают и эту нечистую, ржавую воду жадно, втягивают, как земля после засухи. Все! Хватит! Вы пришли сюда не для собственного удовольствия, доннер-веттер! Но очередную партию следует переместить правее, это приказ. Наверху проявлено резкое недовольство. Неужели неясно, что вода должна быть приемлемой? А если после водопоя начнутся поносы, может быть, даже падеж, — кто ответит? К чему тогда все предприятие, готовившееся так тщательно и в такой тайне? Достаточно напомнить, что языки тех мальчиков-ливов, что были заподозрены в ненужной осведомленности, отрезаны были с поспешностью почти неприличной. К чему тогда, спрашивается, понесенные жертвы?

Пленники на сей раз — цель похода. Люди, рослые, здоровые и работоспособные, не понимающие ни слова по-немецки, не могущие объясниться и с другими обитателями Ливонии.

Невольников гнали на строительство в Бауску. Новый орденский замок должен был встать у слияния рек Муса и Мемеле. Здесь проходил напряженный и дышащий вечной угрозой путь на Литву. Уже больше года продолжались земляные работы, отвлекая и выматывая ближних крестьян, без охоты исполнявших затем другие повинности. Замок должен был олицетворять в их глазах и в глазах их последышей непроницаемую тайну, непостижимость воздвигнутой над их головами власти. Да и военные секреты будущего сооружения следовало замкнуть от непосвященных с момента замысла: не только немцы — даже и немцы, вплоть до особ высокого и высочайшего ранга не должны быть осведомлены о том, что скроют за собой могучие стены. Вот отчего проявлена была небывалая осмотрительность во всем, что соприкасалось или могло соприкоснуться с будущей твердыней.

Захваченные в новгородской земле пленники, потеряв в пути каждого третьего, были наконец приведены к месту в количестве четырех тысяч. Их было, точнее, 4093. Однако 093 и считались, и не шли в счет. Округление цифры давало некоторую свободу действий, без какой военной человеку нельзя.

Переговариваться пленникам не разрешалось. Стража, надсмотрщики и строительные мастера объяснялись с ними знаками, и понятливость пленника поощрялась некоторым уменьшением побоев, добавкой пищи. С помощью жестов производилось и необходимое обучение. Ни один туземец не подпускался теперь ближе, чем на десять верст. Немецкому персоналу рекомендовано было по возможности не беседовать при невольниках: как поручиться, что какой-нибудь чересчур смысленный вотландец не овладеет немецким, лоя его по крохам, и таким образом не сведет насмарку все предосторожности?

Строительство продолжалось еще одиннадцать лет. Судьба пленных до последнего дня не была решена, вызывая обеспокоенность. Уничтожить их всех было задачей исполнимой, но трудоемкой. Вне боя и вызываемого им справедливого ожесточения убивать неприятно: не каждый все-таки родился палачом. Да и негоже принуждать своих же людей к тому, что в иных случаях они сами выполняют самозабвенно.

И еще. Три тысячи оставшихся к 1456 году в живых вотландцев могли принести дополнительную выгоду. Это простое соображение все решило. Тем более, что принятые меры сделали людей как бы

глухонемыми. Через одиннадцать лет после пленения они, правда, как выяснилось, не забыли родной язык, но по-немецки умели вспомнить только два слова: «встать!» и «лечь!». Братья-рыцари, узнав о результатах проведенного лингвистического изыскания, очень смеялись.

А затем три тысячи невольников были посажены на земли в Яунсауле и Вецсауле, в Стелпе, Иецаве, Мемеле, Залве, Вецмуйже и Берзмуйже, в окрестностях Бауски. Лет триста криевини* — так называли местные уроженцы пришлых людей — медленно, очень медленно забывали свой язык, всасывались новой средой, сплетались с латышским крестьянством, покуда не слились с ним до конца, неотделимо. И только в названиях домов, заменявших вплоть до середины XIX века родовые фамилии, остались слова позабытой речи. И вот имя дома — того дома, где около 1788 года родился дед Райниса, отец отца — Андрейс, а в 1828 году — его отец Кришьянис Плиекшан, — привело ученых к убеждению, что предки поэта по отцовской линии происходят из Водской пятины и в 1445 году проделали описанный нами путь к Бауске.

Давнее потрясение, слом всей текшей издревле судьбы, пленение не могло не отложиться в крови. Может, и эта боль очнулась в маленьком Янисе, заставила себя вспомнить при взгляде на пыточную камеру в Беркенхегене? То есть не одна эта, но и она тоже? Рубцы, оставленные на теле предков, молодых и старых, не заживавшие сотни лет, все как бы выплыли из-под кожи мальчика, обозначились на ней; мудроно ль, что боль показалась нестерпимой.

И холод был за тем порогом... сквозняком потянуло подземным, замогильным. Я всегда чувствовал в воспоминаниях Райниса о посещении «кровавого застенка» тот промозглый, власы вздымающий ветерок.

А мог бы мальчик не забрести в эту самую пыточную? Не открыть никогда ту запретную дверь? Н-ну, это едва ли. Кто сам был ребенком, припомнит и согласится: едва ли.

А тогда так: могло ли не быть в Беркенеле этой проклятой камеры? Мог достаться семейству дом без сюрпризов, так сказать, без привидений?

Это да. Это конечно: мог бы.

* По-латышски русские — «*криеви*». Пленных называли тем же словом, но с уменьшительным суффиксом: они были из русской земли.

Но однажды Янису встретилось бы нечто другое в том же роде. Не могло не встретиться. Рабство, не изжитое до конца, вылезало из вещей и лиц: живы еще были люди, помнившие все ободренным мясом спины. Жив был страх одних и живуча уверенность других в наследственном праве внушать встречным боязнь и подобоострашие. Чей-нибудь рассказ или другая пыточная в другом доме, — что-то да столкнуло бы Яниса рано или поздно лицом к лицу с тем же самым и потребовало бы ответа.

А нельзя ли было ему не волноваться эдак, не белеть лицом, не метаться ночью в короткой кровати, не мучиться увиденным и услышанным так, словно его колесом переехало?

Можно. Можно было мальчику эдак-то не волноваться, и никто не вздумал бы осудить его. В конце концов почему те давние розги и плети должны его касаться? Наказываемые были непокорные и ленивые мужики. Он, сын богатого арендатора, из другой породы. Да и когда это все было... Они все умерли или уехали: те, кто приказывал, те, кто бил, те, кого били. Прошлое прошло, и глядя трезво, кровь на ступеньках просохла еще до его рождения.

Многое решалось в те минуты, и никто ничего не мог решить вместо него. Никто не потребовал бы от него оправданий, ни люди, ни даже ангелы небесные. Он вправе был отмахнуться. Выкинуть из головы, перешибить увиденное одной из любимых фантазий. Из тех, что безошибочно и сразу отсекают неприятные мысли — проверено.

В том и состоял выбор. Принять ли на себя чужую муку, позор и унижения, гнев и ужас. Считать ли ее, эту муку, чужой. Смешно предполагать, что решение принималось мозгом. Первой реакцией всего существа, нерассуждающей как судорога, он уже отвечал на вызов. Правда и то, что он был волен испугаться этого первого движения, подавить его. И в восемь лет в человеке может возобладать разумная осторожность. Всего-то и следовало отречься от призраков, от родных теней. Тень крови была по-прежнему липкой, но и она была только тень, и выбор все еще оставался.

Да мыслимое ли это дело? Неужели в таком-то возрасте, на такие-то слабые плечи уже взвалена такая ответственность, такая страшная, многовековая тяжесть? Да. И перерешить решенное — вот тут, вот сейчас — похоже, уже не будет дано.

Но и кажется порой, что выбор сделан еще раньше. Кровь пращуров вскрикнула, отозвалась в нем первой, если бы она промолчала или не была услышана, перед нами оказался бы заведомо другой человек. Нетрудно себе представить того, другого в предложенных далее,

известных нам обстоятельствах. Скорей всего он был бы преуспевающий адвокат, стремящийся как можно основательнее и искренней забыть о своем мужицком, о латышском своем происхождении. Впрочем, что ж гадать о судьбе того, другого, все-таки не бывшего человека, — был-то этот!

И когда те самые незримые рубцы и впрямь выступили на детском теле физически, вьявь, — все предыдущее стало казаться ему раем. Блаженством, почти ничем не разбавленным, потоком света и тепла, который как бы должен был уравновесить все дальнейшие испытания... плата вперед за мрак и труд грядущих десятилетий, а может — приманка, червячок на крючке? И вот ожог, жуткая боль: крючок впился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЧУДАК БАЗЕНЕР

«Первая школа.

Впервые в жизни связан с другими детьми.

Книгу показывают дети, а у меня с собой книжица такая тонкая, что и показать стыдно.

Езда на козлах: в глаза сыплет градом, огненные искры под копытами лошадей».

Ну вот. Лошадь, как мы и думали, была не одна. Из Беркенеле в Египет мальчик ехал на козлах.

В биографии Райниса, написанной его современником Антоном Биркертом, находим подробности жизни в Египте, частью неточные. Он пишет, что дети пастора были старше Райниса, но в состязаниях и стычках он все же брал верх. «На стороне Райниса была пасторова дочка Берта, она подавала ему палки, каменья, когда они сражались, изображая два враждебных индейских племени. С духовной пищей дело в пансионате обстояло неважно. Первые книги, которые пришлось там прочесть Райнису, были истории про Кожаного Чулка».

Ошибки: дети не все были старше Яниса. Повторимся: Эрнест — ровесник, Берта — на год младше, Феликс — на два. Старше на год был только Оскар; тринадцатилетний Рудольф, разумеется, не устаивал малышку участием в их сражениях.

Книги Фенимора Купера об индейцах — замечательное чтение для девятилетнего мальчишки, во всем мире не было в то время лучшего чтения! А игра в индейцев, схватки с «враждебным племенем» или с «бледнолицыми» были никак не менее полезны, чем сидение за книгой.

Да и учение обернулось состязанием, и тут братья Свенсоны сердились и любопытствовали, ревновали и восхищались, должно быть. Маленький упрямец, недавно еще не понимавший самых простых вещей, с тупым и подавленным видом сидевший перед терявшей остатки терпения Лизе, вдруг совершил рывок, поистине невероятный! 5 апреля 1875 года он уже сочинил и собственноручно переписал немецкие стихи ко дню рождения сестрицы Лизе!

Книги однажды и навсегда отворились его уму и духу. Книги, битком набитые новостями, приключениями, дразнящие всегда обещанием чего-то еще, небывало-чудесного, от чего заранее захватывало дух.

И здесь же, в Египте, он испытал чувство, которому суждено сопровождать его всю жизнь: «*Казалось, словно бы я на чужбине*». Пятнадцать верст от дома? Чужбина? Да, если ему так казалось.

Шокирующая деталь. В одной записи Райниса, касающейся Египта: «*Берта. Книги с картинками. Битвы. Мама у церкви. Вши: подавлен, крайнее унижение*».

Хотя мальчика и старались держать подальше от батрацких детей, изолировать от разноплеменного люда — работников, исполщиков, захожих странников и нищих, — некоей чертой отделить хозяйского сына от прочих обитателей Беркенеле и ближайших окрестностей не было никакой возможности. А еще прохожий люд... С 1861 года, как только было отменено крепостное право на всем пространстве Российской империи, тысячи тысяч людей стронулись с места, — и чем бедней был мужик, тем больше резонов было ему оставить свою развалюху и пуститься в путь. А там, где вечное кочевье, где нищ и голь — там и вошь, что тут поделаешь. Беда и бедность, бездомье, теснота случайных пристанищ.

Чистота должна была отличать хозяйского сына от «простых» ровесников, от чумазных, вшивых батрацких детей! Янис вдруг оказался с той стороны грани, за которую с таким диким трудом вытаскивал всю жизнь себя и своих наследников Кришьянис Плиекшан... Я бы не удивился, узнав, что братья Свенсоны вовсе не безобидно дразнили новичка, напоминали ему о «крайнем унижении». И сражения между ними, в таком случае, не были так уж шутивы, а поддержка Берты, изменявшей кровному родству ради чужака, оказывалась поистине к стати.

У Берты было еще два имени: Шарлотта, Ида. «Тоже Ида». Райнис помнил о ней благодарно. Может быть, к дружбе и здесь примешивалась нежность? Девичья прелесть никогда не оставляла его равнодушным: он был влюбчив, был и оставался чуть не до последних дней.

Эти несколько месяцев в Египте дали ему друзей и соперников, столкнули с несколькими возрастами. Бывшее домашнее дитя впервые встретилось с напором других самолюбий, и чужие характеры и поступки ворвались в его собственную жизнь, заставили с собой считаться. Без такой, может, и небезболезненной прививки — кто знает, сумел бы он вписаться еще через какое-то время в жизнь и вовсе недомашнюю — в будни немецкой школы, где, к слову сказать, таких, как он, немцев, будут считанные единицы?

Ему нужны были споры, признание таких же, как он, непризнание таких же, как он, игра в индейцев, восхищение Берты, ревность и любопытство ее братьев... Получужбина смягчила предстоявший ему удар. Казенная строгая эпоха ожидала его.

Ты Дзинабург, город славный,

Ты Дзинабург над Двиной, —

певали часто гуды, отцовы работники. Песня — про лодочников, про их непонятную жизнь. Лодочников теперь Янис будет видеть часто. Он возвращается к Даугаве.

Динабург с огромной крепостью, с прямыми, точно по линейке вычерченными улицами (а они и были вычерчены по линейке — по плану, утвержденному еще Екатериной Второй) прилепился к правому берегу Западной Двины — Дюны — Даугавы. Стоило перейти или переехать мост, перебраться лодкой на другой берег — и ты попадад из одной губернии в другую, причем улочки на левом берегу принадлежали уже не Динабургу, а Земгальской Гриве. Немецкая школа, как уже упоминалось, стояла возле самой «гривы» — места впадения речки Лауце в Даугаву.

В Динабурге она не так бы бросалась в глаза — там найдутся строения и познаменитее. Но здесь, среди мелких обывательских домишек, трехэтажное кирпичное с высокими окнами здание школы выделялось. Над фронтоном — гипсовый коленопреклоненный ангел. Справа и слева по прихоти провинциального архитектора возлежат на крыше тоже белые и тоже гипсовые львы. Скульптуры неказисты и выглядят привеском довольно случайным, но Янису это и в голову не приходит: много ли успел повидать он скульптур в своей жизни? Львы, никогда не живавшие на берегах Даугавы, уводили воображение далеко — в Африку, в зной аравийских пустынь.

В школьной зале, где по утрам все триста учеников молились, а после окончания занятий выслушивали ежедневную проповедь, висела на стене большая писаная маслом картина: обручение Пречистой Девы

Марии с Иосифом. Ангел на крыше... святое семейство на холсте, — там не хватало только младенца Христа, которого тогда еще не было, который еще только будет... Школьник знал, что предстояло Деве Марии и будущему мужу ее Иосифу: знал, мог бы рассказать им не хуже того ангела — как родится Иисус, как свирепый царь Ирод замыслит погубить его, как придется им искать спасения в Египте.

Речка Лауце, протекавшая здесь же, шагах в двадцати от школы, если по ее крутому берегу идти вверх, против течения, привела бы к Беркенеле, потом в Оландерн, к златоволосой Иде, а там и к озеру Лауце и к здешнему, теперь уже милому, то и дело приходившему на память Египту. Пойти от школы в другую сторону — вовсе недалеко будет еще одно родное место: Рандене. Здесь матушка могла бы навещать его почаше. Но — хозяйство не дает, и Дора еще мала, ни на шаг не отпускает, и... сказать ли? матушка робеет, опасается оконфузить Яниса перед господами учителями, а пуще того перед соучениками: там ведь и отпрыски баронов, настоящих, всамделишных немецких баронов прогуливаются вместе с ее сыночком. Что она такое? Обыкновенная крестьянка: простая, толстая, старая. Нет уж, лучше пусть сынок сам заглядывает в Рандене, когда сможет. Но шутка ли — три версты туда, три обратно? В будний день ему никак нельзя отлучаться надолго, а на воскресенье за ним присылают лошадей из Беркенеле. Вот тогда посланный за Янисом кучер Микелис доезжает иной раз и до Рандене, забирает хозяйку с малой дочкой, потом возвращаются вместе в Земгальскую Гриву, принимают еще одного пассажира, Яниса, — и катят в Беркенхеген (так, по-немецки, здесь все еще называют Беркенеле).

Близко Рандене, совсем близко — и в то же время далеко, в убегающем все дальше назад прошлом. В уме Яниса, в его памяти оно уже дальше почему-то, чем рождение младенца Христа, чем обручение Иосифа и Девы Марии: все эти события всеобщей и его жизни каждодневно обновлялись, освежались молитвой и приятно-скучной, без твоего участия просачивающейся в сознание проповедью. Краски и линии на картине, от частого разглядывания уже почти невидимые, все же как бы заново добавляли толику знания об этих нечужих судьбах. А Рандене светилось вдалеке, никому кроме него недоступное — как маленькая тайна, как всегда прикрытый кусочек твоего собственного тела, хоть пупок, например, до которого другим дела нет, а тебе-то без него никак нельзя, как оно ни смешно: куда годится человек без пупка? Неизвестно почему — никуда не годится.

Немецкая школа в Земгальской Гриве была именно и прежде всего немецкой: барон Эттинген в свое время подарил ее курляндскому рыцарству. «В то время в школе нас, латышей, было всего человека четыре, но и мы говорили только по-немецки. — Это из воспоминаний Я.Стиебриньша, одноклассника Райниса. — Директором был священно-учитель Вельцер. Из учителей помню математика Промулта, Мюллера — он преподавал русский язык, — затем Томаниса, Фейерабенда, Юксе. Все они владели латышским; припоминаю, что Промулт и Мюллер выписывали латышскую газету «Ригас Лапа». Плиекшан был весьма прилежен, хорошо давались ему латынь и греческий — изучение их не было обязательным, уроки давались для желающих. Преподавал нам эти языки один чудак, Базенер, большой их знаток и ценитель. Хотя мы с Плиекшаном, оба латыши, все четыре года учения были добрыми товарищами, мне трудно что-то такое особенное вспомнить из тогдашней жизни. Разве одну мелочь: Томанис, один из учителей, был из нашей волости; его брат, человек состоятельный, жил с нами по соседству. Так вот, этот Томанис влюбился в старшую сестру Плиекшана и на уроках выказывал ему всячески свое благоволение: то по голове погладит, то назовет его по имени, а не по фамилии. Плиекшана это страшно сердило, он подолгу потом не мог успокоиться, и на переменах ученики не упускали случая позубоскалить по этому поводу».

И вспомнилась коротенькая запись где-то у Райниса: «Лизе хочет замуж, отец не пускает». Старого арендатора можно понять: на ком же хозяйство останется? Давным-давно сгинули, забыты, словно и не было их, те любви и волнения, те запреты, споры, гнев и отчаянье. А как жгло, как болело! Как вспыхивала внутри живых человеков надежда!

Имя его было переделано на немецкий лад: с первого дня учения в *Landesschule** он из Яниса превратился в Иоганна, из Плиекшана в Плекшана (латышский дифтонг «ие», видно, и немцам не давался, как не дается русским). Лет через восемь, поступая в Санкт-Петербургский университет, Иоганн превратится в Ивана. В Ивана Христофоровича Плекшана.

И как только его «окрестили» Иоганном, в тот же самый день он остро, будто укол, должен был ощутить, что он все-таки Янис — да, Янис Кришьянис Плиекшан и никто другой, латыш, сын латыша и латышки.

* Окружная школа (нем.).

Гарлиб Меркель в знаменитой книге «Латыши, особенно в Лифляндии, на исходе философского столетия» писал: «Пока они остаются крепостными, не ищите в них никакой национальной гордости. У них такой недостаток в ней, что каждый латыш, которому удалось добиться свободы и перейти в другое сословие, считает горькой обидой для себя, когда кто-то напомнит ему, что он латыш. Он тщательно старается обособиться от своих братьев, прикидывается, что не понимает их языка, а если успеет сделаться барином для некоторых из них, тогда он жестокосерднее и корыстолюбивее самих немцев».

Крепостное право в балтийских губерниях было отменено в 1817 году; на одно-два поколения раньше, чем в коренной России, крестьяне получили личную свободу. Но еще целые десятилетия понадобились, чтобы выбившийся из «низшего сословия» латыш перестал стыдиться своего языка и происхождения. Отец Яниса был из первых в этом ряду. Он мечтал сделаться богачом и помещиком, переплюнуть соседей-баронов, — но вот превратиться в немца не имел ни малейшего желания. В семье Пликшана, одной из сотен, а может и тысяч подобных, рождалось и зрело новое сознание. Мы не хуже других, говорило оно внятно, со спокойным достоинством; нам — да, бывало и хуже, но мы не хуже других. Незнакомая, уму непостижимая свобода, зернышком проглядывавшая раньше только в песне, прорастала из долгой неволи, высасывая потребные ей соки из прежней нерадости, несвободы, как цветок из навоза. Нет, мы не хуже других.

Пансион отставного лесничего Фрейберга был тоже рядом со школой — у самого впадения речки Лауце в Даугаву. Из воспоминаний, разбросанных там и сям в записях Райниса, можно было бы восстановить с достаточной степенью достоверности десятки мелочей, картинок, эпизодов, имен. Но у нас плохо со временем, с местом. Книга, читать которую пришлось бы ровно столько же дней и часов, сколько их было в жизни нашего героя, могла бы обойтись без повторов и все-таки не вместить в себя всего того, что было и что подлежит осмыслению. Но и писать, и читать такую книгу — значило бы заместить свою жизнь другой. И тут чудится грех, может быть и не подлежащий прощению. А потому — немного страниц отведено нам для описания жизни Яниса Пликшана в Земгальской Гриве. Успеть бы сказать о главном.

Главное событие — встреча с Учителем. Лицо не вполне обыкновенного, порой — великого учителя проглядывает с железной закономерностью в любой недюжинной судьбе. Антон Биркертс: «Из учителей

мальчик любил больше всего Базенера, — это записано со слов поэта, — преподавателя немецкого языка, учившего также и латыни».

Представим себе, каким он пришел к Базенеру: застенчивым и гордым до крайности, самолюбивым, замкнутым. И — открытым избирательно: для доброго взгляда и слова.

Тех, перед кем он готов был открыться, живость, смышленность мальчика должны были поражать и притягивать. Лицо его было чисто, голубые глаза лучились и, казалось, беспрестанно ожидали чего-то, готовы были к радостному изумлению. Потом, через какие-то пять лет, он вспомнит об этом своем утерянном облике с чувством тоски и утраты.

А всего годом раньше он толком и читать не умел. Притом зачатки и обрывки самых разнообразных сведений умещались уже в новоиспеченном «Иоганне», и в изобилии. Польские и белорусские фразы в его речи могли перемежаться с немецкими, крестьянские основательные соображения — с диким индейским кличем, выученные на праздник заурядные стишки с услышанными на большой дороге словечками. И этот самый голубоглазый мужичок должен был в ближайшие четыре года освоить, хотя бы первоначально, целые миры и культуры: от Гомера, Эсхила, Софокла, Аристотеля и Цицерона до Лессинга, Шиллера, Гете.

Кстати о Лессинге. Запись: «Половодье. Мне нужно учить «Натана»*, домой никак не попасть». Двадцать лет спустя он переведет этого самого «Натана» на родной язык.

Три тысячелетия всечеловеческой культуры, не больше и не меньше, должен был усвоить, присвоить себе десятилетний мальчик, представший впервые в августе 1875 года пред очи Густава Базенера. Можно было или раздражить в деревенском отроке аппетит к человеческой мудрости, красоте, — или в течение недели отбить этот аппетит раз и навсегда. Мы не встретим потом в жизни Райниса другого такого поворота, другого учителя, подобного этому; да и роль такую в чужой жизни можно сыграть лишь единожды.

Что казалось тогда частным делом смышленного мальчугана и рутинными занятиями провинциального учителя (чье преувеличенное рвение уж наверняка вызывало снисходительно-насмешливые замечания коллег, да и оболтусов-учеников), — то самое выглядит сегодня одним из чудес культуры. Молодой народ оказался через это общение ученика и наставника навеки повязан с судьбами мира, с другими временами и народами. И произошло это для Яниса Плиекшана в возрасте от десяти до четырнадцати — тогда как раз, когда способность к

* «Натан мудрый», драматическая поэма Готхольда Эфраима Лессинга.

постижению, к пожиранию новых знаний, к совершению новых открытий в человеке максимальна.

Иногда он шел из Гривы в Беркенеле пешком.

«Беркенеле: могилы, церковь». Кладбище было по пути, никак не минуешь.

Оно и сейчас по пути. Полузаброшенное, тихое, осененное вековыми деревьями. Церковь давным-давно пуста, но только сравнительно недавно начала разрушаться. Лестница на колокольню была почти вся еще надежна в тот день, когда я ступил на нее. Только возле самого верха ступеньки истончились и ногу было ставить опасно. Но ничего, можно за перила уцепиться и — через ступеньку, две... Колокол сняли еще в шестидесятые годы.

Вокруг церкви — могилы, кресты, те самые, которые видел десятилетний Янис, возле которых сердце его билось громко и быстро, когда он оказывался в этой зелени и особенной тишине один. Те самые. И более поздние.

Здесь простоял больше столетия и этот железный, проржавевший и покосившийся крест. Надпись — выпуклые буквы, тоже ржавые, но еще различимые, если взглядеться, если ощупать пальцами.

Gustav Basener, geb. 29 Oktober 1827

gest. 22 Mai 1883

Dem teuern Lehrer die dankbaren Schüler und Freunde.*

Так вот он, учитель Райниса, «чудак» Базенер!.. А с другой стороны креста — совсем мелко, еще надпись:

Apokal. 14, 13.

Не поленимся, разыщем в Новом Завете, в Апокалипсисе — Откровении св. Иоанна — главу 14, стих 13. И узнаем, какое слово *Откровения* друзья и ученики сочли уместным отнести к учителю Базенеру в дни, когда прощались с ним. Вот оно, это слово.

И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.

И дела их идут вслед за ними, говорит Дух.

* Густав Базенер, род. 29 октября 1827, ум. 22 мая 1883. Дорогому учителю — благодарные ученики и друзья. (Нем.)

В отрочестве человек меняется стремительно: в течение года его интересы и знания иной раз удваиваются. Как у щенка, части тела растут как бы по отдельности, независимо друг от друга: то ноги вытянутся за лето, то плечи раздадутся. Яниса какое-то время должны были смущать уши — оттопырившиеся, крупные несоразмерно.

Душа тоже в движении и росте. Как художник, чтобы изобразить бегущего коня, рисовал его с шестнадцатью ногами, как бы пребывающими одновременно в разных точках машистого шага, так или похоже нужно было бы живописать и мальчика, в каждый данный момент бывшего и здесь и уже не здесь — дальше.

Ночью, во сне он двигался еще быстрее и свободней, парил над землей, взмывал ввысь, сам себе не веря, — точно птенец, подброшенный в небо неизвестной силой впервые.

Директором школы был «старый Вельцер», преподававший в классах закон Божий; он же читал ежедневную проповедь. «Муж строгий и гуманный» — отзовется о нем Райнис в добрую минуту. В отроческие годы он думал так не всегда.

Однажды директор застал «Иоганна» читающим вслух Библию приятелям в самом неподходящем месте. Там, где Святому Писанию и оказаться нельзя было, а уж читать-то его здесь было явным и намеренным кощунством. Возмущенный пастырь позаботился о том, чтобы грешники пожалели о своих пакостях.

Эту вроде бы необъяснимую попытку кощунства в том или ином виде встречаешь чуть не в каждом детстве прежних времен. Если правда просачивается сквозь понятные умолчания или забвение, то непременно всплывает подобный эпизод.

Объясняя (себе): ребенок вступает в диалог со всеми, кого встречает, со всем, что видит, слышит, осязает. Он и с огнем должен поговорить — пока не обожжется. И с высотой — пока не упадет. И с опасностью — пока не заглянет до дна в ее затягивающие глубины. Как же не желать ему разговора с Богом? Как не ждать ответа от силы, к которой он обращается тысячи дней подряд? И когда славословия, песнопения, молитвы не находят прямого, понятного отклика, мало кто удержится наедине с Владыкой небесным и не попробует хоть однажды испытать Его терпение, всеведенье и всемогущество. И свою отчаянную храбрость заодно. Ох, как напрягается кулачок сердца в миг невозможного святотатства, как страшится и почти желает немедленной кары тот, кто

посылает ввысь свой вызов! Но нежно, растроганно, с бесконечно печальной улыбкой смотрят небеса на расхрабрившегося крохотного Иакова — которого по счету? — там, внизу. Он хочет доказательств существования высшей силы? Когда-нибудь он поймет: что-нибудь одно — или вера, или доказательства. А не поймет?.. — что ж, тогда еще жальче тебя, малыш; но не бойся. Ищущий и алчущий Духа не будет отвергнут.

Есть и сердитая запись у Райниса: Вельцер преследует за кощунство над Библией, а сам — все знают! — живет со школьницей! М-да, муж строгий и гуманный. Если б вы не допекали эдак-то юного грешника, он, глядишь, и не проговорился бы о столь прискорбном обстоятельстве грядущим поколениям. Хотя... что там было, чего не было, — поди проверь!

Но вот проступок, можно считать, доказанный. «Однажды Райнис должен был прочесть наизусть какие-то стихи, — читаем у Биркертса. — Он быстро их проговорил, но Вельцер был неудовлетворен и потребовал прочесть еще раз, с выражением. Школьник требования так и не смог исполнить, за что и был сурово отчитан. С тех пор, — полушутя добавлял сам поэт, — декламировать стихи он и не пытался».

Шутки шутками, а чтение стихов и впрямь, если верить современникам, не было сильной стороной Райниса. Произносил он собственные строки как-то не вполне уверенно, тихо, — приходилось усиленно вслушиваться. Ах если бы Вельцер не прикрикнул в свое время на мальчика, а нашел бы что похвалить даже в самих изъянах его чтения! И сегодня, и прямо сейчас кто-то ледяным голосом выговаривает бедному школяру: уличает, отнимает у него веру в себя, вместо того чтобы придать ее. Не понимают, что ли, в какие решающие минуты стоят они над созревающей душой? Точно в колдовской кузне, гибкий горячий металл готов принять и те, и эти очертания. Под каждым воздействием, под ударом и слева и справа он принимает эти формы, быть может, раз и навсегда; резон ли кузнецу ошибаться?

Один из двух ближайших друзей Яниса, Бернхард Мора, сочинял стихи по-немецки. Он не без успеха подражал Ленау, которым в то время зачитывались.

Янис тоже начал слагать стихи. И тоже по-немецки. Но и не только: несказанно обрадовав Густава Базенера, он обратился к благородной латыни. В 1877 году в Земгальской Гриве, в пансионе лесничего Фрейбурга сын латыша-арендатора сочинял латинские стихи.

И тогда же вышло из-под его пера первое латышское стихотворение. Не берусь передать — что пережил Янис Плиекшан при первых попытках творчества. Не познавший этой поразительной радости в самом начале, не затевавший никогда сотворить «из ничего» — нечто, не изведавший этой ошеломляющей встряски едва ли станет поэтом. Первое же совпадение действия с тем, чему суждено тебя с годами истерзать и исчерпать, первое же угадывание назначенной тебе судьбы не может не отозваться волной тайного узнавания. Тем неслышным щелчком, когда ключ попадает в тот самый замок, для которого изготовлен.

Итак, первое стихотворение, написанное им по-латышски. Перевожу:

*Перышко легкое,
Куда несешься?
Что ты так вьешься
Между кустами?*

*Иль тебя злой
Бушевавший над пашней
Ветер вчерашний
Вырвал у птиц?*

*Или над лесом
В яростной стычке
Сжались на птичке
Недруга когти?*

*Или же в черный свой день,
Умирая,
Перья роняя,
Падала птица?..*

Друг Яниса Бернхард Мора родился в Эстляндии. Отец его владел большой мельницей; среди друзей дома числились хозяин ресторана, виноторговец... такой вот круг.

Райнис всю жизнь считал Бернхарда эстонцем — но там, на другом конце судьбы, через десятилетия, в свидетельстве о смерти Б.Мора будет сказано, что он немец.

С трех-четырёх лет мальчик жил в Скривери, то есть в самой что ни на есть латышской местности, на берегу речки Дивайи. Но может быть, в семье говорили по-эстонски? Вспоминали окрестности Дерпта, где жили раньше? Не исключено, что от друга Янис усвоил какие-то эстонские слова: где семь языков и наречий, там и восьмому найдется местечко.

Второй его школьный товарищ, Леон Дарашкевич, должен был одинаково хорошо владеть и литовским, и польским. (Литовский язык Райнис слышал с младенчества в родном доме, мы ведь не забыли: «Литовец Марцулис, может быть, самое глубокое из моих детских воспоминаний...» Отец Яниса любил шутить по-польски, польские песни знала и певала Лизе. Оба языка были связаны для него с музыкой самого раннего детства — как и родной, латышский).

Леон Дарашкевич — литовский *bajārs*, по выражению Райниса. Слово восходит к древнерусскому «боярин». Попробуй переведи его. Ну, скажем, *барин*, человек знатный и богатый. А был он приблизительно такой же барин, как сам Янис. Дед Леона в 1852 году арендовал земельное владение в Паневежском уезде. Потом, правда, имение перешло в его собственность, но уже отец Леона, Людвиг Дарашкевич продал его как раз в описываемое время, в 1877 году, за 5200 рублей. Сумма свидетельствует, что имение не было ни слишком велико, ни слишком богато.

У старика Дарашкевича было четыре сына и дочь. Сыновья учились в университете. Один из них, Ян, из университета вышел, разочаровавшись в возможностях казенного образования. В 1863 году он и его брат Леон — участники польского (и литовского!) восстания. Леона убили в самом начале. Ян одно время скрывался у брата Людвиг в Субате, где тот был врачом, затем бежал за границу и умер эмигрантом в Париже. Людвиг Дарашкевич назвал своих сыновей в честь мятежных братьев. В семье подрастали Ян и Леон Дарашкевичи.

Такая связь, короткая и прямая, обнаружилась между соратниками графа Платера, о гибели которого Янис столько раз слышал печальную, за сердце хватающую песню, и его школьным товарищем.

Дора, младшая сестра Яниса, запомнила двенадцатилетнего брата стройным, ловким, румяным, с голубыми сияющими глазами. Она любила вспоминать: школьник приседает, семилетняя сестренка взбирается ему на плечи и — «начинается дикая скачка! Мальчик вихрем проносится, перескакивает через ограды и канавы, а девчушка визжит от невыразимой радости и от страха; целая свора собак мчится за ними по ятам...»

Да, это он носился «сломя голову», «не признавая никаких препятствий» — будьте свидетелями, запомните!

А иной раз забирался на чердак и затихал надолго.

В том самом Беркенеле в старом доме пространство между крышей и потолочным перекрытием в момент моего первого приезда было разделено только печными трубами. Когда-то здесь были перегородки, кладовки, закуты. И в одном из них Янис обнаружил целую библиотеку старых книг, оставшихся от помещиков, прежних владельцев усадьбы. Большинство их было издано в самом начале девятнадцатого века или в конце прошедшего, восемнадцатого. Выпросив у Лизе большую мягкую тряпку, Янис доставал очередной фолиант, сдувал частью пыль, а что не сдувалось, стирал, потом бессознательно гладил, проводил ладонью по старинному сафьяну переплета, коричневой или черной обложке с золотыми тисненными буквами названия.

Должна, должна была обнаружиться подобная библиотека в этой жизни! Без нее не хватало бы чего-то, а с ней это отрочество обретает совершенную полноту.

Книги не сохранились. Остались они только в памяти мальчика, заглянувшего на заветный чердак впервые, должно быть, лет в тринадцать-четырнадцать. Почему не раньше? Потому, думаю, что выбор главных, запомнившихся книг говорит о повзрослении.

Райнис вспоминал о хорошем подборе классиков, не уточняя, что это было: античные трагики? Шекспир, Вольтер в немецких переводах? Клопшток? Гердер? Гете?

Другие книги названы определенно. «*Über die Einsamkeit*» — «Об одиночестве», философское сочинение Георга Циммермана (скорее всего, четырехтомное лейпцигское издание знаменитой в свое время книги), «Макробиотика, или Искусство продлить человеческую жизнь» Хуфеланда, «Курс изящной словесности» Баттё.*

Поразительно, как плодотворны встречи талантливых людей в полудетстве, в начале пути с необлегченными, взрослыми, полновесными мыслями и сведениями. Настоящая пища, грубая, честная, — не то что пережеванная чужим ртом кашка детских адаптаций. Нет: начинать крупно, брать груз на пределе сил, сталкиваться с мыслями, тяжелыми как жернова, но и обещающими хлеб настоящего знания.

* Г. Циммерман (1728—1795) — философ, литератор, медик, личный врач английского, затем прусского короля Фридриха Великого. «Об одиночестве» (заметим: слово, ключевое для Райниса) — название, открывающее список книг, обнаруженных мальчиком на чердаке. Кристоф В. Хуфеланд (1762—1836) — немецкий врач, ученый. Шарль Баттё (1713—1780) — французский философ, педагог.

Еще среди книжных впечатлений тех лет Райнис называл знаменитую новеллу Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас».

Жива еще была традиция семейного чтения. В час, когда семья собиралась за столом, Янису говорили: «Ну, что ты нам сегодня считаешь?» И однажды он непременно должен был в ответ раскрыть том Клейста.

Герой новеллы живет в середине шестнадцатого века в одном из немецких княжеств. Он торгует лошадьми, владеет мызой «близ деревни, и поныне носящей его имя». Есть у него и конюшни, и немало людей в услужении.

Янис не мог в одиночку пережить эту новеллу, проглотить молчком, ничего не сказав домашним. Кришьянис Плиекшан обитает тремя столетиями позже в другой стране, принадлежит к другому языку и народу, он не лошадиный барышник, а богатый арендатор. Но и там и тут перед нами состоятельный простолюдин, определяющей чертой того и другого стало чувство собственного достоинства. Совпадающее с чувством справедливости: «*Чувство справедливости, ему присущее и точное, как аптекарские весы...*» — говорится у Клейста.

С нарастающим вниманием должны были слушать в доме Плиекшанов горестную историю Кольхааса: как он гнал своих лошадей на продажу в соседнюю Саксонию, как возле замка юнкера Венцеля фон Тронка с него спросили какую-то новую, доселе не известную пошлину, а затем «пропускное свидетельство», которого у него не было да и не могло быть, так как само «постановление» о новых порядках было выдуманно притеснителями. В залог, взамен свидетельства, хозяин потребовал оставить у него двух прекрасных коней. Кольхаас скрепя сердце подчинился, оставив с лошадьми и работника для ухода за ними. По возвращении он нашел вместо своих красавцев вороных двух измученных костлявых одров; конюх его был избит до полусмерти и выгнан. Михаэль Кольхаас обращается к правосудию: он желает получить коней в том виде, в каком оставил их, требует возмещения обид и убытков, причиненных его работнику, потерявшему вследствие побоев здоровье. Но у юнкера могущественные покровители при дворе. Власти обвиняют Кольхааса в сутяжничестве и грозят ему карой, если он не перестанет им досаждать своими кляузами.

Тогда Михаэль Кольхаас решает самолично восстановить справедливость. Жене своей, Лисбет, он говорит: «Я не могу жить в стране, которая не защищает моих прав. Если тебя топчут ногами, лучше быть псом, нежели человеком!»*

* Новелла Клейста цитируется в переводе Н. Ман.

Лисбет тоже пытается подать жалобу курфюрсту. Но — «похоже, что она слишком дерзко пробивалась к особе государя, и один не в меру ретивый стражник ударил ее в грудь древком своей пики». После смерти жены Кольхаас сел за свою конторку и «в силу права, дарованного ему самой природой», написал приговор, обязующий юнкера Венцеля фон Тронка в трехдневный срок, считая с проставленной им даты, привести вороных, отнятых и заморенных им на полевых работах, в конюшни Кольхаасбрюкке и самолично откармливать, покуда они не приобретут прежней стати.

Если кто хочет понять характер людей, подобных Кришьянису Плиекшану, распрямлявшихся в каждодневном соперничестве и борьбе с вчерашними господами, тому следует представлять себе, как гневный румянец и бледность сменялись на лице этого слушателя, как за столом вдруг становилось слышно его стесненное дыхание при чтении «Михаэля Кольхааса».

Простолюдин объявляет войну юнкеру, а заодно и всем, кто согласится его приютить. Разгромив вместе со своими людьми замок фон Тронка, он поджигает город Виттенберг, укрывший его врага, вступает в сражение с регулярными войсками и одерживает верх; к нему стекаются сторонники. Вот уж Кольхаас разбил отряд принца Мейсенского, вот он поджег с трех сторон Лейпциг! Сам доктор Мартин Лютер обращается к бунтовщику с воззванием. Грозный мститель заявляется домой к Лютеру и говорит, что отныне прекращает войну с обществом — «поскольку оно, как вы меня заверили, не отторгло меня».

Дальнейший ход разговора примечателен. «Отторгло! — воскликнул Лютер, в упор глядя на него. — Что за шальные мысли владеют тобой? Кто мог тебя отторгнуть, отобщить от государства, в котором ты живешь? Слыханное ли дело, чтобы государство кого-либо, кто бы он ни был, от себя отторгло?»

— Отторгнутым, — отвечал Кольхаас, сжимая кулаки, — я называю того, кому отказано в защите! А я в ней нуждаюсь для процветания мирного моего промысла, за помощью обращаюсь я к обществу, за охраной того, что мне принадлежит, и тот, кто мне в ней отказывает, изгоняет меня к дикарям в пустыню, дает мне в руки дубину для самозащиты».

Сами по себе слова «два вороных» могли служить паролем, открывающим доступ к душе Кришьяниса Плиекшана. Сказано уже, что он увлекался лошадьми страстно: тут была одна из сфер, где он мог потягаться (и тягался!) с немецкими баронами. Его лошади как раз в описываемое

время выиграла скачки, устраивавшиеся ежегодно в Земгальской Гриве.

А жажда справедливости, совершенно кольхаасовская, заставит Плиекшана-старшего снова и снова ссориться с могущественными соседями, помещиками — в том числе и с теми, что сдавали имения ему в аренду. Он много потеряет на этом, злосчастный латышский Кольхаас. Придется кочевать, потому что помещик не захочет продлить строптивому латышу аренду; судебные тяжбы, одна другой тягостней и бесконечней, нависнут над домом, а неудачный исход последней из них подтолкнет старого Кришьяниса к могиле.

Бунт, попытка победить и переродить «весь мир, погрязший в пороках и коварстве», — это выпадет на долю его сына.

Где-то за усадьбой было озеро (теперь его нет). Рассказывали (или ему пригрезилось?), что там на дне лежат какие-то сокровища.

Сокровища лежали, были там, конечно. И на дне. И на поверхности — солнечной рябью слепя. И по берегам Лауце. И мало ли где еще, — только поищи, даже не выходя из дома, на том же чердаке. Книги, которые он там проглатывал в одиночестве, — «Жа-ан! Ты где? Обе-едаь!» — кричит не в первый раз Лизе, но ей не отвечают, — книги внушали ему мечты непрактичные, идеальные, мало подходившие к его положению, слишком оторванные от реального, от отцовских и Лизиных забот.

Доктор медицины Хуфеланд — тот, спасибо, объясняет, что надобно есть, чего не надо, как чередовать труды и отдых, как двигаться, поддерживать и укреплять силы; это все дело. А вот Клопшток и Лафатёр, Ленау, Гете, Шиллер, Гёльдерлин — эти способны сбить юнца с панталыку. Не нужно бы ему так много читать: один вот так в Калкуне тоже начитался и спятил, хотел чересчур большого ума, ан никакого не стало, мозги вывихнул.

К четырнадцати годам он законченный мечтатель, идеалист, вот еще слово откуда-то прикатилось камушком: романтик.

Но и бегун, и пловец, и драчун тоже: «Лелюка бьют, я спасаю». Лелюк — его друг, Леон.

А вот запись по-русски: *Сам ты жулик, вор динабургский!* — это, значит, столкновения имели место с заречными, динабургскими мальчишками. «Все земгальские — известные жулики!» — дразнятся те. А ответ наготове: «Сам ты жулик, вор динабургский!»

Еще записи, сделанные рукой Райниса. «*Лошадь проваливается под лед, в Даугаву. Мы с отцом карабкаемся по обледенелой дамбе наверх.*» «*Сделаться снова детьми. Когда мы снова будем детьми?..*»

«Папа несет Дору на руках». «Пчела в волосах». «Базенер... Лелюк не учится». «Грива. Уроки Базенера... Вместе с Лелюком — у докторов в гостях. Панский дом, 230 лет». «Ида и черт». «Драка с Руммелем из-за крестьянина» (Лео фон Руммель — соученик). «Мириться с недругами — не в моем обычае. Но и кулаки всегда презирал».

Мозаика из происшествий, крупных и мелких, осколки событий. Настоящий их вес в душе и памяти никем не установлен и не будет установлен никогда.

«Грива, 8 авг. 1875 — в 10 лет, 17 дек. 1879 — 14 1/2. Свидетельство об окончании школы N 90. После экзаменов присвоен N 1 с общей оценкой «хорошо». Мне единственному подарили школьную фотографию, — другим пришлось выкупать».

И вот что скажет в 1925 году шестидесятилетний поэт: «Все мое детство переполнено чудесными звуками и красками, всё словно бы купается в огромном море поэзии».

В итальянской Швейцарии, у озера Лугано, где жили политические эмигранты — Райнис и его жена, латышская поэтесса Аспазия, — он написал стихотворение «Запах перелога».

«Это было в Кастаньоле. Я проводил много времени на природе. Любил лежать на траве. Так, лежа на земле, я однажды почувал запах *danckas*, — это цветы такие. Они мне очень нравились в детстве, и там, на родине, в Беркенхегене, их было много. На чужбине я их не встречал. И вдруг — тот самый запах. Он вызвал в памяти детство, родину. «Давно то было...» прозвучало в моей душе, и этот зачин, эти звуки легли в основание всего цикла «Слова змей». Вся эта тетрадь — символ моих детских воспоминаний».

Запах полевого цветка, узнанный через тридцать лет, — и книга стихов, выросшая из этого. У нашего героя, как хотите, гениальное обоняние.

«Колокольный звон...» — повторено в записях дважды.

В январе 1880 года, уезжая в далекую чужую Ригу, Янис прислушивался с острым чувством разлуки к звону, раздававшемуся, как всегда, гулко и мерно из-за милых знакомых лип. Теперь уж он окончательно расставался с домом — не на неделю, не на месяц. Он из детства уезжал, даже приблизительно не представляя себе, какая стена — крепче железной и каменной — отделит через несколько часов его первую жизнь от всех предстоящих.

Вот и пришла пора прощаться. Утром встал рано, умылся, оделся и пошел в школу. В классе было тихо, ребята сидели за партами, ждали начала урока. Учитель вошел в класс, поставил сумку на стол и начал читать. Мы внимательно слушали, стараясь не отвлекаться. Урок закончился, учитель сказал: «До свидания». Мы все вышли из школы и пошли домой. Вечером сидел за столом, читал книгу. Было интересно.

После школы я пошел в магазин. Там было много разных товаров. Я купил хлеба, молока и фруктов. Дома мама готовила ужин. Мы все вместе ели и говорили о прошедшем дне. Было приятно. Завтра будет новый день. Я буду учиться и развиваться. Это моя цель.

Сегодня был прекрасный день. Мы с друзьями гуляли в парке. Там было много красивых деревьев и цветов. Дети играли в футбол, а взрослые отдыхали на скамейках. Было очень приятно. Мы провели время очень хорошо. Это было замечательно.

... даже благополучно заживилась, — сказала она. — Я так рада, что вы оба живы и здоровы. Неужели вы не хотите вернуться к мужниным развлечениям? ...

... и тогда, когда вы оба будете вместе, вы сможете наслаждаться жизнью. ...

... и тогда, когда вы оба будете вместе, вы сможете наслаждаться жизнью. ...

... и тогда, когда вы оба будете вместе, вы сможете наслаждаться жизнью. ...

ЖИЗНЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РИГА

Эта грань, черта, стена — все равно, как ее ни назови, — не выпячена автором из каких-либо особых соображений: нет, на нее с настойчивостью указывает сам Райнис в своих заметках. Запись от 2 ноября 1924 года: «Детство и отрочество напрочь отделены от юности, — другая психология, другие стремления, окружение тоже иное». Тогда же: «Рубеж — пубертатное время*». В тот же день: «Тоска по утерянной детской невинности. Судьба: вырасти, *pubertāte*». Еще запись в тот же день: «Юность, 15-24. *Pubertāte*, нечто ужасное: всё сламыкает. Религиозный кризис, окончательный разрыв. Одиночество и пессимизм. Выход: искусство, философия. Неверие в себя, поиски. Сочувствие другим — социализм». И еще раз: «*Pubertāte*, кризис».

Указывая снова и снова на грань, разделяющую два возраста, говоря о кризисе, все ломающем, «ужасном», не преувеличивал ли сам Райнис? Нет, можно ручаться: не преувеличивал. Да и зачем бы? Для пылкого мечтателя, выросшего под крылом чудака Базенера в Земгальской Гриве, каверза, уготованная насмешливой природой на пути каждого подростка, должна была показаться нестерпимо обидной. К тому же, столкновение чувственных желаний, якобы нечистых, с возвышенным идеалом — вообще один из «пунктиков» немецкой романтики, которой Иоганн Плекшан успел вдоволь наглотаться к тому времени.

Да и нараставшие трения между родителями, самым причудливым образом преломившись, сказались на нем. Дарта Пликшан, родив пятого своего ребенка, дочку Дору, быть может надеялась заново привязать к себе высоченного, громогласного, насмешливого мужа, не желавшего ни утихомириться с годами, ни как следует постареть.

Странное дело: к малышке, к Доре он и впрямь привязался всем

* *Pubertatis* — половая зрелость (латин.).

сердцем, но одновременно охладел к супруге, разом и окончательно. Даже благодарности за дарованную радость он, по-видимому, не испытывал. Ссылаясь на дела, пропадал все чаще в Динабурге, Витебске. Но не так далек Динабург, да и Витебск тоже, чтобы до Рандене не дошли слухи о мужниных развлечениях. О, такого рода новости распространяются со скоростью лесного пожара! Когда семья зажила на два дома, это было, конечно, и признаком преуспевания: арендовать сразу две усадьбы, многим ли такое по силам? — и знаком неблагополучия.

Чем бесповоротней оказывалась холодность мужа и тот, видать, лихорадочный жар, что распространял он где-то на стороне (вот уж поистине — седина в бороду, бес в ребро!), тем строже и богобоязненной становилась Дарта. Она презирала и ненавидела те постыдные утехы, которым предавался в городе известно кто. Она презирала всех подобных грешников и грешниц; у себя в Рандене она такого не потерпит! В конце концов, детей постыдились бы: чему вы их научите, а?

С деревенской откровенностью между тем разворачивались каждодневные события. Сине-зеленые тончайшие стрекозы, повисев в воздухе, стремительно неслись навстречу друг другу, спаривались и оказывались единым сверкающим целым. Петух топтал хохлатку из своего гарема деловито и гневно, точно она перед ним непростительно провинилась, потом терял к ней всякий интерес, а наказанная была, казалось, чрезвычайно довольна. Из глубины пахучего стога выглядывали порознь загорелые, согнутые в коленях ноги батрачки, они подергивались. «Мерзость, грех!» — плевалась постаревшая Дарта, напрочь забыв такой же стог, луга, просторный сеновал времен своей юности. Нет ничего ужасней, отвратительней, постыдней «этого», — вот что она должна была внушить Янису, чтоб хотя бы он не повторил своего неразумного отца с его богопротивной распущенностью, если не сказать хуже.

Она и вправду хотела сыну добра, кто усомнится. И не чувствовала, не думала тем более, что через мальчика воюет с его отцом. Все то, что тот и слушать бы не стал, что оборвал бы на полуслове бритвенно-острой насмешкой, за что отомстил бы потом, а он умел это делать: умолкал на неделю, на две, ходил молчаливый и опасный, хмурый, как предгрозье... — все это она обрушивала на Яниса, прямо в его расширенные голубые глазенки. Ничего нет противнее и мерзопакостней *этого*, понял? Тогда у него были другие заботы. Многое из того, с чем воевала матушка, казалось ему потешным, смешным до колик. Понял, чего тут не понять? Понял.

Огромный чужой город. Один из трех крупнейших портов России. Динабург — там, далеко — сжался, сделался маленьким, жалким, провинциальным. И — маленький, жалкий, провинциальный — не мог издали защитить никого, сам-то не умел защититься.

В Риге жили стремительно. Другие походки были у людей. Им всем было куда спешить, а не спешащие никуда как бы всем своим видом подчеркивали: вот, мол, можем себе позволить и помедлить, и не торопиться, — вам-то небось и не снилась такая роскошь? И странным образом впечатление стремительности чужой жизни от этого только усиливалось.

Город не глядел на Яниса, у него своих дел хватало — не всегда понятных, но безусловно важных дел. Всякий житель, спешащий куда-то или даже никуда не спешащий, к чему-то давно заведенному относился, был приписан, причислен, включен. Только непрошенному новичку не было места в системе связей, пронизывавших воздух, как пчелиные трассы над лугом. Дома, иногда и в школе Янис был одним из центров, вокруг которого обращались интересы, речи, взгляды, да и облака, и звезды. А кто он был здесь? Никто.

Ощущение своей незначительности, деревенской неуклюжести, ощущение внезапного одиночества — другого, не такого, как дома. Беспомощность перед тем неназываемым, непреодолимым, что навалилось и почти не отпускает — душит, как домовой. Отчего он такой грешник? Отчего видит такие сны, какие сроду не снились ему раньше? Почему голос стал грубым и непослушным и взвизгивает вдруг ни с того ни с сего? Почему зарок — думать только о высоком — нарушается, какая темная сила играет им? Вчера он мог смело взглянуть в глаза кому угодно. Теперь кажется, что любой встречный прочтет в его взгляде тайну стыдных, притом и вовсе не нужных ему, постылых вожелдений. Господи, Ты-то видишь, Ты не можешь не знать, как мне трудно. Чем я перед Тобой провинился?

Одни забыли это мучительное борение души и плоти, другие, может быть, его и не знали? Кто-то находит неприличным даже заикаться о том, что дискант мальчика однажды превращается в бас или баритон. Еще кому-то тема представляется скорее забавной... и уж никак не трагичной.

Наше дело показать, что грань, разделившая в этой судьбе отрочество и юность, оказалась испытанием жестоким. Пытка была тем тяжелее, чем выше оказывалось представление юноши о его призвании. Храбро и слепо молотя руками против течения, пятнадцатилетний гимназист не

знал, что борется с собственной природой, — какая тут, скажите на милость, возможна победа? Да, природа разбудила в нем силы, для которых не предвиделось «законного» исхода в течение еще нескольких лет. И нельзя освободить человека от этой напасти, от мук временной «нечистоты» и безвыходности. Нельзя ничего подсказать или переменить, невозможно за него пройти и полшага, сделать и полвздоха. А если бы можно было? Если бы в наших силах было вернуть ему детскую безмятежность, сохранить совесть, вполне спокойную, не подвергнувшуюся никаким искушениям? Неужто мы бы хотели этого? От чего спасать юношу? От юности? От сомнений? Отковыривать дух от тела? И урезанный этот, отлученный от страстей и соблазнов, инфантильный, сладко щебечущий дух, будь он возможен, неужто бы нас устроил?

А когда они все-таки придут к согласию — заносчивая, возмнившая о себе душа и взбунтовавшееся, как случайно набранная команда в открытом море, вышедшее из повиновения тело?

Сам Райнис, напомню, утверждает, что кризис этот — неверие в себя, одиночество и пессимизм — перерос у него в сочувствие к другим. Так это было с ним, и такой способ возмужания не назовешь заурядным.

13 января 1880 года — через полторы недели после отъезда — Янис выкладывает старшей сестре накопившиеся новости. Пишет он по-немецки. Перевожу. «Милая сестра! К тому времени, как вы получите письмо, папа вам все расскажет: занятия начались в четверг, но нет еще некоторых учителей... На этой неделе я купил много книг, и когда гулял эти дни, много чего видел. Я теперь знаю, например, ратушу, дом Черноголовых, Александровскую, губернскую и городскую гимназии, 11 церквей и т.д. И город уже знаю довольно хорошо, мог бы назвать еще много достопримечательностей, но описывать долго, я ведь сам смогу все рассказать вам на Пасху».

Адресовать письма новоиспеченному гимназисту следовало так: «Его Высокоблагородию Витолду Антоновичу Копровскому по Столбовой улице № 35 в г. Ригу с передачею Плекшану».

В пансионе на улице Стабу (русское название — Столбовая) жил с первых дней и Леон Дарашкевич. Другу разлука с домом, с любящей матерью далась, может быть, трудней, чем Янису. Жаловался он, что от пансиона далеко до гимназии, вставать приходится в такую рань,

полвосьмого... И в классе ему не везло. «Беднягу Леона школьники уж очень мучают, меня же, наоборот, пока не трогают. Если Леона спрашивают, хорошие ли у него товарищи, он отвечает обыкновенно: «А, *таки народ!*» (конечно, я не умею это написать правильно польски)».

Часть одноклассников начала занятия уже давно, в августе. По сравнению с этими «старичками» Янис и Леон, поступившие в январе, поотстали. Пришлось догонять: дважды в неделю у них были дополнительные занятия по древнегреческому, например.

*Терциане** поначалу не понравились Янису. Довольно высокомерны и притом — ленивы, упрямы. «В терции собралось очень много животных и всяких ремесленников: *Wölfe, Bären, Hühner, Hähne, Schmiede, Schneider u.s.w.*»** Вот уж сын своего отца. Кришьянис Плиекшан любил съязвить в адрес соседей-немцев. Да и не только немцев. Насмешник он был превеликий: умел припрятать ироническое жало в целом ворохе вежливых, безупречно учтивых фраз, и только легкий намек, смысл которого мог быть совершенно непонятен собеседнику, зато в глазах окружающих совершенно менял смысл сказанного — вдруг звенел в воздухе, как пущенная в цель стрела, и горе тому, кто не слышал ее опасного посвиста! Всем арсеналом простонародного сочного юмора он тоже владел и, недолго думая, пользовался. Иное пущенное им словцо припечатывалось, приклеивалось к человеку и сопровождало по гроб жизни, делаясь кличкой, вытесняя настоящее имя. От его язвительных замечаний плакали. Разрывали, случалось, отношенья с ним, уходили куда глаза глядят работники и испольщики. Но тем же самым беркенхегенский арендатор и привораживал людей: кто ж не любит посмеяться! Ежели другой такой острослов оказывался в гостях у Плиекшанов, домашние сбегались на бесплатное представление, а на другой день особенно хлесткие словечки пересказывала вся округа.

Животные и всякие ремесленники, надо сказать, не скрывали холодности и известной враждебности к гимназистам-латышам и вообще немцам. С этим Янис сталкивался и раньше, но в Земгальской Гриве даже и вражда была как-то простодушнее: противники были здешние,

* Самый старший класс в немецкой гимназии — *прима*, второй по старшинству — *секунда*, третий — *терция*. Отсюда — *терциане*, к которым принадлежал и Янис.

** Волки, медведи, куры, петухи; кузнецы, портные и т.д. (нем.). Янис как бы переводит фамилии одноклассников в другую плоскость: Петуховых — в петухи, Медведевых — в медведи, Кузнецовых — в кузнецы.

своей округи, об них самих и их родителях многое было известно, Янис знал, чего ждать от них и чем ответить. Здесь же не грубость и не прямые обиды донимали новичка. Ему давали понять, что он чужой и никогда не сделается «своим» — так же как и сын богатого еврейского коммерсанта, как отпрыск русского чиновника. Давали понять твердо и почти равнодушно: никакие таланты или добродетели не сделают его ровней, даже и не приблизят к заветному кругу избранных от рождения.

Учителя ни в коем случае не поощряли ни враждебность, ни открытое высокомерие, но — сами были воспитаны в том же духе и поневоле источали те же чувства, которых не поддерживали на словах. К латышам в каком-то смысле относились терпимее, чем к другим немцам: переходя на их язык, сын зажиточного латыша как бы вступал на путь отречения от своего нелепого происхождения, от бескультурья и низости, ожидавших его в другом случае. Стремление сделаться немцем — разумеется, несбыточное в полном объеме — было все-таки понятно в простом человеке: это извечное человеческое стремление от низшего к высшему!

Для подростков-иудеев вежливой снисходительности не хватало даже и у некоторых учителей, но они честно старались скрыть свое неодобрение, относясь, однако, с известным пониманием к озорным выходкам гимназистов в отношении этого элемента.

И особенно пылким и нескрываемым было отталкивание всей, снизу доверху, гимназии от русского беспорядка, от русского варварства, от русского неряшества и лени. Чувство превосходства — культурного, расового, исторического — обращалось прежде и сильнее всего в эту сторону.

И однако лифляндское рыцарство находилось под началом у русских властей. И хотя в Санкт-Петербурге — среди вельмож, в свете, в высших бюрократических сферах — влияние остзейских дворян издавна было значительным, да и физически они присутствовали в этих кругах почти два столетия, все-таки оставалось фактом, что Петербург слал циркуляры в Ригу, а не наоборот, и русские городские ходили по городу, улыбаясь немцу почтительно и нагло, русский генерал-губернатор сидел в Рижском замке, русские купцы вели себя в Риге как дома: то есть никак не по-европейски.

Настоящими же хозяевами балтийских провинций оставались при всем том немцы — подданные российской короны, пропитанные духом непокорства. Поразительно, но славяне, даже и разбогатевшие, и глотнувшие европейской образованности, не испытывали, кажется, надлежащей робости перед арийским духом, не умели ощутить своей культурной второсортности. Даже и дворяне из офицеров и судейских не выказывали ни малейшего желания из немцев сделаться немцами

и в этом смысле проигрывали некоторым из вчерашних мужиков: латышам, эстам. Варвар, осознавший. что он варвар, сделал уже первый шаг по пути к цивилизации, не так ли?

Основания для гордости у балтийских немцев имелись. Они бесспорно были носителями европейской культуры в этих краях; имена Канта и Гердера не попусту слетали с их уст. Философия, право, история, литература, театр, музыка, — все это их связывало с Восточной Пруссией, со всей остальной Германией; но была у них и собственная история, архитектура, свои музыканты и поэты, артисты и математики. И сами они были причудливым, пышным ответвлением германской культуры, обогащенным соками прибалтийской страны, орошенным ее водами.

А в России, казавшейся им столь грубой и провинциальной, в это самое время, в 1880 году, среди «варваров» и «лентяев» ходили, ничем особенно не отделяясь от окружающих, Достоевский и Мусоргский, Менделеев и Бутлеров, Толстой и совсем юный Чехов, Чайковский и Вл. Соловьев, Николай Ге и Врубель...

Русская община в Риге не могла похвастаться громкими именами. Свообразную культуру пронесли и не расплескали за пару столетий разве старообрядцы, среднее же чиновничество и купечество не успело выделить специально культурной среды, создать тот слой нуждающихся в культуре, что служит залогом ее появления и развития. *Варварами* казались, однако, важным соученикам Яниса не рижские русские, а русские вообще, и этот взгляд едва ли был им прирожден, — нет, они усвоили его от родителей, почерпнули в окружающем воздухе.

Но ведь гроздь первых пришедших на ум русских имен имеет отношение уже не к одной только стране: тут человечество вглядывалось в себя новыми глазами. Нет, ни у лифляндских рыцарей, ни у их наследников не было столь уж бесспорных причин для высокомерия. Ни ввиду прошедшего, ни ввиду ожидавшего их будущего.

Все это вроде бы прямо и не касалось нашего героя, но влияло на него косвенно. Мировая поэзия, история и вообще культура приходили к нему через немецкую речь, немецкую книгу, учителя-немца. Через тысячу ежедневных уколов, через массу повторяющихся впечатлений воздействовала на него компания ровесников. Он не мог принять взгляд большинства гимназистов на латышей: здесь сама кровь была ему противоядием, здесь гордость и мнительность, талант и врожденная ранимость защищали его, не давали отступить и сдаться. А вот пренебрежение, направленное на что-то третье, позволяло перевести

дух: от него, слава Богу, не нужно было обороняться немедленно. Не на уровне сознания, а на уровне нервных волокон Райнис останется навсегда человеком западной традиции, и почти неуловимое недоверие к другой, византийско-русской культуре в нем проявится не раз помимо воли. А то и не помимо.

Об учителях Янис докладывал подробно в очередном письме домой. «Каждый из нас должен выбрать себе среди преподавателей вроде бы опекуна. Этот учитель потом следит за твоим прилежанием, поведением, подписывается наравне с родителями под всякими записками об оставлении после уроков и т.д. Мы с Леоном выбрали добродушного учителя истории господина Гиргенсона. Еще один добродушный (слишком уж добродушный для нашего класса) — математик Хензель. Есть еще старый чудак, преподаватель русского языка господин Халлер, он составитель какого-то учебника. Остальные — хитрый и злой Шлаус (латынь), Фризендорф — сердитый, но отходчивый, он вкупе с каким-то Курцем написал греческую грамматику, чем и гордится. Добрый старый Гросс преподает немецкий, а лысый и кривоногий, зато безобидный Хелмзинг — закон Божий; наконец, есть еще учитель гимнастики Мейснер».

Как подумаешь о сотнях, тысячах имен, а значит лиц и характеров, которым еще предстоит войти в эту жизнь, прочертить на поверхности или оставить в глубине свой след, так и оторопь охватывает. Стоит ли перегружать нашего торопливого современника множеством иноязычных фамилий? Некоторые из них, это уже ясно, мелькнут перед нами и исчезнут, провалятся в прошлое, из которого у них, кажется, уже и не было шанса выглянуть хоть на миг. Ну кому сегодня интересны злость и хитрость латиниста Шлауса, лысина, кривые ноги, а также природное добродушие господина Хелмзинга, преподававшего 125 лет тому назад закон Божий в одной из рижских гимназий? Может быть, привлекает само чудо возникновения над свинцовой поверхностью Леты благодушной, давным-давно забытой, но, как видим, не исчезнувшей пасторской лысины. А с ней и мгновение, одно из миллиардов сгинувших и вот — воскресшее... не оно ли водит сейчас моей рукой и не дает вычеркнуть эти, в общем-то, посторонние повествованию строки? Воля ваша, а я буду обращаться и к таким, почти наугад выхваченным из засосавшего их небытия именам, предметам, происшествиям. Буду заносить их сюда без заранее заданной цели. Дать им глоток воздуха вполне бескорыстно, чтобы в некую секунду ощутить колющий росток чужого времени, торкнувшийся в теперешнее, обвальное: наше.

С тех пор, как появляются подлинные письма Райниса, мы к ним привязаны. Начиная с четырнадцати лет человек сам о себе рассказывает — да не после, не задним числом, а сразу же. Еще и капли дождя, о котором он через минуту напишет, сверкают у него в волосах!

Но и не будем простаками. Очередное письмо не вмещает всего человека и его тогдашнюю минуту. Оно не исповедь и не дневник. Оно и не монолог даже, как может показаться, а часть диалога, вроде слышимой посторонним половины телефонного разговора. Вдобавок автор письма может быть правдив, а письмо — нет, не правдиво, обманчиво; человек верит, а слог его или почерк выдает сомнение; письмо натужно весело, а написавший его хандрит. Не говоря уж о том, что несомненная для пишущего истина может обернуться заблуждением, без этого и не бывает. Дареному коню в зубы не смотрят? Нет, мы-то будем заглядывать, так сказать, дареному факту и в лицо и за спину, будем ощупывать его недоверчиво, крутить так и эдак, — нам нельзя обмануться. Не хотелось бы: и при жизни, и после нее человек этот был так часто непонимаем или понимаем превратно, а там пошли натяжки, намеренные умолчания, наконец и прямые фальсификации, возводившиеся в канон и бывшие важной частью всеобщей фальсификации действительности, перемарывания и перетолкования истории... Оглянешься, вздохнешь тоскливо: нет, постараться бы избежать самых добросовестных заблуждений. Трудно, может статься и несбыточно, а пробовать надо. И поверяя сомнением всё без исключения, каждую строку, каждый факт, каждое свидетельство, зову и читателя: сомневайся! Не верь глазам своим, спорь со мной, с собой, с ним.

Письмо. «Книги очень толстые и потому сильно дороги. Греческий словарь стоит 4 руб. 80 коп., но зато он такой большой, богатый, с красивым прочным переплетом, так что я не хочу отдавать его Леону и за 5 руб.; еще купил русский и латинский словари, первый стоит 3 руб. 89 коп., второй — 2 руб. 50 коп. За лекарства отдал 1 руб. 67 коп., за книги всего 23 руб. 80 коп. Еще за учебу заплатил 4 руб. 50 коп., за галстук — 35 коп.; извозчикам, пока здесь был папенька, тоже переплатил немало, так что осталось у меня три рубля с полтиной...

В Риге на этой неделе был переполох: из Петербурга прикатил знаменитый музыкант Рубинштейн и дал здесь несколько концертов на фортепиано. Насколько он знаменит, можно было видеть по ужасающей давке, начавшейся при продаже билетов. Один школяр уже в 6 утра прибежал к кассе, хотя открывается она только в 9.

Говорят, годовщина 19 февраля будет отпразднована очень пышно.

Каникулы будут только 9 дней, в Александровской гимназии поставят «Эдипа» — к сожалению, на греческом языке. Целая неделя, я бы мог поехать домой, только надо подумать: платить за это удовольствие целых 6 рублей — не шутка».

19 февраля — двадцать пятая годовщина со дня восшествия на престол императора Александра Второго. К началу февральских каникул в Ригу приехал отец, утром Янис гулял по городу с ним, а вечером — со своими ровесниками, гимназистами. В центре, на Александровской улице, гремела полковая музыка, в окнах и витринах, сплошь ярко освещенных, среди цветов и зелени виднелись бюсты царя и царицы. «В других на отрезках ткани были вензели «А» и «М» с короной и прочими украшениями, кое-где сверкали надписи вроде «Боже, царя храни!» или «Имя царское благословенно, его любит мир! Его любит *Вена!*» (*Вена* — гостиница).

Янис с увлечением описывал и плошки, расставленные вдоль улицы, с салом и зажженными фитилями, факелы, бенгальские огни. Письмо было адресовано Лизе и заканчивалось так: «Мы переводим и учим наизусть «Одиссею» Гомера, Цицерона тоже заучиваем на память».

Все-таки как многослойно каждое отдельно взятое время, как в нем все перемешано, какие пронзительные несочетаемости попадают сплошь и рядом! В одной и той же памяти, в один и тот же миг вспыхивают и строки: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» и — «Его любит мир, его любит *Вена!*»

Не без иронии посматривает гимназист на бюсты царя и царицы в освещенных витринах. И вовсе не так уж далеко от Риги и от этих витрин вглядывается в свое недалекое будущее тот, в чью честь главная рижская улица названа. Царь-освободитель... еще недавно в его родной стране словосочетание это если и припоминалось, то непременно в кавычках. А ведь он был — *освободитель*, именно так воспринимался современниками. Вовсе не без колебаний решился на громадную, что уж говорить, запоздалую перемену всей жизни, преодолел сопротивление, недоверие, ненависть, вспыхивающие непременно в годы таких переломов и направленные всегда на ключевую фигуру событий.

Наивно, может быть, но... видятся мне на фоне роскошной иллюминации два темных, неосвещенных окна и отдельно, каждый перед своим двойным стеклом стоящие молчаливо государь Александр Николаевич, императрица Мария Александровна. Дни царицы сочтены. Недавний ли — 5 февраля — взрыв, устроенный вездесущими революционерами прямо здесь, в Зимнем, или измена мужа, его уже и не

скрываемая связь с княгиней Долгорукой, — какое огорчение сильней отравляет, доканывает бывшую гессен-дармштадтскую принцессу? Смерть, грозная и для царей, притаилась рядом, вот она. А по уходе императрицы — поспешный морганатический брак Александра Второго с Е.М.Долгорукой не выглядит ли шагом судорожно-предсмертным? Год, всего год жизни оставался августейшему юбиляру. 1 марта 1881 года в своей столице погибнет император от «брошенного в него взрывчатого снаряда».

А незадолго до того уйдет из жизни Ф.М.Достоевский. С каким провидческим ужасом наблюдал он азартную охоту террористов на русского царя, главной виной которого, как ни крути, была разве отмена крепостного права! Как безошибочно разглядел в этой облаве соблазн отцеубийства, скрывавшийся за лозунгами свободы и справедливости! Сколько же было раз и навсегда разбито вдребезги, в клочья разорвано тем *взрывчатым снарядом*, и если бы кто-нибудь из подготовлявших с маниакальной страстью, вновь и вновь начинавших сначала и доведших до конца дело убийства мог бы прозреть и увидеть миллионы мужчин и женщин, десятки миллионов будущих жертв — не остановился бы он все же? Может быть, и не остановился бы.

Как многие, как большинство из нас, Янис жил в нескольких временах разом, в нескольких странах света. Картины, созданные Гомером и Софоклом, Жан Полем и Шекспиром, с очередным уроком входили в повседневность, ничуть не менее внятные, чем воркотня квартирной служанки, столкновение с одноклассником, уличное происшествие. Реальность и фантазия, своя и чужая, высвечивали и оттеняли друг друга.

Тут его жизнь коренным образом отличалась от жизни его отца, протекавшей главным образом в настоящем, — здесь и сейчас. Не разбавленная никакими отвлеченностями, веселая и грубоватая, земная сила отца искала немедленного применения. Его ум сравнивал, считал, предугадывал ближайший шаг соперника, партнера, продавца, работника; взвешивал, на что способен собеседник, какие сюрпризы может преподнести погода.

У матери были кроме той же, сегодняшней и тутошной жизни, еще и молитвы, и песни. А песни знали только вечно-настоящее, всегдашнее: как солнце и месяц, как печаль, как могильный песчаный холм, как детская колыбель.

Изредка в крестьянские будни врвалось постороннее художественное впечатление. Чужому, да еще городскому человеку оно могло

показаться бедным, если не жалким. А я думаю: может, чудесная восприимчивость деревенской публики во столько же раз умножала значение виденного и слышанного, во сколько событие само по себе было скромней какой-нибудь рижской или петербургской премьеры?

Первое в жизни театральное представление Янис видел лет в девять-десять, — потом ему представлялось, что и еще раньше. Спектакль был любительский. Комедию «Ицигс Мозес» сочинил Адольф Алунан, тогдашний руководитель театра при Рижском Латышском обществе. Райнис запомнил имя главного персонажа несколько иначе:

*Ах ты славный Ицик Мозус,
Я в тебя тогда влюбился! —*

это из стихов Райниса о детстве.

Потребность человека в зрелище, в актерстве, своем и чужом, врожденна. Лицезрение игры и соучастие в ней, лицедейство, иногда домашнее, которое никто никаким театром не считает, есть условие нормального существования. Жизнь без игры, без передразнивания всего и вся, без театра выхолащивается, наполняясь пошлой, дутой важностью. С младенческих дней Янис видел, конечно, немало актерства и балагурства повседневного. Простодушное искусство обступало его. Мать пела, Лизе пела, цыганская или еврейская скрипочка рыдала прямо с громыхавшей мимо повозки; ряженые в вывороченных шубах на Мартынов день вваливались в дом и подымали шум и гвалт; маляр расписывал шкаф — и это тоже был театр. Театром был разговор отца с непонятливым соседом; театром — яростный, веселый торг на рынке в Динабурге.

И все-таки представление проводило явственную грань между «просто жизнью» и той заведомой ахинеей, что творилась у тебя на глазах в волшебном пространстве, выделившемся вдруг из всего окружающего. Там время иначе текло. Там люди были разом и собою, и кем-то другим, там они дурили и ввали так занимательно, так смешно и складно, что зрители держались за животы. Преображались и они, зрители. Изымались из обыденности и — целиком, с сапогами и туфлями, — оказывались внутри анекдота, в сердцевине чьих-то страстей, чужих чудачеств, безумств. Намазанные сажей и свекольным соком, в париках, с приклеенными бородами и носами, среди предметов, тоже потерявших свой прежний характер (даже скамейка, попавшая на сцену, участвовала

в игре, как бы по-своему становясь актёркой), знакомые люди изумляли, и одинаково в них тебя царапали и совсем новые их черты, и узнаваемые, всегдашние, поворачивавшиеся здесь иначе.

«Первый театр (Ицик Мозус) в Стейнберге». В другом месте записано еще: «Театр в гостинице».

Гостиница была, должно быть, сельская, придорожная. Зрители и актеры знали друг друга. Занавесом служили простыни, сшитые на живую нитку.

*Ах ты милый, старый Адольф,
Как же я в тебя влюбился! —*

напишет через десятилетия Райнис. «Старому» Адольфу Алуану в те времена, о которых поэт вспоминает, лет двадцать семь. Это когда еще, через сколько лет его нарекут (жена Райниса наречет) «отцом латышского театра»!

Янису повезло, что первое театральное впечатление связано для него с латышской пьесой, с латышским языком. Могло быть и иначе. Вторая встреча с театром случилась в Динабурге, там русские актеры разыгрывали комедию по-русски. В Риге он побывает на спектаклях Немецкого театра.

Теперь же Янис увидел, услышал трагедию Софокла «Царь Эдип» на том языке, на каком она была сочинена и представлена на сцене лет за четыреста до Рождества Христова. Счастлив, кому удалось вот так, с первых шагов вкусить подлинности, неразбавленной и незамутненной, в том, что позднее составит смысл его существования. Может, тут он как раз и определяется, этот смысл, завязывается узелок, из которого потом брызнет вниз — пучок корней, вверх — пучок побегов.

Он пишет о состоявшемся представлении подробно и с некоторой торжественностью. «24 февраля 1880 года в зале Александровской гимназии в Риге был греческий театр. Ставили «Эдипа». Все актеры — гимназисты, среди них князь Друцкий-Любецкий, он играл Иокасту. Сцена была устроена по греческим образцам и украшена колоннами, занавес подымался снизу вверх; посредине стоял увитый цветами алтарь, внутри которого сидел, между прочим, суфлер. Пьесу давали на греческом языке. Самого Эдипа играл рослый секундер, остальные артисты все до одного были из «примы». Он был в длинном белом одеянии, поверх которого — плащ с зеленой каймой; плащ этот Эдип перекинул через плечо. На

голове у него сверкала золотая корона, на ногах — желтые сандалии с шнурками того же цвета и на каблуках, чтобы казаться еще выше; в руке он держал копьё с золотым наконечником. Платье Иокасты — синего шелка, поверх него белая ткань, шитая золотом и оттороченная снизу широкими кружевами, сквозь которые можно видеть то, первое платье. Волосы ее были завязаны греческим узлом и украшены диадемой. Поздней она прикрыла их большим платком синего шелка. Еще один жрец или кто он там был, запомнился: красное одеяние поверх золотого, перетянутое широким серебряным поясом, и кроме того плащ, вытканый серебром, накинут на плечи. Хор жрецов: все в длинных одеждах разных тонов, причем с рукавами (а у других рукавов не было!), у всех шерстяные накидки, на головах венки. За спиной у царя два телохранителя в одежде простых воинов. Много персонажей без слов: слуги, герольды, гонцы, и все в красивых костюмах. Тиресий с мальчиком-поводырем вышли одетые очень просто. У слепца — длинный пастушеский посох и белая ниспадающая борода. Потом прибыли еще гонец, пастух, — оба совсем бедно одеты, в туниках ниже колен и в накидках; у пастуха, мне показалось, на голове была старая фетровая шляпа, только верх закручен. Все играли очень хорошо, особенно Иокаста, Эдип и жрецы, из которых говорил только первый жрец, а остальные пели хором под рояль и орган. Спектакль устроил учитель греческого языка этой школы в пользу малоимущих учеников».

Учитель этот, господин Фризендорф, сокрушался, что произношение у актеров неважное. Хорошо еще, что зрители знали сюжет, знали, о чем говорят Эдип, Тиресий, Креонт, Иокаста.

Иокаста: Коль жизнь тебе мила, молю богами,
Не спрашивай... Моей довольно муки!

Эдип: Мужайся! Будь я трижды сын рабыни,
От этого не станешь ты незнатной.

Иокаста: Послушайся, молю... О, воздержись!

Эдип: Не убедишь меня. Я все узнаю.

Иокаста: Тебе добра хочю. Совет — благой...

Эдип: Благие мне советы надоели.

Иокаста: Несчастный! О, не узнавай, кто ты!*

Но не желая слышать предостережений, все более зловещих и прямых, уже почти догадываясь о том, что вскоре узнает, царь Эдип обрушивает на себя груз ужасной, раздавливающей правды.

* Перевод С.Шервинского.

Если бы взрослые, профессиональные актеры выступали со сцены, вряд ли впечатление было бы бóльшим. Такие же подростки, на год-два старше Яниса, там, в заколдованном круге, произносили стихи, пришедшие прямо из древней Эллады. Мне не дают покоя 2300 лет, преодоленные в этот день и час, ненадолго, но преодоленные. Не могу выделить главного героя происходившего: был ли это царь Эдип? Или Софокл? Или семнадцатилетний князь Друцкий-Любецкий, игравший Иокасту? (Надо бы поинтересоваться его дальнейшей судьбой — как он прошел через грядущие войны и революции? Прошел ли?) Или господин Фризендорф, учитель греческого? Или же все-таки — четырнадцатилетний гимназист, увидевший и запомнивший каждую подробность, вплоть до шнурков на сандалиях?

«Несчастный, о, не узнавай, кто ты!» Бедная, бедная Иокаста! Словно бы это возможно; словно бы удалось кому-то отбиться от этого вопроса, от необходимости для каждого человека и народа: знать, кто ты. И отвечать на это, за это.

Где ж справедливость? Может ли мальчик Янис Плиекшан отвечать за то, что шестьсот-семьсот лет назад вторжение чужеземцев переломило надвое судьбу его земли, его пращуров? Может или нет — отвечает. Он родился-то наполовину ограбленным. Язык и обычай исконных жителей края и теперь в небрежении, реальная сила и власть принадлежат тем же рыцарям, благополучно пронесшим свои северогерманские гены через несколько трудных веков; чужими именами окрещены на картах родные реки и холмы, озера и города. И на чужом языке — по-немецки — пишет он письма домой.

Тут, однако, замечательно вовремя, вмешивается сестра Лизе. «Написал бы ты маме поскорей порядочное письмо по-латышски, она давно уже ждет. Да и тебе было бы весьма полезно поупражняться в латышском письме, иначе — как бы ты не забыл наш несчастный язык, ведь к нему и в Риге относятся с пренебрежением».

Повторять не пришлось. Латышский все чаще встречается в письмах гимназиста, покуда полностью не вытесняет немецкие фразы. Немецкий, правда, остается языком ученья и повседневного общения с товарищами, языком его внешней жизни, а языком домашним, языком родства и дружбы, языком недозволенных мечтаний и снов становится навсегда латышский. Этот выбор, тайный и окончательный, отделял его от многих учителей и ровесников, но и определял возможности новых, будущих связей и дружб.

Только маленькой Доре он пишет по-прежнему по-немецки: это

потому, что она тоже учится в Земгальской Гриве, в той самой *Landes-schule*, только девочки занимаются в отдельном, меньшем здании. «Не смеются ли над тобой из-за немецкого произношения?» — спрашивает Янис сестренку. И тут же спешит похвалить ее: «Вот уж не думал, что у тебя такой хороший почерк и что ты уже так много понимаешь по-немецки!» И в следующем письме: «Твой почерк теперь гораздо лучше моего и во много раз правильной».

Его в родном доме воспитывали с некоторой суровостью: такова была метода сестры Лизе; и уж тем более не терпел «слюнвяых нежностей» его отец. Янис щедр на похвалу, ласков и нежен: он думает, что воспитывать детей лучше всего любовью. «Милая маленькая сестренка, — пишет он Доре 6 апреля 1880 года. — По Даугаве плывут теперь большущие корабли, ты таких и не видывала! Но это всего лишь пароходы, а они все-таки не так велики, как парусники, которые появятся немного позднее. Много хорошего в Риге, но кое-что здесь и плохо: это вода, которую нам приходится пить, она такая грязная, рыжая как чай, прямо пить невозможно. А у вас вода чистая? Не верится. У вас ведь тоже сейчас ледоход».

Немного позднее в Риге появились парусники, — плыли, скользили вдоль берега, сверху вниз поглядывая на чумазые приземистые пароходы; те в ответ гудели насмешливо. И что-то там показывали жестами и кричали, не заботясь о том, чтобы быть услышанными, команды одна другой; казалось, на реке да и на берегу в горячую пору вообще никто ничего не слышал, но всё двигалось шумно и безалаберно, чуть не сталкивалось и разрешалось в последний момент: суда проходили впритирку друг к другу, чудом не задевая соседнего борта, мешки и бочки взлетали и спускались по трапам на голых согнутых спинах; шутки, брань на семнадцати языках, смех, визг лебедек, тарыхтенье машин, хлопанье мокрого паруса — и множество других звуков; смесь небывалых запахов, растекавшихся потом по городу малыми, все истончавшимися дозами... Полторы тысячи кораблей из множества стран принимал рижский порт, — где они все? Где ветра с четырех сторон света, застревавшие мелкими атомами, пристававшие намертво к парусине, так что контрабандой проникал в Ригу воздух и арктических и экваториальных широт?.. Где моряки, знавшие слова и выражения, потребные для любви, работы и драки, по-английски и по-голландски, по-немецки и по-русски, на языке фарси, по-китайски и по-польски, и лишь в глубоком опьянении переходившие на родной, материнский (но не слушались губы, забывал, куда ткнуться, отвыкший язык; падала, точно

цветок или плод, голова на воняющий ромом и водкою столик)? Где колониальные товары, где те колонии, из которых они привозились? Где весь тот мир, на который глядел, излучал синеву своих глаз Янис Плиекшан? Отдельные строения, вещи, пришедшие прямоком из того мира, по-прежнему в Риге: вписаны в наше измерение. Может, люди и времена скреплены как раз этими, переходящими из столетия в столетие холмами, водами, предметами, зданиями, мелодиями, словами, как несколько отдельных пластин могут быть скреплены общим стержнем? Вынь стержень — и все рассыплется.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАЛЕНЬКИЙ ИАКОВ

В Беркенеле появилось пианино! Купили его для Доры, и она сразу же начала учиться. Когда брат приехал из Риги, Шишечка (домашнее ласковое прозвище Доры) с важностью показывала уже, каких достигла успехов. Янис захотел тоже поучиться — у Доры, гордой донельзя своей новой ролью. По словам Лизе, оброненным в одном письме, «ученик вскоре превзошел учителя». (На следующую зиму Доре подыщут серьезного преподавателя. Честно отрабатывая свои три рубля серебром, он из месяца в месяц будет тянуть вверх свою ученицу, так что у Яниса не останется вскоре шансов догнать ее).

Лизе тем же летом уехала лечиться на курорт Аренсбург, что на острове Эзель. Теперь не она Янису, а Янис ей сообщал из Беркенеле домашние новости.

Лизе мучилась ревматизмом. Боли в суставах порой становились нестерпимыми. Тем обидней была проклятая хворь, что жизни она почти и не видела... Лизе была миловидна, умна, образованна; богатство Плиекшана также ни для кого не оставалось секретом. Много ли во всей губернии нашлось бы таких невест? И ведь были, были у нее поклонники, домогались ее руки не один и не двое. Но отец так и не дал своего согласия в те дни, когда собственное счастье Лизе было еще возможно. Теперь несбывшиеся мечты переродились, кажется, в ту самую боль, что терзала ей руки и сердце с каждым годом немилосердней. Да, именно так: руки и сердце. *Ревматизм* — было имя самого удачливого из ее женихов, обошедшего всех соперников. Он и победителем выйдет в конце концов, только вместо фаты на невесте будет саван.

Осень обозначилась крупной переменной. В Риге отец повез Яниса не на прежнюю квартиру, а в другое место. Янис и его друг Леон Дарашкевич устраивались жить на полном пансионе в семействе Бернхарда Дирикиса, известного издателя, владельца самых популярных латышских газет — «Балтияс Вестнесис» и «Ригас Лапа».

Выслужив в Рижской Камеральной палате место чиновника по особым поручениям, Дирикис к тому же был пожалован званием *гофрата*; он этим чрезвычайно гордился и требовал, чтобы домашние называли его не иначе как *господин гофрат*. Но эта и другие маленькие слабости казались вполне извинительными в сравнении с его общеизвестными заслугами: Бернхард Дирикис был одним из основателей Рижского Латышского общества.

Над латышами, как многометровой толщины лед, возвышались чужие порядки и установления, чужая география, чужая история. Чужая власть; глыба эта, нависавшая над каждым в отдельности и над всеми вместе, запирала всякий выход, препятствовала поступлению кислорода, дышать мешала. И когда приоткрылись первые щели — как жадно к ним приникли задыхавшиеся рты! Среди первых, припавших к первым же крохам внешнего воздуха, к знаниям, был Бернхард Дирикис.

В 1852 году на двадцать втором году жизни он окончил Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге (между прочим, год спустя те же стены приняли в себя студента Николая Александровича Добролюбова). Потом Дирикис преподавал русский язык в том самом Аренсбурге на острове Эзель, где много позже лечила свой ревматизм Лизе Плиекшан.

На протяжении веков завоеватели и их потомки присваивали себе самых талантливых из латышей, снимали сливки с народа, обращая тех, кто выбился в люди, в «своих» и отчуждая от родного языка и окружения. Бернхард Дирикис был из числа первых латышей, получивших изрядное по тем временам образование и не переставших быть латышами. Сейчас это выглядит само собой разумеющимся, — но тогда это был целый переворот! И нескоро, только теперь вот, в восьмидесятые годы бывшие крестьяне, стекаясь множеством ручейков в Ригу, распробовали настоящему, что это такое: быть и оставаться самими собой, не стыдиться своих предков и их «простоты», искать в родном языке, в доставшемся от пращуров характере заветы, которых не могло же не быть? Латышское общество сделалось за два десятилетия домом для притекающих в Ригу латышей. А Дирикис был его первым председателем.

В принадлежащей Дирикусу типографии печатались латышские книги и брошюры, в магазине Дирикиса все это тут же и продавалось. А Янису и покупать эти книги не нужно было: только руку протяни, — они все стояли в высоком застекленном шкафу, который не запирался.

В сентябре Янис Плиекшан, только что скромно отметивший свое пятнадцатилетие, рассказывает Лизе, что решил вступить в некое общество. «Здесь, в Риге и Елгаве, старшекласники сходятся, чтобы изучать свой язык. Патроны — кое-кто из так называемых патриотов: старый Дирикис, Веберис и др. В Елгаве участников человек 20, в Риге пока всего 15. Цель свою общество видит в том, чтобы читать польнатышски хорошие, дельные книги, учить грамматику и еще выполнять письменные работы. Сочинение все вместе обсуждают и исправляют, если что не так. В месяц надо платить 15 коп., деньги идут на книги. Собираемся в доме Тидеманиса, иногда — Банькина, одного из наших. Вот в такое общество я вступил. Если вы будете против, я в любой момент могу из него выйти, но надеюсь, что вы будете так добры и дадите свое разрешение. Как члену общества, мне тоже нужно писать сочинение, да я не знаю — про что. Мой милый секретарь, помогавший уже в стольких делах, может, и на сей раз присоветует что-нибудь мне, бедняге? Может, написать про латышскую мифологию? Но я о ней так мало знаю, вот если бы ты мне про нее рассказала...»

Смеешься ты, что ли? — спрашивала в ответ «милый секретарь», Лизе. Ничего она не знает из латышской мифологии; узнавай и пиши сам. Общество — дело хорошее, и никто ничего запрещать не собирается.

Начиналась осень хорошо. Главное, что переезд был удачен. «Нашим пансионом мы оба совершенно довольны, — писал домой гимназист. — Мне особенно нравится старая хозяйка, она с нами говорит и обходится так дружелюбно и хотя не называет своими сыновьями, обращается с нами так, как если бы мы ими были, и вообще не строит из себя важную барыню, как гордая Копровская. Ей нравится, когда на ее сердечность откликаются, и может быть, поэтому она расположена ко мне больше, чем к Леону, тот не сумел к ней так скоро привыкнуть. Я же, напротив, стараюсь ей потрафить елико возможно, и заметив, что она любит, когда ей ручку целуют, не забываю это делать».

Старую хозяйку, тещу издателя звали фрау фон Фалькен. Происходила она из старинного дворянского рода и любила принадлежащую к ее фамилии частицу «фон» не меньше, чем сам г. Дирикис любил свое звание гофрата.

Потом пошли неприятности.

В немецкой гимназии первый семестр начинался после Рождества, второй — осенью. По итогам семестра распределялись места в классе. Кто успевал лучше, садился ближе к учителю. Неуспевающие подпирали заднюю стенку.

На сей раз осенью в «терцию» пришло много новичков, так что в классе теперь было 52 ученика. Вновь прибывших рассаживали согласно результатам вступительных экзаменов, и вся прежняя «иерархия» оказалась разрушена. Янис и его друг Дарашкевич прежде находились если не во главе, то по крайней мере ближе к началу списка. Но теперь... «Я спокойно ждал конца квартала, — писал Янис родным, — не думал, что окажусь хотя на одно место ниже, но как начал падать, так и упал сразу на 12 мест! Все несчастье, как мне и Леону кажется (а он совсем убит: оказался на целых 16 мест ниже!) вышло из-за этих проклятых *новопосаженных*, — так их называет Леон... Сам я, право, не знаю, есть ли тут моя вина? Учусь я так же, как в прошлом полугодии, это отметки показывают. И что теперь делать?»

Все было бы не так страшно, будь тут задето всего лишь самолюбие гимназиста. Даже и несправедливость он, пожалуй, пережил бы, если она ненамеренна. Но впереди вырисовывалась новая опасность. «Хуже всего, что меня, может быть, на Рождество не переведут в следующий класс, слишком уж далеко я сижу, у меня 28-е место. Вот уж была бы беда, оставаться на второй год — дело скверное. Тогда нужно будет держать экзамены в «секунду» в губернской гимназии или вообще из гимназии уйти и потом в июне, на Янов день, снова поступать в «секунду». Даже и не знаю толком, как мне быть тогда?»

В Беркенеле ему, кажется, не поверили. Не переведут? С какой стати? Лизе намекала на его мнительность. Янис обижался. «Вот вы не верите мне, смеетесь, что я такой пугливый. То-то удивитесь, когда услышите, что сынок ваш не перешел в следующий класс!.. Могу сказать вам, что для меня настали не лучшие времена: такое наказание стоит у дверей, и ничем, ну ничем его не отвести!»

На чердаке дома в Беркенеле, том самом чердаке, где когда-то Янис зачитывался старыми немецкими книгами, через столетие с лишком я обнаружил возле слухового окна выцарапанную чем-то острым надпись: *bēdīgs stāvoklis*. Плачевное, отчаянное положение... Не берусь утверждать, что сделана она рукой Яниса Плиекшана. Но если так, то, по моим прикидкам, сделать он это мог только в ту пору, в ближайший же приезд домой, — опустошенный, беспомощный, как жук, перевернутый на спину.

Чтобы беда гимназиста не показалась пустяшной, нужно попытаться встать на его место (покинув для этого своё). Вдалеке от родных, в чужом большом городе — кто он? Кому нужен, на что способен? Это решалось в общении и состязании с ровесниками, и не удивительно, что свет клином сошелся для него на вопросе — переведут в «секунду» или не переведут?

С малолетства в нем жила веселая вера в себя, доверие к миру. Первая трещина относится к давней истории с разбитым стеклом, но теперешний удар был не легче. Как и тогда, он не чувствовал за собой вины. Только уже не Лизе, а чужая безличная сила тучей шла на него.

Он не только за себя отвечал. Он был первый в роду, выбившийся с помощью семьи к совсем новым светам. К явлениям, бывшим для отцов и дедов вне досягаемости: нельзя же не видеть, что «Царь Эдип» Софокла на древнегреческом языке даже и для высокого деятельного Кришьяниса Плиекшана — ультразвук, нечто, находящееся за пределами слышимости.

И конечно, ему приходилось доказывать ежедневно и ежечасно право всего своего рода, право и способность понимать Софокла, Овидия, Шекспира, Гете, вообще право свое затесаться вот так в среду полноправных наследников всечеловеческой культуры и с ними наравне что-то там осмысливать, подхватывать и нести дальше. Не то чтобы враги и притеснители, — нет, вполне гуманные, исполненные сочувствия европейцы порекомендовали бы всем плиекшанам, настоящим и будущим, что-нибудь полегче. Что-нибудь такое, что соразмерно было бы их реальным возможностям, не ставило бы их в положение ложное и потому опасное для их же собственного блага.

Нужно было доказать. Он не один доказывал, но все-таки и много их не было — считанные десятки, сотня. И то спасибо: в предыдущих поколениях счет шел на единицы.

И мало было показать, что он может что-то там постигать не хуже немцев-одноклассников. «Не хуже» — это и случайность может быть, и подражание, талант обезьяний. Ему надлежало выделиться, другого выхода не было. Ах, вы не желаете принимать меня всерьез? Придется.

За ходом этой борьбы наблюдало множество глаз. Кто равнодушен к успехам и неудачам своих детей? К их — не дай Бог! — поражениям? Плиекшаны, и не только они: все их окружение, те, что выше стояли на

общественной лестнице, и те, что ниже, — все смотрели на юного гимназиста, все ожидали, что выйдет из него, да и выйдет ли что.

Дома, в Земгальской Гриве Янис заставил недоброжелателей прикусить языки. Старый Плиекшан мог поглядывать на соседей, на других арендаторов и даже на окрестных помещиков победоносно. В 1878 году на выставке в Гриве он получил серебряную медаль за прекрасные стати выращенной на его конюшне гнедой кобылы. (Дарта, жена, и старшая дочь тоже участвовали в той выставке как рукодельницы, привезли и они домой в Беркенеле медаль — бронзовую, за домотканые покрывала и вязание). Но то, что наследник арендатора, латыш Янис Кришьянис Плиекшан первым номером закончил школу в Земгальской Гриве, обставив немцев-сверстников, — это было почище любых других побед; даже и несравненные стати гнедой кобылы меркли перед этим.

И вот в Риге, — еще и года не прошло со дня поступления в гимназию, — такая осечка! Поверили в Беркенеле, что мальчик не виноват в неудаче? Может и поверили. Но они, как и сам Янис, не ожидали поражения.

Положим, у всех хватало и других забот. Успехи гимназиста в Риге все-таки не так много решали, как, наверное, казалось Янису. Ему чудилось, что он обманул все надежды, что вся Грива знает о его провале и только о том и судачит... Рушится на тебя кровля, — попробуй в пятнадцать лет отделаться от впечатления, что и небо рушится. Янис хоть и писал родным о своей «маленькой беде», но за два месяца, пока тянулось и решалось дело, не раз доходил до отчаяния.

Если взглянуть на те же события спокойно, то ведь Плиекшан-младший ничего существенного не терял. Ну, пробудет он в «терции» вместо одного года — полтора, зато лишний семестр даст ему время для чтения, для одинокой работы самостановления. В новом классе он, знающий заранее изучаемый материал, выйдет в лидеры, не прилагая к тому никаких усилий. Так?

Так да не так. Утеряна, притом — навсегда, беззаботность, уверенность в себе, то, что французы называют *кураж*. С этого момента вчерашний розовощекий выдумщик и озорник становится недоверчивей, замкнутей. Еще недавно он ощущал себя чуть ли не всеобщим любимцем, — теперь он и сам-то себя не любил и не знал, за что можно любить себя.

Тут и подстерегала его жестокая каверза природы, заставляющей в этом возрасте с неотступной силой желать того, о чем он не смел до

конца и подумать. Повторение может показаться назойливым, но покуда мы не выйдем из этого времени, драма повзросления останется двигателем сюжета, хотим мы этого или не хотим.

Презируя себя за неправильные, грешные желания и мечты, вспыхивавшие в нем помимо воли и вопреки ей, Янис не мог не думать о Боге. Он рос верующим. Но отныне не хотел и не мог верить не рассуждая. Оторвать веру от воли и разума он не согласился бы. Притом, вслед за матерью-крестьянкой, он видел в вере прежде всего договор с высшей силой о добре и зле, о том, что можно и чего нельзя. Самое простое — соблюдение десяти заповедей — уже давало жизни основу, а проповедь любви и милосердия, пронизавшая Евангелие, обещала и больше.

Теперь Бог отступился от него. В испытаниях, терзавших душу и тело отрока, молитва не помогала, и поделиться горем нельзя было ни с кем. Где искать ответы на то, что его мучит? Конечно, в Библии!

И вот он штудирует всё. Начиная с сотворения мира, с Адама и Евы. Глощает страницы боговдохновенной книги с каким-то жадным неистовством, ища немедленных, прямо к нему относящихся, разумных указаний, обещаний, решений. Да нет, не так даже, — *откровения* он ждет, немедленного и неоспоримого света истины. А коли не будет его... Сердцем, напрягшимся, точно кулачок, грозит он: смотри, Боже! Не будет откровения, пеняй тогда на себя: не станет и веры. Я себя разлюбил, разлюблю и Тебя, в себе разуверился — и в Тебе разуверюсь!

С категоричностью, обычной для пятнадцатилетнего, он назначил себя судьей — и вот здесь, сейчас примет решение, не подлежащее пересмотру. Еще сто страниц... еще тридцать... и он окончательно будет знать, есть Бог или нет (тогда можно и с маленькой буквы) бога. Сбились на небеси, трепещут в ожидании его приговора Ангелы Божии, пророки и праведники, апостолы и святые...

«Примерно к 15 годам мальчик взялся читать Библию, прочел ее всю, от корки до корки, пережил глубокий духовный переворот и сделался совершенным атеистом», — пишет Биркертс.

Был ли пятнадцатилетний судья правомочен принимать столь грандиозные решения? Как знать. Нас он об этом не спросит.

Он очень чувствителен к погодам. «Здесь в Риге, так же как у вас, погода плохая и переменчивая: то дождь, то снег, то, смотришь, опять подморозило... Как-то, — думаю, было это в четверг, — под вечер опустился такой туман, что в десяти шагах было не разглядеть, кто там перед тобой — человек, лошадь или еще кто».

Он очень озабочен тем, как относятся к нему окружающие. В классе с ним вместе учится еще один приятель прежних лет, Альберт Титовский. Янису кажется, что он заважничал: «Старый наш друг господин Титовский нас, бедных, вовсе не замечает, так что от самого Николы до нынешнего дня ни полсловечком с ним не обменялись. При встрече, когда я пытаюсь протянуть руку или поклониться, господин мой и не думает отвечать. Ну, на это сердиться нельзя, он заделался теперь важным барином — такой благородный, такой взрослый, не нам, детям, чета, да и сидит он повыше».

Титовского тоже не перевели зимой в следующий класс. Теперь места в классе распределились по-новому, Янис оказался пятым номером, Альберт — третьим. «Слава Богу, который нашему старому-престарому другу и недавнему приятелю смягчил сердце, так что теперь он нас, бедных, не так презирает и даже снисходит до того, чтобы говорить с нами или, лучше сказать, не считает ниже своего достоинства при случае кинуть нам словечко. Не в наших слабых силах отплатить ему за столь великое одолжение и высочайшую милость, но это ему зачтется, — ведь всякое благое дело дает благие плоды».

«Мой старинный и самый-самый большой друг г. Титовский весьма непостоянен (нет-нет, он прекрасный человек и больший политик, чем сам Бисмарк). Слушайте, слушайте, разевайте рты и уши: в первый день сей великий муж слегка скривился, глядя на нас... на меня, мужика, баура*, посмевшего ему чуть ли не сесть на шею, — но все-таки совладал с собой, стиснул зубы и вежливо подал мне руку, и поговорил. Всю неделю потом подавал руку; во вторую неделю уже не разговаривал, но руку все еще подавал, на третью... Ну, на третью неделю уже и руки не подавал, а так только, протягивал пару пальцев...»

Недурной текст для пятнадцати лет. С чем-чем, а с юмором у мальчика все в порядке.

В кружке (который он громко именовал Обществом) Янис пишет сочинение: «ЛАТЫШИ И НЕМЦЫ». Головная боль пра-пра-прадеда, деда, отца. Для него — вопрос каждого гимназического дня.

И в 1905 году не устареет тема его первого самостоятельного сочинения, и в 1915, и в 1919 он будет мучим ею.

Никто не скажет, что писал Янис Плиекшан на страницах того сочинения: оно не сохранилось. Но выбор темы говорит о многом.

В немецкой по преимуществу Риге, в немецкой гимназии он был

* крестьянина (искаж. нем.).

представителем меньшинства. Меньшинства обделенного, униженного, открыто или тайно презираемого.

Ответом на вызовы каждого дня была его гордость. Он не соглашался считать виной или бедой то, что он не таков, как они. Вот пришли бы к нему длинной вереницей все немцы, молодые и старые, все, которых он знал, во главе со старым Вельцером, встали бы на колени и начали умолять: будь с нами, родись еще раз — заново, дворянином и немцем, хочешь — бароном, рыцарем, отпрыском самой знатной из здешних фамилий? «Нет! — гордо ответил бы он Вельцеру и всем остальным, — нет, нет и нет! И не просите, встаньте с ваших немецких колен. Я латыш и сын латыша — того, что перерос вас и ваших отцов на целую голову; не знаю, отчего он такой высокий, но мне нравится. Будете вести себя хорошо — предложу кому-то из вас родиться еще раз, заново, уже латышом. Не считаете ли вы, что крестьянином быть легче, чем дворянином? Что там баричу, — с пеленок кричи: того хочу, этого не хочу! Ты вот родись в крестьянской избе и стань человеком!» — и мстительно поглядывая на своих одноклассников, Янис прикидывал, из кого бы мог получиться настоящий латыш; не из многих он получался, нет, не из многих.

Каждый высокомерный взгляд, каждое недоброе слово, задевавшее, хотя бы непреднамеренно, его язык и род, делало его как бы еще больше латышом: при каждой такой обиде невидимо вставляли за плечами родичи близкие и дальние, мертвые и еще не родившиеся, дышали, иногда не в такт его дыханию, ждали, что он подумает, как поступит. Он очень отличал этого рода обиды от других, обыкновенных, касающихся только его самого.

Правда, не каждый же день задевалось в нем это чувство! Чем реже задевалось, тем проще и веселей ему было с людьми. И верилось даже, что он не одних латышей — он и высоколобых немцев наследник, и славы, и, быть может, австралийских аборигенов с их наготой; с бумерангом, выдуманном при посредстве как-то иначе устроенного и повернутого ума.

Смерть («казнь», как предпочитали говорить революционеры) императора Александра II в письмах гимназиста не упомянута. Позднее он напишет только о приезде в Ригу нового наследника престола. То был Николай — в будущем, не столь уж далеко, последний русский царь.

Не забыть бы о русском мальчике, ровеснике Доры, живущем в Симбирске в большой, дружной семье Ульяновых. Из воспоминаний

его сестры Анны: «Володя очень любил своего старшего брата Александра и подражал ему даже в мелочах. Что ни спросишь у Володи: во что он хочет поиграть, пойдет ли гулять, с молоком или с маслом дать ему кашу, — он сразу не отвечал, а смотрел на Сашу. Тот нарочно молчал, хитро посматривая на брата. Мы посмеивались над ним. Но и насмешки на Володю не действовали, и он отвечал: «Как Саше»... Особенно близких друзей, как у Саши и Оли, в гимназические годы у Володи не было». Их не было и никогда позже.

Саша — Александр Ульянов — был почти ровесником Яниса, чуть младше. Через несколько лет они будут сталкиваться в коридорах Санкт-Петербургского университета.

Жизнь, на время соединившая в себе и оцепенение и погромы, сорвавшаяся вообще как-то плашмя и наперекосяк, точно дверь, повисшая на одной, последней петле и болтающаяся туда-сюда безо всякого смысла, не могла долго оставаться в таком положении. О дальних последствиях царевубийства не каждый задумывался, а близкие и задевали тех, кто был ближе: наверху бушевала буря, внизу уже продолжились вчерашние, обыкновенные хлопоты: куда ты денешься, жить надо.

Хозяева Беркенеле решили прежде срока прервать договор об аренде. Дерзость Плиекшана, этого долговязого латыша, его непомерные амбиции всем осточертели. Так и было сказано: мол, даже за словцо грубоватое не хочется извиняться перед дамами, что есть, то есть: осточертело! Унтиновский, писарь, давно уже просил Беркенхеген, — зря мы ему тогда отказали! А этот вздорный латышский ротшильд, — да точно ли он так богат, как болтают? — пусть себе поищет другое пристанище.

Так-то: искать новый дом приходилось спешно, а спешка в таких делах как раз нежелательна. И с первого же раза — сердце словно чуяло! — промах, да какой! Некий Евстафий Жаба уже получил за продаваемое Х.Плиекшану владение, Эзермуйжу, задаток, шесть тысяч рублей. И документы были оформлены, как вдруг — на тебе! — земельный банк в Вильне отменяет сделку, объявляет недействительной. Имение, оказывается, давным-давно заложено. Мало того: стороной Плиекшан узнает, что эту же самую Эзермуйжу Жаба тайком пытался всучить еще одному покупателю! Ну, Жаба, ну, мошенник, я тебя засужу!

И началась многолетняя тяжба. Не повезло с двумя нанятыми адвокатами, позднее пришлось ехать в Петербург, нанимать третьего, чтобы тот начал процесс против первых двух. Немудрено, что в очередном письме гимназиста вырвалось: «Когда уж он кончится, этот проклятый процесс!» Янис волнуется за отца, негодует. Беспокоит его и самый простой вопрос: куда ему ехать на каникулы? Где будет новый дом? Он выпрашивает: что вы там нашли? Будет ли рядом с домом речка, притом достаточно широкая? Если нет — не пытайтесь мне нахваливать «новую родину», мне там не понравится. «Во всяком случае, поначалу, — добавляет он примирительно. — Потом как-нибудь постараюсь полюбить новые места». А что ж еще ему оставалось?

В 1881 году впервые выплескивается наружу та тревога, что давно уже сжигала Яниса. Прежде ему, кажется, удавалось скрывать ее от домашних, а тут не смог. Душа его, выпрастывавшаяся из пелен отрочества, рождалась сызнова, как бабочка из туго свернутого кокона; неизвестно, такое ли мучение испытывает раздираемая куколка, так же ли болезненно высвобождение скомканных, никогда не пробованных крылышек?

Пусковым механизмом послужили самые обычные укоризны родных: почему он ленится, не пишет так долго? В ответ — шквал страстных самообвинений: «Горькие слова вы находите, метко палите, больно раните, но и этого мало для меня... Виноват, виноват я, дурачок, раньше я как малый ребенок злился, когда вы неделями не писали, а теперь вот сам молчу месяцами. Вижу теперь, что наделал: сердце вот-вот разорвется, и змея неумолимая, сознание преступления впивается ужасно и жалом и зубами; молю о прощении и отчаиваюсь. Дурень, что ж теперь плакать как дитя малое и выть, о чем ты раньше думал? Что ты теперь слова мечешь как горох, никто тебе уже не поверит, все знают, как «горячо» ты любишь своих. Путаные, невнятные, бессвязные мысли... только в такой чересчур умной башке они и могут рождаться. Что вы, что любой другой может подумать про такое письмо? Каждый головой покачает и спросит — почему он не сидит давно уже в сумасшедшем доме? Лучше бы вам и вовсе не читать этого письма... Может, я не так понял вас? Может, вы и не думали обо мне так уж плохо, а я сгоряча такую чепуху порю? Так всегда и бывает, кто сам виноват, от других ждет худа. Простите еще раз. А если это уже невозможно? Может быть, я вас слишком рассердил, стал вам чужим? Простите, если, конечно, злая трещина — следствие моей глупости и легкомыслия — не так широко

разошлась, что уже и заделать нельзя. Не забывайте своего сына, недавно еще вам дорогого...»

Порядком же напугал Янис своих родных, — потом пришлось месяц целый успокаивать их.

Рига, 15 ноября 1881 года. «Милые, милые родные, не горюйте, не плачьте больше, я вас не хочу и никогда не хотел и не думал так огорчить, не беспокойтесь так и не упрекайте себя, теперь у меня все хорошо, вы напрасно надрываете себе душу, и я тоже ничему не могу радоваться, видя, как вы себя мучаете. Забудьте, что я вам тогда написал, и я попробую сделать то же самое, если получится».

Рига, 1 декабря. «Милые родные! Ох, тяжело, тяжело я вас огорчил, еще и теперь холод по спине, как вспомню, что милая матушка рыдала из-за меня — и у самого слезы сыплются из глаз как горошины, и так стыдно потом, когда спрашивают, почему у тебя глаза красные. Но ведь вы простите меня? Не будете плакать больше? Тогда и я тоже повеселею».

Кажется, и повеселел, рассказывает оживленно о том, что получил, притом бесплатно, не потратив ни копейки, билет большого, взрослого Латышского общества, и по билету этому можно проходить на все «балы», вечера вопросов и ответов. Он уже был на одном таком вечере, а сейчас собирается на следующий: «только вот костюм почищу и причешусь».

У него зубы болят (неприятность пожизненная). Долго болят, не проходят, хотя Янис уверяет, что в этих случаях терпение лучше всяких врачей. «Хожу ли я в Общество? А как же. Каждую пятницу, как штык, в большом зале. Только в праздники не был, — боялся и на кошелек напустить зубную боль, которая терзала меня так безжалостно долго, что ей и самой, кажется, надоело».

Зубная боль, судя по тону, для него вдесятеро легче, чем непонятная и неотвратимая душевная мука, подступающая снова и снова. Когда тебе просто больно, спасает прирожденный юмор, терпение; самолюбие не позволяет раскиснуть. А с той, другой болью всякая защита бессильна: как обороняться от себя самого?

Нет, нельзя было открываться Лизе, родителям, вон они как всполошились, может, подумали вправду, что он спятил? Что ж, иной раз кажется, что и до этого недалеко. Кого позвать на помощь? Кому

исповедаться? Если бы Дора не была так мала! Вот кого он любит всем сердцем, спокойно, радостно, не боясь ни малейшего подвоха — и ответная радость, ответное доверие струится навстречу. «*Мое маленькое второе я*», — проговорился он как-то в письме к Лизе. Скорей бы Дора выросла! Нет, смешно: она ведь девочка, ей не все можно будет сказать и через десять лет, и через двадцать. Другу исповедаться? Леон и без того видит и знает много. Никогда не поймешь до конца, как ты выглядишь в чужих глазах: со стороны виднее мелочи. Например, что зубы у тебя разболелись. Умри в это время от всего, что тебя терзает, а Леон и старая хозяйка скажут с легким сочувствием: «Бедняжка! Нужно все-таки отвести его к дантисту».

Он пишет другому своему товарищу, Бернхарду Мора.

Рига, 7 марта 1882 года. «Дорогой Бернхард, не сердись, что снова пристаю со своими бедами после того, как добрый час досаждал разговорами. Но твоему старому другу довольно паскудно, его милейшее «я» и вся его нынешняя жизнь для него не только скучна, а прямо-таки непереносима. И вот, не зная, где еще искать совета, решаюсь затруднить тебя... У друга есть право, даже обязанность открыться другому. Между настоящими друзьями, так же как между влюбленными, не должно быть тайн: что же это были бы за друзья, если б они не знали дурные стороны друг друга, не говоря уж о хороших...

Ты, наверно, уже раньше заметил, что на людях я неразговорчив и замкнут, стесняюсь всех и что мне нравится сидеть дома. В недоверии к людям я зашел уже так далеко, что дрожу и заикаюсь, когда меня вызывают в классе, не могу общаться с посторонними, не умею завязать знакомство, не говоря уж о том, чтобы сойтись поближе. Да, это все смешно, но тут мой ад и погибель. Сейчас я стал еще замкнутей — мне нужно заставлять себя выйти на улицу, я крадусь туда, точно преступник. Лучше всего мне тогда, когда в комнате нет моего единственного соседа, Дарашкевича, — тогда можно без помех предаться фантазиям. Вдобавок — непобедимое равнодушие ко всему...»

Письмо оборвано на полуслове. Было ли оно послано? Неизвестно. Мы его получили, это письмо, — читаем, сочувствуем, не зная, что делать с запоздавшими на столетье признаниями.

Нет, знаем, разве что ленимся: спокойней не знать. Спокойней не думать, что в каждом встречном подростке могут бушевать те же бури; так же мало он может довериться окружающим, так же неоткуда ему ждать защиты и поддержки. А что же сделать можно? Ну... хотя бы возможность веры и действия, выбора и выхода была оставлена каждому

в переломное время; хотя бы жестокость и равнодушие близких не усмехались растерянному мальчику прямо в лицо. От безлюбья человек, еще не успевший встать на ноги, поскользывается и падает, тянет на себя всю синь небесного склона, как неловкий гость — скатерть со всем, что на ней. А уж там пеняйте на себя, когда годиков через пять повстречаете в темном переулке брата по разуму с пустым и наглым взглядом, с синей наколкой на руке, с десятью словами в запасе, — а лучше бы он и их не имел. Никто не сосчитал еще, для скольких переломный возраст сделался временем слома.

Янис отыскал выход сам, но полностью преодолеть юношеский кризис не сумел ни тогда, ни позже. Недоверие к себе, самообвинения, приступы депрессии будут повторяться.

В конце марта 1882 года, перед Пасхой, Янис Плиекшан завел дневник. Одна из первых записей была продолжением разговора с другом Бернхардом. Новому другу, дневнику, можно было рассказать больше. Он над тобой не посмеется, не употребит во зло оказанное доверие.

Он припоминает прежние, недавние дни. «Мир казался не то что безоблачным, но и не закутанным в серое. Все в нем оказывалось радостным ровно настолько, насколько радостным был я сам. Если сталкивался с чужой бедой — сострадание вступало в силу... Я чувствовал, что живу в согласии с жизнью, исполняя свой долг, был в мире с собой и со всем, что меня окружало. Я волен был поступать, как мне нравится, и закон мне не мешал, потому что я исполнял его. Я мог достичь всего, чего хотел, а хотел именно того, что было для меня достижимо. Я был в согласии и с моим Богом. Временами я верил и Богу всех христиан, а обо всем, что разделяло меня и Бога, в то время еще не думал.

Но это благодушное (и больше того) счастливое состояние длилось недолго. Погруженный в свои мысли, в свое счастье, я и не заметил, как забрел в глубокую трясины. Я вздрогнул и огляделся вокруг: там и сям в небесах обозначились темные пятна, то была моя совесть. Судорожно пытался я возвратиться в прежний счастливый сон, но все сильнее становились удары. Снова очнувшись, я раскрыл глаза и увидел, что увяз по шею в болотной жиже. Теперь с широко раскрытыми глазами, бледный, оцепенелый от ужаса, я вижу себя лежащим посреди отвратительного болота. И так как я не заметил, как постепенно шел к гибели, она мне казалась еще страшней, еще необъяснимей.

Уважение окружающих обратилось в насмешку и презрение, отовсюду выглядывали злобные карикатуры; черепа мертвецов без стеснения выказывали мне свои голые кости, и чудилось, что отовсюду

раздается: «Жалкий дурачок, ты вообразил, что равен великим, ты думал, негодник, взлететь до небес — потому и валяйся в грязи, и пусть змеиный яд сочится тебе на голову». И страшный гром раздался, способный, кажется, погубить одним своим звуком: я услышал обо всех своих слабостях, мне указаны были все мои грехи, не заслуживающие ни малейшего снисхождения. Я не осмеливаюсь надеяться на прощение перед лицом даже не Бога, а других людей... Мне кажется нечестным теперь, когда я несчастен, признать Бога, которого я прежде отрицал, и я этого не сделаю. Но и последнее похоже на пустую похвальбу. Разве можешь ты, ничтожный, отрицать Бога? Разве можешь оттолкнуть его милосердие?..»

Эта мысль шестнадцатилетнего человека — что бесчестно было бы признать в несчастье Бога, отринутого в лучшие времена, — не есть ли первая победа, одержанная Райнисом? И тем более дорога она, что даже не замечена путником: он прошел дальше не останавливаясь.

И еще: как не вспомнить, читая дневник, что его автор прилежно читал немецких романтиков, «Разбойников» Шиллера и «Страдания юного Вертера» Гете? Но улыбка, тронувшая ваши губы при этом наблюдении, не должна застревать надолго. Язык, которым изъясняется наш герой, может и показаться знакомым, но боль-то — своя, незаемная, как не услышать этого.

...Есть недостаток у любого книжного повествования — коренной, врожденный. Дни и происшествия выстраиваются в цепь, дыша в затылок друг другу. Все наши ухищрения: «А тем временем на другом конце города...», забегания вперед и возвращения вспять, выхватывание событий из конца или середины не позволяют до конца избавиться от линейности всякого рассказа. Сперва об одном, потом о другом и третьем: одновременно обо всем сказать никому еще не удалось. В реальности — как в музыке — звучат, живут одновременно многие голоса. Как в сложной полифонической партитуре, они сходятся и расходятся, спорят и убеждают друг друга, поворачиваются один к другому спиной, бросаются в объятия, сливаются, — и уличные шумы, громы и шелесты, голоса бранящихся в коридоре уборщиц дополняют и нарушают кем-то расчерченную гармонию.

Но и музыка протянута во времени, такт за тактом, как белье на веревке, и строги рамки, отделяющие упорядоченный мир звучаний от хаоса там, снаружи. А жизнь с этим хаосом сращена, из него вырастает.

Живой человек и смотрит в небеса, и мелодию какую-то мурлычет, и заходит куда-то испустить тугую и звонкую струйку, и отсылает малышам подкатившийся к ногам случайный мячик, и уговаривает свой зуб не болеть, и вспоминает латинские глаголы, и воображает себе девичьи полураскрытые губы, и страдает за униженное отечество, и думает о здоровье маменьки, и отвечает на чью-то шутку, радуясь меткости своей нечаянной реплики, — и все это чуть ли не одновременно, в пространстве минут, сжатых и беспредельных, если в них вслушаться и вглядеться, ничего не упуская.

Гимназические годы Яниса, от четырнадцати с половиною лет до восемнадцати, и нужны бы нам не в унылой последовательности, не расписанные по датам. Сколько там — тысячи полторы суток? — все дни и ночи, отличавшиеся друг от друга, как травы на богатом заливном лугу... Сгрести их, как травы, сметать в громадный стог, подавая охапки наверх, кому-то там, кто обязательно подхватит, уложит, умнет, разровняет. И мириады былинки, стебельки, цветочных головок, слитые воедино, покажутся на вечернем небе подобием средневековой башни, а все их запахи сольются в тот пьянящий дух, который пробовавший не спутает ни с чем, а никогда не пробовавший, не знавший... Ну, этому и не объяснишь ничего.

Грех тут не вспомнить, что Янис Плиекшан не меньше древних языков, истории и литературы любил ботанику. Собирать растения, усваивать навсегда их латинские имена, устройство цветка, разрез листьев. Цветки засушивались в альбоме, в любимой книге — между страниц. Книга и некошенный луг соединялись.

Он и сам рос, как в мае трава. Где взять тот миг, когда ничто бы не менялось в его тканях, в гортани и жéлеззах, когда его память оказалась бы свободной от прочитанного накануне «Фауста», когда не жили бы в нем, затаившись, слова десяти языков, живых и мертвых, материнские песни, стыдные желания и несбыточные мечты? И все это с неодинаковой скоростью, точно колесики и шестеренки часового механизма, движется, сцепленное друг с другом, с корнями трав и деревьев, с гигантским маховиком времени, может быть равновеликим Вселенной: ничто ни от чего не оторвать, и не пробуй.

Он беспрестанно винит себя в лени, а сам работает безостановочно, как сердце. Идет работа самоопределения, определения своего места среди сверстников и взрослых. Поглощается фантастическое количество сведений, новостей. Выработка ответов на бесчисленные вызовы жизни

и самого механизма этих ответов: характера. Интенсивность физического и духовного роста такова, что ни в каком другом возрасте ее нельзя было бы выдержать. И при всей пружинистой гибкости его тела и души видно, что где-то тут, рядом, предел возможного, опасный предел.

Читать дневники Райниса этой поры мучительно, физически трудно, — берешь передышку, чтобы избавиться от зрелища мук, облегчить которые ты не в силах. И все-таки нельзя отвернуться и поискать эпизод посветлее, нельзя упустить и эту черную воронку, захватывавшую и тащившую юношу ко дну. Потому что от этого дна, от самого низа ямы нужно исчислять расстояние, которое он преодолет, и другая точка отсчета вела бы к заведомой, грубой ошибке.

«Зачем я все время сам себе лгу? Зачем лицемерю и твержу, что есть на свете свобода, отечество, любовь и тому подобные прекрасные вещи? Ведь я не верю в это, во всяком случае не верю твердо и постоянно...

К чему работать? К чему жить? Чтобы потом вволю есть и спать? Может, вся молодость уйдет на то, чтобы сделаться со временем торговцем или аптекарем? Или сапожником? И разве все эти люди не готовятся зарабатывать деньги, чтобы потом можно было жить, то есть обрести покой и сон, а значит — *не жить*? Спящий не живет. Если действительно такова цель, то уж конечно жить не стоит, лучше взять да сбросить с себя груз этой бессмысленной жизни. Но может быть, жизнь — наш долг? Просто потому, что таков обычай, потому что ты — есть?

Ну почему я не умею выразить свои мысли, почему из моей душевной боли не рождается поэзия? Все это время, пока меня мучили чудовищные сомнения, не мог ничего писать, — мои демоны меня победили, подавили, сделали несчастным, неумным и обратили в конце концов в посредственного человечка, по глупости решившего стать поэтом, хотя сил для этого нет... Что делать-то? Хандра плоха, веселье как-то не дается... Временами на меня нападает смех, тоже неумный, или я напускаю на себя серьезность — чтобы людей обмануть.

Да, в хорошую минуту этот полумертвец, червями обглоданный, может и посмеяться, не врать про свои ужасные муки... Еще лучше, если слеза проползет по щеке или вдоль носа: все-таки доказательство, что он человек, а не г... кусок. Эти мгновения, как сказано, лучшие. Другой раз бродишь как во сне, без смысла, движешься как живая

машина, и если вздумаешь помешать ту самую кашу в голове, оттуда ударяет такой скверный дух, что тут же махнешь рукой и живешь дальше, день за днем, как прежде.

Так я — никакой не поэт? Где же выход, как мне, дурню, жить дальше, как вырваться из этого ада, стать опять человеком? Крутятся все те же мысли, и не хочется верить, что я таким и останусь, что я слишком труслив, чтобы убить себя и потому мне не выбраться из моего пекла».

Но вот — другое, о другом.

«Нет ничего более противного и унижительного, чем грубая любовь, состоящая единственно в животном, низком обладании. Девушка, готовая бежать за первым попавшимся бродягой ради страсти, не ценит любовь: ею владеет грубая, вызывающая отвращение животная похоть. Если она позволяет своему бесчувственному самцу избивать себя, то животное в ней настолько подавило все духовное, что она уже и сочувствия не вызывает: противно, и всё тут!» Это он пишет по прочтении в газете какого-то рассказа. Пылая от праведного негодования.

И приблизительно в то же время той же рукою пишется стихотворение:

Алые губки

Девичьи милые

Алые губки

Снились, светились

Во сне

Мне навстречу.

В них, губках аленьких,

Соединилось,

Взгляду открылось

Счастье земное.

Алые губки, —

Вкруг них витает

Чудная, странная

Власть колдовская.

К свежей их прелести
Разум и сердце,
Каждая жилка
Стремится и рвется.

Тот, кому алые
Губки достались бы,
Не пожелал бы
Иного вовеки!

Как не сопоставить «правильную», вполне в духе маминых внушений, запись и «неправильные» стихи! Чьи там алые губки — не той ли легкомысленной особы, что готова броситься на шею любому бродяге? Или — недостижимой барышни из роскошной коляски, громыхавшей вчера по брусчатке Старого города? Да не все ли равно, если само твое сердце готово обернуться тем самым бродягой! И не спрашивать ничего у обладательницы тех алых, снящихся губ. Как смеется бессовестная правота поэзии над унылой правотой назиданий! Боюсь, что и сама она, поэзия, с такими же пухлыми, алыми, призывными, точно черешню раздавившими губами тоже готова броситься на шею любому бродяге, то есть в том-то и фокус, что не любому, а любому, приглянувшемуся: кому захочет. И забыв совершенно все, что следует помнить благонаправленной девице, да она всего этого, может, и не помнила никогда, предаться... Ну, чему там предаются. Об этом нельзя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЯСМУЙЖА

Глаза закрыты, но он не спит. И вошедший знает, что не спит он, что слышит вкрадчивые шаги. Шутливо-вкрадчивые: кто любит и умеет шутить, тот способен рассмешить жестом, поворотом головы, каламбурить всем телом, руками и ногами! Ему кажется забавной эта мысль, «шутить ногами», нужно бы запомнить, — но тут над головой раздается:

*Скорей проснись, мой господин,
Вставай, ахти, какая страсть!
Забрался вор к тебе в окно,
Чтоб Анну, дочь твою, украсть!*

Янис забывает, что как бы спит, губы забывают первые, — раздвигаются. И в сотый раз повторенная, папина шутка смешит. И вся утренняя игра с песенкой, с его полусонным, почти неразборчивым «Гут морген!» и с ответным насмешливым, звучным «Морген!», со скрипом матрацных пружин, когда отец присаживается на кровать, высоченный, тяжелый, и произносит: «Ноль градусов на дворе», а сын бормочет: «Значит, хороший день будет», — а отец: «Не знаю, не знаю, что-то облаков понагнало. Ну, давай подымайся, завтрак уже на столе...». Все это домашнее, утреннее, наизусть знакомое так ласкает. Могла, конечно, зайти первой Лизе, не отец. Мог отец зайти без песенки. Или мог никто не зайти, а уж за завтраком папенька сказал бы скучно, глядя куда-то поверх его головы: «Вот шёне вирте, шлипен бис цен ур». То есть, на ломаном немецком, «хорош хозяин, дрыхнет до десяти». Хоть бы и не десять было, а девять. И немецкий он ломает нарочно, когда не в настроении. Да, не так проста песенка про дочку Анну, выкрадываемую через окно: она означает, что в доме мир, что дела отца неплохи, что день для господского сынка, для барича начался в этот раз с доброй ноты.

Господский сын, барич? Угу. Рандене было полупоместье, а скорее — богатый крестьянский дом. В Беркенеле впервые они заняли барские хоромы; ну и уж Ясмуйжа — именно *муйжа*: поместье, господская усадьба в полном смысле слова, с флигелями, службами, конюшнями, с вековыми деревьями парка, с речкой, быстрой и холодной, летом спрятанной на три четверти за густой зеленью, с мельницей, которая внутри оказывается почему-то вдвое шире и выше, чем снаружи.

С первых шагов Плиекшан-старший поставил себя здесь как хозяин, законный господин, по праву повелевающий всем и вся. Кажется, только здесь, в Ясмуйже, голос его загремел в полную силу, шаги налились истинной тяжестью. И в раскатистом его смехе появились новые, властные нотки. Даже русский помещик, сдавший Ясмуйжу в аренду богатому латышу, похоже, его побаивается.

Кришьянис Плиекшан делает вид, будто нет во всем этом ничего особенного. Будто сроду он только и делал, что владел и повелевал. Но в душе-то не устает удивляться своей фортуне, сравнивать себя-теперешнего с собой-прежним: ай да Плиекшан, высоко ж ты взлетел! Жаль, не увидят твоего богатства и могущества отец с матерью, не увидят их отцы, руганые и сеченые, в грязь втоптаннные не раз и не два, влачившие горб пожизненной несвободы из поколения в поколение. Поверили бы они глазам своим, увидав твоих слуг, арендаторов, кланяющихся тебе?.. Да хоть бы взять немца с немкой, проживающих во флигеле: захочешь — позволишь им и еще пожить, из милости, не захочешь — прогонишь! Нет, ни за что б не поверили отцы и деды ни глазам, ни ушам, — ты сам-то себе до конца веришь?

И вот почему Кришьянис Плиекшан мирился с тем, что сын по утрам часами не вылезает из постели. Как крестьянин он был оскорблен. Все в нем восставало против этой неслыханной лени, городских повадок сынка, против барского ничегонеделания. Барского! Вот тут-то его негодование и смолкало. Это мужицкому сыну позорно храпеть после рассвета. Барчуку же сам Бог велел понежиться всласть, на то он и барин, чтоб по своей воле вставать и ложиться, предаваться лени или работать засучив рукава. Да и зачем барину рукава засучивать, спрашивается?

Сестра Лизе

Господи, куда они деваются, годы? Янису восемнадцать, малютка Дора — почти невеста, четырнадцатый пошел, помнится, шекспировой Джулии было как раз четырнадцать. А ты? Ну-ну, не бойся, скажи себе: старая дева, притом непоправимо больная! И везущая весь этот воз:

шутка ли, целое поместье и дети в придачу, мама-то с времен Рандене хозяйствует отдельно, я им не столько сестра, сколько мать.

Беспокоит Янис. Он так изменился, так скрытен. И то в нем грубость чувств, совсем нежданная... Хотя бы сегодня: наступил мне на ногу, не нарочно, надо думать, но мне было больно, и ведь все он знает про мои больные кости. Но — ни слова в извинение, будто так и надо, по чужим ногам гулять! А то вдруг застенчивость неимоверная, краснеет, вспыхивает весь, прячется и убегает ни с чего. Вчера хотела чмокнуть его в щечку — господи ты боже, что тут особенного? До смешного: пришлось гоняться за ним по всей комнате. Так, стервец, и не дался! Эй, Лизе, что за слово ты вдруг употребила? Стервец. О родном брате! Да-а, хорошо вам упрекать, а попробовали бы век прожить среди грубости и необразованности, где побраниться вволю значит душу отвести, где и языком у людей развязывается единственно когда случай поругаться да за грудки схватить.

Янис шутит, правда, без грубостей, но не так уж безобидно. Еще гимназисту я однажды писала ему в Ригу: был ли ты, братец, на концерте приезжей всесветной знаменитости, Сарасате? А он мне: *Сарасате? Я думал, он давно убрался из Риги, а может, уже умер и похоронен!* Конечно, виртуозу с такой славой от наглости рижского гимназиста не холодно и не жарко. Однако должно же быть уважение к величинам, к культуре! Я тогда возмущилась. Но прежде чем возмутиться, приснула в кулачок. Рассмешил, негодяй.

Кто не уважает авторитеты, тот и родителей не будет почитать. Кстати... или, скорее, некстати: как он глядит порой на бабушку! Набычится, покраснеет, тут же побелеет. Вот-вот ляпнет дерзость! Да хуже: с кулаками накинется на обидчика! На какого на обидчика? На отца родного! Даже сон привиделся: оба с папенькой дерутся, катаются по полу в обнимку, я плачу, слезы льются из меня каким-то все уносящим потоком, через пелену слез моментами вижу крупно, как под лупой, лица, налитые кровью, вылезавшие откуда-то из-под мышки противника, все до ужаса четко, даже синяя жила, вздувшаяся на шее у отца. Проснулась вся в слезах... Помню, мокрая подушка мешала выкинуть кошмар из головы, слезы как бы вещественно подтверждали реальность сна, они были прямо оттуда.

И простыни эти, — ни с того ни с сего прибавляет мысленно Лизе, тут же неудержимо краснея. Ну да, хозяйке приходится знать и это; прачка получает груды белья, уже разобранных по величине и сортам. Так и должно быть в его возрасте, подумать только, он мог бы привести уже в дом жену, чужую женщину... Хотя — какое «мог бы», Женечка такой еще мальчик, и лучше уж пусть бы у него случилось *это* в первый

раз, — что же делать, всякой матери приходится думать и о таких вещах, а я ему почти мать, — лучше бы оно случилось дома и под присмотром и без обязательной и скоропалительной женитьбы. Фу, какое противное слово, а как оно сладостно звучало в позднем детстве, как сладко и полузапретно, потому что стыдные тайные вещи стояли за ним, тысячи стыдных и тайных вещей. Нет, такого не было, чтобы господский сынок женился на служанке, им опозоренной, опять глупое слово, и ни к чему, Текла уже не девица, хотя и не замужем, в деревне все всё знают, такая молоденькая, а уже занималась *этим* и небось не один раз, стыд и срам, зато не будет старой девой как ты; Лизе, Лизе, куда тебя занесло? — А потом, Текла сама не прочь и как будто ни на что не рассчитывает — да и на что она может рассчитывать? — хотя в случае чего отец не оставил бы ее без награды; как трудно думать о таких вещах, Боже, прости мне, грешной, но ведь другие как-то думают, иначе мальчик приедет в Петербург, а уж там до него, молодого, стройного, богатого много найдется охотниц. Что за человек друг его, Петерис Стучка? *Петруша*, как он его называет по-русски, им же в русском университете учиться, — единственный сын богача Стучки, может, он уже испорчен и вообще выдывал виды и нашего Женечку за собой потянет в пучину порока? *Пучина порока* — это как в романах; Янис без конца говорит об этом Петруше, и дома у него гостил сколько раз, и по Латвии они путешествовали пешком, а под конец на лошадях; брат совсем забыл Лелюка, а уж как дружили! — тот был славный мальчуган, кроткий, послушный... Знать бы, о чем они говорят между собой, куда поведет эта дружба? Ах, куда бы ни повела, а всё — в сторону, из-под опеки домашней, из какого-никакого, а теплого, нами свитого и нагретого гнезда. Что это печь в зале едва теплая? Все-таки не лето! За всем глаз да глаз; одной чайной ложки опять не хватает, и взять вроде некому...

Янис

Гимназия окончена в декабре прошлого, 1883 года и как-то до обидного быстро отодвинулась, поплыла и канула в никуда. Вспомнить, как он боялся срезаться на экзаменах! Как терзало уязвленное самолюбие при малейшей неудаче и как раздувалось, трепыхалось, будто флаг на ветру, после победы! И вдруг все школьные пертурбации потеряли значение, а может, и никогда его не имели? Нет, имели. Нет, все там было взаправду, все наполнено было живой жизнью и живой болью, и сразу под тонкою кожей и тогда, как сейчас, текла кровь. Но головокругительные дни первой свободы, когда рука болела от прощальных рукопожатий, когда оба они со Стучкой ошалели от сознания, что нет

над ними никого, ничьей власти, никуда не надо бежать по утрам, ни перед кем не приходится держать ответ, никому ничего доказывать, — ходи на голове, никто слова не скажет! Конечно, конечно, их строгие отцы маячили по-прежнему в отдалении. Но и под их тяжелую руку они вернутся позже, и тоже ненадолго — до Петербурга, до университета, в который решено поступать вместе. А тут в некий миг не было над ними уже ни родительской, ни божеской, никакой другой опеки. Дружья оказывались в каких-то невообразимых компаниях, пели и куролесили, пили вино и пиво, дурили, острили, валялись в сугробах и кидались снежками, задевали встречных девчонок, — и никто на них не обижался, ни одна живая душа. Улыбкой встречали их, улыбкой провожали: гульба их была такой свежей, по-мальчишески обаятельной, всем своим видом они показывали: хорошо жить на свете, не правда ли? «Нет, неправда», — думали в ответ другие, давно постаревшие и одряб-шие, крепко побитые стиральными вальками жизни мальчишки, но улыбались не без растроганности: что-то такое напомнили им юнцы, нечто этакое... то ли бывшее с ними, то ли могшее быть, если бы... да, если б.

Восемь месяцев оставалось до университета. Никогда еще у него не было, а может быть, никогда и не будет такого огромного куска жизни, свободного напролёт. Столь огромных, гулких как пустая бочка каникул. Гулко, гулко звучал в этой пустоте его собственный голос, еще ломкий, как бы не до конца определившийся в своем взрослом, пожизненном качестве. Гулкость давало внутреннее пространство этих странных восьми месяцев: между теперь уже навеки заключившимся и отделившимся детством-отрочеством и — юностью, как бы не вполне наступившей; меж завершившимся прошлым и нераспечатанным будущим. Между Ригой и Петербургом.

Он был сейчас, собственно, никем: сын таких-то, брат таких-то, и больше никто. Был никто, а желал быть всем. С детства видел себя полководцем, поэтом, провозвестником новой религии. Царем. Героем. Полубогом. При этом принадлежа к народу, у которого не было пока что своих пророков, полководцев, почти не было своих поэтов, не было даже и своего бога, а те языческие боги и духи, которым поклонялись пращурь, позабылись настолько, что самые их имена приходилось отыскивать заново в книгах и манускриптах, писанных на средневековой латыни или на старонемецком.

Ну и что ж? Все равно он ощущал себя, как в детстве, центром Вселенной. Для него вставало по утрам солнце и ради него заходило, для него загорались и гасли облака, для него совершалась задолго до его рождения мировая история и прямо к нему, минуя посредников, обращались Гесиод и Гомер, Эсхил и Софокл. «Думаешь, ты пуп земли?»

— насмешливо бросал ему отец. Да, да, пуп земли! В таинственное, бездонно-глубокое «Я» с утра до ночи втекал космос со всеми галактиками, с платоновской музыкой звезд; оно вмещало в себя непостижимое прошлое этого и других миров, вмещало всех тварей, земных, подводных, небесных, всех людей, существовавших когда-либо и живущих теперь и тех, кто придет им на смену. Это «Я» не могло вместить в себя бесконечность, но и с самой бесконечностью оно сообщалось, умея постичь ужас и восторг того, чему нет предела. (И нелепый дух отрицания вдруг выглядывал из-за всего этого великолепия, гримасничал и подмигивал, выворачивал великие истины наизнанку, плясал, ходил вниз головой, посвечивая голой задницей, маскарадный шут, с которым страшно и весело до потери дыхания).

Бог христиан понимал его лучше всех, пока они были вместе. Бог признавал его собеседником и, может быть, сотоварищем в этом мире. Бог знал, что каждый ребенок — пуп земли, пока не забудет об этом или пока его не научат другому. Бог говорит с человеком один на один — или не говорит вовсе. Для Бога нет «инородцев».

Разрыв с христианским Богом произошел тогда, когда Он оставил Яниса наедине с тайной возмужания. Если другие люди не признавали в юном Плиекшане завтрашнего поэта и пророка, героя и вождя, не видели, что он и есть центр времен, средоточие мира, то в пятнадцать лет логично было приписать это их недалекости и слепоте, их погоне за черт знает чем: за пустяками. Инородец он *для них*, ни бельмеса не смыслящих в истине и красоте, в настоящих вещах. Не знающих даже слов, которые обозначают не еду, не питье, не обратную этим потребность. Он для них инородец, они — для него... Но когда ему показалось, что и Бог на той, на их стороне. Когда он был предан собственным телом, дергавшимся унизительно наподобие марионетки, которой манипулирует чья-то ухмыляющаяся рука, когда на его отчаянный вопль о помощи (не мог же не знать, не слышать всеведущий и вездесущий!) последовало глухое, как черная вата, молчание, — он расстался с Богом. Другие в этом же случае смиренно просят небеса о прощении. Он хотел, чтобы перед ним извинились за издевку повзросления. Извинений с той стороны не последовало: значит, или прощать *некого* или *нельзя* прощать.

Пауза, почти равная времени пребывания до времени — в благословенном и единственно надежном убежище, там, до рождения, до первого света, до холода и шершавого, как наждак, воздуха внешнего мира. Восемь месяцев в Ясмуйже. День за днем, ночь за ночью.

Теперь, к восемнадцати годам, он успел убедиться, что не только не в центре мироздания уготовано ему место, нет: вовсе никакого места для него тут не предусмотрено. Он родился в стране, которой не существует. Мысленно он называл ее по-русски Латышией. Готовясь к университету, он и Петерис проглатывали десятки русских книг, даже говорить друг с другом пытались по-русски, неизвестно только, как получалось: не было рядом третьего, чтобы подсказать... Так вот, Латышия — земля латышей, государство, которого никогда не было и, должно быть, никогда не будет. В трех российских провинциях живут латыши: в Витебской, Лифляндской, Курляндской. Русские провинции с немецкими названиями, населенные на три четверти латышами, — какую злую шутку сыграла с нами история! На родине своей — инородец. Что может быть бессмысленней? Безысходней? И еще: если бы он возростал с другими мечтами! Если бы не Сократ, не Александр Македонский, а, например, *гофрат* Бернхард Дирикис был для него с самого начала образцом и жизненным идеалом! Вот вершина, вот чего достигло, куда вскарабкалось целое поколение: у латышей появился свой гофрат!

Кажется, что рассказ, заблудившись, кружит на месте? Да, но не больше, чем наш герой. Как раз теперь он возвращается к прошлым дням и решениям, заново выясняя для себя отношения с Богом и людьми.

Дневник Яниса Плиекшана. Запись, сделанная еще перед окончанием гимназии, в октябре 1883 года. «Леона Дарашкевича ничуть не волнуют все эти роковые вопросы, и он не просто счастлив — у него устоявшиеся взгляды на будущее, жизненную цель и надежду. Никакой скуки, неопределенности, шатаний и изъязнов характера, и притом как человек он, может, лучше меня — добродушен и не дурак, во всяком случае, для своего ранга. А я? Мучаюсь, отчаиваюсь — и ни-че-го! Откуда это все? Должно быть, от старой-престарой веры в Христа? Но я в ней не могу найти утешения, а другой основы, как ни бился, пока не нашел».

Через полгода, уже в Ясмуйже: «Что, разве нет у меня права требовать у самой судьбы или от Бога, если кто-то хочет это так называть, истинной жизни? Можно ли так наказывать меня только за то, что я существую (не было на то моей воли — *быть*) и тем, что существую? Жизнь он дал мне, а жить не дает; да и желание жить не мною же создано!...»

Но продолжается утро, мартовское утро в Ясмуйже. После ухода папыньки Янис еще полежал... В минуты между бодрствованием и сном

время почти так же теряло определенность, как во сне. Оно растягивалось, — секунда, раздувающийся мешок, могла вместить в себя события полугода. А то наоборот: смежил веки на мгновение — час прошел. Там, внутри полусна, сладко быть и оставаться, слаще, чем во сне. И спишь и не спишь, какие-то выпуклые фосфоресцирующие мысли проплывают рыбами, пропадают, если не задержать их усилием ума... верней, неизвестно чего, это и не ум даже, а если ум, то вперемешку с чем-то другим. Обрывки строчек, недосочиненных, но как бы имеющих где-то там, в глубине, состоявшееся и необходимое им окончание. Обрывки доводов... планов каких-то, — в них такая убедительность, какой днем не бывает. Ночные же мысли и грезы вообще другие, ночные желания желают другого и другим светом светят.

Этим утром он думал: цель оправдывает средства? — принцип опасный, но сколько великих ему следовало. Почему ж простым смертным он заказан? И что он им даст или что у них отымет? Выползла мысль: нужно бы написать историю своей земли, наподобие русской истории Погодина. Но тут нужны труд и подготовка. А вот если перевести на латышский пушкинского «Бориса Годунова»? В гимназии он пробовал, брался за «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря». Почему он себя так жестоко бранил еще недавно за попытки стихотворства? Стихотворения? Слагать стихи, но только без малейшего принуждения: пусть текут, когда им, а не когда тебе нужно. Как слезы?

Дольше нельзя было оставаться в постели: и отец и Лизе уже за столом, им все обиднее сидеть и ждать, когда же Янис, его высочество, соизволит пожаловать к завтраку. Он дал себе еще полминуты, и за эти-то полминуты успел представить себе во всей полноте, каков будет его путь. Судья, а может, просто крепкий хозяин, вроде отца или Стучки-старшего. Покровитель латышей, особенно латгальцев. Друг литовцев. Автор статей, полезных для повседневной жизни. Если получится, он начнет издавать в Петрограде газету на латышском, вроде той знаменитой «Петербургской газеты», что из-за наветов балтийских баронов была прикрыта как раз в год его рождения. Он успел подивиться своей скромности. Подумать только, от столького отказаться! Великий поэт, полководец, пророк — тс-с, об этом ни слова. Мирный, разумный обыватель; немножко славы, конечно, не помешало бы... Полминуты прошли, он свесил босые ноги с кровати, левой рукой ощупью нашел скомканые синие носки. Натянул на себя брюки (барич! господский сынок! принц наследный! а штаны дырявые, Лизе обещала заштопать — забыла). Прошлепал в одних носках к зеркалу, глянул. Ничего: щеки

румяные, глаза лучатся. Лицо с утра довольно веселое. «И слегка гениальное», — почему-то решает он.

Папенька снова говорит «Гут морген», — Янису надо было первым успеть. Лизе уже злится.

Пора сознаваться (если кто-нибудь до сих пор не понял): наш роман о Райнисе на две трети написан самим Райнисом. Всю жизнь он писал этот роман. Делал записи, наброски, выстраивал планы. Перечитывал дневники и письма прежних лет, видя и в них материал для постройки. Жалел, что мало записывал о разных этапах своей жизни: запах событий выдыхается, биография выходит слишком общей и потому неживой, «ведь каждая эпоха развития есть по-настоящему полная, завершенная жизнь, а не просто ступенька к следующему звену, не только часть жизни в целом. Вот и детство — законченная в себе жизнь со своими нуждами и правами. Можно представить, что в детстве я полностью прожил век отдельной неповторимой личности, изжил целую судьбу».

Итак, Лизе злится. Или, как пишет в дневнике Янис Плиекшан, она «зэр бёзе»*. «Подошел к ней, — продолжает восемнадцатилетний Янис, — она не ест, сидит за прялкой. Посмотрел так же бесцельно и глупо на барометр, в окно, — там, за окном, текла речка. Папенька опять что-то буркнул по-немецки. Я быстро прошел к умывальнику. Полотенце, держа в обеих руках, развернул, искал справа, слева, куда лучше ткнуться носом, приложился, при этом пыхтя и фыркая. Вытершись, за занавеской надел рубашку, жилет, пиджак, пригладил волосы и скорыми шагами — к столу. «Я тебе сала нарежу, ты не умеешь». «Тогда мне учиться надо, а то что ж я буду делать, если вас не будет». «Сало нужно мазать на хлеб, как масло». «Тогда уж лучше масла и намазать». Отец налил себе чарку. Почти не разговаривали. Потом Лизе пила чай. Мне чаю никто не предложил. Пошел сам налить себе чашку, слегка кокетничая, т.е. принимая красивые позы (Теклы не было). Выпил и ушел, ничего не сказав. С Теклой только раз встретились и то довольно прохладно. Она убиралась у меня в комнате, я зашел. Микелис едет на станцию, надо написать письмо Доре. Лизе, сидя за прялкой, решила тоже написать — маме. Пока я сидел над письмом, Текла убирала за шкафом. Я боялся, вдруг она подойдет: что мне с ней делать, что сказать? Папенька за это время успел побывать на дальних полях, вернулся и опять ушел. Я, закончив письмо, сел писать эти строчки. Хотел еще Лелюку написать, но

* Sehr böse (нем.) — очень сердита.

поленился. Мне лень и дневник вести. Сегодня на волю хочется — такой славный денек...

Был. Вернулся, почитал Погодина... Теклочке дал 20 коп. на гребенку. Теперь некрасиво было бы лезть к ней с поцелуями. Некрасиво, нелепо. Что есть не-лепость, зло? Зачем бы злу существовать, если бы не было ему применения? Может, есть только добро — поменьше и побольше? Как есть горячее, теплое, прохладное. Тогда долг порядочного человека был бы пользоваться возможно лучшими средствами, но и худшие не были бы под запретом... Чем меньше кто-то пользуется негодными средствами, злом, тем он лучше. Но великий злодей ближе к добру, чем жалкий раб добродетели. И потом, для чего тогда все эти короли, наполеоны? И, если честно, маленькие правильненькие человечки — тоже не бог весть что. Вот когда покушаются на право собственности, на здоровье — тут надо вмешаться, иначе человек не достигнет своей цели, развития. Практичность — вот что более поможет развитию, чем все ваши фантазии, поэзия...

С папенькой за чаем говорили о производстве бумаги. Лизе надулась: я ей в темноте наступил на ногу и по обычной своей грубости ничего не сказал, она побранилась. Решено: я исправлюсь, буду правдивее. Теклочка была только что — до того миленькая, соблазнительная, а я — ничего. *Diem perdidit**. Во мне как будто немножко прибыло силы. Пожалел, что ничёго не делал с Теклой, и когда она ушла, фантазировал...

29 марта 1884 года. Горько плакал не знаю о чем. Мне так нравится тосковать и плакать, это единственная моя радость, но и та надоела. Отчего я не такой как другие — сильные, умные, счастливые? Если бы Бог был, он не дал бы отчаяться и усомниться в нем самом, помог бы... Лизе, Текла спокойно говорят о вещах, которые меня делают таким беспокойным. Текла совершенно довольна, только вот я никак не пощечочу ее как следует. И Лизе наша тоже наполовину счастлива. Много чего хорошего думал, но забыл. Лень (она теперь мое несчастье) мне привычна и нравится, не могу отделаться. Может, освободился бы от лени и был бы счастлив? Пушкин, латинские поэты, немцы, анакреонтики воспевали лень. Но теперь другие времена, работать надо».

Мы прощаемся с его затянувшимся детством, и кто лучше его самого расскажет об этом? И не в том дело, что он был к тому времени такой уж блестящий рассказчик. Просто описание в какой-то момент совпадает с описываемым во времени и пространстве. Кучер Микелис запрягает

* День потерян (латин.)

лошадей, пишется письмо Доре, Текла возится там, за шкафом, и через минуту совершается запись, которую мы читаем, так что и дыхание Яниса, и звук уроненного Теклой совка доносятся до нас.

Текла возится за шкафом, она что-то уронила — наверно, совок; Янис прислушивается к частому дыханию девушки, боится, что она бросит совок и веник, подойдет к нему и... и на что же ему тогда решиться? Но вот он вспомнил что-то, отложил дневник, взял незаконченное письмо и сейчас, в это самое мгновение пишет: «Уже неделя, как у нас поют жаворонки. Умные книги отложены в сторону. Подумай — я был уже у писаря и у профессора, а у моего Петруши — нет...»

Уж наверняка Дора знает и писаря, и профессора (о которых мы понятия не имеем), зато еще ни разу не видела Петрушу: познакомятся они через годы. Вчерашний гимназист шлет обыкновеннейшее письмо своей младшей сестре. А жестокие, мощные трубы судьбы звучат между строк, ревут во все медное горло, неслышные им, а слышные нам. Янис дописал листок, Микелис минут через десять повезет письмо, и сегодня же Дора прочтет строчку насчет Петруши, слегка поднимет бровь: интересно все-таки, какой он, как выглядит, этот Петруша, Стучка, Толстый, как иногда в шутку зовет его Янис, — друг его, по слухам, вовсе и не толст. Глянуть бы на него хоть одним глазком...

Глянешь, девочка, — кивает ей из-за плеча судьба, — глянешь еще, наглядисься.

И жаворонки, оказывается, слышны в полях уже целую неделю.

На диком отдалении, на расстоянии ста с лишним жесточайших лет слушаю тех ранних жаворонков, слышу. Заглядываю из почти двадцать первого века в девятнадцатый — в девчоночье беспричинно радостное, настроенное на радость лицо. Сказать ей, кто стучится в ее жизнь с этим письмом? Что врывается в ее будущее вместе с Петрушей? — Кто стучится? Стучка.

Ничего не скажешь, и она не расслышит. А расслышала бы — не поверила, да и не поняла бы, о чем я.

Длится, продолжается вешний день в Ясмуйже.

Дробный топот раздался, скачет куда-то всадник. Посмотрите, как он молод, как строен и ловок, как чудесно держится в седле, что же вы? Смотрите на него, смотрите!

Янис любит себя, тем удивительным существом, что возникает при полной слиянности всадника и коня, при их, кажется, общем дыхании, общем на двоих кровообращении. Когда быстро скачешь, не успеваешь сообразить, кто тебя видел и видел ли кто? Но хочется верить, что видели, видят... В том числе и девичьи быстрые глаза: украдкой, таясь от строгой матери, но успела красавица взглянуть на красавца.

Тут Янис прыснул: ну, домечтался!

— Крра, крра! — прокричала над головой невесть откуда взявшаяся ворона. — Крра-савец, крра-савец!

Смейся, смейся, воронье отродье, а я счастлив сейчас. Счастлив? Такое у тебя счастье? Н-ну да. Оно чаще всего бывает, как бы это сказать... физическим, телесным. Когда отпадают неразрешимые вопросы, все, что мучает его и чем он сам себя мучит, — и вот уже нет ни прошлого, ни будущего, только скорость, только жизнь, ощущаемая каждой жилкой, каждой клеточкой, только непостижимая сила, играющая в тебе, как вино в бочонке. Счастье, наверное, — быть как все. Быть травинкой на лугу, лягушонком в родном болоте, рыбой в воде; да, вот еще из радостей радость: когда плывешь, купаешься между водой и небом, совсем голый, в одной — собственной шкуре, как все другие, кроме человека, существа на земле, какое это наслаждение, может ли быть, что с женщиной, с твоей любимой будет еще лучше, до потери сознания? — должно быть, но до чего же в воде хорошо; до чего хорошо и теперь, когда скачешь на прекрасном коне, и ветер стремительно, как река, обтекает тебя и его, обтекает ваше общее, изумительно гибкое, веселое, умное тело.

Дневник. 31 марта 1884.

Читал «Короля Лира», он меня тронул до слез — заметил, что плачу над его бедами точно так же, как над своими... Захотелось и самому писать драмы. Характер: отступник от своего народа, без чести, без роду и племени, лжефилософ, хитрец и плут.

(Через шестнадцать лет он переведет «Короля Лира» на латышский. Потом напишет свою комедию, свои драмы, трагедии. Кто стоит над колыбелью этого драматурга? Софокл с «Эдипом», Пушкин с «Борисом Годуновым», Шекспир с «Королем Лиром», Гете с «Фаустом»).

...Отвешивали лен, я записывал. Вот уж несколько дней это моя обязанность. При подсчетах и выплатах вскоре начинаем ссориться с отцом... Как низка моя мораль, как ненадежна. Некрасивые мысли: папеньку не уважаю, иной раз нафантазирую всякие ужасные способы

мести за какую-нибудь его несправедливость ко мне или суровость, потом самому стыдно... Были недурные мысли, одна-две, но вовремя не записал и забыл. *С бессмертием я тоже еще не до конца разобрался...* Я хочу, хочу стать лучше, но уже не верю сам себе. Боже, прости меня! Боюсь — Теклочка завтра выпорет вербой.

Назавтра было Вербное воскресенье.

О, какая затаенная прелесть у всего, что от раннего-раннего, граничащего с младенчеством времени! Будто из других веков это идет, из подземных ключей, которые и самой чистоты чище. Там была мама. Там была мама, еще занимавшая собою полмира, толстая, могучая, как медведица для медвежонка. Приходила и смеялась, и в руке у нее были ветки вербы с нежными-нежными пушистыми комочками. Серо-серебряные, шелковистые шарики... нет, не шарики... капли? — он не знал, как это назвать. И этими ветками... шелком этим серебристым... приговаривая:

*Apaļš kā pūpols,
Vesels kā rutks,* —*

по попе тебя, по голой попке, но тебе не обидно нисколько, а смешно, голос материнский любит тебя, и рука материнская любит, и любят тебя весенние серебристые комочки.

Дневник. 2 апреля.

С утра Текла высекала вербой, я ворчал: зачем разбудила так рано. Жаль, не пошел дальше. Во сне думал об этом и ждал, и потом еще согнутыми пальцами ощущал нежность девичьих грудок. Но и вчера, и сегодня дальше не пошел — не могу. В то же утро начал было стихи, не получилось. Потом разложил карты: продолжится ли с Теклой, буду ли ее дразнить, целовать? Она меня подзадоривает, я — ничего. Вчера растапливала печку за стеной долго-долго, потом заходит. Я: «Что скажешь?» Она: «Ничего. Просто так, в гости заглянула. А что ты скажешь?» Я: «В гости и без подарка? Хоть бы молочка сладкого принесла». Она: «Растолстеешь от сладкого». «Я тебя тоже высеку!» «Ай-я-яй, боюсь, худая стану!» «А ты раздобреть хочешь?» Она меня щекотала под мышками, за вихор дергала, я — ничего. Пошла за молоком, я пулей выскочил из комнаты, как всегда. Стыдно: она меня за вихор

* Круглый как вербыш,
Крепкий как редька! (латыш.).

треплет, а я не умею ответить, не знаю, что еще ей сказать, и сделать что-нибудь не осмеливаюсь.

Вечером ездил верхом и радовался, как я выгляжу; ехал мимо писаря по большаку за корчмой — пусть видят люди, какой я железный всадник! Выехал под самый вечер, хотя папенька сказал — с утра и весь день напоминал.

...Когда-то, еще в Гриве, один немец из их же класса, но переросток, на два года старше прочих, просвещал «малолеток». Он уже целовался с девчонкой и даже, по его словам, «лапал голые титьки». «А как это... Какие они... на ощупь?» — замирающим голосом спросил кто-то (не Янис, уж конечно не Янис, ему было стыдно и слегка противно слушать, хотелось убежать и хотелось остаться. Он остался). «Как тебе сказать? — серьезно, без усмешки отвечал тот. — Они вроде сливы. Слива, представляешь, спелая, но не слишком. И мягкая, и твердая. Или вот что... Погладь себе задницу — будет то самое. На ощупь». «Ха-ха-ха! — развеселились слушатели, приняв слова одноклассника за грубую шутку. — Погладь себе ж... и будет то самое!» (*Arsch*, — говорили они. Весь разговор велся по-немецки). «Чудаки, — сказал их «учитель», слегка растерявшись. — Не вру я, вот те крест!» Смешно вспомнить: не сразу, не в первый вечер, но дня через три Янис попробовал... погладил себя под одеялом. И не испытал ровным счетом ничего! Ну, кожа, ну, гладкая, как на щеке или на коленке... Сколько, однако, лишнего, вовсе не нужного зачем-то сохраняет память!

Он читал беспрерывно. Он проглатывал книгу за книгой, не насыщаясь. Папенька работал, бегал куда-то, распоряжался, отпускал, принимал, бранился и требовал. Янис — лежал и читал. Все прочитанное примерял на себя. Чужой опыт: сколько жизней нужно было бы прожить ему, чтобы накопить такой же? Чужие, готовые мысли меньше его интересовали. Они похожи на учительские наставления. Чужая мысль хороша, чтобы скрестить с ней свою. Добыть искру от их столкновения. Другое дело — чужие приключения, страсти, смерть. Нельзя без книги жить разом во всех временах, а с книгой можно. Нельзя любить тысячу женщин (во всяком случае — одновременно, добавлял он, наморщив нос), а вместе с героями сотен книг — можно. Нельзя умереть и жить дальше. А с книгой — можно.

Он читает по-немецки Шиллера — «Валленштейна» и «Историю тридцатилетней войны». По-русски — Помяловского («Молотов»), Мещерского («Записки застрелившегося гимназиста»), Достоевского («Бесы»).

«У Армадели читал, что со служанкой совсем ничего затевать не следует...» Это о Текле. «Но мне как-то жаль упустить случай. Хочется целовать ее, гладить...» Позднее он сравнит себя со Стивой Облонским. «Моя, схожая со Ст. глупая роль... Притом Стива либерал. Не из убеждения, а так, не духовными мотивами движимый, а физическими, не философией, а случаем».

О «Бесах» Достоевского: «Я себя сравниваю со Ставрогиным и думаю написать роман, герой которого погибает от слабости, как Ставрогин — от силы».

Вот что, значит, Янис Плиекшан увидел в «Бесах»? Немного. Мало из того, что вкладывал в книгу автор, умерший в Петербурге тремя годами раньше. Если бы сказать Янису, что в романе Достоевского заключен, полужашифрован, как в пророческом сне, почти весь следующий век, что хоровод бесов, кривляющийся и кровавый, гримасничая, пританцовывая, копытцами постукивая, протянется через его собственную жизнь, что в оборачивающихся рогатых, ослабившихся рожах вдруг проступят черты его друзей, почти братьев и сестер, а может, и без «почти», что и его схватят за руки, втащат, закружат, поволокут неведомо куда и с адским хохотом бросят — в яму, в бездонную пропасть, куда летишь, летишь, падаешь (так бывает во сне), зная, что погиб, но после гибели видя и слыша, слыша и видя перегнувшихся через край хохочущих монстров, в которых страшней всего не уродство, а человеческие, родные черты, искаженные наслаждением абсолютного зла, предательства, — если бы сказать... Но как и сестре его Доре, ничего мы ему не скажем.

Янис не был готов, он и никогда не будет готов увидеть *бесов* на стороне бунтующих, восстающих. Кто из молодых латышей не бунтовщик хоть чуточку? Не бунтовать — значило примириться с тем, что есть. С жизнью, в которой не только каждый из них — никто, но никто и все они вместе взятые, никто и ничто их отцы и их будущие внуки, ничто их язык, их песня, их рождение, их смерть.

Бесы для латыша были безоговорочно там, на той стороне. Черти, оборотни, вурдалаки — господа, старосты, погонялы, палачи. Песни были об этом, сказки об этом. Может быть, в описываемые дни больше всего смущало Яниса положение барчука: он был странно раздвоен, оставаясь всей душой, инстинктом на стороне тех, кто внизу, но вытолкнутый

наверх, на господскую половину. Отец заставлял принимать и выдавать лен, вести расчеты с испольщиками, объясняться с людьми, зависимыми от них, выжимать из этих людей выгоду. Ему так хотелось не ударить лицом в грязь, сделать все, что требовалось: прикрикнуть и пригрозить, схитрить и добиться своего. Ему ничего этого не хотелось! Он чувствовал себя актером, играющим не свою роль: и текст не выучил, и куда девать руки не знает. Стыдно ему было что-то там выговаривать пожилому мужику, который понимал в сто раз больше его и, должно быть, усмехался, дивясь прыти новоиспеченных господ? Да уж, усмехался. В нем росло раздражение против отца, навязавшего ему эту чужую роль, против себя, не умеющего и такой простой роли исполнить.

В ночь на пятницу Янис видел во сне Андрея Дирикиса. Тот читал сперва негромким, с легкой хрипотцой голосом стихи Донелайтиса из «Времен года». Он их часто читал гимназистам по-литовски и переводил прозой на ходу сам же. Вдруг оказалось, что не Андрей читает поэму, а Донелайтис, почему-то похожий на учителя Базенера. Он читает дивные стихи, Янис все понимает, странно, он и не думал, что так хорошо знает литовский. Потом поэт поворачивается к нему и, вперив в Яниса указательный палец, говорит: — А вот мы проверим! Что такое по-литовски *мергайте*? Янис знает ответ, но стесняется его выговорить. Он краснеет во сне и произносит еле слышно: «Девочка». — Что-что? Не слышу! — Девочка! — кричит тогда Янис. Донелайтис качает неодобрительно головой, но оказывается, он уже не Донелайтис, а опять Андрей Дирикис. И спрашивает он другое: «Какая грузинская фамилия известна каждому латышу?» Что ответить? В вопросе явно какой-то подвох. Да и не знает он никаких грузинских фамилий. «Стабурадзе!» — вдруг весело произносит, почти выпевает Андрей. Янис смеется: и правда! Как он забыл? Андрей на Кавказе бывал. И рассказывал, что у грузин большинство фамилий оканчиваются на «дзе», а, скажем, армянские фамилии — на «ян».

Тут Янис соображает, что уже не спит, а когда сон перетек в не-сон, и не скажешь. Он хочет вспомнить шутку какую-то, заставившую его во сне рассмеяться. А, Стабурадзе! Грузинская фамилия! Не так смешно, как во сне, но забавно. Главное же — он не помнит, чтобы слышал такую шутку от младшего Дирикиса или от кого другого. Не сам же он ее выдумал! «Может быть, это шутка Бога», — приходит в голову Янису; он снова «поплыл», верней — полетел, легко оттолкнувшись от земли, и увидел с высоты птичьего полета Стабурагс, Стабурадзе — древний утес на Даугаве, виденный наяву вместе с Петерисом, правда, не сверху,

а снизу. Но и с высоты он смотрится не хуже. Теперь нужно бы вернуться в прерванный сон, послушать Донелайтиса, увидеть Андрея. Но снится опять другое. Будто бы во дворе — что это за двор? Непонятно! — нужно чистить колодец. Янис видит: все смотрят на него. Старый гуд, работник, говорит: «Пусть спускается, ему удобней». Янис про себя повторяет неправильное ударение: неизвестно почему оно «правильней» правильного. Опускают вниз деревянную лестницу, переладины очень далеко одна от другой. Янис долго нащупывает висящей в воздухе ногой следующую опору, спускается. Внизу темно, мокро, но он в высоких, по самый пах резиновых сапогах. Лестницу поднимают наверх, иначе ему негде стоять. Холодно. Он снимает совком тину и верхний слой песка, бросает в ведро. Цепь с ведром поднимают. Янис один внизу. Далеко над ним круглое пятно света. Туда уходит ведро с песком и тиной, оттуда оно возвращается. Голос папеньки сверху: «Скажешь, когда подать лестницу!» Вода прибывает. Нагрузить еще полведра — и тогда не стыдно попроситься наверх. «Лизе! — кричит он. — Давай лестницу!» Лизе тоже все время была там. Она перегибается через край колодца и тоже кричит, смеясь: — А вот и не дадим! Оста-авим мальчика в колодце! — Какая здесь акустика! «Ат-ста-а-асим пуйку ака-а-а!» И отец — или работник? люди все время превращаются один в другого — тоже перегибается через край: — Ха-ха! Атста-асим ака-а-а! — они шутят, не видят, что вода ему уже по грудь... по горло... А-а-а!

Он просыпается; от холода — пупырышки на коже. Чтобы согреться, нужно возвратиться в хороший сон. Нужно вернуться к Андрею.

Андрей был младший брат «старого Дирикиса» (или, как называл его Янис иной раз в письмах к родным, Дирайтиса*). В Риге он объявился внезапно, откуда-то из чужих краев — и края эти были загадочны, и сам он таинствен. Если слова и жесты других обитателей дома можно было предсказать заранее, то Андрей был непредсказуем: он, кажется, и сам не знал точно, что сделает через минуту. А может знал, но не имел права сказать. Янис никогда не писал о нем в дневнике, не упоминал в письмах. Андрей был главным секретом гимназистов. Да, это была их общая с Дарашкевичем тайна. Бывают тайны стыдные, от которых уши горят. Этой можно было гордиться. Иногда так хотелось поделиться хоть с одной живою душой, похвастаться! Нет. Нельзя было проронить и звука.

Андрей на двадцать два года моложе гофрата Дирикиса — брат годился ему в отцы. Одно время молодой человек был чиновником по особым поручениям при губернаторе Софии в Болгарии, потом его

* Живодёр (латыш.).

видели в Австрии, Венгрии, на Кавказе, в соседней Литве. В газете брата Андрей печатал заметки о своих путешествиях, рассказы, переводы с русского, немецкого, литовского. Он составлял литовско-латышский словарь. За этой его ипостасью, однако, скрывалась следующая, о которой господин гофрат не подозревал. Андрей был сторонник революционеров, народовольцев. И он доверился двум мальчикам, постояльцам старшего брата!

Все вокруг считали Леона и Яниса как бы еще не совсем людьми. «Это тебе рано», «вырастешь — узнаешь», «ты еще не дорос», — слышалось отовсюду. Если верить взрослым, рано им было знать почти все, и по мере повзросления линия горизонта как бы отодвигалась, опять до запретных тем было не дотянуться. Андрей же им верил больше, чем взрослым. Он никогда их не учил — только лишь делился тем, что знал, с той естественностью, с какою добрый человек предложит часть своей еды голодному. Он не снисходил до младших — с ними ему было интереснее, чем с другими. Он даже смеялся по-детски! Но при этом где-то внутри был, конечно, серьезнее Дирикиса-старшего. Бернхард Дирикис был существо законченное, состоявшееся раз и навсегда, как, скажем, Пороховая башня в Риге. Андрей, казалось, даже физически не переставал расти. Вытягивались за лето два гимназиста — и Андрей Дирикис был, похоже, длинней, чем до каникул. «Обман зрения! — смеялся он. — Но внутренне я вырос аж на два сантиметра!»

Он давал мальчикам читать запрещенную литовскую газету «Аушра», разрозненные номера «Земли и воли», «Народной воли». Рисковал ли он при этом карьерой? Нет, — он рисковал головой! И говаривал гимназистам (не в доме — там нельзя было, — прогуливаясь, на берегу Даугавы; там он часто читал им стихи по-латышски, по-русски, по-немецки и литовски): «Я доверяю вам гораздо больше, чем себе». Он же первый рассказал им о «деле Айзупса»: подпоручик русской армии вместе с другим офицером и литератором, Андреем Пумпурсом, основал в Риге тайный кружок, между прочим, учил гимназистов-латышей владеть оружием («А вы разве ничего не слышали?»). Друг Айзупса Пумпурс — тезка Дирикиса-младшего — как выяснилось, был когда-то близок к Бернхарду, «господину гофрату»; даже открыл в свое время с ним на паях книжный магазин, но потом уехал в Россию, воевал...

Все это промелькнуло в памяти Яниса утром апрельского погожего дня в Ясмуйже. Отец на этот раз не будил его песенкой об Аннушке, а встретил за столом в крайнем раздражении: сколько ж можно валяться? Сколько можно дурака валять, жить дармоедом? Посмотри на Лизе, — крутится как белка в колесе, — посмотри на меня. Что с тобой будет, если ты так начинаешь... И тому подобное.

Терпение Плиекшана-старшего близилось к концу. Неудачные тяжбы с Жабой, с хапугами-адвокатами, нелады с женой, окончательно постаревшей и поглупевшей не иначе как от набожности; постный вид дочери, как бы упрекавшей всем своим обликом: по твоей, по твоей милости я осталась старой девой! — и наконец, необъяснимая вялость и апатия сына. Какие надежды возлагались на наследника! Ну не нужно ему в поте лица хлеб зарабатывать — ладно; опять же, не мешало бы вспомнить, кому он этим обязан. Хочешь быть баринoм? Будь, разве я против? Но ведь и барин не каждый день лежит на боку. Упрется глазами в книгу, зовешь его — не слышит! Да что там, дерзит в ответ, как будто его от дела оторвали. Но я же заглядывал — романы читает, мерзавец! Хорошо, хорошо. Пусть бы и романы. Но — ни малейшего интереса к хозяйству. Когда не лежит — расхаживает, руки в брюки, — ни дать ни взять дачник! Ни бум-бум ни в одном практическом, серьезном деле, — для того его учили? И строптивость вечная. Ты к нему с добром, а он чуть что — фрр-р, фрр-р! Будто враги ему тут. Будто со зла я ему замечаю! Другие твердят — мол, возраст такой. Но я-то в его возрасте! Как я юбки девахам задираю! Господи, как я их смешил! Они от смеха не могли сопротивляться... Может, и от другого чего, но ей-богу и от смеха. И тут он мямля! Точно и не мой сын. А эта его стыдливость! Ну бывают стеснительные люди, однако с ним что-то не в порядке. Ведь он с незнакомыми заговорить боится! Ложку ко рту поднести! Что это такое, спрашивается? Ладно, ладно, старик. Что-то ты совсем разворчался. Может, как-нибудь... Этот приятель его, молодой Стучка, говорят, парень дельный. Друга же вот, сумел выбрать... И Дора его любит, а она умница, кого попало любить не станет.

Дневник. Замечательная по наивности запись: «Все еще не знаю, какой для себя характер выбрать, серьезный или веселый? Один был у меня недавно, второй — это я-теперешний. И что это за человек, у которого нет истинного характера?»

Да есть у тебя характер, Янис, есть! Давно уже есть, иной раз кажется, что он был у тебя еще перед рождением.

Дневник. Апрель 1884 года.

Нехорошие, мерзкие мысли одолевали сегодня: воображал этикие полугероические, полудиотские и полунегодяйские сцены — что бы я сделал с папенькой, как бы отомстил ему за то, что он меня унижает

(или, может, уважает недостаточно). И ведь самому неприятно писать все эти гадости! Нередко я даже так далеко захожу в этих фантазиях, что спорю, ругаюсь с отцом и даже дерусь. Теперь вот только начинаю немного справляться с собой. Но без особой радости, не чувствую, чтобы мне что-то возмещало эту жертву (жертву, потому что в этих фантазиях была своя прелесть). Неважно опять на душе. Разве я не мог бы стать лучше после вчерашнего праздника? Но — недоверие папеньки, Лизе так меня задело, что хочется мстить. Сегодня утром я подумал, что ведь и я могу презирать папеньку за то, что он не может толком сосчитать до 13. Думал, что он переигрывает меня только на своем поле, и я ведь хочу у него учиться, а он меня третировает за то, что я ничего не знаю; не глупость ли — презирать ученика, только приступающего к учению, за то, что он неуч! — а глупость великий грех, и тут-то я, можно сказать, без греха и т.д. Так я часто фантазирую, и мне это нравится. Он старый, старики любят похвастаться и воображают, что они еще в полной силе. Это извинительно, и все было бы очень мило, но если они шпыняют на работе других, хотя сами уже ничего не могут, это глупо и они безнадежны и вместо заслуженного уважения вызывают к себе вражду. Вот такая непотребная вышла болтовня, а кто во всем виноват?!

...Есть люди — и их большинство — старающиеся иметь к себе как можно меньше претензий. Если уж очень недоволен собой, такой человек найдет вне себя кого-нибудь или что-нибудь, на кого (на что) свалить вину. Так ребенок, ушибив пальчик об стену, бьет ее кулачками. Он прав. Для здоровья и самоуважения лучше, не себя же бить.

Янис Плиекшан именно что бил, наказывал себя. Не жалел порой и кого-то другого, но в конечном счете вину возлагал на себя. Хотя бы за то, что плохо относится к тому, другому. Что мысленно его обижает. При этом, скорей всего неосознанно, он доводит всякий такой эпизод до гротеска. Он исследует границы своей личности, своих возможностей в хорошем и дурном, раздувает каждую летящую искорку, не жалея легких. Самообвинения его порой чудовищны. Экстраверт обратил бы их на кого угодно кроме себя, но Янис — интроверт; как впервые забеременевшая женщина, он смотрит и вслушивается в себя, внутри этого незнакомого мира находя зачатки всех добродетелей и пороков. К добродетелям его призывают отовсюду и понуждают, порок сам пробивается из каждой щели как сорняк. Можно притвориться перед самим собой, что все недобродетельное, неправильное, нехорошее вызывает в нем, воспитанном мальчике, отвращение, но он не желает перед собой

притворяться. А если появится и такое желание, то он исследует и его: ему нужно знать, каковы причины и корни притворства, в какой степени человек способен на притворство в действительности и в воображении; найдя же в себе такую способность, он тоже раздует ее, доведет до абсурда, а под конец сам себя обвинит в новом пороке со странным, непонятным удовлетворением.

Больше всего в исследовательской страсти Яниса проглядывает будущий сочинитель, философ, писатель. Он еще не понял, что ставит эксперимент на себе. Удовлетворять чудовищную любознательность *homo sapiens'a* за счет собственных нервов, мозга и сердца? А кто знает более короткий, более верный путь?

И новый взрыв отчаяния был где-то тут же, в районе этих восьми месяцев, ближе к лету. С мыслями о самоубийстве, с полным самоотрицанием, вычеркиванием себя из настоящего и будущего.

Он не был первым на этом пути. Нормальный юношеский кризис. Нет, выразимся поосторожнее: почти нормальный. Не столь уж редкий, если прощупать взглядом сотню-другую выдающихся биографий. Быть может, тот же результат дали бы и биографии «невыдающиеся», только чаще всего их перипетии нигде не зафиксированы. Может, и никому не ведомый юноша был предназначен к мировому поприщу — и внутренне не соглашался на меньшее. Может быть, и миллиону не известных нам юношей разных времен и народов требовалось взойти на вершину мира не к шестидесяти годам, а к шестнадцати, нужно было разгадать загадку призвания и признания, всенародного и всечеловеческого признания сейчас же, немедленно? О, бедные александры македонские, бедные корсиканцы, бедные раскольниковы всех стран и веков, как вам трудно! И трудней всего — когда рушится изначальная, Богом вложенная в грудь убежденность в твоей исключительности: оказывается, ты как все! Или еще хуже: ты не умеешь быть таким, как все, над тобой все смеются — и поделом!

Любовь, разделенная любовь — прекрасное лекарство от этой болезни. Достаточно одному человеку признать тебя полностью и безоговорочно, и может, признание всего человечества и не понадобится. Янис Плиекшан это чувствовал. Он мечтал о любви. Не просто о любви — о страсти, которая вывела бы его из тупика, спасла от него самого.

Невнятная и непобедимая сила влекла, тащила его волоком к Текле, к ее пухлым свеженьким губкам, к высоким и близким, только руку протяни, грудкам, прекрасным, округлым и медлительным бедрам созревшей к труду деторождения юной женщины. Одна сила влекла его

к Текле, другая — отбрасывала. Ибо, обвиняя себя во всех смертных грехах, он был невинен и чист и ценил свою чистоту и невинность. Пошленькая трагикомедия связи барчука и служанки, связи, почти нескрываемо подстроенной и одобряемой родными из соображений, так сказать, здоровья и почти гигиены, не могла его не отвращать, и явная податливость Теклы, ее согласие на эти старые правила старой игры не столько притягивали, сколько отталкивали. Да и стыдился, не хотел он быть барчуком! Барчуком, бесстыдно берущим девушку из народа.

И наконец, немецкие романтики! О, немецкие романтики. О, Шиллер! «Нечистые желания во мне умолкли...» Есть нечистые желания и есть небесная страсть. И — пропасть между ними. «Нечистые» желания сжигали восемнадцатилетнего юношу, как им и положено. Ах, как хотелось погладить, поласкать, поцеловать, пощекотать Теклу! Тем более, что она-то его щипала! Дергала за вихор! Трепала как куклу! Но все кончалось тем, что он убежал. И записывал в дневник минут через пять рукою, помнившей еще шелковистость Теклиной кожи: «Лишь только заслышу ее, кровь бросается в лицо, я пьянею, во мне разом — и боязнь и смелость: схватить ее, жарко целовать, прижать к себе, мять серебряные грудочки, и снова упасть на колени и видеть в ней богиню и не осмеливаться до нее коснуться, и вновь бежать, боясь ее как величайшего греха... и опять я неловок, глуп, нем, хочу ей нравиться и обнаруживаю, что я смешон — и тогда хотел бы, чтоб она была не здесь, а далеко от меня».

Это не о Текле (хотя и о ней тоже). Это о богине. О той, перед которой не стыдно пасть на колени. О любви идеальной, но и с прикосновением земной страсти.

Он не знает, не понял еще, что такая любовь в его жизни уже есть. Правда, без земной страсти и даже без возможности таковой. Идеальная и только в идеальном проявлении возможная любовь. Внимательный наблюдатель, исследователь своей жизни и души, он осознаёт это со временем и отметит. «Идеальная» — и единственная почти до 30 лет любовь Яниса Плиекшана — его младшая сестра Дора.

Доре скоро 14.

Он не мог бы сказать, насколько она красива и красива ли. Она просто воплощает для него всю теплоту и красоту женского начала

в мире. И не того женского начала, которое может быть недобрим, враждебным, насмешливым, которое требует от тебя каких-то доказательств твоей состоятельности, которое, может быть, готово тебя отвергнуть или унижить... Нет: оказывается, девочка, будущая женщина может быть воплощением доверия, безобманной близости. Неспособности тебя ранить никогда и ничем. Она сама доверчивость, и обмануть ее в чем-то тоже нельзя. Весь мир ополчится на тебя — а она глянет и улыбнется как всегда, помаргивая радостно, будто смотрит на солнце. В ней естествен и мил и единственно возможен каждый жест и шаг. Она искупает горластое самодовольство отца, вечное отсутствие матери, хмурость и озабоченность Лизе. Она — друг, но не такой, как друзья-одноклассники, даже самые лучшие. Там кто-то всегда выше, а другой ниже. Там все-таки приходится гадать, насколько и в чем можно другу довериться. Здесь не так. Правда, Доре ты сам никогда не расскажешь некоторых вещей о себе, даже под страхом смерти. И это правильно: ей, чистой, нельзя этого знать.

Он был испуган и шокирован, когда Дора призналась, что там, в Земгальской Гриве, в школе и пансионе они с подругами шепчутся о мальчиках. Что одна подружка учила их «страстно» целоваться. «Всё! И Дора испорчена...» — горестно решил он про себя. Но в глубине души прекрасно знал: неправда это. Уж если есть неиспорченность на свете, то вот она, во плоти. Дора этих времен, девочка 12—16 лет навсегда останется для него образцом чистоты и радости, вечной юности, близкой и недостижимой.

Вторую Дору ему нужно было, не сестру.

Но чтобы и Дора осталась в его жизни.

Любовь без тени не-чистоты; а ее тихий, изумительно искренний смех! В январе как-то они играли в снежки, и был момент, когда вместе с нею смеялись даже ее шапка и варежки! Иногда она оставалась единственной ниточкой, удерживавшей его в этом мире.

Но ведь есть и дружба! — напоминал он себе. — Мужская дружба! О, как много ждал он от Петериса Стучки! Однажды, когда Петруша у себя дома, в Кокнесе, играл Шопена, — он изрядно играл на фортепиано, — в носу у Яниса защипало: показалось, что товарищ играет для него одного и что эта сладко-печальная нота, упавшая в сердце, как бильярдный шар в лузу, залог их необыкновенной, бесконечной, еще небывалой в мире дружбы.

Дневник.

Лежал на сеновале, думал: как хорошо, как весело сейчас на душе! Собираюсь все-таки придерживаться морали, без нее нет никакой основы и уважения тоже... Как мы прыгали сегодня на сене! Разве это не стихи? Детские глупости, конечно, но ведь есть в них своя поэзия.

Редко-редко за столетия, почти каждый день которого зафиксирован хоть строкой дневника, письма, попадают такие записи. «*Как хорошо, как весело на душе!*»

Втайне он высоко ценит и свои сомнения, свои горести. «Может быть, все пройдет, и я буду обыкновенным человеком, таким, как все, — но к чему же тогда все мои мысли, к чему слезы? Неужели так много горя, так много прекрасного, высокого нужно, чтобы сделаться таким навозным жуком, который ест, спит, ползает? Если я столь ничтожное звено в цепи, зачем я так устроен, что хочу большего? Зачем маленькому человечку думать, что он велик, что велики его силы, разум?»

И настало время вспомнить девочку, ровесницу Яниса, жизнь которой течет параллельно и независимо, чтобы встретиться — теперь уже ровно через десять лет — и перевестись навсегда с его жизнью. (Увлекательная штука — незримо подготавливаемое для нас будущее, рождаемое чужими движениями и шагами, людьми, о самом существовании которых мы не подозреваем еще, а в руках у них, глядишь, наша жизнь и смерть).

Эльза Розенберг живет в 1884 году в пансионате в Елгаве; еще недавно она училась в немецкой школе для девочек, но родители выдернули ее оттуда и отдали в ученики к портнихе. Отец и мать, богатые (все еще богатые, но ненадолго) крестьяне озабочены и озадачены поведением старшей дочки. Она своенравна, взбалмошна, она нарушает писанные и неписанные правила приличий: пока Эльза училась, до них доходили ужасающие слухи; говорили о множестве ухажеров, о развязности, с какою она держалась среди ровесников и даже взрослых, о дерзких ответах учителям; шептали даже, что однажды она на пари перебежала через улицу без платья, совсем нагишом! Уж этого, конечно, не могло быть, ох, эти наговоры, — но дыма без огня не бывает, а сами по себе слухи могли навеки погубить ее репутацию в Залениеках, в Курземе и во всей Латвии, ибо среди латышей в конечном счете все знали всех если не прямо, то через родню и знакомых, через родню родни

и знакомцев знакомых. Если невидимый суд постановит, что дочь их — гулящая, ей никогда не найти мужа в родных краях.

Иметь ухажеров деревенской девушке было не зазорно, но только лишь для того, чтобы поскорей выбрать из них жениха и затем уже готовиться к замужеству, принимая его законные ухаживания; этого же, единственного мужчину суждено ей было знать до гроба. Эта прямая и короткая дорога начиналась довольно рано. Присматривать среди соседских сыновей возможного кандидата в мужья для девочки начинали, когда ей стукнет тринадцать-четырнадцать; бывало, вскоре и обручались. Короткой эта дорога была потому, что иной раз от детства, минуя молодость, напрямик вела к материнским трудам и заботам, а они, эти заботы, эти труды, толкали из девичества в старость: в тридцать лет потрескавшиеся от работы, с несмываемой чернотой руки, ранние морщины, ранняя седина, ранняя и пожизненная усталость. Только песня, короткая и печальная, озорная, рождающаяся, как дитя, от женщины и женщиной хранимая и передававшаяся из века в век, только песня и, может быть, молитва возвращали какой-то смысл этому короткому цветению: там была красота неувядаемая, но до боли тесно связанная с красотой недолгой, девичьей: миг — и нет ее. Была ли? Была и будет, отвечала песня.

Но вернемся к Эльзе. И свяжем осторожно два имени, два характера, две личности, внешне ничем покуда не соединенные. Мы-то можем — а кто нам запретит? — поставить юношу и девушку рядом, спросить себя — что их роднит? Что в них есть такого, что приведет их однажды друг к другу?

Оба они латыши. Обоим по 18. Правда, через какое-то время Эльза «забудет» дату своего рождения, документы, если и были, тоже пропадут куда-то — и окажется она на три года моложе своего ровесника. И в восемнадцатом, и в девятнадцатом веке немало женщин молодели таким образом, и никто не спешил уличать их в этих невинных ухищрениях. Но пока что Эльзе, как и Янису Плиекшану, восемнадцать. Оба они образованны. Образование девушки победней и не столь основательно, но и родным латышским, и неродным немецким и тот и другая владеют с детства во всей полноте. Для девушки уже и те две школы, что посещала Эльза в Елгаве, — целое богатство; немного найдется латышек, знающих и читавших столько же, сколько эта круглолицая красавица с темно-золотыми косами.

Нужно было императору Александру Павловичу отменить в 1817 году крепостное право в Курляндии, нужно было трем поколениям крестьян жизнь положить, чтобы вытолкнуть над собою, уходя в родную почву

навеки, такую Эльзу. Нужен был многолетний труд батраков, наемных работников, которым у родителей Яниса и Эльзы приходилось похуже, потрудней, чем может быть, у помещика-немца, — чтобы высвободилось детство мальчика и девочки, чтоб не пришлось им пасти гусей и коров, зарабатывать сызмала хлеб, чтобы их не коснулись тысячи мелких нужд, облаком мошкеры окружающих бедняка, чтобы отворились их разуму языки и книги, чтобы могла возникнуть в их душах потребность в свободе и воля к ней. Черный труд других, многих людей, как с времен античности всегда и везде, обеспечил двум нашим героям возможность думать, искать, ошибаться.

Они были непохожи. Янис весь состоял из сомнений — Эльза сомнений почти не знала: сознание правоты переполняло ее. Янис беспрестанно жаловался сам себе на свою слабость, лень, неспособность к чему-либо — Эльза всегда ощущала в себе силу, талант, красоту. Янис погибал от непобедимой застенчивости, стеснялся людей настолько, что порой избегал выходить на улицу. Эльзе нужно было царить в обществе, кружить головы, доказывать свое первенство всем и каждому.

Оба писали стихи. Эльза в описываемое время — по-немецки.

В свои восемнадцать лет Янис о любви только фантазировал и мечтал (Текла не в счет); Эльза первый поцелуй пережила, когда ей было двенадцать; трепет любовного ожидания пронизывает, кажется, любой день ее отрочества и молодости. Она сама впоследствии напишет об этих днях с юмором и затаенной печалью; не могу отказать в удовольствии себе и читателю: заглянем в страницы ее автобиографии.

«Почему я сделалась драматургом и лириком? На то есть свои причины, не только внутренние, но и внешние. Лирика отражает тонкие движения души, она сродни музыкальности. А музыкальность у меня от матери: своим прекрасным голосом она пела молитвы, псалмы. Может быть, даже не столь важно для меня было, что она поет, а важно — как. Драматургом меня сделали душевные конфликты, которые пришлось переживать с раннего детства: любовь, вражда, упрямство, гордость вливались в чашу моей души как пурпурный напиток. Вот эпос — не моя стезя. Для него необходим дар наблюдательности, острое зрение. Я же, во-первых, была огорожена валом одиночества, как Брунгильда кольцом огня, во-вторых, после тяжелой болезни у меня неважно было со зрением и слухом. На какое-то время мне удалось поправить и то и другое, но позднее поездки на дальний север стали роковыми... Свою роль сыграл и мой огненный темперамент, интуиция, способность все схватывать мгновенно и — нести дальше, как буря несет лист над пропастью.

Первые мои эмоции выразились в дикой вражде, жажде мщения. Один знакомый читал вслух матери запрещенную тогда книгу Меркеля «Латыши» — о том, как людей мучили... А еще — гнет, невыразимый гнет со стороны всех близких, желавших мне, как водится, добра. И все же мое стремление к свободе прорывало все, душа моя выламывалась на волю как зеленый лист из почки».

Нет тут ни похвалы, ни преувеличений: темперамент был огненным, стремление к свободе — неудержимым.

Нужно знать, как консервативна живая, неразоренная деревня. Любая деревня: французская или шотландская, русская или прусская. Какими жесткими рамками определены границы дозволенного, для женщины особенно. Обычай на селе деспот, а кто выходит за рамки общепринятого, становится посмешищем, изгоем или тем и другим. Увеличенной деревней была и латышская Елгава. Многочисленная деревенская родня — хранители завета — ревниво наблюдали за тем, чтобы молодое поколение повторило путь отцов без отклонений, соблюдая свято все запреты, все табу. Наказание — от насмешки до полного отлучения от общества — должно было закрепить норму с жесткостью инстинкта, правящего роем и стаей.

Образование разрушало незыблемость и отгороженность этого мира. Речь не о простой грамотности, и прежде доступной латышам. Образование широкое, европейское, еще в предыдущем поколении немислимое для крестьянской девочки, — вот что размыкало извечный круг представлений, раздвигало до необъятности прежний тесный мир. Эльза уже не принадлежала душой и телом своим Залениекам, не принадлежала и только Елгаве.

«Мне, маленькой девочке, стыдно было, что все кругом толкуют о любви, а я даже и не знаю, что это за любовь такая и что с ней делать. Почему меня никто не любит?» (Тут в повествование врывается рассказ о тяжелой болезни, желтухе, перенесенной в то время, о болезни глаз. «Но я все-таки выздоровела, желтизна тоже прошла, и снова, как прежде, батрачки говорили: «Этого ребенка точно в молоке выкупали!»).

После выздоровления Эльза, в школе оказавшаяся позади всех, вскоре вырвалась вперед и стала первой в классе. Так характерно для нее: не просто быть первой ученицей, примером для других и паинькой. Нет, — очутиться в самом хвосте, выпасть вообще из оборота (болезнь), а потом вернуться, совершить мощный рывок и обогнать одну за другой всех ровесниц. Стать первой. Единственной.

«Осенью продолжили учебу, и у нас с подружкой появились свои кавалеры... Они нас окрестили: меня — *горной розой*, ее — *лилией долины*. На следующее лето и дома у меня появился поклонник: хозяйский сын с соседнего хутора Ц., впоследствии директор волостного банка. Он все чаще находил повод появиться у нас. Со своей сенокосилкой. Он заготавливал для нас сено, я должна была приносить ему полдник. Старенькая тетка, жившая у нас, приговаривала: «Пусть ходит девочка, — поглядит он на нее, поглядит, а там и женится». Ей отвечали, что на том хуторе есть свои невесты, да и отец передаст сыну хозяйство еще нескором. Сам Ц. использовал каждую возможность под столом пожать мне руку, читал при случае стихи Гейне:

*Deine zarten Lilienfinger
Möchte ich nur einmal drücken
Und vergehn im stillen Weinen, —*

то есть «Только раз сжать твои лилейные пальчики — и погибнуть, тихо плача». Он вообще любил Гейне и прозвал меня сельской Лорелеей. «Ты бутон, — нашептывал он мне, — а мне только и нравятся нераспустившиеся бутоны. — Мне той весной исполнилось четырнадцать. — Но хозяйки из тебя никогда не получится, ты тип возлюбленной, не жены. Настанет час, я тебя заберу и убежим от наших стариков в Монако, там ты выдашь себя за маркизу...»

«Разумеется, ничего из всего этого не вышло, — замечает уже взрослая Эльза с сожалением. Кажется, в глубине души она не сомневается, что там, в Монако, справилась бы с ролью маркизы. — Еврей Ицик, как все тогдашние еврей-разносчики, вместе с разными мелочами доставлял на хутора и письма молодых людей и девушек на выданье. Он дал мне почитать письмо, адресованное моему кавалеру, с условием, что по прочтении я его снова хорошенько запечатаю и верну ему для передачи адресату. Из письма следовало, что Ц. давно женат, что у него есть даже ребенок; как только отец переписет на него хутор, жена сможет перебраться туда на правах хозяйки... На том наш роман с Ц. и кончился.

Тем же летом было у меня еще одно любовное приключение. В селе Свете, где когда-то был дворец герцога Бирона, потом армейские казармы и наконец ничего не было, кроме большого герцогского парка, горожане и местные жители устраивали зеленый бал; такие праздники на природе привлекали тогда много народу. Ах, как билось мое сердце: первый бал! Что одеть? Сумею ли танцевать? Нужно сказать, особенно хорошей танцоршей я никогда не была, и теперь умею танцевать лишь на ручке с пером, как ведьма на помеле».

Опустим рассказ о муслиновом платье и золотых косах, о том, как мать заставила девочку надеть густую вуаль и целый день бедное дитя вздыхало за этой вуалью в дальнем углу, с завистью глядя на танцующих. Все было как в сказке о Золушке или как — помните? — в школьном классе. Она четырнадцатилетняя девочка, самое забытое, самое несчастное существо на балу. Но вот на исходе дня мать смилостивилась и позволила поднять вуаль. Вы догадались, что было дальше? Лучший танцор тут же обнаружил Эльзу. С ним она «летела, как на крыльях», совершенно не думая о том, умеет она танцевать или нет. И с этой минуты школьница нарасхват, все остальные девицы забыты; кончилось же тем, что нашу героиню избрали королевой бала. Скажите, могло ли быть иначе? (Четырнадцатилетний Янис, напомним, ни о чем таком и не мечтает. Он если и целовался к тому моменту, то с мамой и сестрой, в щечку).

Но теперь Эльзе Розенберг восемнадцать. Заглянем вместе с нею на праздник, посвященный Освобождению крестьян. Елгава, 30 августа. Праздником распоряжается молодой адвокат Чаксте (через много лет его изберут первым президентом Латвийской республики). С эстрады он произносит пылкую речь в честь милостивого царя, освободившего латышский народ от рабства. Аплодисменты. Немолчное «Ура!» «Когда крики поутихли, начался праздник песни. После того как все вволю напелись и надуделись, молодежь вышла прогуляться по аллеям, а взрослые господа пригубили стаканчики. Тут, к несчастью, полил дождь. Все бросились под крышу, на широкую террасу, где расставлены были столы с креслами. Внезапно столик перед нами опрокинулся. Я наклонилась — и тут же почувствовала, что мой лоб столкнулся с чьим-то еще. Поднимаю глаза — передо мной встает, бормоча извинения, гимназист с двумя серебряными полосками на фуражке (эта форма только-только была введена в мужских гимназиях). Владелец фуражки оказался бледным юношей с коротко стриженными каштановыми волосами. Что могло быть лучше! Притом он ко мне обратился по-немецки: «Mein Fräulein!» Слово за слово — и мы договорились писать друг другу и встретиться, может быть, уже через неделю в саду Елгавского дворца.

Ах, как тянулись дни! О новом знакомстве я рассказала дома. Мама и толстая тетка, похоже, обрадовались: «Наверно, из богатого дома!» Настала, наконец, новая неделя. Мама привезла меня в Елгаву. Я тут же поспешила в назначенное место... О горе, опять пошел дождь! Скамейки в парке совсем мокрые. Мы стоим друг против друга, не зная, что сказать. Наконец, я пригласила гимназиста присесть. Он возразил, что отец не простит, если он испортит новый костюм. Продолжили беседу

стоя. Он краснел, бледнел и не переставая крутил пуговицу на пиджаке, пока не открутил вовсе, причем на ее месте осталась большая дыра. «Что папа скажет!» — воскликнул бедняга в испуге и немедленно упал в моих глазах: любовь, как-никак, — дар небес, а он чересчур привержен земному. Только серебряные полосы на фуражке еще как-то поддерживали во мне прежний идеализм. Пора было расставаться: мать меня ожидала. В моем представлении первое свидание должно было закончиться поцелуем. Но он успел уронить фуражку и теперь пытался ее отчистить. Пришлось мне первой сказать: «Мы ведь должны поцеловаться, да?» Кое-как сложили вместе носы. После чего я услышала: «Auf Wiedersehen, mein Fräulein, wir werden uns schreiben!»*

И еще один зеленый бал, и еще одно приключение. На этот раз в Эльзу влюбился органист, приехавший из Риги. Последовала переписка, затем приглашение от незнакомой дамы из Риги; Эльза едет туда и узнает от некоей молодой и прекрасной уроженки Кавказа, что органист женат, что он ее обманул точно таким же образом и т.п.

«Нужно было оставаться при фуражке с серебряными полосками. Но у ее владельца было много товарищей, и некоторые из них нравились мне даже больше». Не удивительно, что через какое-то время гимназист присылает трагическую записку по-немецки: «*Da ich allen Aufforderungen der feinen Dame und Ihrer Sehnsucht nach der blauen Blume nicht entsprechen kann, so ziehe ich es vor in den kalten Fluten der Aa das Ende meines Lebens zu suchen. P.S. Bitte senden Sie mir meine Lessing's sämtliche Werke.*» («Поскольку я не отвечаю всем требованиям столь тонкой дамы и ее страсти к голубому цветку, предпочитаю окончить свои дни в холодных водах реки Аа. Постскрипtum: Прошу вернуть мне собрание сочинений Лессинга»).

О, эта девушка не из тех, кто легко прощает отступников. Еще и через десятилетия она не остыла и не забыла ничего; сейчас она попляшет на Жано Менцендорфе, — так звали незадачливого поклонника, — места живого на нем не оставит! Убедитесь: «Письмо я прочла хозяйке пансиона, мамаше Янсоне, и та сразу же ухватила суть дела. Интересно, сказала она, зачем тому, кто ищет погибель в холодных волнах, такие тяжеленные тома? Наверно, чтобы к ногам привязать и таким образом поскорей пойти ко дну... Мне тоже все было ясно. Юный герой с головой себя выдал, он думал утопиться разве что в чернилах. К стати, перед утоплением он оставил мне еще и поучение. Звучало оно так: «Выше всех лавровых венков — невинности скромный цветок». Хм, подумала я, скромный цветок у меня есть, а вот от лавров я еще и листочка не

* До свидания, фройляйн, будем писать друг другу (нем.).

видела. Через некоторое время встречаю моего загробного советчика, утопленника моего преспокойно себе гуляющим по суше».

Восемнадцатилетие будущей знаменитой поэтессы увенчалось обрядом конфирмации у алтаря большой лютеранской церкви в Елгаве. Пастор, немец Зеземан, преподававший Эльзе в школе, между прочим, закон Божий, был так озабочен, так занят чем-то, что ему некогда было даже взглянуть — кого именно он осеняет благодатью. «После торжества всем раздавали памятные записки. Мне достался листок со словами: «Дерзай и мысли смело, *сын мой!*» Я так разозлилась, что порвала эту бумажку и растоптала, приговаривая: «Если мне указывают путь и не замечают, кто я и что, не нужно мне никаких указателей — сама отыщу свою дорогу!»

Быть может, эта гордая и своевольная девушка, растаптывающая в праведном гневе глупую бумажонку, и в ту же самую минуту перечеркивающий себя крест-накрест, помышляющий о самоубийстве Янис Плиекшан — самое яркое и сильное, что есть на этой земле. Прошу понять, настаиваю на этом: не через десять или двадцать, не через сорок лет, не на вершине славы, а вот здесь, сейчас они — один, исполненный сомнений и тоски, и другая, не ведающая сомнений, — лучшее и ярчайшее выражение сил и слабостей, ожиданий и застарелых бед своего народа. Не ведают об их существовании губернаторы и банкиры, князья церкви и просто князья, профессора, литераторы, адвокаты; каждый и каждая, принадлежавшие к цвету общества в том далеком 1884 году, рассмеялись бы как над глупой шуткой над только что сказанным. А мы не шутим. Земля эта еще не знала таких, как этот юноша, таких, как эта девушка. Подобных им не было и не могло быть: абсолютная новизна просвечивает в каждой их мысли, улыбке, движении. Если Эльзу Розенберг-Аспазию считать прототипом райнисовой Спидолы (о которой речь впереди), то никогда она не будет Спидолой более, чем теперь, сейчас. И Райнис (еще не знающий этого своего, найденного много позже, имени) — уже Райнис: завтра он сядет переводить пушкинского «Бориса Годунова».

Я уже сознавался, что роман пишется не только автором этих строк, но и — едва ли не в большей степени — самим Райнисом. И Аспазия, как видим, к нему руку приложила. Будут и другие соавторы. Зачем выдумывать заново то, что было? Что увидено и зафиксировано там, на сто лет ближе к событию? Разве придумаешь разносчика Ицика, давшего сельской барышне распечатанное письмо к ее ухажеру? Разве сочинишь

оторванную от нового пиджака пуговицу? Можно, можно и сочинить, конечно, но зачем? И не будет ли это совсем другая пуговица?

Чуть не забыл: они все еще эгоцентричны до крайности. Как в детстве, каждый из них — центр мироздания. Они эгоисты. В дневнике Райниса есть замечание: писателям, даже очень большим (например, Гоголю) не удаются молодые герои, потому что у них *отнят эгоизм*. Замечательно.

О людях, в которых зрела и накапливалась судьба Райниса, судьба Аспазии. Их сотни: в Риге, Елгаве, Санкт-Петербурге, Берлине, Симбирске, Цюрихе, да мало ли где еще.

Невдалеке от Кокнесе, в доме лесоторговца Яниса Стучки все еще рос, вытягивался в длину сын Петерис. Богатый немец, заключивший со Стучкой-старшим выгодную сделку в 1882 году, вспоминал, что сын последнего был «красивый, как с картинки, юноша, — вылитый живописец Ансельм Фейербах»; упоминал о его молчаливости. Янис Плиекшан высок — а его друг Петерис Стучка на ладонь выше, Янис застенчив, — а Петерис молчалив до предела, этакая *Ding an sich*, вещь в себе, как говаривал один гимназический учитель, поклонник Канта. Они часто бывали вместе, прошагали бок о бок десятки верст, вместе пили и пели. В эти странные переходные месяцы многое решалось и в душе «Петруши». Они часто думают друг о друге, но куда свободны и в этих мыслях, и во взаимных отношениях. Еще не поздно им разойтись, верней, не сойтись окончательно, двинуться дальше порознь, а не вместе. На дружбу ведь не венчают, хочешь — дружи, хочешь — иди себе. А потом будет поздно. Поздно разомкнуть то, что их свяжет, вернуть, сделать все, как было.

Семнадцать лет Александру Ульянову. С ним Янис и Петерис будут учиться в одном и том же заведении, по непроверенным данным — познакомятся. До того, как в Шлиссельбургской крепости палач затянет петлю на шею несостоявшегося цареубийцы. Брату Александра Володе, так же как и Доре Плиекшан, четырнадцать. Очень вдумчивый мальчик с обостренным чувством справедливости. Девочками, кажется, не слишком интересуется (ах, лучше бы, как показал дальнейший ход мировой истории, интересовался!), близких друзей не имеет, но по-прежнему обожает старшего брата.

Вот еще новое лицо: Яннис Янсон, мальчик двенадцати лет. Он заначивает волостную школу и скоро, на следующий год поступит

в Николаевскую гимназию в Либаве. Мальчик Петерис познакомится с мальчиком Володей через двадцать два года, а мальчик Яннис через двадцать четыре, под Парижем. К тому времени у Янниса будут усы, а у Владимира лысина и переходящий в нее огромный лоб.

Но разве расскажешь обо всех? О профессорах и студентах, цензорах, жандармских полковниках, редакторах, актерах, извозчиках, публичных девках, поэтах, дворниках, фольклористах?

Занавес пока что. Конец главы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург. Петроград. Питер. Одна из мировых столиц. Чья власть простирается на пол-Европы, пол-Азии. Город, замысленный на пустом месте самодержцем Петром и по слову его восставший из ничего. Ваш, читатель, покорный слуга в свое время писал в романе о композиторе Модесте Мусоргском: «В одном и том же пространстве, в одно и то же время существовали разные Петербурги. Они как бы проходили сквозь друг друга, не замечая и не касаясь один другого — или делая вид, что не замечают, не касаются. Был Петербург чиновничьей братии; через него, не оборачиваясь, проезжал Петербург сановный. Петербург лотошников, разносчиков, шарманщиков, очень хорошо видевший своего покупателя, конкурента или возможного притеснителя: дворника, городского, — не обращал внимания на купца второй гильдии, не видел нищих на паперти, бессрочно отпускных солдат, с коих взять нечего. Петербург конных гвардейцев — веселых, надменных офицеров — за версту узнавал начальство, обнаруживал острым взором прижимающуюся к стенке солдатскую шинель, всенепременно впивался с прищуром в каждое хорошенькое личико, в каждую пару ножек, заслуживающую рассмотрения, а жалких штафинок, мастеровых, городских обывателей не принимал в расчет вовсе. Извозчики, те с кем только не сталкивались, знали и господ и негоспод... но и у них были свои заморочки, и их научила жизнь глядеть не на всех без разбора, а высматривать хорошего седока: достаточного в средствах, лучше бы веселого, то есть навеселе или, напротив, мрачного до отчаяния; опять же седок, спешащий в известный дом, сговорчивей седока, плетущегося оттуда. Дворник, городской по должности обязаны видеть все и вся, но требовалась от них отнюдь не тонкая наблюдательность, а исполнительность и усердие. И они были, были исполнительны и усердны, и направление ума у них было правильное: видеть что требуется, не видеть чего не надо. И дворник, и городской знали, на что следует закрывать глаза... а значит, всего даже и они не видели.

В том же городе, рядом с теми же храмами, в подворотнях тех же домов прятался Петербург преступный, ужасный, как Париж в романе известного сочинителя Эжена Сю, а откровенно-то говоря, куда страшнее. Был еще Петербург ученый, говоривший по-немецки и писавший на латыни, Петербург художественный, музыкальный... И каждый из этих Петербургов прочерчивал свои любимые маршруты, избирал своих героев и свои жертвы, у каждого были свои страсти и пристрастия, свои поводы для опасений.

Всего многолюдней оставался Петербург крестьянский. Столица империи, дай ей на то волю, превратилась бы в самый деревенский город на свете... но воли ей на то не было. Узда государственной власти стягивала, придавала всему строгость, необходимое единообразие. Смотры, парады, разводы, прохождения войск по улицам была самая привычная для Петербурга картина, а к моменту приезда Мусоргских военная и полицейская суровость прямо-таки висела в воздухе».

С тех пор, как писались эти строки, лет пятнадцать протекли в двадцатом веке здесь, в Риге, на берегах Даугавы и вот за этим письменным столом. Там, в городе на Неве и в веке девятнадцатом с момента появления в Петербурге помещика Мусоргского с малолетним сыном Модестом и до приезда в город Яниса Плиекшана и Петериса Стучки прошло 35 лет. Изменилась столица? Изменилась, да еще как! Умер тогдашний государь, умер и помещик Мусоргский и — незадолго до того — сын его Модест, оказавшийся гением. Умерли, правду говоря, почти все описанные поначалу конногвардейцы и дворники, извозчики и их седоки. Отменено было крепостное право. Прошла одна война — с турками, англичанами и французами, за Крым, и другая, с турками, за Болгарию. После 1861 года крестьянская Россия нахлынула на столицу и затопила (характерное для Петербурга словцо попалось). Через еще два десятилетия многие крестьяне были уже не крестьяне, а рабочие, мастеровые, торговцы, железнодорожные служащие. Попадались и фельдшеры, и приказчики, и даже вольные художники из крестьян.

Осенью 1884, точно так же как осенью 1849 года, военная и полицейская суровость прямо-таки висела в воздухе. Три с половиной года прошло после взрыва первого марта: народовольцы убили царя-освободителя на шестой, не то седьмой попытке. Они верили, что смерть самодержца разбудит Россию, разомкнет все уста, распахнет ворота всех тюрем. Вышло наоборот: ужаснулась Россия, бросилась искать виноватых, население тюрем выросло. Волна ненависти к жидам, полякам, ко всем вообще инородцам, к ученым умникам, студентам, ко всем, кто в очках, всем, кто в шляпах, волна погромов, невидимые волны страха и рабьей преданности всему, чему преданными положено

было быть, расходились от Петербурга по стране, набирали там силу и накатывали опять на столицу. Три с половиной года — не такой уж большой срок. Страна еще не отдышалась от происшедшего, не опомнилась.

Правда и то, что после первого потрясения, после волнений и смут нужно было жить дальше. Какой ты ни на есть верноподданный, а ежели ты сдаешь в наем комнату или угол студенту, может быть даже инородцу, и с того детей кормишь, приходится как-то мириться с тем, что он студент или там инородец, лишь бы платил. Вообще политика, точно холера или инфлуэнца, накатывала на людей в начале и в конце каждой войны, в момент иной какой катастрофы, сотрясала, как лихорадка, а затем понемногу всех выживших отпускала. В обыкновенное время обыватель так же мало думал об убиенном, а также здравствующем государе, как и государь о нем: других забот хватало, правду сказать, и у того и у другого.

Новоиспеченные студенты Петр Иванович Стучка и Иван Христофорович Плекшан (так они поименованы во всех документах, так их и звали — Яниса временно, а Петериса, как оказалось, пожизненно и даже посмертно) комнату сняли недалеко от университета, в Академическом переулке, на четвертом этаже доходного дома. Вселились 30 августа — в день рождения Яниса. Сразу оба события и отметили. Отмечали вдвоем, чувствуя себя странно одинокими. Если бы они оказались именно в этот день в Ясмуйже — господи, сколько шуму было бы! Сколько поздравителей! Сколько песен, поцелуев, шутилой возни!

В прошедшие годы дважды получалось так, что Янис встречал 30 августа у Стучки, в их просторном, богатом доме с множеством гостевых комнат. И там тоже, да пожалуй, торжественней, пышней, чем дома, отмечали его рождение. В день же, когда ему стукнуло девятнадцать, было не до торжеств. Перевозили на извозчике вещи из гостиницы, где прожили первых два дня, устраивались. Хозяйке уплатили 20 рублей — за месяц вперед; недешево, но терпимо.

Сколько ждали этих дней, сколько думали о них, сколько готовились, — легкая горячка еще не оставляла их: время раскололось как стекло и теперь было не сплошным, а состояло из кусков и осколков. В каждом куске был свой, отдельный сюжет: там прощание с родными, там дорога, там беготня по петербургским адресам, добытым заранее. Первый визит — к цензору Ремикису, чуть ли не самой важной персоне в латышском Петербурге, потом к Давису Кажоксу, преподавателю гимназии и литератору, потом к «старым» студентам, которые и помогли им отыскать комнату поблизости от университета.

Янис клятвенно обещал писать домой. Пишет. Но с мамой и старшей сестрой объясняется все насчет припасов: масла у них достаточно, колбасу тоже не стоит посылать, да она и не удалась в этот раз. «Мясные продукты сейчас долго не держатся, придется их в реке утопить, а утопление сие — дело нелегкое, прохожие и полиция, глядишь, решат, что мы адскую машину выбрасываем. Нет, милые мои, шлите лучше молочное, особенно сыр, такой же вкусный, как в первый раз!»

К счастью, есть Дора. Если б не она, мы бы, наверное, не узнали — состоялась ли встреча девятнадцатилетнего Райниса с Петербургом; могла ведь и не состояться... Письмо «Дарье Христофоровне» (он так написал). С ней Янис будет говорить не о сыре, не о колбасе. «Зубрить нам пока ничего не нужно, а когда понадобится, никто с дубинкой заставлять не будет, не погонит на занятия. Нравится — иди в университет, послушай, что профессор рассказывает, газетки почитай, встретишь знакомого — поболтай с ним в свое удовольствие и ступай себе домой книжки читать. А читать есть где: университетские две библиотеки, огромная Императорская, где книги со всего света можно брать бесплатно, кроме того, в городе много таких, где книги выдают за небольшую плату. Так что и без зубрежки есть чем заняться, если хочешь. Надоело читать — можешь шагать по городу или вскарабкаться на трамвай (вагоны конной железной дороги) и на верхотуре дышать свежим воздухом, ехать, разглядывать мир. Смотреть есть на что: сколько бы по одной улице не проходил, увидишь что-то новое. А Нева, а гранитные набережные, а мосты со всякими цацками, сфинксами, статуями, обелисками и черт-те с чем еще! Церкви с куполами чистого золота или башнями точно гигантские золотые иглы. Исаакиевский собор с дорогами, а иногда и красивыми иконами, там есть одна — 32 фунта золота, не считая камней: алмазов, рубинов; столько всего наклеплено, но безвкусно — *топорная работа*, вышла какая-то чурка золотая. Про музеи, картинные галереи не говорю, хотя они-то мне больше всего нравятся. Просто голова идет кругом, когда смотришь все подряд. Да! И зоосад! И много, много чего еще, о чем сегодня не успею. Да уж, тут хватает на что посмотреть, даже устаешь, и если что-то не так ярко, не так великолепно, то уже и не смотришь. Но разве обо всем расскажешь? Приезжай и смотри, куда глаза не устанут (правда-правда, по-настоящему устанут: со мной никогда раньше не случалось — чтоб глаза уставали от того, что смотришь). Может, ты тоже когда-нибудь сюда попадешь или еще кто из наших: есть, есть на что поглазеть!»

Попадет Дора в Петербург. Но другой будет Петербург. И другая Дора.

А еще он оказался «между двумя Петрами» (была примета, что это к удаче). Правда, один Петр был бронзовый (или, по Пушкину, *медный*: «Медный всадник»), другой — живой и телесный «Петр Иванович», Петерис Стучка, — в свое время и он побудет бронзовым, хотя и сравнительно недолго.

Может, и хорошо, что в первое время ни одно из новых знакомств толком не работало: ни одна живая душа не возникала у их дверей, да и они никуда не ходили. Никогда еще они не были рядом столь долго. Нужно было притереться друг к другу, понять: каково это, жить в одной комнате вдвоем неделями, месяцами, может быть, годами?

Неделями, месяцами, годами он жил в пансионе у Дирикиса рядом с Лелюком. Леоном Дарашкевичем. Простодушным, сверхэнергичным, но притом удивительно ненавязчивым: он как бы исчезал, когда в нем не нуждались, и возникал из воздуха, как только подумаешь — где же он. Теперь уже нет, не возникал. Янис ловил себя на том, что скучает по нему. Однажды в письме к Доре у него вырвалось: все бы ничего, только Лелюка моего здесь нет, а я бы с удовольствием сменил на него Пичукса... Пичукс — еще одно прозвище Стучки (другие: *Петруша, Джон, Джонитис, Толстый*).

Петерис шутил, если не молчал, и молчал, когда не шутил. Янис и сам шутник не хуже его, но теперь временами раздражался. Ему хотелось объяснить... поговорить о... Да обо всем на свете, как он когда-то с дневником своим говорил, — для чего же иначе дружба? Но как только разговор грозил уйти в глубину, Петерис отшучивался и ускользал.

Он, Янис, все время сравнивал себя с другими. Сравнение почти всегда было не в его пользу. Другие были лучше. Только изредка все были «хуже». Не хуже его, нет, но хуже, чем хотелось бы.

Причин для того, чтобы поедом есть себя, всегда хватало. В школе он корил себя за смешливость. За то, что стихи пытается писать — и бросить не в состоянии. За лень. За чудовищную застенчивость. За робость с окружающими. За грубость с окружающими. За излишек воображения. За недостаток воображения. С некоторых пор он уличал себя и в зависти. Вот Бернхард — почти идеальный человек, а тебе остается грызть локти от зависти. Лелюк: какой он добрый! Почему я не такой же спокойный, добродушный, простой? Андрей Дирикис. Ну, с этим кто же мог бы равняться?!

Теперь он завидует Петруше. Стучке. Какая работоспособность! Какая сила духа! Тему нужно проработать. Довести до логического завершения. До края. До абсурда. Это он и делает. Письменно. Читаем.

«Попурри. Полубред, полуправда. Сижу спокойно, перевожу «Мертвые души» Гоголя. Тут мой Петерис закончил какую-то там свою работенку, берет другой том Гоголя и садится тоже переводить — «Нос». Какой-то бес вселяется в меня. Плеваться я хочу, расшвырять все бумаги! Но поскольку я человек рассудительный, то почти спокойно захопываю книгу, пожалуй, чересчур спокойно, по крайней мере, виновник всего этого на мою демонстрацию — ноль внимания. Кладу перо, бумаги швыряю — не на пол, правда, а в ящик стола, — и начинаю бегать по комнате. Не нужно думать, что шум от этого так уж велик: единственный, кто что-либо заметил, опять же я сам. Бегаю-бегаю по комнате туда-сюда, жду нетерпеливо: неужто не заметит? Нет, и ухом не ведет. А меня до того задело его *преступление*, — как если бы я сел на иголку. Дикая ревность напала, не помогают никакие резоны — натура сильней, натура ма-аленького человечка. Мне больно физически от того, что он взялся переводить то же, что и я, — не знаю даже, почему так больно, не потому ли, что он отнимет у меня всю славу? Наконец, я забрался в кладовку, стоял там, так что одна нога затекла, перенес тяжесть на другую ногу — затекла и другая. Такое зло меня взяло, такая досада... (может, не продолжать?)

Шутки шутками, но зачем он берет именно Гоголя («Нос» вообще-то давно ему нравился)? Доходит до смешного — как он все повторяет за мной. Прикинул: в чем он мне подражает. В утешение себе добавил тут же, что это признак моего превосходства. Долго еще бредил в этом чуланчике, хотя, правду говоря, не все было бредом, кое-что и правда. Хочу преодолеть дурное в себе — как получилось, что это опять невозможно? И злость такая: неужели я из ничтожеств, таких как Сальери? Злость распирала грудь все ужасней. Почему это я тянусь к доброму, прекрасному, честному, в лучшие мгновения все это люблю чисто, свято, — и всегда тебя что-то унизит, заставит презирать себя самого. И опять я его виною: из-за него приходится терпеть такое унижение. Гордость моя из-за него терпит такие муки. Взбунтоваться хочется, уничтожить, — нет, лучше подчинить его моей власти, заставить себе служить и его и других, всех, всех, кого я знаю, ненавижу всех, кого знаю, и нет никого и ничего, кого или что я бы не ненавидел! Хитростью бы я их поработил и, властвуя и возвышаясь над ними, радовался бы: пускай злобой, пускай коварством, но я бы превзошел этих ангелочков!

Мученье — так думать, бредить, но муки эти так живы, что огонь их достает до костей, тут уж не заскучаешь, чувствуешь, что жив, что не дремлешь в «святом» безразличии. И потом я представил, что буду копить деньги, править и владеть другими как истинный материалист... и много еще чего мелькнуло в бреде, но наконец все во мне стихло, сделалось скучно. Да и сколько же можно торчать в этой кладовке! Итак, я вышел... Теперь, когда пишу эти строчки, дурь прошла, на месте безумия опять сонное спокойствие».

Бред? Правда? Самооговор? Да не то, не другое, не третье (или — и то, и другое, и третье). Как в книге возможно прочесть лишь что-то, что в какой-то степени присутствует в тебе самом, так и в окружающих понять можно лишь то, что наличествует в человеческой природе вообще. В зачатке, в бессознательном или подавленном виде в художнике-то, в артисте наверняка есть все — от одного края до другого, от абсолютного добра до абсолютной его противоположности. Молодого Райниса добро, уже в нем присутствующее, не так уж интересует. Ему или высшее добро подавай, высшую красоту и святость — или зло, в котором тоже непременно нужно разобраться, которое нужно разобрать на части, как часовой механизм, — а где все это взять-то? Вокруг, но прежде (и прежде всего!) — в себе: нет другого материала, который был бы настолько под рукой; возьми же его, доберись, докопайся, схвати намек, и под микроскоп его, под стократное увеличение...

Так это мне представляется.

К слову, Сальери никогда не обвинял Моцарта в том, что тот ему подражает. И себя Сальери ни в чем не упрекал. Весьма был высокого о себе мнения. По Пушкину. Нет, он не Сальери.

В пылу самообличения Янис готов в себе обнаружить, похоже, и старуху-процентщицу из романа Достоевского («Буду деньги копить...»). Но не похож он на старуху-процентщицу. Вот студент Федор Раскольников из того же романа, бедствовавший недавно в том же городе, приходит на ум. В каждом петербургском студенте, наверное, было что-то от.

Обнаружился еще один — латышский Петербург, пересекающийся в разных дименсиях со всеми или почти всеми остальными Петербургами. Его не было и не могло быть тридцать пять лет назад, а теперь он существовал в природе, резко отграниченный родным для Яниса языком и кругом его здешних носителей. Назвать это землячеством нельзя, так

как из тех же краев, из Лифляндии, Курляндии, Эстляндии происходил и Санкт-Петербург балтийских немцев, служивый, чиновный, даже сановный, достававший доверху, до самого трона. С этими «земляками» Янис и Петерис, понятно, никак не были связаны. Хотя нельзя сказать, что оттуда, с разных чиновных уровней и с гос. высот не посматривали время от времени на съехавшихся в Северную Пальмиру латышей: как они там, не затевают ли чего вредного? В свое время оттуда, сверху, последовало запрещение «Петербургской газеты» («Pēterburgas Avīzes»), сотрудники которой вдали от Риги вообразили, что ушли от бдительного домашнего надзора. Не ушли. Историю закрытия газеты Петерису обрывками приходилось слышать в родительском доме, когда к Стучкам в гости заглядывал Кришьянис Валдемарс. Да и кто там не перебивал из людей, известных всей Латвии: Кронвальду Атис, Пилсатникс, Аусеклис...

— Ма-ашка, зарра-аза! Где тебя носит? — кричит своей кошке от подъезда восьмилетняя белобрысая девочка, и радость звенит в ее голоске. Слыхали, какая она строгая? Не все ж терпеть тычки и шлепки: есть и ей на кого прикрикнуть! И как она хорошо, правильно кричит! Как похоже на маму!

С высоты своего роста улыбается Янис. Присел на корточки, протянул девочке карамельку. Недоверчиво, исподлобья посмотрело на дядьку городское хилое существо. Обычно взрослые люди так высоко, видишь не глаза, а ноги и пуговицы до груди. У этого глаза синие, не злые. Конфету дает. Возьму.

Взяла карамельку. Потопталась, спрятав сладкую руку за спину. Потупилась. Застеснялась. Дядька, улыбаясь, распрямился. Длинный какой. Не сказал ничего. Еще потопталась. Схватила кошку, прижала к тощей цыплячьей грудке. Вот хорошо, когда кошка. А то не знаешь, что сказать. Так редко ни за что тебе дают конфету. Еще реже так — ни с чего — улыбаются. Убежала. Засеменила по узкой каменной лестнице: топ-топ-топ. Оглянулась. Засмеялась почему-то. И нет ее. Дверь хлопнула.

Еще минут десять Янис улыбается — там, внутри себя. Голос девчушки напомнил ему что-то совсем раннее. Чем дальше воспоминание, тем туманней и слаще. И тем более сходно с виденным во сне. Сон точно так же помнишь — и не помнишь, и доставая из себя, наполовину додумываешь. К тому же облакаешь в слова, а сон почти никогда не в словах. Хотя — в прошлой яви или в прошлом сне — были такие же пронзительные голоса, деревенские. Конечно, в яви. Там совсем не случалось равнодушно-вежливых разговоров. Все было резко, каждый

возглас, шепот, крик был окрашен в цвета вражды и ласки; очень много было смеха. А то еще были канючащие, нудно выпрашивающие голоса. Виноватые, притворно-смирненные. Хлесткие. Угрожающие. Кроткие. Страстные. Вдруг — через целую вечность — Янис впервые понял, что слышал он в Рандене лет пяти от роду: там, за старой ригой... Страсть это была, разгар страсти, вздохи, стоны, захлеб глухих непонятных слов... Ишь, что ты слышал, и спрятал в каморке, в чуланчике дальней, нетронутой памяти, и забыл. Эта находка, попутная, пусть там и остается, когда-нибудь нагнусь и за ней, пошарю рукой и найду. А что же сейчас было, с девочкой? А-а: «Машка, зара-аза!» Беззлобие, радость в как будто бы грубом окрике, — тут что-то есть; нерезкий, ничем не окрашенный звук был почему-то и здесь невозможен. И еще... еще что-то было в облике девочки или в словах, передразнивающих, видимо, взрослых. А, поймал: это Дора. Дора лет семи-восьми, что-то там кричащая самозабвенно... нет, не «зара-аза», она и слова такого могла не знать... «Ау-у!» или просто «Я-анис!» А общее — радость, звенящая в тоненьком голоске. Радость, что исполняешь что-то верно, как надо, не хуже других. Послушайте, как я умею кричать! Точь-в-точь как мама, как Лизе, слышите? Слышим. Молодец какой.

Дора в очередном письме называла его волшебником, магом, по-немецки: *der Magier*. Завидовала тем, кто с ним рядом. Кто может радоваться обыкновенным его шуткам, всем тем чудесам, что он рассыпает на каждом шагу. Янис был тронут бесконечно. Она угадала. Как бы ни терзал он себя, как бы ни обрушивался на свои истинные или мнимые изъяны, в чужих глазах... а тем более не в чужих он хотел читать восхищение. И чем более не любил он себя, тем более нуждался в том, чтобы его любили.

«Сцена зависти», изображенная им в дневнике, была, может быть, одной из последних вспышек сопротивления. Сопrotивлялся он Петерису. Его юмору. Его невозмутимому дружелюбию. Всему тому «ангельскому» в его товарище, что и заставило Яниса взбунтоваться против «ангелочков». Человек нуждался позарез, чтоб его любили. А вместо того его влюбляли в себя. Стучка оказался очень хорош. Лучше, чем он думал.

Хорош был и сам Янис, и знал это. Он умел не показывать, какие бури в нем бушуют. Только от Лизе и от отца трудно, невозможно было

скрыть все качания его настроений. Гигантские эти качели швыряли его с самого веру на самое дно — и обратно, резко, так, что замирало в низу живота. Но уже Доре почти не было известно, каков братик в тяжелую минуту; да и падение прекращалось, когда она была рядом. Качели, покалебавшись, шли круто ввысь.

Здесь, рядом с теперь уже неразлучным товарищем, Янис побаивался разоблачения. Вот узнает Джон о его сомненьях и муках, поймет, что он вовсе не тот блестящий остроумец, не тот покладистый милый спутник, за которого себя выдает. «Ангелочек» Петерис подкупил его, однако... ушами. Уши эти были открыты для всего, что вздумается сказать Янису. Долгими осенними, потом зимними вечерами, когда тушили свечи и тьма, совершенно черная, непроглядная и в сантиметре от носа, осязаемая как вода окружала их, начинались разговоры. На десять слов Яниса приходилось одно ответное: специальность Петера была слушать. Внимать. Тишина с потрескиваниями и невнятными шорохами, с посторонними звуками, которые в большинстве не удавалось расшифровать, тишина эта и тьма как бы превращались в воспринимающую материю, продолжение чуткого, понимающего, вбирающего в себя слуха. Он не хотел бы переоткровенничать, открыть другу нечто, что можно было бы потом обернуть против него. И, как бы отвечая его сомнениям, заговаривал негромко Стучка. Он упоминал как бы нехотя об одной своей обиде... неловкости... разочаровании. Эта откровенность, совсем не подходящая к нему, была равноценна откровенности Яниса и всегда чуть-чуть ее превосходила. «Если уж такой моллюск, — думал Янис, — раскрывает створки, а их иначе и ножом не разомкнешь, значит, можно и дальше изливать душу, искренность взаимна и «более чем». Петерис открывал ему свои слабости! Как пес, разрешающий почесать самое незащищенное место, брюхо. (Экие у меня для друга зоологические сравнения! — улыбался он про себя).

О, их ночные, предсонные беседы! Ни тот ни другой раньше не могли так говорить ни с кем: ни с отцом, ни с матерью, ни с родными, ни со старшими, ни с ровесниками. Как они узнавали себя друг в друге! Этот спокойный жизнелюб, первый ученик всех гимназических лет, этот мастер на все руки, вечно строгавший что-то перочинным ножичком, который стал как бы продолжением его пальцев, этот смельчак и умелец, не хуже отца гонявший плоты по Даугаве, этот как будто во всем другой человек, оказывается, внутри себя корчил от той же безысходности. Оба помнили: отпрыски хороших немецких фамилий, замолкавшие при твоём приближении. И у них делались такие ледяные, тупо надменные лица. А их родители — наоборот, с вежливо-брезгливыми холеными физиономиями. И невозможные столкновения на лестницах, в коридоре

их родителей с твоими. Их отцов с вашими. Странное дело: ваши два отца были похожи. Оба высокие, шумные, уверенные в себе до деспотизма, — так что все вокруг становилось несколько жертвами их уверенности в себе. Оба хотели видеть в сыновьях свое повторение и огорчались, что не видят. Оба смешливые, насмешливые, но не терпящие насмешек над собой. Оба вспыльчивые, разве что Стучка-отец отходчивей. Они не рассказывали друг другу о родителях. Не жаловались. Но знали, чувствовали это удивительное сходство. (Отцы их, заметно обеднев, умрут в одном и том же году: 1891. Странную общность судьбы их сыновья словно бы предошущали). Не заикались они и об унижениях и обидах, претерпленных в родительском доме. Благополучном, роскошном по латышским меркам доме. Оба знали, что не повторяют отцов. Не захотят повторить. Ни в чем. Какая-то тугая, до звона натянутая пружина не подпускала к повторению, разрешала только отталкивание. При всем том они уважали своих отцов. И побаивались. Знали их силу. Может, и завидовали ей? Стучка в этой зависти признался, Янис — нет.

Были признания поважней. О женщинах: Петерис уже знал то, о чем Янис только догадывался и фантазировал. Урок был Стучке преподан особой намного старше его. Подробностей не сообщалось... Но больше всего они говорили о безвыходности. О несчастье своего рождения. О бедности своего народа. Открыться наконец-то другому человеку, сказать, какие неимоверные силы ощущаешь в себе, как много мог бы сделать, если б с этой душой и мозгом, с этим честолюбием родиться во Франции, Германии, Англии. Не в одиночку, а вместе с другом убеждаться снова и снова, что нет тебе применения, выхода уму и таланту нет и не будет. Разделенная мука становится не меньше, но как бы оправданной, горя не два, а одно, общее, и общность эта не избавляет от горя, но греет. Ты убеждаешься: так остро ненавидя возможную для тебя жизнь и желая другой, невозможной, ты не урод, не ты урод, нет, — уродлива эта жизнь, старая накрашенная шлюха, распахнувшая вам равнодушные свои объятия.

О чем еще говорили? Из письма Яниса сестре Доре.

«Было так. Сидим мы себе спокойно в своей комнатке, дело к вечеру, браним понемногу старых студентов, медведей, сидящих у себя в берлогах и звать нас не желающих, поругиваем хозяйку, профессоров, рассуждаем, как бы нам подзаработать деньжат, задаемся вопросом, как вообще латышу легче деньгу зашибить, переходим к высоким материям, выясняем, какие глаза у господ Бога, голубые или карие, как звали первого латыша и т.п., — как вдруг хозяйка приносит нам письмо от Кажокса, а тот пишет: приходите к цензору Ремикису, у него

именины. Там, мол, будут другие студенты-латыши, познакомитесь. Так оно и вышло, и теперь у нас знакомых — хоть пруд пруди. Решай только, кого выбрать, где провести вечер. И девиц знакомых — навалом. Мы уже кое-кого из «медведей» приводили домой, кормили и даже поили...»

О девицах же специально сообщалось еще раньше маменьке: чаще всего их встречаешь в библиотеке, но сразу и не скажешь, что это барышни: кос они не признают, слишком много времени уходит косу заплетать; рубахи на них ситцевые с кушаком, какие и парни-студенты носят, волосы, значит, стриженные. Студенты же многие, наоборот, отпускают длинные волосы, так экономней: не надо покупать дорогой меховой воротник, можно обойтись пальтишком и шарфом. В общем же студентки Янису понравились: спокойные, деловые, со студентами обходятся свободно, как равные, без всяких этих бабских ужимок. Изучают по большей части медицину. Слышно, правда, что некоторые участвовали «в так называемых преступных студенческих беспорядках», но что ж они, не молодые, что ли?! «Ни одной еще не встречал из тех, кого называют «синим чулком» — шибко умных, переучившихся. По правде говоря, эти синие чулки, наверно, недоучки, похватавшие там и сям крохи знаний. Из студенток же получают доктора, притом получше, чем из нашего брата: девушки в основном из бедноты и стараются изо всех сил. Нахальства, а тем более бесстыдства я за ними не замечал».

Что ж они, не молодые, что ли? Не в первый раз Янис в письмах к родным проговаривался, упоминая о московских и киевских студенческих волнениях, намекал на происходящее поближе. Одиночество вдвоем ему и Стучке более не грозило. «Теперь все время, когда мы не в университете, мотаемся по гостям; навещаем иной раз 7, 8 знакомых и засиживаемся с ними за полночь. Кажется, здешний народ привык так жить. Хотелось бы описать во всех подробностях, как они встречаются, что делают, как выглядят, как и на каком языке говорят, много чего можно бы порассказать, да лень; ужю приеду на каникулы и выложу все».

Не все можно было писать, не все и рассказывать. Их довольно быстро относил некоей центростремительной силой к тому горячему, кипящему кругу, где круто заваривались завтрашние события. Не прошло и трех месяцев, а они уже знали многих единомышленников Андрея Дирикиса, не менее таинственных, но куда более решительных. Латышам почти не скрываясь давали понять, что и для них найдется место там, в круге. Еще бы: они ведь были прямо из народа, из крестьян и притом инородцев!

Янис и Петерис медлили. Хотелось сначала оглядеться как следует, потолкаться, послушать.

Потолкались, послушали. Не все удавалось понять: когда человек двадцать говорят, кричат почти одновременно, когда спор с бешеной жестикуляцией становится нормой, а нежданная пауза всех изумляет и почему-то смешит, где ж тут успеть все расслышать, во все вникнуть. Тайными сборищами заговорщиков это не было. То есть чувствовалось, что где-то недалеко происходят и такие, и стоит им мигнуть... Нет, мигать пока что не стоило. И однако любая вечеринка, с самоваром или с водкой и дешевой закуской, а иногда и с тем и с другим, дышала радикализмом: не быть радикалом значило исключить себя из общества, прослыть до крайности подозрительным чудачком.

Комната, набитая молодыми людьми, гудела.

— Шпионы? — удивлялся человек в малороссийской вышитой сорочке, в шароварах и смазных сапогах. — Помилуйте, где же их нет? Вы думаете, среди нас, вот здесь, сейчас нет правительственных шпионов? Кого я подозреваю? Не смешите меня, батюшка. Не себя и не вас, а то зачем бы я с вами об этом заговаривал. Это, может быть, одна из самых непростительных низостей со стороны власти — нашпиговать общество доносчиками, они нас заставляют не верить друг другу, развращают и губят несчастных слизняков, поддавшихся страху или продавшихся за гроши...

В первое время Янис принимал молодых людей в холщовых штанах и длиннополых рубахах с кушаком, в сапогах, воняющих дегтем, за прислугу. Но увидев, как встречаются они с прекрасно одетыми ровесниками, как хлопают их по плечу, быстро понял свою ошибку. Зато лакеи попадались в таких роскошных, золотом шитых одеждах — хоть стой, хоть падай.

— Росточку наполеоновского, — захлебывался, торопился кто-то за спиной Яниса, — и амбиций соответственных, но даровит, но с искрой божией! Рассказики пишет замечательные и печатает, мысли из него, парадоксы, наблюдения так и сыплются, так и сыплются!

— Не нравится он вам, что ли? — девичий, слегка тягучий голос.

— Как он может не нравиться? Кстати, он сам себя любит до беспамятства, — видимо, есть же за что? Даровит, говорю я вам, и пронизательность редкая. А ирония — боже мой, сколько у него иронии! Для саркастических пассажей у него и словечки специальные припасены: «оный», «ибо», «сия».

— И что же? Не тяните, Рожнов!

— Да почти ничего-с. Единственное, что в каждом рассказике или там статеечке, оригинальной, по обыкновению, проскальзывает нотка: вам-то, мол, сказанного не понять. То есть крохи какие-нибудь, может, вы и ухватите, но вообще-то — не вашего ума дело. А говорю я, — говорит он или скорей намекает, — с избранными, с такими, как я, необычайно даровитыми. Вы вот меня читаете, а я через ваши головы беседую не с вами, а с таким-то, таким и таким. А боле мне в Европе и поговорить не с кем.

— Сноб он, что ли?

— Сразу и сноб. Какой же он сноб, ежели умен? Однако ему не верится... трудное детство, знаете ли... ему доказывать необходимо, что он из сливок общества, самых-самых. Что он — элита. То есть ни одного рассказика или там статеечки, удивительно умной и передовой и талантливой, где бы он не намекнул: нет, не с вами я беседую, господа хорошие, — с ними, с нашими, до которых вам — ого-го-го!

— Да как же не сноб?

— Дашенька, милая, сноб — не элита, сноб к элите примазывается, притворяясь, что понимает то, в чем ни бэ ни мэ. Нашему же герою мне всегда хотелось прошептать конфиденциально эдак, на ухо: «Да успокойтесь вы, милый, утешьтесь! Элита вы, самая что ни на есть элита, не извольте сумлеваться!»

— Ах вы змей, что, яд-то выпустили?

А вот голос Петруши. С кем это он откровенничает? Кто нашего молчаливника разговорить сумел? Это, кажется, русский из Риги, ну да, знаменитого Чешихина сын, Василий. Их в университете два брата, погодки. Люди, похоже, приличные и неглупые, хотя и славянофилы.

— Отец, тот действительно верующий, — говорил Стучка своему визави. — Поверите ли, каждое воскресенье, не говоря уж о праздниках, он садится за фисгармонию, домашние выстраиваются вокруг, и начинаются духовные песнопения, причем за спиной у батюшки фальшивят безбожно, знаете, как это у Гейне: «Sie sangen mit wahren Gefühle, doch falscher Stimme».

— С истинным, значит, чувством пели, но фальшиво, — с живостью перевел собеседник.

— Вот-вот. А я каждый раз клевал носом и в конце концов засыпал. Просыпался же от подзатыльника, весьма увесистого, потом оказывался в углу, без сладкого. Так что с годами я стал видеть во Всевышнем своего личного, злейшего врага. И со временем это ощущение только укрепилось.

— Вы бы поосторожнее, Стучка, — сказал кто-то. — Знаете, кто Господу Богу персональный враг?

— Намеряете на нечистого? Хм. Интересная мысль. Если продолжить в том же ключе, вспомним, что дьявол — это архангел, восставший против своего господина. Он был побежден и низвергнут в бездну, а если бы не был побежден? Кому бы мы тогда пели псалмы?

— Вы хорошо говорите по-русски, — заметил Чехихин, меняя тему.

— Не очень хорошо. Хочу говорить лучше, потому-то я сегодня так болтлив. Вообще же меня не назовешь разговорчивым.

К Янису подошел студент Лаздыньш — извиниться, что до сих пор не отдал 25 рублей, занятых еще в сентябре. Рассеянно отвечая ему, Плиекшан с некоторой ревностью слушал: что еще скажет Петерис русскому? Но громче теперь говорили справа.

— В этой Эльвире есть, знаете ли, некий шарм.

— Она такая же Эльвира, как я персидский шах, — отвечал густой бас. — Фекла, небось. И какой «шарм» может быть у проститутки?

— Своеобразный, — откликнулись рядом. — Меня лично подкупает, когда человек — мастер своего дела.

— Человек?! — прогудели опять басом.

— Стыдитесь! Какое право вы имеете отказывать ей в звании человека? Она вынуждена продавать себя, у нее нет ничего другого. А ведь иные сытые, достаточные господа идут в филеры, глазом не моргнув.

— Приплетите сюда еще и *проституток пера*. По-моему, чистое словоблудие. Рукоблудие — и то лучше.

— Да? Что ж, вам видней.

— А он мне и говорит, — оторвавшись от чужого спора, услышал, наконец, Лаздыньша Янис: — Зачем вы, латыши, так хлопчете о своем племени? Вам это совершенно невыгодно. Как народ вы никогда не сравняетесь с германцами, русскими. Не говоря уж о китайцах. Вас будет всегда в сто, пятьсот, в тысячу раз меньше! Зато на уровне личности — латыш в полтора раза выше ростом китайца. Отдельно взятый латыш — отдельно взятого китайца. Тут вы можете соревноваться по всем статьям. И по части ума, таланта, смелости — состязайтесь, пожалуйста, сколько угодно! — Как вам нравится этот пассаж? — добавил Лаздыньш уже от себя.

— А что? Резонно, — заметил вынырнувший откуда-то из-за плеча Стучка.

— Однако ж три отдельно взятых латыша — побольше одного, отдельно взятого, — сказал Янис. — Смотрите, как нас много!

— Это не нас много. Это их все меньше, — возразил Лаздыньш. — По-моему, часть уехала к девкам.

— Как... к девкам? — спросил Янис и тут же густо покраснел: вопрос был неудачен.

— М-м... Видите ли, наш брат студент относится к известным телесным потребностям прагматически. Зачем томиться желаниями, неизбежными в нашем возрасте, зачем тратить на этого рода переживания драгоценное время да и силы, которые понадобятся, может быть, для борьбы? Это я передаю ход их рассуждений. Выбирают заведение почище и подешевле, хотя эти две вещи редко сочетаются. Как гений и злодейство, ха-ха! И едут гуртом.

— ...Профессор Вреден не полезен и не вреден, — раздавалось неподалеку.

— Как хотите, а пропаганда Бутлеровым спиритизма — чистое мракобесие...

— От всех университетских свобод осталось платье штатское. Ненадолго! Помяните мое слово — к следующему сентябрю заставят шить форму.

— Типун вам на язык!

Второй час ночи. Пора убираться.

— Петруша, ты идешь?

— Сейчас, сейчас.

— Ну, смотри. У меня глаза слипаются.

В каждом городе свое время. В Земгальской Гриве было свое, в Риге свое, в Питере — никак не рижское, оно и пахнет по-иному, и повадки здешних часов и минут, манера застывать почти недвижно (как на железной дороге) или нестись вскачь, все непривычно и как-то не дает привыкнуть к себе. (Железная дорога тоже не зря вспомнилась: в вагоне ты выпадал из времени вообще, упал в какую-то прореху, как монета за подкладку пиджака).

Время — категория сословная, думал рассеянно Янис. Время крестьянина и время государственного сановника — два как бы разных предмета и сшитых из разной материи. А есть еще время латышей, непохожее, например, на время немцев и на безалаберное, щедро расточаемое время знакомых ему русских. (Русские: душа нараспашку, совсем открытые и уязвимые. Их длинные песни, в которых тоска запредельная оборачивается вдруг странным наслаждением, но и с тобой так бывало: боль и слезы несли в себе почти счастье, и объяснения этому не находилось).

Его личное время в Петербурге потеряло всякую цельность, двигалось рывками, то переходя в галоп, а то застывая как вкопанное. Принадлежала ему только ночь да еще часы, проводимые за книгой или в музее.

Опять же иные книги изымали тебя из реального времени, переносили в другое, свое, ты проживал там, внутри, целые годы, иногда века, выныривал очумело — и оказывался на расстоянии каких-то четырех часов от утреннего пробуждения, жидкого хозяйского чаю с бутербродом, смешной реплики Петериса. Есть такой мотив в сказках многих народов: попадаешь к волшебнику, проводишь у него день-два, возвращаешься в обычный мир, а твои ровесники успели состариться. С временем, проведенным в шелестящей тишине Императорской публичной библиотеки, могло быть так же или наоборот, но несовпадение этого внутреннего времени с наружным было очевидно.

Он прожил в Санкт-Петербурге восемь семестров, разделенных семью каникулами. Поначалу прилежно посещал лекции и своих, и чужих профессоров, — в аудитории, где читали свой предмет Менделеев, Коркунов или Бехтерев, набивался народ со всех факультетов и курсов; на лекциях профессора Вредена студентов было раз, два и обчелся, и те зевали и пересмеивались. В первый год Янис старательно объяснял себе и родным, чем он занят. «Нужно знать, где родилось право, что оно такое, к чему идет, куда и откуда, где его начала и концы. И все это — не шутки ради и не от скуки, а чтобы уяснить, в чем суть законов, и потом в каждом отдельном случае вынести правильный приговор, если даже в законах про этот случай ничего нету; нужно также сообразить, не ошибается ли сам закон, и если да, то принять новый закон, более правильный. И так далее, — много нового и удивительного, чего и не ждал. Видно, чем дальше, тем умней придется становиться — чему только не учат юристов, ни сам Бог, ни сам черт не разберет. Законы древних римлян и древних русских, народное хозяйство (вот будет о чем потолковать с папенькой на Рождество, ему понравится!), и философия, и статистика, и полицейское и финансовое право и т.д. и т.п. А когда ты все это воспримешь мозгами и желудком переваришь, выбирай по желанию — быть *апликатом* или *прапессором*, чиновником, политиком или дипломатом».

Писал он, стараясь, чтобы даже маме было понятно. Мама несильна была в отвлеченных материях. Ей нужно, чтобы предмет разговора был осязаем, чтоб его можно было пощупать. Она знала сотни народных песен, но и песни были такие, что в них можно пощупать все или почти все.

Старательным (все менее старательным) студентом он был первые три семестра. Встречи, по-русски бесконечные жаркие споры, книги, картины Маковского, Крамского, Репина, Эрмитаж, немецкий театр, все более частые пирушки, где дешевой выпивки всегда было больше, чем дешевой еды, — все это уводило его от университетских занятий; он опять казнил себя за безделье. Но все было делом: латгальские и литовские книги в библиотеке, английский язык и санскрит, индийская философия и перевод «Бориса Годунова», высокомерные шлюхи, перед которыми так страшно показаться смешным, — оттого и высокомерные, что ты новичок и тебе стыдно и страшно.

В первое студенческое лето в Ясмуйже, в июле 1885 года он однажды вернулся к давно заброшенному дневнику. «Я впадаю в отчаяние от скуки и бездеятельности, и тем не менее никак не начну что-то делать. Долго надеялся, что найдется друг, который вытащит меня из всего этого, даст цель, вдохнет энергию, сделает меня счастливым. Бернхард думает, что я из тех, кого зовут потерянными. Стучка — а с ним я заключил дружбу навеки — сам слишком слаб, я с ним все-таки не могу до конца объясниться, он для этого недостаточно серьезен. Сестра? Я обещал себе, что она станет моим другом, — тоже чепуха: старая дева, временами романтическая, заносчивая, много обещающая, а в конечном счете тоже недостаточно серьезная. Лео Дарашкевич — добрый, честный, но малообразованный — не поймет. Однажды ночью пришла в голову идея (нимало меня не поразившая, что, между прочим, удивительно): я могу спянуть, с ума сойти от меланхолии. Может, это и было бы наилучшим разрешением загадки?»

Навеки. Навеки он заключил дружбу с Петерисом Стучкой, *недостаточно серьезным и слабым*. О, сколь серьезным станет — и достаточно скоро — его друг! Сколь сильным — по-своему — и негибачаемым! И вечность, так неосторожно помянутая, тут как тут. Слово не воробей; словно бы некая сила поймала тебя и припечатала и повторила тебе, как под гипнозом: *навеки*.

Стучка имно этим летом впервые побывал в Ясмуйже. Янис хотел привезти его домой на Рождество — не получилось; теперь же он согласился по пути к себе в Кокнесе сделать остановку и познакомиться наконец с домашними Яниса, которые слышали о нем уже четыре года.

Из воспоминаний Доры, сестры Райниса.

«По приглашению брата он провел несколько дней в доме моих родителей. Своей сердечной, правдивой, жизнерадостной и простой натурой, справедливым и прямым характером, присущим ему неиссякаемым юмором он завоевал все сердца и симпатии. Отец, мать, старшая сестра были от него в восторге. Он обладал той притягательной, завораживающей силой, которую русские называют словом «обаяние». Я познакомилась с ним годом позже, в 1886-м, и мне не оставалось ничего другого как не мешать установившемуся в отношении Стучки исключительному дружелюбию и — присоединиться к голосам, певшим ему славу».

...Раньше-то он возлагал надежды не только на дружбу — и на любовь, на страсть. «Неотступные сомнения, отчаяние вызывали во мне и отечество, и добродетели, и свобода, и весь мир, и я сам. Что-то я делал — но не продвигался ни на шаг, сил не было. Разум мой охватывал происходящее, но сердце в том не участвовало. И я тосковал по любви, верил, что и у меня появится некая богиня, даст мне цель и силы, веру, все то новое, что заполнит наконец старую пустоту».

«Любви мне нужно много». — через десятилетие напишет он женщине, согласной его выслушать. Любви ему нужно было много и дружбы много. Требовательная отцовская, хлопотливая материнская любовь, детское обожание Доры, жертвенная привязанность Лизе, верность доброго Лелюка, а теперь и навеки ему обещанная дружба Стучки поглощались, впитывались жадно и исчезали в нем бесследно; душа требовала большего, ждала еще и еще; может быть, любовь Творца неба и земли утолила бы эту ненасытную жажду, но он ведь решил не верить в Творца.

Мы знаем о нем много и мало. Вот он пишет, прочитав Анну Каренину: «Счастливые семьи счастливы одинаково, несчастные несчастны по-своему. Нужно жить нуждами дня, уметь забываться, тогда самые запутанные вопросы решатся сами собою. Приходит день и распутывает узел, который ты сам ленишься развязать или не в состоянии. Так, тот вопрос, который я задавал сам себе на Рождество, в 85 году ни на шаг не продвинулся. Тогда я думал, что не разрешив его, не смогу жить дальше, сделаюсь совершенной тряпкой — а теперь вот ничего, живу себе и снова верю, что никакой тряпкой не буду. Толпа именно такой

жизнью, день за днем, и живет. Тысячи живут как живется, не руководя своими поступками, не поверяя их разумом. Это не жизнь личностей, а — общая жизнь, направляемая общим для них временем и случаем. Человек одного дня не размышляет, что ему делать в том или ином случае, чтобы получить какой-то результат, как вообще направить свою жизнь, чтобы достичь того-то и того-то и придти к счастью». В другом месте Янис пишет о тех же людях: «Они живут инстинктивной или же природной жизнью, не стараются обогнать время и не отстают от него; они сами и есть время».

Что там было в рождественские дни в Ясмуйже? Какой вопрос стоял перед юношей так грозно, что от него зависело, как жить дальше и жить ли, если сделаешься окончательно тряпкой (он употреблял русское слово, но написанное латинскими буквами, от чего оно становилось убийственно выразительным: *trjapka*). Что это было? Почти никаких указаний. Через годы будет упомянут «второй кризис» в Ясмуйже.

Между тем, в Петербурге и прямо вокруг них воздух сжимался до плотности, почти не позволявшей дышать. Что-то готовилось. Казалось, натягивается и натягивается протянутая через весь город и дальше куда-то, в беспросветные пространства, невидимая и без того тугая струна. Сколько ж можно накручивать ее на колок и какой материал способен выдержать эту дикую силу натяженья; ведь сорвется сейчас струна, лопнет и сметет полцарства.

1 марта 1887 года, когда произошло покушение (неудавшееся) на императора Александра Третьего, почти облегчение испытали те, кто вольно или невольно находился вблизи заговорщиков, в ареале их горячечного, предсмертного дыхания. Точно ли упорство петербургского студента Александра Ульянова со товарищи, точно ли их собственная воля вела их с роковой неумолимостью к этому дню? Ведь до первого убийства, до марта 1881 года, может, кто-то и верил, что таким путем можно изменить Россию к лучшему. Но последующий гнет и духота, страх, шедший сверху вниз и снизу вверх и отравивший самый воздух столицы... Разве недостаточно было всех утеснений, строгостей, всех погромов, правительственных и народных, чтобы убедиться: свободы не прибавилось, счастья не прибыло. Но с неотвратимостью, как сказали бы лет через сто, запрограммированных роботов, с маниакальным упорством кем-то заведенных на определенный день и час *зомби* шли

народовольцы к очередному убийству, убийству если не царя, то самих себя, убиению немногих робких надежд и возможностей.

Мальчики русских революций! Неподкупные и слепые, рабы жестокой мечты, кристально чистые и отравленные своей непоправимой правотой! Да, да, да, вы жертвовали собой, но с неменьшей готовностью жертвовали и другими. Сотню лет проходили вы в национальных героях России, провисели табличками в названиях улиц, по которым продолжатели ваши, железные люди чека вдесятером ехали арестовывать близорукого профессора в домашних тапочках. Беспощадные, материнское сладкое молоко на губах не обсохло, восторженные, вполне добровольные палачи, и горе-то в том, что палачество ваше вы искренне — о, как искренне почитали за доблесть, что в ненависти объяснялись так же пылко, так беззаветно, как пристало бы, замирая от собственной смелости, объясняться в любви. Мир вам. Молодые навеки безбожники, перестаньте торчать бронзовыми истуканами в музеях, перестаньте занозой сидеть в общей памяти, в названьях площадей, уходите из бедного своего, натянутого, скучного атеистического бессмертия, умрите совсем. Мы не станем напоминать вам о хватаемых по всему миру заложниках, о детях с оторванными руками и ногами, об искалеченных женщинах, изнасилованных во славу очередной идеи, непременно святой и справедливой. Это наши проблемы. Идите, вы свободны, мальчики. *Наконец-то свободны.*

Петербург, 26 марта 1887 года. Дорогие мои родичи, ну, слава Богу, опять встретились, «все тревоги уже позади», еще раз здравствуйте, можно по-старому поговорить, порассказать то-сё. Суматоха в университете уже улеглась, об этих делах больше никто ни слова. Из наших студентов многие были замешаны, и говорят, что схватили человек 200 или 300. В первые дни чего только не наслышались в университете, были даже их прокламации, но это быстро кончилось, опять же столько было за нами наблюдателей. Только когда ректор свою похоронную речь произносил, в зале свистели, кричали, что не согласны с такой проповедью — однако под конец большинство аплодировали, ректора еще и на руках вынесли из зала. Теперь слышно, что во всем виновата заграница, а наши бедняги — всего лишь обманутые ребяташки... Но черт с ним со всем! К сведению милого малыша: Пушкин все-таки будет, цена его 1 руб. 50 коп. Данилевского можно читать, он один из многопишущих, строчит исторические романы, о которых нельзя сказать, чтобы они не были скучными. Впрочем, он все-таки *дрянь*, — если тебе совсем нечего читать, читай и его. Или лучше прочти Тургенева «Отцы и дети», роман

лучше, чем «Новь», там более сильные и крупные характеры и сама вещь удачней. Всего лучше читай Толстого, Гончарова, Пушкина и Гоголя.

Он пишет о делах, связанных с покушением 1 марта, как о чем-то, не имеющем к нему касательства. Но касательство имелось. Так считала, по крайней мере, полиция.

Из донесения в Департамент полиции о Крониде Малиновском, «личность которого в политическом отношении сомнительна». «Знакомства его составляют студенты Санкт-Петербургского университета: Петр Тимофеев Зорин, Александр Ильин Ульянов, Семен Васильев Листов, Леонид Иванов Сарычев, Петр Иванов Стучка, Иван Христовых Плекшан и Иван Георгиев Виддин».

Братья Видыньши (Видин, Виддинг, — как их только не писали) — тезки Плиекшана и Стучки. Они встречаются часто, два Яниса, два Петериса. Янис то и дело оказывается между двумя Петерами, Петерис — между двумя Янисами. Это, говорят, к удаче. Врут, конечно. Потому как в марте из университета исключены: Кронид Малиновский, Иван Виддин. В природе имеется еще и список 179 студентов, «в наблюдении за коими для установления степени их политической благонадежности заинтересован Департамент полиции». Под номером 106 мы видим в этом списке Плекшана, под номером 142 — Стучку... Дора узнала случайно, что письмо, которое Янис послал их общему знакомому, молодому офицеру в Двинске, кем-то вскрывалось. Встретивший Янис просит сообщить срочно, если она еще что-то заметит.

Как все тогдашние студенты, Плекшан и Стучка дали письменное обязательство не участвовать в тайных кружках и обществах. Похоже, и не участвуют. Действуют в легальном студенческом латышском кружке, где Янис делает сообщение о Донелайтисе и читает переводы из его поэмы (икнулось ли тогда, в тот самый миг Андрею Дирикису? С Донелайтисом познакомил Яниса именно он. Через год, в 1888 Андрей Дирикис на Кавказе умрет от чахотки). Стучка и Плиекшан приняты также в Латышское благотворительное общество. Но и это не запрещено. И однако друзья кожей ощущают ощупывающие их склизкие, прилипчивые взгляды: с них глаз не спускают, и нельзя знать, кто и куда передаст сведения о последнем произнесенном тобой слове, о вот этом движении руки, поднятой к виску, а затем опущенной. Сложить пальцы в фигу и показать в пустоту?

Старших студентов хотят поскорее сбить с рук; по-видимому, их выпускают на полгода раньше положенного. «Бог даст, пусть так и будет, — пишет родным Янис. — Не больно-то охота здесь оставаться, все здесь больше и больше поворачивается в сторону солдатчины, господа день ото дня грубее: на экзаменах нужно будет вставать, отвечая профессору!»

Вот ведь грубость какая. Вот произвол. Требуют, чтобы студент вставал, отвечая экзаменатору! Гм, иной раз думаешь. Зная и иные, позднейшие формы произвола. Гм-гм...

Александра Ульянова, студента, двадцати одного года от роду, казнили через повешение в Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 года.

Янис был рядом, недалеко. Он ставил себя на место Ульянова: это ему с нарочитой, обязательной в этих случаях жестокостью рвал воротник рубахи палач, это ему надевалась петля, это его позвонки сламывались с хрустом под тяжестью оборвавшегося в пропасть тела. «Пропасть... вершков десять — до пола...» Благословенное и проклятое свойство — живость воображения. Некоторые вещи представлялись столь ярко, что затмевали реальность, окружавшие события и предметы блекли, уходили в тень, он видел незримое, а видимое видеть переставал... А каково сейчас родителям Александра, если те живы? Или, если они есть, сестрам, братьям?

В самом деле, каково им было? Каково было Владимиру Ульянову (только что исполнилось 17)? Каково его матери (отец умер в 1886 году)? Старшей сестре Анне (23 года)? Брату Дмитрию (12 лет)? Девятилетней Маше?

В те дни и недели соседи сторонились Ульяновых как зачумленных. «Перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть в шахматы по вечерам, — со слов мужа рассказывала Н.К.Крупская. — Тогда еще не было железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира послали искать попутчика — никто не захотел ехать с матерью арестованного». Ну, теперь сын не «сидел» в Питере.

Нас интересует Владимир. Позднейшие события начисто заслонили от целого мира этого симбирского мальчугана. Боялся он? Ненавидел? Клялся отомстить? Опасался, что его выставят из гимназии накануне окончания? Утешал мать? Ел? Отказывался есть? Спал? Не мог спать? А что если в эти самые майские дни и ночи 1887 года решалась судьба

десятков миллионов людей, живших в тот час или которым еще предстояло родиться; что если мера «революционной решительности» и беспощадности, которая через три десятилетия будет свойственна Ульянову-Ленину, определилась, определяется в гимназисте Володе Ульянове здесь и сейчас?

С того дня, как Андрей Дирикис дал гимназистам Дарашкевичу и Пликшану читать «Народную волю», Янис знал, на чьей он стороне. Пликшан и Стучка были недалеко от участия в заговоре. Им недвусмысленно и много раз давали понять, что стоит им только захотеть... Нельзя сказать, чтобы они никак не откликнулись на этот немой, но явственный призыв. Они думали, даже рассуждали об этом в ночные часы, топтались в двух шагах от рокового порога, и если не переступили его, то ведь могли, — кто-кто, а сами они это знали. Петерис боялся не царя и не царской охраны, — боялся отца, боялся за него, а еще больше — за мать, уже потерявшую любимую дочь: случись теперь что с ним — она не выдержит. Янис боялся... он не мог придумать, чего бы он мог бояться. Физического страха он как-то не помнил в себе. Наверное, он был бы хорошим кулачным бойцом: не эта боль страшила его, а муки душевные. Душа мучилась, корчилась сейчас, будто это на нее накинута петля (точно у души есть тонкая мальчишеская шея, такая, как у Александра Ильина Ульянова, студента двадцати лет, знакомого близких знакомых). Нет, Янис не был бы готов умереть сейчас в этом огромном и все-таки не своем, чужом городе. Он с пятнадцати лет много, много раз думал о смерти, примерял на себя мысленно ее варианты, не раз желал умереть и, кажется, не страшился небытия. То, что сопротивлялось в нем этим мыслям и прямому соблазну самовольной гибели, была невозможность уйти, ничего не сделав. Некая сила была в нем и рвалась наружу. Он не знал, как дать ей выход, не понимал даже природу этой силы: что она такое, для чего назначена, как ею распорядиться? Наверное, человек имеет право убить себя, но дитя свое убивать не смеет. Жившая внутри него сила была и частью его, и отдельным, уже живым явлением, он не мог дать ей погибнуть, не сделавшись убийцей. Непонятным и таинственным образом эта сила была связана с его языком и племенем. В Петербурге все говорили о латышах: племя. Вот еще причина не примкнуть к заговорщикам: они не скрывали, что проблемы инородцев как таковые их не волнуют. Все это казалось такими пустяками перед грандиозностью их замыслов. Что там маленькие беды чухонцев и латышей, что там незадачи провинций: всю Россию, а затем и полмира они перевернут; не приставайте же к ним с мелочами! Не то

чтобы это произносилось вслух, но ощущалось с ясностью; для Яниса же такая «частность» как латыши занимала пол-небосклона. Судьба родного «племени» волновала сладко, запретно. Так простое упоминание о любовной страсти кидает в жар и в холод пятнадцатилетнего мальчика. Да: и любовь. Любви он еще не изведal, и последней трусостью было бы уходить навсегда, так и не притронувшись к тайне тайн, за семью печатями, за пеленами стыда и бесстыдства ждущей тебя. Тебя, никого другого: другому будет другая тайна, а твоя умрет без тебя, окончится не начавшись. То, что он узнал о любви в Питере, было по большей части оскорбительно и для него, и для любви; никто бы его не заставил поверить, что оно, это самое и есть предмет его отроческих фантазий, мечтаний, причина той музыки, что звучала иногда в нем громче тысячи труб и звенела на невысказанной высоте, словно жаворонок, прибывший напрямиком из рая.

— Джон, ты спишь?

— Угу.

— Не спишь, — постановил безжалостно Янис. — Как думаешь, шнапс еще остался? Хоть на донышке?

— Посмотри на комод.

— Пусто. Все вылакали, негодяи, как сказал бы Видынш. Попросить у хозяйки?

— В четыре утра? Ты что? Она завтра же скажет съезжать.

— Подумаешь! Впервой, что ли?

— То-то и оно, что не впервой.

Сколько комнат, углов успели они сменить в Петербурге? Янис уже сбился со счета. Родные — и его, и Стучки — тоже. Письма не раз пропадали: Дора и Лизе писали на Съезженскую улицу, а студентов и след простыл. «Со Съезженской съехали!» — объясняли почтальону не без юмора, разводя руками. Вначале комнаты меняли, ибо недовольны были хозяевами. Теперь чаще — потому что хозяйева были недовольны ими. Два долговязых инородца шумели, к ним ходило слишком много гостей или же сами они отправлялись в гости и возвращались под утро, будя весь дом. Кому нужны такие постояльцы? Одно, что платят исправно, но не такие это деньги, чтоб и дальше терпеть.

Упоминания о пиве, всегда шуточные, мелькают еще в письмах гимназиста Пликшана из Риги. Пиво, безобидное пиво встречаем и в первых

эпистолах из Петербурга. Но уже в октябре 1884-го прозвучало и новое слово, *шнапс*: «Мы ходим за покупками с Петерисом попеременно, он обычно хлеб покупает, я хожу за сахаром, шнапсом и особенно свечками, — лавочник мне их отпускает почему-то дешевле». Даже младшей сестре о крепком напитке сообщается — между делом и в тонах юмористических. Самому же Янису, кажется, уже не до юмора. Пить он, в отличие от Петериса, не умеет: не знает черты, за которой перестает быть самим собой. Не может даже знать, что скажет, там, за чертой, какой фокус выкинет, — и мучится потом. Стучка пьет не отставая, но он гораздо крепче, нервы у него на месте, он всегда знает и помнит, что можно сказать, а чего нельзя. Единственное, что он не контролирует до конца, — желудок, но может, виновата скверная кормежка? Столоваться они ходят уже к четвертой по счету хозяйке.

Янис борется как может с непредвиденной опасностью, но задолго до марта 1887 года, до шлиссельбургской виселицы, — после вскрытых писем, после чьих-то прилипчивых взглядов, которые и домой придя не отлепить от кожи, не отодрать, — он, кажется, сдался.

Приват-доцент с замечательной фамилией Вольтер, годами десятью старше Райниса, бородатый, лобастый, смотрит на юношу соблезнующе. Они друзья, насколько это возможно при такой разнице в возрасте. Познакомились в библиотеке Академии наук, где Эдуард Вольтер и служит: его заинтересовало, кто это требует одно за другим десятки изданий на латгальском наречии. А это вот кто. Долговязый, бледный — может, от нездоровья, а может, и просто от петербургского воздуха и неправильного питания студент-латыш, тоже, между прочим, высоколобый, а в будущем, не исключено, — и бородатый. Юноша искал в латгальских книгах древние начала, корни и нетронутые сокровища своего языка. Земля Латгалии, тамошние озера и леса — самые нетронутые в крае, не пережеванные челюстями новейшей цивилизации, девственные «почти как леса Амазонки». И песни, и обычаи народа сохранились там в неприкосновенности — «благодаря отсталости», неосторожным парадоксом припечатывает литовец Вольтер. «Благодаря некоторой изоляции, — Латгалия административно, а частью и исторически отделена от Видземе и Курземе, вы же знаете, как это было». «Эффект заповедника, — поправляется Вольтер, — с достоинствами и изъянами последнего».

Беседы их становились все продолжительнее, темы ширились и разветвлялись. Вольтер занимался исследованиями языка и фольклора

литовцев и латышей, главным образом живущих в Литве и Витебской губернии, то есть как раз латгальцев, и встреча с Плиекшаном была для него истинным подарком. Янис напевал ему дайны, запомненные еще в детстве с голоса матери. «Записывайте! — волновался приват-доцент. — Торопитесь! И у нас, в Литве, фольклористы упустили время: новая жизнь не щадит прошлого, даже язык меняется под воздействием новых веяний, старые песни, сказки, обычаи уходят, каждый день что-то отрывает от них — так река обваливает и заглывает пласты песчаного берега. Вам, латышам, тем более следует торопиться».

Студент сказанное ловил с полуслова, — до крайности самоуверенный, до крайности неуверенный в себе, нервный, голубоглазый. Он был, кажется, намного талантливее, чем это успевало выразиться внешне: недюжинность личности ощущалась на каждом шагу, хотя еще не дала реальных плодов. Убеждала улыбка, иронический прищур, взгляд, — в голубых глазах собеседника временами являлся некий внутренний источник света, они буквально «горели вдохновеньем»; речь, богатая неожиданными сопоставлениями, поворотами, как бы противными логике и вдруг выводившими к месту, куда обычная логика добиралась бы еще ох как долго. Вдохновенный юноша, тип молодого Шиллера, может быть, Гёльдерлина. Неизвестно, что из него выйдет, но Вольтеру он был любопытен уже сейчас, а не в ожидании будущего. Латышам повезло, если этот юноша не единственный в своем роде. И однако в последнее время Янис Плиекшан тревожил молодого ученого.

— Простите, Иван Христофорович, — заговорил он однажды в смущении, почти в панике от того, что не мог не сказать. — Мне известно, какова атмосфера... Да что там: в одном городе живем, по одним коридорам ходим. Но ответ ваш и ваших ровесников, на мой взгляд, не адекватен. Быть может, я не имею права вмешиваться...

— Отчего ж. Говорите, — произнес собеседник вяло и не глядя в глаза.

— Не стану напоминать вам о ваших задатках: вы знаете, я их ценю. Но память наша, наш мозг — тончайший инструмент. Редко кто сознает, как хрупко равновесие... Ой, что-то я не то говорю: вам, небось, все наперед известно. Не пейте, Янис. Вам ли так бездарно убивать время? Пусть гусарят те, кто не ищет корни своего языка в литературе о санскрите. Господи, я так боялся всегда чужих наставлений, а сам...

Юноша по-прежнему молчал, даже не пытаясь помочь старшему. И тогда почти с отчаянием литовец закончил:

— Я не только о вас... Неужели вы, вы все позволите себя сломать? Неужели сивуха ведрами, неужели эпидемия гонореи станет вкладом вашего поколения в развитие культуры? Неужели это и есть ваш выбор — безобразия в ответ на безобразия теперешней жизни?

Наконец-то собеседник взглянул на него; голубые глаза потемнели почти до черноты.

— Неадекватный ответ, говорите вы, Эдуард Александрович? Простите меня, а вы действительно знаете другой ответ, адекватный?

— Знаю, — промолвил приват-доцент. — И вы к нему тоже придете. Но извините меня. Я действительно не имел права... и я весьма дорожу нашим сотрудничеством... нашими дружескими отношениями.

О, деликатная, до крайности деликатная тема! Как мы любим лежащих в пантеоне любого отечества. Как мы их залюбили, выхолощивая понемногу, поправляя и закругляя. И терзая поколения школьников нестерпимой правильностью писателей и героев, потерявшихся окончательно под густой штукатуркой белил и румян. Ничего. Школяры посмеются над нашим усердием: чисто выбритым гениям пририсуют усы, бородатым запустят рогатого, хвостатого чертика в бороду. Непочтительность — тоже талант, к тому же вновь приближающий к истине.

*Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струей, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус!*

Эти строчки Катутлла* знали наизусть и участники студенческого кружка, и молодые художники-латыши, да и все знакомые, говорившие по-латышски. Переводил Янис довольно много — с греческого и латыни, с английского, немецкого, русского, литовского. Мечтал со временем представить на родном языке чуть не всю мировую поэзию. Но именно строки насчет фалернского нашли самого благодарного слушателя и, бывало, целая компания, человек пятнадцать, взрывалась дружно:

Mums ir Bakhus mīlams Dievs! —
бога Бахуса мы любим!

Из дневника. «Так значит я тоже из этих... из гусаров? Все что угодно принадлежит к ним, только не то, что я храню в себе. Аристократом

* Приведенные здесь в вольном переводе А.С.Пушкина.

нужно быть — или, по меньшей мере, уметь жить в этом мире, а это означает — острый ум, оригинальность, гениальность. Но ни остроумия, ни тем более гениальности в жизни зеленого студента, он не Верн, не Роден, — какое там! Скотское пьянство; пропивший разум сам себя пачкает, разве тут радость? Нет же, — какой-то унылый дурацкий труд, разрушающий здоровье. Не юношеская бездумная удаля, а сознательная грубость и низость, в лучшем случае — идиотское подражательство».

Через десять лет. набросок к автобиографическому роману.

«Описание всей жизни. Три большие части, три действия? Жизнь, гибель и воскрешение, — или созревание новой жизни, жизни вдвоем. Эти 3 части можно расширить и до 5.

1. Жизнь неосознанная (также и прелюдия, рисующая среду, время, может быть и определенное место; характер народа, родителей и их идеи. Объясняет вообще — откуда, из какой основы все выросло).

2. Жизнь осознанная, здесь — проходящая через национальную идею. Религиозные вопросы. Литература — старая классика: Гомер, Гораций, Катулл, Тибулл, Алкиной, Сафо, Софокл, Аристофан, Лукиан. Новейшая литература, классики: «Фауст» Гете, «Каин» и «Манфред» Байрона, Тургенев, Достоевский, Толстой, «Евгений Онегин», стихи Лермонтова, Некрасов. Все свести воедино, использовать все нации. Мой проект переводов на латышский, избранное мировой поэзии. Дальше Марк Твен, Диккенс — наша библия; сатира как оружие... Постепенное оскудение, усталость, начало гибели.

3. Умирание. Отчаянье, безумства — с пьянством и девками, слабость и отвращение. Новый взрыв отчаяния, никакой работы, неспособность к труду. Погружение в себя, замкнутость. Самовозвеличивание на людях и самоуничтожение наедине с собой...»

И еще через несколько лет он возвращается к этим планам. «Мои чтения перед студентами... Сцены пьянства. Сексуальная любовь в первый раз — от скуки... Фантазии — во всем остальном герой неимоверно стыдлив. И тогда стыдлив, когда изведал все гадости. Все тот же птенец, мечтающий хоть о крохах любви».

Вспомним еще раз роман Аспазии «Осенний соловей». Главные герои — она сама (Арта), молодой Райнис под именем Ярмута Асминса, его сестра Дора (Теа), Яннис Янсон (Жан Ансонс), Петерис Стучка (Станка). Романист и мемуарист Аспазия пристрастный донельзя,

и знакомясь с характерами, выпрыгивающими из-под ее энергичного пера, разумно делать некоторую поправку на темперамент, на силу симпатий и антипатий, владевших ею. Но память у Аспазии, как уже говорилось, цепкая, и во многих случаях свидетельствам ее можно верить безоговорочно.

В романе Ярмут исповедуется молодой талантливой артистке, Арте. «Я учился на юриста, а параллельно занимался лингвистикой, и это занимало меня куда больше. Работал вместе с одним литовцем-профессором, рылся по петербургским библиотекам. Но бывали в моей тогдашней жизни и минуты отчаянья, когда я думал, что ничего не достигну. Тогда я и начал пить. Вместе с моими товарищами — Станкой, Сирмайсом, Видыншем* мы пьянствовали и скандалили; нас даже грозились исключить из университета. Вспоминаю, как однажды я опился чистым спиртом и уже потом мне рассказали, что я свалился беспамятно наземь и рот мой прямо-таки дымился...

— Значит, вы, Ярмут, хотите умножить собой список пьяниц, так много крови мне попортивших!

— Нет, нет. То был короткий период. Начались экзамены. Пришлось наверстывать упущенное в какие-то три недели. Работал часов пятнадцать в сутки и своего добился.

— Получили даже степень кандидата, я слышала.

— Это-то неважно, — отвечал Асминс. — Я хотел только сказать, что из вашего пьяного списка вам следует меня вычеркнуть: я с того времени в рот не брал ни капли. Другие желания зрели во мне, я не смел дать им волю. Может быть, они походили на ту музыку, что когда-то ни днем ни ночью не давала покоя Сократу — при всем том, что он не знал ни единой ноты.

Осталось сравнить эти разрозненные упоминания, эти строки романа с несколькими документами, сохранившимися в личном деле студента Ивана Видыня в архивах Санкт-Петербургского университета.

Г-ну Попечителю Санкт-Петербургского Учебного Округа

Пристав первого участка Васильевского острова препроводил ко мне копию протокола о произведенном 17 сего сентября в доме № 39 по Набережной реки Большой Невы и в Кадетском переулке буйстве, в пьяном виде, студентами Санкт-Петербургского Университета юридического факультета пятого семестра Иваном Плекшаном, Петром Видингом, Петром Стучка и историко-филологического факультета пятого семестра Иваном Видингом. Представляя о вышеизложенном

* Две последние — подлинные фамилии тогдашних товарищей Райниса.

на благоусмотрение Вашего Превосходительства, имею честь присовокупить, что Иван Плекшан, Петр Стучка и Иван Видинг получают Императорскую стипендию и проживают в Коллегии императора Александра II-го.

Инспектор студентов М.Ф. Цивильков

Копию протокола Цивильков представил также *Его превосходительству Ректору СПб Университета.*

В протоколе значилось:

«1886 года сентября 17 дня, в 9 часов вечера управляющий домом № 39 по Набережной реки Большой Невы, запасный рядовой 2-го военнотелеграфного полка Александр Михайлов Слободской доставил в управление участка студентов Императорского СПб Университета, которые назвались: 1-й — Иваном Христофоровым Плекшаном, 2-й — Иваном Видингом, 3-й — Петром Ивановым Стучка и 4-й — Петром Андреевым Видингом, и заявил, что будучи они в гостях у студента Петра Видинга напились пьяными и произвели шум в означенном доме. Когда Слободской стал их просить, чтобы они перестали шуметь, тогда они набросились на Слободского и нанесли ему несколько ударов по голове и, несмотря на неоднократное повторение, чтобы они оставили шуметь, они все продолжали, почему Слободской обратился к городовому. По приходу городского Добровольского и дворников дома № 39 Степана Лушина, Федора Афанасьева, Леонтия Ларина и дома № 41 по 9 линии Андрея Боняева они были отправлены в управление участка. Городовой Добровольский объяснил, что по требованию управляющим дома он тотчас прибыл в дом, где набросились на него студенты и оторвали бляху, а студент Иван Плекшан нанес ему два удара; дворник Боняев объяснил, что студент Иван Видинг разорвал у него жилет и рубаху, дворники же Гущин, Афанасьев и Ларин объяснили, что все эти студенты наносили им удары.

В дополнение сего протокола присовокупляется, что упомянутые студенты во дворе дома и в переулке неистово кричали: бери, лупи, ура и т.п. и набрасывались на дворников, городского и публику, нанося им побои. На крики студентов сбежались более трех сот человек. Свидетелем был дворянин Петр Арнольдович Идельсон, проживающий в доме № 4 кв. 15 по 9 линии. Плекшан и Иван Видинг неприлично вели себя в участке, Иван Видинг разбил стакан с намерением.

Околоточный надзиратель Принцев

Состоялась переписка: ректор писал попечителю (стоявшему над ним), попечитель — петербургскому градоначальнику, градоначальник,

генерал-лейтенант — попечителю и ректору и т.д. Дело, возбужденное по обвинению в учинении беспорядков на улице и нанесении оскорбления действием городовому и дворникам, закончилось заочным приговором мирового судьи. Плекшан был осужден на месяц, Петр Видынъ на две недели, Иван Видынъ и Петр Стучка — на неделю ареста. Кроме того, г-н попечитель учебного округа распорядился об исключении троих из четверки (всех, кроме Стучки) из числа студентов.

Городовых в Петербурге, да и вообще в России бить было не принято. Даже террористам легче, кажется, было застрелить генерал-губернатора, чем «оскорбить действием» городского. Над ним можно было насмеяться, особенно на некотором отдалении, можно и нужно было называть его *фараоном*, считать тупым и почти неодушевленным орудием власти, но бляха городского была равнозначна табличке «руками не трогать». Его и не трогали. Разве *растрогать* пытались, слезами или еще как, задержанные им проститутки и карманники, но и растрогать нижнего полицейского чина мало кому удавалось.

Поступок студента-латыша, в компании еще трех латышей, при их подначивании и одобрении дважды ударившего городского при исполнении им обязанностей, озадачивал. Если происшествие рассматривать как выходку бунтовщиков, — месяц заключения для главного из них был явно недостаточен. Хорош же в таком разе Санкт-Петербургский университет! Хороши же его начальники и профессора: куда они смотрят? Кого пригрели, кому выплачивают Императорскую стипендию?!

Можно было расценить происшедшее и иначе: как явную нелепость. Не может быть, чтобы взрослые люди, пребывая в здравом уме, напали на городского. Все дело в том, что в компании были одни инородцы, почти иностранцы. Они попросту не ведали, что творят, и затеянную потасовку с казенными чинами рассматривали по глупости как обыкновенную шалость.

Первая версия чревата была скандалом. Она означала бы, что университет продолжает быть гнездом и рассадником мятежа, врагом порядка, закона и самого государя. Ввиду чего могли последовать меры... страшно подумать, какие могли последовать меры! И вот почему Правление университета использовало все свое влияние, чтобы замять дело, представить случившееся недоразумением, историей глупой и смешной. Мальчишек, конечно, следует наказать, хотя бы за неграмотность, — ишь, нашли где, когда и с кем шутки шутить! — но шума не подымать, из университета не исключать, а дело похерить, спрятав концы так, чтобы и при желании их было бы найти нелегко.

Сохранился и еще один прелюбопытный документ; приведем его почти полностью. «Если бы виновники начали предварительное буйство где-нибудь в публичном месте, то Правление еще могло бы рассуждать об их дальнейшем преследовании, но буйство началось на квартире товарища и легко могло бы быть утишено, если бы студентов не вытащили на улицу, чтобы отвести в участок; естественно, что в молодых людях и в пьяном виде такое посрамление могло произвести раздражение, которое вызвало отчаянное сопротивление, доходящее до самозабвения. По наведенным справкам, означенные студенты не были до сих пор замечены ни в чем предосудительном, а о блестящих дарованиях троих из них свидетельствует удостоверение их Императорской стипендии... «Пьяница проспится, дурак никогда», говорит пословица. Но еще вопрос, пьяницы ли попавшиеся студенты. Не дать ли веры их чистосердечному признанию перед г. Ректором, заявившим это в Правлении, что оттого они и опьянели, что никогда не пивали. Разве не могло случиться, что это был в самом деле первый и исключительный случай в их жизни? Известно также, что многие студенты пьют почти беспрестанно во время пребывания в Университете, даже заявляются пьяными в Университет, и это сходит им с рук. Если мы будем преследовать только такие увлечения молодости, то своей ненужной жестокостью не подогреем ли еще политические сенсации, не дадим ли им предлог...?! Ведь между студентами есть же попрошайки, льстецы, шпионы, наконец, даже похитители частной и казенной собственности; ужели нам приходится в ужас от того, что четверо студентов, собравшихся на новоселье к товарищу, так несчастливо покутили? Потому я со своей стороны полагаю, что Правление не только не должно усиливать наказание, наложенное в общем порядке мировым судьей, но и обратиться к господину Попечителю с почтительнейшим представлением о смягчении наложенного Его Превосходительством при первом известии о проступке четырех студентов на трех из них самого тяжкого наказания, как будто это чуть ли не было политическим преступлением».

Подписано: *В. Васильев*

Нажато было и на господина градоначальника, и на мирового судью. В итоге Иван Христофоров Плекшан получил не 30, а 10 дней ареста, братья Видыни заплатили штраф по пяти рублей каждый, а Петр Иванов Стучка был совершенно оправдан.

Произошло это за пять с половиной месяцев до покушения на Александра Третьего. Если бы такое случилось не до, а после 1 марта 1887

года, четыре приятеля были бы забиты до смерти теми же дворниками или возмущенной толпой, в лучшем же случае — сданы в солдаты. Тогда у Яниса Плиекшана, Петериса Стучки и других были бы иные биографии; иною была бы, скорее всего, и новейшая история латышей и Латвии.

Первая — не последняя — в его жизни тюрьма. Чем-то напоминающая тот застенок в Беркенхегене, где когда-то секли крепостных. Войдем, не повредив замков и засовов, бесплотные в этом далеке, невидимые. Вот он, в угол забился, острые локти в коленях, лицо утоплено в ладони. Из полицейского чувства корпоративности стражи поместили его в камеру-одиночку (это не было обязательно), выбрав ту, что сырее всех и без окон. А что ж ты — хотел городского бить и за это получать мед и пряники? В передачах студенту отказали: сидеть так сидеть, отъешься как выйдешь.

Мы, кажется, немало знаем о способности этого юноши есть себя поедом и за гораздо меньшие проступки. Сейчас он даже на тюремщиков своих не в состоянии сердиться: они правы, они по-своему очень даже правы, ты сам полез им в лапы, напросился на все грубости и пошлости, слышанные в последние три дня; поставил себя на одну доску с ними — вот и получай!

Мы ничего о нем не знаем. Злится ли он на своих товарищей, вышедших сухими из воды? Радует ли тому, что Петерис легко отделался? Или в уме его уже сверкнуло опасное для их дружбы: опять легко отделался? Нет, он запрещает эти игры себе: сам, сам во всем виноват! И казенный, промозглый, ох как много повидавший камень с грязной надписью под потолком и не менее грязным рисунком, — выцарапан, видно, гвоздем... — ты и это заслужил, не отворачивайся, ткни себя носом в эту похабь и дрянь, как кошку тычут туда, где нагадила: вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Чем кончится дело? Он почти уверен, что из университета его исключат. И воображает во всех подробностях бесславное свое возвращение в Ясмуйжу: блудный сын вернулся! Уволен за драку и пьянство. Как там у русского поэта: «Их добросовестный, ребяческий разврат», вот именно: добросовестный, как навязанный кем-то, немилый труд; добросовестный, ребяческий... а ведь далеко уже не ребенок: 22 годика остолопу. Что-то из себя строящему; а помнишь, домоуправляющий прохрипел вам вослед с лютой злобой: «Дерьмо собачье!» Как же звали его... сам он все-таки — то, что названо им, — как его величали? Господин Слободской. Сло-бод-ской, смутно знакомое слово, душа что-то знает о нем, а что — не говорит. «Душа», не смешно ли сейчас и здесь говорить о ней, где она? «Там, где болит». «Да болит-то в тебе все, от ногтей до корней волос, каждая клеточка». «Где боль, там и душа». «Ты упряма».

«Я упрям». И опять, с новой силой возвращаются мысли о доме, о предстоящем позоре, о том, как отец и Лизе перестанут выходить, выезжать, показываться соседям; как Дора, вчера еще чуть ли не боготворившая брата-студента, посмотрит с испугом...

Бывало и раньше — он представлялся себе опозоренным, униженным, загнанным в угол. И было иногда в поражении и стыде что-то обратное унижению: последняя глубина падения вдруг оборачивалась почти высотой. Но здесь не было и намека на высокое в низости всего вместе взятого: он вывалился в грязи, дороги оборвались не начавшись, деньги отца, бесчисленные посылки матери, самопожертвование Лизе, все-все оказалось запачкано вместе с ним; так-то отблагодарил ты своих родителей и сестер? Так-то оправдал надежды многих, очень многих...

Иной раз чудится ему, что все это не может быть правдой: это сон, невозможный, отвратный; чтобы проснуться, нужно только, разинув до отказа рот, крикнуть изо всех сил, страшно, протяжно, — и пробудиться от собственного крика, как уже бывало. Но нету голоса, и кричать почему-то стыдно, нельзя закричать. Нельзя кричать, а потому ты никогда не проснешься, задохнешься в серых, скользких от сырости стенах.

Не в зените славы, не перед лицом европейского монарха, прикрепляющего к его фраку неразличимую отсюда, но очень большую звезду, не в окружении восторженных толп, — мне, может быть, всего дороже этот, локти в колени, а лицо в ладонях, горящий и униженный Райнис. Мировой судья судил его — я не берусь.

Все мы люди. Всем нам хочется узнать, что скрипач-вундеркинд любит мороженое и шалит, как прочие дети, что он не только... но и...

Вот и Райнис, скачущий по Ясмуйже верхом на коне, рассказчику был нужен позарез; как я счастлив, что не пришлось ничего такого выдумывать. Скакал, любовался собой, красовался перед возможными зрителями; хотел целовать и ласкать Теклу и боялся ее как огня, мечтал о богине, а расстался с невинностью в равнодушных руках профессионалки; бросился очертя голову в кутеж, какой его маме не мог привидеться и в кошмаре: ни маме, ни Лизе и уж конечно ни Доре.

Запись в дневнике, сделанная еще до Петербурга. «Как я ненавижу немецкие *Ordnung und Gemütlichkeit!** Не знаю за что: может, за то, что они мне кажутся единственно правильными?»

* Порядок и уют (нем.).

Я всегда с подозрением относился к разговорам о «северной сдержанности». То есть внешняя сдержанность — налицо, кто же спорит! А что там, внутри? Есть латышская дайна: парни спрятали свои сердца внутри камня; проходили мимо девушки, камень — вдребезги! Это к вопросу о сдержанности.

О, как сдержан будет впоследствии Райнис. Как рационален. Но мы-то знаем, как умеет он быть нелогичным. Действовать прямо противоположно тому, как следовало бы. Во вред себе, да не просто во вред — на погибель!

Дело, ему предстоящее, не какое-то частное дело. Мысль, душа его должны будут обнять собой все, постичь высоты и бездны, и то, что между тем и другим. Не верю, что можно по рассказам или из книг узнать что-либо достоверное о верхе и низе, о грехе и раскаянии, о свободе и страхе.

И, слава Богу, не головное решение: «А познаю-ка я то-то и то-то» и не слух, что, мол, полагается в юности перебеситься, — нет, просто длинные ломкие ноги привели его к этим десяти дням; что-то подтолкнуло в спину...

И вот он — на дне огромной воронки, жалкий, острые локти в острых коленках, сплошные углы. Вы полны сознания превосходства, любезный, свободный и сытый читатель? Ну-ну.

Наконец, если б мой герой был никем: то есть не кем-либо из иерархии, не из (не по службе) начальства: не писателем и не президентом, не философом и не эдисоном, обыкновенным человеком, искавшим себя, и я так же шел бы по следам этих исканий (предположим, остались бы свидетельства и следы), если бы его первые испытания были не материалом для творчества, а простой материей жизни, что бы тогда? Да то же. Я бы отнесся к этому так же. Личность, не подвергавшаяся искушению... Глупость: где они, такие личности? Я веду к тому, что: любопытней всего не то, как там отразится то или иное событие, во что выльется. Оно интересно мне само по себе. И даже не в качестве личного урока. Не знаю, в какой степени каждая жизнь должна в себя вместить вообще возможности человека, его способность к добру и злу и — талант иногда отличать, иногда не отличать одно от другого. Не знаю, насколько человек представляет человечество. Об этом и спрашивать можно разве у той высшей силы, в которую наш герой так прискорбно не верил.

Янис, с зубной щеткой в руке, продекламировал с чувством, по-русски:

— И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю. —

Петер, знаешь эти стихи?

— А как же, — отвечал Стучка. — Пушкин. Поздний Пушкин.

— Ранний Плиекшан подписывается обеими руками, — сказал Янис.
— Вначале, когда упадешь... Нет, когда подымешься, отмоешься как следует, почистишь платье, — нестерпимо хочется стереть. Стереть все, что было, начать в новой тетрадке и с первой строки. А потом жалко становится.

— Чего жалко-то? — спросил Стучка.

— Не знаю. Строк печальных.

— А я бы стер без пощады. Иначе годам к тридцати и шагу вперед не ступишь. Такой груз поволокёшь за собой... или он тебя.

— ...но строк печальных не смываю, — повторил Янис, как-то не слушая.

Из воспоминаний Доры Стучки.

«Каждому истинному латышу свойственна в большой мере душевная стыдливость, замкнутость, у Стучки же эти свойства присутствовали в концентрированном, чрезмерном виде: он был воплощенная замкнутость, так сказать, замкнутость в квадрате. И как бы странно это ни звучало, — даже мне, ближайшему другу, прожившему с ним в тесном духовном единении и согласии 35 лет, в конце концов мало что известно о его юности, студенческих годах. Не раз я пыталась расспросить его о впечатлениях и переживаниях той поры, и всегда он махал рукой: там не было ничего интересного».

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГИБЕЛЬ В ВИЛЬНЕ

К двадцати пяти годам Иван Плекшан остепенился. Никто уже не узнал бы в нем хмельного студента, с криком вцепившегося в бляху городского. Вот уже почти два года он служил в Виленском окружном суде, дважды получал повышение и заведовал к осени 1890 года Вторым столом Гражданского отделения. Несомненно, его ожидала если и не блестящая, то основательная карьера. Начальство взирало на него благосклонно, прощая молодому чиновнику даже излишнее рвение: он рвался поначалу вводить какие-то там новации в отношении просителей, какие-то самодельные инструкции. Молодой человек не успел дать себе отчет в том, что инструкции вырабатываются не в Вильне, что доморощенных правил в суде нет и быть не может; впрочем, непонятлив он не был, и когда было сказано: «Спасибо, этого всего не нужно», — он отнюдь не упрямылся. Если что-то и настораживало в Иване Христовиче, так это недостаток общительности. Он умел играть в карты, но почти не играл, а без преферанса в провинции какое же общение? Он не был патологическим трезвенником, но опять же почти не пил, то есть не хмелел и не оживлялся, не становился разговорчив и ласков со всеми подряд или же, напротив, вспылчив, не начинал расшаркиваться перед дамами и горячий обычного целовать ручки... короче, оставался застегнутым на все пуговицы, и как раз дамы заключили о нем довольно скоро, что он юноша, должно быть, чрезвычайно ученый, но сухарь. Некоторым же он казался высокомерным, что само по себе выглядело довольно странно: *сын богатого, но крестьянина* — и высокомерие!

Говорили о нем много в первый год, как говорили бы о всяком свежем человеке. С особенным энтузиазмом перемывали косточки в домах, где имелись девицы на выданье: молодой юрист, без пяти минут кандидат, происхождения низкого, но образование искупают, согласитесь, хотя бы частично; не так чтобы очень хорош собою, но и недурен, лоб высокий,

совсем не крестьянский, и глаза голубые. На второй год разговоры поутихли. Интересы к барышням на выданье Иван Христофорович решительно не проявлял, замужних женщин и вовсе дичился. Видели его беседующим с пожилым архивариусом Спрогисом, тоже латышом, встречали с каким-то учителем, но чаще всего Плекшан бродил в одиночестве то вдоль речного берега, то взбирался к Гедиминовой башне и озирали город сверху, «будто бы он недостаточно долговяз и нуждается дополнительно в пьедестале», — высказался господин товарищ прокурора, и все вежливо посмеялись. На расспросы: чем занят молодой канцелярист, тот отвечал, что заканчивает кандидатскую диссертацию. Осенью 1890 года ответ несколько изменился: молодой человек диссертацию закончил и отослал в Петербург. Добавились также следующие сведения: с поляками Плекшан говорил по-польски, с литовцами — по-литовски, с немцами по-немецки, французским же, к сожалению, почти не владел.

«Можно подумать, — перечитывал Янис уже во второй раз, — что вся жизнь древнего латыша была одною непрерывною песнею. Пели молодые, пели старые, пели в будни и праздники, пели за работою и во время отдыха. И песня эта была так обширна, что обнимала весь мир латыша. Не было ни одного предмета в латышском хозяйственном быту, даже в кругу отвлеченных понятий древнего латыша, который бы не был обставлен поэтическими образами». Дальше было место, которое Янису особенно нравилось: долгое-долгое перечисление, на какое он сам никогда бы не решился. «Так, земля, море, озеро, река, дождь, снег, туман, ветер, гора; деревья: дуб, липа, сосна, черемуха и пр.; травы, цветы, ягоды, домашние растения, как-то: папоротник, метелка, земляника, брусника, рожь, ячмень, лен, капуста, картофель и т.д.; предметы из царства животного: рыбы, насекомые, лесные и домашние птицы, лесные звери и домашние животные, плотица, щука, пчела, муравей, соловей, куропатка, лебедь, кукушка, петух, курица, медведь, волк, лось, белка, куница, конь, корова, овца, коза, свинья, собака, кошка и т.д.; сам человек: его рожденье, младенчество, молодость, возмужалость, старость и смерть; его родственные отношения: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, мачеха, невестка, деверь и проч., его общественное положение: царь, боярин, господин, староста, крестьянин, работник, хозяин и т.д.; его занятия: посев, жатва, молотьба, пряденье, вышиванье, молотье; рубашка, сапоги, кафтан, стол, стул, изба и т.п.; небо, небесные светила: солнце, луна, звезды, вечерняя и утренняя звезда; мир сверхчувственный, предметы мифологические: бог, божьи сыновья,

богиня счастья (Лайме), богиня несчастья (Нелайме), богиня — мать лесов (Межа мате), богиня — мать мертвецов (Велю мате), дочери солнца и т.д. Все эти предметы и бесконечно многие им подобные служили для древнего латыша или, лучше сказать, латышки (потому что почти все песни происходят от ее лица) неисчерпаемую темой для поэтического вдохновения. Со всеми этими предметами древняя латышка ведет свою задушевную беседу: она смеется, плачет с ними, сетует о своем заветном горе, просит у них совета, помощи, добивается у них будущего».

Спрогис написал и выпустил эту книгу, когда Янис буквально под стол пешком ходил: «Вильна, 1868 год», значилось на титульном листе. А перед тем, много раньше, Янис Спрогис собирал народные песни, — между прочим, в родных краях Петериса Стучки, в окрестностях Кокнесе. На первой же странице книги Янис Плиекшан обнаружил такое пояснение: «Кокнесе, собственно, значит: место сноски, своза дров. Как в древние времена, так и ныне около Кокнесе происходит значительный сплав дров по Двине в Ригу. Вероятно отсюда родилось и само название замка». И достаточно было этих слов, чтобы и развалины того самого замка, и Даугава, и Стучка-старший с багром на плоту, и Стучка-сын, отвязывающий, нагнувшись, какую-то веревку, блеснули в памяти, точно выхваченные молнией и тут же проглоченные тьмой; только запах мокрых бревен, только речная свежесть еще подержались какое-то время в нем, потом погасли.

Событий в жизни чиновника Ивана Христофоровича Плекшана так мало, что вернее было бы сказать: их нет. Считать ли, в самом деле, событием, что пошит для него мундир? Что с известным фольклористом Спрогисом он вначале сходится довольно близко, а затем ссорится? По объяснению Райниса, виленский архивариус к тому времени ничем кроме карт не интересовался. Может статься, что и консерватизм фольклориста, годившегося Янису в отцы, напустил в их отношения холод. Янис Спрогис был монархист и приверженец установленного порядка. Однажды он видел Яниса в обществе молодого поляка, Пилсудского, — тот был известен как ярый республиканец. «Как вы можете появляться на людях вместе с этим якобинцем!» — напустился он тогда на молодого коллегу. Янис не любил, когда на него напускались и тем более предписывали, как себя вести. Он и родному отцу не позволял собою командовать, а тут...

Из наметок к автобиографическому роману: «Трусость, бюрократизм, мелкие преступления, болезни. Попытка вырваться: стихи посланы

Рейнбергу; назидательный ответ. Повторная попытка, скорее прочь — в Даугавпилс, в Видземе... В конце концов — Елгава».

Трусость (чиновничья), бюрократизм, низости. Мелкие преступления — судейская рутина, казенный запах коридоров, смешанный с запахом чужого пота и слез, запахом страха и ненависти, жадности и нищеты. Не время — безвременье. Время замедлилось, иной раз попросту застревает на месте, как двуколка в колдобине. Мгновение застряло и тянется безбожно — отнюдь не потому, что его об этом просили.

Какой контраст с предыдущей эпохой, с Петербургом! С лихорадочными неделями, когда оказалось, что четыре года он занимался всем кроме учения и возместить потерянное можно лишь ценою почти круглосуточного черного труда. Подумать только — он справился! И в те дни, в те же самые, рождалась его первая, совместно с Петерисом Стучкой придуманная и составленная книжка, памятник их дружбы и юности; книжка, наполовину перечеркнутая красным карандашом цензора, — то, что уцелело, они напечатали в Риге за свой счет.

Вот эта книжка, «Малые оводы». Потратим на нее страницу-другую: она заслужила.

Книга странная. Винегрет какой-то: мешанина из высокой поэзии и анекдотов, журнальной сатиры и переводной прозы, народных песен и античных гекзаметров. Все это может показаться случайным и малопонятным, покуда не проследишь, откуда что взялось, не ухватишь нитей, откровенно связывающих «Малые оводы» с предшественниками.

До «Малых оводов» в Петербурге выходили на латышском языке и просто «Оводы», сатирический альманах, вдохновителем и одним из главных авторов которого был поэт Аусеклис. Он умер от тифа здесь же, в Петербурге, в 1879 году. Петерис Стучка его хорошо помнил: не раз видел в отцовском доме. Один из первых латышей, с которыми Янис и Петерис сошлись сразу же по приезде в Петербург, был близкий друг Аусеклиса, Давис Кажокс, тоже один из авторов альманаха «Оводы».

Так же мало скрывали авторы «Малых оводов» родство новой книжки с «Песенками» Юриса Алунанса. «Песенки» были ничем иным, как вольными переводами из Горация, из Гете и Шиллера, Пушкина и Лермонтова. С этой-то скромной, тоненькой книжицей связывают начало латышской письменной поэзии, а значит и литературы вообще. Чтобы понять, как недалеко от них отстояло это начало, нужно знать: Алунанс был четырьмя годами моложе Янисова отца. В то время литература была и политикой: движение младолатышей связано с именами

сотрудников «Петербургас Авизес»: Алуанса, Кришьяна Барона, Биезбардиса. Поколение их отцов стояло у истоков нации, Янис и Петерис выросли на идеях, стихах, сентенциях этих людей.

Небольшой познавательный экскурс. О существовании такого народа — латыши — Европа едва ли не впервые узнала на грани 18—19 веков. В 1796 году была опубликована книга немецкого писателя Гарлиба Меркеля, называвшаяся «Латыши, особенно в Лифляндии, на исходе философского столетия». Меркель, в свое время отваживавшийся спорить с Гете и Гердером, написал о страшной неволе латышских крестьян с той же страстью, с какой о крепостном праве в России совсем незадолго до того говорил Александр Радищев в знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790 год; всего шесть лет, таким образом, разделяют две эти книги).

И еще семь десятилетий миновало, прежде чем латыши сами заявили о себе в «Петербургской газете». А в 1868 году в Риге появилось Латышское общество. В первый же год оно на пожертвованные латышами деньги соорудило памятник на всеми забытой могиле Гарлиба Меркеля.

До образования РЛО (Рижского латышского общества) никаких форм самоорганизации латышей не существовало. Латышские крестьяне жили в Лифляндской, Курляндской, Витебской и Эстляндской губерниях всяк по отдельности, не объединенные ничем кроме языка и родной песни. Никакого народного представительства, никакого вообще места, где обсуждались бы и тем более решались проблемы, общие для латышей, не было в природе. Местные установления, правила, предписания шли от немцев, имперские законы — из Петербурга. Канцелярии, суды, тюрьмы, ландтаги, полиция, войска, — суровая многоэтажная власть возвышалась над латышами и вся находилась в чужих руках. Попытки какого-то национального устройства предпринимались, но тут же пресекались властями.

Не было бы счастья, несчастье помогло. В 1868 году в Эстляндии разразился голод. Для оказания помощи бедствующим, для собирания и доставления им средств создались и в самой Эстляндии, и в соседних губерниях временные комитеты. Запретить их у властей не хватило духу. Рижское латышское общество появилось именно таким образом, действительно собрало для голодающих эстонцев шесть с лишним тысяч рублей. Самораспуститься по миновании надобности общество как-то забыло. Наоборот: был утвержден в Риге и в Петербурге его Устав, составленный Бернхардом Дирикисом и Биезбардисом. Общество намеревалось теперь не только помогать нуждающимся, но и просвещать

латышей, в особенности не владеющих немецким и русским языком. Записалось в РЛО поначалу 149 человек. Когда Бернхард Дирикис объявил об официальной регистрации РЛО, «все поднялись как один и прокричали троекратное «Ура!» всемилостивейшему Государю Александру Второму, а также губернаторам Лифляндии Лисандеру и Курляндии — Либединскому», — сообщалось в газетах. Первым председателем Общества стал Дирикис, — тот самый, под кровом которого позднее проживали гимназисты Леон Дарашкевич и Янис Плиекшан.

Состояло в РЛО в разное время от 700 до 1000 человек, и уже через год после основания его назвал кто-то «сердцем латышей». Не имея формальных полномочий, РЛО, по убеждению многих современников, с первых же шагов «представляло латышский народ». На местах вскоре стали вырастать как грибы благотворительные и другие подобные общества и кружки, но на первенство и единственность РЛО никто не покушался, и уже к десятой годовщине рижская организация приобрела ласковое, фамильярно-почтительное прозвание «матушки».

Составились комиссии: по образованию, по искусству и музыке, театральная, издательская, строительная. Много позже, через полвека, уже после образования Латвийской республики было кем-то замечено, что все будущее государство, его институты в зародыше содержались в РЛО: здесь можно обнаружить зачатки парламента и правительства, истоки университета, Художественной академии, консерватории; книжные шкафы РЛО обернулись в конце концов хранилищами национальных библиотек, небольшой этнографический музей при Обществе также имел продолжение. С 1873 года РЛО регулярно устраивало Всеобщие праздники песни, собиравшие уже многие тысячи участников отовсюду, где жили латыши; так складывалась нация.

Вспомним: в прежних поколениях латыши, вышедшие «в люди», переходили в разряд «немцев». В балтийских провинциях слово «немцы» означало уже понятие не столько этническое, сколько социальное. Немцы — наверху, ненемцы — внизу.

И лишь с начала шестидесятых годов состоятельные и образованные латыши перестали отрекаться от своего языка и народа. Итак, среди них появились обладатели имущества, денег, власти. «Вечный двигатель» неравенства, движитель человек и человечества, заработал и здесь в полную силу.

В двадцать лет Янис записал на случайном листке: «Задача каждого — использовать по возможности лучше свои изъяны и преимущества на пользу прогрессу. 1885: что есть прогресс?»

Что есть прогресс? Хороший вопрос. В девятнадцатом веке мало кто им задавался. Всем было ясно: прогресс — непрерывное развитие, движение вперед и выше.

(В Святом писании ни понятия «прогресс», ни другого, близкого к нему, не обнаружим. Да и что мог бы сказать о прогрессе Екклезиаст? Что — евангелисты? Сказано: Бог есть любовь. Куда выше? Какой тут может быть прогресс?).

Осенью 1886 года в Риге начала выходить новая ежедневная газета, «Диенас Лапа». Редактором пригласили в нее вчерашнего студента Петербургского университета Фрициса Бергманиса. Стучка и Плиекшан были с ним хорошо знакомы.

В редакционной статье, открывавшей первый номер, спрашивалось: будет ли преобладать в новой газете консервативное начало или — дух свободомыслия? Ответ: «Консервативная газета никогда не будет признана латышами. Консерватизм призван сохранять исторически завоеванные преимущества и привилегии. Латышам, однако, не приходится цепляться за прошлое: их задача — стремиться вперед и только вперед... Цель, ради которой мы хотим работать, насколько хватит наших сил, — всесторонний прогресс латышского народа».

Бергманис пригласил петербургских студентов сотрудничать в «Диенас Лапа». Янис и Петерис приглашение приняли с энтузиазмом. Янис уже не спрашивал, «что есть прогресс». Никогда больше не спрашивал.

Старый знакомец Райниса, гофрат Бернхард Дирикис встретил появление новой газеты в штыки. За ним, Дирикисом, за ним и его газетой — «Балтияс Вестнесис» — стояли лучшие латышские фамилии, Рижское латышское общество, все, что ни на есть в народе образованного и светлого. А что или кто может стоять за теми, другими? Начались нападки на «наглецов». «Диенас Лапа» огрызалась — сначала нехотя и вяло, но постепенно входя во вкус.

Входил во вкус газетной полемики и латышский читатель. Еще недавно ему сообщали с газетной страницы только непреложные истины. Теперь сказанное на столбцах одной газеты тут же оспаривалось в другой; наблюдать за этой драчкой было любопытно, — будто в театре сидишь, где две темпераментные героини вцепились друг другу в волосы: чья возьмет?

Плиекшан и Стучка изначально — на стороне «Диенас Лапа». А как же иначе? Одна газета старая, другая новая, одна — за прогресс, другая о прогрессе и не заикается.

А поскольку историки, литературоведы, философы, политики, газетчики, учителя десятилетиями по своей или не по своей воле пребывали исключительно на стороне Яниса и Петериса, то и целые поколения выросли на противопоставлении: прогрессивная «Диенас Лапа» — реакционная «Балтияс Вестнесис». Отсталое, ретроградное Рижское латышское общество и — борцы за народное счастье. Старое — новое, высокое — низкое, черное — белое, передовое и плетущееся позади. Какой простой мир. Какой удобный для объяснений.

У многих сейчас искушение поменять их местами: белое с черным, ретроградов с прогрессистами. Доказать: Рижское латышское общество сделало столько, что... А чего стоят их оппоненты, знаете?

Знаем. Много чего знаем. А знаете ли вы, что во многом знании много печали?

Последнее сказано, впрочем, не для студентов. Пугать «многим знанием» двадцатилетнего, чья профессия — узнавать? Простим молодым их молодость. Простим старикам их старость.

Ну уж нет! Прощать старикам их старость Янис и Петерис не думали. Через четверть века Райнис запишет: «Новое поколение все-таки виновно, оно ужасно и безжалостно. Гасят всех. Думают, они лучше, — но и их погасят те, кто придет позже. Какими были мы сами? Тоже гасили старое поколение». (Может быть, Райнис вспомнил итальянские записки Гете: во время карнавала родитель идет со свечою в руке, а мальчик-сын дует на свечу и кричит со смехом: «Я вас погасил, господин мой отец!»).

«Малые оводы» выпущены анонимно, но в прозаических кусках фигурируют *два редактора*, слегка не ладящие между собой. Второй редактор получает задание: написать обзор новейшей латышской литературы. «Начал я обдумывать это дело... и нашел, что я вправе сказать первому редактору грубость, — не то чтобы очень грубую грубость, но все-таки грубоватую: зачем он заставляет обзирать латышскую литературу сего года?... Черт побери, о чем писать-то? Что она такое, латышская литература, и если она есть, то где? Кто ее видел? Дайте мне ее сюда, я ее обработаю; но там, где ничего нет, и овод не поможет...

Груда каких-то обломков из слов, фраз, глупостей, точек и запятых, не к месту приплетенные народные песни, цитаты из всеобщего словаря ругательств; ни одной стоящей мысли, что уж там говорить о новой, самостоятельной народной идее, — это не литература, и пусть никто мне не вздумает возражать... Не сами по себе строчки народной песни делают литературу народной, а ее дух, — оный же там и не ночевал».

В том же духе выдержан «обзор нашего искусства и наук», а в «медицинском разделе» описывается «заразная хворь, которая в последнее время свирепствует и грозит перейти в эпидемию, если не найдется против нее средства. Эта болезнь, по латыни — «фурор», называется аристокретинизмом. Принадлежит она к психическим, душевным заболеваниям. Больной воображает, что он вдруг стал на много голов выше «всей этой толпы», перестает приветствовать знакомых низкого звания, видит только тех, кто занимает исключительно высокое положение, — трубочистов, кровельщиков... Другая особенность этой болезни: несчастные не узнают даже своих братьев и близкую родню. Самое верное средство — пустить больному *голубую кровь*; рекомендуются также укусы оводов и пиявки».

Досталось в книжке Бренцису (прозвище Бернхарда Дирикиса) и его газете. Так началась многолетняя война с Рижским латышским обществом, газетой «Балтияс Вестнесис». Зато дружественной «Диенас Лапа» («Ежедневный лист») посвящено прочувствованное четверостишие: лист за листом падают, но не умирают. Живая зелень — живая поросль на ниве народной. Что-то в этом роде.

Упомянув эту книжку, вот уже сто лет говорят о сатире. А она сатирой да и юмором вовсе не исчерпывается. Стихи Овидия, Марциала, Катулла, Гете, Пушкина, Бернса, Кольцова, Гейне, литовские народные песни, — чего там только нет! Хотя позднее Райнис писал, что и прозу и стихи они готовили вдвоем с другом, никаких других стихотворных строк в наследии П.И.Стучки не обнаружено, так что его участие в поэтических опытах все-таки сомнительно.

Вскоре Янис Плиекшан уже один, без соавторов, издал сатирические куплеты, посвященные Празднику песни 1888 года. Дора прислала ему свежееотпечатанные экземпляры сборничка в Вильню. Писала, что все смеялись до упаду, что отцу книжка понравилась даже больше, чем «Малые оводы».

Окрыленный похвалой, Янис решил показать сестре свои заветные тетрадки — стихи, копившиеся с времен гимназии. Тетрадки эти были его пропуском в будущее, надеждой и спасением. Служба в суде

опротивела ему окончательно: разве сидящий за унылыми бумагами канцелярист — он? Свобода, поэзия — вот его стихия. Дора поймет. Дора увидит, где он — настоящий. С дрожью, буквально с дрожью в руках он отдавал стихи приехавшей в Вильну сестре. Он просил, требовал, чтобы она, первый читатель, сказала ему чистую правду, Даже если правда эта будет жестокой.

Дора послушалась. Стихи ей вовсе не понравились. *Сыночек*, — вслед за мамой и Лизе она привыкла называть Яниса *сыночком*, — сам по себе был во много раз интересней, чем все им написанное. Так она и скажет. Предостережет брата. Зачем тратить силы там, где победа проблематична? Избавив его от лишних разочарований, она лишний раз докажет свою сестринскую любовь.

И Дора нашла самые резкие слова, чтоб отговорить Яниса от сочинительства. Не смей людей, говорила она. Вон напечатал свои первые стихи какой-то мальчишка, Андриевс Ниедра. Ему всего шестнадцать лет! А тебе двадцать пять. Брось, не строй из себя шута!

Еще раньше он послал стихи некоему издателю в Елгаве. Ответ был уничтожающий: оставьте поэзию в покое, заниматься ею вам не следует.

Тут, может быть, дело не в слепоте. А в той новизне картины, к которой должен приспособиться глаз. Как было с французскими импрессионистами, с Ван Гогом. Их неприятие доходило до ярости. Может быть, стихи Райниса уже тогда отличались способом наложения красок, взглядом на мир от всего, что было принято и привычно в латышской поэзии тех лет? Мы не очень-то способны сейчас оценить степень этой непривычности и новизны. Как не умеем понять: что же все-таки вызывало гнев старинной публики при виде картины Мане? Тогдашняя новизна успела уже притупиться за долгие десятилетия. Мы вполне способны испытывать скуку там, где наши деды готовы были драться на кулачках, отстаивая свое «да» или «нет» этим стихам, этим картинам.

Он задыхался, в горло точно перцу насыпали, перед глазами какие-то вспышки, какая-то красная пелена. Жизнь кончена, в ней не осталось смысла! Он и не мог сердиться на Дору: сам напросился! — и знал в глубине души, что никогда не простит ее детской жестокости. Удар получился двойной: и по его единственному призванию, и по его единственной, *идеальной* любви. А больше у него ничего и не было! Соблазн

самоуничтожения, и раньше нередко смущавший его, теперь зиял перед ним черной, втягивающей воронкой. *Не хочу жить, молоточком стучало у него в мозгу, не хочу жить, незачем мне жить и не для кого, не для кого и незачем!*

Отправив Дору домой, он продумывал все детали. Остановиться в меблированных номерах под чужим именем. Документы, бумаги уничтожить или спрятать. Пустить пулю в лоб — и одним безымянным трупом станет больше; не такая уж редкость — никем не опознанное и не востребованное тело, это он знал по службе.

Никогда еще он не был так близок к смерти. Тут в наших сведениях провал. Были ли еще какие-либо причины для отчаяния? Возможно. Какие?.. Достоверно мы знаем одно: Янис Плиекшан в Вильне не покончил с собой, остался жить — чтобы сделаться Райнисом.

Если первая его жизнь завершилась в пятнадцать лет кризисом взросления и потерей веры, то в Вильне почти полной гибелью и опустошением закончилась жизнь вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НОВОЕ ТЕЧЕНИЕ

На родину! Он рвался теперь на родину, надеясь, что ответ — зачем и как жить дальше — придет сам собой, из почвы или окружающего воздуха. Слишком он понадеялся на свой всегдашний интерес к родственному языку и народу. Да, литовцы как были, так и будут ему интересны и близки, но когда, задыхаясь, хватаешь воздух ртом, вытасненная на сушу рыба, — тут уж не до любознательности. На родину! Причем он знал, родиной этой была не Ясмуйжа, не Беркенеле и даже не Таденава; родиной был язык, в него нужно было теперь вернуться, нырнуть с головой, чтобы родная речь, соленая и шершавая, грубая, печальная, беззаботная, шептала и пела вокруг, росла из-под ног как трава, стояла столбом, как дым, плакала и бредила, спотыкалась и текла. На родину!

200

Из набросков Райниса к роману: «Елгава, адвокатура, принципал, — неприступный, саркастичный, себе на уме...»

Принципал, присяжный поверенный Андрей Стерсте, помощником которого стал теперь Пликшан, был тот самый Стерсте, что защищал когда-то Айзупса на громком политическом процессе, за которым затаив дыхание следила вся Латвия. Тогда молодой защитник (он только-только окончил Петербургский университет) добился оправдания подсудимого — к вящему ликованию тысяч латышей, особенно молодых.

Запись о неприступности, саркастичности «принципала» сделана через десятилетие, — в тот момент, о котором мы говорим, он относится к своему патрону иначе, пишет родным: очень милый человек, честный, спокойный.

Стерсте — не только юрист, он еще и литератор. Один из его учителей — Биезбардис. В ранней молодости А.Стерсте переводил Шиллера,

написал «Латышскую грамматику» — учебник для начальной школы. Дружил с Аусеклисом, Кронвалду Атисом, Пумпурсом, — автором «рукотворного» латышского эпоса «Лачплесис», первое издание которого вышло к Празднику песни 1888 года... Был Стерсте в молодости и актером-любителем, и сочинителем куплетов и даже певцом, о чем теперь вспоминал с улыбкой несколько снисходительной. Он же был «крестным» рижской газеты «Диенас Лапа»: выхлопотал у властей на нее разрешение и даже побыл совсем недолго ее редактором, но в связи с отъездом отдал газету в руки Фрициса Бергманиса.

В Елгаве Стерсте приступил к работе только что, в 1890 году, и Пликшан — его первый помощник. Принят Янис в доме присяжного поверенного радушно. Представлены ему и пятеро детей четы Стерсте, все девочки, мал-мала меньше. С одной из них, шестилетней Эльзой, молодой юрист подружился. Эта «странная» дружба шести и двадцатилетнего ребенка отзовется потом в стихах и воспоминаниях поэтессы Эльзы Стерсте, прошедшей через войны, революции, через славу и унижения, через гибель близких, и тюрьмы, и лагеря: долгая жизнь, скорее типичная, чем исключительная для поэта в XX столетии; нетипичная разве тем, что долгая.

В Даугавпилсе умер отец. Умер не дома — «как в последний раз хлопнул дверью», подумалось сыну, и он вздрогнул от собственной несправедливости. Хотелось забыть теперь все, что их отлучало друг от друга. А были они точно два магнита, повернутые один к другому не тем полюсом: им бы притягиваться, а некое холодное дуновение разносило их в противоположные стороны. Янис видел теперь, что отец его человек замечательный. Он умел блистать в самом тонком обществе, сделаться душою любого собрания, развеселить до колик всех — от зеленых юнцов до вытирающих невольную слезу старцев. Он был широк во всем, гостеприимен до неразумия, мог подарить целое состояние первому встречному по внезапному движению души. Он умел быть деспотом, неумолимо напоминал Янису голос изнутри, ты видел, как он умел раздавить человека насмешкой или полученной через деньги властью, ты помнишь, как он замолкал на несколько дней, наказывая за что-нибудь вас, семью, и все сидели за столом как побитые, и кусок не лез в горло... Нельзя, опять напоминал он себе, смерть отменяет все обиды: тебе ведь жаль его? Так жаль, что мог бы умереть вместо него — не в минуту усталости и отвращения к жизни, а посреди веселья. Я мог бы молодостью своей пожертвовать и той силой, что есть во мне (непомятая и мне самому — но есть). Но я все помню. Я ничего не забыл: не

умею. Господи, оставь мне одно воспоминание из всех — как он берет меня на руки и подбрасывает кверху, и смеется, и я смеюсь тоже, мне радостно до жути, я лечу в облака — и падаю, возвращаюсь в отцовские весильные руки. (Во сне, что ли, привиделась ему странная фраза: «Я и в Бога продолжал бы верить, если бы продолжал верить в моего отца»? Сознание отказывалось признать за собой авторство; мысль была не его, — тогда чья же?).

Обнаружилось, что от богатства щедрого и могучего, прижимистого, горластого Плиекшана не так уж много осталось. Он и умер-то, может быть, от огорчения, — проиграв долготлетнюю тяжбу хозяину Ясмуйжи, Кузнецову. Права на аренду Плиекшаны лишились, часть имущества тоже пойдет с молотка, чтобы Кузнецов получил причитающиеся ему деньги. Деньги! В карманах покойника, шептались вокруг, тысяч сто должно быть, не меньше! Однако ж обнаруживались теперь не столько живые деньги, сколько векселя какие-то, по которым должники что-то не спешили расплатиться.

Василево решено было тоже отдать. Матушка и Лизе перебирались на новое место — не хозяйствовать, проживать. Дора уезжала к Янису, в Елгаву.

Счастливая! Брат буквально носил ее на руках — брал на руки и переносил из комнаты в комнату, благо комнат в снятой ими квартире было несколько.

Дора вела хозяйство, принимала гостей, вместе с братом бывала в лучших латышских домах; своим человеком сделалась у супругов Стерсте.

202

Янис не сомневался, что она наслаждается новой ролью. Но Дора своей новой ролью не наслаждалась. Ей казалось, что она начинает повторять путь старшей сестры. Жертвенный, безотрадный путь Лизе... Больше трех лет прошло по окончании школы — и что же? Она ни на шаг не продвинулась за тысячу дней! Брат уготовил ей, кажется, участь ключницы, экономки. До чего завидная судьба! О, он любит меня, но, похоже, заранее принял с благодарностью все жертвы; я должна сделаться старой девой, чахнуть в этих его наемных квартирах, готовить и чистить, командовать какой-нибудь старушкой-прислугой, сама стареть...

Она мечтала о побеге.

Между тем, совсем недалеко от квартиры Плиекшана жила в родительском доме его будущая жена. Пути Райниса и Аспазии уже

встретились в пространстве, — и до странности не видя, не слыша друг друга, проходили они по одним и тем же улицам, с теми же людьми разговаривали, на минуту раньше или позже, открывали одни и те же двери, чтобы опять разминуться. Город был совсем небольшой, тесный. Но до встречи их оставалось три года.

Побег! Для кого это слово было родным — так это для Эльзы Розенберг... нет, уже не Розенберг: Вальтере. Она была замужем. Опять неверно: она *побывала* замужем.

Мы оставили Эльзу, помнится, в момент конфирмации, с негодованием читающей записку, назначенную якобы предсказать ее судьбу: «Дерзай, мой сын!»

Сын не сын, но она дерзала. Бурные же годы она прожила! Пока Дора Плиекшан тоскливо коротала домашнее заточение в Ясмуйже, пока Янис и Петерис грызли гранит петербургской науки, Эльза Розенберг продиралась к свободе. Уже упоминалось, что мать не позволила ей закончить школу: отдала в ученье к портнихе, а затем увезла, от греха подальше, домой, на хутор. Родня настойчиво намекала, что девице пора бы и замуж.

Беды и болезни преследовали девушку, как библейского Иова. Беды касались и всего дома: «На скотину напал какой-то мор. Он выкосил на хуторе 16 коров и 6 лошадей, не считая мелкого скота». Болезни: «Приехав домой, я сильно захворала, так как в жаркий полдень забрела в пруд в известные дни: мне стыдно было рассказывать матери про всякие неприятности, я думала, что раз и навсегда опять сделаюсь чистой и красивой. Вышло иначе. С трудом дотащилась до своей комнаты и пролежала с сильными болями три месяца. Врача ко мне вызывали из Елгавы, да и с его помощью едва отходили. Расходы, конечно, были велики, да еще этот коровий мор... Мама совсем больна сделалась от горя. Хорошо, помог нам соседний помещик, граф Медем: дал пособие на новый дом и чтоб коров и лошадей прикупить, присылал даже чудесные цветы из своей теплицы. Если бы только родитель мой не предавался так старательно алкоголю! Наши обширные, плодородные поля он теперь даже не успевал обработать. Из купленного молодняка несколько голов тоже пропали: утонули в колодце. Из короткой телячьей шерсти вышли только носки для батраков. Мама хотя и выздоровела, но начала сесть — а она была еще так молода и красива! Наш благодетель граф Медем вскоре умер...»

Оправившейся после болезни дочери мать задает как можно больше работы. Словно в сказках — мачеха. Перед девушкой — груды одежды и белья, каждую вещь нужно вышить и бисером, и цветной нитью «по самым тонким образцам». Дочка прячет под работой книгу. Только мать выйдет — она за чтение. Только войдет — книжка уже спрятана в ворохе тряпья, дочь прилежно работает, но странно: дело — ни с места. «Хватало и других дел: то схожу коров подоить, то сено ворошу, хотя мама считала, что вышивка и шитье более подобают барышне. И все-таки не было мне радости ни в том, ни в другом занятии, и души моей там тоже не было».

Учиться — вот чего она хотела, вот где была ее радость, ее душа. «Была у меня школьная подружка, Янсоне. Она устроилась домашней учительницей или, как тогда предпочитали говорить, гувернанткой на хуторе недалеко от нас. И заглядывала нередко в гости. Как-то с нею вместе навестил нас и ее брат, Карл Эмиль Янсон. Ему суждено было сыграть в моей жизни важную роль. Он был образованный, одаренный и вообще высокого полета человек. Окончил филологический факультет в Дерптском университете и жил с сестрой на соседнем хуторе, готовя магистерскую диссертацию. Был он уже немолод, лет 45, голова начала лысеть, но зато — что это была за голова! Кроме языков: латыни, древнегреческого, санскрита, русского и немецкого, он прекрасно разбирался в философии, литературе и эстетике. В то время, помню, он штудировал Дюринга. Дома у него была обширная библиотека: труды Платона, Канта, Гегеля, книги Шиллера, Гете, Шекспира, Гоголя, Пушкина, Грибоедова, Достоевского и т.д. Этого неординарного человека я и раньше видела в Елгаве, но лишь издали, а теперь довелось с ним познакомиться. Договорилась, что буду брать у него уроки. Он приходил раз в неделю. Я со страстью вернулась к прерванному было учению. Учила греческий язык и латынь. Относительно скоро я могла уже читать в оригинале «Одиссею», речи Цицерона и проч. Открывала по его совету книги немецких и русских классиков, Шекспира, — и передо мной вставал совершенно новый мир... Из наук меня привлекали всего больше история, философия, эстетика. Янсон особое внимание уделял критике и теории драмы. Для упражнений в критике он задавал сочинения о Гоголе, Достоевском, Байроне, Пушкине. Точно так же мне нужно было письменно изложить впечатления от прочитанных философских трудов. Горячий патриот латышской идеи, именно Карлис Янсон «отвоевал» меня у немцев и побудил обратиться к родному языку: под его влиянием я впервые написала стихотворение по-латышски. Вскоре после этого и тоже не без его подсказки написана и моя первая пьеса — «Мстительница».

Говоря о роли К.Янсона в моей духовной жизни, нужно заметить еще, что он подарил мне немало книг, — их набралась у меня целая

полка. Учитель внимательно следил за моими успехами и радовался им. Видя, с каким упоением я читаю книги об античном мире, он окрестил меня Аспазией, находя во мне известное сходство с той, греческой Аспазией... Имя это так и прошло со мной через всю жизнь как литературный псевдоним».

Представьте себе, читатель, этот крестьянский — при некоторой зажиточности — чисто крестьянский дом; представьте хозяйскую дочку, вернувшуюся из хлева после дойки и тут же схватившую жадно «Поэтику» Аристотеля или же «Критику чистого разума» Канта («Припоминаю, как было трудно с «Критикой чистого разума», но я не сдавалась...»). Представьте, как она прячет грибоедовское «Горе от ума» под грудой шитья; затихли шаги матери за дверью — и книжка опять в руках: «Я читала и смеялась от всего сердца, радуясь остроте и меткости слова у Грибоедова». Канта она читала по-немецки, «Одиссею» на греческом, Цицерона на латыни, Пушкина по-русски. Такая вот крестьянка, первая в долгой череде поколений, ни одной такой еще не было. Аспазия с хутора Даукши.

Окружающие, рассказывала она много лет спустя, никак не могли взять в толк: как это, зачем это — учиться после школы? И кто будет учить задаром? В посещениях немолодого Янсона им чудился «романтический мотив», выражается с тонкостью Эльза. «Романтический мотив» испугал родителей и всю родню окончательно, когда на одном из хуторов по соседству хозяйская дочь принесла в подоле от батрака. Происшествие хоть и не первое от сотворения мира, но и не столь заурядное, как может показаться издали: мать рвет на себе волосы, отец сидит за одну ночь от позора. Многочисленная родня Эльзы в панике. «Замуж! Замуж ее немедля!» — раздаются со всех сторон уже с привизгиванием: известно ведь, что деваха — «отпетая»; если тихая, робкая дочка соседней впала в такой грех, чего ж можно ожидать от этой?!

Призываются и наезжают толпами женихи. Невеста по ночам читает «Одиссею».

Подозрения теток и дядей оправдываются незамедлительно: с младшим братом своего учителя, Робертом, девушка бежит из отчего дома. Извозчику в Елгаве пара кажется подозрительной, на всякий случай он сообщает о них куда следует. Перепуганные и разъяренные родители находят беглянку в полицейском участке.

Между тем, первая пьеса Эльзы Розенберг, «Мстительницы», на конкурсе Рижского латышского общества отмечена в числе двух лучших; правда, денежной премии за второе место не предусмотрено. Жаль... Стихи Эльзы публикуют «Диенас Лапа», «Балтияс Вестнесис», появляются они и в газете Елгавского латышского общества «Тевия» («Отечество»).

Роберт Янсон, в прошлом профессиональный актер, незадолго перед этим поставил в Елгаве любительский спектакль — то был «Венецианский купец» Шекспира. Роль Есики играла девятнадцатилетняя Эльза Розенберг...

Теперь Роберт рассказывает о своей протее директору театра, Роде Эбелингу. Девушка — настоящий самородок. Хороша собой, — ни у кого не видел таких пышных золотых волос, натуральных, разумеется. Играла на сцене. И написала первую пьесу, — взгляните сами, это серьезно! Эбелинг заинтересовался, пьесу прочел. И проронил с важностью: девушка, пожалуй, могла бы стать приобретением для театра.

Таким образом, второй побег с хутора был неминуем. На этот раз Эльза одна, и путь ее — напрямиком в Ригу. Там Роберт Янсон знакомит ее с директором театра. Роде Эбелинг осыпал барышню-крестьянку комплиментами; равнодушие его простиралось так далеко, что Эльза была позвана в заграничную поездку, предстоявшую господину директору вот-вот. «И блестящий драматический талант Янсон, как предсказание всей моей судьбы, прочел мне стихи Гете:

*Alles geben die Götten, die hohen,
Ihren Lieblingen ganz:
Die unendlichen Freuden ganz,
Die unendlichen Schmerzen ganz.*

206

«Вышние боги все даруют своим любимцам с избытком: и бесконечную радость, и бесконечную боль».

Да, я давно уже это чувствовала, — замечает в позднейших воспоминаниях *любимица богов*. И в доказательство приводит стихотворение, написанное ею в те времена (по-немецки) по прочтении поэмы Байрона «Каин»:

*Hab' ich dies Buch gelesen,
Stumm leg' ich's aus der Hand,
Weil ich zu seinem Wesen
Der Zauberschlüssel fand.
Des Dichters Geist und der meine
Ein Strom in der andern fließt,*

*Es sind zwei verwandte Dämonen,
Die sich erkannt und gegrüsst.**

Увы, вдруг выясняется, что пьесу «Мстительница» запретила цензура. У Эльзы — ни копейки, а у Роберта этой самой копейки и сроду не водилось. Директор театра уезжает за границу. Без нее. Приходится возвращаться в зеленую свою тюрьму, чтобы капитулировать на условиях победителя, а условия эти известно какие: замуж! И срочно! И никаких возражений!

О сельских своих женихах Эльза отзывается нелестно: они ограничены, неуклюжи, в духовном отношении неизмеримо ниже ее. То была правда, и с какой стати тогда или позже Аспазия стала бы ее скрывать? Эльза — романтик, но романтизм, связанный с «хождением в народ», ей не грозит: она в народе, ходить куда не надо. Вот вырваться бы в «духовно близкую», по ее словам, Ригу, к людям высокого ума и богатой души, вызывающим ее восхищение. «Однако одним восхищением сыт не будешь», — трезво замечает она тут же. И опять же права.

Какая может быть разборчивость, лишь бы скорей под венец! И все-таки ее окончательный жених — не первый попавшийся. Он считается завидной партией, Вилис Вальтерс: посещал когда-то реальное училище в Елгаве, получил в наследство приличный дом и акции кирпичного завода. Молодой человек недурен собой, обходителен, особенно с будущей тещей: он ее совершенно покорила глубокомысленными рассуждениями о хозяйстве и пирожными, кои не забывал привозить каждый раз специально для «мамы». Родительнице он понравился. Родитель совершенно ступешался. А дочку уже никто ни о чем не спрашивал. Да и не против она была... до странности равнодушная к жениху (который так старательно ухаживал за ее матерью, точно собирался жениться именно на ней), Эльза надеялась, что хуже не будет, не может быть... И ошиблась: как раз в этом пункте так легко ошибиться!

Супруг — со слов Эльзы — оказался мерзавцем, пропойцей и мошенником. Заставив жену, ничего не смыслящую в делах, подписать какие-то бумаги, он заложил и продал почти все имущество Эльзы и ее родителей. Между молодыми с первых дней не было ничего кроме

* Я книгу прочитала / И выронила из рук: / В себе я отыскала / К ней ключ волшебный вдруг. / Мой дух и дух поэта / В единый поток слились, / Словно два демона-брата, / Друг друга признав, обнялись. (Нем.).

отчуждения и ненависти. Дальше идет чистый роман: впутавшись в какие-то аферы, Вальтерс в конце концов бежит в Америку. При отъезде он якобы пытается продать свою молодую жену торговцам живым товаром; Эльза в последний момент спасается бегством. По дороге домой возница, принявший ее за проститутку, набрасывается на свою пассажирку. Еле отбившись от насильника, несчастная до утра блуждает по лесу... Даже не верится, что все это происходит в окрестностях тихой благовоспитанной Елгавы на исходе столь же тихого (хотя бы в сравнении с наступающим) и благовоспитанного века. Ах, не каждую молодую женщину в то время и в тех местах пытались продать в рабство, не каждую латышскую крестьянку подло обманывал муж, чтобы затем сбежать в Америку и там сгинуть!

Для нее Вилис Вальтерс отныне мертв. Через сто лет, впрочем, выяснится, что супруг ее вроде бы был живехонек, все обвинения в свой адрес отметал и выдвигал в свой черед такие версии поведения своей неверной жены, так называемой позтессы Аспазии, такие варианты!.. Но как бы то ни было, он, бедняга, опоздал минимум на столетие; на том и распрощаемся с Вилисом Вальтерсом, — мир его все-таки явно и бесспорно жуликоватому праху!

Родители, почти разоренные, вынуждены были перебраться в Елгаву с последней оставшейся коровой, купить скромный домик, — спасибо, хоть на это денег хватило. Слишком жестоко наказанная за пристрастие к витиеватым речам и сладким пирожным, матушка не смела больше тиранить взрослую дочь. Эльза к тому же начинала понемногу зарабатывать своим трудом и даже помогала прокормить младших братьев и сестру. В доме ей приходилось теперь и убирать, и обстирывать всю семью. «Белья от шестерых человек набиралось много, оно было сильно изношено, потому что не было ничего на смену. Особенно папенькино белье было в таком состоянии, что приходилось кипятить в отдельном котле. С непривычки мои руки распухали от стирки и кровоточили. Эти распухшие руки очень мешали мне, когда я садилась за пианино. Кажется, тогдашней стиркой я их испортила на всю жизнь».

Уроки музыки Эльзе давали немка-учительница Анна фон Бах-Грассин и выпускница Петербургской консерватории Ефимова. Стоили уроки 3 рубля в месяц и прекращались сами собой, когда этих трех рублей наскрести не удавалось. Эльза, между тем, уже играла Шопена. Руками, распухшими от стирки («теперешних удобных стиральных досок не было, — вспоминала она. — Все приходилось делать вручную»).

Этими же распухшими, а порой и кровоточащими руками она обнимала любимого. Ибо Эльза влюбилась — безоглядно и беспамятно, согласно своей натуре. Избранника ее звали Куцевалов, он был русский, то есть, поясняет Аспазия, наполовину татарин, наполовину украинец. Офицер, темноволосый, «южного типа». Как всякий русский, широкая душа. Вечно напевал романсы: «Зачем томишь, зачем терзаешь», «Ах ты, ноченька», «Безумная, шальная дочь». Был развит духовно и когда не пел, то, сидя у ног возлюбленной, читал стихи. «Не Аспазией он меня называл, а Тамарой. Любил декламировать лермонтовские строки, и еще сегодня звучит у меня в ушах:

*В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила,
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла».*

Вместе они много гуляли, катались на лодке, танцевали на зеленых балах. «Говорили и о формальном браке, только я никак не могла добиться развода от уехавшего в Америку мужа, Вальтерса; кроме того, мне нужно было внести в казну 500 рублей залога по тогдашним правилам, чтобы вступить в брак с офицером российской армии. Денег таких у меня не было, но он обещал сам достать для меня эту сумму. Словом, все уже было готово к тому, чтобы я стала женой русского офицера».

Больше года длилась «молодая любовь, прекрасная, как первое цветение, как вишневый сад, осыпающий тебя снегом лепестков». Но однажды среди дня Эльза решила преподнести милому сюрприз — подкрасться неслышно, застать его врасплох, — и застала. С другой. «Я порвала все его письма и фотографии, чтобы изгнать из памяти его имя, из души его образ, из сердца — его любовь. Уничтожила и прекрасное аметистовое ожерелье, подаренное мне как невесте». Бедный малый клялся и божился, что все — роковая случайность, ходил упрашивать матушку, сообщал всем подряд, что его неправильно поняли, что с той девицей он не имеет ничего общего, презирает ее и знать не хочет.

И здесь во всей этой, достаточно обыкновенной истории нас ждет неожиданный поворот. «Сердце мое болело теперь за униженную и осмеянную девушку. Я почувствовала, что нас, всех нас, женщин, оскорбляют. И не могла больше доверять человеку, способному растоптать женское достоинство».

Памятью о погибшей любви стали несколько прекрасных лирических стихотворений, сделавшихся со временем известными чуть не каждому латышу и латышке: «Струнами — лучи луны», «Король бездны»... Пошатываясь от слабости, утирая слезы, из обломков жестокого крушения выходила женщина, более сильная, чем когда-либо. Своя беда заставила вдруг ее увидеть все несчастья, все утеснения и несвободы, все обманы, терзавшие из века в век ее сестру-латышку. «В этот миг в ней, — говорится в автобиографическом романе «Осенний соловей» об Арте, читай — Аспазии, — родилась решимость бороться за женскую долю. «Я сестра всем униженным, — говорила она себе, — хочу разбудить их, хочу за них мстить». «Отомстить я за всех, может быть, и не отомстила, — добавляет Аспазия уже в мемуарах, — да и вряд ли это было бы хорошо, но хотелось бы верить, что для изменения судьбы латышской женщины и для ее духовного возвышения я что-то сделала... Моя идея женского движения не заимствована у Бебеля, она выкристаллизовалась из страданий обманутой любви, она родилась во мне самой».

На дворе 1889 год, Эльза печатается в газете «Тевия», ее имя понемногу приобретает известность. Старый драматург Адольф Алу-нан, которого она же назовет со временем «отцом латышского театра», в настоящий момент ведет себя не по-отечески: он положил под сукно первую пьесу Аспазии, «Мстительница», данную ему на отзыв. Больше того: никакой не поэт, он вдруг начал печатать на страницах «Диенас Лапа» какие-то скабрзные куплеты, в героине которых угадывается... Аспазия. Ну, это ему с рук не сойдет! Эльза бурей врывается в кабинет редактора «Диенас Лапа», Петериса Стучки. Да, друг Плиекшана сменил Фрициса Бергманиса на этом посту. В руках у посетительницы — грозный памфлет, направленный против старого коз... куплетиста. «Меня встретил высокий, стройный молодой человек, блондин, весьма привлекательный на вид и с прекрасными манерами. Попросил меня присесть и прочел принесенный текст. Результат был, однако, вовсе не тот, на какой я надеялась. Вещь слишком острая, даже уничтожающая, приняв ее, он может потерять такого старого, ценного сотрудника, как Алунан, а ведь вы только начинающая. Оставьте, конечно, на всякий случай, быть может, позднее...»

Никакого «позднее» для гневной отповеди Аспазии так и не наступило, и тогда, недолго думая, она отправилась к соперникам Стучки, в «Балтияс Вестнесис». Бернхард Дирикус встретил ее с распростертыми объятьями! Впервые, кажется, в старые мехи вливалось столь свежее, столь молодое вино! С неостывшей обидой Аспазия в один присест

написала восемь строк, которые Петерис Стучка ей потом не раз припомнит...

Стихотворение было сердитым. Первая строка, взятая из народной песенки, вообще звучала как детская дразнилка. И язвила, неизвестно почему, так же глубоко, как в детстве бессмысленная насмешка язвит, раздирая сердце до крови.

Tūdaliņ, tagadiņ...

Вот сейчас, вот теперь

Настрочат писаки

Про искусство и про жизнь

Али про политику.

Поскорей макай перо,

Начинай браниться!

«Диенас Лапа» сей же час

Ругань твою тиснет!

Петерис Стучка, как многие остроумные и смешливые люди, не переносил только одного: шуток на свой счет. Редактор он был молодой, газету вел первый год. Конфуз с молодой колкой особой, которую он как бы самолично послал в лагерь противника, был одной из обиднейших его неудач. Можно было, конечно, сказать: что у нее за душой, кроме пышных волос и сомнительной репутации? Он это и говорил себе и другим, но сказанное как-то не утешало. К тому же издевательский, глупый припев крутился в голове, буквально прицепившись к мозгам: «Тудалинь, тагадинь...» С этим же самым зачином «Диенас Лапа» напечатала язвительный, тоже стихотворный ответ, в котором доставалось и молодой нахалке, и старому Дирикису. За подписью (обычной для этого раздела) *Зубоскал*. «Хорошо скалит зубы тот, кто скалит зубы последним!» — сказала Аспазия, и уж у нее нашлось что ответить, благо старички из «Балтияс Вестнесис» были в восторге. По крайней мере один противник до конца дней ей был обеспечен. Неплохо для начинающей.

1890 год. Аспазия размышляет: не поехать ли ей в Россию? Там домашнему учителю в среднем платят 30 рублей в месяц, а в Курземе — только 10. И все-таки принимает приглашение поближе — на хутор Киплоки, готовить к школьным экзаменам двух девочек, Алиду и Луцию Гиргенсон. Соседи тоже присылают к Гиргенсонам своих детишек, так что организуется сама собой «маленькая школа», около десятка мальчиков и девочек. Все ученики Эльзы потом успешно прошли в гимназию и в реальное училище. «За такую работу госпожа Гиргенсон

презентовала мне красивое серое платье. То было первое приличное платье, заработанное мною самой. Прежние, те, что получше, бывший муж Вальтерс продал с аукциона вместе с другими вещами, так что мне нужно было самой обзаводиться каким-нибудь гардеробом. В свободные минуты в Киплоках я шила себе обновы, так что пригодилась и моя портняжная выучка. Недаром говорят: все хорошо, чему человек научится. Жизнь пестра, в детстве и ранней юности не скажешь, какие дни ждут тебя впереди».

По ночам домашняя учительница лихорадочно что-то писала... И однажды с почтальоном отослала в Ригу, в журнал «Ауструмс» толстый пакет: поэму «Дочь солнца». Ответ, полученный ею из редакции, был как две капли воды похож на письмо, едва не доведшее в Вильне до самоубийства Яниса Плиекшана. Эльзе сообщали, что поэма для печати непригодна и что ей вообще не следовало бы браться за поэзию. «Я горько рыдала, молилась... Ночью подошла к окну и долго вглядывалась в темные просторы неба. А там, как раз напротив, мерцала яркая-яркая звезда. Ни разу я не видела такой яркой звезды, как эта. «Она моя. Это моя звезда», — пришло мне на ум. И я в это поверила. Но раз у меня есть путеводная звезда, притом такая яркая, значит не могу я просто так пропасть со всеми своими стремлениями, идеалами. Дух мой утешился, в душе оттаяли прежние надежды и силы. Я решила продолжать свой путь и бороться...» Позднее отрывки из отвергнутой поэмы были опубликованы по-латышски и в немецком переводе, причем известный немецкий поэт и критик фон Андреянов сказал Аспазии: «Поэма ваша — багряное вино в золотом сосуде». Во всяком случае, так она запомнила. В конце концов, поэму опубликовал целиком тот самый журнал «Ауструмс», который сначала ее отверг.

В следующем доме, где работы у домашней учительницы было еще больше, Аспазия сочинила едва ли не самую знаменитую свою пьесу, «Вайделоте». «В главной героине, Мирдзе, я изобразила саму себя. Мирдза — одновременно и ангел, и черт, и человек». Ну что, читатель, — поняли, с кем мы имеем дело? (Шучу).

1891 год. Бывая в Елгаве, Эльза, как правило, заходит в редакцию газеты «Тевия». Ей весьма льстит, что главный редактор, он же председатель местного Латышского общества, раскланивается с ней на улице.

Приветствует Янис Чаксте и следующего прохожего, — это молодой помощник присяжного поверенного Янис Плиекшан. Как же с ним не поздороваться и не поговорить? Юноша — постоянный сотрудник газеты.

Отправляясь в отпуск на месяц, Чаксте просит Плиекшана заменить его в редакции на это время...

В конце июня Плиекшан получил долгожданный пакет из Петербурга.

ДИПЛОМ

Совет Императорского С.-Петербургского Университета сим объявляет, что Иван Христофоров Плекшан, 25 лет от роду, лютеранского вероисповедания, поступив в число студентов сего Университета в августе месяце 1884 года, выслушал полный курс наук по юридическому факультету и оказал на испытаниях следующие познания: в энциклопедии юридических и политических наук, истории русского права, истории Римского права, истории философии права, статистико-финансовом праве, церковном праве, гражданском праве, Римском праве, судебной медицине, немецком языке — отличные, в политической экономии, полицейском праве, уголовном праве, гражданском судопроизводстве — хорошие, в уголовном судопроизводстве и международном праве — достаточные, за которые юридическим факультетом, по представлении диссертации, признан достойным ученой степени Кандидата и, на основании 4 пункта § 42 общего Устава Российского Университета 1863 года утвержден в этой степени Советом Императорского С.-Петербургского Университета 4 февраля 1891 года. Посему предоставляются Плекшану все права и преимущества, законами Российской империи со степенью Кандидата соединяемые. В засвидетельствование чего дан сей диплом с приложением Университетской печати. С.-Петербург, 20 июня 1891 года.

213

В том же году тот же юридический факультет того же университета окончил, сдав экзамены экстерном, другой молодой человек, бывший на пять лет младше нашего героя: Владимир Ильин Ульянов. И.Х.Плекшан был помощником присяжного поверенного в Митаве (Елгаве); В.И.Ульянов был помощником присяжного поверенного в Самаре.

Оба молодых юриста по специальности будут служить совсем недолго.

К слову: успехи Яниса Плиекшана на юридическом поприще незначительны. Голос его негромок и манера говорить не слишком выразительна. Первое самостоятельное дело он проигрывает. Второго же, кажется, так никогда и не было.

Плиекшану 25 лет, скоро будет 26; Ульянову 21, Доре Плиекшан столько же. Яннису Янсону — 19. Летом 1891 года Янсон перешел на

второй курс историко-филологического факультета Московского университета. Он невысок, очень крепок, глаза карие, замечательно умные, с хитрецей; он юноша веселый и шумный, любит похвастать, и никого это не задевает: друзья им любят. Остроумный, заразительно жизнерадостный молодой человек. Поллюбуемся и мы им: ах, как хорош! С Янисом Плиекшаном, Петерисом Стучкой, Аспазией, Дорой он встретится на протяжении последующих двух лет и окажется впаян в их судьбу навеки.

Все основные персонажи романа выстроились, помашем им.

Андрей Стерсте — своему помощнику:

— Мне предлагают пост редактора в «Диенас Лапа». Вы ведь знаете, она мое любимое детище. Стучка устал... или у него другие планы. Вам лучше знать, ведь вы друзья?

— Это верно. Мы, правда, давно не виделись.

— Я, к великому сожалению, никак не могу принять это предложение. А вы? Моя первая мысль была о вас. Беритесь, а? Ручаюсь, у вас получится.

— Получится? — переспрашивает Янис Плиекшан с сомнением и — с надеждой.

— Решайтесь! Выручайте, в конце концов, вашего друга!

Выручать друга? Это мотив. Жаль только, что друг не сам попросил об этом.

Янис Плиекшан соглашается. И уже в этот момент незримый, неуследимый поворот совершается в настоящем и будущем латышей. Поворот, который заметен станет через годы, а длинным эхом будет откликаться и через столетие.

Процедура передачи полномочий и утверждения нового редактора заняла не один месяц.

Вместе с сестрой Дорой он живет теперь в Риге, снимая квартиру из шести комнат.

Райнис, из набросков к роману: «Третья попытка. Рига, редаKTуpa, первоначальный пыл. Признание Стучки, что он исписался; и мне не советует задерживаться в этом кресле, — разве для саморекламы?»

«Третья попытка» удалась (первые две: книжка стихов, отвергнутая Дорой и издателем; бегство из Вильнюса в Елгаву, недолгая адвокатская практика).

Петерис Стучка был неплохим редактором. Он продолжил начатое предшественником и передал газету в руки друга без потерь. Но и без особых приобретений. Это была та же «Диенас Лапа», какую они знали со студенческих времен. Или почти та же, ибо газета медленно дрейфовала вместе с временем, как рыбацкая лодка с льдиной, в которую оказалась впаяна. Стучка-редактор был в меру добросовестен, в меру горяч, в меру хладнокровен.

Янис Плиекшан привнес в то же занятие страсть. Газета вскоре стала походить на своего редактора: молодость, нервность, саркастичность и пылкость суждений, величайшая самоуверенность, величайшая неуверенность в себе, преданность друзьям, беспощадность к недругам, чудовищная любознательность.

Демоны, — выражаясь языком Аспазии, — мучившие его, если и не оставили Яниса навсегда, то затаились. Дел оказалось так много, что отдать этим самым демонам на съедение было нечего. Ничего, не маленькие, подождут.

К этому времени уже относятся достоверные воспоминания тех, кто был рядом. Один из памятливых друзей — Паулс Дауге, будущий зубной врач, революционер и философ, а главное — друг и Райниса, и сестры его Доры, и Петериса Стучки с момента знакомства и до конца дней. В описываемое время он помощник учителя, живет в провинции, ему двадцать два года.

П.Дауге: «В Райнисе и при первой встрече не было ни следа от того олимпийского превосходства, той неприступности, что столь свойственна большинству г.г. редакторов. Когда я постучался в редакцию, меня без всякой предварительной договоренности принял стройный, очень подвижный, приветливый молодой человек, начав с крепкого дружеского рукопожатия. То был редактор Плиекшан — будущий Райнис. Никакой официальной части, как это бывает обычно. Мы сразу же поняли друг друга. Я начал писать, Райнис — править и печатать, и без лишних слов мы сделали товарищами в ходе общего труда. Наша дружба так же стара, как наше знакомство. В эти молодые годы, в эпоху бури и натиска родство взглядов обнаруживалось инстинктивно — по блеску глаз, по слову, брошенному мимоходом. Уже со второй или третьей встречи мы с ним были на «ты» и скрепили это событие, по обычаю тех лет, доброй

студенческой выпивкой. Как сегодня вижу его горящие глаза, стремительные движения; вспоминаю, как, вскочив на ноги, с непередаваемым жаром, почти задыхаясь, он воскликнул: «Посмотри мне в глаза! Ты мне веришь? Веришь? Дай твою руку!» — и мы поцеловали руку один другому, поклявшись в вечной верности. Было до крайности непривычно целовать руку мужчины и чувствовать его поцелуй на своей руке. И странный этот поцелуй я не забуду никогда в жизни, так же как не забыл и не забуду нашу клятву. На такой порыв чувства был способен только Райнис.

Во всех его движениях, в манере говорить, в странном мерцании глаз была почти болезненная нервность. В то же время этот пылкий взгляд был женственно нежен, в нем было почти гипнотическое обаяние. А тонкие, красивого рисунка губы легко вздрагивали, их часто трогала улыбка, деликатная и несколько ироничная.

Нервная система Райниса уже тогда была сильно подорвана. Он мучился постоянной бессонницей — вспоминаю, что при этом он почему-то терпеть не мог мягкой постели. Все его существо дышало своеобразным аскетизмом, и в то же самое время порывами налетала радость жизни и юношеская беззаботность. Гостеприимство его было безгранично, но сам он спал на голых досках, прикрытых одеялом, даже без матраца. И остальные его личные потребности были сведены до минимума; ничего не жалея для других, сам он довольствовался самым необходимым. С головой погружившись в духовный мир, телу готов был оставить диогену бочку.

В кругу товарищей Райнис не отличался словоохотливостью. Если же говорил, то всегда остроумно, нередко с сарказмом. В диспуте предпочитал нападать — и был тогда беспощаден. И все-таки в целом ему больше нравилось слушать и наблюдать. Ораторским талантом он не обладал и в буржуазной адвокатуре не сделал бы карьеры. От нервности, — а она как-то сочеталась с его поэтической, импульсивной натурой, — в разговоре часто перескакивал с одного предмета на другой. Впечатления и образы его порывистой фантазии слишком быстро сменяли друг друга (похожее и в еще большей степени я видел только у его сестры Доры).

Такое душевное беспокойство способно было породить впечатление неровности характера, капризности. И действительно, натура Райниса была не из легких. Даже самым близким людям доводилось терпеть не только от смены его настроений, но и от обидчивости, мнительности, по-видимому, наследственной. Почувствовав себя задетым каким-нибудь невинным замечанием, он мог «дуться» часами и днями, создавая своим обиженным молчанием нелегкую атмосферу. Так же бывало и с его отцом...

Вот портрет тогдашнего Райниса, нарисованный другом и современником. Нового тут для нас, может быть, и не много. Но... радость жизни, бьющая через край? Юношеская беззаботность? Да уж не разыгрывал ли он перед посторонними чужую, совсем не свойственную ему роль? Нет, не разыгрывал. И не роль то была, а он сам. Помните, как он красовался, проезжая верхом на коне по Ясмуйже? Как радовался, прыгая на ворохах сена? Как наслаждался даже своей тоской и печалью, если не было под рукой ничего лучшего? Немного таких моментов, вернее — немногие из них зафиксированы. Снова и снова напоминаю (себе и другим): письменные свидетельства, дневники, письма обманчивы, потому что однобоки. Райнис брался за перо не тогда, когда радость была в нем через край. Не в ходе студенческой пирушки и не в самый миг дружеского вдохновения, заставлявшего запоминать встречу с ним навеки. Молчаливый и многотерпеливый собеседник, дневник ему был нужен в минуту сомнения или одинокой тоски. Своих «демонов» он ни ни кого не напускал; кроме прочего, вещь это невозможная для человека воспитанного. Раскрыть другому всю душу? — какая распушенность!

Вот он, север. Северо-запад.

А где ж он брал ласку, радость, ликование, веселье (и вспомните еще хоть два десятка синонимов), которые хоть нечасты, но так заразительны в его пьесах? Откуда великолепие красок и оттенков в его чувственной палитре? Источник-то где?

Да там же. В нем.

К тому же, прожив четверть века, он, похоже, нашел себя. Мы-то знаем, что не совсем себя. И не совсем нашел. И все же: для радости были основания, а ведь она еще имеет обыкновение и без оснований являться в этом возрасте. Немного погодя узнаем, что думает по этому поводу он сам. А пока что — слово Пликшану-газетчику. Как он писал? Вот образчик.

«Назад! Назад!» — кричат Пруссии аж из министерского кресла. Слишком далеко она зашла в развитии, время остановиться и возвратиться — туда, в старые добрые времена, где ни малым ребятам, ни рослым юнкерам, ни толстым отцам семейств не нужно было бояться этого ужасного школьного учителя с его азбукой. Обрежем крылышки прогрессу, иначе народ, спеша вперед и вперед, упадет прямоком в пропасть: в социал-демократию, а от социал-демократии его могут спасти только те добрые старые времена, когда не было социал-демократов. Были же единственно господа и слуги, и слуги были послушны своим

господам и довольствовались хлебом насущным, не требуя духовной пищи, и были спокойны и счастливы, ибо истинное счастье и мир — в умеренности. Народный учитель — вот кто всему виной: он учил немецкого Фрица, учил и учил, покуда тот не поумнел чересчур и не вообразил, что он равен тем, кому он вовсе не равен. Теперь в Пруссии вот-вот все пойдет согласно поговорке: «Ты барин, я барин, а кто ж будет свиней пасти?..»

Написано в 1892 году о Пруссии — но и с Латвией, и с латышскими школьниками и учителями была та же проблема. Спихнулись первыми балтийские бароны и полубароны и все громче предупреждали: опомнится рано или поздно и правительство — не надо, не надо было пускать латышей в школу, в университеты, нечего было забивать им мозги ненужной ученостью. Скоро не то что свиней некому будет пасти, — не останется в крестьянских семьях ни одного верноподданного российской короны, потому как с каждой новой буквой и фразой, вычитанной в книгах, латыши проглатывают бактерии дерзости и вольномыслия, грубости и зазнайства. «Назад, назад!» — кричало все в тех, кто терял мир, спокойствие и богатство, теряя послушных, кротких работников. Но куда «назад»? Старые добрые времена превращались на глазах в розовую мечту, самую несбыточную из всех возможных: семь столетий балтийского рыцарства кончались, кончились, прекратились, и никто не знал, что теперь, что дальше.

Еще во времена Бергманиса в «Диенас Лапа» появилась однажды статья под названием «Новое течение в латышском народе». Речь шла о том, что наиболее талантливые и образованные из латышей наконец-то поворачиваются лицом к своему народу или, по меньшей мере, осознали, что это необходимо, дабы дело народное не пошло по неверному пути или не погибло вовсе. Статья забылась, а словцо «новое течение» — осталось и укоренилось. Имя, как бывает, приготовлено было раньше, чем появилось на свет дитя.

«Новое течение» оказалось подходящим названием для того, что делал в своей газете Янис Пликшан.

Он не только сам вел иностранный отдел, писал дважды в неделю передовицы, говорил с каждым автором, с издателем Бисниексом, с официальными лицами — от цензора до губернатора. Он первым из латышских редакторов начал заботиться о единстве номера; разрозненные черты становились лицом газеты, вырисовывавшимся день ото дня яснее. Сам для себя он это сравнивал с системой лейтмотивов в операх Вагнера: там можно слышать, как мощный замысел подчиняет

себе, вбирает в себя все и вся; темы и судьбы оказываются соотнесены и связаны.

Газета обрастала людьми, поверившими в нее. И в него, в редактора. Влюбленными в свое новое дело. И в него.

Он называл их братьями. Чаще мысленно, реже вслух. Настоящие его братья умерли во младенчестве. Эти люди, в большинстве совсем молодые, могли бы быть его братьями. Если б были, он не относился бы к ним лучше. Лучше нельзя, некуда.

Он и к братьям временами был бы недоверчив, и обижался бы иной раз на них, и наказывал холодным молчанием. И радовался бы очередному примирению как ребенок.

Любимейшим из «братьев» оставалась сестра, Дора. Она принимала сотрудников, авторов, московских и петербургских студентов, кормила их и поила, отчитывала за роняемый на ковры пепел, переводила для газеты с немецкого статьи и с французского новеллы, вела хозяйство, выслушивала новости и планы, восторги и подозрения.

Она нестерпимо скучала.

Все казалось затянувшимся предисловием к жизни, не жизнью. Столько лет прошло без толку. Раньше отец, души в ней не чаявший, связывал деспотической этой любовью по рукам и по ногам. Теперь брат — он любит ее не меньше, но такой же эгоист. Заставляет жить не своей, а его жизнью. Газетой — что ни говори, слабой копией европейских газет. Виноват, может быть, и не редактор — читатель. Пока здешний читатель не вырастет, его придется кормить с ложечки всей этой бурдой. Чудовищными романами с продолжением. Прописными истинами. Наивными анекдотами. Полувыдуманскими городскими происшествиями.

Она всегда хотела учиться. Мечтала о Высших женских учебных курсах в Петербурге. Говорят, одним из основателей был знаменитый химик и композитор Бородин. Янис привез из Петербурга популярные переложения из его оперы «Князь Игорь». И просил играть чаще всего арию восточного хана, Кончака, даже подпевал сам: «Ты один меня не боялся, пощады не просил, князь. Не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы быть, ты поверь, князь». Ишь ты: братом твоим! У музыки этой были, казалось,

раскосые глаза: азиатчина, диковинная смесь коварства и благородства... Бородин в Петербурге умер, курсы закрыли.

Она хотела учиться. И встретить, наконец, человека, который не станет требовать в обмен на любовь ее жизнь и личность. Захочет, чтобы она осталась собой. «Милый братец просто скушает меня вместе с туфлями и заколками. Высосет без остатка, как мы вместе высосали нашу бедную Лизе». Выйду замуж — не позволю поднять себя ни мужу, ни детям. Им же лучше — в тысячу раз интереснее. Янис даже не спросит: что я чувствую? О чем думаю? Довольна ли? Да что там «довольна»: жива ли? Иногда кажется — нет, не жива. Хочу в Петербург или в Париж. Хочу в Европу. И что эта публика так возится со своей пресловутой латышскостью? Я, должно быть, не латышка. Меня в колыбели подменили. Но не цыгане же? Нет, не цыгане. Слишком я бела, «бледна как мрамор», высказался один студентик. Господи, закричала бы я, будь я верующей. Ведь я старею! Двадцать два года, с ума сойти! Лизе, бедняжка, только бы не повторить тебя! Прости мою мысль, — но только не это!

Из писем Доры сестре Лизе.

«Ничего не желаю, не надеюсь, не жду ничего и живу кое-как от одного дня до другого, избегая всякой мысли о будущем. Я — словно бы и не я, а некое чужое, равнодушное существо, я ничего не делаю по своей воле, а плыву по течению, не зная куда, и от меня не зависит направление движения, ведь у меня нет никакой определенной цели».

«Хотела бы следовать твоему благородному примеру и жить только интересами брата, — в будущем, хочется верить, судьба ему вернет полной мерой то, что отнято было у нас. Это все прекрасно, но для меня неосуществимо. Я не только не такая самоотверженная, как ты, но наоборот, эгоистичная, без меры эгоистичная, да и это не вполне точно: я попросту не способна на жертву».

«Бога ради, не устраивай мне больше таких неприятностей, не нужно этих утешений, ободряющих слов в конце письма. Брат теперь меня пытается без конца: на какие такие обиды я тебе жаловалась, почему тебе пришлось меня успокаивать. Так что больше — ни-ни, никакой морали под занавес, никаких утешений».

«О надписи на памятнике отцу я брата не спрашивала, мы в последнее время опять не говорим друг с другом».

Есть у Доры школьная подруга, Ядвига Шейко, она родом из Литвы. Обе мечтают о самостоятельной жизни, о дальнейшей учебе, обе

лихорадочно ищут, разузнают — куда можно податься? Не везде достаточным считают документ об окончании школы для девочек в Земгальской Гриве и диплом домашнего учителя, который там выдавали: например, в Лекарственном институте в Петербурге требуют аттестат об окончании полного курса гимназии. Либеральней, по слухам, порядки за границей, в Швейцарии. Дора пишет сестре: «Лучше бы всего попасть в Цюрих или Берн, — какой простор, какая свобода! И жизнь там не в пример дешевле...»

Сказано — сделано. В сентябре 1892 года две подруги без особых осложнений поступают на медицинский факультет университета в Цюрихе. Отметим: Дора Плиекшан — первая из латышек, поступившая в университет.

Комнату девушки снимают на двоих. Жизнь в Цюрихе вовсе не так дешева, как им рассказывали, — приходится экономить на дровах и продуктах.

Янис не препятствовал отъезду сестры. Напротив — помогал собраться в дорогу, дал, как старый студент, немало полезных советов.

Оставшись один, он тут же выехал из опустевшей квартиры. В пустующем помещении, которое издатель Петерис Бисиниекс снял под книжный магазин, нашлась комната для редактора и еще одна, где он свалил в беспорядке ненужную теперь мебель. Ел Янис когда и где придется, большей частью по трактирам. Сестре в Цюрихе не писал ни слова.

Ни слова! Да и что он мог бы ей написать? Что из-под ног его выбита опора? Что он выть готов от одиночества? Что кроме смешной *идеальной* любви никакой другой он не запасся? Он продолжает выполнять редакторские обязанности, засиживается допоздна в кабинете, готов чуть ли не ночевать там; он произносит слова, выслушивает слова, пишет слова, читает слова, но все это — машинально: из слов и движений ушел смысл. Дома никто его не ждал, да и какой дом? Дома, как всегда, не было. Где-то в чужом краю и присоседившись к чужому гнезду жили, тревожились о нем матушка и Лизе. Неблагодарный, он не умел оценить их заботу, он о них вообще редко думал. Странная штука. Все осталось как было. Тот же город вокруг. Те же люди, не лучше и не хуже. Но из всего точно вытащили душу. Не осталось смысла в суете, дружбах, вражде, в работе ума, продолжавшего крутиться на полных оборотах вхолостую. Его неприятно поразило, что в глубине памяти обнаружались и торчали, как ненужная и неустраиваемая железка, слова

из Нового Завета: *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.* Раздражала правота древнего, по-видимому древнего, назидания. Ночью вспыхивали, точно огненные надписи на стене, еще какие-то обрывки Писания. Прекрасно сохраненные памятью, оказывается. Раздражало то, что самовольно возникавшие в нем, в районе груди, истории и притчи и фразы были исполнены мощной поэзии. В пятнадцать лет он, пожалуй, не в состоянии был оценить эту мощь. Сейчас она была так очевидна. Поздно! — он не сделается верующим. Но слышим ему быть не заказано.

Есть механические, заводимые ключом игрушки. Какая-нибудь металлическая лягушка прыгает, пока до конца не разойдется пружина. Он был сейчас игрушка, в которой кончался завод. Последние механические, судорожные движения. А завести его сызнова было некому.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦЮРИХ

Тысячи людей столпились на площади, он их видел ясно, каждого в отдельности и всех вместе, видел тысячи указательных пальцев, пухлых детских, и жестких мужских, и сморщенных и кривых, старческих, и все эти пальцы были уставлены в него; он видел разинутые улюлюкающие рты, черные ямы, он видел прекрасные девичьи лица, румяные, свежие, но искаженные гримасой презрения и гнева, и девичьи лица были страшнее всего, потому что кроме короткой рубахи на нем ничего не было, и не прикрыть срам, руки связаны, он стоял на помосте перед толпой в этой детской рубашонке, ничего не закрывавшей, и хотел бы сжаться в точку, в ничто. «А-а-а!» — редела толпа, он был и толпою тоже, он орал, улюлюкал вместе с другими и не заметил, как изменилось что-то: гул пошел на убыль, а вместо него возникал некий шелест... Это первые кто-то начинали смеяться, сперва почти беззвучно; вот кого-то прорвало, вот другой толстяк расхохотался отрывисто, точно закашлял, лица расщеперились в смехе; всё на площади хихикало, булькало, заходилось от смеха, сгибалось напололам: шут, смотрите-ка, шут! Ну и обвел нас вокруг пальца, дурак! Скоморох — он и должен гулять без штанов; где он? Вон, как петух безголовый: взлетел — опустился, взлетел — опустился! Он смеется вместе с другими, вихляется над толпой, выше всех, ниже всех, как брусчатка у них под ногами, как...

Приехали. Цюрих.

Дора встречает его. Побледневшая, ставшая точно бы выше и строже. Вот подула наверх, убирая прядку со лба, — это она; вот повернулась в профиль, незнакомо очерченный, гордый, как на камее: нет, другая, другая.

Разве не Дора назвала его шутом — там, в Вильне? Она была бы права, если б я был поэтом. Даже Гете — шут, когда он не тайный

советник; шут — не шут, но уж лицедей как минимум: он побывал и Фаустом и Маргаритой, только доктором Вагнером — нет: шут не умеет притвориться посредственностью.

Все это мелькнуло между его поцелуем в щеку и ее поцелуем в щеку. И Ядвига, подруга Доры, тоже подставила щечку для поцелуя и рассмеялась, когда он долю секунды помедлил; Янис вспыхнул. Как легко заставить его покраснеть.

Дора рассказывает о житье-бытье двух студенток. К Ядвиге брат приезжал двумя месяцами раньше: боже мой, как я ей завидовала! — как там Лизе, мама? — ты не пишешь... ты так долго не писал — почему? — как всегда, перескакивая с одного на другое, — я тебя познакомлю... Но за непрерывным потоком слов что-то скрывается: рассеянность? Растерянность даже? Она мне не рада? Эти взгляды искоса, два или три, она думает, незаметные: сочувствие, почти оскорбительное, как у постели неизлечимо больного. Или мне показалось? Проклятая мнительность. А Ядвига? Мы совсем забыли о ней, как бы не обиделась. Вот кого не испортила граница: она сделалась даже как-то проще, домашнее. Раньше слишком сомневалась в себе и на всякий случай оцетинивалась всеми иглами. Как я?

Злая радость, злорадство переполняло его, когда Дора отчаянно призывала брата в письмах. А кто рвался вон из нашего общего, обжитого дома — все равно куда, кто отталкивал обеими руками все, что окружало тебя, что любило и удерживало?..

Он готов был броситься ей на шею, чтоб весь лед последних двух лет во мгновение растаял, он готов был раскрыть ей всю душу, все забыть и простить. Но и — отпрянуть: если перед тобою чужак. И замкнуться. И ни слова не проронить из единственных, только им, только их детству принадлежащих слов. Может, она не с тобой, может быть, даже из тех, кто готов над тобой потешаться. Ты допустишь чужого в святая святых? Чтобы над твоими тайнами надсмеялись, чтобы толпа свистела и гоготала, уставив в тебя корявые пальцы?

Он любил ее и — впервые — боялся.

Дора разрывалась между любовью к брату, жалостью и досадой: если б он приехал пораньше, когда она так тосковала, так мечтала о встрече; если бы месяц назад удрал он из этой своей «Лапы» или... или когда-нибудь потом, не сейчас.

Да, было время ностальгии, было нестерпимое желание вернуться домой, ко всему привычному и простому. С Ядвигой они уже не жили в одной комнате — ну, этого-то следовало ожидать, та и не скрывала, что не умеет делить одиночество ни с кем. Хорошо, что расстались дружески. И ведь правда: я сгорала от зависти, когда приехал к Ядвиге ее обожаемый брат, все бы отдала тогда, лишь бы Янис был рядом. Но с тех пор много воды утекло. Знаменитый сюжет: похищение Европы. А меня Европа похитила...

Не так уж давно *сыночек*, Янис воплощал для нее все соблазны другого, нездешнего мира, могущество и свободу далекой, подлинной жизни. Теперь он был попросту жалок. Он даже стал ниже ростом, — может ли такое быть? Значит, может. Или она так выросла?

Первых два месяца — сплошная растерянность. Какой смешной, внутренне зажатой и неловкой провинциалкой она сюда явилась! Хорошо еще, они с Ядвигой не держались друг за дружку, не ухватились одна за другую, чтобы не упасть... Она и вправду падала камнем со всей своей беспомощностью и никому-не-нужностью, — но перед самой землей что-то треснуло за спиной, в районе лопаток; вылезло нечто некрасивое, скомканное. Так учат птенцов. Крылышки, новорожденные, слабенькие, расправились — удержали. Чудо.

И не просто свободы она вкусила вместе с холодом и голодом, делавшими тело легким. Каким-то светлым потоком омыло всю ее, внутри и снаружи, она купалась в этой новой свободе, бултыхалась и ныряла, молотила руками и ногами, крутилась колесом, а внутри, в ней самой, дурачилась и пела, светилась, смеялась та же свобода. Она переродилась, омытая этой живой водой, и была теперь другим человеком.

Это новое окружение, университетский пестрый народ виноваты были во всем: раскованные, от рождения свободные люди, говорившие на полудюжине языков, ничего и никого не боящиеся, умеющие даже голодать весело и с каким-то особым студенческим шиком. Бунтари и бунтарки, целующиеся напропалую, ни в грош не ставящие буржуазные добродетели, говорящие и думающие наполовину стихами. Свободны были их движения, жесты, походки, повороты головы. И в одежде, в покрое блузок и платьев, в их разнообразной небрежности была свобода. В улыбках. В зевках. В умении говорить без слов — переглядываясь через головы непосвященных, кивком, усмешкой, забавной гримасой. Они не боялись быть некрасивыми! И никто никому не завидовал. Чем талантливей другой, тем с ним интересней. Как это замечательно —

носиться не со своим талантом, а с чужим, откупоривать в людях дарования, как откупоривают шампанское: грохот, блеск и — пробка в потолок!

И потом был Франци, была Мария: два, может быть, самых свободных и красивых человека. Франци Блей и Мария Леман.

Отец Франци, австрийский миллионер, совсем как в романах, прогнал его из дома, чуть не проклял. Причина? — теория и практика свободной любви. Он из Вены, она — из Бадена. Франци и Мария жили как муж и жена, вовсе не помышляя о браке. Они обещали друг другу полную свободу — и, может быть, подсознательно — стремились доказать, что верны обещанию. Дору вовлекли в эту дружбу-любовь, как решающий довод. Дора не совсем понимала, зачем Марии понадобилось толкать ее в объятия Франци; Франци, кажется, понимал. Он все понимал.

Из письма Доры сестре.

«Я запуталась в невообразимом хаосе чувств. Мой разум не в силах постичь и понять, как может любить меня этот человек, стоящий неизмеримо выше меня духовно, с этим блестящим, пронизательным и критическим складом ума, с его связями, — ведь он дружен с самыми знаменитыми из современных писателей и мыслителей, сам он и прозаик, и поэт, всеобъемлюще образованный. И юрист, и экономист, скоро будет доктором... Все во мне перепуталось: и удивление, и уважение, и любовь, и дружба».

Да, Мария сама способствовала их сближению, а затем устранилась, уехала в Германию — надолго ли? И не виновата ли Дора перед Марией несмотря ни на что, не злоупотребила ли она ее дружбой?

226

Ко всему прибавлялась и еще проблема: в университете возникли сложности, связанные с их образованием и с полученными в Гриве дипломами. Ядвига решила перебраться во Францию, где эта проблема легко улаживалась, и Доре предстояло тоже решить, ехать или оставаться.

В эту сумбурную, необычайно запутанную и густую жизнь въехал брат — потускневший, издерганный, не похожий на себя. Дора искала в себе хотя бы отблески прежнего обожания — и не находила. Он и это чувствовал, поглядывал с недоверием...

Дора Пликшан — сестре Лизе:

«Ядвига тоже с первого взгляда заметила в нем перемену: куда-то исчезла прежняя искрящаяся, саркастическая речь, его особенная манера держаться в присутствии посторонних, выказывать при чужих

наилучшее настроение и состояние духа; поздней она сказала даже, что он выглядит как совершенно сломавшийся молодой старик».

«Я бы и рада ему помочь — но чем?» — говорила Дора подруге. «По-знакомь его со своими поляками. Своди на конгресс Второго интернационала. Сведи с Розой Люксембург... Со стариком Бебелем. Ты же говорила, что вхожа повсюду? Отвлеки его от самокопания. Он большой человек, только запутавшийся. И страшно одинокий. Он крупнее даже твоего Франци, если хочешь знать». «От кого ты защищаешь брата, интересно? От меня?» «Я хочу, чтобы ты защитила его от него самого».

С легкой руки Франци и Марии Дора оказалась в центре бурной политической жизни Цюриха, вернее, обосновавшихся здесь революционных групп. Русские, польские и немецкие социал-демократы с некоторых пор принимали ее как свою.

Дора вспоминала через годы: «1 августа 1893 года должен был открыться Третий конгресс II Интернационала... Открывал Цюрихский конгресс седой Ф.Энгельс. Его речь сопровождалась бурей аплодисментов, но Энгельс указал рукой на портрет Маркса, давая понять, что аплодисменты эти относятся не к нему, а к его гениальному другу. В конгрессе участвовали Вильгельм Либкнехт, Бебель, зять Маркса Лафарг и др. В качестве переводчиков выступали дочь Маркса Элеонора, Клара Цеткин. Райнис, к сожалению, смог побывать только на заключительных заседаниях и слышал лишь последние речи. С помощью моих друзей — польских революционеров удалось устроить встречу Райниса с Августом Бебелем. Тот останавливался в дни конгресса на квартире у своего зятя. Райнис нашел его распростертым на полу — он прилаживал ножку к какому-то дивану. «Видите, возвращаюсь к своей основной профессии», — шутил Бебель. В молодости он был столяром... А Бебель снабдил Райниса марксистской литературой: «Манифест Коммунистической партии», «Эрфуртская программа»... подарил и свою книгу «Женщина и социализм». Его простота сообщала всей беседе интонацию особой сердечности. Он дал Райнису и чисто практические советы: как перевезти на родину нелегальную литературу, — соответствующий опыт у него самого был. Август Бебель написал ему адрес мастера в Цюрихе, изготовившего потом для Райниса теперь уже легендарный чемодан с двойным дном, в нем-то Райнис и перевез полученную от Бебеля литературу».

«Старику» Бебелю было пятьдесят три года, и Яниса поразила больше всего его юношеская увлеченность, «огненный взгляд», придававший неотразимую убедительность каждому его слову. Бебель и Вильгельм Либкнехт, с которым вместе они провели два года в тюремных казематах, были к этому времени признанными лидерами немецкой и мировой социал-демократии. В Цюрихе иной раз казалось, что полчеловечества готовы носить их на руках; злобные выпады швейцарских, немецких, французских, английских газет только прибавляли им славы.

Медленно, далеко не сразу загорелся и потухший было взгляд Яниса Пликшана. Бебелю он понравился, — несмотря на жуткую занятость, один из руководителей Второго Интернационала встречался с ним несколько раз с глазу на глаз.

Дора еще не знала о глубине и силе переживаемых братом перемен. Да он и не собирался показывать ей, что меняется. Слишком велика была нанесенная ему обида. А ревность?

Из письма Доры — сестре:

«Он избегает встреч с Блейем, — то ли хочет оставить нас наедине, то ли ему рядом с ним не по себе. Впрочем, иногда он вступает с Фр. в долгие диспуты...»

— Дора... ваша сестра озабочена тем, что вы так озабочены выживанием вашего языка, народности. Не кажется ли вам, что это... как бы сказать, вчерашняя проблема?

— Почему же вчерашняя, а не завтрашняя?

— Потому что классовая солидарность переступает через национальные различия. Вы ведь были на Конгрессе? Какое единодушие! И несхожие языки — лишь досадная помеха на пути к пониманию, лишняя морока для переводчиков.

— Не согласен. Говорить можно только на родном — или на чужом языке. Сейчас, в данную минуту вы говорите на своем родном, а я — на вашем.

— Тем не менее, мы прекрасно понимаем друг друга?

— А вообразите, что и вы и я говорим по-латышски и тоже прекрасно друг друга понимаем.

— Хм... У Жан-Поля есть недурная фраза: «Для земли было бы так же плохо, будь она заселена одними немцами, как если бы их вовсе не было».

— Земле в данный момент не угрожает, что она окажется заселена одними латышами. По случайности я помню, что Жан-Поль добавлял еще: «Ни один народ не заменяет другого».

— Согласен, согласен! Не заменяет. Но предполагается, что в будущем — не таком уж далеком будущем — нации отомрут. Бога ради — я согласен, чтобы первой отмирала не ваша, а моя нация.

— Чтобы умереть, нужно как минимум родиться.

— Недурно сказано.

— Мы не младенцы. Балтийские языки — в прямом родстве с санскритом. Когда-то в Петербурге я занимался этой проблемой. У нас древний язык, но как народ мы еще не жили.

— Признаться, я думал больше о наших, чем о ваших проблемах. В Германии, да и в Австрии все это весьма остро. Для нас типичен националист-филистер. Ничтожество заявляет: «Да, я ничтожество, я негодяй и невежда, но насколько же я выше умника-француза: он как был так и останется лягушатником, я же — настоящий ариец!» Понимаете? Можно быть никем: нация вывезет.

— Никто никем и останется. И я люблю шовинистов не больше вашего. Но сделайте Гете англичанином, а Шекспира немцем. Представьте их себе в этом качестве. Что, не получается?

— А... зачем?

— Затем, чтобы убедиться лишний раз: выход человека к человечеству возможен только через родной, материнский язык, через свой народ.

— До того, как была разрушена Вавилонская башня, существовал иной выход. Он может найтись и теперь. С развитием путей сообщения, с новыми социальными отношениями отомрут границы. Расы, нации, языки перемешаются, сольются воедино, это может произойти на протяжении трех-четырех поколений... ну, десяти, — что такое десять людских поколений для истории?

— И какой же язык возобладеет в итоге? Немецкий? Английский? Французский? По-моему, вы из всех пернатых предполагаете оставить одних канареек или там воробьев, — их больше. Мне хотелось бы, чтобы остались все породы птиц, все до единой, чтобы кукушки куковали, утки крякали и прочая, и прочая.

— Сравнение в качестве аргумента всегда слегка прихрамывает. Один мой приятель утверждает, что национальное чувство в большой концентрации опаснее динамита. Но и это всего лишь сравнение.

— Вы еще не наспорились? — подошла к ним и мягко взяла брата под локоть Дора.

Из письма Доры Плиекшан — Лизе.

«...Видя его таким, я не осмеливалась задеть его малейшим словом, не решалась вторгнуться в эти темные глубины... Было что-то бесконечно

тяжелое, давящее между нами, он ни звуком не заикался, не спрашивал о моем внутреннем человеке, я — о его; все время стояло между нами что-то непреодолимое... А вот с Ядвигой он может часами говорить о том, что ему близко. Они очень хорошо понимают друг друга, он ей рассказывал даже о вещах, о которых, пожалуй, не сказал бы никому другому».

Так полужнакомой Ядвиге Шейко доставалось то, что предназначено было ей, Доре.

Янис ни словом не обмолвился об отношениях сестры с Франци Блейем, но за молчанием скрывалось столько тревоги, подозрений и страха за нее, столько безнадежности... Когда Мария Леман телеграммой вызвала своего Франци в Германию и он, торопливо распрощавшись с Дорой, уехал, она увидела на глазах брата слезы. Но и на этот раз он ничего не сказал.

Все твои надежды обмануты, но значит, такие это были надежды: ты не мог не знать, что однажды сестра уйдет своей дорогой, — думал Янис. — Ты прятал голову в песок — так получай свою пустыню! Но теперь... когда она так обожглась... Может быть, Дора вернется? И тогда — посмотрим еще, подумаем, принять ли блудную дочь. Ах, чушь какая. Принял бы, плача от радости. Но она не вернется. Если вернется, то уже не она.

Две вещи, однако, спасали его от отчаяния: социализм и — горы.

230

Горы здесь были вездесущи. Их сахарные головы возвышались над всем: зима над летом, высь над глубиной. Какой глубиной, о чем ты? «Простой взгляд оттуда, сверху. Мы копошимся в бездне».

И до, и после приезда он не раз подумал: «Лучше бы мне было застрелиться там, в Вильне». Но если бы все кончилось тогда, в Вильне, он не увидел бы гор.

Первая мысль на том витке круга, где конец уже готов обернуться началом (Кольцо. Змея, кусающая свой хвост. Все это он перебрал в памяти. Его память была старше его на тысячелетия).

Гора называлась *Риги*. Надо было приехать из Риги за тысячу верст, чтобы в компании Доры и трех польских социалистов взбираться на гору с таким названием. Как хороши совпадения, особенно случайные. Они-то и доказывают неслучайность всего.

Горы были созданы для него. Когда-нибудь хорошо бы оказаться здесь одному. Карабкаться вверх и вверх — чем дальше, тем лучше. И наконец увидеть сверху Таденаву и Питер, Земгальскую Гриву и Ригу, Ясмуйжу и Вильну. Где-то там, окончательно сливаясь с туманным маревом, смотрят, подняв головы, матушка, Лизе... Какой стыд: ты впервые подумал о них! Тебе не совестно? Совестно.

Один поляк в Вильне... Пилсудский была его фамилия*... повторял: совесть — от Бога. Слово «Бог» он произносил после паузы, — явно с прописной буквы. И между тем, враг самодержавия. Революционер, но католик. Да, так совесть — от бога? Спорно, пан Пилсудский. Знавал я атеистов, корчившихся от угрызений, как на адской сковороде. Польские — тоже польские! — студенты толковали ему тогда и о марксизме. Почему он их почти не слышал? Ум не поспел, душа не поспела. «Добрые католики, по-моему, убеждены, что у безбожников вообще нет души. А чем же я мучусь? Не говорите, что только мозгом. Не убеждайте, что только разумом я вместил, впустил в себя навек эти горы».

Начнем спускаться. Переместимся во-он туда, вниз. Постепенно. А если бы сразу?..

И воздух, воздух гор. Они конденсируют чистоту. И влагу. Гора — тоже колодец, но направленный не сверху вниз, а снизу вверх.

Почему я раньше не видел горы во сне?

Он не знал, но душа его, может быть, знала, что воздух Швейцарии — воздух долгих будущих лет, и не одну пару башмаков сносит он на горных тропах страны, которую видит впервые. Чужой страны? — нет, не чужой, уж это он знал. На полпути от земли до неба он забыл о спутниках, даже о сестре. С этим куском начальной природы они оказались в родстве, прямом и неопровержимом.

Несправедливость природы. Швейцария могла бы поделиться с его родиной парочкой гор. Отдала бы и не заметила. «Детские какие-то мысли». Детские, да.

Внизу ждала новая, взрослая жизнь. Окончательно взрослая. Он вот-вот найдет себя навсегда. Половину себя. Или треть. В том, что совершается с ним в Цюрихе, опять же заключены грядущие повороты

* Брат будущего президента Польши.

ПРОРОК И АСПАЗИЯ

В октябре из Швейцарии и Германии наконец-то вернулся Янис Плиекшан. Уезжал «молодым старичком», издерганным, бледным. Вернулся распрявившимся и решительным, точно раз и навсегда понял, что ему делать. Голубые глаза его пылали. Энергия заражала. Все в редакции закрутилось, всему живому и неживому вокруг был дан какой-то электрический импульс.

Сотрудникам, друзьям Плиекшан изложил новую программу. Он был демократом, уезжая. Возвратился социал-демократом. Загораясь сам, Плиекшан поджигал других. Противостоять ему в таких случаях было, кажется, невозможно.

Да, он явился из-за границы другим человеком, — но все-таки не потому, что Август Бебель или кто-то другой вдруг заставил его прозреть. В нем все было готово к приятию новых истин, он уже подошел к ним вплотную. Новей всего были для него в Швейцарии сотни, тысячи единомышленников, для которых его заветные мечты были привычны как дыхание. И еще: мысли и речи, считавшиеся преступными в Петербурге, Вильне и Риге, там, в Европе, вошли в состав воздуха.

Он явился в Латвию пророком нового учения. Он готов был сказать соплеменникам: у вас есть будущее. Будущее теперь было и у него.

Книги, полученные от Августа Бебеля, благополучно пересекли границу. Райнис: «Из моего чемодана выросло социалистическое движение латышей».

Его друг Паулс Дауге: «Осенью 1893 года я вернулся из Берлина и привез с собой в искусно изготовленном чемодане с двойными стенками большую партию нелегальной литературы, питавшей потом латышских студентов и в Тарту и в Москве... Перечитывая недавно собрание сочинений Райниса, я наткнулся на его замечание, что с 1 августа по 15 октября 1893 года он был в Германии и Швейцарии, где глубже

познакомился с рабочим движением. Из поездки он привез «первую социалистическую литературу», и из его чемодана выросло латышское социалистическое движение. Оказывается, у наших с ним чемоданов была общая судьба».

Тут вопрос первенства, занимавший не только Райниса. Но Райниса занимавший всегда. Он считал до конца дней, что социал-демократическое движение Латвии — его детище. «Как Адольф Алунанс — отец латышского театра, так я — отец латышской социал-демократии». Далеко не все готовы были с ним согласиться.

Помните, читатель, московского студента Янниса Янсона? Он уже знаком с Плиекшаном и принадлежит, видимо, к тому кругу молодых авторов, московских и дерптских студентов, что пользуются «безграничным гостеприимством» редактора «Диенас Лапа», выслушивают его саркастические речи, говорят и поют сами, едят, пьют в его доме и роняют пепел на ковер.

Пока Плиекшан встречался с Августом Бебелем, спорил с сыном австрийского миллионера, читал в университетской библиотеке Цюриха запрещенные сочинения Герцена, Янсон выступил в Елгаве с докладом «Мысли о современной литературе». Дело происходило в годовщину освобождения курземских крестьян, которая праздновалась всегда с особой пышностью и при стечении множества гостей. Слушателей было около тысячи, — в том числе представители «лучших фамилий» из Риги и со всей Латвии, латышская интеллигенция чуть ли не в полном составе. Доклад, в котором Янсон, студент двадцати одного года от роду, перечеркивал чуть ли не всю тогдашнюю латышскую литературу и ратовал за реализм, ссылаясь на датчанина Георга Брандеса и другие малоизвестные публике авторитеты, — доклад этот произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Наверное, только однажды в истории каждой литературы и языка можно вызвать такое потрясение двухчасовым докладом о литературных проблемах. Текст был тут же напечатан в «Диенас Лапа». Возвратившийся из-за границы Райнис нашел Янсона знаменитым: молодежь вообще только о нем и говорила. Прочитав доклад, Янис Плиекшан порадовался за Янниса Янсона, — хотя многое из сказанного им промелькнуло еще несколько лет назад в «Малых оводах», да и другие соображения были редактору знакомы, поскольку он сам излагал их молодым друзьям. Доклад не был плагиатом, хотя бы потому, что Плиекшан не потрудился письменно изложить все то, что он щедро рассыпал перед юными восторженными лицами и умами. Яннис вообще

не повторял Яниса дословно, он талантливо и самостоятельно импровизировал на излюбленные темы г-на редактора, он был не просто хорошим, а блестящим учеником. Так это виделось Райнису. Добавим, что *революционным* реферат Янсона был только в смысле литературном: никаким социализмом, никаким тем более марксизмом в нем и не пахло, хотя сам-то автор в Москве почитывал и Маркса, и Энгельса.

Яннис Янсон: «Первые марксистские кружки в студенческой среде стали возникать около 1892 года. Но по-настоящему *новое течение* возмутило застойные воды Балтии только в следующем году, когда после известного доклада в Елгаве о латышской литературе группа единомышленников сплотилась вокруг газеты «Диенас Лапа» и с молодым энтузиазмом приступила к работе».

Это он не о чьем-нибудь — о своем докладе. Будто бы до него не было ни газеты, ни единомышленников. Ничего не было.

Петерис Стучка: «Как известно, честь считаться родиной Гомера оспаривали семь греческих городов. Так и у нас много говорилось о том, кто первым сказал «А». По-моему, это не столь важно и трудно определимо. Факт тот, что в то самое время, когда в русской легальной литературе появилось легальное марксистское течение, оно тут же достигло и нас, появившись почти одновременно и в кружках московских и дерптских студентов и рабочих Лиепаи, и в докладе Янсона в Латышском обществе в Елгаве, и в руководимой Я.Плиекшаном, только что вернувшимся из-за границы, газете «Диенас Лапа».

Вряд ли спорщикам приходило в голову, что через поколение честь основания социалистического и рабочего движения в Латвии кому-то покажется сомнительной. Мнение врагов в расчет не принималось. А если усомнятся не враги? Если повернутся спиной к социализму и к его отцам-основателям те самые *массы*, ради которых все и затевалось? Нет, это было непредставимо.

Итак, в Риге с конца 1893 года издается легальная социал-демократическая газета. Круг ее сотрудников и сторонников расширяется с каждым днем. К ним присоединяются студенты и учащиеся в Елгаве, Лиепае, Дерпте, Москве. (В Дерпте еще с 1892 года действует латышский студенческий кружок, имеющий свое издание — журнал «Пурс», весьма радикальный. Или не журнал — альманах? Выходил он нерегулярно).

«Диенас Лапа» — газета легальная, но рамки дозволенного всем тесны изначально. Гимназисты, студенты, рабочие очень быстро переходят к планам подпольной пропаганды. Редакция и квартира Плиекшана становятся штабом радикалов. Очень юных. Очень наивных. Не очень хорошо знающих, чего они хотят.

Жаль, но я не могу ни в себе, ни в читателе вызвать заново ощущение молодости, вдохновенья, свободы, ощущение дерзости и правоты, связанное для них со словом «социализм». Слишком много и слишком многими было сделано, чтобы отбить аппетит к этому слову и понятию — отбить буквально, в том числе сапогами.

И не меньше гос. страха и гос. насилия подкосила все, что связано с этой материей, скука. Вещи, которые Плиекшан и его молодые соратники добывали, читали и распространяли тайком, с риском для жизни, потом были вменены в обязанность. Омертвевшие строки старинных программ нужно было зубрить и «сдавать», и шершавый язык этих книг и статей сделался воплощением правильности и тощичи. Поражительней всего было несовпадение всех этих опусов и учения в целом с реальностью: жизнь, скрежеща и дергаясь, катилась сама по себе, а учебники в скучных обложках, а брошюры, а книги Политиздата талдычили что-то свое, не в такт, глухие и слепые ко всему, что было, есть и будет. Эрфуртская программа... Протоколы конгрессов Второго Интернационала... Маркс, Энгельс, Лассаль и Бебель, — вы-то в чем виноваты? Найдется ли время у потомков разобраться с вами без спешки и раздражения, без заранее заданного пиетета или презрения?

Человек пятьдесят оказались вскоре вовлечены в бурную деятельность новотеченцев. А потом и восемьдесят, и девяносто. Кроме газеты, процветали в это время дискуссионные вечера, устраивавшиеся в разных обществах — благотворительных, взаимопомощи, профессиональных и даже религиозных. Наши герои поспевают везде и даже вопрос: «Как познакомиться с девушкой?» — умеют повернуть так ловко, что он превращается в политический.

Райнис (поздний):

«Новое течение как таковое не было политическим, — его отнесло к политике. Вообще же это было всеобъемлющее духовное движение, вовлекавшее в свою сферу и социологию, и естествознание, и литературу и искусство, и общественную жизнь, и борьбу за эмансипацию женщины, и философию, и поиски нового мировоззрения. И в политике оно жаждало широты... Девиз Ульриха фон Гуттена: *Ich hab's gewagt!* — «Я отважился!»

— был моим девизом в то бурное время и одновременно девизом всего «нового течения». Мы тогда вышли на суровую и полную опасностей борьбу против темных сил царизма — так же, как Ульрих в свое время против темных сил папства. И еще одно высказывание великого рыцаря, рыцаря света вызывают в моей памяти времена «нового течения»: «*Es ist ein Lust zu leben!*» — «Это радость — жить!» Через долгих тридцать лет, оглядываясь на прошлое, скажу: хотя радость творчества сменялась долгими мученьями, — часть задуманного достигнута, а что не достигнуто, того достигнем в следующих поколениях. Все-таки жить — радость!»

Это я и хотел услышать однажды из его собственных уст. Он говорит это стариком, перевалив на седьмой десяток. Помните, Паулс Дауге писал о «радости жизни», которую излучал по временам редактор «Диенас Лапа»? Мы ему тогда не вполне поверили, кажется. Но теперь услышали от самого нашего героя: да, радость эту он знал. И может, полнее других, не ведавших сомнений и отчаянья, столь знакомых нашему рыцарю.

А вот что пишет Аспазия через... через очень много лет. «По моему мнению, социал-демократия могла бы и подождать еще года два, ведь Райнис ее схему взял за границу, а фабричная система у нас была еще далеко не так развита, как в Западной Пруссии или во Франции. Не забудем, Латвия — страна главным образом крестьянская. Но, конечно, социализм пришел бы к нам так или иначе: в то время в соседних больших странах, России и Германии, он полыхал ярким пламенем, так что искры не могли не падать на соломенные крыши Латвии».

237

Между прочим, в 1905 году Аспазия в сердцах выпалила в одном споре: «Я этот ваш социализм совершенно не понимаю: он ведь выступает против индивидуализма!» Прямо в корень смотрела.

А что поделявает Аспазия в 1893 году? Где она, с кем?

Она — в «одном из красивейших уголков Латвии», километрах в четырех от Лимбажи, учит двух девочек и живет в их доме. Язык обучения — немецкий (на прежнем месте был русский). Роялем ей разрешено пользоваться только во время уроков с детьми. Но зато у Эльзы отдельная комната, где после десяти вечера она корпит над очередной пьесой. Хозяин добродушно увещевает ее: «Ну зачем так себя мучить?

Никакая писательница из вас не получится!» — чем огорчает гувернантку до слез.

Первый вариант пьесы «Вайделоте» («Жрица») «куда-то пропал», и Аспазия в доме богатых арендаторов восстанавливала всю вещь заново. «Что меня заставляло переписывать наново пьесу? Что принуждало отрывать у себя самой минуты долгожданного отдыха и впрягаться в тяжелый труд? Самым сильным стимулом было честолюбие, желание доказать, что я чего-то стою. Вернее, — оскорбленное чувство собственного достоинства, гордость. Я считала, что жизнь и люди обошлись со мной несправедливо. Оскорблена и унижена я была в моем первом браке; вместе с родителями изгнана из родного дома, вместе с ними терпела злорадство завистников и недоброжелателей, которых тешили наши беды и разорение... Я стояла перед выбором: или поддаться отчаянию и завязнуть в трясине, или силой из нее вырваться. Сил и гордости у меня хватало, я решила бороться и выбраться из ямы. Прежде всего нужно было посрамить моих завистников и недоброжелателей. А это возможно было, только показав мое превосходство над гонителями и многими другими. Так что «Вайделоте» в известной мере «голодная песнь». Она родилась в нужде и боли, как отпор унижениям и обидам... Писала чаще всего тихими вечерами и ночью, когда не было внешних помех. Запиралась в своей комнатке и оставалась наедине с образами, рожденными фантазией. Особенно нравилось мне писать, когда за окном ненастье, метель. В холодные осенние и зимние вечера, поближе к на-топленной печи, я с особенным упоением отдавалась творчеству».

Вторая пьеса, написанная при тех же обстоятельствах, называлась «Антония». И она тоже была потеряна — но, по крайней мере, известно, как.

«Я послала «Антонию» в Рижское латышское общество. Пьеса получила первую награду; правда, мне предложили переработать несколько мест, сомнительных «с точки зрения морали». Я забрала рукопись, собираясь поработать над ней. Но, к сожалению, вскоре она была буквально «пущена на ветер». Дело было так. Мы с Яннисом Янсоном, захватив с собой текст пьесы, прогуливались в Риге по Эспланаде. Манускрипт был у Янсона в руках, он читал страницу за страницей. Поднялся ветер. Не пойму, как это случилось, но листы рукописи подхватило ветром и буквально разметало во все стороны. Собрать улетевшие листки не удалось, и моя «Антония» таким образом погибла. У меня осталось впечатление, что Янсон специально пустил ее по ветру, с какой целью — не знаю».

Пьесу пришлось опять же писать заново. Новый ее вариант назывался «Утерянные права». Аспазия заканчивала его в Риге на исходе 1893 года.

Еще в бытность домашней учительницей недалеко от Лимбажи Эльза получила письмо. Член театральной комиссии Рижского латышского общества Бирзманис прочел обе пьесы, выражал свое восхищение и приглашал ее в Рижский латышский театр. Приглашение было принято с благодарностью, с торжеством и с упоительным чувством близкой победы над завистниками и недоброжелателями.

Сезон начинался только осенью. Лето, проведенное у родителей в Елгаве, было заполнено лихорадочным чтением, встречами и знакомствами. В то лето молодежь зачитывалась стихами незадолго до того умершего дерптского студента Эдуарда Вейденбаума. Стихи эти, полные протеста и мрачного веселья, переписывали друг у друга, читали наизусть. Читала, переписывала и запоминала и она.

А затем в Елгаве появился Яннис Янсон.

«Я с ним познакомилась перед 30 августа 1893 года. Из Москвы приехали студенты и зашли навестить мою кузину Августу Зоргенфрей. Был среди них и Янсон, и я впервые столкнулась с ним, зайдя в этот день случайно к моей родственнице. Янсон обратил на меня тут же особенное внимание и пытался сходу завербовать в новое движение. Мне же показалось забавным изображать из себя типичную хозяйскую дочь, интересующуюся рукоделием, всякими подушечками, на которых вышито «*Ruhe sanft*» («Сладко спи») и т.п. Скорей всего, это было 27 августа, потому что на другой день он произнес свою знаменитую речь... Я ее не слышала, — у меня не было приличного платья, чтобы пойти в Латышское общество».

В разговоре с Эльзой Янсон упомянул о редакторе Плиекшане, который «стоит во главе всего движения и очень интересный человек».

«От Янсона лично я не была в восторге. Во-первых, мне не понравились его самодовольство и похвальба. Во-вторых, я не могла согласиться с его полным отрицанием национального».

Вскоре, выручив десять рублей от продажи старых вещей, оставленных когда-то при переезде с хутора у соседей, Эльза Вальтере (урожденная Розенберг) отправилась в Ригу. Там ее встретили — и прямо с вокзала отвезли в Рижское латышское общество, где как раз обсуждалось, как отпраздновать 25-летие РЛО.

Наконец-то. Сошлись эти две линии.

Эльза и Янис живут в одном городе. Эльза Розенберг и Янис Плиекшан не могут не слышать друг о друге. Возможностей не встретиться практически не осталось.

Один из новых знакомых Эльзы — филолог Фрицис Гарайс, выпускник Московского университета. И сотрудник газеты «Диенас Лапа». (Как в детской игре, хочется обозначить это приближение к цели, скрытой пока что от наших героев: тепло... теплее... еще теплее... горячо!)

Отдадим должное Аспазии: она умеет быть благодарной. Через годы, десятилетия не забывает сказать спасибо, иной раз за услугу мимолетную, мгновенную, о которой забыл и сам «объект» воспоминания.

Фрицис Гарайс на страницах ее воспоминаний гость недолгий, но неслучайный. «Идеальнейший человек из всех, кого я знавала на своем веку», — так о нем.

Идеальнейший человек навещает Аспазию, живущую на квартире у двух сестер-актрис Зэфельд (или, в переводе с немецкого на латышский, Эзерлаук. Нам встретятся еще оба варианта). Каждый раз Гарайс заводит разговор о редакторе своей газеты, Янисе Плиекшане. Эльза должна с ним познакомиться! (Тепло). «Два таких человека не могут жить в одном городе и не сойтись». (Еще теплее). Аспазия: «Понятно, не могла же я первой пойти к этому господину, хотя бы и редактору!» (Горячо!)

Конечно же, она пошла к нему первой.

Поводом послужил сам Фр. Гарайс. Вернее его статья.

Дело в том, что Аспазия дала ему прочесть в рукописи свою драму «Вайделоте», которую уже вовсю репетировали в Рижском латышском театре. Гарайс написал на нее, не дожидаясь премьеры, рецензию. И отнес в редакцию, предварительно показав самой Аспазии.

«Рецензия была весьма лестная, но вот характер Мирдзы был понят совершенно превратно. Это взволновало меня до крайности: ведь Мирдза была я сама. Недолго думая, бурей ворвалась я в редакцию «Диенас Лапа», швырнула на стол рукопись и сказала: пишите обо мне как угодно плохо, но не неверно.

Я увидела сидящего передо мной молодого человека, самого редактора — бледного, стройного, в домотканой рубахе, — и почему-то меня охватило глубокое сочувствие. Он обещал все исправить, — а глаза его смотрели на меня как две бездны. Он попросил позволения навестить меня. Я позволила.

На другой вечер, на премьере «Вайделоте», он вошел в зал, когда Даце Акментыня, исполнявшая главную роль, пела:

*Там, где с духом дух сошлись,
Встретились в едином чувстве...*

Он заказал столик и пригласил меня поужинать вместе, но у меня было более раннее приглашение, пришлось ему отказать. Однако вскоре он все-таки меня навестил... Все могло бы выйти иначе, в то время у меня были и всякие другие возможности, но от судьбы не уйдешь».

Что же до самой премьеры «Вайделоте» — она превратилась в триумф. Овации, цветы, подношения, огромный лавровый венок... Автор — молодая, красивая и еще дополнительно похорошевшая от волнения женщина без конца выходила на поклонны. Какая радость сияла и пела в ней, как полно, как буйно наслаждалась она своим торжеством! Ей не приходилось вызывать в памяти свои обиды и своих обидчиков, картины пережитых нужд, унижений, не нужно было вспоминать всех тех, кто советовал «бросить, пока не поздно», «не мучить себя, ведь никакой писатель все равно из нее не выйдет». Ей не требовалось освежать в памяти родительские запреты читать, жечь свечу или тратить керосин: все, все в ней оставалось и помнило, и высота вершины, которой она достигла на глазах у тысячи людей, отмерялась не от подножья горы, а от самого дна пропасти. Ее торжество было и актом мщения всем врагам, завистникам и неудачникам. Ее грела, горячила ей щеки уверенность, что с ними-то покончено раз и навсегда. О, святая наивность! Настоящие-то завистники, истинные зоилы появляются с мгновения такого успеха. Они — прямое продолжение триумфа и славы, а мелкое злорадство тех, кто не без удовольствия наблюдал твои прежние незадачи, скоро покажется так, ерундой...

«Вайделоте» — первая романтическая драма в истории латышского театра, литературы. И вообще первый творческий акт такого размаха, совершенный женщиной в этих краях. И если акт творчества есть выражение высшей свободы, то вечер премьеры — 19 января 1894 года — должен быть вписан в какие-то особые святы.

И все, что было ею сделано в границах языка и народа, было нарушением писанных и неписанных правил, извечных — или достаточно древних установлений. Преступлением была ее внутренняя свобода, немыслимая для латышки еще вчера. Гонения были так же заслужены ею, как и овации. Заслужены те и другие не порознь, а одновременно. Презирать и чернить ее будут за то самое, чему аплодируют. И зачастую те же самые люди.

Зато восхищение Яниса Пликшана чисто, беспримесно. Встреченная им женщина — воительница, смелая, горячая, в ореоле победы и славы. И — поэт, прекрасный поэт, лучший в Латвии!

Они сближаются не мгновенно, но и не слишком медля. Всё, в общем-то, решено, — кажется, что до них и не спрашивая их согласия. Несколько официальных, полуофициальных писем, несколько встреч. И — первое любовное письмо. 18 мая 1894 года.

«Светлая моя дочь солнца! (Дочери и сыновья Солнца и Луны им знакомы с детства по народным сказкам и песням. Кроме того, «Дочь Солнца» — поэма Аспазии, написанная за три года до этого). Прихожу к Тебе со всей своей тьмой — грех, конечно, но не могу не прийти. Что это за дни, вчера и сегодня! Не нахожу себе места. Как холоден мир! Никогда я не видел достаточно тепла. Может, я был слишком горд, чтобы искать его или выпрашивать, но когда-то я и представить себе не мог: так холодно, что душа зябнет. Вижу, что становлюсь сентиментальным, — *ich kann nichts dafür**. Хватило одного твоего взгляда, страстного, обжигающего и мудрого. Я всегда мечтал об этом. Все и на самом деле точно мечта, сон. Истинная жизнь, те мгновенья, когда я держал Тебя в руках, вдыхал Твое горячее дыхание, — сон, сон! Просыпаешься, чтобы очутиться опять в повседневной, глупо-мучительной, ненужной жизни. Да, ненужной, — Твоя правда. Пустой она была и неживой, и если бы Ты не пошевелила своей маленькою ручкой... Бедные твои губы, которые я нечаянно прокусил, — мне их жаль больше, чем всей той жизни. В моих руках, обнимавших тебя, все еще это сладкое ощущение, точно остающийся от цветов запах, и я весь позавчерашний день ходил, окруженный Твоей атмосферой, как Зевс золотым облаком. Мой ум занимали Твои распущенные волосы: как они рассыпались по всей подушке, я их собирал, волосок к волоску, и ни о чем другом не мог думать. Пишу ли передовую статью, углубился ли в политику — на каждом слове меня застигает врасплох какое-нибудь яркое воспоминание, вовсе неуместное. Я не могу писать о новом Кабинете во Франции, — у меня опять на уме наш с Тобой счастливый кабинет**... Пишу про Бисмарка — на меня смотрят и сплывают все доводы серо-голубые глаза; а уж когда на повестке дня закон о гражданском браке в Венгрии — тут и говорить нечего.

* Ничего с этим не могу поделать (нем.).

** В примечании к первопубликации письма (1937 год) Аспазия поясняет, что под «кабинетом» Райнис подразумевал гостиничную «комнату, где происходили наши встречи: теперешний бульвар Райниса, 33».

...Моя несчастная философия, она преграждает мне путь, она встает между нами. Мы не всегда понимаем друг друга, я еще в чем-то от Тебя бегу. Ты мне не вручила еще Твою душу. Но не слишком ли многого я хочу, нет ли тут перебора и не пора ли бояться, что боги нам позавидуют?... Это полное, совершенное счастье души и тела — возможно ли оно, не исчезнет ли, как сон? Плод познания добра и зла, когда его раскусишь, не окажется ли не просто горьким, а полным пепла? Можем ли мы обмануться — и пережить обман? И все-таки: пусть боги завидуют, пусть все это будет сон, только бы был!..

Никогда не писал любовных писем, это грозит стать таковым, хотя я изо всех сил стараюсь оставаться разумным. А Ты — Ты ждала разумного письма? Ты, небось, и не знаешь, до чего человек способен иной раз поглупеть!»

«Ах, милый, — отвечает ему Аспазия. — Два письма я уже порвала, и третье не выходит таким, какое я хотела по-настоящему Тебе написать. Не могу, не могу освободиться от сантиментов — и все тут. А есть еще и сомнения: правда ли это любовь, может, только физическая страсть? Почему Ты любишь именно меня, не другую? Может, Ты был в таком состоянии, что любил бы любую, лишь бы женщина? Может, Ты затеял небольшой роман — так, для разнообразия? Ладно, я согласна и на это. Поиграем какое-то время, пока не надоест... Обдумай как следует и скажи все открыто, так же как я Тебе говорю. Не обижайся на эти мои сомнения. Мне нужна ясность во всем. Ты требуешь моей души? Тебе мало моего тела? Ответь мне на этот вопрос, не обманывай себя и меня. Моя душа... Знаешь ли Ты, чего просишь? У меня ее до сегодня вовсе и не было. Чувственность, физическая страсть, погоня за романтикой, — вот из чего я состою, и любви, по которой тосковала, о которой пишу, я доныне не знала. Душа? Думаю, думаю и не умею ее понять. Что она такое, душа? Может, только настоящая любовь и способна ее пробудить. Как душу Ундины. Так знаешь ли Ты, чего требуешь от меня? Ведь тогда и Тебе придется отдать мне всё: Твою жизнь и будущее, каждое чувство и мысль, пойти на любую жертву, какой я попрошу. У Тебя не будет права на Твою, отдельную жизнь. Ты не смеешь меня тогда оставить, иначе...

Но разве это душа — когда я говорю такое? Нет, нет! Некий темный, злой демон выдает себя за нее. Нет, милый, нет. Я от Тебя ничего не требую, совсем ничего. Но Тебе предаюсь вся — я буду любить Тебя, покуда Ты меня будешь любить. Буду любить Тебя и тогда, когда Ты разлюбишь... Что это — душа?

Успокой меня. Найди те, истинные слова. Хочу правды. Не могу работать, — а мне нужно писать новеллу и Бог знает что еще. В голове сплошной хаос. Я думаю недели три с Тобой теперь не встречаться. Хорошо бы Ты появился в Дубулты только потом, позже, я бы тоже приехала и мы могли бы встречаться у барышень Зэфельд хоть каждый день».

Роман в письмах, начавшийся официальным: глубокоуважаемый господин редактор! Высокочитимая госпожа Розенберг! — в марте 1894 года, простирается на три с лишним десятилетия и, собственно, не кончается со смертью одного из них. В нем тысячи страниц на трех языках. Письма, написанные по-латышски, не переводились на другие языки, а те, что написаны по-немецки и по-русски, никогда не печатались в оригинале.

Любовная переписка двух талантливых литераторов всегда внушает невольное подозрение. То же самое подозрение, что сопровождает, должно быть, любовный роман каждого артиста. Может ли актер, лицедей по призванию, вовсе не играть, объясняясь со своей избранницей? Где и в какой степени этот человек — он сам, а не его роли? И в какой мере прожитые им чужие жизни и страсти отложились в нем, сделались его частью невытравимо?

Писатель, впрочем, не обязательно актер, а если и актер, то несколько иного рода.

Янис Плиекшан к тому же и не знает еще, что он писатель.

Он-то не знает, но знаем мы. Верить ли каждому слову этих писем? Верить. Ровно настолько, насколько верят себе они сами.

Потом, гораздо позже, Райнис выработает целую теорию. Насчет того, что любовь нужно сознательно растить и лелеять, в том числе и при помощи ласковых и любовных слов, на повторение которых нельзя жалеть сил и времени. И многие, многие чудесные слова их начальной любви сделаются ритуалом, будут повторяться почти механически.

Теория блистательно провалится. Когда есть любовь — она есть, когда ее нету, потерявшие смысл любовные выражения становятся страшноваты, как череп в рюмянах.

Но мы — все еще в начале, в 1894 году, и литература почти не мешает двум любящим объясниться. Аспазии исполнилось уже двадцать девять (двадцать шесть! двадцать шесть! — поправляют нас из-за гроба страстно, но тщетно). В сентябре двадцать девять стукнет и Райнису. Он «меланхолик и скептик», по его же словам. И тем удивительней юношеская горячность, которая... которую... Господи, что это я плету и зачем? Пусть говорят письма.

Он: Ты мое спасение, я держусь за Тебя. Каждым словечком, каждым поцелуем, каждым прикосновением руки Ты даешь мне кусочек жизни. Когда встреча? Как далеко еще! Твой, Твой.

Она: Пишу сегодня, иначе сердце остановится от тоски по Тебе... Как бы могли быть счастливы, если б умели!.. Отчего я себя чувствую неловко рядом с Тобой? И боюсь, что не смогу дать Тебе ничего нового. Скажи, я не становлюсь будничной?

Он: Приди ко мне, прижмись, согреемся вместе, как замерзшие дети, я обцелую Твои руки, отогрею их дыханием... Может, мы и не взлетим на крыльях, но как-нибудь вскарабкаемся куда нужно, если только Ты захочешь. Мы ведь хотим идти вперед вместе. От меня толку мало. Но Ты — такой тонкий инструмент, могущий так много, — грех употреблять его не по назначению. Ты нежна как лепесток, сердце Твое так чисто и переполнено теплой любовью. А они нападают на Тебя так грубо!

...Делать нечего, придется время от времени что-то объяснять. Кто нападает на Эльзу, зачем, почему нападает?

Реакция на успех. Издержки славы, или как там ни назови. Имя Аспазии у всех на устах. Уста были разные: почище, погрязней, помоложе, постарше. Всех интересовало, откуда она взялась, чья такая, где росла. Вся почти латышская публика была крестьянской. И дети крестьян, и сами крестьяне, недавно приведенные в город нуждой и надеждой. Латышское население Риги в восьмидесятых-девяностых годах XIX века увеличилось с пяти до пятидесяти тысяч и продолжало расти.

И в театре собиралось население сотен хуторов, воспринимавшее все слухом и зрением, выработанным там, на воле. Деревенская страсть к пересудам занимала в обществе не последнее место. Все хотели знать всё обо всех; все в конечном счете все обо всех знали. Так что через

неделю после премьеры «Жрицы» ни для кого не было секретом, что автора пьесы называли «чокнутой Розенберг» еще когда она лет в двенадцать обреталась в частном пансионе в Елгаве, что гимназисткой она будто бы на пари перебежала через улицу нагишом; что она была замужем, и муж сбежал от нее в Америку; что у нее был роман с русским офицером, а потом с N., а потом с NN; что не так давно ее видели выходящей из дома Имярек, члена Театральной комиссии, в четыре часа утра; что теперь у нее связь с небезызвестным редактором небезызвестной газеты.

Пикантность ситуации состояла еще и в том, что жалованье поэтессе платило Рижское латышское общество, бывшее на ножах с той самой газетой и ее редактором. А г-жа Розенберг, меж тем, преспокойно печатала в этой враждебной газете свои вирши. «Диенас Лапа» взалхлеб хвалила ее пьесу!

«Если тебя хвалит враг, подумай, в чем ты ошибся! — увещевали Эльзу в РЛО. — А эти ваши выступления насчет женского равноправия? Мы на многое готовы закрыть глаза. Готовы даже ваши спорные высказывания публиковать в «Балтияс Вестнесис», прощая вам все, как прощают родители трудному подростку. Но если вы окажетесь перебежчиком, — пеняйте на себя. Не будет ни места в театре, ни жалованья, ни ваших пьес на сцене. И наконец... мы не вправе вмешиваться в ваши интимные дела, но все же... Если вы не думаете о своей репутации, подумайте о нашей! Ах, не обижайтесь, милочка, никто не хочет вас обидеть, обдумайте все на досуге, будьте умницей!» Таковы были отеческие наставления; были и неотеческие. «Стоит залаять одной собаке, как лают все». Эльза думала — не уехать ли, пока не поздно, из Риги: найти где-нибудь в провинции снова место домашней учительницы... Вот об этом-то и говорил, и писал ей Райнис: Ты слишком тонкий и дорогой инструмент, не годится скрипкою гвозди забивать.

Она: Неправда, что я сильная: вот ведь я плачу — и чувствую себя такой слабой и несчастной. Знаю, ты любишь во мне мою силу, вызревающий идеал, а не бедное дитя человеческое, способное и ошибиться. И все же есть во мне что-то и от белого цветка, — смешно, что я сама это говорю, — и от Твоей солнечной яркости. Что-то, оставшееся незадетым во всех жизненных бурях. И надо сказать: да, я сильная, я смогу вынести все. А может быть, я никакой не белый, а красный, обманчивый, смертельно опасный цветок? Если так, хотела б я знать, — и тогда б Ты привлек меня к своему сердцу? Пора заканчивать, но расскажу еще мой сон. Я видела Твою стройную, гибкую фигуру. В жизни

Ты мне даже не настолько нравился, только во сне я разглядела Тебя как следует: кожа Твоя оказалась тонкой как папиросная бумага, она едва прикрывала обнаженные нервы и душу со всем содержимым. И в сердце Твоем был солнечный блеск. И глаза Твои, очи Спасителя смотрели так мягко и исцеляли. Ты целовал меня, и вокруг заново расцветала весна, и целый лес белых-белых цветов был кругом, и они так пахли! Пришли от Твоих волос, шелково мягких, один волосок. А не сможешь прислать — принеси сам.

Он: Как Ты страдала, бедный мой, болящий ребенок! И столько любви — как снести ее? Я не заслужил. Только вечером получил письмо. И, несчастный, не могу к Тебе вырваться ни сегодня, ни завтра, обнять Твои колени, отдаться в Твои руки. Что Тебе скажет глупая бумага? Будь хорошей, душа моя. Не растрать себя. Не отнимай мое счастье, ничего страшного не случилось. Будь снова веселой и милой!.. Не мучь себя и меня, разве мало того, что мы не видимся, а Ты еще терзаешь себя горькими мыслями...

(Аспазия объясняла по поводу этого письма: днем раньше она «рассказала Янису все о своем незавидном прошлом, о трагически темных минутах, о злых свойствах своей натуры; выдала ему такие душевные тайны, о каких редко рассказывает один человек другому. Хотела, чтобы он знал все: кто, какая я есть. Казалось, что после этого он уйдет без оглядки и я потеряю его навсегда. Я пережила тяжелые минуты, вплоть до отчаяния. Но Райнис от меня не ушел»).

Она: Вчера, после Твоего ухода, опять на меня была атака, причем какая! Но я оказалась так ко всему нечувствительна, что, кажется, и худшие грубости восприняла бы как ласку. Что мне может сделать внешний мир? Будто серебряный колокольчик звенит у меня в груди. И в звоне его — воскресение.

Уже сегодня иду в редакцию — и точно кто-то несет меня на руках, так мне легко! Я с таким глупо-блаженным видом смотрела в лицо встречным, словно я каждого должна благодарить за что-то. Или — возвестить им что-то новое, небывалое!

Он: Хорошо, что Ты опять весела. Как Тебе работается? Я что-то устал и чувствую себя плохо. Милая, если есть у Тебя что-то из написанного для меня, пришли. Хочу и тебя саму видеть, слышать, как Ты смеешься. Это бы мне помогло.

Снова он: ...вечный страх, что я могу Тебя потерять, а потерять Тебя значило бы потерять и себя тоже. Я никому никогда не говорил того, что Тебе говорю, и притом мне не надо взвешивать каждое слово «на золотых весах», как ты говоришь. Всю дорогу хотел Тебе писать в спокойном, веселом, то есть единственно разумном духе — и ничего не выходит... Все думаю — когда Ты снова будешь у меня и я опять заживу полной жизнью, когда я жизнь свою прижму к груди?... Когда выцелую для себя снова радость жизни и силу? Не забывай меня.

Она: Хочу описать Тебе мое путешествие, но прежде дай устроиться у Тебя на коленях, обнять Тебя, забыться, утонуть в Тебе, сгореть в жарких твоих поцелуях. Милый мой, жизнь моя, мое сокровище, как долго я тебя не видела! Здесь, в Нитауре, посреди чудесной природы мне почудилось, что сейчас, вот-вот я буду у Тебя, что Ты где-то рядом; я вижу издали веранду с пестрыми занавесками, вот я уже у калитки, ты идешь навстречу, сияя от радости, милые Твои глаза смотрят на меня с такой сердечностью, миг — и мы уже вместе, такие счастливые!..

Что делает Нитауре таким привлекательным для меня — так это веяние свободы. Я думала, здесь провинциалы с узким кругозором — и как хорошо, что ошиблась! Нужно бы Тебе познакомиться с доктором Золта. У Тебя нет, наверное, более пылкого почитателя. Он выписывает «Диенас Лапа», велит переплести несколько номеров и дает читать всей волости, а люди здесь до того темные, что иные не видели в глаза ни одной газеты. Каждого пациента, приходящего к нему, он буквально загоняет в угол, убеждая в пользе новых идей, и даже в аптеке кладет на стол свежий номер Твоей газеты, чтобы каждый мог прочесть. Он также почитатель Янсона, говорит, что в этом духе и следует писать, только с таким энтузиазмом можно разбудить народ, самому нужно чувствовать, чтобы пробудить чувства в других...

Он: Славно, что Ты нашла там таких прекрасных людей... Я бы здесь Тебя целовал и целовал, и нянчил на руках, и мучил бы без конца и без толку, — нет уж, оставайся там столько, сколько найдешь нужным. Правда, я все-таки хочу Тебя увидеть не позднее пятницы. В субботу мне ехать в Залениеки, вернусь только в понедельник, непереносимо было бы знать, что Ты так близко, а мы опять разминулись. Ты в это время встретишься с Зэфельд, с моей сестрой, вы успеете поговорить — а я, все это зная, Тебя не увижу! Сестра приехала на прошлой неделе, я ей тут же рассказал все. Ты ей понравилась на портрете; даю голову на отсечение — вы будете друзьями!

Голову лучше бы на отсечение не давать, — но, впрочем, кто мы такие, чтобы вмешиваться и давать советы.

Итак, Дора приехала. На каникулы домой — из Европы: она учится теперь на юге Франции, в Монпелье.

Янис Плиекшан уезжает в Залениеки, где ему предстоит жестокий спор с представителями «старого течения». Очень кстати эта поездка. Устраниться на день-два. Не присутствовать при встрече Эльзы и Доры. Он инстинктивно страшится этой встречи. Надеется на лучшее, но боится много. Слишком много известно ему об этих двух характерах, чтобы верить в мирный исход.

Месяцем раньше, в июне 1894, он писал Доре: «Я еще не пришел ни к какому результату, не устоялся, не нашел настоящего лекарства, экспериментирую и ищу; механические средства толком не помогают, в море, правда, еще почти не купался. *Пробую сейчас еще одно средство: мы близко сошлись с Аспазией; посмотрим, что из этого выйдет. Мне не обязательно пока Тебе сообщать об этом, опасности с этой стороны — никакой. Если хочешь и если успеем еще обменяться письмами, напишу подробнее, если нет — поговорим, в том числе и об этом, когда Ты, моя милая, будешь здесь у меня, на Взморье.* Так много всего, о чем нам нужно бы поговорить — если только Ты не будешь такая, как тогда в Цюрихе».

«Мы близко сошлись с Аспазией, посмотрим, что из этого выйдет», — пишет он, значит, сестре во Францию. Хотя Аспазии уже все сказано о «нежных лепестках», «милой золотой девочке», были там и «душа моя» и «сердце мое» и...

Он не обманывает ни одну из них. Он всего лишь не решает сказать сестре, как далеко зашло дело. Даже после Цюриха их связывает не простое родство: сколько лет прожито рука об руку и душа в душу. У младшей сестры есть на него права. Не мать, не Лизе, — Дора произнесет приговор его любви, и голос ее, может быть, окажется решающим?

Да, конечно, здесь две разных, две совершенно отдельных любви, но идущих из одного истока, — и не убывает ли в одном месте, когда прибывает в другом? Вот ведь даже мама заметила, что сыночек не так ласков с ней — с тех самых пор как появилась *эта Розенберг*.

Вспомним, как Аспазия описывает первую встречу с Плиекшаном, Стучкой: ей навстречу «поднялся молодой человек, высокий, стройный...» Высокий, стройный, — и это почти всё.

Но вот в романе «Осенний соловей» впервые появляется сестра Ярмута Асминса Теа. «Вольно откинувшись на спинку дивана и положив

ноги на мягкую скамеечку, там сидела молодая стройная дама: чужой, совершенно чужой казалась она и этой обстановке, и этому обществу, и, может быть, всей здешней жизни... Черты лица ее были правильны и отличались классической красотой, но не это прежде всего бросалось в глаза: удивительной была тонкость кожи и странная бледность, как если бы не алая кровь была под этой кожей, а просвечивающее насквозь серебро. Некий свет исходил и от высокого лба, словно бы поцелованного луной. Глядя на нее, невольно приходили на ум русалки — с серебром чешуи, с влажным холодком, исходящим от них, с игрой света и теней. Каштановые волосы, не слишком густые, но мягкие как шелк, были скручены на затылке узлом. Одета она была в черную юбку и кофточку фигуро, модную у французских студенток; ей эта кофта особенно шла».

Такою увидела свою грозную соперницу Эльза.

«Ни одной яркой краски, ни резкого звука, — ничего, что задевало бы нервы, она не терпела возле себя. И сама говорила вполголоса, без ударений, проглатывая окончания слов, словно торопясь».

Кто бы еще нам рассказал о поразительной бледности Доры? О ее чувствительности, нервности, о нелюбви к ярким краскам и резким звукам? И нужно ли сомневаться, что такую именно она и была, — разве кто-то мешал Аспазии изобразить ее толстой и румяной?

Впрочем, и мешали. Дора была жива к моменту опубликования романа (она вообще переживет всех). Были среди окружающих люди, помнившие сестру Райниса в молодости. Романистка не могла себе позволить заведомую неправду: знала — найдутся очевидцы, готовые поймать ее за руку. И которые бы этого очень хотели.

Однако никто не отнимал у нее права на фантазию. В романе Арта, в конце концов, не драматург и не поэт, а оперная певица. Заведомо выдуманы разговоры брата с сестрой — диалоги с глазу на глаз, при которых свидетелей быть не могло. Если даже предположить, что позднее Аспазии удалось выспросить мужа и вынуть из него подробности, в том числе и те, что он охотнее держал бы при себе, — все же видно, когда диалог сконструирован и в него втиснуты позднейшие сведения, а также и подозрения Арты.

Тем не менее первый же разговор брата и сестры, изображенный в романе, чрезвычайно любопытен.

— Ну, маленькая Пумпиня, мы опять вместе! (В этой фразе звучит *настоящее* семейное прозвище Доры: так все детство напролет звал сестру Янис).

— Вместе-то вместе, но не затесался ли меж нами кто-то еще? —

темно-голубые глаза, глубокие как омуты, смотрели на брата испытующе. У обоих были совершенно схожие глаза, и как два родника, их взгляды вливались друг в друга. Так же схожа была и их глубинная суть: они смотрелись друг в друга как в зеркало. Все было ясно, прозрачно, ничего от другого не скроешь.

Теа будто бы рассматривает семейный альбом и натывается на фотографию незнакомой молодой особы, подписанную: «С благодарностью — Арта Аугсткална». Учиняется форменный допрос: кто такая, за что благодарит, как попала в этот альбом. Ах, вот оно что, эта особа выступает на сцене, тетральная дива... Брат обороняется (неискусно). Теа выпытывает все новые подробности: ах, он не только дарил незнакомке цветы, но и посылал книги!

(В реальности всё не совсем так. Дора предупреждена еще в Монпелье о «новом лекарстве» — близких отношениях с Аспазией. И кто такая Аспазия, она знает. И ее фотографию брат показывал сестре сразу по приезде).

Аспазия заставляет своего героя произносить, глядя в глаза Теа: «Не было радостного мгновения, не было и пятнышка синевы, которым бы я с тобой не поделился, каждое золотое облако было сложено к твоим ногам, каждый придорожный цветок для тебя сорван. Ни один брат сестру, ни один влюбленный свою избранницу не любил так, как я тебя!»

Дальнейший диалог приводится без сокращений.

— А я — я дала тебе меньше? Не я ли спасла тебя от юношеских бредней, которым ты служил как идолам?

— Может, то были заблуждения и бредни, но в них я вложил всего себя, — с горечью отвечал Ярмутс.

— Ты дошел до смешного, вообразив, что ты поэт и у тебя есть талант! Ты чуть не выставил нашу серьезную, уважаемую семью на посмешище!

— Что ж, ты удержала меня, но знаешь ли, что тем самым ты нанесла мне в самое сердце смертельный удар?

— Ну, не так все страшно, — отмахнулась она. — Можно и ошибаться, но всему свое время. Детской корью ты переболел, тебя ждет настоящее мужское дело. Я познакомила тебя с Бебелем, — и разве он не открыл для тебя новое идейное поприще?

— Бебель — личность, не спорю, и он привел меня к Марксу.

— И разве не открылся перед тобой новый путь, которым идти и идти? Видишь, — я скорее дала тебе новую жизнь, чем «нанесла смертельный удар».

— Но я должен сперва похоронить своих мертвецов.

— Берись-ка лучше за дело, и твое поэтическое похмелье скорее пройдет. Ты должен придать газете новое направление, организовать конспиративные собрания и кружки, пустить по кругу нелегальные брошюры, тайно перевезенные через границу. Студенты приезжают на каникулы, — самое время!

— Д-да, но я все еще чувствую такую усталость в себе, нервы не выдерживают...

— Я тебе помогу. И со своей стороны думаю основать здесь женское движение.

— Вообще-то... дело это начато уже и довольно далеко продвинулось.

— Ка-ак?

...Выясняется, что та же самая Арта Аугсткална опередила нашу студентку! Разговор кончается тем, что Теа «разрешает» брату пригласить Арту в гости к ним: посмотрим, насколько это серьезно, «хотя известные сомнения я в себе не могу заглушить».

Ярмутс уходит, и Теа, откинувшись в кресле, горько рыдает. «Женским инстинктом она почувствовала, что чужая, вполне посторонняя личность посягает на любовь ее брата — радость детства, всех прошедших лет. Нет! Без борьбы она ее не отдаст...» — и т.д.

«Политическая» часть разговора, пожалуй, не беспочвенна. Верится, что Дора побуждала Райниса действовать: ведь это она ввела его в самую сердцевину социал-демократического движения Европы. Роли их переменялись: раньше он ею руководил и наставлял ее, теперь наоборот. А ведь недавно он чуть ли не сделал ее, подобно Лизе, пожизненной экономкой, тенью, пускай и любимой, ключницей!

И настал день, когда Эльза Розенберг должна была встретиться с сестрой Яниса Плиекшана, Дорой. Боялась она этой встречи? Боялась. И шла к ней, можно сказать, во всеоружии страха: будь что будет, она сумеет постоять за себя!

Эльза была к этому моменту, быть может, самая известная из латышек. Многие добавили бы тогда: скандально известная.

Дора же Плиекшан была не только первой в истории латышской студенткой, но, скорей всего, первой и единственной латышкой, прибывшей в том далеком году из Парижа. (Из Монпелье, положим, но издалека вся Франция представлялась парижским пригородом. Да

и в Париже Дора бывала, находились там у нее дела и знакомые). Для обитательниц хуторов, перебравшихся в этом или предыдущем поколении в Елгаву или Цесис, Резекне или Нерету, Рига была пределом мечтаний и воплощением столичности.

Барышня, приехавшая на каникулы из Франции, в полной мере ощущала свое превосходство. Простительно, если тебе двадцать четыре года, из которых двадцать два с лишним ты была всего лишь чьей-то сестрой и дочерью. Теперь за ней стояли не только европейские университеты, города и страны, которых почти никто из ее соплеменников не видел. За ней — идея, всколыхнувшая все континенты; ее пальцы помнят рукопожатия Плеханова и Аксельрода, Розы Люксембург, Либкнехта! Имена эти гремели во всем мире.

Родина поразила ее провинциальностью. Латвия казалась ей помещением, которое много лет не проветривали. Нужен какой-то мощный, очистительный порыв. Янис понимает ее, но он слишком долго раскачивается. Ей же придется разбудить латышскую женщину... да, что это брат говорил об Аспазии и ее попытках что-то там начать? Аспазия! До чего же претенциозный, нелепый псевдоним! Но может быть, в ней что-то есть? — не попался же Янис на крючок первой встречной? Хотя — при всем своем уме он так наивен, так неопытен!

Если верить Аспазии-романистке, встреча их началась с того, что Арта почти шепотом выдохнула: «Я вас так ждала!» — что было воспринято «парижанкой» довольно сдержанно.

Боюсь, что так оно и было, что выдох — полусшепотом — был отрепетирован и что Теа имела право внутренне поморщиться.

Гостя смерть как боялась показаться недостаточно образованной и... не столь уж тонко воспитанной. Но именно такую она и показалась собеседнице, инстинктивно игравшей (может быть, впервые) роль светской львицы. Она боялась пришелицы ничуть не меньше, чем та ее. При этом с огорчением, сквозь которое просвечивало некоторое злорадство, она отмечала искусственность провинциальных манер и жестов, претенциозность наряда, а главное — актерские нотки в голосе и повадках чужачки.

Теа вопрошает: правда ли, что Арта интересуется вопросами женской эмансипации?

Ответ: правда.

Какие она использует при этом книги, пособия? Что читала по этой проблеме? Какое, вообще, у нее образование?

Гостье уже в этот момент больше всего хочется подняться и уйти. Однако, принудив себя, она отвечает с напускным спокойствием, что у нее нет никакой системы, а действует она по собственному чутью и разумению.

«Так я и думала, что у вас все это пока на самом примитивном уровне», — произносит в романе сестра нашего героя.

Далее все развивается по законам катастрофы. Самые безобидные замечания «парижанки» принимаются в штыки, и вот уже Арта с «пылающими глазами» спрашивает: зачем ее здесь мучат, зачем ее вообще позвали? Теа, взяв ее за руку, уговаривает: «Тише, тише, дитя мое...» (Странно: «дитя», как мы знаем, старше). «Вы ведь не на сцене, никакой драматической роли здесь играть не нужно, мы можем спокойно, разумно поговорить». «Не знаю, что еще вы могли бы мне сказать». «Многое, но я не умею беседовать в вашем стиле, для этого нужно больше драматизма... или грубости». «Скажите коротко и ясно, я пойму, в каком бы стиле это ни было». «Боюсь, это будет нелегко. Вы, по-видимому, навсегда останетесь сама собой. А я вас хотела поднять...» «То есть как — поднять?» — не поняла Арта. «Мне казалось, вы — белая лилия, уроненная в грязь, и ждете лишь руку помощи, которая бы вас извлекла из...» «Да как вы смеете? В какую такую грязь я уронена? Я вас впервые вижу, — вы, как раз вы и есть та, кто обливает меня грязью, кто говорит со мной с Бог весть какого высока и топчет меня ногами!» «Но простите, ведь какая-то разница между нами есть?» «Да, — отрезает Арта, — та разница, что вы богаты и можете себе позволить всякое, но одного вам не хватает: сердца!»

У Теа — острый приступ мигрени. Прибегает Энна (в жизни Анна, она же Нина, активная сторонница «нового течения»), появляется сам Ярмутс, разрывается между сестрой и любимой. Энна требует, чтобы Арту немедленно прогнали, Теа требует, чтобы брат защитил ее, Арта требует, чтобы тот встал как раз на ее, гостьи, защиту и обвиняет его в трусости.

Не знаю. Не знаю, сколько тут от истинного происшествия, сколько добавлено. Так же как и Ярмутсу, нам мудроно принять мгновенно ту или иную сторону. Можно лишь заметить, что поведение Арты в этой сцене вполне соответствует известному нам характеру. Да, она должна была вспылить, да, гордость ее не могла перенести подобного; но что выражая свое возмущение она не пренебрегла некоторыми драматическими эффектами, это весьма вероятно.

Если описанный эпизод более или менее близок к действительности, то Аспазия должна была показаться Доре Плиекшан вульгарной, а Дора Плиекшан Аспазии — высокомерной и бессердечной.

На самом же деле Аспазия не «изображала» гнев, обиду и страсть, а испытывала то и другое и третье, она была сама собою, а некоторый налет театральности объяснялся очень просто: она в это время жила театром. Да, манеры, привитые в Елгавской школе для девочек, отличались от парижских: им, конечно же, в глазах Доры, не доставало благородной простоты, — но давно ли и она сама была всего лишь барышней из Ясмуйжи?

Назвать Аспазию вульгарной — грех: мы-то знаем, сколько в ней истинной страсти и отваги!

Назвать бессердечной юную Дору Плиекшан — грех неменьший.

Но впечатление двух женщин друг о друге останется неизменным навеки. Не в романе — в жизни.

Вопрос: «Я или она?» задан Райнису (в романе) с двух сторон. Должно быть, он был задан и в реальности. Янис помнил, как в детстве, в той школе с гипсовым ангелом и гипсовыми львами на крыше, тоже задавали вопрос, нарочито дурацкий, и на него тут же подсказывались два варианта ответа. Следовало быстро-быстро выбрать один из них. Но оба ответа наказывались: твой мучитель, какой-нибудь белобрысый, с челочкой старшекласник, давал тебе пребольно щелбана, — бедный твой затылок, — и вся штука была в том, что не существовало ненаказуемого ответа, а не отвечать запрещалось.

«Я или она?» Ему даже приснилось, что найден выход, изумительно простой, как ему раньше в голову не пришло: он отвечает простым словом «Ты», и оно устраивает обеих!

Обеих, но поодиночке.

Наяву приходилось делать выбор, заведомо сознавая, что оба возможных ответа наказываются. Может быть, и не было произнесено рокового: «Она». Но и молчания Яниса — многодневного, тяжелого, совершенно отцовского, — хватило: оскорбленная Дора уехала к матери и Лизе. Потом она вернется, навестит даже пару раз Аспазию, жившую у сестер Зэфельд. Между прочим, демонстративно подарит младшей из сестер свою фотографию, пронеся ее мимо Эльзы. (То был заметный, значащий жест, дарить свой «портрет». Кому, когда, при каких обстоятельствах и с каким выражением лица, запоминалось на годы).

Предпринимались попытки подыскать *сыночку* другую, более подходящую невесту. Да и помилуйте, какая же невеста из Эльзы Розенберг, ежели она чужая жена? И фамилия ее не Розенберг, а Вальтерс. Как сказали бы в Америке, не мисс Розенберг, а миссис Вальтерс.

Словцо насчет «мисс» и «миссис» вылетело из уст девицы Раппопорт. Означенная девица училась в Швейцарии вместе с Дорой и приехала по ее приглашению. Аспазия вспоминала через десятилетия с нескрываемым удовольствием о ее некрасивости и сутулости, но добавляла честно, что девушке нельзя было отказать в тонкости чувств и такте: заметив, что не пользуется успехом у Дориного брата, она быстренько распрощалась и уехала. Оставив на память фотографический портрет, хранившийся в бумагах Аспазии чуть не до второй мировой.

Не дремала и Янисова мать: она отыскала сыночку невесту в деревне. Богатую, «с сорока коровами». Аспазия, прознав об этом, предположила, что и невеста, должно быть, такая же корова — сорок первая. Возвышенный романтизм как-то всегда сочетался в Аспазии с грубоватым и вещественным крестьянским юмором. Райнис не мог не рассмеяться, — невольно. Так смеялся, должно быть, американец Батлер при очередной выходке своей Скарлетт.

Это и есть любовь? — спрашивал он себя. — Она или нет?

Правильного ответа и тут не существовало. Да, Аспазия наконец-то соединила идеальное с земным и сугубо земным, сверхвысокое с тем, что мать и Лизе приучили его считать постыдным, низким, подлым. И высокое, упав с небес, не разбилось, и запачканное очистилось. Но дойдя и до немислимой близости с этой женщиной, войдя телом внутрь ее тела и душой внутрь ее души, он нисколько не был уверен, что понял и хоть сколько-то разгадал ее. Он верил ее любви и не верил, верил своей любви и не верил. Ему хотелось бы узнать в ней все, прочесть ее, как заветную книгу, от строки до строки. То в письме, то в дневнике, то в невольном упоминании прорывается эта страсть: снять все, что еще прикрывает и затемняет суть, знать о ней все. Он домогается, допытывается этих последних тайн то открыто и вслух, то молчком.

Так ребенок разбирает игрушку. Так дикарь раздевает луковицу: что там, внутри?

Ребенок, дикарь? Позвольте, вы о ком?

Я — о нас.

А что ж внешний мир? А внешний мир не дремлет. В Елгаве у Аспазии назначена встреча с Яннисом Янсоном. В романе, — там его зовут Ансонсом — он объясняет Арте, что действует по поручению. Его просили передать: Теа никогда не согласится, чтобы вы отобрали и присвоили себе ее брата.

— Ансонс, о чем вы? Да разве я могу это сделать?

— Есть люди, которым дана сверхчеловеческая власть над другими, вы из их числа — и добьетесь всего, чего захотите. Вы истый дьявол, никто не избежит ваших сетей!

— Не расставляла я никаких сетей Ярмуту Асминсу.

— В том-то и беда, — сказал Ансон, хватая и судорожно сжимая ее руки. — Чем холодней вы обходитесь с кем-то, тем верней завоевываете.

— Пожалуйста, отпустите меня! Подобные признания вы можете оставить для других...

— Я люблю вас, люблю, люблю! Со мной вместе вы достигнете в нашей партии таких высот, до каких не добиралась ни одна женщина. От вас я готов снести что угодно, хоть ногами пинайте — все равно я вас безумно люблю!

— Остановитесь, Ансон. Вы новичок в мире чувств, этот вихрь пройдет, вы встретите еще многих женщин и обретете мир... да и сейчас — успокойтесь! Кроме прочего, вы сказали, что выполняете чье-то поручение?

— Ах да, — сказал Ансон отступая и прикладывая руку ко лбу. — Теа просила передать, что если вы не откажетесь от Ярмутса, вам придется худо.

— Ах ты боже мой, — воскликнула Арта. — Будто я держу ее брата. Да пусть он идет и делает что хочет!

— Арта, Арта! Говорю вам — бойтесь ее, бойтесь нашей партии, а пуще всего — бойтесь меня. Если бы вы меня хоть чуточку любили, вы стали бы победительницей, а я — вашим рабом, если нет — вы проиграете, вы потеряете все!

— Ну, знаете ли... До этого я не думала ни о вражде, ни о каком-то выигрыше или проигрыше. Но раз вы и ваша союзница Теа бросаёте мне вызов — ладно, я его принимаю, я воспользуюсь той властью, о которой вы говорили, и посмотрим еще, чья возьмет!

— Учтите еще одно. Не обязательно только вы будете жертвой в этой борьбе. Ею может стать и Ярмутс Ясминс.

Когда Аспазия писала эти строки, Янсон давно был мертв, лежал на дне моря, и стайка мелких рыбешек, разделившись надвое, пронеслась через глазницы его черепа. Он погиб на пути из Англии в революционную Россию: немецкая подлодка потопила корабль, на котором он плыл, весной 1917 года.

Так что разбираться придется без него. Эпизод — ключевой для нескольких судеб; нельзя не остановиться и не потоптаться возле.

Первое: не принадлежит ли Аспазия к женщинам, записывающим всех встречных в свои воздыхатели? Не казалось ли ей, по крайней мере, в молодости, что ее домогаются все поголовно мужчины, имевшие удовольствие ее видеть? Нет. Все воспоминания Аспазии в этом пункте отличаются трезвостью и реализмом. Правда, мир ее контрастен, черно-бел: по одну руку хорошие, по другую — плохие люди. Хорошие или плохие, хорошие или плохие по отношению к ней. Отношение это есть главный и чуть ли не единственный критерий, чего автор не скрывает. Аспазии в голову не приходит, например, говорить о симпатии к ней, о проблеске такой симпатии в Петерисе Стучке. Были люди, вначале к ней равнодушные, но затем сменившие увлечение на враждебность: скажем, член театральной комиссии РЛО Бирзманис. Объясняется, когда, при каких обстоятельствах и почему произошла такая перемена. Были люди, начавшие с неприязни, но затем раскаявшиеся: адвокат Крейцбергис. И тут все выглядит достоверно. Начиная с гимназиста — мнимого уопленника и раньше Эльза помнит всех и каждого и вовсе не склонна приписывать кому-то чувства, коих он не испытывал.

Янсон объяснялся в любви Аспазии. Выдумывать такое было и не в привычках молодой, гордой, уверенной в себе женщины, и незачем. Особенно убедителен пассаж с обещанным поэтессе взлетом в «нашей партии». Есть тут невольная точность, попадание в некое психологическое «яблочко». Возникающая организация иерархична с первых шагов. Она вроде бы печется о равенстве и братстве, но тут же инициирует тараканьи бега честолюбий, стремление вырваться на самый верх. Этот тип отношений узнаваем. Он намечен и в «Бесах» Достоевского — гениальном протоколе грядущих событий.

Яннис Янсон — честолюбец, в двадцать два года оно и понятно. Собственно, и партии еще нет, а он уже отсчитывает ее историю от своего выступления в Елгаве. Он видит себя центром и главой движения, популярность у молодежи добавляет ему самоуверенности. Еще вчера он ходил в учениках Плиекшана, — роль эта теперь должна его до крайности раздражать. Кто такой Плиекшан? Редактор газеты, ставшей символом и средоточием «нового течения»? Но если бы не учеба, не Москва, с таким же успехом мог и он стать редактором. С таким же? Нет, — бóльшим!

Аспазия — может быть, самая заметная женщина Латвии в это время, должна была дразнить его еще и тем, что — так же как газета, как положение во главе «партии» — даром, ни за что досталась Плиекшану! Он, Янсон, моложе, энергичней, целеустремленней; по настоящему ему должно принадлежать это все!

Приблизительно так оно выглядит в описании Аспазии, и в позднейших представлениях Райниса — так.

После неудавшегося знакомства Эльзы с Дорой переписка Райниса и Аспазии прерывается месяца на три. А одно из первых писем начинается словами: «Не будь безжалостной, жизнь моя...»

Ноябрь 1894 года. Райнис пишет о недоразумениях, возникших между ними. Неужели ей не терпится отнять все то, что она же и дала: радость жизни, цель, силы? «Меня делает живым одно Твое прикосновение — разве Ты пожалела об этом чуде? Или Ты совершила его, чтобы затем все разрушить и посмотреть, что выйдет?.. Я говорю Тебе открыто обо всем, не скрываю и свои сомненья и страхи, — хочу, чтобы мы себя проверили, но в самом большом и глубоком, от чего зависит — жить или не жить. Нестерпимо, что на этой высоте вдруг выныривают какие-то ничтожные недоразумения... Неужели мы не сумеем защитить свое счастье? Я так скоро от него не отступлюсь, я хочу жить и работать, а без надежды это невозможно. Или Ты не знаешь, что значишь для меня? Мне почти стыдно да и боязно писать об этих проклятых недоразумениях, когда я не вижу Твоих милых глаз и когда Ты не можешь читать по моему лицу все, что я собираюсь сказать: Ты опять можешь понять что-нибудь неверно, — писаное слово холодно. Ты опять слушаешь все, что ни скажут или напишут Тебе, эти несчастные посредники снова грозят все разрушить, а я не согласен из-за них пропадать. Что меня связывает с Ниной, ты прекрасно знаешь, она может сто раз писать обо мне как об «очень близком знакомом», это ничего не изменит. О чем мы говорили с Янсоном, Ты тоже знаешь. Он думает, что из-за Тебя я могу отречься от своего дела, от самостановления, — он не может представить, что я по-настоящему только начинаю жить и работать: у меня есть надежда, у меня есть Ты.

...Я Тебе написал несколько строк, но не отослал. Передать с Янсоном не мог. Ты, глядишь, опять бы ему показала мое письмо, — чужому человеку наши тайны. Но будет об этом. Не верю, что бывшее до этого было лишь красивым сном: слишком жарко горят еще у меня на губах Твои губы. Хочу, чтобы сон был реальностью, если он еще ею не стал, и чтобы ни один при этом не стоял у нас на пути. Хочу быть живым и свободным, и Ты хочешь того же самого».

Так значит был, был посредник, передававший чужие слова Аспазии: Янсон. И ему же она показывала письмо Райниса? «Чужому человеку — наши тайны». И этот чужой человек уже говорил с ним, беспокоился — не помешает ли роман с Эльзой Розенберг его делу и самостановлению. Какая чуткость!

Беспокоился и Петерис Стучка. На правах старого друга советовал держаться «от этой женщины» подальше. «*Тудалинь, тагадинь...*» Он был не из тех, кто забывает обиды.

Беспокоилась, как мы знаем, Дора.

Беспокоилось, с легкой руки Янсона и Стучки, все вообще «новое течение».

Беспокоилось, может быть, еще больше «старое течение»: не змею ли пригрели они на своей груди? Весь город говорит о связи Аспазии с редактором вражеской газеты, сеятелем всяческой смуты и ереси. А эти возмутительные речи о «женском вопросе!» «Есть только один женский вопрос, мне известный, — произнес будто бы председатель РЛО, сменивший умершего не столь давно Бернхарда Дирикиса. — *Ты меня любишь, милый?* Вот нормальный женский вопрос. Прочие женские вопросы не заслуживают рассмотрения». «Браво, браво», — откликнулись стареющие члены комиссий...

Больше всего возмущен был изменой Аспазии член театральной комиссии Бирзманис, еще недавно самый пылкий ее сторонник и покровитель. Это он, прочитав рукописи «Антонии» и «Жрицы», написал никому не известной домашней учительнице письмо со словами признания и приглашением в Ригу. Это он, когда на постановку «Жрицы» не хватало средств, дал свои собственные деньги на декорации и костюмы. Это он, к чему скрывать, испытывал и чисто личный интерес к талантливой и строптивой девице... не совсем и девице, впрочем. Однако ж теперь...

Он долго крепился, но когда с трибуны очередного собрания его протезе с необычайным жаром снова залепетала о женских правах... эмансипации... свободе... — он не стерпел: подскочил к Аспазии и силой пытался сдернуть ее со сцены; шум в зале, кто-то побежал за полицией, топот, свист, иронические аплодисменты, скандал... Бирзманис потерял голову, пораженный дикой неблагодарностью этой особы, в ярости от собственной доверчивости и глупости. Полиция действительно явилась и — вовремя, иначе он, кажется, разорвал бы эту дуру на части. Зато потом в Рижском латышском обществе Бирзманис потребовал немедленно изгнать «так называемую Аспазию» отовсюду. Рассказывали, что у него пена шла изо рта. «Страсти-то какие!» — шептал кто-то кому-то. «Да ведь она кого хошь доведет!» — откликнулся некто в ответ.

Что же до Нины (она же Энна из романа Аспазии, она же Анна Улпе согласно паспорту), то под этим именем в «Диенас Лапа» знали красивую молодую женщину, писавшую для газеты, выступавшую на дискуссионных

вечерах и украшавшую собою время от времени чисто мужское общество веселых и шумных ниспровергателей основ. С приездом Доры Нину часто видели с ней вместе. Аспазия подозревала, что Анна-Нина без памяти влюблена в Яниса Плиекшана и что Дора предпочитала бы видеть брата рядом с ней. Со временем Нина выйдет замуж за инженера Приедитиса и сыграет еще свою роль в жизни Райниса. И Аспазии.

Но вернемся к Янсону. Молодому, энергичному, пылкому, достойному того, чтобы им полюбоваться. Заботливому другу, если продолжить перечень достоинств. По-видимому, чтобы целиком и полностью сохранить силы старшего товарища для священного дела свободы, Яннис снова и снова подкатывается к Эльзе Розенберг. Не в романе, а в воспоминаниях Аспазии читаем: однажды он оказался столь настойчив и неуживчив, что «пришлось при свидетелях прогнать его из дому».

Выгнанный (и кем? какой-то гетерой! — думал он, не отказывая себе, таким образом, в некоторого рода юморе) революционер и основоположник социалистической литературной критики в Латвии не простит этого Аспазии никогда.

Ни одна живая душа не даст, не выдаст нам справку с приложением печати о том, что такого-то числа такого-то месяца и года в некоем доме Я.Янсону действительно сказали: «Подите вон!» Свидетели давно мертвы. Мы лишь можем напомнить: Янсон знаком с Аспазией с 27 августа 1893 года. Это он «пустил по ветру» на рижской эспланаде рукопись пьесы «Антония», это он был «несчастливым посредником», грозившим «все разрушить» в отношениях Райниса и Аспазии, это он неоднократно выражал опасение, что роман редактора «Диенас Лапа» с Эльзой Розенберг может повредить «святому делу», и он же сулил той же Эльзе высочайшее «положение в партии», если она ответит на его чувство.

Не каждый из этих моментов подтвержден независимыми источниками. Но есть ведь и косвенные свидетельства. В какой-то точке отношения Янсона и Аспазии прерываются. Остаются взаимное отчуждение и холод, ощущаемый даже на таком расстоянии. Вполне, нужно сказать, объективный холод: словно ветер дует от распахнутой двери, в которую только что кого-то выгнали. Уходящий дверью хлопнул со злостью, так что она снова отлетела от косяка. В результате холод надолго. Сквозняк, долетающий через столетие.

Превратясь из пламенного поклонника в непримиримого врага Аспазии, Янсон переключается на Дору. «Переключается» — слово неприятное, но верное: точно щелкнуло что-то, и вот уже молодой,

энергичный, талантливый юноша, припадавший так недавно к стопам Аспазии, вполне комфортно устроился у ног латышской «парижанки».

Вскоре герои романа Аспазии — Ансон и Теа — были настолько накоротке, что он — цитирую — в присутствии других студентов, сидя у ног божественной Теа, сказал: «Теа, ты самая удивительная женщина на свете, я тебя обожаю, но некая естественная надобность заставляет меня отлучиться». Для тех времен пассаж почти скандальный и, можно ручаться, не выдуманный романисткой: она не умела выдумывать, но прекрасно запоминала подобные пикантности. «Такой натурализм! — это было чересчур даже для Теа, но прогнать его вовсе она не хотела: он мог пригодиться как оружие в борьбе с ненавистой Артой».

Никаких доказательств новой привязанности Янсона не осталось, тем более что Дора Пликшан обращала взоры совсем в другую сторону. Все чаще ее видели вместе с адвокатом Петерисом Стучкой, ближайшим другом ее брата.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАТАСТРОФА

Дора впервые увидела Стучку в 1886 году у себя дома, в Ясмуйже. Ей было тогда шестнадцать, и она тут же влюбилась в долговязого студента, так замечательно игравшего Шопена. Она обожала брата — а Стучка был его лучшим другом, и часть обожания была законно перенесена на него. В шестнадцать лет девочке нельзя не влюбиться романтически и безответно в учителя или священника, в соседа или приезжего — в кого-нибудь, кто уже что-то значит, кто похож на твоего отца или брата (если ты их любишь) и кто совершенно недостижим. Этот кто-то должен восхищать окружающих, окрестный люд должен безоговорочно признавать его достоинства. Здесь все так и было. К тому же, увлекаясь Стучкой, Дора как бы не изменяла брату, а, наоборот, косвенно доказывала свою к нему привязанность, привязана же она к Янису в те времена была тысячью разноцветных и крепких нитей.

Детская влюбленность, ничем не подпитываемая, почти позабылась. Отблеск ее, остававшийся где-то в глубине, был, однако, красив: воспоминание оставалось светлым и веселым, без пятнышка.

Теперь Стучка был заметной в Риге фигурой. Уйдя с поста редактора, он обзавелся неплохой практикой, жил на широкую ногу, несколько располнел, и полнота шла ему. Была в нем этакая широта и вальяжность, смесь добродушия, надежности и крестьянской хитринки. Поговаривали о его развлечениях с красивыми актрисами, но и эти слухи отнюдь не вредили его репутации: что ж еще делать богатому холостяку, единственному наследнику всем известного лесоторговца? С ним здоровались вчерашние неприятели, тоже юристы, а также торговцы, зажиточные арендаторы, врачи, банковские служащие, чиновники: при всех

завихрениях Стучка был одним из них. Да и помилуйте: кто ж не валял дурака в молодости, кто не фрондировал хотя бы чуть-чуть?

Он был одним из них? Все в нем застывало при этой мысли, но... Ему тридцать, почти тридцать — а что достигнуто? Убогие мелкие разбирательства, тошнотворная писанина, убогие речи в суде, убогие победы над убогими оппонентами — и это все? В Петербурге, и не так уж давно, в чужих комнатенках — кстати, тоже убогих, но их это как-то не задевало, — как они с Янисом все же мечтали! Перемывали косточки всем, от государя-императора до квартирной хозяйки, целые царства разрушали до основания и возводили заново, проклинали безвременье, но и — вопреки всему — обещали себе, что филистерами не станут, что найдут способ перевернуть если не весь мир, то хотя бы часть его вверх тормашками. «Так, как было до нас, больше не будет», — говорил Янис тоном, которому нельзя было не поверить. Станный, странный друг. Он, как мельница на быстрой реке, действовал безостановочно; думал, читал, спорил, сорил остротами, читал наизусть стихи, обранивал афоризмы, о которых иногда невозможно было сказать: вычитал он их где-то или только что выдумал, — переводил, сочинял, перескакивал в разговоре с пятого на десятое, — и вдруг прорыв, приступ или припадок, как угодно, порыв вдохновения: он говорит о жизни и смерти, о прошлом и будущем, о государствах, народах, о женщинах, — что он в них смыслит, — о себе, о тебе, говорит так, будто читает в какой-то огненной книге, взгляд бездонный, вера, почти фанатичная по силе, захватывает и тащит с собой, ты не пробуешь сопротивляться, а зачем, ты в обнимку с ним мчишься черт знает куда, среди сполохов, теней и звезд, ты так любишь его и себя, что потом — что это было? — начинаешь почти стыдиться не его, так себя. Ты действительно любишь его как брата. Но есть и обратное: только близкого, очень близкого человека, наверно, можно моментами ненавидеть с такой силой.

Янис, конечно же, неврастеник. Обидится — изведет тебя своей обидой, своим молчанием, видом своим несчастным. И это вечное стремление узнать твою подноготную, добраться до сокровенного, открыться и открыть все завесы до последней, так он понимает дружбу, но в тебе инстинктивно срабатывает защита, и он сразу это чувствует, немедленно, — не в следующий миг, а в этот же самый, и тоже прикрывается как от удара, хотя почему же.

По-настоящему он должен тебе завидовать. Он и завидует. О, как он умеет завидовать! Этот комок нервов весь окунается в черную краску и... Но это бывало и с тобой. Может, еще чаще. Ты любовался этими

его... приступами и пожимал плечами и... завидовал? Он вечно зарывался. Пил до беспамятства. Упадал в безобразия, закрыв глаза, — точно в омут. И если ты делал то же самое, то вторым — вторым! — и без истинной страсти, а это уж было как-то не так. Как бы с познавательной целью. Он погибал каждой гибелью, — этому, что ли, завидовать? Он шлялся по вернисажам и мастерским богомного вида художников (хотя ты, между прочим, больше его смыслишь в живописи), зарывался в фольклор, на последние гроши бежал слушать Бородина, Мусоргского или смотреть приезжую немецкую труппу, дружил с каким-то литовцем-доцентом, даже летом в Латвии собирал какие-то песни, раскапывал какие-то городища, притом беспрестанно коря себя за безделье, — и все это ты мог делать не хуже, а лучше, если б первым сделал и то, и другое, и третье. Он вкладывал всего себя в самые ничтожные вещи, и вещи эти, когда он их касался, обретали смысл. Если б он схватил дурную болезнь, ты наверное каким-то неправильным краем души позавидовал бы и этой болезни, и страданиям его, и тому, что бы он об этом сказал. Ты не раз делал то же, что и он. Брал в руки тот же предмет. Бывало что первым — раньше его. И производил какие-то действия, крутил предмет так и этак. И остывал. И бросал. Терял к нему интерес. А потом та же вещь оказывалась в руках Яниса. Он-то знал, что с ней делать, и глядя со стороны, ты тоже теперь знал, ты бы сделал все гораздо лучше! Так мальчишка бросает опостылевший мячик — и готов драться за него, когда кто-то другой на его глазах оживит прыгающий колобок своим азартом, беззаветной игрой.

Ты решил, что все позади. Сколько дружб, заключенных навеки, остывали гораздо быстрее вашей! Весь фейерверк, нескончаемый и многоцветный, все выплески его ума и остроумия, его наблюдений и сарказмов, вся поэзия, все мечты, — а ведь были такого размаха, что и Наполеону не снились! — все это оказалось, в общем, так же бесполезно как и твои, никому не ведомые метания и мечтания, твои грандиозные планы. Он так же прозябал, так же не находил себе места, так же мучился от того, что жизнь упорно прибавала его к толпе, к тысячам бывших мечтателей, прибавала, пришепывала, приговаривала: *будешь как все, будешь как все!*

Завидовать теперь было нечему. Янис кандидата прав получил чуть не на год позже, побыл в Вильне чиновником, попрозябал в пыльной, воняющей непроходимым людским горем канцелярии, сбежал. И в то время, как ты уже был редактором «Диенас Лапа», он пытался начать все сначала в Елгаве, — слышно, не слишком удачно. Жаль его. Жаль старого товарища.

Дора знала, как меняет иногда мужчину простое присутствие женщины. Она помнила еще по брату: приедет неожиданно, днем раньше, бывало, из Гривы в Ясмуйжу, успеет застать его пасмурным, вялым, и вдруг — при виде ее — точно сбрызнутый живой водой Янис воскресает, вскидывается, хорошеет, он другое существо, не имеющее ничего общего с тем квелым созданием, которого, теперь, кажется, и быть тут не могло: наверно, примстилось.

Такого рода перемену она научилась примечать и ценить в студенческих компаниях Цюриха, Монпелье, Парижа... А все-таки превращение Петериса Стучки ей льстило больше обычного. Детство изнутри нее ахнуло, увидев, как недоверие и счастливая боязнь замерцали в глазах того самого — и другого, теперешнего, выросшего неизмеримо Стучки.

В свои без малого тридцать лет он был едва ли не самый завидный жених в Латвии, и в том обществе, где все всех знали, ему, пожалуй, стоило лишь мигнуть, чтобы взвод невест выстроился перед ним по ранжиру, как на военном смотре. И не просто девицы на выданье, — красивейшие и образованнейшие барышни из лучших семей, что уж говорить, захлопали бы длинными ресницами в знак немедленного и безусловного согласия, если б он поманил... Дора не сравнивала себя с ними, их с собой: понимала и свою исключительность. Но не ощущать весомость оказываемого ей внимания не могла. Стучка был высок и красив, богат и образован, умен и щедр. С ним было весело. И он смешивался перед ней и трусил, даже глаза как-то жалобно косили, чего вообще-то за ним прежде никто и никогда не замечал.

...И когда все свершилось, с неожиданной легкостью, с благородною простотой, когда словно схватил кто-то могучий два нагих и сплетенных тела и сотряс их, напрочь вышибив ум, да и чувства, оставив на миг без сознания, как по ту сторону жизни, и потом, когда под ладонями еще трепетало, затихая благодарно и нежно, сразу после того, боясь ее отпустить, потерять хоть на миг, он понял, что победил: тот, другой, Дора рассказывала, назвал как-то ее в письме: *мое второе я*; его второе «я» взято с бою, добыто, завоевано, слышишь? — твоим вторым «я» овладели... Дикое это представление было изгнано тут же, ему не дозволено было даже отлиться в слова.

«Что он скажет? Боюсь, он нам не простит», — сказала, не открывая глаз, Дора. Петерис не стал уточнять, кто «он».

Никогда бы Дора не призналась, что эта сдача, внезапная, как во сне, была и мезтью. О, не в первую голову и не во вторую, но и мезтью тоже. Если эта крикливая особа... не то чтобы она так уж кричала когда-

либо в присутствии Доры, но была «внутренне криклива», решила она, — если уж такая фигура дороже ему сестры... сестер и матери, нет, зачем лицемерить: если она ему дороже меня, — ну что ж. Я ведь тоже не давала обет безбрачия.

Чутьем — безобманным — она знала, какую рану наносит. Знала почему-то, что именно друг, именно Стучка в этом качестве ранит еще больней, — пожалуй, брат предпочел бы любого другого. «Кто поймет эту дружбу», — бормотала она про себя. Теперь-то, когда она узнала другого как-то сразу и на всю глубину, Дора удивлялась: где ж она раньше была, почему не видела того напряжения, что таилось под их дружеской связью? Будет время, она разберется. Этот Стучка — большой, неуклюжий, прекрасный ребенок. Он не знает еще, с каким приданным берет меня. Все, что я подарила было Янису, ему одному, — все получит он, и с избытком. Все, что стало моим существом: новизну наступающего мира, все, чем дышит Европа, что вчера рождено величайшими умами современности, героизм и жертвенность моих друзей, цель и мечту — все он получит сполна из моих рук; внутренним взором... ох, как напыщенно я выражаюсь, но ведь никто не слышит, — я видела Яниса во главе великого движения... но его выбор был иной. Что ж, вперед, мой Петер, без страха и сомненья — вперед!

— Я всегда завидовал Янису...

— Знаю.

— И он мне.

— И это знаю.

— Нет, дай досказать. С той поры, как увидел тебя и вас вместе тогда, в Ясмуйже, я завидовал больше всего тому, что у него такая сестра. У меня ведь тоже была сестренка, ты знала? Она была любимицей отца — и я, странное дело, в том возрасте, когда презирают всякие там нежности, — я в ней души не чаял. Она умерла от дифтерита. Мою мать это подкосило. Отец тоже никогда не сумел опомниться до конца, а я... Я, может быть, был бы другим человеком...

— Не хочу. Не желаю, чтобы ты был другим человеком.

— ...если бы она росла рядом со мной.

— Бедненький мой. Я тебе буду младшей сестрой и матерью, женой и дочкой. Обещаю.

— Я тебе буду старшим братом и мужем, другом и отцом, и сыночком тоже, обещаю.

— Да, да, да. Только вот *сыночек* у меня есть. То есть брат. Ну-ну, не дергайся. У нас с тобой есть брат, и никуда он от нас не денется. Как и мы от него.

Нет, только не Петруша! Только не Толстяк!

Голова болела, как придавленная каменным обвалом, в глазах плясали огненные пятна. Она сама сказала это ему! Как бы между прочим. В прохладной своей, для чужих приберегаемой манере.

Бог ты мой! Если б мы не знали друг друга как облупленных! Если бы не ездили вместе в компании таких же лоботрясов по веселым домам! Если б я не слышал своими ушами его цинические замечания о женщинах! Идиотские его анекдоты! И что мне с того, что цинизм был в моде и что я сам состязался с ним в этом и во многом другом, — ну и что, и что, и что?! Чистого человека я хотел для нее, если уж это неизбежно, чистейшего на земле, я дохнуть на нее боялся, я...

Вот как, значит, она мне решила мстить. И ведь я не вправе не то чтобы протестовать, — пикнуть не смею: вы что это, скажут, вы о чем? Этот австриец в Цюрихе... пусть бы австриец, пусть бы цыган, пусть кто угодно, лишь бы я не знал, как он дышит, ест, сморкается и зевает, как почесывает по утрам грудь перед зеркалом, как ногти стрижет на ногах, собирает их и бросает в печку, как в пятый раз повторяет удачную остроту с таким видом, будто он ее только что выдумал, как умеет быть неотразимым, если захочет, как умеет уйти в тень, стушеваться — и нет его, если...

Ты неправ.

И плевать! Я хочу быть неправ! Я б хотел обрушить тонны, горы неправоты на его бесстыжую и толстую голову! Я хотел бы их растащить, навеки запретив приближаться друг к другу: стоит мне представить их вместе... Я бы их линчевал!

Мое второе я. Так я ей писал. Так и думал. Ты — тончайшая, белая, гордая, в этих плотницких лапах! Целующая эти губы, сальные от анекдотов! А что можно возразить? Внешне все в высшей степени благопристойно. Твой лучший друг и твоя сестра полюбили друг друга.

Можно ли вообще что-либо кому-либо объяснить? Чем там заняты философы, учителя человечества, поэты? Я бы их всех высек: они обещают то, чего не в силах исполнить. О Дора, Дора, девочка моя, зачем ты это сделала?

В набросках Райниса черным по белому: «Главная героиня юношеских стихов — Дора. Девушек много, но Дора — идеал. Кончается ее смертью, что означает невозможность быть вместе. Или без смерти — ее свадьбой». Дора умирает или выходит замуж. Для него это почти одно и то же. Можно, конечно, взвыть от явной и заведомой несправедливости такого подхода. Но поди дождишься от любви справедливости.

Она — предпочтение, оказываемое одному (одной) перед всеми. Не только несправедливое, но и не мотивированное никак, ничем... И может быть, единственная справедливость, не нуждающаяся в обоснованиях — любовь: не крест за заслуги, а дар, награда ни за что, как жизнь и дыхание или как смерть.

Ой! Ведь была же у него и другая сестра, Лизе. Был подвиг любви самоотверженной, безответной. Заметил ли кто его? Оценил?

Янсона не любили. Обожали — да: слушатели и слушательницы, гимназистки, молодые мечтатели, в которых он разжигал своими речами такой костер! Он умел подбрасывать ветки и сучья в разгоравшееся пламя, он мастак был подуть куда нужно, даже керосинчика плеснуть. Он любил их всех вместе: молодые глаза и раскрытые рты, любил их восторг — да и свой, ведь не разогрев себя до самозабвения, и других не зажжешь.

Он не ждал вдохновенья, а ковал его. Он лепил аудиторию из подручных средств и заранее был уверен в успехе. Успех наступал, да и куда бы он делся? Скажи, скажи голодному, что у него есть все права на еду. Слуге — что настоящее его призванье повелевать. Узнику — что он давно заслужил свободу, а вот его тюремщиков пора засадить за решетку. Убеди их в этом! Не в своей правоте, а в ихней.

Чем больше народу слушало его, тем больше было любви. Но разве *его* они любили? Себя они любили, свое право на еду, на власть, на свободу.

Разве только такой любви взыскует двадцатилетнее сердце? Гаснут лампочки в какой-нибудь зале, разбредаются пары, и ты, их недавний идол, остаешься ни с чем. Там же, где должны бы любить тебя после того, как светильники гаснут, там сидит уже кто-то другой.

Дора тоже его отвергла. Улыбаясь при этом, правда, с некоторой снисходительностью. Он долго размышлял: обижаться ли на эту улыбку? Верней, на снисходительность? Но кажется, не следовало обижаться. Она охотно смеялась его шуткам. Терпела его хвастовство даже и тогда, когда он сам чувствовал, что зарвался. *Зарвался* или *заврался*? Ого, он уже начинает каламбурить по-русски! Талант — во всем и всегда талант. Да, о чем бишь я? Дора... Дора недостижима, «она другому отдана и будет век ему верна». М-да, как раз на пушкинскую Татьяну она и смахивает. Но, к счастью, совсем не Татьяна. Не барышня кисейная. То есть и барышня тоже. Хрупкая, нежная. И — железный боец где-то там, внутри этой бледности, хрупкости, нежности.

Что касается Стучки, то и он далеко не прост. О, как не прост! Я... я уважаю ее выбор. Гм. *Попробовал бы ты не уважать...*

— Что нам с вами делать, Янис?
 — То есть как — что делать? Любить меня. Принимать мое восхищение. Ценить мои дарования.

— Петерис, ты слышишь? Как ты относишься к предложению его любить?

— Будем любить, если надо, — отвечал Стучка посмеиваясь. — Но другим-то как объяснить? Ведь мы с Дорой в некотором роде... как бы выразиться поделикатней... любим друг друга.

— А вы меня усыновите, — сказал Янсон скромно. И чуть не засмеялся вслух, — так забавно вышло. Те оба улыбались.

— А что... — протянула Дора задумчиво. — В этом что-то есть. Готовое дитя. И к тому же идейно близкое.

— Куда уж ближе! — подхватил Янсон почти в восторге — и от своей выдумки и от всего поворота беседы.

— *Сыночек*, — продолжала меж тем Дора. — Так я годами называла Яниса. Мама говорила: сыночек, мальчик. И старшая сестра за ней следом. А я — за сестрой. Сыночек, мальчик.

— Да-а. Заблудился сыночек, заплутал твой мальчик — ты не находишь?

— Сынок теперь я, — напомнил Янсон нахально. И посерьезнел: — Давно уже замечаю, как вредит ему связь с Аспазией, как меняет его на глазах — притом в худшую сторону. Теряем лидера! Я не только вам — я ему с полной откровенностью говорил это.

Дора с Петерисом переглянулись. И Яннис почувствовал, как изумительное тепло разливается у него в груди: оба были с ним, тут совершенно нельзя ошибиться! Как странно! Шутка зашла далеко, и он вдруг сам не уверен: шутка ли? Он им сделался нужен. О, если бы он был принят в семью! Эти двое и я... Втроем мы могли бы!..

— Кой вам годик, сынок?

— Двадцать два. Двадцать третий. А что?

— А то, что вашей *татап* — двадцать пять.

— А я — патриарх в сравнении с вами. Мне все двадцать девять, — сказал не без внезапной печали Стучка.

Янис Пликшан не для красного словца писал Эльзе Розенберг про сомненья и страхи. Сомневался. Доходил до последней черты: вот он отказался от Доры, от матери и Лизе, скажи — откажется и от себя. А пожалуй, здесь и примут все жертвы. И вберут тебя — с сомнениями, со всей тысячью мыслей и чувств, толпящихся в тебе, — вберут, поглотят, скушают и косточки не оставят! Столько силы было в ней, столько женской

вбирающей, поглощающей, пугающей мощи, столько внутреннего огня, готового согреть или — спалить, если в него упадешь, переплавить, усвоить, сделать частью себя.

Да нет же, и она отдавала, тратила себя. Щедрость ее даже казалась порой чрезмерной, — но ведь сколько холода, чуть ли не вечной мерзлоты предстояло растопить!

Однако и ей становилось боязно. Иной раз казалось, что против их любви ополчился весь мир. Оставь его — и все вернется, сделается как было; благодетели твои пожурят тебя и простят, публика осыплет цветами и подарками, газеты — похвалами, возвратятся разозленные поклонники, снова разулыбаются актеры и актрисы в театре. Яниса снова примет в объятия младшая сестра, перестанут пилить мать и строгая Лизе; холод, пробежавший между ним и его «братьями», растает. Да и подходят ли Эльза и Янис друг другу?

Они пробовали, жестоко проверяли свою любовь на излом, на прочность. Пытались расставаться на недели, не видеться и не переписываться, верить наговорам недругов, проявлять интерес к другим — услужливо возникавшим или подставляемым на выбор фигурам. Странно, сколько чужих страстей сошлось вокруг них, сплелось; ладно бы «против» были враги, — но любимые, любящие, друзья...

Исключения: не упрекали Эльзу актрисы сестры Зэфельд, у которых она обыкновенно жила. Не осуждали Плиекшана ближайшие и незаменимые сотрудники: Арону Матис, Янис Ковалевский по прозвищу «Лепский», Паулс Дауге, еще один-два человека. И все. Из остальных даже на нейтральных позициях никто не стаивал. Ни тогда, ни потом к ним никто не относился нейтрально. Судьба.

«Она или я?» — за спрашивающими стояли годы: двадцать пять прошедших за Дорой, тридцать четыре грядущих за Эльзой. Две любви, разные, но равно единственные для него и уже потому не совместимые во времени и пространстве. За Дорой — и он это знал — было все его прошлое. За Эльзой — все его будущее, чего он знать не мог, во всяком случае, так определенно, как мы.

Как показать всю остроту происходившей в нем борьбы? В нем — и вне, и вокруг него. «Острота» — слово, вытаскившееся почти наугад; видимая неразрешимость ситуации то выступала наружу, то притуплялась как нелеченая зубная боль. Решение принималось

судорожно и выхватывалось назад, точно письмо, брошенное в огонь по ошибке.

И все это длилось, конца не было видно.

Происходящее имеет лишь одну дату — начальную, откуда не станет тем, что окончательно произошло.

Мы-то можем указать и эту вторую черту, конечную.

Все уложилось в год, некалендарный, длинный бесконечно: с августа 1894 по декабрь 1895. Год, битком набитый событиями, пронизываемый встречными токами, водоворотами, вихрями, решивший наперед чуть не всю жизнь Райниса, Аспазии, Стучки, Доры, Янсона. Даже лица, живущие обок повествования, делают рывок к его центру. Лизе Плиекшан — под воздействием описываемых нами событий — идет напрямик к ранней смерти. Помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов, живущий с августа 1893 года в Петербурге, успел изучить книги и брошюры, аналогичные тем, что привез от Августа Бебеля наш герой, и готовится ехать в Цюрих, чтобы лично познакомиться с хорошо известными Доре Плиекшан, а через нее — и Янису, и Стучке персонажами: Плехановым, Аксельродом из русской группы «Освобождение труда», с вождем немецких социал-демократов Вильгельмом Либкнехтом.

Нелегко разобраться, что за чем следовало тогда. Писем сохранилось мало, дневника никто из них в то время не вел, в воспоминаниях некоторая путаница, — оно и немудрено, когда вспоминаешь через десятилетия. Попадают, правда, и точные даты: тогда-то поставлена пьеса, тогда-то состоялась поездка.

Важнейшая для нас дата находится почти в конце рокового года, 1 ноября 1895-го: в газете «Диенас Лапа» появилось за подписью Я. Райнис* стихотворение «Хладная душа, гордая душа», напечатанное рядом со стихами Аспазии, прямо под ними.

Янис Плиекшан и Эльза Розенберг встретились и объяснились намного раньше. Райнис и Аспазия впервые сошлись здесь, на газетной странице. Янис сам это сделал, — свел воедино два имени. Знаменитая (уже) Аспазия и никому не известный Райнис.

Редактором Плиекшану оставалось быть ровно месяц.

* Подпись была, точнее, Я. Рейнис, но буква «е» тут — простая опечатка. Уже 11 ноября там же напечатано стихотворение Я. Райниса «Глубокие думы». Свой псевдоним поэт нашел на дорожном указателе где-то в Латгалии.

В своем романе Аспазия переносит эту публикацию на год раньше. Будто бы после знакомства, столь неудачного, Арты с его сестрой Ярмут Асминс пришел к Арте объясниться; та оскорблена его поведением: не принял ее сторону, не защитил! — и указывает ему на дверь. В этот самый миг молодой человек видит на столе газету, в которой отчеркнуто некое стихотворение. Он спрашивает: почему вы отметили эти стихи? Арта отвечает: потому что автор их — глубокий и страдающий человек, «не вам чета». «Арта, вы и вправду считаете, что написавший эти стихи — поэт?» «Ну, он не из тех, кто воспекает синие глазки и алые щечки. Это птица высокого полета». «И... и как по-вашему — есть у него будущее как у поэта?» «Он гений. Его ждет великий путь — с путеводной звездой, им самим сотворенной».

И тут Ярмутс, закрыв глаза руками, склоняется к столу; видно, что он еле справляется со слезами.

— Простите... — подняв голову и вздрагивая, говорит он. — Я не смог с собой совладать. Вы не знаете, что возвращаете жизнь тому, кто трижды похоронен, закопан и забыт.

— Не понимаю, — прошептала она.

— Это стихотворение написал я.

— Вы?! — и т.д.

Мелодраматический эффект, понадобившийся романистке, слегка повредил рассказу, и не так его связности, как точности. В итоге — почти невозможно выяснить, когда же в действительности произошло самое крупное в их, да и не только в их жизни событие. Тут и выдумывать бы ничего не надо: тот самый случай, когда любая выдумка обкрадывает реальность.

И вот чистейшая правда, никогда и никем убедительно не оспоренная: поэт Райниса открыла и в некотором роде создала поэтесса Аспазия.

В некий момент он рассказал ей о приговоре, произнесенном сестрой и елгавским (давным-давно забытым) издателем.

Самое время вспомнить дневники гимназиста Пликшана. Отчаянный вопль: неужели я никогда не стану поэтом? Дурень, как я мог подумать, что когда-нибудь сравняюсь с великими... В нашей книге не приведена и десятая часть таких записей, сделанных рукою отрока, «барчука» из Ясмуйжи, петербургского студента.

В Вильне он окончательно решил, что сознание предназначения обмануло его. Подчинился приговору тех, кто не увидел в нем поэта (вспомним: и Аспазии точно так же советовали оставить поэзию в покое, но она покорилась и не подумала). С невероятной своей застенчивостью, заставлявшей скрывать *слабость* от всех на свете, даже от родных и ближайшего друга, он чуть не проскочил с разгона мимо себя. Можно только догадываться — сколько же в мире тотальных непопаданий?

Людей, прошедших на расстоянии вытянутой руки от своей настоящей цели и даже не догадывающихся об этом?

Любовь любовью. Да, горячность его поначалу попросту опасна: прокусил губу, поранил сосок груди, целуя; очень каялся. Какими ласками он ее дарил, какими объяснениями. Но долго, почти год, не признавался поэтессе Аспазии, что и сам пробовал писать стихи. Адвокат, редактор? Тут он ей не уступал. Глава «нового течения»? Да, конечно. Но — стихи? Выступить перед ней, любимой, в роли неудачника и бездари? Робкого начинающего — перед мэтром?

Стихи были показаны, должно быть, до публикации. Но под чужим именем. Редактор мог спросить ее мнение. Вот, прислал свои вирши какой-то чудак. Как они, по-твоему?

А она возьми да скажи: этот парень, по-моему, гений.

Первые опубликованные стихи, к слову, не из лучших. Они несколько выиграют потом, в соседстве с другими. Как один штрих из множества, как деревце в роще. Но Аспазия могла тут что-то разглядеть, угадать шестым чувством. Или — первым, чувством как таковым: любовью. Чем слепей любовь, тем слух у нее тоньше, а глуха — так видит как рысь; главное же — чутье у нее, чутье.

Три переворота пережил он за короткий срок. Сестра Дора и Август Бебель вывели его из тупика: явилась цель, было теперь за что отдать жизнь. Таким решениям он оставался верен.

Второе освобождение было от вакуумной пустоты безлюбья, от рассоединения небесного идеала женщины с земным. И ловушка плоти, мучившая с отроческих лет, лязгнув, отпустила. Плоть помирилась с душой, когда он целовал Эльзу.

Третьим было обретение призвания. А что оно, призвание: ярмо или крылья?

Тут уж начинается совсем новая глава.

У Аспазии не остается соперниц. Райнис отдает ей на суд все, всего себя: все написанные им стихи, дневники, хранимые зачем-то с первых гимназических лет, переводы, наброски в стихах и прозе, какие-то письма. Все, все отдает не разбирая — а потом дрожа ждет, что же она скажет. А она все молчит, все не говорит. Он готов пожалеть: зачем открылся, подставился? Зачем отдался на чью-то милость? Зачем

разворошил отжившее, похороненное и оплаканное? Что если над ним посмеются? Не в лицо, так за спиной. И не в одиночестве, а еще с кем-нибудь. С Янсоном, например? Нет, нет. Воспоминания вспыхивали одно за другим — яркие, ярче яви; порохом сгорали подозрения. Она не обманет. После всего, что между ними было — нет. Единственное, что может быть... почему она тянет с ответом: *там пусто*, в этих несчастных бумагах. Она не хочет убить его окончательно, вот и медлит.

Да полно, — вправе ли Эльза Розенберг, она же Аспазия, судить и произносить приговор, притом, без сомнения, окончательный, не подлежащий уже никакому обжалованию? Полномочна ли? Вправе. Полномочна. Янис Плиекшан признает за ней это право не колеблясь. «Если речь заходит о латышских поэтах, то о ком же говорить? О ней!» — напишет он позднее.

Ее стихи, которые он теперь читал первым прежде чем отдать в номер, просто не с чем было сравнить. Через год она соберет их в книгу. Поэт Карлис Скалбе, — в ту пору ему лет семнадцать, — так описывает тогдашнюю встречу с нею. «Я держал в руках маленькую, в ладонь величиной красную книжечку — «Красные цветы» Аспазии. Листая ее, в глубоком волнении я вышел из дому — комната казалась для них слишком тесной. Я написал тогда: «Поющая грозу и пламя, как я люблю твои порывы!» То была одна из книг, пробудивших мою душу». «Наша гениальная поэтесса Аспазия», — напишет еще через пару лет Янис Порукс, и громкий эпитет не вызовет ни в ком протеста.

Аспазия была тем судьей, быть может единственным в мире, решению которого Янис внутренне готов был подчиниться.

Самая сердцевина его души: тайная суть и предназначение потянулись к этой женщине; все остальное в его же существе могло сопротивляться, — бесполезно. Длинная вереница мужчин, детей, женщин, героев и хитрецов, рыцарей и крестьян, мудрецов и придурков, пестрая толпа героев, которым предстояло населить его драмы, гибкие ритмы, музыка будущих строк, — все ждало ее приговора, как в театре актеры ждут звонка к выходу на сцену. Громадная власть, о силе и величине которой она и не догадывалась, сосредоточилась в Аспазии.

Да, — сказала она, — да, конечно же, я была права! Ты должен, ты обязан писать. У тебя собран материал для гигантских построек. Ты нашел, собрал, приволок эти глыбы — и бросил. Посмотри, сколько у тебя начатого и оставленного! Ты так силен, что, кажется, испугался своей силы.

Слушал, внимал ей он и не он. Слушало в нем — нечто заждавшееся, истосковавшееся: вся та часть его существа, которую он заколотил однажды крест-накрест, точно досками навек оставляемый дом.

Теперь его от Аспазии не отдерешь и силой.

Найдя ее, он наконец-то найдет себя.

Решение состоялось, и все другие, чужие решения принимаются вокруг него, не в одночасье, но с железной неумолимостью.

Яннису Янсону нравится элемент игры в его новой «семье». Он как бы должен убеждать Петериса, убеждать Дору в том, что Янису Плиекшану пора сойти со сцены. Его дело горячиться, воздевать руки: «Да неужели вы не видите...» «Ну как мне убедить вас, что...» А они сомневаются, а они возражают, а они не дают себя убедить и все-таки хотят, чтобы их продолжали убеждать со всей силой.

Иной раз и не сообразишь, кто ему ближе, Стучка или Дора. Петерис умеет делаться непроницаемым, совершенно. А потом вдруг раскрывается, добродушный, как медведь, до отвала наевшийся меду. Но в любую секунду он себя контролирует и готов опять сделаться непроницаемым на треть или наполовину или закрыться вовсе. В этом самоконтроле удивительно много силы. Сколько раз он был с тобой нараспашку, а остался тайной, и ты к нему не ближе ни на шаг. Кажется, он рассчитывает свои действия на много шагов вперед, как шахматный гений. Но притом так жизнелюбив и весел, ходячее собрание анекдотов. Над которыми первый же и смеется, всем видом показывая: «Да, слаб человек! Есть, есть и у меня свои слабости, вот он я вместе с ними, как на ладони!»

276

Он глубок. Никогда не выкладывает всего, что знает и думает. И не раз Янсон сокрушался: зачем я опять был так болтлив и громогласен, зачем хвастался и привирал, да еще при нем?

Ну, а Дора... Что ж о Доре говорить. Она нашла человека себе под пару. При всей своей белизне и она бывает вполне непроглядна.

Он даже не решался ревновать их друг к другу.

Дора, кажется, продолжала любить брата. Да ведь и он, Янсон, по-своему продолжал любить его! Иначе бы не думал о нем так много. Почти беспрестанно.

И Петерис Стучка, и он любил Яниса Плиекшана, иной раз проговаривался о какой-то трогательной мелочи, связывавшей их с давних, гимназических лет. Дора в таких случаях исподлобья и быстро взглядывала на него и опускала глаза, как бы не желая, чтобы этот быстрый взгляд поймали.

И странно, какую стойкую, ровным пламенем горевшую ненависть сумела вызвать у всех троих его «пассия».

Понадобится — брату и другу подадут руку помощи. Когда он опомнится, стряхнет с себя наваждение, когда *так называемая Аспазия* станет вновь тем, чем и всегда была: *ничем*, когда ее отовсюду выгонят, когда от нее отвернутся все поголовно... вот тогда-то и его глаза откроются И мы не станем пенять ему на то, что прозрение пришло так поздно.

А пока — нужно действовать. Прежде всего, пора отобрать у него газету, — и кому же взять ее на себя, как не прежнему редактору, Стучке? Постепенно перенимать все связи от влюбленного и потому рассеянного Плиекшана, зазывать и переманивать студентов, зеленую молодежь, вообще весь народ, толкущийся у него... или толкавшийся: ему не до них теперь, не до нас, не до газеты и не до социализма: они, видите ли, влюблены! «Да нет, — думал Янсон, стараясь убедить себя, — вовсе не зол я на него, я ни на кого не зол. Но идея, которой мы служим, не терпит слюняйства, ей подавай всего человека, с потрохами!..»

Об идее, которой они служили. Она была ослепительна. Она манила множество людей издревле. Но если единственным изъяном была или казалась в течение столетий ее несбыточность, то на пороге двадцатого века притягивала как магнитом ее видимая достижимость.

В России почти половина населения еще помнила крепостное право — и как его отменили. Казалось, точно так же можно отменить и всякую вообще несвободу, всякое неравенство. В неравенстве корень зла! Почему одни от рожденья знатны и богаты, а другие нищи, почему одни сыты — о, как они умеют быть сыты, как они едят, одеваются, на каких лошадях ездят, каких женщин целуют в изумительно нежные губы, — а другие раздеты и голодны? Почему у одних власть, а доля других — повиноваться и униженно кланяться? И опять же скажу: почему у одних девушки, прекрасные как принцессы, а у других — ожесточившиеся в свои тридцать лет старухи с ладонями жесткими, как подошва?

Идея состояла, грубо говоря, в восстановлении справедливости. Все будут равны, все будут пользоваться одинаковыми благами; исчезнут зависть и борьба за первенство, ибо все будут первыми. Все будут хозяевами жизни — и не останется слуг. Разве что бывшим господам придется побегать, послужить, поклоняться, попресмыкаться перед нами на первых порах. Для равновесия.

Недолго осталось Янису Плиекшану работать в «Диенас Лапа». Заглянем напоследок в редакцию, ощутим тамошнюю атмосферу.

Аспазия: «Райнису посчастливилось в том, что вокруг него в «Д.Л.» собрались одаренные сотрудники. Прогрессивные студенты собирались возле него, самым богемным образом жили в его квартире, носили его одежду, ели у него, и между ними Райнис делил — как гонорар — всю свою редакторскую получку, так как издатель Бисниекс за корреспонденции не платил никому ни гроша... Время ходило ходуном, дышало смелостью, огнем и силой. Это была весна — с грозами и грязью, но и с ярким солнцем и цветеньем».

Сам Райнис вспоминает почти через два десятилетия в письме к одному из товарищей этой молодости, Арону Матиссу: «Где те времена, когда мы впятером делали «Диенас Лапа»?.. Я был счастлив, заполучив такого помощника, как Ты. Ты был идеальный газетчик. Почти безграничная работоспособность, готовность трудиться даже за счет сна, неизменная верность и любовь к этому прожорливому зверю — газете. Когда мы, остальные, грешили — опаздывали, бывало, либо вовсе не появлялись в редакции, мы знали, газета все равно выйдет — как бы сама собой, если не считать того, что всю ночь над ней прокорпит безотказный Матисс».

Профессор Екабс Карклиньш — он с Райнисом и Стучкой познакомился в доме последнего, когда оба были еще гимназистами: «В Риге, там, где прежде жил Петерис Стучка, теперь была квартира Райниса. Здесь на Рождество и в другие праздники, а также во время каникул собирались студенты и вообще передовая молодежь. Бывало, в экстазе Райнис даже вскакивал на стол и, сжав руки в кулаки, звал на борьбу со всем отжившим...»

Опять Райнис, и опять он вспоминает не о себе, или не совсем о себе. Вот как ему виделся через десятилетия один из тогдашних друзей — дерптский студент Янис Ковалевский (погодок Янсона). «Величие и чистота всегда увлекали Ковалевского, и он бросился в *новое течение* с восторгом. Вдохновенный, сердечный, он был еще и нежен и ласков как девушка. Я, пожалуй, не вспомню за свою жизнь другого юношу, столь же ясного и милого. Сам себя он называл Лепским. Была у него привычка — первые два слога своей фамилии проборматывать почти неразборчиво, перенося центр тяжести на два последних. Так он и стал Лепским.

Бойцом, воителем он по натуре не был. В одном эскизе, набросанном им, герой — он сам — при звуке горячих, воинственных речей отходит в сторону с едва заметной иронической улыбкой на устах. Но был случай: речь товарища захватила его; были нарисованы вдохновляющие картины будущего, названы великие замыслы, — и вот тогда он тихо подошел к говорившему, попросил его отойти, и покуда тот гадал, что же такое срочное ему сообщает, Лепский вдруг стремительно его обнял, поцеловал

и сказал смеясь: «Ну, теперь иди, продолжай». Как тут будешь «продолжать»? Ничего я в тот раз не сказал, но радость была во мне — и осталась. Когда потом пришлось претерпеть и тюрьму, и ссылку, вспоминалось, что награда моя уже получена...»

Аспазия однажды напишет Райнису об одном литературном персонаже: «Он ненавидел окружающих, а Ты их обожал». О ком это она? Да вот об этих студентах, о друге Лепском, о друге Стучке, о ближайших сотрудниках. Янис Плиекшан обожал их — их самих, а может быть, и их способность зажечься от его огня, заразиться его верой. Все, что в будущем хлынет в его строчки, делается кровью и плотью его героев, непрерывающееся движение мысли, вдохновение, — все в то время отдавалось молодым соратникам и друзьям, тратилось щедро до опустошения, да ведь и источник казался бездонным. Разве только один в этой импровизированной академии не был захвачен происходящим: Янсон. Он сам нуждался в слушателях, учениках, молодых восторженных лицах. Если Плиекшан вещал иной раз в экстазе вдохновения, то ведь и Янсон умел и любил довести себя и окружающих до экзальтации. Как двум пророкам поделить между собою горстку учеников? Странно, что столь простое соображение не приходило в голову редактору, имевшему обыкновение вскакивать на стол в порыве красноречия.

Со слов современника, писателя Августа Деглавса, мы можем себе представить, как выступал Янсон на популярных тогда дискуссионных вечерах. «Товарищи и подруги, — начинал он. — По доброй воле буржуи рабочим не отдадут ничего. Пролетариям нужно объединяться и брать свое силой. А для этого требуется классовое сознание, организация. Латышским рабочим пора искать связи с русскими, немецкими рабочими, с простыми людьми других наций. Рабочих не разделяет стена национальных различий. Их выдумали буржуи, чтобы расколоть рабочих. А потому — долой «сынов как дубы» и «дочерей точно липы», долой народные юбки и кафтаны. Долой богов и божков, сказки и рассказы, всяческие пословицы, загадки и прочее барахло. Не надо пролетариям народной песни, у них своя песня, куда лучше: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Буржуи, кровопийцы, урезают и урезают вашу зарплату. Рабочий погибает от холода и нищеты, а капитал оказывается в руках все меньшей и меньшей кучки богачей. Кончится тем, что совсем немногие будут владеть всеми богатствами мира, а другим не достанется ничего... И тогда мы возьмем силой то, что нам причитается. Хлынет кровь, — настанет день расплаты и народного гнева... Это уже почуяли столпы общества, — они слышат удары молота, забивающего гвозди в их гроб...» — и т.д.

М-да. Неужели же этим и воспламенял сердца молодой Янис Янсон? Ну, добавим лицо, молодое и вдохновенное, «монументальную», по словам Стучки, фигуру, голос — сильный баритон, мягкий, богатый оттенками. Все равно как-то... не хватает чего-то.

Ясно чего. Слушателя. Латышскую рабочую, полукрестьянскую аудиторию тех времен нужно себе представить — и все встанет на свои места. Посмотрите, эти молодые и сильные люди, не успевшие отмыть заводскую копоть после работы, просто ошалели от новизны и запретности услышанного! От надежды — перевернуть, наконец, жизнь, устроить ее правильно.

И все они, все до одного, умерли, в большинстве насильственной смертью, и сам оратор вот уже почти столетье лежит на дне моря под обломком старинного английского парохода...

Ничего этого никто из них не предвидит, в двадцать лет почти все бессмертны. Шеи вытянуты, глаза блестят, — они видят, видят этот буржуйский гроб, в который пора вгонять гвозди, — давайте поскорей сюда ваш молоток!

Слышал ли Янис Плиекшан эти речи? Если слышал, то не только Аспазия вот-вот поссорит их. «Долой народную песню?» Ну уж нет, — отдать родной язык, песню, предание он не согласится никогда, никому, ни за какие коврижки. Это все равно что душу продать — дьяволу или другому какому покупщику. Дудки!

Аспазия: «Стучка, который до того о социализме ведать не ведал, теперь начал звать к себе и угощать дерптских студентов, при этом «забывая» пригласить Райниса... Райнису это, конечно же, было больно, он ощущал происходящее как интригу, направленную против него, и больше того, к этим козням оказалась причастна его сестра Дора, к тому времени уже помолвленная со Стучкой. Кроме того, причиной несчастий была я...»

Только в августе 1894 года в жизни Петериса Стучки внезапно и навеки все осветилось, обрело устойчивый смысл. Любовь и социализм поразили его разом, как удар молнии, и если бы Дора была просто красивой, любимой и любящей женщиной, если бы не принесла она с собой своего потрясающего открытия, это было бы другое, совсем другое. Так же и социалистическая идея не только могла бы посетить его иначе, но она и навевывалась, и только что не кричала о себе прямо в ухо, но до времени он

был глух и слеп, и сколько ни проповедовали новое учение его друг Плиекшан, знакомые из «Диенас Лапа» и прочие, сколько ни читал он, — а ведь и в Маркса, и в Фейербаха, и в Энгельса заглядывал краем глаза, — но мертвы, мертвы были и слова и фразы, пролетали где-то мимо слуха, не задевая, чужие, сухие, какие-то даже неаппетитные.

Пришла любовь и наполнила все сиянием истины и правоты. Сухие стебли налились соком, ожили, зацвели. Он не мог бы теперь при всем желании вернуться в свой прежний мир, не мог прежними невидящими глазами взглянуть на строки революционных брошюр: теперь они опьяняли и жгли.

Раньше теория социалистов казалась ему частностью, одной из многих. Теперь она сделалась главной, а частностями — все остальное: страны, языки, народы, амбиции отдельных людей, их жалкие успехи и поражения... И вот еще что: Дора дала ему понять, что он там нужен, что для него есть место в ряду борцов, и далеко не последнее место! Он знал свои силы, с детства легко обгонял ровесников в любом деле, — оставлял их за спиной, даже не запыхавшись. Но его возможности не были затребованы до сих пор. В ловушке своего несчастного племени, рожденья и языка он давно уже перестал дергаться, зная: выхода нет. Пришла женщина и порвала все тенета, протянула руку: пойдём!

Теперь он понимал, почему в тот раз Янис приехал из Цюриха окрыленным. Дора и с ним сделала в свое время то же самое. Ввела его в социализм, как вводят долгожданного гостя в дом. То была ее вотчина, ее радость, ее интимная тайна... Не нужно, оказывается, принадлежать к великому народу, чтобы быть допущенным туда, где творится история. Не нужно родиться принцем крови, графом, бароном. Ничего не требовалось — кроме веры и готовности отдать всего себя общему делу. Всечеловеческий, всемирный размах этого дела ошеломлял, — и он был заведомым условием всего. Если не всемирная победа — зачем она?.. Еще недавно он копошился в самом низу, — и карьера провинциального адвоката была все тем же низом, все тем же дном все той же затхлой провинции. И он оказывался теперь на самом верху, — среди адептов великого учения, в первой тысяче — из миллионов и миллионов. «Кому-то я покажусь смешным: в моем возрасте начинать жизнь сначала! Но что мне чужие смешки? Жизнь без Доры могла бы не состояться, — тянуться, тянуться и кончиться, так и не дойдя до начала».

Ее брат — натура слишком нервная и себялюбивая, слишком сосредоточенная на себе самой. Он по сути своей неспособен к самоабвенной, безымянной работе, дисциплине, к возвышению через

самоотрицание. «Дора это почувствовала — и отдала предпочтение мне: я способен владеть собой, а он — нет, я умею вести за собой людей, а он — нет, я могу быть и безвестным бойцом и — вождем огромных человеческих масс, а он... Впрочем, что я по-настоящему о нем знаю? Порой он кажется вялым и бессильным, мягкотелым, как слизняк. Порою же его нетрезвые обещания — тогда, в Петербурге — стать «новым Прометеем», «сотворить из простой глины, из грязи, — понимаешь, Петерис, из грязи! — не только человека, а — Бога!» — порой, как ни странно, все эти горячечные речи даже теперь, задним числом, почему-то не кажутся смешными...»

Аспазия и в романе, и в воспоминаниях своих изображает дальнейший ход событий так: Стучка переманивает новотеченцев, особенно студентов, дармовой едой и выпивкой: он богаче Райниса и может это себе позволить. Тогдашние студенты выпить безусловно любили, да и поесть досыта им в обыденных обстоятельствах удавалось не всегда, а потому гостеприимством щедрого адвоката они и впрямь вряд ли пренебрегали. К слову, в апреле 1895 года Петерис Стучка сменил квартиру. И прежде он жил в том же самом доме, где располагалась редакция «Диенас Лапа», но этажом ниже. Теперь он перебрался со второго этажа на третий и обитал рядом с редакцией, дверь в дверь. Студенты, прибывшие летом на каникулы, заходили в редакцию — и почти автоматически попадали в квартиру Стучки, где находили, кроме самого хозяина, Яниса Янсона, Фрициса Розиньша и других, уже популярных к тому времени ровесников и друзей. А также и пиво, охлажденное в корзине со льдом, и вино, и закуски. Впрочем, они были в том возрасте, когда пьянят дружеские речи, общие мечты и приговоры, песни и смех; не будь там вина и закуски, они сходились бы и натошак, летели бы в гнездо заговорщиков как мотыльки на огонь.

Янис же Плиекшан летом 1895 снял дачу на взморье, в Дубултах. Там же проводила лето и Эльза. Едва справившись с неотложными делами, редактор спешил уехать, так что и переманивать от него студентов вряд ли требовалось. Они его попросту не заставляли на месте, а Янсона и Стучку — заставляли.

В романе Аспазии к Ярмутсу на взморье приходит один из его друзей и рассказывает, что «партия» собралась тайно и решено отстранить Ярмутса от редакторства и от руководства «новым течением». Документальных подтверждений этому нет, но план постепенного вытеснения Плиекшана отчетливо проглядывается в самом ходе событий.

План этот был гениально прост: использовать для устранения Пликшана его, так сказать, революционные достоинства: резкость его передовиц и иностранных сообщений, столкновения с цензором. Внушить осторожному издателю, который и без того уже имел неприятности по этому поводу, что эдак он может потерять все свои деньги. Петерис Бисниекс — бессменный глава богатейшей Рижской ссудо-сберегательной кассы латышских ремесленников. А один из директоров в кассе — адвокат Петерис Стучка. Два Петериса не только встречаются регулярно по делу, но и почти дружат (издатель много старше). Нет ничего проще как подсказать основному владельцу газеты: пусть Пликшан возьмет на себя хотя бы часть финансового риска! Пускай внесет несколько тысяч рублей, станет соиздателем — и тогда уж, вступая в спор с цензурой, он будет знать, что рискует и своими деньгами.

Дальнейшее — как оно виделось Пликшану: «Последнее предложение Бисниекса было таким, чтобы я увеличил свой вклад на пять тысяч рублей, но этого я исполнить был не в состоянии. Стучка же это исполнил...»

Тут нам придется ввести в действие документы, относящиеся к более позднему времени — лету 1897 года — но рассказывающие по порядку о событиях как раз описываемого нами периода, 1894—1895 гг. Это протоколы допросов помощника присяжного поверенного Ивана Христофоровича Плекшана и студента Янниса Янсона, арестованных по делу о тайном обществе «Новое течение». По делу было арестовано около ста человек, о чем — в свое время. Пока что — только выдержки из протоколов, относящиеся к предмету нашего рассказа.

Янсон: «21 июня на квартире Плекшана состоялось собрание конспиративного характера при участии моем, Плекшана, Крума, Ратнека, Крумберга... Ивана Ковалевского, Павла Дауге (петербургского студента), причем было решено собраться для окончательной выработки программы нелегальной деятельности в декабре этого же 1894 года с тем, чтобы каждый из собравшихся обдумал к этому времени способы социал-демократической агитации...»

Осенью 1894 года, как мне писал Пауль в Москву, среди митавцев стало возникать неудовольствие против Плекшана как редактора и деятеля в виду того, что он слишком отдался своему личному интересу, вследствие знакомства с писательницей Розенберг (Аспазией).

К 20 декабря собрался съезд... Соповещения происходили в разных местах и в различном составе участников; так, в помещении Плекшана разрабатывались общие вопросы, касавшиеся интересов газеты, а в помещении редакции конспиративно обсуждались вопросы агитации.

...Наконец, 28 января (1895 г.) начался съезд, носивший уже исключительно конспиративный характер, так как все легальное было уже вполне разработано на декабрьском съезде... Был избран центральный комитет в составе председателя Стучки, кассира Плекшана и секретаря Христофора Валтера».

Сразу же, по горячим следам заметим, что наш студент лжет по вопросу, нас интересующему, а именно — о перевороте в «Диенас Лапа» и в «новом течении». Осенью 1894 года Янсону вовсе не нужно было узнавать от кого-то, что Янис Плиекшан «отдался своему личному интересу вследствие знакомства с писательницей Розенберг (Аспазией)». Нам доподлинно известно, что он сам разговаривал в это же время с редактором «Диенас Лапа», выражая дружескую озабоченность: не повредит ли эта связь интересам дела. Мы знаем также со слов Аспазии, и все подтверждает ее правоту, что у самого Янсона был «личный интерес» в этом вопросе, и весьма жгучий интерес. И потом — как не верить рассказу Аспазии о посреднической миссии Янсона, о переданной им от имени Доры и его личной угрозе — отстранить Плиекшана от дел, если он не отступится от Эльзы или Эльза от него. Угроза эта была приведена в исполнение в течение ближайших месяцев! Итак, Яннис Янсон врет. Врет на допросе жандармскому подполковнику. Обманывать врага, разумеется, не грех, — однако перед нами, поверьте, случай особый... Теперь вернемся к протоколам.

Янсон: «По поводу функций председателя, кассира и секретаря, избранных на съезде 28 января 1895 года, объясняю... Комитет должен был изображать из себя такой орган, который являлся бы руководящим центром в промежутке между съездами. Самое избрание комитета прошло очень поспешно. В выборе его членов, видимо, играли роль интриги личного характера, так как Плекшан не попал в председатели, а в секретари был избран Валтер, стоявший в неприязненных отношениях с Плекшаном...

С начала февраля до середины июня 1895 года я пробыл в Москве и в это время покончил дальнейшее пребывание в Московском университете. Прибыв в Ригу, я застал в редакции «Диенас Лапа» большую неурядицу, так как Плекшан совершенно перестал фактически работать в редакции, разыгрывая из себя какого-то общего руководителя и предоставляя сотрудникам полную свободу. Такое поведение Плекшана, бросившего газету на произвол судьбы, вызвало значительное охлаждение мое к нему».

Официально в последних числах ноября 1895 г. сообщалось: «В связи с ухудшением финансового положения газеты «Диенас Лапа» издатель П.Бисниекс заключил с П.Стучкой договор об учреждении совместного общества по изданию газеты «Диенас Лапа», а также управлению типографией и книжным магазином».

1 декабря: «Так как редактор газеты «Диенас Лапа» Я.Плиекшан отказался от должности и выехал из Риги, П.Бисниекс обратился в Главное управление по печати с просьбой утвердить П.Стучку также и в качестве ответственного редактора газеты».

Из показаний на допросе Я.Янсона: «30 ноября я из полученного мной номера «Диенас Лапа» узнал, что Плекшан перестал быть редактором, и потому на следующий же день приехал в Ригу — узнать, в чем дело, причем оказалось, что из-за уменьшения числа подписчиков и из-за финансовых недоразумений между издателем Биснеком и Плекшаном последний вышел из редакции, и на его место поступил Стучка. Из разговоров со Стучкой я убедился, что он, оставаясь верным прежней программе в направлении газеты, решил, однако, внешней форме, редактированию статей придать более мягкий тон, и действительно, в последующем издании газеты стало гораздо меньше столкновений с цензурой. С этого времени начинается мое почти постоянное сотрудничество в газете».

Из протокола допроса И.Х.Плекшана. «После вступления Стучки в редакторство он стал преследовать тех сотрудников, которые сохраняли отношения со мною».

Аспазия, напомним, утверждала, что П.Бисниекс не платил авторам за статьи ни гроша. Это не совсем так. Сохранились ведомости гонораров, выплаченных в 1895 и 1896 годах за публикации в «Диенас Лапа». Из них видно: основной состав авторов при Стучке резко меняется. В 1896 году пишут, печатаются в газете, получают гонорар другие люди. Переворот был полным.

Янис Плиекшан, переехавший в Елгаву, почти не спал ночами. Лежал на спине, уставившись в пустоту, и думал, думал. Те сотрудники «Диенас Лапа», что остались ему верны, предлагали защищаться, протестовать, рассказать публично о происках и интригах, жертвою которых он стал. Но кто напечатает его протест? Стучка и Янсон? «Балтияс Вестнесис»? Прочие издания враждебного толка, на которые он нападал, над которыми

измывался изо дня в день? Нет, бесполезно. Звать его Никто и никому он не нужен.

Мысли метались в поисках выхода. И способа отомстить. Планы, один нелепей другого, вспыхивали и гасли. Некоторые мысли повторялись, застревали в мозгу наподобие какой-нибудь дурацкой навязчивой песенки; он отгонял их. Больше всего хотелось стереть внутри себя все ощущения, как стирают тряпкой надпись на школьной доске, оставить там блаженную черную пустоту.

...Нечто среднее между бредом и сном: он увидел коренастую плотную фигурку Янсона, сильно уменьшенную и дергавшуюся и гримасничавшую, как кукла в театре марионеток. Причем тут «как»? Это и была марионетка, точь-в-точь такая, каких он видел на площади в Цюрихе; сеть ниток и рычажков вела выше, и там обнаружился Петерис Стучка, Толстяк, — из всех прозвищ это подходило теперь ему больше всего. Толстяк старательно «водил» куклу-Янсона. Но приглядевшись внимательней, он заметил, что и движения самого Стучки не вполне натуральны. Догадка забрезжила в нем... Да! Те же ниточки, те же рычажки были приделаны и к рукам-ногам Толстяка, им тоже кто-то манипулировал, но кто? К досаде своей Янис никак не мог разглядеть за спиной Стучки фигуру и лицо кукловода: казалось, вот-вот он приоткроется взгляду — но всегда в последний момент что-то его загораживало, дергалась крупная голова Петериса или являлись в поле зрения вовсе посторонние предметы: чьи-то шляпы, воздушные шары на веревочках, лошадиная морда. Изо всех сил Янис вытягивал шею, стараясь взглядом проникнуть за очередное препятствие. Наконец, быстро-быстро, на долю секунды промелькнула фигура и бледное лицо за спиной Стучки. Он ахнул: не может быть! Показалось, что там была Дора — точно, Дора, ну не бред ли? — а дальше, за Дорой, если вспомнить... что-о? Он сам? Очнувшись, он понял, что то и был бред или сон, но тут же провалился опять в полубеспамятство, в котором яростно спорил со своим предыдущим сном — или бредом, а что ж тут спорить было, о чем? но спящему не объяснишь.

С Эльзой тоже не все было гладко. Он бы очень хотел, чтобы она первой сказала: изменились обстоятельства, но мы-то с тобой не изменились; все, что было сказано и решено между нами, остается в силе. Но она не спешила говорить этих слов и, похоже, сомневалась то ли в нем, то ли в себе, ждала какого-то указания... выхода, который открылся бы сам собой. Дела ее были плохи. Почти не оставалось сомнений, что ее точно так же вышвырнут из театра, как его из редакции, только еще

бесцеремонней: им-то зачем хитрить, плести интриги? Выгонят — и все. А на ней, на ее зарплатке семья только и держится. Господи, как близко оказалось от лавровых венков и оваций до прежней нищеты, уже ухмылявшейся и кивавшей: привет, старая знакомая!

Почему-то Эльзе вспоминалась все время осенняя несчастная поездка в Цюрих — она-то, кажется, и открыла собою цепь неудач. Ехала она поступать в университет, учиться на врача — как Дора, ее врагиня. Янис обещал, что найдет средства на учение. То был их общий проект. Учиться она любила и хотела всегда, а именно Цюрих, именно медицина были избраны не без тайного желания утереть нос его высокомерной сестре. Пробыла Эльза за границей недолго. Поздней рассказывала, что в Цюрихе останавливалась там же, где в 1893 году жил почти два месяца Янис, что дом был обжит самой радикальной молодежью, — юные революционеры приняли ее за свою и говорили с ней так, будто им завтра же вместе идти на баррикады. Но испугало ее не это. «Циничные разговоры о вивисекции», мучения подопытных животных, о которых она услышала с ужасом, а также и перспектива резать трупы в анатомичке заставили ее обратиться в бегство.

Объяснение можно принять, но с осторожностью. Могли быть и другие причины, неназванные. Образование Эльзы Розенберг было все-таки клочковатым, пробелы и пустоты она пыталась героически заполнять, но латынь и греческий не возьмешь с разбега, так же как математику. Не исключено, что она убедилась там, на месте, в недостаточности своей подготовки; да и необходимых бумаг у нее, кажется, не было, ведь гимназию она в свое время не окончила.

Так и обернулась эта ее попытка безрезультатным и дорогостоящим путешествием. Эльза была не из тех, кто казнит себя и без конца пережевывает подробности своих неудач. Хотелось найти еще чью-то вину, — а кто горячо уговаривал ее ехать в Швейцарию?..

Янис Плиекшан живет в Елгаве с матерью и старшей сестрой. В эти дни он выезжал в Псков, потом в Петербург: интересовался возможностями переезда в Сибирь. Он не хотел оставаться на родине.

Будет ему Псков, и свою Сибирь он тоже получит со временем, уже недолго осталось.

В Елгаве он, несмотря на отставку, фигура заметная. Латышских «лучших фамилий» в то время насчитывали здесь шесть-семь. Не затеряешься.

В доме Плиекшана и здесь собирается молодежь, совсем зеленая — гимназисты и гимназистки по преимуществу. От студентов, бывавших

в квартире Плиекшана в Риге, их отличает чрезвычайная серьезность и отсутствие какой бы то ни было богемы: они не пьют, эти молодые люди и барышни, а если пьют, то лишь чай. С баранками.

Аспазию однажды угораздило появиться в этом доме прежде времени, когда не только юных гостей, но и хозяина еще не было. Открыла дверь его мать. Открыла — и некоторое время загораживала собой проход, точно сомневаясь, пускать гостью за порог или не пускать. Впустила. Чтобы тут же обрушить на нее лавину упреков. Да как у ней хватает смелости заявляться сюда? Мало она навредила сыну? Да любая на ее месте обходила бы этот дом за версту. Завлекла еще одного дурачка в свои сети — и рада? Как же не дурачок — на кого польстился? Прощайте, любезная, вот и хорошо, и чтоб духу вашего здесь не было!

Все обиды, все разочарования последнего времени, и разговоры с обеими дочерьми, и споры, и присмотренная для сына деревенская невеста с сорока коровами, отвергнутая им — и ради кого? — все вылилось и прорвалось в словах Дарты, постаревшей и как-то потерявшейся после смерти мужа.

Старшая сестра Яниса стояла тут же — и не пыталась вмешаться. Аспазия выскочила как ошпаренная из чужого — чужого теперь и вражеского дома. И в довершение всего попала в стайку молодежи, направлявшейся в тот самый дом, откуда ее только что с позором выгнали! «Куда же вы? Разве вы не идете к Плиекшану? Без вас будет скучно! Нет, мы вас так не отпустим!» Эльзе пришлось вырываться силой из дружеских объятий Кларисы Эйлерт и Анастасии Чиксте; она чуть не разрыдалась там же, на улице, покуда барышни сообразили, что она не шутит и что ей не до них.

«Твердо решила она тогда отказаться от Асминса; нити, связывавшие их души, не были еще настолько прочны, чтобы их нельзя было разрушить».

Янис не мог понять, почему его избегают, почему резко оборвалось все то, ради чего — казалось теперь — он пожертвовал столь многим... Добившись все-таки встречи и узнав правду, он прямо-таки затрясся от гнева и пообещал «сдать в какой-нибудь захолустный пансион» и мать и сестру, чтобы избавиться наконец от их «террора». Он даже рассказал Эльзе, как однажды в ранней юности, когда мать и Лизе не пускали его из дому и заперли, представь себе, на ключ, он топором разнес в щепы дверь и силой вырвался на волю!

Все это прекрасно, но бывают обиды, забыть которые невозможно.

Тоже и Эльзе было нелегко с родительницей. Мать все чаще заговаривала о том, что как-то нужно придумать, сделать что-нибудь, ведь он адвокат, твой Плиекшан, пусть отыщет выход, пусть разведет тебя с этим-то... с подлецом, прости Господи, пускай бумаги напишет, уж он должен знать, кому и как, а сам пусть на тебе женится, не думает же он просто так развлекаться, не на такую напал, да и сам он не из таких — или?..

— Ах, мама, мамочка! Дай мне пожить на воле! — будто бы отвечала дочь. — Тебе ли не знать, какие это кандалы, тебя саму выдали замуж в восемнадцать. Замужем надо любить по обязанности, а где конец свободе — там и любви конец.

— Но как же, что люди-то скажут? Да всю говорят уже. Молодой человек — и ходит, ходит к тебе, а жениться не женится.

— Пусть говорят что угодно!

И вот что было.

Адвокатом его не утверждали (был слух, что по мотивам политическим — за редакторские грехи).

Ближайший друг его предал.

Младшая, любимая сестра оказалась с другом заодно.

Бывшие коллеги частью от него отреклись, частью оказались, как и он, не у дел и молотили руками изо всех сил, пытаясь выплыть.

С матерью и старшей сестрой он поссорился из-за Эльзы.

Эльза же решила с ним порвать из-за его сестры и матери.

Крушение было полным.

Здесь завершилась еще одна жизнь Райниса. Когда он решил, что и любовь, найденная так поздно, отказала тоже, — не только смертью это показалось ему, но и чем-то запредельным, что чернее тьмы и неживее мертвого.

Тут можно было подвести черту — белую, чтобы видно было на черном, — и написать предпоследней оконченой мыслью: «Конец».

ТОВА ПЕРВА

К...

ЕЛЛАВА, ВЕРНИН И ДАПЕЕ ВЕЗДЕ

...

...

...

ЖИЗНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЕЛГАВА, БЕРЛИН И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Свет рождается в самом плотном сгущении тьмы. Это из его будущих стихов. И из пролога к будущей пьесе:

*Свет в ночи родился,
Жизнь взошла из смерти.*

292 Как ни трудно себе в этом признаться, но может быть, полный конец, завершение и отторжение предыдущей жизни были необходимы, чтоб состоялась последующая. Вполне представима другая, небывшая судьба, ее так легко провести пунктиром, продлив прежнюю прямую с момента обрыва. Янис Плиекшан продолжает оставаться редактором. Газета, прожорливый зверь, и второй, куда прожорливей первого: политика — могли бы поглотить и переварить нашего героя без остатка. Или — не могли бы? Или взбунтовалось бы и вырвалось наружу любым путем то неповторимое, что, мы знаем, в нем было?

Сомневаюсь.

И уж точно не было бы *ямы* — того сгустка тьмы, в котором после полуобморока, когда потеряно было ощущение времени, забрезжил первый свет. И шел он не снаружи, а из сердцевины мрака.

Он взялся за философию (в газете — не смог бы, времени бы не нашел). «По ту сторону добра и зла» Ницше, «Сила и материя» Бюхнера, первый том марксова «Капитала», Шопенгауэр, Фейербах, древнеиндийская философия; Дарвин, Эрнст Геккель, Тимирязев... Достоевский и Толстой... Все прочитанное, как в ранней юности, он немедленно прилагает к собственной жизни, ничего не принимая на веру, чаще отталкиваясь от чужой мысли, чем черпая что-то готовое. Он работает, как плавильня, в которой при огромной температуре и давлении самые

разнообразные вещества кипят и обмениваются атомами, превращаясь в новый сплав с никому не ведомыми свойствами.

Крушение иллюзий, привязанностей и дружб заставило его уйти в себя. Внутри себя пришлось и спускаться и восходить, это движение то ли вверх то ли вниз было бесконечным, и оно продолжалось в снах.

Он не отрекся от «идеи» — в их кругу не нужно было объяснять, что за идея, она была общей едва ли не для всего поколения. Но веря в будущее, он не мог себе представить, что там, впереди, смогут обойтись такими же слабыми, циничными, своекорыстными людьми, как его вчерашние соратники. Его любимой мыслью и мечтой станет «человек будущего».

При этом будущее ожидалось скоро, — где-то за чертой недалекого уже нового века, то есть через несколько лет. И человек будущего вовсе не обязательно должен был родиться через столетие. Он уже родился. Таким человеком может и должен стать, например, он сам. И Эльза. Поскольку без любви человек вообще неполон, а человек будущего просто невозможен.

Значит, вот условия, непременные. Любовь. Развитие — ежедневное, ежечасное. Расти, искать, обновляться. Человек будущего — существо прометеевой породы. Ни перед кем, даже и перед богами, если б они были, не склонится. Творит и открывает, спорит с богами — или с природой — и их превосходит. Человек будущего — эгоист. Веками людей попрекали эгоизмом, — а это самое естественное чувство и состояние. Человеку будущего не нужна ложь, в том числе и ложь на сей счет. Ты должен состояться сам, найти и утвердить себя — и только тогда способен дать огонь людям, любить и вызывать к себе любовь, творить.

Райнис не читал Чернышевского и с его «теорией разумного эгоизма» не был знаком. А соответствующие тексты Фейербаха ему попадутся позднее. Его, райнисовское понимание и утверждение эгоизма было ответом на коллективистские посылы «партии», уже успевшей наплевать на его *самость*, посягнувшей на его любовь и насмеявшейся над его дружбой. То был ответ Стучке и Янсону. Райнис оставался (и до конца дней останется) социалистом. Но социалистом, ставящим во главу угла личность. Человек будущего — личность прежде всего, и счастья большинства можно достичь только тогда, если масса будет состоять из единиц, мыслящих и любящих, растущих и творящих.

Здесь он с самого начала в корне расходился со «своей» партией, — не случайно она почуяла в нем чужака и отстранила. И Янсон и Стучка по-своему были правы, их «человеком будущего», — оба даже употребили

раз-другой в своих статьях это выражение, — их идеалом и нормой был безымянный боец. Слово «индивидуализм», под которым они понимали претензии личности на исключительность и отдельность, было для них словом бранным. И опять же — их правота. Если, как сказано одним из персонажей «Бесов», нужно «всякого гения потушить в младенчестве», все привести к одному знаменателю, то ведь для поборников полного равенства это верная, справедливая задача. В неравенстве способностей — залог всех других неравенств, которым суждено воспроизводиться вновь и вновь, вопреки героическим усилиям уравнивать. Лица будут высываться, груди, носы, нарушая ранжир, руша однородность массы. Мысли будут торчать из голов, хоть обрей их все под ноль, наголо. Ах, даже и совершенно неприличная деталь непременно выскочит из строя, выставится наружу, да еще нестандартных размеров или вызывающего поведения, покушаясь опять же — проклятие! — на принцип равенства в уязвимом для партийных и беспартийных пункте.

Рассорившись с новыми вожаками еще немногочисленной и пребывавшей в младенческом состоянии партии, Райнис с идеей не ссорился. Как он думал. Он всего лишь отстаивал ценность отдельной человеческой персоны, ее автономные права, самость.

Точно так же он настаивал и на праве народа быть самим собой, состояться, как субъект мировой истории. Довольно рано он придет к мысли, что народы и языки — живые организмы. Учения же, в том числе учение социалистов — вещи сами по себе неживые, способные ожить только в связке с живым человеком или живым народом. Он искренне убежден был, что интернационализм возможен лишь там, где есть нации, международные связи — там, где есть народы.

Для Янсона же, для Стучки *со товарищи* существовала четкая альтернатива: или социализм, или национализм. В случае Плиекшана их должно было постоянно успокаивать и даже приятно волновать ощущение полнейшей правоты. Перед ним, прискорбно заблудившимся. Перед собой. Перед партией.

И еще: радость. Радость Райнису представлялась обязательной для человека будущего. Чем безрадостней были его дни и ночи, тем яснее он видел, что без радости никак нельзя, особенно в будущем, иначе — зачем же огород городить?

В партийном же языке слова «радость» решительно не было. Да и слова «любовь». То был специальный, довольно узкий язык, изобиловавший иностранными, — причем для всех живых языков иностранными,

— словами. Казалось, партия инстинктивно стремится к максимальному сужению языка, возмещая лексические потери частотой употребления любимейших слов и понятий: класс, борьба, масса, права, эксплуатация, диктатура, революция, экспроприация. К слову: в бытность Плиекшана редактором цензура запретила употребление в газете этих слов. Чем чрезвычайно усложнила легальную деятельность «новотеченцев». И подтолкнула к усилению деятельности нелегальной.

Оставленная газета вообще как-то не отпускала Яниса. В свое время в «Диенас Лапа» появилась резкая статья об одном самозваном адвокате. Неком Рашмейере. Который оказался близок к адвокату и журналисту Фридриху Вейнбергу, считавшемуся, в свою очередь, чуть ли не идейным вождем латышских реакционеров. Рашмейер подал на газету в суд за клевету. Иск был отклонен в суде первой инстанции, но Вейнберг и Рашмейер подали на апелляцию, и, как слышал ответчик, Плиекшан, благоприятный для него исход теперь был сомнителен.

Приходилось ему заниматься и бумагами Эльзы. В феврале с его помощью Э.Вальтер подала прошение в консисторию, чтобы ее первого мужа, покинувшего дом без паспорта за восемь лет до того и с тех пор не объявлявшегося, признали безвестно пропавшим, а брак расторгнутым. Процедура объявления одного из супругов безвестно пропавшим была сложна. Требовалось поместить три извещения в Петербургской и в местной газетах; по всей империи объявлялся розыск Максиса Вальтера, пропавшего мужа. Из Иркутска и Томска, Екатеринбург и Тамбова, из Перми и Одессы, с Кавказа и Украины приходили постепенно сообщения полиции: нет, названный Вальтер не появлялся, не отмечен, не был. Из Финляндии ответ прислали на финском языке. Шутники.

Так подспудно, в далеких кабинетах и коридорах протекали действия, незримо связанные с их прошлым и будущим. Чужие люди, никогда их не видевшие и которых они никогда не увидят, занимались их судьбой, бесчувственные, как шестеренки часового механизма. Двое жили себе, надеялись, мучились, отпущенные на длинном поводке. А там, на другом конце невидимой связи, что-то готовилось, шуршало бумажками, тикало.

В конце ноября 1896 года Янис Плиекшан и Эльза Вальтер-Розенберг в вагоне четвертого класса отбыли в Берлин. Никто им не препятствовал. Никто их не держал. Иллюзия свободы была полной.

На границе ему весьма пригодилась тяжелая, длинная шуба. Все смотрели на нее почти с испугом, — «точно бы я был живой медведь или генерал», — писал Янис Лизе и матери. Благодаря шубе таможенные процедуры проходили как по маслу. А потом «генерал» нырял в свой вагон — самый дешевый из всех. Настолько дешевый, что во многих составах и вовсе не было вагона четвертого класса. И потому рижане несколько раз застревали в пути. Маршрут был не прямой, с пересадками, и приходилось долго дожидаться поезда, в котором бы наличествовал вагон наинизшего класса. Третий класс до Берлина стоил 17 руб. 50 коп., а четвертый — 7 руб. с полтиной. Ощущаете разницу?

Да, шуба. Янис говорил, что мог бы одну и ту же одежду носить десятилетиями. Пока не развалится. Он еще мальчишкой отказывался от красивых обновок, вызывая припадки отцовского негодования. Простой сын, совсем простой!

Но одежда с непонятным постоянством фигурировала в его снах. Обычно во сне он помнил и знал, во что одет, и это было отчего-то важно. Пальто или нижняя рубашка или выходной костюм были, как бы это сказать, не спутники сюжета, а сам сюжет: в них и обыкновенных манипуляциях с ними — надевании, застегивании, снимании — заключался тайный смысл, почти угадываемый в момент пробуждения, но всегда теряемый тут же.

Сны были большей частью цветные.

Почему Берлин? Потому же, почему Сибирь или Псков: нужно было наконец оторваться от поражений, слухов, от друзей, ставших врагами, от врагов, лезущих в друзья, от родных, предъявляющих на тебя права и желающих, кажется, жить вместо тебя — двигать тобою, как шахматной фигурой: сюда ходи, а сюда не смей. А не Сибирь все-таки, не Псков — потому что любовь. Эльза, как и он, владеет немецким языком не хуже, чем родным, а вот с русским у нее некоторые проблемы.

Деньги кой-какие есть, из оставленных отцом. Но, едва устроившись на квартире, он спешит отыскать работу. Уроки русского удается достать неожиданно быстро. В Риге он запаса, кроме того, рекомендательным письмом в газету — не самую крупную, но заметную. Писать он умеет по-немецки так же свободно, как по-латышски. Немецкий был не вторым, а первым языком его школьных лет. Родному же языку он вообще никогда не учился. Просто дышал им, впитывал порами кожи. Слушал —

откликаясь на каждый шепот и вздох. Песня вместе с латышскими, родными словами попадала прямо в кровь, разносилась по телу. Этого хватало. Хватило надолго.

И через месяц был сделан первый намек... полупредложение, крайне лестное для чужеземца и новичка: его звали на постоянную работу в газету. И притом не репортером. Речь шла, похоже, о должности соредактора... С особенным удовольствием он писал домой, что зарабатывает достаточно: капитал трогать не приходится.

Немцы помогли ему вернуться к нормальной, высокой самооценке. Берлин есть Берлин. Придя ниоткуда и ни с чем, он в считанные недели завоевал признание и газеты, и читателей, не шутка. Немцев — кого же еще? — приходилось благодарить и за главную радость этих дней: Гете. Он переводил на родной язык «Фауста». Иногда казалось, что даже только ради этого стоило появиться на свет.

Переводить «Фауста» предложили вообще-то не ему — Аспазии. Д-р Залите, к слову, один из немногих латышей, получивших образование в Германии (университеты Берлина, Иены, и лишь под конец, довеском — Петербург) обратился к ней как самому сильному из латышских поэтов. К тому же было известно, что она превосходно владеет немецким. Аспазия сначала было загорелась, но помучившись неделю над прологом, решила отказаться. Труд огромный — больше 11 тысяч строк! — донельзя сложный и громоздкий. Аспазия знала, что несколько попыток перевести «Фауста» на латышский закончились неудачей. В латышском языке попросту не находилось нужных слов. Он был язык крестьян, рыбаков, язык, до тонкостей освоивший окружающую их землю: только для наименования разного рода болот и топей в нем можно было обнаружить две дюжины слов! — но не признававший отвлеченных понятий. Слово соответствовало действию или предмету, описывало свойства предмета или действия, язык знал огонь и воду, железо и камень, краски и запахи, птиц и животных, звезды и солнце. Он знал любовь и смерть, молодость и старость; знал кое-что о старых богах, забытых и отнятых, о духах предков; его хватило, чтобы передать Библию. Но для вещей, которых никогда не было в жизни латышей, не было и слов. Где-то на юге есть дерево авокадо с сочными съедобными плодами; в Латвии не знали ни такого дерева, ни таких плодов, не было и слова такого — за ненужностью. Язык латышей был конкретен, как их нескончаемый труд, как

вся их жизнь до поры до времени. Вещи неосозаемые и невидимые встречались в песнях, сказках, заклинаниях, в старых верованиях и в сравнительно новых молитвах. Языку не хватало философских понятий, но в последние шесть-семь столетий некому и некогда было в Латвии философствовать.

— Только не отказывайся! Пойди и скажи сегодня же, что берешься! Я уже начинал переводить «Фауста». В университете, в Петербурге. У меня где-то пролог лежит, совершенно готовый... и еще два куска. Мы будем работать вместе.

— Тогда нужно ставить и две подписи.

— Поставим хоть три. Это все пустяки. «Фауст» — это же Библия нового времени, ты не думаешь? Сказочная возможность! Мы справимся. Если не мы с тобой, то...

— А язык?

— Не бойся за него. Языку нужно довериться, — он не из тех, кто предает. Заглянуть в его темные углы, чуланы, погреба. Во все диалекты, местные говоры: помнишь, как забавно говорил тот парень из Нереты? А мои латгальцы? Поскребем по сусекам, порыщем по тайничкам. А нужно — придумаем сами. Язык без костей! Он гибок. Он умеет повернуться и так и эдак. От одного слова можно отпочковать целый выводок новых. Я уже в нашей с Петерисом книжечке... Знаю, ты не любишь ее. Но все-таки: я уже там шутил с языком, поворачивал его, пошевеливал: он живой — и я живой, он без меня нежив, я без него. Мы с ним как два заговорщика, понимаешь?

— Где два заговорщика, — сказала Аспазия, — там и третий.

Он переводил «Фауста», начав с пролога, который пришлось, конечно же, пере-перевести: студенческая попытка оказалась жидковатой. Сейчас он умел много больше!

Перевод был начат в Елгаве и теперь урывками продолжался в Берлине. Аспазия не столько переводила, сколько была первым судьей и редактором. Пожалуй, «Фауст» в целом-то ей не по зубам, — признавался себе Райнис с тайной радостью и с видимым сожалением. Но критик она отменный, — поправки ее принимались без возражений. Быть может, Эльзе не хватало образования, чего-то там, в начале, в самом фундаменте. Но интуиция ее поражала. Эльза догадывалась о вещах, которых не могла знать ниоткуда. Она чуяла, где и что не так, и знала, как поправить дело.

Аспазия, Иоганн Вольфганг Гете. Берлин. Полное отсутствие недругов. Вот кому и чему он обязан был ощущением покоя и счастья. Потом однажды Райнис напишет, что эти месяцы в Берлине — едва ли не лучшее время в его жизни. Может быть, думал он, и смерть когда-нибудь будет таким же освобождением. Избавлением от груза. Как отъезд в Берлин.

Но тут в Берлине появилась Дора. Но тут в Берлине появились Дора и Петерис. Сестра Дора и друг Стучка.

«Он и Стучка были теперь враги, и друг с другом они не встречались, — пишет Аспазия. — В Берлине случилось так, что Стучка со своей молодой подругой, Дорой, был на представлении «Потонувшего колокола» Гауптмана, и мы оказались там же. У нас были билеты на галерку, они же сидели в ложе первого яруса. Увидев нас, они хотели подойти вроде бы с тем, чтобы помириться, но Райнис Стучке руки не подал и повернулся к нему спиной, сказав: нам не о чем больше говорить».

Аспазия писала это в 1932 году, то есть через тридцать шесть лет после события. А вот сам Райнис рассказывает о том же самом происшествии вскоре после него — 23 декабря 1896 года. «В театре, где мы нечаянно столкнулись, Стучка всячески старался от нас увильнуть: мы стояли всего в нескольких шагах друг от друга и Дора силой его тянула к нам, но и тогда он не дал руку». Впрочем, уличать Аспазию в неточности я не берусь. Райнис писал матери и сестре, он мог изобразить дело и несколько иначе, чем оно было в действительности. А там поди разберись в людской толчее, кто кому не подал руки. Бесспорно одно: рукопожатие не состоялось.

Лизе, бедная Лизе выходит на первый план нашего повествования. В декабре 1896 года ей оставалось жить меньше двух месяцев. И, явно чувствуя приближение конца, она торопится хоть что-нибудь исправить в отношениях самых дорогих ей людей (в них, единственно в них она видела смысл своей трудной, исковерканной ревматизмом и одиночеством жизни). Оба, брат и сестра, любили ее и жалели. (Они все еще любили, но уже не жалели друг друга).

«Ты, милое, милое, преданное сердце! — писала ей Дора. — Только теперь я во всей полноте почувствовала, что Ты такое для меня — и подруга, и поверенная сердца, и моя духовная мать. Сколько любви, сочувствия, самоотверженности Ты мне подарила! Ты дрожишь и трясешься за меня, за мою судьбу, как если бы она была Твоей! Бога ради, Ты, большой милый ребенок, не давай воли своим горьким, мрачным

думаю, отгоняй их, употреби на это все свои силы, всю душу, Ты ведь знаешь, как страшно они действуют на Твое здоровье...»

В декабрьские короткие, все более короткие дни Лизе скрюченной больной рукой пишет Доре, пишет Янису. Она подозревает, что от нее что-то скрывают, она тревожится и упрекает, она с ума сходит от сознания беспомощности. И вот письмо из Берлина, от брата. Последнее, полученное ею.

«...На жизнь хватает того, что зарабатываю, а вскоре будет и побольше, так что скопидомничать не придется. Больше нам и не нужно, приличного, как Ты пишешь, содержания и «солидного, достойного положения» я вовсе не желаю, а если бы достиг того и другого, мне бы всего этого не хватило, так же как не хватало недавно. Милая, милая сестренка... поверь же, что можно мыслить иначе, чем мы привыкли, и жить иной жизнью, чем та, которую у нас принято считать разумной и единственно возможной. Мне жаль, что в Твоем прекрасном письме, которое я читал взахлеб, Ты меня не поняла и упрекаешь, что я с Тобой был неискренен. И будто бы мне неприятно, что Ты узнала о моей встрече с Дорой. Какие тут могут быть приятности или неприятности? Что я здесь, Ты уже знаешь. Неприятно должно быть Доре, — ведь вы узнали, что она вовсе не корпит над своими учебниками, а живет здесь, в Берлине, со Стучкой. Щадя ее, я не писал вам об этом, не хотел ябедничать, — она свободный и взрослый человек и должна знать, что делает. Не желая, чтобы я опередил ее, Дора и написала Тебе первая, — она ведь и до нашей встречи какое-то время жила здесь, но в то время ничего Тебе не писала. Так что не мне, а ей нужно было таиться и опасаться неприятностей... Я дал Доре наш адрес, и она твердо обещала зайти, но он, видно, ее не пускает, и Дора не сдержала слова, даже записочку какую-нибудь с извинением прислать не осмелилась... Видишь, как Стучка боится, чтобы она не вошла с нами в какую-то связь и как ему неприятно все, что хоть сколько-нибудь мне на пользу. Он не то что не ищет примирения, но где только может раздувает нашу вражду. Он живет в вечном страхе, как бы его звезда не затмилась. Пускай будет ему полной мерой его счастье: толстый кошелек и толстое пузо, другого счастья он не знает («приличное содержание и солидное, достойное положение» — суть то же самое). Я его не боюсь. Тема эта вообще интересует меня все меньше, особенно теперь, вдали от всего; я смотрю на нее как на давнее прошлое, а если есть у этого вопроса будущее, то оно совсем другое, чем им представляется... Но Ты, милый мой, добрый, золотой человек, не тревожься за меня, вспомни о себе самой, Ты

сама не знаешь, как Ты сильна при всех своих страданиях. Верь себе — это необходимо... Я положился на себя, и мне это помогло, — нет на свете лучшего лекарства! Хоть бы я мог Тебе чем-нибудь помочь...»

Пришло известие: по делу Рашмейера бывший редактор «Диенас Лапа» приговорен к 26 дням ареста. Иван Христофорович Плекшан мог выбрать время и место (в России, разумеется), где отбыть наказание.

Лиза Плиекшан умерла 28 января 1897 года в Елгаве; ей было сорок два.

Спешно собрав вещи (их стало больше: прибавились бумаги), Райнис и Аспазия выехали на родину.

Дора написала матери, что приехать на похороны не может. Вернется в Латвию через четыре месяца, когда сдаст экзамены.

В набросках Райниса к автобиографическому роману читаем: «Лизе умирает с разбитым сердцем из-за наших споров и потому, что интриги пришли на смену прежнему».

На комод в гостиной обнаружили его и Дорины письма; одно было вынуто из конверта и лежало поверх остальных. Машинально он начал читать: «Ты стоишь между нами и хочешь все исправить... и вся боль от невозможности что-то сделать копится у Тебя в груди. Милая, добрая, Ты думаешь, что снимаешь с нас эту боль, что нам от Твоих мучений хоть сколько-то легче. Тяжелей мне становится, а не легче, — Ты обращаешь нас в своих должников против нашей воли. Я не в силах избавить Тебя от этой боли, не могу убедить, что ни одному из нас — ни мне, ни маме, ни Доре — Твоя боль не помогает и мы не желаем ее. Только свободным хочу я быть и действовать по своему разумению. У вас это было невозможно, даже Ты не сумела меня понять, и больше я не мог там оставаться... Только Ты одна и осталась у меня, но Ты с головой ушла в свои мучительные, нестихающие боли и в них ищешь успокоения, в них видишь какой-то возвышающий долг...»

Горло сжало судорогой. Как он мог! Упрекать умирающую той мукой, виновниками которой были мы сами! О, если б она ожила! Он бы нашел чем утешить страдальцу. Он придумал бы, как ее защитить! Сколько ему было — лет шесть, когда они с отцом перебрались в Беркенеле, а матушка осталась в Рандене? С тех самых пор Лизе заменяла ему мать. Сперва ему, потом и Доре и в конце концов, после смерти отца, сделалась

матерью для родной матери... Вот она, матушка, бродит растерянно и бесцельно, повторяя все время: «Господи, за что? Господи, за что?»

Значит, так и будет? Смерть — или жизнь? — всегда будет застигать тебя врасплох? И есть чернота чернее прежней (а недавно казалось — чернее некуда?)

Смешны ему были недавние прожекты. Эльза убеждена была, что они уехали на чужбину навеки. Даже написала сестрам Зэфельд, что «навсегда отряхнула с подошв прах родины» и если бы не несколько близких людей, то и думать бы о ней не стала...

Вспомнились встречи и разговоры со стариком Либкнехтом — и в рейхстаге, и у него дома, на улице Канта. Вспомнились планы: стать преподавателем, профессором в Берлинском университете. Все рассыпалось как картонный домик перед лицом первой же смерти. Один жестокий, слепой удар — и...

Если бы она ожила!

И она ожила.

Ночью, в длинной, до пят рубаше сурового полотна она пришла к его постели. Нагнулась. Потом прошлепала босиком к лампе, зажгла спичку и поднесла к фитилю. Вернулась с лампой и поставила ее на ночной столик. Янис уже отбросил одеяло и сидел на кровати, испуганный до дрожи. Что же это такое? Она неделю как умерла! Так значит, то была не смерть? Летаргический сон? Лизе, милая Лизе! Теперь все пойдет по-другому. О, Лизе, какое счастье!

Но что-то было не так. Она силилась произнести что-то и не могла. Лицо искажилось от мучения, от нового мучения — немоты. Ее губы, такие красивые, точно склеились. Он вдруг вспомнил, как однажды в Ясмуйже, он только что окончил гимназию, Лизе выдумала вдруг при всех поцеловать его. Он стеснялся и увертывался, а она его настигала, он смеялся и увертывался, она смеялась и догоняла... И вдруг... Сердце в нем упало. Скрюченными в судороге пальцами Лизе стала раздирать свои сцепленные губы. Она пыталась их разорвать, желая сказать что-то важное, что-то самое важное за всю их жизнь, но губы оставались сомкнуты, и дикие усилия сестры были так ужасны, так нестерпимы, — сломя голову он бросился вон из спальни, роняя какие-то стулья, за что-то цепляясь...

То был не сон, — о, если бы это был сон! То была галлюцинация — с участием всех пяти чувств. Первая — не последняя — в его жизни. Три дня ему понадобилось, чтобы стряхнуть с себя ощущение полной

реальности Лизиного прихода. И все еще оставался в глубине души вопрос: что же она хотела ему сказать?

Он знал теперь разницу между галлюцинацией и сном. Сон происходит в другой реальности, и пробудившись, ты это знаешь. Приход Лизе был вписан в явь. Он не спал и не ущипнул себя только потому, что ни на секунду не усомнился в подлинности происходящего. Он слышал шлепанье босых ног по половицам! Помнил, как полотняная рубаха на миг коснулась его руки, тыльной стороны ладони. Он слышал, как чиркнула спичка, видел, что фитиль коптит и даже ощутил запах копоти. Те же самые глаза, тот же слух, то же осознание подавали ему те же самые сигналы, какие он получал и от других явлений, лиц, предметов. Сколько ни убеждай себя, что ты видишь невозможное, — нельзя не верить своим глазам и ушам, нельзя отказаться от их услуг на время, ибо это тоже безумие. То же?..

Похоронили Лизе в Елгаве 8 февраля 1897 года. Аспазия много хлопотала при этом, и мать Райниса уже ни в чем ее не упрекала.

Остались после сестры письма, исполненные своеобразного юмора, заботы о близких и редкостного мужества. Остались еще дорогие и тяжелые золотые украшения, на которые не поспешил когда-то Плиекшан-старший. Аспазия вспомнит еще раз эти драгоценности, рассказывая о матери Райниса. Потом все это перешло, видимо, к Доре. Так и слышен тяжелый, с трудом подавляемый вздох Аспазии при упоминании этих вещей. Они с Райнисом будут часто нуждаться. И кроме того, Эльзе, видимо, нравилось золото.

Райнис о золоте не говорил никогда. Разве в пьесах.

Еще до похорон Райнис получил извещения сразу из двух мест — из Лиенаи и литовского городка Паневежиса. Сообщалось, что он может приступить к обязанностям защитника при тамошних судах.

Райнис выбрал Литву. Лиеная слишком близко к Риге и Елгаве. Нужно уехать хотя бы от сплетен.

Эльзе между тем прислали извещение, что брак ее с безвестно пропавшим Максисом Вальтером расторгнут и что при желании она может вступить в новый союз. Еще раньше, в Берлине были получены вроде бы надежные сведения о смерти ее обидчика — там, за океаном.

Матери, сгорающей от нетерпения, Эльза сказала, что, во-первых, после смерти сестры Янис должен выдержать обычный в таких случаях полугодовой траур. А во-вторых, она все еще не готова расстаться со свободой.

Готова она была расстаться, еще как готова! Ей было почти тридцать два, ее частная жизнь сделалась в Латвии притчей во языцех — и при всем своем свободомыслии в «женском вопросе» Эльза ничего так не желала, как называться женой Яниса Пликшана. «Хотя бы ради матери, его и моей», — думала она, оправдываясь перед собой.

И назло всем врагам и завистникам.

Между тем, в Москве тайная полиция напала на след крупной партии нелегальной литературы. Доставил ее некий Иван Пуце, латыш из портового города Либавы. За ним велась теперь постоянная слежка.

В марте Пуце встретился в Митаве с недавним редактором газеты «Диенас Лапа», помощником присяжного поверенного Иваном Плекшаном.

И с марта же последний тоже находится под негласным наблюдением полиции.

Вот они собираются на новое место.

Вот нанимают пятикомнатную комнату в центре Паневежиса.

Вот хлопчут, обставляя ее, устраиваются капитально и надолго.

Плекшан наносит визиты должностным лицам и ожидает ответных. Мать господина помощника присяжного поверенного теперь живет с ними. На кухне хлопочет только что нанятая прислуга.

И никто не слышит тиканья. Тикает невидимый механизм, стрелка поставлена на определенный срок.

Еще в декабре в журнале «Маяс Виеса Менешракстс» был помещен *на пробу* отрывок из «Фауста» в переводе Аспазии и Райниса. Теперь трагедия Гете печаталась с продолжением в каждом номере. Райнис ждал критических отзывов с тревогой и нетерпением. Он работал над «Фаустом» каждый день. От 20 до 40 строк была ежедневная порция.

Так начался его регулярный литературный труд, — он продлится до смерти.

Пришло в начале марта письмо от Доры. Трещина, разделявшая их, все ширилась. Он написал сестре три письма. Два отправил — и они пропали. Третье отсылать не стал. Вот оно. В отрывках.

Паневежис, 8 марта 1897.

«Ты должна понять: я пишу это письмо для маминого успокоения, а не затем, чтобы навязываться Тебе. Настаиваю на этом, ведь из Твоих

писем и Твоего поведения видно, что Ты именно так и думаешь. Тебе кажется, что «в теперешней ситуации о сердечных отношениях не может быть и речи», — само собой, кто ж того требует? «Как я могу писать не растравляя раны...» Не обязательно говорить об особенном, есть общие темы, не задевающие ран. Дальше: Ты «не можешь себя разделить». Но Тебе и не нужно этого делать, я ведь тоже не делю себя между Эльзой и Тобой... В конце Ты говоришь: «Никогда ты от меня не избавишься, да, будь уверен, ты не избавишься от меня никогда, если даже ты меня и не любишь». Видишь ли, и я бы не хотел от Тебя избавиться. От сильных не избавляются — будь сильной! Свободный человек нужен мне, раб — безразличен. Сделай и его свободным в отношении Тебя...»

12 марта того же 1897 года в доме «Вецбирзниеки» в Кокнесе умерла мать Петериса Стучки. Все было почти так же, как в 1891 году: тогда умер Кришьянис Плиекшан, а следом за ним — Стучка-старший. Теперь месяц с небольшим разделял смерть Лизе Плиекшан и Евы Стучки.

Высокий, полный, вальяжный, добродушный, невозмутимый — почти таким же выглядел Петерис Стучка и сейчас. Но внутри преуспевающего редактора и адвоката всхлипывал, размазывал по щекам слезы маленький сын плотовщика, у которого отняли сперва младшую сестру, потом отца, а теперь — последнего родного человека.

Дора Плиекшан, видно, и впрямь любила его. Бросив все дела, недосдав половину экзаменов, она примчалась из Монпелье в Латвию. 28 апреля в Даугавпилсе они обвенчались. Ни мать, ни брат новобрачной не были позваны. Только через месяц Дарта Плиекшан получила от дочери с зятем приглашение навестить их. Родительница мгновенно забыла недавнюю горькую обиду и укатила в Даугавпилс.

Янис обиду не забыл. Он никогда не забывал обиды.

26 апреля в «Балтияс Вестнесис» появился первый печатный отзыв о латышском «Фаусте». Ничего хорошего от старых недругов ждать не приходилось. А впрочем, почему бы и недругам не поумнеть? Все могло быть, и автор вперился в газетные столбцы с таким нетерпением, с такой жадной жаждой чуда, что в глазах потемнело. Автор? Мы сказали «автор»? В том-то и штука. Райнис давно перестал быть просто переводчиком. Он не уходил — или почти не уходил от оригинала. Но все огромное, дивное сооружение, вписанное в пространство другой литературы и другого языка, ставшее, быть может, самой приметной чертой тамошнего

пейзажа, здесь возводилось заново и требовало не пересказа, а творчества. Райнису понадобились сотни новых слов и понятий; философские и натурфилософские штудии; ему пришлось обновлять и создавать заново поэтический арсенал латышей. При этом искания Гете и его героя оказывались столь созвучными его исканиям, что грань между ними в минуты высшего вдохновенья стиралась. И обнаруживалась вновь при возвращении обычного ритма и дыхания: на каждое совпадение находилось различие. Другой язык, другое время, другие надежды. Он был автором — разумеется, не трагедии, написанной гением, а события, обещавшего преобразить скудный литературный ландшафт Латвии. Он не сомневался, что перевод «Фауста» изменит и обогатит язык, всю латышскую культуру, раз и навсегда выведет ее из провинциальной узости. Открывается новый, иной уровень восприятия и мышления, — можно ли этого не заметить?

Можно, оказывается, да еще как. Автор статьи, разбиравший часть «Фауста», опубликованную в четырех номерах журнала «Маяс Виеса Меншракстс», не обнаружил в переводе Аспазии и Райниса ничего кроме изъянов. И форма неудачна, и язык местами совсем непонятный и чуждый народу, и рифмы не те, и ритм тяжел и неправилен. Некий Е.Пд. (псевдоним Е.Дравниекса) заканчивал: *перевод этот — за пределами литературы*. И кстати, напрасно его публикует журнал, предназначенный для семейного чтения: «Если редакция собирается печатать трагедию целиком, то ведь там будет немало страниц, которые за семейным столом читать неприлично».

Райнис был задет глубоко, больно. Не знал он, что статья — только начало полемики, которая растянется на два с лишним года, что отзвуки спора будут слышны и через десять и даже через сто лет (надо думать, пока живы споры, жив и перевод).

В марте городок тонул в грязи, в апреле улицы подсохли и зазеленели, а к концу мая, рассказывает Аспазия, озимая рожь в полях — совсем недалеко от их дома — вымахала в человеческий рост; будто бы даже долговязый Янис скрывался в ней с головой, а сама Эльза шутя пряталась от него среди этой ржи и убегала. Васильков было тоже много, «синих, как глаза Яниса. Таких хлебов не бывает в Латвии, и такого счастья — тоже».

Идиллия. Правда, не полная. «Немного мешало нашему счастью лишь то, что характеры наши несхожи до крайности. Райнис неопишуемо ревнив, притом без всякого повода, — мне приходилось из-за этого даже плакать. Только его глубокая любовь все испукала. Однажды я

даже собралась вовсе сбежать от него...» И следом: «Повторяю еще раз: мы были счастливы. Беда только, что мы этого не сознавали».

Случай. «Однажды он уехал в Даугавпилс — покупать мебель, там она была дешевле. К вечеру обещал вернуться, но задержался и остался там на ночь. Я беспокоилась и, ожидая его, уснула только под утро. Слышу странный шум за окном. Быстро поднялась, вижу — полон двор народа, люди рыдают, вопят. Что же оказалось? Хозяин дома, старый еврей, надумал раскопать заброшенный погреб. Он собирался первым туда забраться, но спохватился, что перед таким делом надо помолиться, и ушел в синагогу. Рабочим, которых он нанял, надоело ждать, и они один за другим спустились вниз. Ни один из них не вернулся. Тогда только люди вокруг встревожились. Оказалось, в погребе скопился ядовитый газ, убивший, кажется, семь рабочих. Они лежали — я видела — посреди двора, уложенные в ряд, с ужасными посиневшими, вздувшимися лицами, мертвые, и родня голосила по ним. Я этой сцены никогда не забуду... Если бы Райнис был дома, он всенепременно оказался бы в том заброшенном погребе вместе со стариком-евреем, — они всегда старались помочь друг другу, — и был бы убит ядовитым газом, как те несчастные. Этот случай был точно предостережение о том, что нам грозило».

Начальник Курляндского губернского жандармского управления полковник Кладо распорядился в ночь на 20 мая произвести обыски и аресты новотеченцев в Лиепае. 18 мая он посылает бумагу и в Ковенскую жандармерию: тамошним коллегам предложено обыскать квартиру адвоката Ивана Плекшана в городе Паневежисе и в случае обнаружения компрометирующих материалов арестовать его и живущую с ним вместе Елизавету Вальтер (поэтессу Аспазию).

(Мало кто знает, что подруга Райниса в какой-то момент была тоже на волосок от ареста).

*Помощник Начальника
Ковенского губернского
жандармского управления
27 мая 1897 года
№ 763*

*Начальнику
Ковенского губернского
жандармского управления
Секретно*

Во исполнение предписания Вашего Высокоблагородия от 23 сего мая за N 1283 при этом представляю протокол обыска, произведенного в квартире совместно проживающих помощника присяжного поверенного Ивана (Яна) Христофорова Плекшана и Елизаветы Давовой Вальтер. При этом представляются два ящика с значительным количеством

рукописей на латышском языке, а также несколько латышских газет и латышских календарей, которые были мною отобраны в виду как выяснения направления этих изданий, так в особенности в виду того, что сотрудником этих изданий состоял выше названный Иван Плекшан, который был также редактором латышской газеты «Диенас Лапа», известной своими...(одно слово неразборчиво) тенденциями.

Поименованная выше Елизавета Вальтер также сотрудничает в этих газетах под псевдонимом «Аспазия» и в латышских календарях, причем, как это мною дознано, в календаре на 1895 год был помещен даже гравированный ее портрет как выдающейся по таланту и оригинальности писательницы.

В одном из представленных ящиков, который имеет вид шкатулки, специально уложены те рукописи на латышском языке, которые в глазах Плекшана и Вальтер имеют для них особое значение и которые потому они выразили желание получить обратно в возможно скором времени, если конечно они будут найдены не относящимися к делу. Равным образом лица эти выразили желание получить обратно все отобранное от них, что не будет признано относящимся к делу.

Оба ящика со всем, от них отобранным, представляются за печатями мою и надзирателя 2 квартала гор. Паневежиса, причем таковые печати были наложены в квартире обысканных.

В городе Паневежисе надежного переводчика латышского языка совершенно не имеется. Впредь до разбора рукописей и всего отобранного от Плекшана и Вальтер за сношениями, деятельностью их и в особенности выездами установлено негласное наблюдение.

Ротмистр *Шевяков*

На первой странице еще приписано: «*Два ящика посылаются с унтер-офицером*».

Райнис об этом обыске никогда не рассказывал. Аспазия вспоминала и рассказывала охотно. По ее словам, когда в квартиру вошел прокурор, Янис с вежливой улыбкой направился ему навстречу, полагая, что тот ему наносит ответный визит. Но следом за гостем шли три жандарма. Начался обыск.

У Райниса была привычка, почти мания сохранять каждую запись, чуть не каждый листок бумаги — начиная с гимназических лет. «Я же, — говорит Аспазия, — всегда наоборот, сжигала за собой мосты».

Надо думать, совершенная непривычка паневежских стражей порядка к политическим обыскам помогла хозяйке дома что-то спрятать

под юбками. Прокурор, рассказывает она, сказал, что сам обследует письменный стол в кабинете, ибо помощники его — сущие остолопы. *Остолопы* обиделись — и якобы даже подмигивали Эльзе, глядя, как она припрятывает какие-то бумаги в печной отдушине.

Через три дня адвокату Ивану Плекшану было предложено явиться в полицию. Оба надеялись, что бывшему редактору «Диенас Лапа» всего лишь объявят, когда он должен отбыть назначенное судом наказание «за Рашмейера».

Через час к Аспазии, колдовавшей рассеянно над праздничным пирогом (был канун Троицы), на кухню протопал полицейский. Передал записку от Райниса и, покачав для убедительности головой, произнес сиплым прокуренным басом: «Он больше не вернется». Аспазия в своих воспоминаниях написала эти русские слова латышскими буквами: «*Он болше не вернјотса*».

Вихрем помчалась она в полицию. Не слыша и не слушая ничьих возражений, ворвалась в кабинет к начальнику — и успела застать Райниса: его как раз собирались увести. Он повторил уже сказанное в записке.

Вот она, записка. 31 мая 1897 года.

«Видеться мы пока не сможем, может, разрешат позже. У меня будет отдельное помещение, еда, книги, какие захочу, и т.д. Милая, мне нужен «Фауст», может быть, еще «Вайделоте», критика и все заметки и книги, к ней относящиеся. Книги можешь привезти с извозчиком или принести пешком, чтобы меньше привлекать внимание. Успокой маму, скажи, что я уехал в Ригу или как-нибудь еще объясни. И оставайся пока что здесь, маму тоже не отсылай. Насчет прислуги поговорим позже. Будь здорова, милая, и по возможности сохраняй хорошее настроение».

Аспазия: «Тут же его обступили полицейские и повели во главе с префектом в тюрьму. («Префектом» она почему-то именует исправника). Я следовала за ними, пока не остановились перед большими серыми воротами. Они разверзлись, как пасть дракона, и проглотили Райниса».

Он был юрист. Притом успевший поработать при суде. Отсидка по делу Рашмейера, почти безобидная, — ибо кто из газетных редакторов не считался с такой возможностью? — его не пугала. Но Плекшан прекрасно знал, что в подобных случаях не устраивают обыск. За три дня они с Эльзой многое успели обсудить, даже возможное бегство за

границу. Но квартира, снятая на год! Но адвокатская практика, которой он дождался так долго! Но купленная в Даугавпилсе добротная мебель! Но мама, поверившая, что нашла у них пристанище на старости лет! Но грозящее безденежье и горькая необходимость опять начинать все с нуля, доказывать в чужой стране чужим сытым людям, что ты чего-то стоишь, что ты им нужен, в то время как они прекрасно обходились и без тебя... А вдруг все уладится? Какого же дурака он сваляет в таком случае, бросив все по малодушию! Да и в чем его можно обвинить? Вот уже полтора года, как он порвал все связи... почти все — с новотеченцами и занимается исключительно литературным трудом, переводом «Фауста» Гете. И, кстати говоря, обыск ничего не дал. В бумагах, отобранных ими наугад, к счастью нет ничего существенного. Жаль только, если что-нибудь пропадет...

(«Существенное», увы, было в отобранных при обыске бумагах. Письмо Янниса Янсона, чересчур откровенное и хвастливое, станет в руках следствия одним из козырей. И зачем, зачем, спрашивается, при наступивших ледяных отношениях было присылать вдруг такое письмо? Ну не странно ли?)

В глубине души оба знали: не обойдется, не уладится.

Знали, но не хотели знать.

Серые ворота тюрьмы захлопнулись, отделив Яниса от свободы (какой-никакой) и от молодости (поздней, последней) бесповоротно.

Там, за воротами, снаружи остался навсегда помощник присяжного поверенного Пликшан. С этого дня, с 31 мая 1897 года он окончательно Райнис. Только в казенных бумагах еще двадцать лет будет фигурировать кандидат прав Иван Христофоров Плекшан. Нужно будет развалиться и погибнуть гигантской империи, чтобы бумаги эти потеряли силу.

Убойную силу.

Еще 20 мая обыски были проведены и в Риге. В частности, в квартире адвоката П.Стучки, где на тот момент проживала и его жена Доротея, урожденная Пликшан, а также студент Яннис Янсон.

В Лиепаве арестованные уже давали показания. Приглашенные переводчики с латышского и немецкого перебирали отобранные у Райниса и Аспазии письма и рукописи. Дело о тайном обществе «Новое течение» раскручивалось в Курляндской, Лифляндской губерниях и в самом Петербурге. Ничего подобного здесь не бывало с 1882 года, когда проходил процесс по делу Айзупса и Пумпурса. Впрочем, ту давнюю историю, окончившуюся оправданием подсудимых, не стоило и вспоминать: она

не шла ни в какое сравнение с теперешним. Сейчас тут пахло заговором, разветвленным, опасным, против правительства и Государя, против Российской империи; нити от местных злоумышленников тянулись к заграничным социалистам, к левому крылу германского Рейхстага, к Интернационалу! Такое раскрыть и обезвредить... не говоря уж о заслуге перед Отечеством, — тут предвиделись награды, денежные прибавки, повышения по службе!

«Хорошее настроение»? Она была в ужасе. В отчаянии. «Точно чудовище какое-то, огромный слизняк навалился на меня, я вся пропитана его едкой слюной», — это из дневника Аспазии. Ни грана поэзии, «ничего высокого» не обнаруживается в обрушившейся на нее боли. «Я как-то отупела: брожу в полуобмороке, кажется, даже смеюсь временами, — этакий истерический смех».

Ему она пишет иначе.

«Милую Твою головушку беру в обе ладони, ласкаю и целую бессчетно. Не могу вообразить, что мы оба окажемся снова на свободе и будем принадлежать друг другу. Счастье было бы слишком велико, я его боюсь, не верь ему и Ты. У меня предчувствие, что нас ждет много тяжелого. Одно утешение: мы страдаем оба и вместе. Кажется, моя к Тебе любовь растет с каждым днем... Моя любовь к Тебе — величайшее и ярчайшее, что только способен чувствовать человек, но все это — Твой дар, который просто возвращается к Тебе. Ты лучшее, благороднейшее сердце в целом мире. И знаешь ли, другим людям, хотя бы они или нет, тоже приходится любить Тебя. Даже старый еврей, наш хозяин, сказал вчера: «Плевать на арендную плату, мне жаль его — такой прекрасный, деликатный человек...» Он уговаривает меня выяснить, не понадобится ли его поручительство».

311

Райнис храбрится. «Тебе сейчас приходится туго — не мне. Я расположился с удобством в отдельной комнате*, вижу вокруг дружелюбных, сочувствующих, добрых людей, начальник тоже очень любезен, и мне не досталось ни одной горькой пилюли. Ни одного косога взгляда, ехидной ухмылки, никакого пожиманья плечами; мне не приходится притворяться, лгать или теряться в догадках. Золотая моя, Тебе-то сколько всякого пришлось вынести из-за меня! А я-то хотел сделать Тебя счастливой».

И вот еще что сказано в первом письме, — внимание: «Вижу, я не сумел еще подняться достаточно высоко, нужно карабкаться — выше,

* Это он о тюремной камере! — Р.Д.

выше. Все, что я успел передумать, не воплотилось в дело, до сих пор я не умею преобразить мысль в зримый результат, не научился жить совершенно по-своему. Но я уже ощутил в себе силы, и они возобновятся, — Тебе не придется стыдиться Твоей любви». Все сказанное — правда, и точность ее выражения безупречна.

Денег у нее 170 рублей, нет, меньше: почти 10 рублей отданы ему, потом пришлось покупать провизию, да и *благорасположение* надсмотрщиков тоже стоит немало. В обеденный час она неизменно появляется у серых ворот; в корзинке — еда и очередная порция «Фауста» для перевода, какая-нибудь книжка или газета, письмо. И возвращается корзинка тоже не пустой. Райнис посылает, кроме письма, переведенные за день строчки Гете. Эльзе предстоит их прочесть, сделать замечания или поправки и снова отнести в тюрьму. Райнис изучит замечания, исправленья и на другой день передаст *Иныне* (ласкательное прозвище Эльзы) окончательный текст, которого с нетерпением ждут в журнале.

Почта, путешествующая в корзинке с провиантом, — самая скорая и надежная. Книги, передаваемые официальным путем, застревают надолго. «Прокурор обещал вскорости прочесть книги, которые Ты мне послала, — пишет ей Янис в начале июня. — Он очень занят, к тому же по-немецки не понимает. Застенчивый такой малый. Сердечный такой. Но что поделаешь, если трудно прочесть книги, в которых ничего не смыслишь. Да и служба этого от него не требует». И в первый раз прорывается его истинная тоска: «Не могу дождаться, когда Ты появишься с обедом. Ужасно боюсь, что Ты захвораешь и не сможешь прийти. Мне тогда худо, и фантазия разыгрывается болезненно. Милая, будь здорова! Сила моя. Мой добрый дух. В Тебе — вся моя надежда. Держись, держи и себя и меня».

Держать себя. Держать его. Как будто это так легко. Но она не жалуется. Или почти не жалуется.

Ни грана поэзии нет в происходящем, а прозы — хоть отбавляй. «Белье, которое Тебе посылаю, заверни отдельно — возможно, там обнаружатся насекомые». Насекомые то бишь.

Семь долгих лет предстояло ей выдержать, «держа и себя и его». Подвиг Аспазии — эти семь лет. Она сделалась равна своим романтическим героиням, превзошла их. Ничего от поэзии, от литературы не осталось в ее шагах и жестах: именно «низкая» проза и выжигала все внешнее. «И насекомые» в подштаниках любимого, холод и болезни, нужда, вонь тюремной параша, пропитавшая те коридоры, необходимость

притворяться и лебезить перед Бог знает кем, хитрить, выгадывать. На семь долгих лет ей предстояло почти полностью выпасть из общества, отказаться от себя, от своей отдельной жизни, от успехов. Короток женский век, всего лет десять, много — пятнадцать даны молодому созданию, чтобы обольщать и блистать, притягивать восхищенные взгляды, оставлять за спиной шорох шепотков — возбужденных мужских, завистливых женских. Не обязательно небескорыстным должно быть внимание мужчин, — а значит, и женщин, — но без этого внимания ты ноль. Потом ты можешь состояться как хозяйка дома, салона, добиться уважения через мужа, как Хермине Залите, жена и помощница редактора «Маяс Виеса Менешракстс». Можешь заставить принимать тебя всерьез — деньгами, если они есть, властью, если она есть, талантом, если он есть. Но все это — за чертой; тебя принимают, на тебя смотрят уже без искры в глазах, как если бы ты была еще одним коллегой-мужчиной. Женская твоя власть кончилась.

Так она думала, — и ни на миг не пришло ей в голову отказаться от взятой на себя ноши. Поэзия — и притом какая! — была в преодолении прозы, в полноте самопожертвования, не ждавшего и чаще всего не получавшего благодарности. Скажу еще раз: любимых своих героинь, исторических, литературных и даже оперных она затмила любовью и самоотдачей, и вся энергия, вся взрывчатая сила этой натуры была положена на спасение любимого запросто, без намека на жертвенность. Если бы она не написала никогда ни строчки, не сделала бы в жизни ничего другого, — только за эти семь лет ей полагался бы памятник, повыше многих других. (Хотя — Бог с ними, с памятниками: меньше всего они нужны тем, кому их ставят).

Приехала навестить узника Нина — и тут Аспазия, упрекавшая Яниса в необоснованной ревности, сама оказалась не без греха. «Нина, бедняжечка, — пишет она в тюрьму, — заметил ли Ты, что старая любовь опять в ней проснулась? Она прямо-таки не могла перенести, что Ты меня поцеловал!»

У Аспазии плохо с глазами. Проблемы со зрением начались давно — после болезни, перенесенной лет в шестнадцать. А сколько тысяч страниц прочитано, сколько написано бессонными ночами, при свете свечи или керосиновой лампы! Теперь тоже уйма работы: один «Фауст» чего стоит! А глаза «очень болят. После каждой строчки приходится отдыхать, — в пору отчаяться».

Приехала Дора. Невесте и сестре удалось добиться внеочередного свидания. «Мало нам пришлось поговорить вчера, надо было уступить время сестре. Она распрощалась с нами очень сердечно, много раз обняла меня, расцеловала и просила простить все, что она когда-либо сделала мне или сказала плохого. Велела и Тебя от ее имени поцеловать и сказать все самое лучшее. Но ты сделался бледен и поседел, мой золотой солнечный мотылек, золотые Твои крылышки поникли. Хотела бы я придать Тебе силы и радости! Будь сильным, держись, полсрока уже позади. Мне лучше, и я начинаю работать...»

В дни, когда свиданий не положено, они стараются исхитриться и хоть на миг увидеть друг друга. «Сегодня опять останюсь в воротах, отуда я видела Тебя. Лучше всего если Ты выглянешь в то маленькое стеклянное оконце. Я всегда прихожу около четырех, жди. На картофельное поле попасть трудней, там забор, и хозяйева наверняка меня прогонят. Но все-таки попробую». У нее начали барахлить часы — пока не остановились вовсе. «Не удивляйся, если завтра принесу обед раньше или позже».

Через два дня они поссорились.

314

Райнис написал ответ на критику латышского «Фауста». Иныня ответ похвалила — но только для вида, кажется ему; хвалила не читая. Кроме того, написала Доре, не спросясь и не посоветовавшись с ним. — Ах так? — взвизгивает она. — «Значит, грубая ложь с моей стороны? Поймана как школьница? Но пойми: я ведь говорила, что не могу все подряд прочесть и сделать свои замечания, однако сколько смогла — прочла, если нужны доказательства, могу вспомнить целые строчки. Письмо Твоей сестре я тоже не думала скрыть. Сказала, что перепишу его для Тебя и непременно это сделаю, — как только позволят глаза. От бессонных ночей и от слез они так плохи, что я даже не могу хорошенько их открыть на свету. Вынуждена пока ничего не делать. «Фауста» переписать тоже не могу».

Эльза напоминает: «Несколько недель назад Ты спрашивал, буду ли я Тебя навещать в тюрьме. Ты ожидал тогда гораздо меньшего, чем то, что я делаю теперь. Каждый день идти с корзинкой, терпя все взгляды, пересуды. Думаешь, легко снести позор? Но для Тебя — мне — легко. Во мне заключена жизнь, богатая и сильная, я не хочу умирать, — но чтоб спасти Тебя, я пошла бы на смерть по своей воле».

«Как? Ты меня стыдишься? Тогда уж лучше вообще не приходиться», — значилось, видимо, в записке, посланной из камеры (она не сохранилась).

«Ты меня не понял, совершенно не понял! Говоря о позоре, я хотела Тебе сказать: смотри, то, что позор для других, для меня — радость. Если Ты отнимешь у меня единственное утешение — каждый день приходиться к Тебе и, даже если я не могу тебя видеть, быть к Тебе ближе на несколько шагов, тогда Ты отберешь у меня и дневной покой и ночной сон. Про картофельное поле написала потому, что я по-прежнему стеснительна и еще — мне трудно найти дорогу одной, один раз я уже пыталась и забрела совсем не туда, вдвоем мы там никогда не были. Но сегодня пойду. Оттуда можно видеть Твое окно и не перелезая через забор. Сегодня Ты увидишь меня около 7 (Твои часы то немного спешат, то отстают). Если у Тебя как раз в это время прогулка, не оставайся в камере из-за меня. Тебе, бедняжка, и без того достается мало воздуха, выглядишь таким серым, исхудалым. Стихи Твои, особенно «Любовь», очень понравились, там почти нечего шлифовать, пара слов, может быть, и рифмы не нужны, ритм все держит. Второе стихотворение тоже удачно, но с ним, может, и придется повозиться. Милый, теперь, когда Ты чаще пользуешься рифмой, не кажется ли Тебе, что рифма сама иной раз подсказывает новую мысль? Я говорила Тебе когда-то об этом, а Ты не верил».

Помирились через день, — да и куда бы они делись? «Как чудесно, что в одно и то же время нам обоим приходит в голову одна и та же мысль».

Часы теперь встали и у соседей. «Приду сегодня вечером немного раньше восьми, точнее сказать не могу».

«Я, так же как и Ты, плачу почти каждый день».

«Целую каждую Твою слезинку».

Так что же — и он плакал?

Да. Его и там, на воле, называли комком нервов. Теперь нервы не выдерживали все чаще. Наверное, даже Эльзе он не сразу признался в своих слезах. Признался, когда окончательно поверил, что и мысли, и муки, и слезы — общие.

Аспазия — Райнису. «Нина неподражаема. Она ходила к супругам Залите рассказать обо всем. Те решили, что раз я в Паневежисе, значит, мы вот-вот поженимся. Я ответила: как видите, я действительно в Паневежисе. Мы теперь неразлучны, и общая работа тоже не позволила бы нам жить врозь, но связывать себя я пока что вовсе не думаю. И это все, — дальше я писала про «Фауста» и т.п.».

Обиделся. «Ты отправила письмо г-же Залите, не показав мне, и писала Ты не о работе или чем-то незначительном, а о наших отношениях, о которых и я мог бы сказать свое слово. Ты без моего ведома написала сестре, и теперь — опять... А потом, милая, не по вкусу мне и то, что Ты написала: «связывать себя я не думаю». Не думаешь — ладно, но где ж тут я? Другое дело, если б Ты сказала, что мы не хотим вообще связывать себя, что наша идея — жить в свободном браке. Но если Ты не хочешь себя связывать, это можно понять так: «У меня уже есть опыт неудачного замужества, законный брак вообще мешает свободе, без него удобнее. Годик еще побуду с этим (то бишь со мной), а наскучит — тра-ла-ла, упорхнем к свежему чистенькому юнцу или к старому денежному мешку». Скажи, милая, разве не это могут означать Твои слова?..» — и дальше поминаются Жорж Санд и прочие писательницы, художницы и актрисы, придерживавшиеся точно таких же мыслей (и нравов).

Те же дни, — запись в дневнике Райниса. «Нам не следует извинять или умалять *преступления* Фауста, притом тяжкие. Он совершенно со-знательно дает матери Гретхен яд и трусливо оставляет Маргариту, а затем — и беса, на которого хочет свалить свою собственную вину. Он и в самом деле труслив, подл и малодушен, и все же он — Фауст, идеал деятельного человечества. Фауст нам ближе, чем Христос: у Христа мы не находим ни одного греха, ни единой слабости. Он чересчур Бог, ему легко быть святым и проповедовать святость. Мы же, бедные смертные, изо дня в день падаем и грешим низко и подло, от нас же требуют того, что трудно даже для Бога. Фауст весь, насквозь человек. И если он способен честными усилиями достичь высокой человечности, то и нам не заказано то же самое, несмотря на наши грехи и нашу малость».

И почти в каждом письме — набросок стихотворения. Перед тем последние стихотворные строки написаны были в Вильне, до памятного разговора с Дорой. Подумать только, — прошло семь лет!

И еще через семь лет некоторые из этих стихов появятся в его первой книге.

Райнис — Аспазии, 25 июня. «Может быть, мне придется ехать отсюда в Лиепаяу. Случилось то, чего мы боялись. Хочу только Тебе сказать, что Ты — мое счастье, моя жизнь... Своей бесконечной, бьющей через край добротой и любовью Ты добилась многого. Ты во мне пробудила нового человека — того, что напрасно долгие годы рвался к светлomu

и высокому. Не знаю ничего более великого, чем вот так создать нового человека, который станет человеком будущего. Милая, единственная, верь: человека будущего не убьют ни прошлое, ни настоящее. Страдания могут замедлить его движение, но не остановить... И если даже у нас отнимут последние силы, — что ж! В них было столько глубины и величия, что даже их руины превзойдут все привычное. Мы двое не поддадимся! Не доставим никому радости — видеть нас побежденными. Хочу быть серьезным, но с поникшей головой им меня не видать. Со мной вообще ничего не может случиться такого, что было бы сильнее нашей взаимной любви».

Если же говорить опять о прозе, о прозе жизни, диковинно сочетающейся с идеальными порывами духа, то нужно привести здесь рассказ Эльзы о матери Райниса. В Паневежисе в первый и в последний раз двум женщинам пришлось жить вместе, и тут зрение невестки оказалось достаточно острым, да и язычок чисто крестьянским. В письмах за эти три недели Эльза всего только раз не выдержала; пока она писала письмо своему *золотокрылому мотыльку, человеку будущего, милому птаху*, мать этого сокровища «все испортила»: зашла на кухню и долила воды в жаркое. «Не могу я с ней больше!» — вырвалось у поэтессы, но вырвалось, повторяю, всего один раз.

Отыгралась она лет через тридцать пять, когда уже ни старой Дарты, ни ее сына не было в живых. Воспоминания. «Переезжая в Паневежис, мать Райниса взяла с собой множество вещей: всякие лари с одеждой, ящики с медной и латунной посудой, золотые вещи, длинные и толстые как канаты золотые цепи и пр. И денег у матери Райниса было много. Она их носила при себе целыми пачками, но нам не давала. Считала, что сын сам должен заработать на себя и на хозяйство. Вообще, она была чрезвычайно скупа. Не говоря мне ни слова, она в то же время глаз с меня не спускала. Куда ни пойду по хозяйству она — следом. Она думала, что я в домашних делах ничего не смыслю. Но это было вовсе не так. Я уже в Берлине научилась всему, мне там приходилось и варить, и кур ощипывать. Правда, в Паневежисе у нас была служанка, помогавшая мне. Но и тут его мать показала и свою скупость, и спесь. Сама она любила покушать с размахом, служанке же от этих блюд ничего не полагалось. Для нее она велела покупать и варить другое мясо и другие продукты. Мы жили в Паневежисе в большом доме недалеко от рынка. У матери Райниса были свои привычки и странности. Так, она меня будила обыкновенно в три-четыре часа утра, чтобы идти на рынок за покупками. Встанем, возьмем свои корзинки, идем. Но рынок пуст в такую рань, и вот уж к нам спешит полицейский: что мы тут делаем, чего хотим?

Когда полиция пришла к нам с обыском и затем Райниса арестовали, она выдохнула в изумлении: «Украл он что-нибудь, что ли?..»

После ареста Райниса его мать вскоре переехала к дочери Доре в Ригу. Все свои вещи она забрала с собой, мой брат помогал перевезти их. В квартире осталась я одна со своими вещами, их было немного. Из всего имущества Райниса на руках у меня оказалась только шкатулка со старыми векселями, большей частью негодными, исключая только вексель Страшинского приблизительно на 6000 рублей. Но и эти деньги можно было взыскать только по суду, и мне пришлось этим заниматься поздней, когда Райнис был уже в ссылке в Слободском... Когда из Паневежиса я вернулась в Елгаву, от всех несчастий и хлопот я так устала, что почти не держалась на ногах. К этому добавилась бессонница, катар желудка и т.д. Кое-как меня подлечил тамошний врач Страутзелис, и тогда начались мои поездки в Лиепаю, где в тюрьме ждал меня Райнис».

26 июня Райнис был перевезен в Либавскую тюрьму, и на следующий же день начались допросы. Следствие потирало руки: попался самый настоящий «туз», быть может, глава заговора!

Стучку и Янсона арестовали в Риге дней через десять. Всего же подследственных и подозреваемых по делу «Нового течения» набралось более ста человек.

Никто ничего не знал наверняка, и как всегда, когда никто ничего толком не знает, все знали слишком много и все — разное. В Либаве адвокат Савелис на осторожный, опасливый вопрос Аспазии — что может ждать Пликшана? — ответил, как отрубил: смертная казнь через повешение или Петропавловская крепость.

Неволя никому не в радость. Но есть существа, что худо-бедно приспособляются к ней: живут, едят и пьют, дышат, даже размножаются в клетке. Большинство живых тварей способны смириться и существовать взаперти. Он же был из тех редких птиц, что в плену начинают чахнуть, теряют интерес к воде и пище, теряют вообще всякий интерес к чему бы то ни было, — однажды их находят на полу клетки лапками кверху.

Еще десятью годами раньше, во время первого и почти опереточного десятидневного ареста в Петербурге он заметил, что жизненные силы в камере быстро покидают его. Он был солнцелюбив. Сотни восторженных строк о солнце можно найти у него. Он не прочь был бы стать пророком и основателем новой (да, но и в то же время самой древней) веры, религии солнцепоклонников.

Он любил воду. Лето без озера или моря, без упадания в иную, нежную и тугую стихию, без принимающей в себя, обтекающей, ласкающей чистоты было для него потеряно. Он любил землю под босыми ногами, тропу, мягкую и упругую после дождя, как девичья плоть, или колючую стерню, или рассыпчатый сахар дюн; он любил метелки полевицы, простые травы и цветы, лопухи, чертополох, все это богатство, так метко схваченное на гравюрах Дюрера и оставшееся неизменным за века, за сотни веков; прихотливо вырезанные формы листа, трех, четырех, пятипалые, с сетью прожилок, густой, как линии рек и дорог на подробной карте или черточки на ладони. В первую либавскую ночь он смежил глаза только под утро и впервые за последние недели проснулся от счастья: во сне он скакал во весь опор на гнедом жеребце отца, ветер раздувал его волосы, относя их почему-то далеко-далеко, за версту; волосы летели за ним вытянутой светлой струей, как хвост кометы. Очнувшись, он точно упал с коня на всем скаку, споткнувшись об

застоялый воздух камеры, как о камень, — потерял сознание и снова очнулся, не зная, сколько времени пробыл в беспамятстве и, пожалуй, не интересуясь этим.

Четыре тюрьмы 1897 года показались бы вполне терпимыми миллионам узников, которым в недалеком уже XX столетии предстояло узнать другие застенки, другие муки. *Человек будущего* — реальный человек реального, предстоявшего этой земле будущего — возможно, и не понял бы, отчего этот нестарый еще арестант корчится, плачет, гибнет в обстоятельствах невеселых, но сравнительно выносимых.

Дело же в том, что в происходившем участвовали две стороны: обстоятельства — и живая душа, их воспринимающая. Болевой порог Райниса был чрезвычайно низок. Он крепился, преодолевая изо всех сил апатию и тошноту, заставляя себя работать. Но в огне отсырели кремни, искра не высекалась. Не хотелось думать. Неостановимое движение мыслей вызывало в нем досаду и гнев: если б можно было разом все прекратить, прихлопнуть — чтобы ничего не осталось. Зачем он родился.

Аспазия, между тем, искала выход. Слезы, понимала она, не помогут. Слезы оставлены были поэтому для домашнего употребления, — в переговорах же с администрацией пущены в ход женские чары. Остается поблагодарить начальственных лиц, давно покойных, за то, что под обезличивающей должностной оболочкой они оставались мужчинами: чары подействовали, было разрешено свидание. «Больше того, г-н прокурор дал мне в сопровождение жандарма, который за казенный счет отвез меня на извозчике куда следовало».

Вскоре из Петербурга прибыл «польский граф Потоцкий», как пишет Аспазия. Польский граф, подполковник известных российских служб. Повторю: Аспазия умеет быть благодарной, помнит сделанное ей добро и через десятилетия. «Граф Потоцкий был весьма гуманный и любезный господин. Он испытывал ко мне большое сочувствие и шел навстречу сколько было возможно. Он даже разрешил мне посетить его по делу Райниса у себя на квартире. И каждый раз угощал чаем, вареньем и т.п. Когда я спросила, чем объяснить его гуманное обращение с политическими заключенными и его отношение к Райнису, он отвечал, что его сын тоже был революционером и расстрелян за причастность к польским событиям. Поэтому, насколько позволяет его положение, он и пытается облегчить участь революционеров. Он думал даже, что освобождение Райниса возможно недели через четыре. Но сдержать это обещание ему не удалось, потому что в ходе следствия все осложнилось. В Риге на допросах новотеченцы сделали нежелательные признания, иной раз граничившие с предательством, и в деле Райниса появились новые

отягчающие обстоятельства. Потоцкий уже при всем желании не мог его освободить, о чем и сообщил мне с горьким сожалением». (Здесь, читатель, завяжем узелок на память: *признания, граничившие с предательством*, сделаны кем-то в Риге еще в то время, когда Райнис находился во второй своей тюрьме, в Либаве, то есть летом, и во всяком случае раньше середины августа. Запомнили? Тогда пойдем дальше).

Еще один, прямо скажем, странный эпизод в изложении Аспазии. Однажды Потоцкий — дело было у него на квартире — дал ей пачку писем, изъятых у либавских рабочих, попросив вкратце пересказать по-русски их содержание. Она тут же обнаружила, что письма опасны для их авторов. Хозяин дома на минуту отлучился, и посетительница, недолго думая, швырнула всю пачку в горящий камин. «Потоцкому я объяснила, что в письмах не было ничего важного, потому я их и бросила в огонь. Потоцкий несколько изумился...» Да уж, кто бы не изумился, хотя бы *несколько*, на месте графа.

Добрым словом поминает Аспазия и начальника тюрьмы Энгельхарда. «Короче говоря, некоторые из тогдашних царских чиновников были люди гуманные и образованные, понимавшие стремления борцов за свободу и их культурное значение». В Латвии тридцатых годов не каждый решился бы подписаться под такой фразой.

321

Возобновилась переписка, редкие свидания.

Письма приходилось писать по-русски: их должен был проверить помощник прокурора, прежде чем они попадут к адресату. Прочитанная чиновником страница обычно перечеркивалась крест-накрест. Что там была за краска — непонятно. С течением времени размытые широкие линии этих «крестов» сделались коричневыми и напоминают — прошу прощения — те следы, что оставляли когда-то неизвестные персоны на стенках дощатых общественных уборных.

Аспазии изъясняться по-русски было трудней, чем Райнису, прожившему, как-никак, несколько зим в Петербурге. Да и в Вильне приходилось говорить большей частью по-русски.

«Русские» письма Аспазии и Райниса, между прочим, никогда не публиковались в оригинале. Вот одно из первых.

«Не пиши, моя милая, так задушевно, Ты действительно выставляешь нашу святую любовь напоказ и может быть на смех чужим людям... Твое письмо пролежало еще 4 дня после проверки его любезнейшим господином подполковником от жандармерии, который меня допрашивал вместе с г-ном прокурором. Передал же мне Твои дорогие письма сам

г-н Начальник тюрьмы лично, он так добр ко мне как отец. За эти шесть тяжелых дней я действительно малодушествовал, я представлял себе, как Ты лежишь больная, как блестящие Твои очи темнеют от слез, как Ты убиваешься, не получая известий от меня... Но теперь самое едкое горе перетерплено, и все мое желание, чтобы в Тебя тоже вселилось спокойствие и великая вера. Вдвоем мы все перенесем... Г-н подполковник, в котором чувствуется и человеческое, а не одно официальное отношение, сообщил мне, что совсем погубить меня не хотят, что надо надеяться на Монаршую милость, но что, должно быть, будет ссылка в какие-нибудь отдаленные губернии и тюремное заключение, если я хорошо понял... В вину мне ставятся отношения к «Диенас Лапас» и ее круж-ку, с которым я по Твоему же настоянию порвал все связи и которые давно уже и Твои и мои злейшие враги и причинили нам столько зла. Из-за них нам и теперь страдать, они, самые всему виновники, теперь на меня сваливают свои грехи. Ужасно для меня не строгое наказание, незаслуженное, по вине других, а то, что нас разлучат на продолжительное время...

322

Со мною обходятся хорошо, но не дают книг для работы, оттого не могу и «Фауста» переводить. Переводы Ты теперь, может быть, мне потом разрешат, мне уже разрешили иметь при себе карандаш и бумагу. Я написал несколько стихов, которые Тебе после перешлю. Что касается вопроса о православной вере, то о переходе теперь, кажется, не время говорить, это могли бы понять превратно. Предложение Твое о венчании меня сердечно обрадовало. Траур после сестры, из-за которого мы должны были отложить венчание, скоро кончается, но ужасно удручающе — венчаться в тюрьме, а затем, во время следствия вряд ли позволят, может быть, после того; я во всяком случае поговорю, но позволят ли нам и тогда быть вместе, я сомневаюсь. Я теперь доволен и счастлив, что держу в руках Твое милое письмо, Ты как будто ближе стала ко мне, я уже не так один».

Он доволен и счастлив. И не преувеличивает. И много ли потом, выйдя на волю, переживет он минут такого же острого, такого же неоспоримого счастья, как теперь, держа в руках и перечитывая в который раз Эльзино письмо?

Письма, посланные официальным путем, пишутся как бы в два адреса: господину помощнику прокурора Анисимову (и всей стоящей за ним загадочной и страшной машине) — и адресату. Чрезвычайно жесткие слова, сказанные о прежних соратниках, которые «самые виновники

всего», сказаны вовсе не по малодушию и не в минуту слабости. Это — сознательная «утечка информации», такой, которая, по убеждению Райниса, никому не может повредить и в то же время близка к правде. Оба они действительно считали, что Райниса намеренно «подставляют». Райнис (не без влияния Эльзы) в последние полтора года и впрямь отошел от деятельности, связанной с «новым течением». Хотя и не изменил социалистическим убеждениям, — но вот уж об этом любезным, чрезвычайно любезным и даже по-отечески гуманным господам прокурорам, жандармским подполковникам и Начальникам тюрем знать было не обязательно. И в письмах и на допросах Райнис не раз и не два выплескивал обиду на «злейших врагов». (И второй узелок на память: арестованный знает о показаниях против него, сделанных в Риге, уже в июле!) Говорил об интригах Стучки и Янсона против него — зная, что интриги эти и подлости по отношению к нему никак не являются государственным преступлением и упоминание о них ничем никому не грозит.

Аспазия рассказывает, как поразило Райниса известие об арестах в Риге, о том, что взяли Стучку и Янсона. «Он так взволновался, что голова у него начала дергаться, и при всем желании он не мог справиться с потрясением». Подтверждение — в одном из ее тогдашних писем. «Ты такой нервный, измученный, в прошлый раз Ты выглядел лучше, не было этого дерганья возле рта. Как мне больно видеть Тебя таким! Ты сам не замечаешь, что не владеешь собой. И дважды я Тебя видела таким, что испугалась: первый раз, когда Ты услышал, что другие арестованы, и вче-ра, когда Ты так странно двигал головой — как мать Гретхен, помнишь, на камушке:

*Она кивает головой
Болтающейся, неживой.**

Я бы начала жить и верить, если бы увидела, что Тебе лучше. Что с Тобой? Что они с Тобой сделали?»

Может, и не надо ей было такого говорить. Но иногда рукой ее водила усталость, и она, видим, не умела соразмерить тяжесть упавших на бумагу слов. Вот она пишет по-русски: «Что мне это, что я на свободе? Не хочу иметь воздуха и не хожу гулять, потому что Ты не имеешь этого, и есть не хочу, бывают дни, когда я только одно яйцо кушаю и стакан чаю, и это все. Я тысячу раз отдала бы эту свободу

* Отрывки из «Фауста» Гете здесь и далее — в переводе Б.Пастернака.

и хотела бы, чтобы меня заперли возле Тебя: кусочек сухого хлеба и воду, больше не хотела бы... Вижу всегда, какой Ты бледный, нервный и больной, и если любезный г-н подполковник Тебя и выпустит через три недели или месяц на свободу, Ты и до тех пор не выдержишь, проси, чтобы по крайней мере выпускали Тебя на двор полчаса и чтоб давали холодную воду вытереть тело. Ах, как трудно чувствовать, что Ты гибнешь и я не могу Тебе помочь, имею руки, но не могу. Ты знаешь мой горячий темперамент, я волнуюсь, плачу и Бог знает что делаю, пока холодная апатия меня охватывает, но ненадолго, опять все искры жизни сосредотачиваются в это одно невыносимое чувство... и горе нападает на меня с новой силой. Не помогает никакой разум, никакая философия, и я молюсь к старому Богу, он же могуч и силен, он вечная любовь, он не даст погибнуть своим бедным, бедным детям... Молись и Ты со мною, ради меня... Отвечай мне на это».

Тут не случайная обмолвка. Эльза теперь и сама искала утешения и поддержки у «старого Бога», и к тому же склоняла, побуждала (а ему казалось: принуждала) любимого. И это вызвало в ответ целую бурю.

Вначале Райнис кротко просит не торопить его, не нажимать. Но почти сразу же его возражения делаются острее и жестче, пока не вырываются в бурный протест. Неужели она не понимает, что все это передумано тысячу раз? Почему это она сама, единолично решает столь важный вопрос? Чтобы осчастливить его и «спасти»? Ты не знаешь, говорит он, что значит мыслить в полном одиночестве. Их единение было выходом из духовной пустыни. «Но когда я чувствую, что Ты, единственный человек будущего, больше не способна меня понимать, мне становится холодно и страшно, я полностью выбит из колеи... Я обещал Тебе еще раз трезво все обдумать, но по-настоящему Ты хотела совсем другого: чтобы я употребил молитву как механическое средство, лекарство, которое поможет и без моего убеждения и веры, только его собственной целительной силой, механикой чуда. Я очень хорошо понимаю этот Твой взгляд на молитву. Ведь Ты ясно сознаешь, что я не могу верить, — это противно моей природе, человеку будущего, философии эгоизма, а первое всего — духовной свободе... Твое лекарство я не могу принять, оно у меня вызывает отвращение. Это было бы мелкой ложью, которая бы меня унизила, лишила силы меня и мой взгляд, — я не настолько болен, чтобы пойти на такое лечение».

Эльза настаивает на своем? В таком случае он — в западне. Если он, встав на колени, помолится, это будет означать отказ от «человека

будущего» и гибель от презрения к себе. Если он потеряет любовь — будет то же самое, гибель: вместе с любовью умрет и часть его существа. Выходит, в сущности, одно и то же, так что он, может быть, и сдастся.

Но нет: не тут-то было! Возражения идут по второму, по третьему кругу. «В вопросах религии я совершенно свободен, а Ты, душа моя, во многих отношениях остаешься зависимой. День за днем Ты слышала меня и думала вместе со мной о полной свободе, независимости человека будущего от предрассудков, о его господстве над собой, его самобожественности, о его знании и самопризнании, как единственно необходимым, единственным источнике, из коего происходит все лучшее, высокое и истинное. Без свободы нет ничего подлинного и доброго, даже любви. Любой господин, любая внешняя власть, любая внешняя помощь, будь она от Бога или от всеобщего или альтруизма, способны только уничтожить человека будущего... Все это Ты слышала каждый день, что-то к Тебе пристало, оставшись, однако, неупорядоченным и не связанным со всем тем, что Ты знала раньше».

«Моя милая, милая душа, не испортить себя и меня ради пустой фантазии! Если бы мы и вправду поверили тому Господу, мы бы это сделали со всей серьезностью, и тогда с *человеком будущего* покончено. Ты сама увидишь, что совместить их нельзя. Ты, кажется, и в самом деле веруешь. Тогда ради Твоего Бога будь в этом серьезна и согласись сама, что никакое соединение здесь невозможно» .

«Когда нас посетили беда и одиночество, у Тебя не было ничего, в чем Ты нашла бы духовную опору, в Тебе была только масса отрывочных, блуждающих и высоких мыслей, но никакой философии, никакой системы, никакой спокойной, ясной убежденности. Тебе был нужен духовный посох, опора, костыль, который люди называют религией или Богом. (...) На самом деле в Тебе никогда не было мысли о стремлении, порыве к воле, неудержимом движении вперед, развитию, — не знаю, как это назвать... Желания подняться выше собственного естества, воли стать Богом — этого в Тебе никогда не было... Если Ты и соберешься с силами, чтобы не стать старенькой, то все-таки можешь сделаться такой же равнодушной, как другие, — те, кто в действительности и Богу, и катехизису не верят, но у кого нет и никакого другого убеждения».

Он просто кувалдой размахивает, бедный узник! «Мы еще сами не сознаем, что мы — тоже кое-что, все верим в какую-то внешнюю силу. Только люди будущего отстанут от привычки молиться. У привычки этой страшная сила, и она оборачивается большей частью против нас... Я хотел привлечь Тебя к своим стремлениям, к человеку будущего, но мне это не удалось. Вместо того я сам привык к Тебе и в духовном одиночестве, без Тебя уже не могу; потому-то мне так больно, когда я

вижу, что Ты пришла к вере в Бога и больше не сможешь меня понимать и мыслить вместе со мной»

«Мысль, что человек может сделаться лучше через любовь, — Твоя мысль. Я исходил из другого — из свободы. В ней моя радость, вздымающая и поддерживающая как на крыльях. Но великое несчастье мое в том, что моя любимая хочет меня уничтожить, только бы не видеть моих страданий. Уничтожить меня, чтобы спасти. Это колоссальная глупость, мы думаем подобно Будде или его меньшему последователю Толстому: убить себя, чтобы избежать боли и смерти».

И много, много чего еще написал тогда Аспазии Райнис: и от развития-то она отказалась, и от самостоятельного мышления, и новые мысли не приняла и не взрастила в себе, а накинула, как нарядные белые одежды, чтобы отбросить при первом же случае...

Он был прав, Райнис. В этом он был прав: Аспазия по-женски уступала, даже подлаживалась под его беспокойную мысль, старалась изо всех сил проникнуться духом «человека будущего», ухватить «теорию эгоизма», но все это было ей, в сущности, чуждо: она хотела не его идей, а его самого. И, к слову: *«мысль, что человек может сделаться лучше через любовь»*, со временем будет им усвоена, сделавшись сердцевинной его мышленья и духа; как же неосмотрительно он пока что уступает ее подруге!

326

Наше ли дело возражать герою романа или поддакивать? Не обязаны ли мы оставить ему его озарения и его заблуждения тоже (как и право не отличать одно от другого)? Может быть. Заметим только, что женщина, существо более природное, чем мужчина, плодом своим — дитятей — непобедимо связанная с землей и всем, что из нее произрастает, со стихией рождения и умирания, с круговоротом лет и зим, женщина с высоким, как Эверест, животом, глядящая слепо и втройне зряче в слезах материнства, выдерживающая безбожную пытку и божественную славу деторождения, — женщина всем своим существом и призыванием противостоит завиральным идеям мужчины о прогрессе, о безостановочном развитии, росте, движении вперед и выше и т.п. Она если и не знает, то чувствует, что все изменения — только обратная сторона неизменности, что зима и лето, слава Богу, повторятся, что все растущее одновременно и старится, что старое отмирает, а умершее зерно воскресает с новой весной, которая не лучше и не хуже, не прогрессивней и не реакционней всех прежних весен и всех будущих.

(Когда с помощью техники человечество червячком проело зеленое яблоко Земли, встал вопрос: чем считать червивость, прогресс она или как? И — вовсе некстати — вместо ответа на вопрос врезалась откуда-то разухабистая песенка революционной матросни из других времен...

впрочем, более близких к Райнису 1897 года, чем к Добровенскому 1997, когда и пишутся эти строки:

*Эх, яблочко,
Куды ты котишься?.. —*

Некстати, ни к чему привязалась песенка, — разве что яблочко, может статься, то же самое?)

Ну конечно же, она испугалась и отступила, его женщина. Принялась с горячностью верить, что не отказывается от развития, растет и будет расти, думать вместе с ним; будет она человеком будущего, будет и эгоистом точно так и ровно настолько, насколько это ему нужно и желательно. Главное же, она его не оставит, будет ждать, когда он вернется и возьмет ее под свое крыло, а до тех пор, без него, никаких окончательных решений принимать не собирается, «будет индифферентна».

Выговорившись, он вскоре пожалел о своей резкости. Нет, он остался при своем, он вообще не менял убеждений, не возвращался к принятым решениям, принятым раз и навсегда — как в пятнадцать лет это было со «старым Богом» и верой в него. Но у заключенного действительно не осталось на свете ни одного духовно близкого человека, кроме его Иныни, а ее он обидел. «Я Тебя послушаюсь, — пишет он теперь, — если Ты будешь настаивать на своем». Он и дневник продолжает вести в камере. Там, в дневнике, он теряет самоуверенность: «Я совсем ослабел. Тюремный уборщик только что пожалел меня... Но и прежде я не мог создать ничего крупного, цельного. Человек газеты и бездельник. Разве милая может вложить в меня то, чего во мне нету, — творческие силы, способность создать великое? Она-то работает совершенно наивно, бессознательно. Никогда не составляет плана, все зависит только от того, чтобы преодолеть первоначальную лень. Напишет одну сцену — а остальные выстраиваются гуськом как бы сами собой. Мне же нужно выписать план во всех мелочах и потом ковылять, держась за него, как калека за костыли. И потом — моя лень!.. И опять мне кажется, что не было ничего на моем веку, о чем стоило бы говорить. Смерти я, правда, бывало боялся, тайна жизни темна, как и была. И мы с моей милой толком не знаем друг друга. Не все сказано. Я еще не познал женской природы. Я сам себя не знаю. Я не жил еще по своим законам». И — загадочная фраза: «Что, и тут Будда виноват?»

Дневник писан по-немецки.

Пока не забыл. Есть вещи, которые обязательно должны были обнаружиться в этой переписке, в дневниках. Как не открытый элемент периодической таблицы: его никто еще и в глаза не видел, но он есть, не может его не быть. Так и здесь нашлись в конце концов райнисовские слова, которых мне не доставало. «Наше несчастье, — написал он Эльзе, — вовсе не так велико: отсидеть 3—4 месяца — это, знаешь ли, не конец света, и нужно быть совсем слабым и никуда не годным человеком, чтобы погибнуть из-за четырех тюремных месяцев или от одиночества».

Но что было, то было: он едва не погиб, он почти совершенно погиб из-за шести тюремных месяцев. И от одиночества.

Помощник прокурора Анисимов за ужином говорил жене:

— Помнишь, душечка, я зачитывал тебе из писем этого латыша, кандидата прав?

— Того, что «Фауста» переводит?

— Ну да, ну да. И его невесты. Тут, знаешь ли, целый роман разворачивается...

— Роман с гетерой. Надо же писательнице взять такой псевдоним: Аспазия! Подписалась бы просто: гулящая, — и то было бы лучше.

— Милочка, ты не вполне справедлива и к этой особе, и к гетерам. Жены, видишь ли, во времена Перикла были домашними наседками. Эткими безгласными механизмами для воспроизведения рода. Аспазия же была прекрасна, умна, образованна, блестяща во всех отношениях.

— Это что же за гимн такой греческим гетерам? Может быть, и не только греческим?

— Прелесть моя, ты меня не дослушала! Я хотел лишь сказать, что в сущности Аспазия и была настоящей женой Перикла, женой в современном смысле слова, подругой и единомышленницей мудреца, правителя Афин...

— На что ты опять намекаешь? Образование мое тебя не устраивает?

— О Боже всемилостивейший и всемогущий! Да не сравнивай ты себя с подружкой арестанта!

— Ну и хватит! «Арестант»! Сам же говорил, что этот Иван Христович необычайно умен, а жена его вообще Пушкин в юбке.

— Не совсем жена. Скажу тебе, они пишут чрезвычайно экзальтированно, даже и не по возрасту. Между нами, и она не первой молодости, а Плекшан выглядит старик стариком, даже — представь себе — голова трясется!

— А кто первой молодости? Не ты ли?

— Золотце, у тебя уникальная способность любую материю, абсолютно любую переносить на себя, на нас. Да, мы не моложе Плекшана и его пассии, но ведь и этакой экзальтации в наших отношениях нет и не было.

— А жаль.

— Радость моя, хотел я сообщить тебе нечто забавное, но...

— Нет уж, хотел — так выкладывай.

— Из головы вылетело. Забыл.

— Ты не забыл. Ты меня наказываешь. Обиделся. Федул, губы надул. Ну что я такого сказала? Ты хороший, добрый, надежный, с тобой мне спокойно и за себя и за детей, ты никогда не сделаешь необдуманного шагу, но немножко экзальтации тебе бы не помешало. Чуть-чуть. Знаешь, когда я про тебя думаю, почему-то всегда вспоминается строчка из Лермонтова: «Слуга царю, отец солдатам».

— Каким солдатам?

— Не знаю. Не знаю каким.

— Гм... Странно, однако в этом что-то есть. Подчиненные по службе... и даже заключенные некоторые — хотя последним, конечно, не всегда можно доверять... но бывало заикались: вы, мол, как отец... Но ты знаешь, я не любитель лести, я даже им договорить не давал.

— Так что же ты припас для меня такого забавного?

— Ну, представляешь, у этих двоих зашел спор. Если я правильно понял, вопрос религии: он скорее атеист, а она его упрасивает вернуться к вере и молиться вместе с ней, тогда Бог услышит и поможет своим «бедным, бедным детям».

— Я тебе давно говорю, что твоя вера чисто формальная, и на месте Господа я бы этого не потерпела.

— Ты еще не на его месте, слава Богу, хе-хе.

— Это и есть то забавное, что ты хотел сообщить?

— Давно бы сообщил, если бы ты не перебивала. Короче, этот человек, сидящий в каменном мешке, за глухой стеной, в окружении вооруженной стражи, пишет ей знаешь что? «Не отнимай у меня свободы!» Можешь себе представить? «Не отнимай у меня свободы!»

— Могу! Могу себе представить! И ничего тут не вижу забавного. Ты тоже умеешь быть тираном, и когда я протанцевала котильон с безобидным, почти безусым поручиком...

— Положим, поручик твой очень даже усат. Но хватит спорить, в конце-то концов! Приходишь со службы усталый как собака, — неужели я не заслужил хоть минуты покоя?

— Хорошо, хорошо, не волнуйся! Дай я тебя поцелую... в щечку... в лобик...мм... еще раз в лобик... в щечку. Отдохни. Выбрось из головы все заботы.

- Все-таки мы с тобой счастливые люди.
— Да, — произнесла жена, вздохнув. — Счастливые.

«Не отнимай у меня свободы!» — писал Эльзе Райнис. И, может быть, искренне не понимал, не видел, что сам-то он никакой свободы своей как будто свободной Иныне не оставляет. Яростно протестуя против принуждения к молитве и вере, сам-то к безверию принуждает, да с какой настойчивостью! Аспазия была достаточно умна и критична, чтобы сообразить, какое на нее оказывают давление. Узник, милый и единственный, был деспотичен. Но он нездоров, а больные обыкновенно деспоты, это она знала по младшему брату. Или, скажем, он был деспотичен как несчастливый ребенок, — и это она помнила по себе, по братьям и сестре. Еще точнее: он был деспотичен, как больной и несчастный ребенок, и ей не хотелось спорить.

В тот самый день, когда Янис писал ей свое огромное и сердитое послание по-немецки, писала и она ему: «...грусть, усталость и все вместе так меня разбило, что я лежу вялая, как подкошенная травочка, не столько я физически больна, как у меня силы не хватает». Она вспоминала последнее свидание: «Я ходила как во сне и видела только Твое милое бледное лицо, на котором отражается такая глубокая грусть и гордость... Наши письма* я получила назад и привезла домой, теперь я занимаюсь, чтобы их разбирать, но это большая работа, многие из них я хочу сжечь и оставляю только те, которые отличаются какой-нибудь характеристикой. Милый, золотой, там есть и письма, которые Ты написал матери и сестрам, когда Ты был еще молоденький и такой милый, добрый мальчик, какой Ты на фотографической карточке, я еще не успела их прочесть, но имею такое странное чувство открыть начало Твоей жизни, мне чувствуется, что чем больше я Тебя узнаю, тем больше я владею Тобой, мня, как будто я сделалась Твоей матерью, я взяла бы Тебя на руки и ласкала бы без конца и своей могучей любовью рассеяла бы все непогоды и бури, которые Тебе грозили бы. Почему я не могла быть Твоей матерью? Наше горе то, что мы не имели родителей, которые бы нас воспитали, мы сами должны были найти дорогу в жизни, длинную, терновую, темную дорогу! И когда узнали жизнь и начали бы жить, то нет больше условий этой жизни и нет силы. Неужели нам больше не жить, мы еще так молоды!..»

Г-н помощник прокурора был весьма занят, и необходимость читать письма этой необычной пары должна была раздражать его. И

* Речь о письмах, отобранных в Паневежисе при обыске, а теперь возвращенных.

раздражала, — потому-то он и потерял бдительность и не заметил, как увлекся, а любопытство и нечто вроде зависти понемногу почти вытеснило прежнее чувство досады и легкой брезгливости. Легкая брезгливость все-таки и осталась, она вообще сопутствовала всякой его встрече с арестованными; даже и физическая чистоплотность, — а он с детства был чистюля, — играла здесь свою роль. Недоумение, опять же с оттенком брезгливости, охватывало его в особенности при контактах с политическими, с помятыми, исхудалыми, не исключено, что завшивевшими интеллигентами: Плекшан был далеко не первый. Помощник прокурора искренне не понимал, отчего образованный, культурный человек сознательно нарушает законы своей страны, — в этом смысле публика сия, пожалуй, почище, похуже то есть уголовного элемента, в чьих действиях преобладало стихийное и животное-страстное начало. Наследственность, *подлое* происхождение, — о, выражение архаично и не для публики, но втайне г-н помощник им пользовался не без удовольствия, — преступные инстинкты всегда будут свойственны какой-то части мужчин и женщин. Но крушить свою жизнь и судьбу близких, обрекать себя сознательно на грязь и нищету, оказываться по своей воле в одной связке с подонками общества? — это было выше его разумения. Некоторые все объясняли безбожием, но помощник прокурора и сам посещал церковь скорее из общественной необходимости, чем по убеждению. В душе он был за свободу совести и, позволяя себе вольномыслие, несколько даже фривольное, в духе пушкинской «Гаврииады», он поклясться был готов, что не атеизм виноват в заблуждениях революционеров. Виновата гордыня, неуважение к закону, жажда власти. А может — и элементарная глупость? Нет, — тот же Плекшан, как ни относишься к нему, но уж никак не скажешь, что человек этот неумен. Некоторая даже робость и зависть, черт знает почему, начинала беспокоить его. Завидовал он, впрочем, не уму, не обширным познаниям заключенного, а скорее тому чувству, которое тот сумел вызвать в красивой и свободной, вполне светской женщине, к тому же, по слухам, необыкновенно талантливой, — что было трудно проверить, поскольку она сочиняла только на языке своего племени. Помощник прокурора ловил себя на том, что ждет с некоторым нетерпением очередного обмена посланьями между арестантом и его невестой. Он неприметно стал зрителем и в определенной мере даже участником некоего романтического приключения. Она собирается жечь письма: что он ответит? Ага. «Милая, прошу Тебя, не сожигай ничего, Ты можешь очень легко по незнанию сжечь и документы, которые могли бы служить в мое оправдание. Откладывай только ненужное в сторону». А это... эти слова — «Почему бы я не могла быть Твоей матерью», такие в сущности

странные, но при них-то он и почувствовал укол необъяснимой зависти, — есть на них ответ или нет? Есть! Мелкими-мелкими буквами приписано внизу: «Да, милая, Ты мне мать».

Г-н помощник прокурора, в душе которого уже несколько дней невесть отчего крутились слова: «Лежу вялая, как подкошенная травочка», — подумал вдруг, что будет скучать без этих писем, когда все кончится. А кончится, видимо, скоро. Он вспомнил бумагу, полученную из Риги. «Требование Вашего Высокоблагородия о доставлении в г.Либаву обвиняемых Янсона и Стучка в настоящее время не может быть выполнено, т.к. Стучка и Янсон необходимы по делу в г.Риге, где оба они с 8 сего июля и содержатся под стражей». Подпись: полковник Прозоровский. По-видимому там, в Риге, хотят не упустить свой шанс, дело-то многообещающее. По логике вещей, они теперь должны добиться перевода Плекшана и К° в Ригу, чтобы иметь все в одном кулаке. Бог даст, заслуги тех, кто не жалея сил трудился по делу пол-года здесь, в Либаве, не будут забыты. Впрочем, там, наверху, по возможности припишут все достижения себе, — и положи руку на сердце, разве ты сам не так бы сделал?

И снова мелькали в памяти строчки из длинных, горячечных, пожалуй, даже однообразных в своей лихорадочности писем. «Сила растет в арифметической, а убывает в геометрической прогрессии». Это, конечно, он. «Будь опять моим солнышком, свети и смейся, не забудь смеяться. Я попытаюсь написать что-нибудь юмористическое». Как раз в день, когда было отдано это письмо, я его видел: изглоданный какой-то, похожий на загнанную крестьянскую клячу. Он попытается написать что-то юмористическое! Женщина пишет менее правильно, иногда даже не совсем по-русски, но живее. И романтичнее: «Эти могучие пламени, которые во мне горят, погаснут только с моею жизнью». «Как Ты узнал правду через разум, так я ее найду чувством, что есть одно и то же». Или: «Если Тебя выпустили бы и меня на Твое место посадили бы, то я с удовольствием сидела бы, как Илья Муромец, триста лет и три года». Помнится, Илья Муромец не триста, а тридцать три года сидел. Но тем не менее, она и русской литературы не чужда! Где это было... выписанное на отдельном листочке, для себя... А, вот: «Я тоже читаю по-русски, теперь Гоголя, «Мертвые души». Хочу научиться по-русски, и тогда будем по-русски писать; для латышей, этого пошлого, плевного народа и чернил тратить не стоит, нету более презрительных людей, чем они». «Презренных», она хотела сказать. Рассердили же ее, видать, соплеменники... Но каждый из нас хоть раз обижался до слез на своих и на свое отечество;

как там у Пушкина? «Черт догадал меня с умом и талантом родиться в России». Может, и переврал, но смысл тот. А ведь какой патриот был.

Последнее письмо подследственного Плекшана, прочитанное по долгу службы помощником прокурора в Либаве, было коротенькое сообщенице от 14 августа 1897 года. Красным карандашом служитель закона подчеркнул строки: «Меня переведут в Ригу сегодня или завтра».

Чужой недочитанный роман окончательно оборвался для него на двух письмах поэтессы Аспазии, поразивших его неожиданной практичностью. «Напиши для меня на записочке все вещи и белье, которые у Тебя. Ты знаешь, что я люблю порядок, — писала она. — Не забудь!» «Не забудь» было подчеркнуто. И в следующем письме: «Относительно вещей я Тебя прошу еще раз, напиши все, что у Тебя, на записочку, не оставь и не забудь там ничего, а то, когда наконец выйдешь из тюрьмы, будешь в костюме Адама, я уж Тебя знаю, и книжки напиши, вообще все, что у Тебя».

Как ни странно, эта проза успокоила г-на помощника прокурора. Все вставало на свои места, идеальные поэтические порывы уравнивались грудой бедного нечистого барахла, о котором она так пеклась. И естественное превосходство чисто вымытого, слегка надушенного и плотно покушавшего человека вернулось к нему, как солнце в погожий день возвращается из-за недолгого облака.

Он не был бы так спокоен и благодушен, если б ему в руки попала другая часть переписки — листочки, писанные главным образом по-немецки, иногда по-латышски.

«Тебе не нужно было ничего рассказывать, ни в чем признаваться. Ты ведь писал, что не дашь себя так быстро одолеть. Посмотри, эти, в Риге, ни в чем не признаются», — писала Эльза в начале августа (увы, иные из «этих, в Риге» уже всю и во всем признавались, некоторые даже и в том, чего не было). В следующем «подпольном» послании Эльзы говорится как раз об этом: «Все время боюсь — как бы Ты в дурном настроении или от усталости не признался в вещах, которые Ты не совершал. Не сознавайся ни в чем, чего не было. Вся ласковость этих господ — только политика, им важна лишь их карьера. Мне рассказывали случаи, когда такие господа были еще добрее, до того, что приглашали заключенного к себе обедать, называли его своим другом и чего только не делали, чтобы добиться признания... Тебе непрерывно нужно повторять, что Ты хочешь на свободу и что он Тебе это обещал. Может, он

скажет, что освободит Тебя, если Ты признаешься, но не соглашайся, это ловушка».

Через пару дней она пишет уже в Рижскую следственную тюрьму о Потоцком: «Господин подполковник был для меня просто как отец...» — но оба они знают, кажется, цену отеческой ласке и заботе г.г. жан-дармских подполковников и г.г. прокуроров.

И в субботу 6 сентября 1897 года Эльза Розенберг-Вальтер пишет своему возлюбленному по-русски, дрожа от ярости и отчаяния, путая и забывая слова чужого языка: «Мне надо смотреть, как мало-помалу Ты гибнешь, как я Тебя видела при последнем свидании, и Твое последнее письмо — видно, что рука у Тебя даже не смогла перо держать, и почерк нельзя разобрать, и если уж Ты сам пишешь, что Ты болен, то я знаю, что в действительности это в десять раз хуже. Сердце у меня грызется и иногда я могу страшно сердиться, когда подумаю, какой ты глупец! Теперь и можешь посидишь. Не могу о всем писать, а то Тебе не дадут моего письма. Ты можешь кричать, рыдать, бить голову об стену, это Тебе урок за Твою проклятую честность, за твои идеалы, везде правду говорить и презирать ложь. Ты мог бы посмотреть, как умные люди знают отделаться от всего, надо только уметь, уметь, уметь! И проникла и я и смотрю во все, как в раскрытые карты, и я могла бы плевать, всю свою душу выплевывать. Ах, горько мне, слишком горько, — я бегаю кругом и хочу Тебе помогать, но мои силы слишком слабы, бессильно я протираю руки, но я могу разделить Твою долю, больше ничего, мы оба находимся на корабле, который более и более наполняется водою и медленно утонет... Нету даже силы Тебя видеть. Не могу теперь более писать, я слишком возбуждена и сержусь, когда надо видеть, что тот, кто невинный, должен страдать, а винный смеется...»

«Зачем Ты в письме упрекаешь других, они не при чем, я с ними не хочу сравниваться, о тому подобном вообще не говори», — откликается Райнис; и его русский язык от волнения пострадал.

Другие не при чем? Да он с некоторых пор почти ни о чем не мог думать, ни о ком, — только о тех, других.

Он предан. Он жертва неслыханного предательства.

Гнев, бушевавший теперь в его голове и груди, обида и ярость сжигали Яниса. Он стремительно терял силы и — Аспазия права — рука его порой была не в состоянии удержать перо.

Дора продолжала быть его головной болью, головной и сердечной — до перебоев, кажется, в сердцебиении. Как-то написала Эльза: «Я была у Твоей сестры ее утешать, но видно, что мы никогда не приблизимся, — это, что она тогда приехала, было только волнение. Она изливает свое горе, что в момент отчаяния пишет своим подругам письма и притом еще смешные... И эти негодяйки Тебе, где Ты теперь не свободен, много зла делают, я ей сказала, но попала в немилость. Не знаю, смею ли я писать, что я сказала бы, какие эти их люди, но если меня спрашивать будут, я скажу».

«Их люди», «негодяйки» (негодяи?) — о ком это? Для Яниса тут секретов не было: Аспазия косноязычно и страстно продолжала воевать с его бывшими коллегами и друзьями, теперь злейшими недругами, в стане которых оказалась и Дора. Христианское чувство, и вообще-то Эльзе не очень свойственное, начисто отказывало, когда она писала о них: ни следа терпимости, ни намек на возможность прощения.

Прощать тем более не собирался и он. Как жить дальше, если те, кого ты считал братьями, хладнокровно отдают тебя на съедение? Отрезают по кусочку от твоей плоти и от твоей души и бросают преследующим их волкам? Да они во много раз хуже, чем сама эта волчья стая.

Будь они прокляты.

Выжить — чтобы отомстить? Такие злодейства не могут оставаться безнаказанными.

Я хочу видеть в момент отмщения их лица. Смотреть им в глаза. Это не должно быть физической болью, простая телесная пытка — пустяки. Позор, публичный позор и осмеяние, тухлые яйца со всей планеты, презрение детей и женщин — вот что заслужили те, кто предал будущее, светлые надежды юности, чистое, горячее братство недавних лет.

Требуется: выжить и стать полубогом.

Голос твой раздастся на тысячи верст, все его услышат, весь твой народ и другие народы.

Я обличу вас, негодяи. Перед лицом человечества.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОРФЕЙ, ЭВРИДИКА

336

Нерасчетливо оставленный нами, живет между тем на обочине повествования своей жизнью, бурной и таинственной, еще один помощник присяжного поверенного — Владимир Ильич Ульянов. Учительница Надежда Крупская, его скромная соратница, а затем и жена, позднее вспоминала: «Лето 1895 года Владимир Ильич провел за границей, частью прожил в Берлине, где ходил по рабочим собраниям, частью в Швейцарии, где впервые видел Плеханова, Аксельрода, Засулич. Приехал полон впечатлений, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, между стенками которого была набита нелегальная литература».

Через два года после Яниса Плиекшана — весьма похожий маршрут, почти те же лица и кажется, что тот же самый чемодан!

На родине двадцатипятилетний юрист сколотил ближе к зиме первую подпольную организацию, объединившую марксистские кружки Петербурга — «Группу борьбы за освобождение рабочего класса». И почти тотчас был арестован: за ним по пятам следовали правительственные агенты и летом в Женеве, Париже, Берлине, и осенью в Санкт-Петербурге («бешеная слежка, — писала Крупская, — следили за ним, следили за чемоданом»).

Оказавшись в тюрьме на полтора года раньше, чем наш герой, в начале декабря 1895 года, Ульянов не растерялся ничуть. Он тщательно готовился к отсидке: тюрьма и ссылка входили в правила игры. Крупская: «Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспирации: он знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички...»

Рядом с этой целеустремленностью, умением и, можно сказать, искусством скрываться и замечать следы, вести себя на следствии

и в тюремных стенах, — искусством, которое первые петербургские марксисты унаследовали от народовольцев, от «нигилистов» двух предыдущих поколений, рижские радикалы выглядели младенцами. Традиций тайной революционной борьбы здесь не существовало, правил конспирации никто толком не знал и не соблюдал, да и вообще первые обыски и аресты поразили всех, как гром с ясного неба: в балтийских провинциях никогда еще не случалось ничего подобного.

В тюремной камере Владимир Ульянов писал свою книгу «Развитие капитализма в России». Заказывал с воли нужную литературу, статистические сборники. Выпустили его в феврале 1897 года (до ареста Райниса оставалось три месяца). «Жаль, рано выпустили, надо было бы еще поработать, в Сибири книги доставать труднее», — шутил он, отправляясь в ссылку, в село Шушенское Минусинского уезда. В Сибири ему понравится. В окрестностях Шушенского великолепная охота. Ульянов, рассказывает его жена, «был страстным охотником, — завел себе штаны из чертовой кожи и в какие только болота не залезал!»

Владимир Ильич, «залезающий в болото» в штанах *из чертовой кожи*, — из чертовой! — да этой картине цены нет!

В тюрьме Райнис переводил «Фауста», заказывал и получал с воли нужные материалы и книги, но сходство на том и кончалось. Владимир Ульянов чувствовал себя в тюрьме как рыба в воде, пускай не самой чистой и проточной. Райнис чувствовал себя в тюрьме как рыба, вытасенная на сушу.

Самочувствие других латышей было не лучше. В августе, через полтора месяца после ареста, один из них — А.Крумберг — покончил с собой. Стучка потом сокрушался: за день до того он получил от Крумберга записку, тот жаловался, что боится сойти с ума. «А я не нашел ничего лучшего, — вспоминал Стучка, — как ответить, что у меня такие же мрачные мысли».

Тюремная администрация всполошилась. В жандармском управлении тоже понимали, что перестарались. Дело выстраивалось не так красиво и победно, как представлялось вначале, и лишней огласки никому не хотелось. Мелкота, годившаяся с натяжкой в свидетели, но никак не в участники процесса, была без шума отпущена по домам, главным подследственным сделаны кой-какие послабления. Стучку, страдавшего головокружениями и обмороками в темной камере, расположенной по соседству с уборной, теперь перевели в тюремную больницу в Задвинье. Там было не в пример лучше: просторней, светлее; имелся внутренний

садик, куда арестантов ежедневно выпускали на прогулку. Разрешалось приносить с воли обеды, и Дора Стучка, конечно же, этим разрешением воспользовалась. Ходила она туда пешком. «То был долгий путь — из города в Задвинье. У меня от всего пережитого ноги ослабели, подламывались, дрожали колени, но все это, понятно, не могло меня остановить», — так Дора.

В тюремной больнице Петерис Стучка учил английский язык и улучшил свой бедноватый французский.

Через три дня после самоубийства Крумберга в его опустевшую камеру перевели Янниса Янсона. И тут же вызвали на допрос. Здесь начинается цепь загадок, занимавших в разное время множество людей.

Для нашей книги эти загадки центральны. Ибо *братья* Райниса — не умершие до его рождения сыновья той же матери и отца, а — Петерис Стучка и Яннис Янсон, погибший в тюрьме Крумберг и Янис Ковалевский по прозвищу Лепский, Паулс Дауге и Микелис Вальтер, все бывшие сотрудники «Диенас Лапа», все жертвы первых преследований. К *братьям* — в этом смысле — отнесем и Дору, приведшую его, не забудем, к социал-демократам. Вместе они вышли на новый путь и, подобно первым христианам среди язычников, уже не могли перестать быть частью невидимого единства; чье-то отступничество тут ничего не могло изменить, единство веры и пути существовало уже независимо от числа путников и, быть может, — их воли.

Загадка первая: когда состоялся первый допрос Янсона. Сам он утверждал, что впервые был вызван на допрос уже в августе, после смерти Крумберга, когда от Яниса Пуце и других, а также из попавших в руки следствия документов властям было известно все или почти все и Янсон своим признанием или непризнанием уже не мог ничего изменить. Я.Дригега (это имя нам уже встречалось) подтверждает: после показаний Пуце «признания Янсона уже не играли абсолютно никакой роли. Действительно, он был слишком наивен, рассказывая о своей революционной деятельности.* Другие арестованные, однако, восприняли известие о его показаниях довольно равнодушно, уверенные, что они уже мало кому могут повредить. Янсон немножко «раскололся», этого никто не отрицал. Но что Янсон кого-то предал, чтобы обернуть дело в свою пользу, не утверждали даже те, с кем он еще на воле был не в ладах».

* Некоторые слова и фразы в отрывках из протоколов выделены мной. — Р.Д.

Но в протоколе допроса от 22—23 августа ясно сказано: «**Обвиняемый в дополнение к показаниям своим от июля 8 дня показал...**» Это очень важно: были, значит, и показания от 8 июля! Странно, что этот первый протокол кем-то изъят из дела. Все остальное на месте. Теперь остается гадать: может быть, Янсона в день ареста спросили только об имени, звании, вероисповедании? Повторю, что сам он настаивал: первые свидетельства дал в конце августа, и потому они не могли, в частности, сделаться одной из причин гибели Крумберга. В которой его со временем публично обвинят. (У нас-то с вами, читатель, завязаны на память два узелка. Как раз после 8 июля резко ухудшилось положение Плекшана в Либавской тюрьме: кто-то в Риге делал *нежелательные признания, иной раз граничившие с предательством*: кто?)

Версия Янсона такова. Оказавшись в камере, из которой незадолго до того вынесли труп его товарища, потрясенный его самоубийством, не вполне владея собой, припертый к тому же к стене предъявленными ему письмами и документами, он по неопытности и наивности сказал слишком много. Но все им сказанное лишь подтвердило сведения, уже имевшиеся у следствия.

Сразу после допроса Янсон по тюремной почте сообщил товарищам по несчастью о своих признаниях. Покаянную записку получил от него и Пликшан.

339

В отчете жандармерии, представленном после окончания следствия, сказано: «Допросы, результаты ареста и свидетельства обвиняемых, **главным образом Янсона и Пуце**, а также Кристапа Вальтера, Розиня, Яна Ковалевского, Крума, частично Плекшана и других, доказали...»*

Мы уже заглядывали мельком в протоколы допросов Пликшана (*Плекшана*, как он именуется во всех документах) и Янсона. Теперь настало время рассмотреть их пристальней.

Плекшана спрашивают о Стучке, Янсоне, Валтере, Пуце, предъявляют ему письма. Ответы. О Микелисе Валтере: «Он мне писал, но о чем, не помню». «Пуце не был у меня в Митаве... насколько я помню». «О распространении запрещенных книг в Либаве и Риге мне ничего не известно, как равно и о том, что Пуце ездил в Москву». «Что значит первая буква фамилии «Г», не знаю». «О какой тут контрабанде и каких хороших книгах говорится, мне неизвестно».

Не помню, не знаю. Не знаю, не помню.

* Загадочным образом имя П.Стучки в этом и других ключевых пунктах обвинения вообще не упоминается.

Другой допрашиваемый не знает слова «не знаю» и не помнит слова «не помню». Он знает и помнит все и выкладывает все, не дожидаясь вопросов. Рассказ Янсона о «новом течении» походит не столько на запись допроса, сколько на горячую, неудержимую, до предела искреннюю исповедь юного послушника перед духовником. Наивную — да, да, обаятельно наивную в своей ребяческой откровенности.

Жандарм, эту исповедь выслушивавший, наверняка был растроган.

Райниса припирают к стене. Зачитывают показания Пуце, других. Не будете же вы отрицать, что в июне был первый съезд, а зимою второй? Об этом нам сообщили двадцать семь человек! А вот сам Пуце утверждает, что рассказывал вам о поездке в Москву с запрещенными изданиями. И в Петербург нелегальные брошюры возили. Янсон вот здесь признается в подобной же контрабанде.

Да, вынужден согласиться юрист Плекшан. Сходы нашего кружка были в июне и в феврале. «На втором сходе кружка решились устроить какой-нибудь орган кружка, главным образом для того, чтобы сдерживать некоторых слишком ретивых, горячих сторонников... Такой организации центрального рижского кружка не было установлено и избраны только председатель и двое распорядителей, председатель Стучка и два помощника — рижский адвокат Христофор Вальтер и я... Ни одного собрания распорядителей с моим участием не произошло». «Письмо Янсона о нелегальной литературе — пустая похвальба»: это ведь Янсон, «любивший хвастаться, выдумывать подобные романтические приключения». «Было ли письмо это прислано мне по почте или с посланным, я не помню». «О провозе в Москву и Петербург в 1896 году русских запрещенных изданий я мало знаю; собственно, я слышал от самого Пуце только о его поездке в Москву».

Он называет имена, которые ему назвали, но чрезвычайно неохотно. Он обличает Стучку: тот интриговал против него, а сделавшись снова редактором, преследовал верных прежнему редактору сотрудников. Критикует Янсона: хвастлив, Микелиса Валтера: легкомыслен, «мы его не принимали всерьез». За все это не сажают.

Зато Янсон не ждет подсказок. Пятьдесят две фамилии называет он одну за другой! И не просто называет: выдает все, что знает, начиная от момента знакомства с новым человеком и кончая участием в общем деле. Многие имена поэтому повторяются неоднократно, а одно из них — рекордное число раз: более пятидесяти!

Это имя Плекшана.

Только в протоколе от 22—23 августа 1897 года эта фамилия встречается 35 раз (для сравнения: Стучка упоминается в **четыре раза реже**).

И тут легенда Янсона и его защитников начинает трещать по всем швам. Двадцатипятилетний студент поддался минутной слабости? Очутившись в камере самоубийцы Крумберга, потерял голову, наговорил с три короба, но тут же страшно раскаялся и поведал о случившемся своим товарищам? Но слабость не была минутной! Допросов было семь (не считая первого, протокол которого кем-то изъят из дела). 22, 23, 25, 26, 28 августа, 22 сентября и, наконец, 7 октября.

А всего печальной следующее открытие.

Не было стихийного порыва откровенности, не было мальчишеской наивности, глупой искренности.

Не было, может быть, даже и никакой слабости.

А был расчет, продуманное деяние. Было предательство: предание в руки врагов избранной жертвы. Откровенность и своеобразный размах этих предательских действий поражают, чем-то напоминая библейских злодеев и их злодеяния.

Янсон не сваливает на других вину. Скорее, даже преувеличивает свою роль, — опять же по-мальчишески, вызывая, должно быть, у его визави покровительственную, отеческую улыбку.

Но и здесь, быть может, не обошлось без расчета. Чистосердечное признание всегда и везде содействовало смягчению приговора, а уж тут оно было сверхчистосердечным.

Первых результатов не пришлось ждать долго.

Часть бесед с прокурором была перенесена из тюрьмы в уютную домашнюю обстановку, с коньяком и чаем.

Райнис, прознавший об этом, — а чаепития эти довольно скоро перестали быть секретом, — не простил их «другу Янцису» никогда.

Бывала и Аспазия на квартире у подполковника Потоцкого. И от чаю с вареньем не отказывалась. Но у нее там не брали показаний. Да и рассказать ей было бы нечего. И не из камеры же, не от товарищей по заключению ее привозили. Свободный человек, дама, вполне светская, принимала приглашение правительственного чиновника, чтобы хоть что-то от него разузнать... Впрочем, сравнивать те и другие чаепития Райнису и в голову никогда не приходило.

П.Стучка, вступаясь через годы за своего названного сына, обвиненного в предательстве, писал: «Янсон подтвердил на допросах то, что уже было известно (ничего другого не сказал). Всего больше пострадать от показаний Янсона должен был я, ведь он был моим ближайшим сотрудником и арестовали его у меня на квартире».

Но в том-то и дело, что «исповедь» Янсона перед жандармами была построена так, чтобы максимально обелить в их глазах руководителей «партии»: Стучку и себя самого. Янсон выводился из-под удара «чисто-сердечием», «искренностью» и «раскаянием», Стучку же следовало оправдать, елико возможно, в каждом эпизоде. И прежде всего перенести центр тяжести пересказываемых событий на то время, когда Стучка вообще стоял в стороне, преспокойно занимаясь своей адвокатской практикой и (по слухам) красивыми актрисами: 1893—1895 годы. Оберегая Стучку, нужно было подставить взамен другого виноватого. Плиекшан подходил на эту роль идеально: можно было говорить как бы чистую правду. Подтасовка, совершенно незаметная для посторонних, состояла в том, что при Плиекшане «новое течение» действовало легально, а подпольные методы по-настоящему взяты на вооружение уже при Стучке. Вот уже почти два года, как бывший редактор «Диенас Лапа» отстранился от дела, обидевшись, видите ли, на бывших соратников. Янсон искренне (на самом деле искренне!) считал, что и прежде-то его роль в новом движении была невелика. Тем лучше, не жаль отдать на съедение человека, в сущности, постороннего.

Эпизодов, убедительно «преступных» и доказанных, у следствия вообще набиралось немного. Особенно из времен Плиекшана. Но если постараться, можно им кое-что подкинуть.

Чемодан с двойным дном, привезенный Плекшаном из Цюриха, был? Был. Янсон говорит о нем пять раз! «Плекшан только что перед тем вернулся из-за границы... и привез с собой около 30 заграничных изданий. (Он перечисляет: Эрфуртская программа, Протокол Парижского конгресса Соц. Интернационала, Бебель). Дальше. «К этой программе тогда же примкнули студенты... (следует перечисление имен). Лица эти пользовались привезенными Плекшаном изданиями». «К новому 1894 году я отправился в Либаву, причем захватил с собой из Плекшановских брошюр около десяти, в числе которых помню Каутского Парижский протокол, речи Либкнехта...» «Пробыв в Либаве 2—3 недели, я вернулся в Ригу и сообщил одному Плекшану о сделанном». «Вместе с тем выяснилось, что привезенные Плекшаном и разобранные у него в декабре

1893 года брошюры разошлись...» Вот он снова в Лиенау-Либава: на квартире у рабочего Дреги Янсон встречает «единомышленников... которые пользовались теми брошюрами...» и т.д.

Поплясав вдосталь на злополучных брошюрах, Янсон рассказывает подробно о еще одной поездке в Либава. «Я отправился туда, имея между прочим в виду по соглашению с Плекшаном проложить путь к транспортированию нелегальной литературы из-за границы... Я получил там письмо от Плекшана с запечатанным письмом на имя Фр. Геберта, книгопродавца и уполномоченного немецкой социал-демократической партии, причем Плекшан просил меня переправить это письмо через границу... Но т.к. там у меня не было знакомств, письмо Плекшана я уничтожил, не прочитав его».

Эта история с запечатанным, непрочитанным и уничтоженным письмом, которого никто не видел, о котором никто ничего не знал, может служить образцом того, как пустить ко дну избранную для этого персону, привешивая к ней гирю за гирей.

Вот Янсон рассказывает, как подбирал *колпортера*, — человека, которому предстояло торговать в розницу газетой и журналом «Пурс». «Согласно предположениям конспиративной части декабрьского съезда*, предполагалось на колпортера возложить пересылку между лицами, примкнувшими к агитации, личной корреспонденции и вообще всего, что должно было вестись конспиративным путем. Все эти обязанности были разъяснены Минку и он на них согласился, оставалось только иметь санкцию Плекшана». «В чем заключались отношения Плекшана с Гебертом, мне неизвестно, т.к. Плекшан от меня это скрывал».

«Вернулся из-за границы Микель Валтер, представлявший из себя уже довольно ярого социал-демократа... был он у Плекшана, но о чем они говорили, я не знаю». О ЦК, избранном на съезде, носившем уже исключительно конспиративный характер, сказано: центральный комитет «никогда не собирался, так что председателю не пришлось председательствовать, а секретарю писать, и только Плекшан остался при кассе; делались ли из нее какие-либо расходы на нелегальные цели, мне неизвестно...»

Прекрасно ему известно: не делались. Но ведь он якобы ничего и не утверждает! Так, между прочим, обмолвился, что единственным действующим членом бездействовавшего ЦК был Плекшан. Только и всего.

* Заметим: то, что Янсон именует съездом партии, Райнис упорно называет сходом кружка.

Что говорит на допросах Янсон о Петерисе Стучке? Посмотрим, не пропуская ни одного эпизода.

Первое упоминание. «Мы (с Плекшаном) считали его недостаточно склонным к служению социал-демократическим идеям в виду его веселой, барской жизни».

Второе упоминание. «Особенно при участии Стучки велась ожесточенная борьба против узко националистических стремлений старой партии, органом которой была газета «Балтияс Вестнесис».

(Нужно учесть: именно «узкий национализм» и сепаратизм чрезвычайно беспокоили правительство, так что в глазах следствия сказанное однозначно говорит в пользу Стучки. Ожесточенная же борьба последнего со «старым течением» выразилась в то время разве в статье о 25-летию Рижского латышского общества, одним из директоров которого он сам незадолго до того состоял).

Третье упоминание. 20 июля вечером публика «собралась у Стучки... и обсуждала общие вопросы легального характера».

Четвертое: Стучка через запятую упомянут в числе участников конспиративной сходки в помещении редакции. Янсон называет здесь девятнадцать имен, и в том числе Плекшана и Стучку.

Пятое: «Что касается Стучки, то он, стоя близко к Плекшану и ко мне, примкнул к нам в сентябре 1894 года». Наконец, допрашиваемый упоминает одним словом о факте, хорошо известном следствию: на «съезде» 28 января Стучка был избран председателем ЦК. Дальнейший текст нам уже известен: «Но председателю не пришлось председательствовать...» и т.д. — см. выше.

В ходе второго допроса Янсон «признается», что обменялся до декабря 1895 года несколькими письмами «только с одним Стучкой по поводу личных наших денежных счетов и вопроса о студенческих стипендиях». Ну и что?

Следующий момент. «Плекшан вышел из редакции, и на его место поступил Стучка. В результате «в последующем издании газеты стало гораздо меньше столкновений с цензурой».

Вот появляется (не мог не появиться) или, как выразился Янсон, «выходит на сцену» Пуце. Он «в январе приехал в Ригу и, очевидно зная мое положение в редакции, обратился ко мне с просьбой устроить ему гонорар за корреспонденции из Либавы, в виду чего я познакомил его со Стучкой... но при этом о добывании Пуцем нелегальных изданий из-за границы не было еще речи и едва ли Пуце занимался этим, так как мечтал своими корреспонденциями зарабатывать средства; впоследствии же на нелегальщине он создал очень выгодный для себя гешефт». Как ни крути, и это сообщение Стучку никак не задевает: познакомился

с человеком, желавшим получить гонорар за свои заметки, — какой тут криминал?

Далее. Событие, уже известное жандармам со слов Пуце. Янсон живет на квартире у Стучки. Сюда же Пуце привозит чемодан литературы. Энгельс, Каутский, «История социализма». Но: **«Все издания в единичных экземплярах и научного, не агитационного характера».**

1896 год. 27 июня Янсон, приехав в Либаву на свадьбу своей знакомой, встречается с Микелем Валтером и узнает от него о готовящейся рабочей стачке (на Тилицкой фабрике). «Валтер обратился ко мне с просьбой употребить свое влияние на Стучку, чтобы он поддержал стачку своими средствами. Вернувшись в Ригу, я передал об этом Стучке, который, однако, **отнесся несочувственно**, подозревая, что стачка эта является просто затеей Валтера, вовлекшего рабочих в это несчастное для них дело, и **никаких денег не послал**». И еще почти страница — все о том, как Стучка не хотел давать деньги на стачку и как его буквально вынудили в конце концов послать рабочим 50 рублей против его воли. (Самый факт получения бастующими этих денег следствию был известен и доказан).

«7 декабря вечером Стучка выехал в Берлин, куда должна была приехать для свидания с ним Дора Плекшан. Я остался работать в редакции вместе с Ковалевским и Либерсом, причем... заметил начавшееся еще летом 96 года весьма сильное охлаждение в отношениях ко мне, Стучке и Ковалевскому со стороны Бунджа и заходившего в редакцию телеграфиста Шульца. До меня стали доходить слухи, что названные лица враждебно отзываются о нас (т.е. обо мне, Ковалевском и Стучке) и вооружают подписчиков против газеты, так как мы «баре» (кунги), не отстаиваем более программы газеты и того направления, которое мы же ей и придали. И действительно, под влиянием цензуры **тон газеты сделался значительно умереннее** и многие статьи перепечатывались из «Правительственного вестника» и Сборника Министерства финансов «Производительные силы России». 31 декабря вернулся из-за границы Стучка, который мне ничего не рассказывал о своем свидании с кем-нибудь из социал-демократии за границей и, насколько я знаю из разговоров с ним, подобная цель не входила в программу его поездки. Равным образом я **не видал и не знаю, чтобы Стучка привез с собой нелегальные издания**». Вот и слово «не знаю» вдруг появилось в лексиконе студента.

Повторяю: фрагменты допросов, касающихся Стучки, приведены один за другим, подряд, без пропусков. Янсон не отрицает факты, известные следствию со слов других арестованных. Это бы только испортило игру. Нет, он всего лишь поворачивает каждое событие и

высвечивает определенным образом. И как-то само собой выходит, что один из двух главных персонажей его сообщения («исповеди»?), а именно Плекшан, был зачинщиком и вдохновителем множества антигосударственных поступков и замыслов, другой же — Стучка — в каждом случае безвиновен или почти безвиновен, а если где-то когда-то и вовлечен в противозаконные действия, то против своей воли, почти насильно. Да что там, — Стучка настолько хорошо и правильно ведет себя согласно этим протоколам, что ему хоть медаль выдавай!

Если бы студент Янсон выдал кого-то по неосторожности, по наивности или даже из страха, если бы он не выдержал психологического поединка с опытным следователем, если бы не сумел сдерживать своей обычной горячности или хвастливости, — все можно было бы понять, да наверное и простить.

Но факты указывают на исполнение сознательного замысла, и замысла не одинокого.

Напомним, что обыски и аресты в Лиенае были произведены еще в мае, газета «Диенас Лапа» приостановлена 23 июня. У руководителей движения была возможность подготовиться к худшему и обсудить варианты своего поведения при аресте. Не верится, чтобы план Янсона был придуман и исполнен им на свой страх и риск.

346

Многое из рассказанного Райнис знал уже тогда. Он не читал протоколов, доступных исследователям теперь, но слухи в тюрьме вездесущи и передают порой суть происходящего с точностью необъяснимой.

Конечно, и обострившаяся до предела интуиция помогала из обрывков, намеков, полужагов, оброненных следователем, вытащить суть. Райниса перевели в Рижскую следственную тюрьму вскоре после ареста Янсона и Стучки. Новые сведения, новые доказательства, новые имена и эпизоды, которыми вдруг начали сыпать его мучители, тоже наводили на размышления. О некоторых вещах знали один или двое, и Райнис помнил — кто.

Когда он убедился окончательно, что его топят сознательно и безжалостно, отдают нарочно на растерзание — и кто отдает, он стал умирать.

Убивало хуже всего бессилие. Он сколько угодно мог сжимать тощие, иссохшие кулаки, — противники были неуязвимы.

Тогда и до конца дней он был уверен, что Янсон — всего лишь исполнитель, кукла, тряпичный паяц в руках другого, гораздо более сильного и хитрого, всегда остающегося в тени.

Чего он только не передумал.

Райнис даже не предполагал, что, предавая его, они хотят добиться для себя каких-то послаблений. Нет: один из ревности и обиды, другой — из зависти (и тоже ревности — к Доре?) решили погубить его, заодно убрав раз навсегда конкурента, который выше их на порядок. Им мало было выжить его из газеты и из латышской журналистики, мало было оттеснить от общественного движения, которое он породил. Перевод «Фауста» успел показать им, что он вот-вот переиграет их на другом поприще. Латышский народ невелик, личности такого масштаба в нем наперечет. Райнис — слишком сильный, притом непредсказуемый соперник: задушим его чужими руками, раз представился случай! Погубим его гений!

А впрочем, тысячи других вариантов и соображений теснились в его мозгу; голова раскалывалась, он не мог думать ни о чем, кроме очередного допроса: что, какую новость ему преподнесут на сей раз с видом торжества?

А что если вникнуть в резоны и другой стороны? Да, Райнис был принесен в жертву, — так полагал он сам, так полагаем и мы. Но Стучка и Янсон даже перед самими собой имели серьезные оправдания. Если и приплелись к их решению мотивы ревности, личной неприязни и личной мести, то, думается, они бы хотели этого не видеть, выбросить с неудовольствием самую мысль об этом. Есть великое дело, быть может, величайшее в истории. Перед ним бледнеет все, и тем более личные, интимные переживания и связи. Плиекшан претендует на роль чуть ли не отца-основателя латышской социал-демократии, а сам все бросил ради первой юбки, порвал с товарищами и, лелея свои надуманные обиды, по существу готов был превратиться в филистера. Мы же обязаны продолжать борьбу. Интересы партии безусловно требуют, чтобы руководство ее было по возможности сохранено или чтобы удар, нанесенный царизмом по верхушке партии, был смягчен максимально. Дело не в нас — не в Стучке, не в Янсоне. Дело в том, что на сегодня в руководстве партии нас никто не готов заменить. Как в шахматах, мы должны пожертвовать фигурой — серьезной, значительной фигурой — чтобы не потерять всю партию (вышел даже каламбур, невольный). Плиекшан — значительная в глазах противника фигура. Для социализма он — пешка («Почему же пешка? — должен был возразить один из них. — Скажем, ладья... Но уже потерянная!»). Потерянная, да. К тому же, против него достаточно объективных улик, вряд ли наше вмешательство повлияет на его судьбу.

Вот в огрубленном, может быть, виде — чистая правда. Могло все это вызреть и решиться вообще без участия слов. Но смысл — тот самый. Ни Петерис Стучка, ни Янис не были негодяями. И бесталанными, и своекорыстными их не назовешь. Но логика начатой ими борьбы... Но способы достижения тех самых идеалов... Но организация, уже пустившая росточки, волосатые тоненькие корешки в их груди и головы, в их биографии, дружбы, любви... Партия, свернувшаяся зародышем, уже несла в себе все будущие черты. Остававшиеся, правда, до времени тайной для них самих. Зародыш механизма, железненький, страшненький, кровавенький уже действовал согласно заложенному в него генетическому коду. Проникая в живые существа, оказавшиеся в соприкосновении с ним, он вносил незаметные поправки в клетки, в кровяные тельца, в иммунную систему.

Янсон на допросах топил не одного Плекшана. Еще он явно и намеренно подставлял под удар по крайней мере двоих: Пуце и Микеля Валтера. О первом вся тюрьма говорила, что он предатель. Второго Янсон знал и терпеть не мог с детства.

И выгораживал он опять же не одного Стучку. Янис Ковалевский по прозвищу *Лепский* и Фрицис Розиньш — со временем одна из первых фигур латышской социал-демократии, партийная кличка *Азис* («Козёл») — тоже оказались под его защитой. В ходе допроса он говорил: «Что касается до Розина, тот был случайным сотрудником «Диенас Лапа» при Плекшане и Стучке... Он был посвящен в социал-демократическую программу газеты и в нашу деятельность, но был ли он причастен к какому-либо фактическому проявлению этой деятельности, я не знаю. Лично я не сообщал ему ни о рабочей агитации в Либаве, ни о водворении нелегальной литературы, ни о стачке». Розиньш — друг Янсона с гимназических времен. Лепский — товарищ по университету (Дерптскому, куда Янсон перевелся в 1895 году из Москвы). «По отношению к Ивану Ковалевскому я прошу обратить внимание на то, что если он в самом начале и разделял идеи нашей программы, то впоследствии с лета 1895 года он отстранился от какого-либо активного проявления таких первоначальных своих взглядов».

Подумать только: то же самое, слово в слово, он мог бы, если б захотел, сказать и о Плекшане. Только это, и ничего больше. И поскольку до декабря 1895 года он не состоял в штате редакции, да и бывал в Риге наездами, никто не потребовал бы от него большего!

Очнувшись от забытья, провала сознания и памяти, о котором он никогда не мог сказать, длился он секунду или полдня, арестант обнаружил, что в его «дважды тринадцатой», т.е. двадцать шестой камере, тесной и узкой настолько, что бегать в волнении, как бегают волки в зверинце, было негде, — он не один: узкая железная койка с казенным жиденьким одеялом кем-то занята. Фигура, лежавшая лицом к стене, странно подергивалась. В камере был, как всегда, полумрак, и узник не глазами, а всем нутром вдруг узнал лежащего.

— Янсон! Ты что здесь делаешь? — спросил он вне себя от изумления.

— Что делаю? — откликнулся студент лениво. — Угадай. Доносец пишу, на тебя. Или же детской радостью занимаюсь. А что? При вынужденном воздержании даже врачи советуют.

— Мерзость какая, — сказал хозяин камеры, вздрогнув.

— А спускается почему-то кровью, — сказал тот же голос полутонем ниже и уже из-за спины, громко дыша на ухо. — Ха-ха-ха! Шутка.

Не Янсон это. Янис внезапно знал, чье это хриплое дыхание. Он резко оборотился, — гость со смешком увернулся от взгляда и стоял опять затылком к нему. Для чего-то задержав дыхание, Райнис на цыпочках обошел серую фигуру и глянул на врага в упор. Вместо лица был провал, как у сифилитика, но оттуда, из гнилостной тьмы, внезапно блеснули, плеснули зеленым пламенем волчьи глаза.

— Это можно рассматривать как плагиат, — сказал Янис, сглотнув.

— Причем тут плагиат? Скорей цитата. Ты Достоевского вспомнил? Наши беседы с Карамазовым? Или своего Фауста? Хотел, чтобы первоначально я показался в виде пуделя? Но вспомни-ка: следующей была личина странствующего студента. А разве Янсон — не странствующий студент?

— На Мефистофеля ты не тянешь, — сказал Янис устало, теряя к собеседнику интерес.

Ничто, кажется, не могло удивить арестанта, но вся апатия слетела с него, когда фигура незваного собеседника выросла и раздалась, уютно, до хруста потянулась и сказала по-русски голосом Стучки: «Потягушечки...» Страшных усилий стоило узнику не броситься на толстяка. «Это не он. Пустая оболочка... наполненная опять же пустотой. Не дай себя провести!»

— Это не он, ты прав, — произнесли у него в мозгу весело, — это я!

И страх внезапно затопил его, волна необъяснимого, бессмысленного страха накрыла с головой, отняла возможность рассуждать, возможность сопротивляться. Не страх смерти, не чувство опасности, откуда-либо грозящей: просто страх, вытеснивший собою все, даже воздух для дыхания, — как вода в утопленнике.

Янис споткнулся — и чуть не упал. Это гость вытянул ноги, нарочно чтоб ему споткнуться, — не задеть их было нельзя, помещение не позволяло. Теперь это был бес в клетчатых панталонах, с острой бородкой и козлиными рожками; морда фавна глядела, ослабившись. Янис бессильно огляделся по сторонам. Деваться от парнокопытного было некуда. Холодный пот на лбу уже просыхал.

— Что касается твоих друзей, — заговорил бес как ни в чем не бывало, — ты напрасно их так третируешь. Они всего лишь ухватили суть наступающей эпохи. В обществе будущего предательство станет обязательным. Непредательство друга, брата или отца с матерью будет приравнено к государственной измене.

— Бред, — произнес узник чужими губами.

— Черти не бредят. Ад — учреждение рациональное до предела... Но я не о том. Представь себе грядущую социалистическую империю. Повсюду портреты Маркса и Энгельса. А кое-где и твои портреты... и твоего друга Стучки.

— Не называть его моим другом — можно?

— Отчего ж. Могу называть и братом. Бывший друг — могу понять. Но бывших братьев как будто не бывает, а? Назовем его мужем вашей сестры. Предать нельзя врага или кого-то постороннего. Предать можно только кого-то близкого, родного... учителя.. брата... друга.

Янис опять нырнул в беспамятство, как в зимнюю прорубь. И — показалось, тут же вынырнул из черноты. Бес был здесь и бубнил точно лектор.

— И возглавит империю глава вашей партии. Сейчас ему восемнадцать. И в столице огромной страны будет бронзовый памятник мальчику, донесшему властям на собственного отца. И парк, названный его именем. А восточный человек, глава партии, отправит в тюрьму жену премьер-министра, жену председателя парламента, брата еще одного министра, брата президента Академии Наук. И все эти высшие чины, не говоря уж о тех, что пониже, обязаны будут отречься от своих жен, братьев, родителей и восхвалять своего вождя за доброту и мудрость. Нет ревнивее веры, которая настает. Она требует человека всего, целиком, с потрошками, прости мне прозвучавшее неволью сладострастие, с потрошочками... Кто не предал отца, жену, брата, тот оставил часть себя неотда́той... Кажется, словцо не вполне правильное, но — выражает. «Полно сказки-то рассказывать», говорите мне вы мысленно, Иван Христофорович. Ты ошибаешься.

— Устал я, — сказал узник, сжимая руками виски.

— Намек ясен, — ответили в голове; на койке уже никто не сидел. Но тот же голос, внутри головы, не снаружи, остался. — А я ведь не так

чтобы вовсе без дела зашел. У меня, так сказать, предложенье. Или, скажем лучше, совет. Вы не в обмороке? Не уснули? Так вот. Предавайте и вы. Не откладывая. Попроситесь к начальству. Вам ведь есть что сказать. Это будет честная месть. Адекватный ответ. И немедленный — не через годы... которых ведь может и не быть впереди? Объясните же им, как обстоят дела: кто на самом деле стоит у руля. Восстановите справедливость! Социализм от этого не пострадает, напротив: он очистится несколько... не скажу, чтоб надолго, и все же. Янсон по-своему прав. С врагами боритесь руками врагов, — а когда вы умоете руки...

— Вон! — сказал Янис. — Убирайтесь! К черту, к дьяволу! К Богу в рай! Вы мне мерзите!

— Хошь, гляделки выдавлю? — гнусная харя, уголовник, вонючий и дымный от пожизненной пьяни, стоял перед ним, растопырив широко пальцы правой руки, указательный и средний, с черными ломаными ногтями. — У-у! — и он вдавил оба пальца в глазные яблоки Яниса, бормоча что-то неразборчиво, и опять сознание покинуло узника, а очнувшись, он подумал: «Что ж такого я сказал, чем задел, если этот, относительно культурный черт распрощался таким-то манером?»

Райнис — Аспазии. Не хочется мне писать про вчерашнее. Ты помнишь, что я имел галлюцинацию в Митаве после погребения сестры, когда я был так переутомлен нервным возбуждением. Это повторилось со мной вчера вечером, не в такой сильной мере, как в тот раз, но мне противно об этом говорить. Так вот, чувство страха было только предвестником и тоже результат чрезмерного ослабления... Утешение, о котором Ты постоянно говоришь... для меня не может уже иметь значения, нервозность слишком скоро прогрессирует (я, например, сравниваю начало сентября и теперь), я этого уже не дождусь. А быть у Тебя на руках маленьким ребенком? Судьба Ницше — ужасная... Был вчера и доктор у меня, но Ты знаешь, что у них нет времени... Я ему сказал только про обморок.

Аспазия — Райнису: Ты опять лежишь без сна и все демоны Тебя мучают, но помни мою любовь, призови ее как ангела-хранителя, она сильнее всех и разобьет всю тьму... Ты знаешь мое прежнее честолюбие и как горячо я любила славу и что я, когда переселилась в Паневежис, взяла с собою старые воспоминания, свои лавровые венки, но когда Тебя оторвали от меня и я опять приехала к родителям, я взяла с собою все Твои старые и даже не годящиеся книги, а свои лавровые венки я там оставила, — Ты понимаешь, что это значит. Не думай, что я предаюсь сентиментальности, — тьфу! Сентиментальность то же

самое, что мокрое белье на теле, мой темперамент слишком пылающий, горящий, я могу рыдать, плакать, молиться и проклинать, но после того я бываю тихонькой, как после бури.

Он: О венках. Ты стала мне ближе не только тем, что бросила их, но еще более тем, что сказала мне об этом. Это последнее было для Тебя труднее, нежели их бросить. Но если мы будем вдвоем, мы их опять привезем и — что еще лучше — заслужим новые, если только мои нервы выдержат. А если не выдержат, так ведь мы думали вместе, — это мое наследство, когда нет другого.

Она: Сегодня пасмурная погода и дождь идет, это очень поправляет мое настроение духа. Я люблю гулять при такой погоде в старых платьях под огромным зонтиком и еще в полумраке, что странно, — но я люблю это... Когда солнышко сияет, тоска и желание пробуждается сильнее; я помню, как Ты любишь свет, так что никогда не могло быть для Тебя довольно светло.

Он: Ты знаешь, как я люблю солнце. Я хочу его каждый день.

Она: Я такая неисправимая мечтательница, когда просыпаюсь, тогда я чувствую, как Икарос, что упала с высоты на твердую землю.

Он: Да, Ты неисправимая мечтательница, а я совсем уж перестал мечтать... Завтра я Тебя не увижу, это меня уже теперь мучает. Я вчера не работал и сегодня не могу работать, хочу, чтобы глаза отдохнули, болят от Оссиановского освещения, т.е. тумана и полумрака. Но без работы такая скука, начинается хандра, старые мысли... М.б. найдется прозаическая работа, если бы только глаза... Я еще потерплю эту скуку сегодня и завтра, дольше не могу, пусть лучше пропадают глаза, нежели вся голова, а чему-нибудь пропадать, должно быть, положено.

Она: Мне так больно, что Твои милые глаза портятся в темной комнате и вечером Тебе не позволяют освещения, имеешь выбор или не работать или портить глаза. Проси еще раз г-на Начальника тюрьмы, если уже все другое отказал, чтобы сжалился и дал Тебе комнату, которая не забита досками. Что Тебе дает дозволение работать, если нельзя им воспользоваться!

Он: Моя камера имела сегодня большую честь быть посещенною г-ном полковником, который любезно обещал перевести меня в губернскую тюрьму.

Она: Я читала Твои последние стихи и очень ими восхищалась. Все, что Ты пишешь, оригинально, и Ты никому не подражаешь. Я не смотрю глазами любви, Ты знаешь мою острую критику и как трудно меня удовлетворить, и я убеждена от Твоего таланта. Пора было бы, чтобы Ты продолжил и Твое большое сочинение, которое выясняет философию Твоей жизни, все обрывки я собрала, все привела в порядок...

Он: Я смотрю все-таки с тоскою на печатанные стихи, это не то, что манускрипт. Ведь единственный смысл все-таки не в результате, а в самом действии, *in der Schaffen selbst*, только *Schaffen* было восхитительно, а готовое, *Erfolg**, по моему мнению всегда лишь акциденции, внешнее, чуждое, даже враждебное. Впрочем, сама мысль эта старая, но ново поставить ее в связи со всею философией.

Она: Мне вчера г-н полковник наверно сказал, что твое освобождение будет в конце этого или в начале ноября, самое позднее. Держись этой надеждой, держись всеми силами и когда чувствуешь приближение обморока, то кричи, чтобы пришел сторож.

Он: Ты одна меня еще поддерживаешь... Сегодня я спокойнее, так у меня теперь меняются дни возбуждения и слабости. Это спокойствие значит, что я устал от нервного возбуждения и нахожусь в апатическом состоянии, в глубине которого все-таки остается то неопределенное чувство страха, о котором я писал, когда кажется, что все психические силы как бы расплзаются, когда спрашиваешь себя, существую ли я, вижу ли, чувствую ли. Разум тогда должен делать невероятные усилия сдерживать на одном месте эти убегающие силы. Когда бывают эти припадки, то чувствуется просто невыразимый страх... Когда припадок проходит или удастся уснуть на минутку, тогда на короткое время чувствуется какое-то восхищение, как при возврате в жизнь... Я не только делаю все, что поддерживает нервную деятельность, но обращаюсь к начальству и с прошением, где изложу свое положение. Правда, до сих пор подобные устные ходатайства не достигали полного удовлетворения, и много раз обещанное освобождение остается в недостижимой дали, но любезный г-н полковник, которому мы уже так многим обязаны, меня спас из следственной тюрьмы — и затем, тогда расстройство моих нервов еще не доходило до обмороков и припадков галлюцинаций. А как много сделал г-н полковник для облегчения моего положения, позволяя пользоваться своею пищею, видаться два раза в неделю и т.д. Но теперь положение сделалось безысходным, 2 или 1 1/2 месяца мои нервы могут не выдержать. Я работу над «Фаустом» бросил, теперь только читаю и то не могу читать ничего серьезного, — голова болит.

Она: Расскажу Тебе лучше что-нибудь забавное, свои ежедневные маленькие приключения. Ты можешь себе представить подробности, каким образом мы живем все вместе. Ольга и Мария** открыли неделю большим руганьем, ругательные слова и обиды летели как картечи, и в конце Ольга торжественно объяснила: и не буду и не хочу молчать, мой рот (*Мауль*) чувствует потребность постоянно двигаться...

* В самом творчестве. Только творчество... а успех... (нем.).

** Актрисы сестры Зэфельд (Эзерлаук).

Он: Ты одна между нашими друзьями, я это понимаю, Ты даже больше одна, нежели я: я постоянно разговариваю с Тобою, Ты к тому не имеешь столько времени. Я читаю, и общество Гете и Фейербаха, Будды, Ибсена я понимаю, а Тебя никто не понимает, и Ты их не понимаешь; ужасны эти страдания, когда около тебя все люди непонимающие. И злиться нельзя, они так добры.

Она: Г-н прокурор сказал, что освобождение будет через месяц, одна неделя уже прошла, но еще три мучительные, бесконечно длинные недели, я вся горю как в лихорадке от ожидания. Ах как долго мне это кажется, все прошлое время не было так долго, как эти недели.

Он: Только что получил прелестную, светлую камеру, я крайне благодарен, теперь все будет хорошо, милая...

Она: Милый, золотой... Я Тебе отдам все, все, своим огнем я дам Тебе новую жизнь, я оживлять буду Твое вялое бледное лицо своим живым дыханием... Сердце у меня иногда перестает биться, когда я думаю о нашей будущности, и лицо горит, надежда, страх, счастье, все меня волнует...

Он: Милая моя, подумай, куда бы мы могли направиться из Прибалтийского края; мне кажется, лучше всего на юг. Об этом мне скажешь потом на свидании.

Не все говорилось в письмах, далеко не все. Тем более в подцензурных, заведомо проходивших через чужие руки, хмыканья, может быть, ухмылки. Запачканные не одним взглядом, перечеркнутые крестнакрест подозрительной коричневой субстанцией, письма эти продирались через стыд, как если бы жене и мужу приходилось соединяться перед толпой их тюремщиков. Только голод по друг другу, по общению, по утешению заставлял все же открываться, забывать стыд. Отымут одежду — через неделю забудешь, что ты нагишом. Жить-то надо, пока не умер.

О смерти Райнис почти не говорит в своих письмах, о нежелании жить, а оно порой было острым, страстным, как у других — желание жить. Похоже, что однажды на свидании он об этом все-таки проговорился. Едва ли просто так, ни с чего пишет ему Аспазия: «Не думай, что я боюсь смерти так, как прежде, нет! В это трудное время, с того дня, как Тебя оторвали от меня, мне более не страшно, утром и вечером она сидела на краю моей постели, она склонялась на мою подушку, облитую жгучими слезами, так что я близко смотрела в ее таинственные черты и она стала мне милой, милой подружкой; тоже неправда, что говорят и думают, что этот последний акт происходит, когда человек уже не обладает

более своим полным умом — глупцы они! Это как раз самый гордый поступок человеческого достоинства. Я, насколько я измучена и утомлена через эти три месяца, если я подумаю об этом, я могу совершить это каждую минуту при полнейшем уме и самосознании. Притом мне жизнь никак не надоела, страшно мне хотелось бы жить и стремиться, наша весна только началась, мы имели только ее сладкое предчувствие, — неужели уже всему кончаться?..» (А еще раньше, когда Райнис был в Лиепайской тюрьме, она в письме, переданном тайком и написанном по-немецки, вспоминала, как «схватила за флакон с ядом» — из усталости, дурного настроения, «из декадентства», в то время было ей «всего-то 15 или 16»).

И еще: состояние здоровья, верней, нездоровья: он все-таки пытался упасть Эльзу и не рассказывать ей всего.

И опять мы натываемся на вопрос: несколько месяцев тюрьмы для человека далеко не старого, — тюрьмы, где разрешены книги, письменные принадлежности, где можно продолжать работу, начатую на воле, где арестант почти ежедневно обменивается письмами с близкими, где свидания дважды в неделю, где обеды позволяют приносить из ресторана или из дома, — неужели несколько месяцев такой тюрьмы убийственны? А что бы он сказал о камерах, набитых битком, так что только стоять можно, о пытках в ходе следствия, избиениях и лишении сна, о терроре уголовников, голоде, о параше на несколько десятков человек, содержимое которой переливается через край? Что сказал бы Райнис о такой тюрьме?

Да ничего бы не сказал, ничего, для нас неожиданного. Жил бы или погиб рядом с другими — и не хуже, чем они.

Не тюрьма его убивала, не только тюрьма.

Он сам себя убивал — мыслями о тех, кто отдал его на заклятие. Вот о чем он просил Аспазию ни словом не упоминать в письмах и о чем думал не переставая, замучивая себя, до бесчувствия, до потери сознания.

Ужас был в том, что предатели оставались его единственной семьей, и лелея мечты о мести, он не мог от них уйти, освободить душу. «Бывших братьев не бывает». Он не мог выскочить из своего языка и народа, это доказали и Петербург, и Вильна, и Берлин, — ему нужны были латыши, а самыми близкими из латышей были его обидчики. Он не мог перестать быть братом своей сестры, не мог вычеркнуть из своего отрочества и юности дружбу с Петерисом Стучкой: изъять ее можно было только вырвав с кровью кусок собственной жизни и памяти. Он не мог порвать

с идеей, которую считал единственно верной — с социализмом, не в состоянии был вернуться в жизнь до Цюриха, до встречи с Бебелем, до того, как он сам стал пророком новой истины; он не мог сделаться прежним, как роженица не может стать снова девицей. Но других социалистов в Латвии не было: он оказался прикован к людям, обернувшимся его злейшими врагами, и деваться было некуда.

Любовь Аспазии единственно связывала его теперь с миром. Все остальные нити были оборваны; даже родная мать перешла на сторону Доры и Стучки. На четвертом десятке лет он очутился в пустыне. И все было бы ничего, если бы он не верил еще недавно этим людям, как сам себе, если бы не любовался ими, если бы их не «обожал», как написала однажды Аспазия.

Жизнь его и раньше могла показаться цепочкой крушений. Но теперешняя катастрофа была опять глубже, безысходней всех прежних. Эти люди вынули землю у него из-под ног и подпилили сваи, на которых держалось его небо. Все рухнуло и исковеркалось. Будущего не осталось. И если он продолжал переводить «Фауста», если писал Аспазии иной раз слова ободрения, то, по правде говоря, ему часто представлялось, что это делает кто-то другой. Каждый из инстинктов, как бы кем-то забытых внутри него, представлялся ему маленьким озлобленным зверьком: зверек самосохранения, зверек, бессмысленно требующий питья и пищи, зверек плотского голода, зверек страха. Пожалуй, «Фаустом» занимался, писал письма к Аспазии, ждал встречи с нею как раз зверек самосохранения, маленькая больная обезьянка, никак не умевшая угомониться.

Райнис уверен был: если он все-таки выживет, сколько бы лет ни прошло, он ничего не забудет.

И мы можем подтвердить то, что он знал: хуже ему не будет никогда.

Чудо же в том, что идя вперед, можно, обогнув земной шар, догнать собственный зад, что оборотная сторона выема — выступ, и глубочайшая пропасть, поставь ее «на попа», вверх ногами, окажется высочайшей вершиной; что обретение есть другое имя потери.

Вся последующая жизнь Райниса станет преодолением катастрофы, свидетелями которой мы с вами, читатель, стоим невидимые — в камере Рижской губернской тюрьмы, четвертой по счету из тюрем, его принимавших. Сегодня 13 октября 1897 года, и с арестантом кроме нас необычно много видимого, телесно присутствующего народа: психиатр доктор Шенфельдт, помощник прокурора Трусевич, Начальник тюрьмы... последний, впрочем, только что повернулся и вышел; надзиратель почтительно проводил его и встал у дверей.

Доктор осматривает арестанта. Молоточком бьет по ноге, заставляет вытягивать руки с закрытыми глазами, что-то спрашивает тихонько, качает головой, записывает.

Отчет об увиденном он напишет 1 ноября.

Для нас в заключении д-ра Шенфельдта немного нового. Высокий, худой, до крайности малокровный и истощенный субъект. Пульс учащенный — 120 ударов в минуту; холодная испарина в момент обследования, произвольные движения плечевых и лицевых мышц, головы, нарушения сна. Субъективные жалобы: периодически испытывает сильные приступы страха, при которых совершенно теряет самообладание; чувствует отвращение к жизни, опасается, что в подобном состоянии способен покончить с собой. Врач утверждает, что в жалобах этих нет ничего надуманного или преувеличенного. «Он более не способен к какому-либо духовному труду, не может адекватно понимать и усваивать прочитанное». Вывод: Плекшан страдает нарушением конституциональной нервной системы по причине малокровия в столь сильной степени, что дальнейшее содержание в тюрьме без сомнения произвело бы необратимое вредное воздействие на его нервное и психическое состояние.

357

Аспазия дала доктору Шенфельдту взятку. То ли это стало известно, то ли начальство заподозрило что-то. Врачи редко рекомендуют сменить тюремный режим для государственного преступника на более благоприятный.

Г.г. начальникам представлялось, что врача «подмазали», дабы он сказал неправду.

Аспазия, умирая от стыда, совала ему конверт с деньгами, чтобы он сказал правду.

Сомнению подвергнем лишь сказанное врачом о неспособности к какой-либо духовной деятельности.

Потому что в этом именно состоянии и положении, в тюремной камере — не в последней, «прелестной и светлой», а в предыдущей, с «оссиановским освещением», вконец ослабевший, измученный узник закончил свой перевод «Фауста». В декабрьской книжке журнала «Маяс Виеса Менешракстс» публикация трагедии Гете на латышском языке была завершена.

Года полтора вокруг перевода велись ожесточенные баталии, но затем недруги и оппоненты, среди которых заметнейшим был языковед, ученый и переводчик Мюленбах, оказались посрамлены. «Фауст» вышел отдельной книгой, его поставили на сцене. Как-то незаметно перевод был принят обществом как ценность неоспоримая. Текст, половина которого была исполнена в тюремных камерах, в вечных полусумерках, сделался основой дальнейшего продвижения литературы, оригинальной и переводной, и когда Райнис в письме к старому знакомцу, литовскому профессору Вольтеру, пишет, что ему пришлось «осовременить, почти создать латышский литературный язык», он не преувеличивает: так же относились к роли его «Фауста» многие современники.

(Прошло первых сто лет после появления райнисовского перевода. Он остался таким же, а язык ушел далеко вперед — во многом благодаря этой самой работе. Интересно, что самые радикальные новшества, если язык их принял, воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Слова, понятия, обороты, введенные впервые Райнисом, как только они прижились, потеряли авторство, сделались общей собственностью. А вот те нововведения, которые язык почему-либо взять не захотел, выглядят архаично. Чем новей и радикальней они были тогда, тем старомодней смотрятся через сто лет).

Дракон, заглотивший в Паневежисе Ивана Христофорова Плекшана в мае, исплюнул его — вернее, то, что от него осталось, — только в декабре, в Риге. Аспазия с трудом наскребла, — частично у матери взяла займы из последнего — необходимые 1000 рублей залога.

Аспазия рассказывает, что к моменту выхода из тюрьмы Янис совсем потерял голос, начал сесть — в тридцать два года! — и был настолько слаб, что сделав несколько шагов, терял сознание. (И об этом он предупреждал Эльзу в письмах. «Всего ужаснее чувствовать, как мало-помалу становишься инвалидом... Я слова выговариваю с трудом, речь слишком тихая, неясная, заикающаяся...» «Силы все уменьшаются, и мне невозможно уже будет их поправить и на свободе; остается только впереди участь инвалида в телесном и умственном отношении, а этого я не приму». Да и не слепая же она была — на свиданиях, как он ни бодрился, нельзя было скрыть, как далеко зашло дело).

В Риге ему позволили пробыть три дня — и только потому, что он сообщил о желании обвенчаться с Эльзой. Первый же священник, к которому они обратились, замахал руками: не то что венчать, он и разговаривать-то не собирается с государственным преступником! Не стоит

искушать судьбу, решил Райнис: пойдём к тюремному пастору, уж тот никуда не денется, окрутит.

Так и было. Пастор Келлер лишних вопросов не задавал, хотя документы изучил с дотошностью следователя (часть их, касавшуюся первого мужа Эльзы, пришлось затребовать телеграфом). Когда обменивались кольцами, выяснилось, что жених не в силах стоять. Ну что ж, пастору и такое было не в диковинку; брачующемуся разрешено было сесть...

Свадьбу отпраздновали в квартире сестер Зэфельд, с которыми вместе все это время жила и Аспазия. В числе немногих гостей были родители Эльзы, мать Яниса, его сестра Дора.

То был час торжества Аспазии, и она торжествовала не скрываясь. Пускай посмотрит его мать, его сестра, пускай видит вся Рига, Елгава, вся Латвия, все, кто годами чесал языки насчет ее *нравственности*, — знали бы они, что это такое! — заклятые друзья Яниса и ее бывшие благодетели из Театральной комиссии: она победила, она с нынешнего дня законная жена, быть может, лучшего из людей, — и это она вырвала его из лап всеильного государства, отняла у смерти! Да, он сегодня слаб как ребенок, но она отогреет его, будет ему матерью, как обещала, и возлюбленной, и другом, вдохновительницей его творений и их первым судьей. О, они еще не знают, все они, на что способен мой избранник, на что мы вместе способны! Какое счастье — дожить до этой минуты! Если выдержали такое, справимся и со всем остальным; уж сколько народу трудилось не уставая, чтобы нас оболгать, унижить, предать, замучить, уничтожить, — но врите, врите, мы живы! Мы почти свободны!

В канун Рождества, через три дня по выходе из тюрьмы, Плекшан с супругой выехали на место временного поселения — в старинный русский город Псков; там им предстояло ожидать дальнейших указаний. Прождут их новобрачные полтора года.

В Санкт-Петербург полетело между тем за подписью начальника Жандармского управления Лифляндской губернии полковника Прозоровского сообщение: результаты следствия по делу о преступной социал-демократической пропаганде среди населения Лифляндской и Курляндской губерний. Сообщение это ляжет на стол Российского императора, и на полях его появятся пометки, сделанные царской рукою.

«В период времени от 1893 до 1897 года в различных местностях Лифляндской и Курляндской губерний, — говорилось в уведомлении, —

велась тайная пропаганда социал-демократического характера, направленная на свержение существующего в империи общественного и государственного устройства».

Документ был составлен умно и по-своему убедительно. И только мы, знающие подоплеку дела, можем видеть, как заключение мудрых спецслужб послушно повторяет все изгибы подсказанного им сценария. Имя кандидата прав Плекшана повторено в документе 48 раз, — почти столько же, сколько в протоколах допросов студента Янсона. И о довольно большом числе «изданий преступного характера», привезенных Плекшаном из-за границы осенью 1893 года, говорится пять раз, — как у Янсона. Главное же, наживка проглочена: замысел подставить переводчика «Фауста» в качестве вождя и организатора тайного общества совершенно удался.

Полностью программу революционеров, по заключению следствия, сознательно приняли участники группы: Плекшан, Розин, Иван Ковалевский, Паул Дауге, Христофор Валтер и Паулс. Частично меняя состав, группа в течение ряда лет представляла собою интеллектуальный центр, руководивший преступной агитацией, причем наиглавнейшая роль в ней принадлежала ее инициатору и наиболее зрелому из участников — редактору Плекшану. Беседы с Плекшаном, а особенно знакомство с нелегальной литературой, которую он привез, вовлекли таких неопытных, неподготовленных в этом смысле людей, как молодые тогда студенты Янсон, Розин и Ковалевский, в круг преступных политических убеждений. «Главное внимание Плекшан и его сообщники уделяли печатному слову, т.е. газете «Диенас Лапа», которой полностью распоряжался ее редактор Плекшан».

Имя Стучки упоминается в три раза реже. И — точно по подсказке Янсона — утверждается, что, сделавшись редактором, он смягчил тон газеты; рассказывается о «бунте», который подняли против Стучки и Янсона более радикальные элементы. Эти люди недовольны изменением курса газеты и предлагают начать новое издание в Лиепае, пригласив редактором Плекшана. Последний разделяет их взгляды.

Зато о Янсоне сказано: «Будучи прежде одним из активнейших и энергичнейших агитаторов, он мало-помалу под влиянием новых товарищей из Дерптского университета стал остывать ко всему этому делу, придя вместе с тем к заключению о своей непригодности к агитационной работе среди рабочих». Стучке как-то почти ни один эпизод не вменяется в вину; разве упоминается, что именно он был избран председателем «Центрального комитета», но — «Комитет в ходе дальнейших событий как некое целое не исполнял свои функции в связи с личной враждой между его членами». Загадочным образом даже тогда, когда речь идет

о нелегальной литературе, хранившейся в квартире Стучки, или о собраниях и встречах, там происходивших, имя Стучки не всплывает — а говорится туманно о «квартире при редакции».

Следствие по этому делу, говорится в заключение, коснулось деятельности очень многих лиц, но обвинения выдвинуты только против 86 человек.

Первым, главным виновником оказывается безусловно Иван Христофоров Плекшан.

...Во сне он был Орфеем, но не греческим, а латышским Орфеем — и точно таким же нищим, больным и несчастным, каким он, наверно, казался многим наяву. У некоторых — наяву — был такой взгляд, точно они вот-вот сунут ему в руку милостыню.

Орфеем он был во сне — полуголым, жалким на вид, но с тайным сознанием такого могущества и такой своей красоты, что становилось жутко. Он был в загробном мире, он пришел за Эвридикой, чтобы вернуть ее на землю, в мир живых, в Ригу; вернуть же ее из царства теней нужно было почему-то танцюя. Вальсируя. Эвридика оказалась тут же, рядом. Он схватил ее, прижал к себе изо всех сил, закружил. У нее было лицо Лизе, лицо Доры, лицо Эльзы. Не три разных лица, а все три лица в одном, одновременно. Ему следовало кружиться в обнимку с Эвридикой все быстрее, и кружение это сделалось таким стремительным, какого не бывает; уже и подземного мира не было, а был космос, с бешено крутящимися, пылающими, почти задевающими, чиркающими о платье созвездиями, и все слилось в сплошной круг. Он проснулся с ощущением счастья, «восхищения», подумал Райнис: как иной раз сразу по окончании нервных припадков.

Эльза была рядом, дышала беззвучно. А он оставался полубогом, скоморохом, оборванцем, средоточием музыки, нежности, смеха, любви, озорства, — всего, что было забыто и словно бы навсегда исчезло из мира, а оказывается, пряталось последние тысячи лет в нем самом.

И еще три минуты он оставался Орфеем, — пока в дверь не постучала квартирная хозяйка. «Опять потребует денег вперед, наверно. Или спросит, почему сожгли так много керосину. А какие ж деньги могут быть без керосину? *Без керосину и денег не будет*», — сказал он вслух с нервным смешком. Эльза проснулась.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗА МНОГО СОТЕН МИЛЬ...

— День добрый, — сказал ему костлявый, немного скособоченный, мучительно знакомый человек. — Что-то давно вас не было видно. Уезжали куда-нибудь?

Боже мой! — внутренне ахнул Райнис. Нечасто употреблял он эти слова, бывшие вовсе не из его лексикона, но тут кто-то в нем, от него независимый, ахнул: Боже! Кто он, откуда я его знаю? Гробовщик, привозивший домовину для умершей сестры в феврале девяносто седьмого? Эльзин дальний родственник? Или же человек этот приходил заверять какую-то бумаженцию, когда после газеты я помогал здешнему нотариусу, еще перед отъездом в Берлин? Во всяком случае, здесь, в Елгаве, он мог меня видеть в последний раз не позже, чем семь лет тому назад, до Паневежиса, до тюрьмы, до Пскова, в прошедшем, девятнадцатом веке!

— Да. Добрый день, — произнес он вслух, сглотнув какой-то ком. — Да, я действительно уезжал. Был в отъезде.

— Хорошо выглядите, — сказал человек, еще чуть больше скособочившись, как бы в попытке поклона, и прошел дальше.

Хорошо ли он выглядел? Наверно, неплохо. Для Лазаря, восставшего из гроба, — замечательно. Усмехнулся, вспомнив, как Аспазия его поддразнивала: «Что это вы, атеисты, так неравнодушны к библейским сюжетам?»

После того, как их с Эльзой в канун Рождества 1897 года торопливо обвенчал тюремный священник, Райнис прожил полтора года на временном поселении в Пскове. Тогда он еле держался на ногах — старик с потухшими глазами, незадачливый Орфей, вытщенный Эвридикой из царства теней, но остававшийся тенью. Поначалу Аспазия была с ним... О каком

ослепительном, сияющем счастье мечтала она, бедняжка, писала ему в тюрьму: только бего освободили! А получила — взамен счастья — трясущуюся развалину... Нищета, истрепанные нервы, общая на двоих бессонница, болезни, удваивавшиеся в другом как в зеркале. И труд: бесконечные переводы, переписывание начисто, чтение корректур, отсылка. Тогда-то он привык работать в постели, полулежа. Потом супруги Залите предложили Аспазии постоянную службу в газете. Оба поняли сразу, что это единственный выход, но сколько было сомнений, как ревниво он вглядывался в ее лицо при встречах, как гневался или пугался, не получая из Риги ежедневного письма! Однажды даже написал ей: «В тюрьме мне было лучше — меньше волнений, каждую неделю мог Тебя видеть».

18 апреля 1899 года в Витебске, где ожидали приговора Стучка и Дора, умерла мать Райниса, мать Доры.

Подумать только, что за десять лет до того, только что окончив университет, он был мальчишкой, веселым, чуть не лопавшимся от гордости и переполнявших его надежд! За эти годы он похоронил отца — в Даугавпилсе, сестру Лизе — в Елгаве, мать — в Витебске (даже поехать на похороны ему не позволили!), потерял лучшего друга и младшую сестру: оба живы, но что ему с того? Лишился всех иллюзий, — снова и снова подводил он печальные итоги. Отняты за те же годы профессия, место в обществе, здоровье, молодость, хлеб, свобода.

Приобретения тоже есть. Их три: социализм, Аспазия, поэзия.

Плюс — или минус? — четыре года вятской ссылки.

Городок Слободской — тихий, зимою звенящий от мороза, глянешь с обрывистого берега за реку — сверху, как с высоты птичьего полета, открываются леса, черное серебро. Широко! Весной и осенью, чтоб пройти к реке, нужны сапоги по горло. Но в памяти остаются не грязь, не лужи, а — солнце, а тишина, а звенящий от стужи, как тонкий хрусталь, родниковый воздух. Солнца навидался, — здесь, на севере, почему-то меньше было долгих, унылых ненастий, так отравлявших его существование в Пскове, да и на родине. Ярчайший свет, утроенный слепящей белизной снега, голубые и розовые, синие и черные тени, очерченные так же четко, как сами предметы. Леса, дышащие тебе прямо в легкие днем и ночью. Недолгая дорога до берега, излюбленная лесная тропа: здесь он думал, работал, переводил, здесь складывались строчки его собственных стихов. О, какие гулкие и синие бывали здесь вечера, как разносились в нетронутом воздухе, в куске неба, отданном этой земле, звон колоколов, голоса людей и животных, одинаково мирные, природные.

С усмешкой вспомнил он, как в девяносто девятом году уезжал из Пскова, как в сотый раз наставляла его Аспазия: «Закутывайся как следует! Почему ты не можешь запахнуть по-человечески шарф: посмотри, опять голое горло! И не забудь купить револьвер!» Револьвер, ну конечно же, револьвер. Сибирь. Разбойники, тати, варнаки. Если что, он должен дорого отдать свою жизнь! Но в Москве и в Казани он оружие купить не успел, а потом выяснил, что самое лучшее и дешевое изготавливается в Вятке. По прибытии же в Слободской — опять новость: здесь домов-то не запирают ни днем, ни на ночь, — воровства не водится. Только вот местные жители побаивались, было дело, присланных сюда государственных преступников: кто ж его знает, что за люди, выглядят как господа, однако же и каторжники бывают из господ.

И как долго тянул он, не ехал под разными предлогами. Приговор состоялся еще до смерти мамы, в апреле. Суда не было: высочайшим повелением следствие по *делу помощника присяжного поверенного Ивана Плекшана и других* (так оно официально именовалось, это дело!) закончили административным порядком. Пять лет ссылки в Вятскую губернию получили Плекшан, Стучка, еще трое. Петерис мог бы отделаться и полегче, — но какой-то рижский филер донес по начальству, что адвоката Стучку прочат на роль *латышского короля*, — и кому же в Петербурге это могло понравиться? Если бы даже и один процент правды содержался в нелепом донесении, — неприятно!.. Янсону три года было запрещено проживать в столицах, университетских городах и в балтийских губерниях. Все это узналось не сразу, а по частям, но со временем узналось от первой до последней строки.

И Псков, опостылевший, немилый, вдруг показался надежным убежищем: новая неизвестность, бесконечность немеряных пространств пугала — не странно ли? Ведь прежде казалось, что страшней уже бывшего не будет, не может быть. Но все, что еще не смерть, обладает запасом худа, не испытанного, оттого и грозного. Ожидание худшего так часто оправдывалось, что в лучшее не верилось долго. Медленное посветление судьбы, неуследимое, как движение часовой стрелки, происходило в Слободском. Он все еще нетерпеливо считал дни, отбывал наказание, не видя, что оно же — награда.

Награда? Неосторожное слово. Но я имею в виду награду, заключенную, как и наказание, в самом поступке, не в его последствиях. Верность себе и верность поэзии, к которой он питал несчастную и, по видимости, безответную страсть лет с десяти, с первого стихотворения. Верность цели — обозначенной им для себя задаче бытия. Верность любви, в которой он

почти не сомневался. Государство наказывало его за одну из этих верностей, — но так же и за любовь, и за свою поэзию он будет полной мерой, в размах судьбы, вознагражден и наказан. И не то что будет — был, уже был награжден радостями такого чистого, беспримесного вдохновения, какое, наверное, не снилось и наркоманам на вершине их краденых, гибельных наслаждений. Награжден, одарен свежей сладостью поцелуя, упругостью губ, ожидавших встречи с его губами так долго. Награжден сознанием правоты, без которого его стихи просто не могли бы родиться.

Что же до наказаний, то они еще очевидней. Разлука и несвобода одни чего стоят. И непрерывный труд. 40—50 строк стихотворных переводов ежедневно. Порция прозы исчислялась многими страницами. Найденный им на целую жизнь вперед рабочий ритм был благом — как водится, незамечаемым. Райнис злился нередко на переводческую поденщину: каторга! За гроши, за кусок хлеба приходится тратить душу.

Но душа, как вода в глубоком колодце, возобновлялась.

Он перевел за годы ссылки целую библиотеку. Неприметно исполнялись честолюбивые мечты юности. Он тогда задумывал подарить латышам на их родном языке плоды просвещения и ума от всех времен и народов, перенести на родную почву философские труды и поэмы, прославленные трагедии, песни, сложившиеся в других языках и обкатанные, как морская галька, волнами поколений. Все сбывалось, почти само собой. Не само собой, мы знаем, — знал, конечно, и он. Но сбывалось.

В Слободской на поселение был отправлен и Стучка. Одно время Райнис не знал: приедет ли вместе с ним и Дора? Ждал. Волновался до головокружения. Сердился в письмах к Аспазии: он мне будет конкурентом, отнимет работу, деньги у него есть, а с деньгами можно устроиться где угодно и любые запреты обойти. Попроситься, чтобы перевели в другое место? В Елабугу?

Приехали они оба.

Дору он перед этим видел в последний раз, когда она приходила на свидание в тюрьму. Приходила — поговорить о деньгах.

Еще и это. И деньги встали между ними. К Райнису сразу после тюрьмы пришел нежданный, безжалостный кредитор — и отнял последнее. Аспазия, годы спустя рассказавшая об этом, уверена была, что «история назовет имя и этого человека». Но истории, похоже, дела нет до чьих-то давно забытых долгов...

И нам нелегко и не с руи разбираться в денежных недоразумениях, не пощадивших двух последних наследников старого Пликшана. Можно понять лишь, что Райнис считал — с ним поступлено несправедливо.

Даже выбиваясь из сил, посылая в Ригу все новые статьи, переводы, юридические советы (он отвечал на «вопросы читателей», которые большей частью самому же приходилось и придумывать), стихи, Райнис мог заработать не больше 40 рублей в месяц. Его собственный бюджет составлял 15—18 рублей, но они жили на три дома: Аспазия в Риге, ее родители, полуслепой брат Кристапс, сестра Дора и брат Замуэлс, почти столько же беспомощные, в Елгаве. «Такие, как есть, сами они выжить не могут», — обмолвилась как-то Аспазия, и это было, к сожалению, правдой. Приходилось помогать; а кроме того, и ссыльный в Слободском, и жена его в Риге мечтали о встрече. Приезд же Аспазии означал потерю одного заработка, дорожные расходы... «Стучки сняли две комнаты по 7 рублей, еду берут из гостиницы за 18 рублей в месяц».

В Слободском отбывали ссылку около тридцати политических. Четырнадцать из них были из петербургской «Группы борьбы за освобождение рабочего класса». Вскоре и Стучка, и Дора, и Райнис были наслышаны об их товарище — «самом сильном марксисте в Питере», Владимире Ульянове, тоже отбывавшем ссылку — но в Енисейской губернии, в деревне. Там, в коренной Сибири, было легче прожить.

Из воспоминаний Н.К.Крупской, жены Ульянова (Ленина): «По воскресеньям он завел у себя юридическую консультацию... Собственно говоря, заниматься юридическими делами Владимир Ильич не имел права, как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные. Никакого надзора фактически не было. «Заседатель» — местный зажиточный крестьянин — больше заботился о том, чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы его ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват: одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест, покупали на неделю мяса, работница во дворе, в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь...»

И еще: «Появился детский элемент...» Это Крупская — о шестилетнем «сыне латыша-катанщика», повадившемся ходить к ним в гости.

«Появился детский элемент» и в Слободском. На третьей по счету квартире Райнис подружился с сынишкой хозяев, пятилетним Валеркой,

которого он прозвал «Валерьянкой» (смешно — и латышский «Янка» неожиданно слышится). У него был дар — сходитья с ребенком совершенно по-товарищески, на равных. Так было с дочкой адвоката Стерсте в Елгаве, так было здесь с сыном мастерового Чуватина. Дитя относится к себе, к своей личности так же серьезно, как любой взрослый. Если не серьезнее. И страсть к игре этому ничуть не мешает. Райнис нуждался в своем маленьком собеседнике. Нуждался вправду: знал, что хоть тут его не обманут, не нанесут удар исподтишка. И тоска по собственному, не рожденному дитяти прорывалась вдруг такой лаской, которой ребенок не мог не открыться. Райнис обладал свойством запоминаться пятилетнему человеку, входить в его жизнь навсегда, до конца дней. Неплохой — хотя и нечаянный — способ продлиться на лишние полстолетия.

Валерьянка не умел произнести трудное имя дяденьки — Иван Христофорович. Он говорил: «Иван Христосович».

...Райнис уезжал из Слободского на родину рано утром, перед рассветом. Мальчика пожалели — решили не будить. Лет через семьдесят старик Чуватин вспоминал, как безутешно рыдал в то утро. «Показалось — я осиротел». Это — при живых и любимых отце с матерью, бабушке, сестрах.

Аспазию Чуватин почему-то совсем не запомнил. Какая-то «тетя Дора» отыскивалась на дне его памяти (то была сестра Эльзы, приезжавшая один раз в Слободской вместе с нею), — и все.

367

То, что сам Райнис называл «подвигом» Аспазии и что было подвигом, — уберем кавычки, — продолжалось. Тем более подвигом нужно называть совершенное ею, что Райнис мешал себя любить. Умел довести до отчаяния ее и себя. Он был болен. Называл это неврастением, но определение нужно признать слабым. Нервная система его была поражена глубоко, в чем-то непоправимо. Ревматизм, убивший старшую сестру, был также знаком ему с детства, а после тюрьмы обострился. И желудок нередко капризничал, — правда, Аспазии тут еще больше не везло.

«И вот, мне кажется, мы представляли собою живую иллюстрацию к строчкам Гейне:

*Sie ist ein leidendes Kätzchen,
Und er ist krank wie ein Hund*, —*

невесело шутила Аспазия.

* Она — недужная кошка,
И он, болящий, как пес. (Нем.).

Но мнительность, нервные вспышки, сопровождавшиеся слезами, которых он не мог сдерживать, но неверие в себя и недоверие к другим... даже к ней. Ко всем, кроме пятилетнего знакомого, кажется, еще не способного на обман, вольный или невольный. Но тяжелые депрессии, сменявшиеся лихорадочной бодростью, но беспокойство и тревога, для коих всегда находился повод, — да, поводы эти не приходилось долго искать, и все-таки признаем, что тревога и повод к ней бывали слишком часто несоразмерны. Опоздывало на день-два очередное письмо — и тут же следовал раздирающий душу крик о помощи, отбивались депеши: что стряслось, здорова ли ты, жива ли?

Он не раз заставлял ее страдать, доводил до слез длинными многостраничными посланиями, в которых «выяснял отношения». Началось это еще в тюрьме, особенно в последней, губернской. Богатые, пышные, чудесно изобретательные перечни любовных словечек и ласкательных имен, которые он любил собирать целыми гроздьями и которые так тешили ее прежде, в этих, «плохих» письмах выглядели так чужеродно. Она удивлялась, как он не слышит их режущей в таких случаях фальши. Он-то, с его чутким слухом!

То она не отвечает на его вопросы. То забыла поинтересоваться, как он себя чувствует. То ничего не написала о его последних стихах. То явно перехваливает, — не может быть, чтобы искренне. Она с ним не откровенна. Нужно знать друг о друге все. Он не скрывает от нее самых негативных эмоций, не отделяется одними комплиментами и ласками. Нужна и честная горечь. Не скрывай ничего, нам обоим будет легче и лучше. Он умеет убедить, буквально вынудить любимую к признанию. Ну, если ему будет легче...

И он читает, трепеща от обиды: *«Раньше думала только, что Ты упрямый и злой и прячешься за своей идеей. Ненавидела даже Тебя за это, мне казалось, что человек для тебя — ничто. Принимала это за недостаток любви...»*

Случались в письмах и припадки ревности, которую он, правда, пытался сдерживать как мог. Но вот ревность литературная... Тут он и сдерживаться забывал. «Отчего это Твои молниеносные озарения более истинны, чем мои упорные думы?»

В свое время и «Фауста», и последующие переводы они решили подпisyвать обоими именами: Райнис и Аспазия. Одна из причин — полная безвестность первого и популярность второго имени в то время. Другой причиной была тюрьма. Обо всем этом он писал — напоминая недавнее прошлое — сам. «Такою была в то время наша философия: каждому непрерывно развивать свою индивидуальность не только внутренне, но и вовне, постоянно сближаться и расти, чтобы стать достойными друг друга.

Но тогда мне нужно было иметь имя — ведь соединение имен невозможно до тех пор, пока и у меня не будет своего имени: Ты все время притягивала бы меня к себе, а это бы меня только унижало. И опять незадача: так как «Фауст» подписан был обоими, мне никогда не поверят, что «Фауст» мой. И следующим вещам путь закрыт: мы ведь и «Потонувший колокол», и «Ифигению в Тавриде» подписали оба. В конце концов публика решит, что Ты перевела и те работы, под которыми стоит только мое имя. Все дело в том, что у Тебя и раньше было свое имя, а у меня — нет. И со стихами так же. Не говоря уж о том, что мои стихи не сравнишь с Твоими, Ты невольно пишешь на мои темы, моим языком, моим стилем и когда я опубликую свои новые стихи, решат, что я их у Тебя списал или у Тебя учился; к тому же все, что подписано мной, искалечит цензура, в то время как Твои стихи они не трогают. Так Ты меня вытеснишь играючи и вопреки своему желанию... В литературе мы с Тобой противники и конкуренты».

Через некоторое время он жалеет и кается: зачем писал все это? — но, видать, глубоко засела в нем мысль о литературном противнике и конкуренте, обитающем под одной с ним крышей и под одним одеялом, — через месяц все повторяется. «И я не составил себе имени, и Тебя подзабыли: ведь от Тебя ждут большего, чем просто переводы, а пьес Ты не пишешь... Знают Тебя, конечно, и как первого лирика, но у этой славы цена поменьше. Если Ты не возьмешься за пьесы, а отдашься лирике, Ты немногого достигнешь — старые позиции не укрепишь, скорей расшатаешь, а мне совершенно перегородишь дорогу: ведь Ты берешь не только мои темы, мой образ мыслей, стиль, мои слова, а часто, даже большей частью такие темы, которые еще не успели узнать как мои, поскольку стихи не печатались. В итоге и в лирике я ничего не добьюсь, а стану Твоим бледным подобием, — бледным потому, что пишу не столь красочно и меня нетрудно перещеголять». Он поистине умеет делать больно. «Знаю, Ты это все не нарочно. Больше того, верю, что Ты вообще уже не можешь писать стихи иначе как в моем стиле... И у меня не остается никаких возможностей выбиться наверх, а это означает, милая моя и святая, что я вообще больше ничего не достигну (литература — последнее мое занятие, всякая другая духовная деятельность для меня теперь перестала существовать) и мне придется себя презирать, даже если Ты не станешь этого делать. Для меня это вопрос жизни, ведь мне, единственная моя, нужно быть великим в Твоих глазах, а не только перед другими людьми. Когда у меня не было Тебя, мне хватало того, что сам я для себя что-то значу, отсюда привычка — прятать опасно свой свет от других; сейчас все наоборот, и потому так важно добиться полной ясности».

Раскаивался он бурно. Просил, как ребенок, прощения, бранил себя: «Все это было так некрасиво — сам не знаю, куда теперь денусь со своими красными, как у кролика, глазами». Оправдывался: «Я болен, и болезнь моя не дает мне стать таким же большим и хорошим, как Ты, достойным Тебя. Может, Ты не догадываешься, что когда я говорю о Твоей святости, это не пустые слова? Тут моя вера: человек здесь, на земле, может стать святым, единственно здесь! Почти бессознательно, не прилагая к тому усилий, Ты такую и стала. Только личико Ты повернула в другую сторону, против солнца, и солнце просвечивает Тебя насквозь, как рентгеновские лучи. Я должен надрываться, подниматься и падать и вновь подниматься — от мысли к мысли, от сомнения к сомнению, от потрясенья к потрясенью. Ты же только ручкой махнешь — и все ясно. И потому, душа моя, что Ты такая простая и ясная, не мнительная, Ты не можешь понять, что все мои стоны, упреки, вся желчь — единственно от болезни, от слабости и чувства неполноценности. Ты переоценила мои силы. Ты мне дала банкноту в миллион долларов, а я ее нигде не могу разменять — и все равно терплю холод и голод. Ты мне подарила огромную, бесконечную, истинную любовь, а мне нужно еще насущного хлеба — сегодняшней ласки, хотя бы и крохотной».

Он находит слова, которые рада была бы услышать от любимого каждая женщина. Он готов возвести Иныню на пьедестал, а сам пригнуться, даже уменьшиться... правда, ненадолго. «Все, все объективно и верно, что я писал про Твой талант: другого, столь же первозданного, легкого и в то же время всеобъемлющего, естественного и наивного, больше нет. В творчестве других (особенно моем) столько вымученного, а Ты в любое мгновение способна думать стихами, Ты сама — воплощенная поэзия, вся Твоя жизнь, все существо Твое — поэзия, таким я представлял себе Гете. Все другие, как сказано у Пушкина, поэты только в минуту вдохновения, а Ты — всегда. Поэзия сделала Тебя как личность неотразимой, и сейчас, когда Ты снова стала совершенно собой, та же поэзия дарит Тебе несказанную нежность и доброту. Ты от природы уже была поэтичной и нежной, я же хочу и обязан к этому прийти в итоге долгих усилий, мучений, пользуясь в том числе и искусственными средствами... Во мне и мне подобных можно разглядеть старания, которые нам было нужно приложить, чтобы стать лучше и тоньше, но всякий раз из-под ослепительно белой сорочки торчит какой-нибудь клочок прежнего, нечистого и грубого белья. Ты же в этом смысле совершенно естественна, все в Тебе кажется чистым и саморазумеющимся».

От письма до ответа проходило больше двух недель. Эльза плакала от обиды, про которую Янис уже не мог вспомнить, он ужасался ее новой болезни в момент, когда она праздновала выздоровление; порция упреков обрушивалась на человека, только что отправившего пылкое объяснение в любви. Они не слышали друг друга, крича, смеясь и плача: звук долетал с двухнедельным опозданием, а настроения их менялись не раз в течение суток, по всей амплитуде состояний — от скорби до ликования и от беззаботного смеха до спазм неутоленной ненависти.

Начиная с 1900 года Аспазия проводила полгода в Слободском с мужем, полгода — в Риге, зарабатывая на жизнь и на очередную поездку. Путь был неблизкий, ехать несколько дней. А повторить его пришлось шесть раз. На родине Аспазия печатала переводы, рецензии на книги и спектакли, трудилась в редакции. Где только можно, печатно и изустно, рассказывала о появлении новой поэтической звезды, нимало не смущаясь тем, что говорит о родном муже; пристраивала его стихи и статьи, читала его и свои корректуры, спорила и слегка бранилась с сестрами Зэфельд, писала в день ссыльному иной раз по два письма (*это уж слишком*, — откликнулся он из своего далека). Добравшись же до Вятки, успокаивалась, утешала и успокаивала «мальчугана», изголодавшегося по ласке, убеждала, что он талантлив, талантлив, талантлив, что свет не видал такого таланта и такой силы, какая исходит от его стихов. Он должен наконец поверить в себя раз и навсегда. Давно пора составить и выпустить поэтический сборник. Его имя и так известно очень многим, а после книги его узнают все.

Вместе перебирали написанное за многие годы, придумывали названия разделов, ощупывали заново каждую строку.

— Иван Христович! — появившись в дверном проеме, пищал Валерьянка, пятилетний русский малыш.

— Христович! Вот окрестил! — смеялась чуть не до слез Аспазия.
— Такого-то безбожника — «Христович»!

Притихала, задумывалась.

— А что? Ты той же породы. При внешней слабости — такая сила. Точно Бог-отец стоит и за тобой. Ну, не хмурься — не буду, не буду!.. Но между прочим, многое сходится. Вот говорят: «возраст Иисуса Христа», имея в виду тридцать три года, время крестной муки и воскресения. А все четыре евангелиста рассказывают и о раньшем времени, когда он

проповедовал, ходил по городам и весям, собирал учеников, совершал чудеса. Где-то я читала, что это длилось ровно три года, то есть главные события в Евангелии начинаются, когда Христу тридцать. И с тобой так же! Тебе было тридцать, когда я окончательно к тебе пришла...

— Двадцать восемь.

— Не спорь, я не о первой встрече. Тридцать! — и тогда же, в девяносто пятом, начался твой крестный путь: Петр, правда, далеко не святой, выжил тебя из редакции, и к тридцати трем годам местный Иуда тебя уже предал, и неправый суд свершился, и ты нес свой крест на Голгофу, был на волосок от гибели, почти погиб, но воскрес...

— Почти воскрес. Аминь, я тебя люблю, — сказал Райнис.

Их любовь разгоралась в разлуке до размеров пожара, а через два-три месяца совместной жизни начинала чадить как керосинка. На керосинке они готовили — утром и вечером сами, чтобы меньше тратить на еду.

Они не могли обойтись друг без друга, но порой не знали, как им обойтись друг с другом: любовь их бывала временами зла, нетерпелива, обидчива. *Самость* каждого из них, своевольная и мощная, бунтовала против чужого вмешательства, отторгала не свою силу и не свою слабость: они были слишком похожи в своей непохожести друг на друга и на кого бы-то ни было.

372

Скучал ли он по родине?

Ответ — из первых уст. Стихотворение, открывающее его первую книгу, завершается словами о родной земле:

*Вся душа по ней
Истомилась...*

С ней, родиной, было так же, как с женщиной: разлука раздувала жар этой любви и тоски до высокого пламени, а когда отнятое возвращалось, огонь утихомиривался, уходил вовнутрь, и пеплом повседневности его присыпало, что ж делать.

На расстоянии он думал о недоступных родных краях с такой щемящей нежностью, с такой тревогой, какой не знал в себе раньше. Любовь и родина сливались до неотличимости, когда единственный близкий человек, оставшийся в его разоренной жизни, был там же, за теми же тремя тысячами верст, за десятками тысяч озер и рек, за мириадами деревьев, проживавших свой таинственный молчаливый век с ним

одновременно и то ли отделявших его от рек и деревьев Латвии, то ли с ними соединявших.

Больше всего ему не хватало моря. Особенно летом. Казалось — искупаться бы сейчас, забрести по мелководью где-нибудь в Дубулты, далеко-далеко, покуда вода не дойдет до горла, пуститься вплавь — и плыть, плыть до бесконечности, а потом вернуться к знакомым соснам обновленным — встряхнуться как пес, отряхнуть все беды и болезни, все муки, обиды, сомнения, начать все сначала!

Сосны и здесь были. Тоже прекрасные, но другие.

Когда Эльза перебралась на лето в Юрмалу, он засыпал ее вопросами: хороша ли комната, которую она сняла? Отдельная или нет? Далеко ли от моря? Слышишь ли ты, как оно шумит? Что за люди хозяева?купаешься ли в море или только в ванне?

Далеко ли от моря, слышишь ли, как оно шумит?

Он был далеко, страшно далеко от моря, но шум его слышал издалека. Вроде бы отчетливей, чем когда-то находясь рядом с ним.

373

Вещественным, осязаемым средоточием родины был язык. Язык — родина, взятая с собой. Если бы так же можно было привезти с собой море.

Русский мальчик, называвший его Иваном Христосовичем, через десятилетия, на другом конце жизни, вспоминал: «Он брал меня с собой на мельницы, — рядом с ними, на берегу реки Вятки, росли еще такие пышные, красивые сосны. Ему нравилось под ними сидеть. Иной раз он откидывался на спину и подолгу глядел в синее небо, молча о чем-то думая, а иногда вполголоса напевал какие-то песни на чужом языке».

Напевал «Иван Христосович» то, что слышал от матери, когда был не старше своего теперешнего белобрысого спутника:

*Вей, ветерок, гони лодочку,
Унеси меня в Курземе!*

За четыре года он успел привязаться и к этим местам. Привязанность — новая — не отнимала ничего от старой и всегдашней любви, не вытесняла ее. Наоборот: чужое и бесконечное, немислимое пространство России обстрияло его память; река Вятка перекликалась с Даугавой его раннего детства, местная сосна кланялась своей юрмальской

родственнице, и та склонялась в ответ. Издалека он видел Латгалию, Курземе, Видземе четко как никогда. Расстояние их уменьшалось, воображение было его подзорной трубой, действовавшей безотказно.

Он полюбил, кажется, и здешний народ — не так по отдельности, как всех скопом. В городке все знали его, все здоровались, приветливо, а женщины так и нараспев. Относились ласково и как-то жалеючи, считая, видимо, чудачком. Отец Валерьянки норовил притащить лишнюю охапку дров, бабка, добродушно ворча, оттесняла Яна от печки-голландки, растапливала сама. Почтальон еще издали кивал ему, улыбаясь во весь рот: есть письмо, есть!

Городок был торговый. В ярмарочные дни гуляла вся улица, гудела ночь напролет, — но ни в трезвом, ни в пьяном виде никто его ни разу не обидел. Думать да писать разве мешали песнями и плясками «с то-потом и свистом», как сказано в одном лермонтовском стихотворении... Ему-то были странно близки другие, но тоже слышанные в Слободском песни: тоскливые, бесконечные, как осенняя ночь, как дорога сквозь лесную темь неизвестно куда. Это детство отзывалось: оттуда, из младенчества тоже напоминали о себе тягучие, тоскливые славянские песни; голая, зябнущая душа выглядывает в них, хочет забыться, и столько красоты и непонятной радости в их безотрадной печали.

Он полюбил, вроде бы, здешний народ, и его полюбили, то была легкая любовь, ничего не требующая, — и с той стороны, и с другой: он знал также, что останется посторонним. Почти как тот цыган, что мелькнет яркими зубами, уронит словцо, продаст, украдет, купит, — и нет его, след простыл. Там где-то, в таборе у него и любовь и вражда, и братья, и гортанная брань, и гордость и стыд, там все кровные связи, все счеты, там любовная дрожь, там соленая шутка, там втайне грозящий кинжал, там — живой ли, мертвый ли — весь он. «Занесло тебя, — думает ссыльный, изумленно покачивая головой. — Цыган... Продаст, украдет... Слава богу, не крал ничего никогда, а продавал до сих пор только рукописи».

Эти люди уже тем были милы ему, что ничего от него не хотели. И можно было не ждать от них никакого подвоха — как от своего пятилет-ного товарища. Они, кажется, и языки не чесали на его счет, — зачем? Безобидный, добрый человек. Пишет и пишет что-то непонятными остроугольными буквами, — пускай пишет. Живет от письма до письма, — ну и пусть живет. При всем при том законы знает назубок, помогает советом; коли позарез нужно — бумагу по начальству или в суд напишет, хотя ему и не положено.

Люди эти занимали его воображение потому, что были другими. Что-то отталкивало от них, что-то притягивало. Через не свое он начинал лучше понимать и свое тоже.

И наконец, они были похожи на людей его детства. Раннего детства. Чем — сразу и не скажешь, но похожи.

Были в Слободском и люди его круга. Люди его цели. Даже люди его племени. Был и вовсе близкий человек: родная сестра.

Стучка. Первой встречи с ним Янис ждал с дрожью какого-то болезненного нетерпения: его чуть не трясло при мысли, что вот откроется дверь, войдет старый друг Петерис и... Он не знал, что будет. Может, несмотря на воспитание, на... да ни на что не смотря, он вцепится Петруше в глотку. А может, поздоровается сухо, но вежливо, произнесет положенные, твердые, точно накрахмаленные слова? Да, так: он не знал, чего от себя ожидать.

И вот он пишет Эльзе: «Итак, сегодня вломились в мой дом два пухлых, красных, веселых лица. Милые мои родственнички и — брюхо. Ибо Стучка еще более раздобрел и главным и бросающимся в глаза действительно в нем стал живот, он напомнил мне добрые старые времена. Сестра тоже поздоровела, и они так веселятся, будто приехали на пикник. Всю дорогу ехали они во втором классе, здесь сняли наилучшую комнату, там же в гостинице и хотят остаться. Подумай, сколько все это стоит, но они могут себе позволить, не бедняки. Сестра едет в сентябре в Монпелье, продолжит учење в университете, это будет стоить еще одну тысячу в год. При всем при этом они готовы были почти слезы лить в доказательство своей бедности, если бы слезные железы не заплыли жирком. Не считая действительно новых и красивых костюмов у них все по-старому: разговоры, шутки, похвальба большими связями. Он и вправду умеет пролезть везде, он добыл от мирового судьи и витебского адвоката рекомендательные письма к здешнему губернатору. Те письменно свидетельствуют, что он бы мог остаться в Вятке. Врач предлагает ему выбрать болезнь, какую он хочет, и он выбрал то-сё, а врач подтвердил. Видишь, Иныня, как люди продвигаются вперед и остаются всегда веселы. Мне просто нехорошо стало при виде всего этого лицемерия и этих веселых негодяйств. Они отняли у меня день, я не сделал свою норму, и дефицит в текущем месяце все растет...»

Стучку и сестру он упоминает в письмах раз тридцать. И почти над каждым таким упоминанием висит жирный, выведенный с нажимом минус. Бывшему другу вменяются в вину богатство и лицемерие, пронырливость, делячество разного рода, обоим — мещанские взгляды, интересы и вкусы. Дора не слишком ловко изображает из себя хозяйку салона. Стучки то и дело мешают ему работать; «хочу попросить, чтоб врач обследовал меня и порекомендовал перевести куда-нибудь на Кавказ, в Астрахань и т.п., ибо в таком обществе мне жить нестерпимо...» Статья Стучки, попавшаяся Райнису на глаза, «написана так глупо, что сделать это мог бы любой помощник писаря». «Я был уверен, что Стучка способен на любую подлость...» — говорится в следующем письме. Еще цитировать? «Вчера был у сестры, удивлялся прекрасному убранству комнаты, видел и один из моих красивейших ковров. Что писать про связи с сестрой, если их нет вообще. Она считает своим долгом прибежать в субботу минут на 20 и взять «Диенас Лапа», вот и все. Я бы предпочел не сидеть на своем собственном ковре в чужом доме».

Правда и то, что степень своей отчужденности от сестры Янис все-таки преувеличивает. Тому есть причины. Где-то промелькнули затем слова о «сближении» с Дорой. В другом месте Райнис пишет жене: «Ты схватываешь суть лучше меня, но с другой стороны, Ты очень редко воспринимаешь человека правильно (например, сестра стоит все-таки гораздо выше, чем Стучка)». В третьем: «Мне ее несказанно жаль, когда-то она была так хороша, я ее тогда очень любил, но нас разделили...» Аспазия всполошилась. А может быть, ссыльный этого и добивался? Слегка пошантажировать Эльзу «сближением с сестрой», подлинным или мнимым. Чтобы она забеспокоилась. Чтобы приехала поскорей: он отчаянно скучал.

Дора так и не вернулась в Монпелье: не может выдержать грубости врачебной профессии, это противно ее натуре. «Отбросила мысль стать врачом и хочет теперь написать роман. Тут я вижу ясно несчастное свойство нашей семьи: голова в облаках, задница в саже».

Стучку (Райнис его именует с некоторых пор почти исключительно Тóлстым, Толстяком) бывший его друг упоминает со стойкой неприязнью. Часть этой неприязни перепадает за компанию и сестре. «Был у Тóлстых, после этого всегда такое леденящее, неприятное ощущение».

В конце концов Стучкам удалось перебраться на жительство в Вятку. (Справедливо или нет, Райнис не уставал удивляться тому, как счастливо выбирается его бывший друг из одинаковых с ним положений. Взять хотя бы петербургскую историю: Янису — 10 дней ареста, Петерису — полное оправдание. Латвия, тюрьма: Петерис сидел на целый месяц меньше! Первая ссылка: у Стучки — Витебск, что несомненно лучше

Пскова; главное же, ему разрешили юридическую практику, о которой Плекшану приходилось только мечтать. Наконец, как Янис ни бился, пытаясь попасть в губернский город, в Вятку, где открывалось несравненно больше возможностей заработать, ему отказывали. А Стучка уже в Вятке, и служит, Дора тоже устроилась, — вот бы им с Аспазией так! В чем тут дело? Деньги? Простое везение? Или везение *специальное*, о котором все-таки не хотелось и думать?)

Не скроем: для остальных, и ссыльных, и местных жителей все выглядело иначе. И Стучка, и жена его до самого их отъезда из Слободского просто-таки очаровывали окружающих. Чего стоил один только «танец диких медведёй», как смеясь называла это Дора: окончив какую-нибудь сложную, тяготную работу, Стучка пускался в пляс, с невероятной легкостью пронося мимо стульев свое добродушное грузное тело: медведь, чистый медведь, но не опасный ни для кого и такой обаятельный! «Салон» Доры был самым притягательным местом в городке. Здесь ссыльные и их жены слушали Шопена, Шумана, Вагнера в исполнении Петра Ивановича, здесь обменивались запретной литературой, здесь узнавали новости из Вятки и из других соседних мест, где отбывали ссылку политические. Однажды мелькнул здесь удивительно тонкий, воспитанный, по словам видевших его, поляк Феликс Дзержинский, бежавший из ссылки и один день по пути проведший в Слободском.

Петерис Стучка, пришедший к социализму скорее сердечным, чем головным путем, теперь наверстывал упущенное: читал Маркса, Энгельса, Каутского, знаменитые «желтые тетрадки» анонимного русского автора, озаглавленные: «Что такое дружба народа и как они воюют с социал-демократами». Работу, как оказалось, Владимира Ульянова, о котором Петерис и Дора так много слышали от его соратников, что как бы уже и знали его лично. За четыре года ссылки Стучка сделался знатоком марксизма, пройдя своеобразный университетский курс со свойственной ему педантичностью и железной, умело спрятанной под добродушием волей.

Что касается Райниса, то его нервный дрожащий взор, его ледяная холодность, его обида, не только не утихавшая, а расплывавшаяся с течением времени, сделались для Стучки каким-то наваждением. Жена любила своего брата. «Ты его любишь как сорок тысяч братьев», — заметил он ей однажды в легком подпитии. И ничего нельзя было поделать, исправить — ничего. С годами Стучка убедил себя, что вины его в прошлом не было никакой, а если что и было, то цепь недоразумений

и совпадений, которую не поздно было распутать или разорвать при желании. Желания с той стороны не наблюдалось.

Предположим, и было что-то, — но не ради же себя совершали они тот или иной шаг! Янис с его нервной и самовлюбленной натурой, с его путаными философскими построениями — меньше всего организатор и вождь, он вообще вряд ли способен на долгие неотступные усилия, на скрытную, безымянную борьбу: он не боец, а певец. Что-то в нем есть от священного безумия, от юродивого, назовем вещи своими именами. И Аспазия... о, эта Аспазия. С ее приездом разрушилось и то небольшое, что успело здесь все-таки завязаться. Райнис по-прежнему разговаривал с ним сквозь зубы, избегал подать руку, а подавал — так была эта рука точно дохлая рыба. Но по крайней мере с Дорой уже общался по-человечески. Явилась эта... Нет, не мог он подавить в себе неприязни к этой дамочке, к жирному коту, старому от рождения, которого она немедленно завела, к ее светским потугам, столь смешным, когда сравнишь их с естественным аристократизмом Доры. Ежедневно она подливала порцию яда в их и без того холодные отношения. Он вообще недоумевал: откуда, из какого источника являются стихи Аспазии, ее пьесы? Ничего, скоро Янис покажет ей, что такое настоящая поэзия. С великой ревностью, с какой-то гимназической завистью следил Стучка за каждой строкой, появлявшейся из-под пера Райниса. Он чувствовал себя задетым с каждым новым успехом поэта и переводчика Райниса — и почему-то причастным к нему. Каждая новая строчка, опубликованная им, доказывала, что когда-то Петерис не ошибся в своем нервном, неудобном, трудном друге, а величие, о котором они вместе мечтали в Риге и в Петербурге, не было пустым сном. Если сбудется то, что касается Яниса, значит и я в себе не ошибся, думалось ему без слов. Было и еще одно ощущение... что Янис вырастает, вытягивается чуть не до облаков как бы назло ему. Ну да, это смешно, но никак не отделаться от впечатления, что каждым новым взлетом он доказывает лично ему, Петерису: смотри, я гений, а ты... «А что ж я? И я еще свое докажу», — думал... нет, не думал — чувствовал он, холодея.

Какая общность судьбы! какая переплетенность! Напишешь в романе — не поверят! (А Янис, глядишь, и напишет). Как поздно они нашли себя и как бесповоротно. Когда-нибудь Райнис убедится, наконец, что друг его юности имел право возглавить движение, которое, как ему кажется, он основал единолично. Вот уж нет! Если кто-то и может претендовать на лавры основоположника, то это не он и не Янсон... бедняга Янсон... — а может быть, Дора. Я-то помню, с каким багажом и в каком состоянии уезжал ее брат в Цюрих в девяносто третьем году. И каким вернулся. А кто его свел с тем поляком? Кто познакомил с Августом Бебелем? Так

что, скорей всего, у латышской социал-демократии одна основательница, одна виновница... хотя об этом никто никогда не узнает. Конечно, все произошло бы рано или поздно и без нее, и без нас... но зачем же не рано, а поздно? Сейчас мы практически не отстаем от русских товарищей, идем ноздря в ноздю. Рабочего класса у нас недавно почти не было, а когда он появился и стремительно вырос, его ждала уже готовая и святая идея, в руки рабочим дано было оружие мысли и воли, острее которого нет.

Возвращаясь мыслями к Райнису, он с тем же вещим холодком прозревал, что сегодняшние его стихи — только начало. Аспазия наверняка надеялась, что он будет играть при ней вторую скрипку. «Накося выкуси», как грубо, но сочно выражается знакомый мужик. Мне ли не знать Яниса! Да он себя съест поедом, он со своей якобы ленью и якобы слабостью горы свернет, чтобы... чтоб отомстить мне, Доре, Янсону, Розиншу, всем нам — своим величием. Чтобы обличить нас перед целым миром в нанесенной ему обиде. Но если и была обида, если и случилась нечаянная, нежеланная жестокость по отношению к отдельной личности, то ведь не может же он не понимать, что дело пролетариата бесконечно выше всех личных обид, выше наших жизней, выше наших дружб и любовей! Ведь мы просто козьявки по сравнению с тем, что мы сами затеяли! Он, называющий себя социалистом, неужели не понимает?

И знал, ощущал всем телом: не понимает. Никогда не поймет.

Из письма Райниса писателю Рудольфу Блауманису. «Я бесконечно удовлетворен тем, как Вы были спокойны, отстаивая свои позиции: дело было общественного, не личного свойства.* Теперь, впрочем, прояснилось как общественное дело с «Петербургской газетой», так и Ваше личное — с бывшим Вашим другом, а всякая ясность хороша, даже самая низкая. Я, к сожалению, знаю по собственному опыту, что значит потерять дорогого друга, *ибо я потерял всех, совершенно всех своих друзей, даже всех знакомых за один-единственный день*. Теперь уже прошли годы, я с той поры приобрел, как говорится, много новых друзей, но ни одного из них еще не видел в лицо; несколько страшновата такая толпа друзей-призраков, привидений. Вы, милый человек, мой реальный, осязаемый друг, в возмещение прежнего — ведь Вас я уже не потеряю? — былое во мне еще не выболело, я в него вложил, кажется,

* Р. Блауманис работал в это время в «Петербургской газете». Он писал Райнису о споре с другом юности А.Ниедрой, желавшим заполучить газету полностью в свои руки.

слишком много от себя. Если Вы — дающий, одной жизни Вам недостаточно; я так понимаю, что значит для Вас потеря друга: ветвь от Вашей собственной жизни отсечена».

То было одно из последних писем Райниса, посланных из Слободского. В мае 1903 года он возвратился на родину.

Уезжал он домой, обуреваемый опасениями и дурными предчувствиями. Домой он уезжал? Но где его дом? Дома не было. Дома не было, если хорошенько подумать, лет с девяти, с того дня, как он, помахав родным, отправился из Беркенеле в Египет... в маленький, приозерный латвийский Египет. Домой он так никогда и не вернулся: хотел бы, но того дома, из которого он уезжал, всякий раз уже не было.

Ссылка, как всякая жизнь по принуждению, была злом, но злом, как бы это сказать, хорошо обжитым и прирученным. Что же до северной русской земли, избранной правительством для поселения политических преступников, то к ней он, повторяю, неожиданно-негаданно привязался. Красота ее забирала неприметно. Ее краски и звуки, ее ледоходы, сверкающие и гремящие, ее твердые небеса, наверное, вообще не способны были забыться. А люди? Их открытость, детская какая-то доверчивость? Широта, совершенно природная, то есть почерпнутая рядом, за окном? И смелость, и смекалка, и простоватость, и лукавство, и расхристанность, и набожность, и удаль, и упрямство. А язык, — что они только ни делали со своим языком! С каким смаком поворачивали, ковали и гнули слова, играли, пуляли ими, как из рогатки, в какие вольные и неожиданные сочетания сводили! Он восхищался веселой хваткой, с какою здешний народ распорядился этим своим хозяйством, уменьшал и растягивал слова, производил на ходу новые. В дальнем, не испорченном еще нивелировкой углу он учился этой свободе.

И — никаких интриг!

Он уговаривал Аспазию куда-то не ехать. Остаться в Слободском. Жить в России и работать для Латвии. Аспазия не согласилась. Даже и говорить не захотела: в какой-то момент просто фыркнула и ушла. Как будто он и сам не знал, что его неотъезд — чистойшей фантазия. Поедет, поедет, куда он денется!

Только бы враги, а пуще того — друзья там, дома его не съели.

Тридцать семь лет было Райнису, когда он вернулся из ссылки. Возраст Моцарта. Возраст Пушкина. Возраст их ухода. А он в тридцать семь лет ждал выхода своей первой книжки. Составлена она была в Слободском и довольно давно, но долго и трудно проходила цензуру. Хорошо, Рудольф Блауманис помог, поговорил с петербургским цензором Ремикисом. Тем самым Ремикисом, — подумать только! — на вечеринке у которого Янис Плиекшан и Петерис Стучка, восемнадцатилетние юнцы, веселились, только-только поступив на первый курс Петербургского университета!

Там же, в Слободском, года два назад он написал свою первую пьесу. Сочинял ее на конкурс, объявленный, кажется, пожарниками; премия была обещана хоть и небольшая, но приличная. И такая сумма могла поправить их денежные обстоятельства. Торопился, не укладываясь в сроки. Спешил до того, что не было времени писать ремарки, отделять друг от друга сцены и картины, указывать, кто говорит. Все это пришлось доделывать бедной Иныне, и на конкурс они успели в последний момент, и пьеса в стихах «Полуидеалист» была даже признана лучшей из присланных, но оказалось, премий не будет: денег нет.

Кстати, были и другие варианты названия. Например: «Дон Кихот». А потом он назвал пьесу «Полуидеалисты», но последняя буква выпала на каком-то этапе, а может, просто переписчик наврал. Без переписчика нельзя было обойтись никак: только в театральную цензуру требовали два экземпляра.

— Вы прекрасно выглядите, — сказал ему и редактор газеты и журнала, все это время скудно, но кормивших его и Аспазию, — доктор Залите. — Помолодели лет на семь. Точно в швейцарском санатории побывали, а не...

— Этот санаторий весьма нетрудно устроить, — не совсем вежливо перебил редактора собеседник. — Две-три абсолютно честных статьи — и...

Залите побледнел. Образовалась долгая неловкая пауза. Райнис пожалел о ненужной резкости: зачем пугать человека? Оба они с Аспазией многим обязаны супругам Залите.

Многим обязаны были и супруги Залите *чете поэтов* (словосочетание, уже промелькнувшее к тому времени в газетах). Райнис не вполне уяснил себе, что произошло за годы его отсутствия. Становление литературы

для латышей означало одновременно и становление нации. Короткий, всего в сорок с небольшим лет путь от «Песенок» Алуна до «Фауста» в переводе Райниса открывал и готовил будущее. Еще в 1898 году трагедия Гете вышла по-латышски роскошным отдельным изданием. «Библия нового времени» сделалась уже фактом латышской истории, прочно заняла место в фундаменте будущего строения. Пока не было у латышей своей государственности, родное слово, язык был их государством, единственным в своем роде. Уж на что знаменит «Фауст», но такую роль и он, пожалуй, сыграл только однажды.

Он уезжал из Риги шесть лет назад «ником»: арестантом, выпущенным из-за решетки под залог, неудавшимся адвокатом, отставным редактором газеты. К читателям тогда еще не поступил даже журнал с окончанием «Фауста».

Теперь его перевод стал новой реальностью — языка, самосознания, культуры. Райнис возвращался в мир, частично пересозданный им самим. У него теперь было имя. Точнее, имя было у них с Аспазией. И опять же — не просто одно из литературных имен. Вся эпопея четырех тюрем и двух ссылок, самоотверженность Аспазии, сотни публикаций, тысячи страниц переводов, достоинство и воля двух людей, выстоявших в поединке с чудовищной государственной машиной, — все это гласно и тайком, по цепочке ртов и ушей, распространилось: их знали все, ими восхищались. Грехи, приписывавшиеся Аспазии с основанием или без, были забыты и прощены. Говоря о ней, вспоминали о женах декабристов, последовавших когда-то за мужьями в Сибирь. Личная история двух людей на глазах превращалась в общее достояние. Сами не ведая, они сделались символом надежд, которых в предыдущих поколениях попросту не было.

Вот что случилось в Латвии — без них с ними.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НА РОДИНЕ

384

*Ветрами окружен, дождем и тьмой,
Босой, в тряпье бредет он еле-еле.
Вы думали, с повинною домой
Вернется сын? Вы этого хотели?*

*Нет: та же гордость, тот же взгляд прямой.
Смотрите, вы! На чахлом этом теле
Не рубище, а пурпур огневой!*

*Не под ярмо он шел сюда упрямо, —
Пришел судья, чтоб вас изгнать из храма.**

Аспазия, раскрасневшаяся, необычайно красивая, — профиль точно с античной камеи, буйные волосы растрепались, — с последней строкой указывает на Райниса, сидящего в кресле на сцене. Аплодисменты. Овации. «Блудный сын» — стихотворение известное. Но слышать его в присутствии автора, да еще в чтении Аспазии! Даже ее театральный жест кажется уместным. Какие лица, какие глаза у молодежи, заполнившей клуб до отказа! Как красивы умеют быть люди!

Громко аплодирует, повернувшись к поэту, и его сосед, сидящий, как и Райнис, на сцене в почетном кресле. Вот он, продолжая хлопать в большие пухлые ладони, встает. Встает и зал в порыве молодого воодушевления. Тогда поднимается и сам Райнис. Он растроган, синие глаза лучатся, как в давней молодости, струят живой свет. Он мечтал о признании, о понимании, но кажется, и в мечтах это не было возвышенной и чище. Сосед подступает к нему, обнимает и крепко целует — овации нарастают, хотя и нарастать, кажется, уже некуда.

* Перевод Ал.Ревича.

Усаживаясь опять на место, Райнис вытирает ладонью губы, стараясь, чтобы никто не заметил. Но сосед стрельнул взглядом, — он все замечает.

— А теперь слово Яннису Янсону, — звучит в зале. Аплодисменты. И сосед, только что целовавший Райниса, идет к краю рампы.

— Хорошо придумано, — шепчет на ухо своему спутнику, молодому литератору Бирзниеку-Упиту, Рудольф Блауманис. — Как говорят русские, худой мир лучше доброй ссоры. А если уж мириться, то при всех.

— Что-то я слышал об этом, но...

— Потом договорим, — шепчет Блауманис.

Янсон начал зажигательную речь, и потому на них шикают.

385

До этого Райнис видел Янсона только мельком — в Витебске, приезжал туда положить цветы на могилу матери. Стучка и Дора вернулись из ссылки туда же раньше, и в их-то доме состоялась встреча, которую Янис сгоряча посчитал подстроенной... Но могло быть и иначе. Полушутя, полувсерьез Стучки называли Янсона сыном. Положим, в нем сохранялось нечто мальчишеское, и погрузневший Стучка как бы даже и годился ему в отцы или в дядьки, но с Дорой-то они почти ровесники! Впрочем, сын так сын. Это объясняло, почему он оказался в доме.

Янсон в тот раз с нажимом рассказывал о своих злоключениях. Поначалу, правда, его выслали недалеко: он оставался в Смоленске, там, же, где ожидал приговора, и мог ехать куда угодно, исключая университетские города, балтийские провинции и обе столицы. В Смоленске же Янис в 1900 году обвенчался с Анной Берзиной, за которой ухаживал еще в Лиепайской гимназии. Потом пришло известие, что заболел отец. Янсон с дозволения полиции отправился на неделю в Лиепая и там застрял. У кого-то из лиепайских подпольщиков нашли его письмо, безумно смелое, призывающее к немедленной вооруженной борьбе с царизмом (революционеры вообще-то подобных писем не рассылают, думал угрюмо Райнис: слишком откровенно и подставляет под удар в случае чего многих людей). Да, так оно и случилось: прошли аресты в Лиепаяе, в Смоленске взяли самого автора письма. Несколько месяцев Янсон пробыл за решеткой, затем его выслали из города. Янис с женой перебрался в Витебск, служил в газете, вел пропаганду среди рабочих и успел сколотить подпольный кружок даже в духовной семинарии. Здесь его настиг новый приговор, по делу о том злополучном письме: шесть месяцев тюремного заключения. Сидел он в петербургских

«Крестах». Спасался от тоски работой: клеил папиросные коробки. «Во сне и теперь я их клею каждую ночь», рассказывал Янсон как бы не Райнису, а Стучке и Доре, хотя они явно слышали всю историю не впервые. «Кресты» считаются лучшей тюрьмой в России, продолжал Янсон, начальство тамошнее этим обстоятельством жутко гордится. Между прочим, они взвешивают каждого заключенного при поступлении и при выходе на волю. И оказывается, что все их подопечные в тюрьме прибавляют в весе! Вот, ровно за день до освобождения, врач взвешивает и меня — в присутствии самого начальника тюрьмы! — и вдруг невероятный конфуз: Янсон похудел аж на двадцать фунтов! Поверите ли, он меня трижды заставлял встать на весы, колдовал со своей «техникой», — ничто не помогало. Видели бы вы, как у них физиономии вытянулись! «Такой вредный латыш, — слышу, говорит несчастный эскулап, чуть не плача, — испортил статистику!»

Ах, какой он все-таки обаятельный! Как увлекается, когда говорит, как убедительно жестикулирует, какой мальчишеский блеск загорается в его глазах, когда он удачно пошутит!

Райнису все ненавистно в нем: улыбка, обаяние, жесты, шутки, напускное мальчишество. Несколько ночей подряд он будет снится Райнису — с той же, наверно, настойчивостью, с какой ему самому снились те папиросные коробки.

Рассказывал и Стучка о своих тюремных днях. В Рижской губернской тюрьме камера его оказалась рядом с уборной. Тошнотворная вонь, смешанная с запахом какой-то дезинфекции, доводила до нестерпимой головной боли, он почти не ел — и вовсе не потому, что репетировал голодовку: просто кусок не лез в горло. Только после самоубийства доктора Крумберга Стучку, вконец ослабевшего, перевели в тюремную больницу...

Райнис слушал — и не испытывал ни малейшего сочувствия. В губернской тюрьме было совсем неплохо, — посидел бы он в следственной! Дора вставляла в рассказ мужа то одно, то другое словечко, слезы заблестели у нее на глазах. Вот ей Райнис сострадал: она-то, бедняжка, искренна, она-то поверит всему, для нее Стучка — святой, Янсон — мученик. Как можно быть настолько слепой? Как можно верить этим двоим и утверждать, что она всей душой со мною? Нет, пора примириться: сестра для него потеряна, потеряна навеки!.. Теперь и на его глазах появились слезы.

Вечер чествования Райниса и Янсона на взморье, в Майори, был задуман для того, чтобы прилюдно помирить двух виднейших социалистов.

Слишком широко разошлись слухи о непопулярных откровенностях Янсона на допросах, о неладах между знаменитым уже поэтом и не менее известным критиком. Райнису и Аспазии сказали, кто будет вместе с ними на сцене, в последний момент. Что им оставалось? Бросить Янсону в лицо все обвинения, всю желчь, что скапливалась годами?

— Знаю, что ты чувствуешь, — говорила Аспазия. — Но послушай, Христа точно так же целовали, и он в подобном случае тоже смолчал. Публичного скандала мы не можем себе позволить. Потерпи. Еще будет случай высказать ему и о нем все, что мы думаем. Со временем мы найдем способ.

— Ах так. А сегодня наш красавчик будет всенародным героем!

— Но он-то знает, что герой здесь один — ты. Внутри себя он не может не понимать, не помнить...

— Героя все-таки два, — сказал он. — Я о тебе.

— О милый, каким ты умеешь быть великодушным! Когда хочешь.

Как поэт, она уважала точность.

— Кстати, ты заметила? У него ладони как олады. И точно жиром намазаны.

— Не преувеличивай!

В том же году состоялись две премьеры «Полуидеалиста», сперва в Риге, затем в Елгаве. В Риге пьеса почти провалилась, в Елгаве спектакль превратился в торжество. Ни рижская неудача, ни триумф в Елгаве не были до конца заслужены. Рифмованная комедия, которую Райнис однажды назовет своей лучшей пьесой (и бесспорно ошибется), была прощанием с прошлым веком. Она заканчивала тот спор со старым поколением, который студенты Пликшан и Стучка начали еще студентами в «Малых оводах». Национальная идея, свежо и ярко выступившая в движении младолатышей, выдохлась в следующем поколении, переродясь местами в чистую декоративность. Райнис расставался здесь не только с чужими, но и со своими юными мечтами и заблуждениями — отсюда и теплое чувство к «Дон Кихоту», главному герою комедии, решившему всю жизнь свою и своих близких переkreить на старолатышский, «народный» лад. Кое-где львиный коготь будущего мощного драматурга виден и здесь, иные реплики, афористичные и остроумные, достойны войти в поговорку. В Риге пьесу поставили как водевиль. Водевилем она никак не была. В Елгаве старый Адольф Алунан подошел к ней серьезно. Но здесь половина успеха пришлось на долю автора. Публика была наэлектризована еще до начала спектакля. Благоговейная тишина встретила появление Аспазии и Райниса. Аспазии,

возраставшей здесь же, в Елгаве, перенесшей от земляков столько обид, заслуженных и незаслуженных. И Райниса, — тоже ведь какое-то время жившего здесь, рядом с ними, и никак не оцененного. Кажется, жители Елгавы задались целью искупить все. Каждая реплика, строка, слово, дававшие хоть малейший повод к аплодисментам, вызывали целый шквал, так что актеры не могли продолжать! А по окончании спектакля зал разразился такими рукоплесканиями, каких в Елгаве, по словам очевидцев, не было вообще никогда. Выходя вместе с актерами и режиссером в десятый раз на вызов, Райнис ощущал, я бы сказал, истинное головокружение от успеха... но выражение было задействовано в иной исторической ситуации и другим автором, а потому, пожалуй, неуместно. Хорошо ему было, Райнису. И Эльзе было хорошо.

К тому времени по крайней мере две тысячи экземпляров первой поэтической книги Райниса со странным названием «Далекие отзвуки в синем вечере» разошлись, то есть были раскуплены, прочитаны, даны на прочтение знакомым, выучены наизусть. Такого громкого литературного успеха не было со времен «Песенок» Алунана и «Лачплесиса» Андрея Пумпурса. Отклики прессы — от похвальных до восторженных. Исключение составляли один-два, но то уже были, собственно, не отклики, а доносы.

Книга была о любви и революции.

И ночные раздумья на пороге нового столетия были там:

*Неслышными шагами новый век,
Таясь, подкрался, словно тать в ночи.
Дверь хлопает, и молнии мгновенней,
Быстрей, чем взмах меча он успевает
Порог переступить и вот уже
Горит, как Севера сполох багряный;
Он, тяжкою громадой навалясь,
Заполнил все, — лишь слышен за дверьми
Свист времени, летящего стремглав.
Век новый веет стужей ледяной...**

Да. Одним из первых Райнис ощутил эту стужу. Большинство ожидало от двадцатого века чудес, земного рая с ангелами в виде машин; прогресса, прогресса, прогресса хотели и ждали от него, а он... он *вевял*

* Перевод В.Бугаевского.

стужей ледяной, и если б Райнис знал, какая это стужа! Не знал, слава Богу, — иначе вряд ли согласился бы жить.

Книга была невелика, но необычайно емка. Небольшие разделы ее по существу могли бы — каждый — развернуться опять же в целую книгу. Было тут несколько поэтических шедевров, которые остались таковыми и сегодня. Была новая, им самим придуманная форма, — литературоведы потом нарекли ее усеченным сонетом, но сам Райнис возражал. «Блудный сын» — образчик этого, богатого возможностями девятистрочника, и поэт пользовался им, — довольно скупое, — до конца дней. Был здесь и экскурс в давние предания, сказки, была и жалобная «Песня фабричной девушки», встречалась едкая сатира, главное же — везде и всюду был он сам, Райнис, гордый и одинокий, безмерно сильный внутри своей слабости, был космос, к которому поэт выходил напрямую.

Кто читает в стихах слова и фразы, тот вряд ли доберется до сидящей в них поэзии. Кто выискивает причудливые сравнения и метафоры, мог бы тоже заняться чем-нибудь другим.

Стихи Райниса были, собственно говоря, его голой душой. Метафоры и сравнения приходили сами, если требовалось. Иной раз весь стих оказывался сплошной метафорой, если было надо: «Сломанные сосны», ставшие вскоре песней. И с таким же успехом он обходился вовсе без метафор и тропов. В книге прорываются жалобы больного и гонимого человека. Но сердцевиной стиха становится энергия и железная воля. И ядро это создано внутри — мы-то знаем, какой безнадежности, каких гибелей и потерь.

А если о революции, то эта тонкая книжка и была революцией. Ее музыка и энергия была энергией и музыкой бунта. Через поэта, через его нервное, искореженное сомнениями и муками тело кричал его язык, его народ.

В торговое, не героическое по определению время не так-то легко объяснить, что в этих стихах зажигало и захватывало людей. Стихи эти были сродни музыке Бетховена. Они были бомба, начиненная гремучей смесью любви и ненависти. Спокойные времена как бы вынимают из нее запал, и заряд становится внешне безвредным.

Автор — не большой любитель рассуждать о политике и экономике. Но если говорить о первой русской — и первой латышской революции, до которой оставался год с небольшим, то без пары абзацев, хотя бы и несколько вымученных, не обойтись.

Иной читатель может и не знать, что являясь частью Российской империи, Латвия была с тринадцатого века и оставалась под властью немцев. Янис Пликшан был уже взрослым, когда отменили старый феодальный суд.

Поколение Пликшана, Аспазии, Стучки начинало жить во времена острого хозяйственного кризиса. Отпущенные когда-то на волю без земли, крестьяне после 1861 года арендовали землю у помещиков. У немцев. В середине восьмидесятых резко упали цены на хлеб. Платить за землю стало нечем. Разоренные мужики хлынули в Ригу. Это они составили в середине девяностых годов массу новых рабочих. Немецкие (по преимуществу) города наводнились бездомными и нищими латышами, согласными поначалу на все. Зимой 1899 года, когда Райнис был уже в Пскове, произошел первый рижский бунт. С расстрелом. С жертвами и ранеными. («*Кровь на снегу...*» — есть такая строка в книге Райниса).

В истории Латвии ничего не поймешь, не зная этих простых вещей. Уникальность ситуации заключалась в том, что латыши были к концу девятнадцатого века почти поголовно грамотны. Уровень грамотности был выше среднеевропейского.

Очувтившись не по своей вине пролетариями, без всякой собственности, без ничего кроме рук и ног, люди стали искать объяснения происшедшему.

Тут и подоспел Янис Пликшан с его газетой. Тут и вынырнули дискуссионные вечера с пламенными речами Янсона и Розиньша, Стучки и Дауге.

Средний класс у латышей не успел толком возникнуть. Когда узнаём, что на всю Елгаву было шесть-семь латышских «хороших фамилий», это ведь о чем-то говорит?

Дети немногих самодельных богачей оказались вскоре на стороне бедняков. На стороне своего народа, от которого были неприятно отделены богатством родителей.

Вот в эту почву и упали зерна социалистического учения. Ненависть к барам — иноземцам, чужакам — копилась веками. Теперь, когда люди потеряли все: вековой уклад, дом, смысл существования, получив взамен заводские бараки и четырнадцатичасовой рабочий день, ненависти стало больше. В такой Латвии достаточно было спички, чтобы вспыхнуло и загорелось все.

Первой спичкой и оказались стихи Райниса. Стихи из его первой и из второй книги.

К слову: пусть не удивляет вас то, что к следующей русской революции латыши пришли, может быть, самой сплоченной и крупной

революционной силой в империи. Их звали к этому с 1893 года, четверть века подряд. И звали талантливо.

Сбросить чужую безжалостную власть, притом двойную: местную — немецкую и центральную — имперскую хотели бы почти все. Нужно было быть безмозглым или бессердечным, чтобы не желать коренных перемен: без них вообще не оставалось никакой надежды.

Героическое, волевое начало, выработанное Райнисом вопреки всем своим слабостям, врожденным и благоприобретенным, свет, добытый им из сгущения тьмы, есть чудо. Райнис в нем, может быть, и неповинен. Вся не востребованная, вся погубленная и зарытая мощь вереницы поколений, цепь длиной в тысячелетие сказала через него — его тонкогубым, вздрагивающим от нервного тика ртом.

391

А из рецензий на книгу лучшая принадлежит Андриевсу Ниедре. Тому самому, что первую книжечку стихов выпустил в шестнадцать лет, — Дора укоряла двадцатипятилетнего брата этой книжицей, говоря, что поздно ему начинать, пусть не выставляет себя и семью на посмешище. А ведь она любила тогда брата. Очень любила.

Андриевс Ниедра вскоре окажется постоянным противником Райниса. Он предложит латышам не восставать против векового порядка, а вписаться в него. Не свергать немцев, а стать ровень с ними: богатеть, наживаться, набирать жирок. Об этом, быть может, успеется сказать позже, а не успеется — тоже не велика беда.

Социалисты, и первым Стучка, после выхода книги объявили Райниса поэтом пролетариата. Сравнивали с Гейне, с Фрейлигратом — любимцами Карла Маркса.

Ниедра выступил совершенно вразрез со всеми. Он написал, что Райнис — *самый одинокий* из лириков и *самый индивидуальный* из них. Что поэзия его *не принадлежит никакому определенному классу или сословию*. А чтобы она сделалась достоянием народа, тому (народу то есть) нужно еще подрасти, развить воображение. «Поэзия Райниса большинству наших читателей недоступна единственно потому, что их фантазия не может следовать за ним так быстро и не привыкла довольствоваться столь скромными средствами, какими работает Райнис. То, что он пишет, — так сказать, лирическая стенография». Ниедра думает, что поэзия Райниса вполне оригинальна: ни по-латышски,

ни на других языках читать подобного не приходилось. Причем Райнис в своей лирике — «индивидуалист с головы до пят».

Через годы Райнис однажды с нескрываемым удовлетворением запишет в дневнике, что первая его книга вовсе не состояла из одних «пролетарских» стихов.

...Перед нами казенная бумага. Одна из.

Телеграмма.

Майоренгоф, полицмейстеру.

Плекшан от гласного надзора освобожден повелением 9 апреля 1903. Негласный продолжен на год, о чем сообщено Рижскому полицмейстеру.

За исправника (подпись).

392

Он вернулся. Песок. Дюны. Сосны. Нырять в море, как в детство. Потом метров за пятьдесят от берега лежишь на спине, смотришь в закатное небо, — он любил купаться на закате, — видишь длинные розовые перья облаков — и не видишь, слышишь чьи-то истончившиеся голоса и смех там, на берегу — и не слышишь. Вот подобралась незаметно волна, взяла тебя на выгнутую спину, подержала и бросила, — о, как хорошо качнуло, и еще. Ты выпал из времени: качаешься в невидимом гамаке, подвешенный между прошлым и будущим, совсем невесомый.

И выходишь, досадуя, что выходить все-таки надо. Сосны высыпают тебе навстречу, краснокожие в закатных лучах, как индейцы. Сосны с тех пор, как побывали в твоих стихах, — вроде многочисленной благоприобретенной родни.

Жизнь хороша, не без удивления замечал он. Старость, взявшая было за горло, ослабила хватку, разжала лапы, потопталась в недоумении, отступила. Аспазия заметила на днях: у тебя усы торчат, как у гусара! Он усмехнулся, странно польщенный. Какой уж из него гусар! Но десяток лет он с плеч сбросил. «Хорошо выглядите», как сказал неизвестный. И чувствую себя хорошо. На редкость. Неблагодарностью было бы пропускать такие мгновенья. Не отдавать им должное. Не радоваться. Жизнь и радость со временем должны стать синонимами. Иначе зачем всё, чего ради?

Эта жизнь, этот его век, пятый по счету, не был похож ни на один из предыдущих. Только детство было так же богато впечатлениями и надеждами. За сутки успевало произойти больше всего и всякого, чем

в Слободском за месяц. Внутрь каждого дня набивалось столько событий и столько народу, что непонятно было — как всему и всем находится место: издателям и соседям по даче, поэтам и радикальным студентам, актерам и фарфоровым барышням, полицейским, композиторам, дорожным служащим, бывшим коллегам по «Диенас Лапа» и нынешним журналистам, профессорам, кухаркам, чьим-то детям и ничьим старикам, учителям и крестьянам, социалистам и реакционерам, художникам, лодочникам, светским красавицам с мушкой на щеке, надменным котам и вислоухим псам!

Можно сказать, что это все события внешние, но нет, ведь каждый стучался в душу, и некоторые бывали впущены, а уж перекинуться парой слов он не забывал даже с соседским щенком. И на все его хватало, душа оказывалась резиновой, готовой вместить прорву живых и неживых созданий — не в воображении, что было для него не в новинку, но въявь. Казалось бы — где ж тут успеть пожить для себя, для Эльзы, для любви и внутренней жизни, — но успевалось, успевалось все!

Один из новых друзей, Ансис Гулбис, издавал и собрание сочинений Гете в переводах Райниса и Аспазии, и их собственные вещи. Десять книг выпустил Райнис после возвращения из ссылки, десять книг, написанных или переведенных им. Аспазия сочинила, наконец-то, новую пьесу, «Серебряное покрывало» — романтическую трагедию, на удивление современную и смелую. У самого Райниса быстро подвигалась вперед новая книга стихов — и получалась она гораздо более цельной, чем первая (в поэтическом сборнике должны быть интрига, завязка, действие, развязка — как в драме, думал он).

Еще Райнис работал над, как ни странно, оперным либретто. Ни он, ни Аспазия толком не знали, как это делается. Но пример вагнеровских опер, особенно из «Нибелунгова кольца», завораживал. Почему латышская древность не может вдохновить так же, как Вагнера вдохновляли арийские мифы? Конечно, Райнис едва ли взялся бы за незнакомое дело, если бы не объявленный конкурс. Требовалась добротная литературная основа для первых латышских опер. В конце концов кто из латышей сочинял оперные либретто раньше? Никто. Почему бы не попробовать? Устроители конкурса и темы подсказывали на выбор. В том числе — сказание о Лачплесисе...

Объявление о конкурсе Райнис прочел давно, еще в Слободском, но за либретто взялся только здесь, в Латвии. Работалось как-то странно, рывками. «Вряд ли кто мог бы себе представить, что гордая, прекрасная Спидола родилась в грязной, неухоженной гостиничке в Даугавпилсе»,

— напишет потом автор. О Спидоле речь еще впереди. Пока же заметим, что первый акт у Райниса получился. «Хоры! — напоминала Аспазия. — В опере очень важны хоры!» Пожалуйста. Это и он понимает. Вот вам тексты для хора. И даже сцены, где вполне уместен балет.

394

Может, и написал бы он требуемое оперное либретто. Образцы имелись, и опер он переслушал в Риге и в Петербурге немало. Но ему сделалось тесно в предложенной форме почти сразу же. Нужно было столько сказать — если уж вообще начал говорить. Он остановился после первого же акта не от недостатка, а от избытка идей. Руки опускались при мысли, что надо заканчивать, почти не начав. Меж тем подходили и проходили назначенные конкурсной комиссией сроки. А когда время подачи работ на конкурс продлили, Аспазия принялась его теревить (и хорошо сделала. Без ее подстегиваний и уговоров он бы, пожалуй, остался навсегда автором только начал и середин: планов, набросков у него всегда было множество, — чтобы продолжать, всегда требовался внешний толчок). В Елгаве, дней за десять, он написал второй акт. Отдал то, что получилось, на конкурс, и очень обижался потом, что половину либретто не отметили премией.

Еще через год работа стремительно, в два-три рывка, была закончена. И оказалась никаким не либретто, а первой драмой Райниса. И началом нового латышского театра.

Итак, он сочинял эту драму, «Огонь и ночь», пополнял новыми стихами свою вторую книгу («Посевы бури» — ее окончательное название), переводил Гете, писал для газеты, составил объемистый сборник «Труд» с участием многих литераторов. Он успевал думать, жить внутренней жизнью ничуть не менее интенсивно, чем в ссылке: время все-таки — самая загадочная вещь на свете, растяжимость его пугающа. Способ мыслить сложился еще в предыдущих жизнях: то была чисто сократовская манера спрашивать, спрашивать непрерывно, назойливо как дитя: вопрошать богов и демонов, космос и землю, во всем сомневаться, добиваться ответов, — в том числе от себя. Иногда Райнис думал: что такое старость? «Это когда ответов больше, чем вопросов». Бедные старики. Разучившись учиться, они так любят поучать. Они перестают сомневаться в своей хронической правоте в тот самый момент, когда становятся хронически неправы. Неужели и мне это предстоит? «Вряд ли я успею стать стариком».

Это время, вместимость которого оказалась на порядок выше обычной, впервые освободило их от карябающих, как наждак, материальных проблем. Нужда взяла да отпустила. В это почти не верилось — но так было. Несколько тысяч от истаявшего отцовского наследства все-таки вернулись от должника. Теперь в Меллужи они с Аспазией строили дом. Первый в их жизни собственный дом. Рядом с морем. В дружественном окружении сосен. «Слышишь ты, как оно шумит?» — спрашивал он Аспазию из Слободского. Какое счастье — свой дом. Свой дом у своего моря.

Среди знакомств одно выделилось сразу. Забавный случай послужил началом. Райнис побывал в гостях у Луизы Скуениеце — одаренной женщины, писавшей, между прочим, театральную критику, вдовы писателя Венску Эдварта и сестры Адольфа Алунана, драматурга. В гостях он забыл трость. Пятнадцатилетняя дочь Луизы Скуениеце, Бирута, принесла забытый предмет рассеянному поэту. Вошла, протянула, выпалила: «Здравствуйте, вот ваша трость!» — повернулась и стремглав бросилась из дому. Мать строго-настрого наказала ей не пускаться в долгие разговоры с знаменитыми поэтами. Оба, Райнис и Аспазия, были кумирами гимназистки. Она сама уже пыталась писать стихи и выходила на сцену.

Вскоре Аспазия получила письмо, которое, смеясь, прочитала вслух Янису. «Уваж. господа, пока Вас не было в Риге, у меня случилось большое несчастье: мой учитель г.Малдонис запретил мне играть в театре. Сказал, что я слишком молода для этого. Совсем я не «слишком молода»: как-никак, уже 15...» В другой раз она добавляла: «Не думайте, что та, кто пишет Вам сейчас, все еще та маленькая девочка из прошлого года. Она уже куда больше и понятливей, носит заколки в волосах и с удовольствием носила бы юбку с шлейфом в три аршина».

Они подружились. Все трое: Бирута Скуениеце, Аспазия, Райнис. Аспазия дружила снисходя, с редкой для нее терпимостью относясь к детским глупостям и шалостям Бируты: как-никак, девочка ее обожала. Райнис стал гимназистке другом всерьез; как всегда, он относился к ребенку доверчивей и сердечней, чем к любому взрослому. Аспазию стали обожать немного меньше, в Райниса влюбились. Влюбился и он. Как бы в шутку. Все у них было не всерьез, кроме дружбы, — никогда в доме так много не смеялись!

На сцене Рижского латышского театра в сезон 1903—1904 гг. гимназистка играла Руточку в «Потонувшем колоколе» Гауптмана. Пьесу перевел на латышский Райнис, она произносила написанные рукой друга

слова. Вскоре она сыграет в премьерe «Серебряного покрывала» Аспазии. Больше четверти века *Руточка* (так они стали ее называть) играла в пьесах Аспазии и Райниса, читала их стихи со сцены.

Блауманис, побывавший в гостях у Райниса и Аспазии, написал своей близкой знакомой, что видел счастливых людей. Это нужно запомнить. Да, Райнис не то что легко впадал в отчаяние, — он годами из него, можно сказать, не выпадал. Но ведь и беды, напасти осаждали его не поодиночке, — набрасывались стаей, рвали на куски. Посмотрите: впервые ему, кажется, хорошо, и что ж? Он не хуже других умеет быть счастливым, он и не думает жаловаться и стенать, — с какой стати?

И не то чтобы все безоблачно на их горизонте. Какое там! «Диенас Лапа» напечатала рецензию на книгу Райниса, там довольно прозрачно говорилось, к чему она зовет. Начальник Главного управления по делам печати пишет министру Внутренних дел: издание газеты следует приостановить на восемь месяцев. Рецензия на книгу Райниса — чуть ли не основной довод. Приостановили.

Через год «Петербургас Авизе» печатает стихи Райниса из новой книги. В Главное управление по делам печати поступает донос Г. Виссендорфа, тот усматривает в стихах «прямой призыв к ниспровержению существующего государственного строя». Газету закрывают.

Новый латышский театр думает повторить осенью 1903 года постановку «Полуидеалиста», не имевшую успеха весной. В назначенный день двери театра заперты: спектакль откладывается на неделю «по независящим от театра обстоятельствам». Через неделю на дверях опять замок. Наконец, зрителям возвращают деньги за купленные ими билеты.

«Полуидеалиста» решили поставить в Лиепае. Жандармский полковник Кладо, тот самый, что когда-то приказал произвести обыск в паневежской квартире помощника присяжного поверенного Плекшана, докладывает в Петербург: меры приняты, *«спектакль хотя и состоится, но с другой пьесой»*.

«Далекое отзвуки» запретили периздавать. Композитор Эмиль Дарзинь написал музыку на текст из первой книги Райниса — «Былое». Песню не включили в программу концерта. Вернее, включили, да вычеркнули. Побоялись.

Все это было, однако, в порядке вещей, злило, но не вводило в уныние. Враги поступали по-вражески, и по-своему, по-вражески, были правы.

Из воспоминаний поэта Карлиса Скалбе. «1905 год поднял Аспазию и Райниса на вершину славы. Как поэтические король и королева они

были всюду упоминаемы, хвалимы, прославляемы. Как подобает королям, у них был свой двор. Многие суетились вокруг, надеясь перехватить хоть что-нибудь от блеска их славы...

В тот год летом я однажды приехал к ним в Юрмалу. В Меллужи, на Александровском проспекте, рядом с сосновым бором, среди пней стояла небольшая дача. Нижний этаж сдавался дачникам. Хозяева жили наверху. У Аспазии в одном конце была комната с кроватью, столом и стульями. Еще сверкнуло в памяти стекло какого-то зеркала. Райнис обитал в еще недостроенном крыле, там и писал. На каком-то ящике стояла керосинка, на ней — кастрюля, в которой тушилась утка с горошком. Жизнь двух поэтов была исполнена чудесной сердечности. Богемную скромность скрашивал юмор. За завтраком мы метали жребий — кому достанется колбаска, одна на троих. С зеленой плетеной корзинкой Аспазия шла за провизией по магазинчикам взморья. Башмачки ее бойко постукивали по доскам тротуара...»

Аспазия была тоже счастлива в эти два, два с небольшим года. Наконец-то она в своей стихии — царит и блистает в лучах юпитеров воображаемых и реальных, в лучах славы законной, выстраданной. Она — в центре общества, на возвышении, первая из первых. Ревности к успехам Райниса она не испытывала: и его книга, и его пьеса, и его «Фауст», и сам он были ее созданием. Никто ничего не дарил ей — все завоевано и отнято у судьбы, у врагов, выстрадано и выстроено назло клеветникам, зоилам, завистникам. Она, как прекрасная Гуна в ее новой пьесе, победила даже силу тирании: вся империя была против них — они устояли. Как она радовалась, что родная мать, гимназические подружки, вся бесчисленная родня, готовая ноги об них вытирать когда-то, что могущественные мужи из театральной и прочих комиссий, из Рижского латышского общества, — все, все, все, кто изгонял ее отовсюду, кто поносил ее, кто гнал и улюлюкал ей вслед, посрамлены и не могут не признать своего поражения.

Да, она была королевой, она ощущала себя королевой и королевой видели ее окружающие, королевой безоговорочно признавал ее и муж, король-Райнис, — что еще нужно? О, нужно-то многое. Нужно, чтобы театр поставил ее новую пьесу, а там бояться. И тогда Райнис, нервный, часто нерешительный Райнис едет в Петербург, к старику Ремикису, и уговаривает его пропустить драму на сцену. Цензурное разрешение (которого ни в жизнь не видать бы им на месте, в Риге!) обещано, и с торжеством он возвращается в Меллужи. Да, это жизнь. И борьба. И победа.

Вернемся в четвертый год, в тысяча девятьсот четвертый: в январе — нападение японцев на Порт-Артур; русско-японская война, начавшаяся в немыслимой дали, на другом конце земли, тут же почувствовалась и в Риге. Война была несчастная, с очень недолгим и очень внушенным приливом патриотических чувств: поддерживать их весьма мешала отдаленность театра военных действий.

В «Серебряном покрывале» Аспазии король тоже вел войну, и тоже неудачную. *Железная дева* была противником того, сказочного короля, и ее таинственность и непонятность перекликались с таинственностью и непонятностью узкоглазых, маленьких желтых людей, неизвестно почему побеждавших там, за десять тысяч верст.

Рудольф Блауманис, прочитавший пьесу в рукописи, пришел в восторг. Ничего подобного, говорил он, в латышской драматургии еще не было. И у немцев до таких высот мало кто добирался.

Райнис был тоже доволен и горд. Пьеса замечательная. Некоторые романтические монологи он бы подсократил. Демонический хохот и удары грома тоже использовал бы экономнее. Но грех придирааться, — Эльза действительно мастер. Как соразмерно все, как продуманно! И, конечно, прекрасней всего — сама Гуна, ясновидящая, пророчица. Как все главные героини Аспазии — ее автопортрет. О, как он ее узнавал!

— Ты! Что ты знаешь о моей тоске?! — говорит она матери, *старой Карге*; ах, и родная матушка Эльзы должна будет поеживаться на представлении; многие родители и вообразить не могут, как больно умеют дети через десятилетия отомстить за свои давние обиды.

*Иди взгляни в ночи на метеор,
Летающий в вихре огненном с небес
От дальних, неизведанных миров.
Спроси его, кто я, куда стремлюсь!*

Вот она призывает смерть:

*Я вся твоя, несущая тебе — себя,
Возьми мою непрожитую жизнь.
Ни миру я, ни он не нужен мне,
Мое призванье — вечность...*

Вот она кричит в неистовстве возлюбленному: «Ты никогда меня не понимал!» — и это уж прямая цитата из их давнишнего спора, давно заслоненного десятками других ссор и примирений. «Милые бранятся — только тешатся», вспомнилась вдруг поговорка, слышанная во Пскове. Непонятно, но верно.

Принцу, упрекнувшему Гуна: он никогда не слышал ее смеха, — она отвечает:

*Не бойся, я у пташек поучусь,
Порхающих у нас над головой.
Весною я раскинусь на траве,
Грудь обнажу, чтоб свет прошел насквозь.
Пусть солнце заплутает в волосах,
А пестрые букашки по рукам
Текут моим. Я стану молодой —
И рассмешу тебя, и рассмеюсь...*

Раньше с тобой были небеса, — говорит жестокий принц, — а теперь что у тебя осталось? — Земля, — отвечает Гуна.

*Я жду теперь, я жажду как земля.
Не сам ли ты — виновник превращения?
Просил любви? Люблю. Что ж испугался?
Я голая, горячая земля.
Я прихожу, несомая грозой,
Мой взгляд пьянит, душа моя как вихрь.
Грешны, грехом пылают мои губы
И счастье счастливых очи излучают...*

Да, это Аспазия, это Эльза. Ему ли не знать, что умеет она быть и вакханкой:

*Слова слетают с уст как во хмелю,
И мысли скачут пред тобой вприпрыжку.
Приди! Целуй меня, целуй, целуй!
Пей душу, разомлевшую от зноя.
Нектар такой не снился и богам,
И для чертей напиток слишком крепок...*

Сказать ли? Янис до сих пор робеет такой страсти как школьник. Верней сказать, не он, а что-то в нем робеет, сопротивляется; глубоко и навеки, видать, заложила мама свои деревенские табу, и нелегко с ними. Он порою стесняется своего стеснения, неспособности свободно открыться этому жару, этому вихрю.

Премьера «Серебряного покрывала» состоялась 27 января 1905 года в Новом латышском театре в Риге.

Гуна (имя — того же корня, что и латышское слово *uguns* — огонь) отмечена свыше. Богиня при рождении дала ей серебряное покрывало:

смотрящий через волшебную ткань видит прошлое и будущее, суть всех вещей. К ясновидящей валит народ — за чудом, за помощью. Предприимчивая мать Гуны берет с проходящих мзду, о чем дочь не догадывается. Появляется принц Нормунд. Любовь для Гуны запретна: чудесная сила покрывала исчезнет, если она поддастся соблазнам жизни, таково предсказание и условие дара.

Гуну призывает к себе король, ведущий крайне неудачную войну с Железной девой. Ясновидящая должна при стечении народа назвать виновников военных неудач: это лентяи, трусы и нытики, — и предсказать скорую победу. Гуна говорит толпе: вы ищете виновника? Вот он! — и указывает в сторону трона.

Когда-то Аспазия писала Райнису, что ради него оставила в Паневежисе даже свои лавровые венки, а тот утешал ее в ответ: ничего, мы их привезем, а еще лучше — заслужим новые.

Так и вышло. Были новые лавры, куда пышнее прежних. Был успех, несравнимый ни с чем. Теперь уже не всегда и сообразишь, какие именно реплики, какие слова понимались как указание на злобу дня, но тогдашний зритель воспринимал обостренно каждый звук, летящий со сцены. Что уж говорить о жесте Гуны, указывающей на венценосца: вот виновник всего.

За восемнадцать дней до премьеры было 9 января — «кровавое воскресенье» в столице Российской империи. 13 января стреляли в рабочих на берегу Даугавы — здесь же, в Риге. 80000 человек вышли тогда на демонстрацию... Революция Пятого года уже началась. И тут подспела Аспазия с «Серебряным покрывалом». В театр было не попасть. В газете советовали крестьянам, прибывавшим специально на этот спектакль со всех концов Латвии, заказывать билеты заранее, чтобы не проделывать напрасно такой путь.

Очень молодой критик Янкавс писал в «Диенас Лапа»: «Как раз в местах, где звучит призыв идти от дома к дому, от окна к окну, будить дремлющих, возвещать о приходе весны тем, кто еще не проснулся после зимней спячки, публика откликнулась живым восторгом. Огонь, зажженный автором, находит готовый горючий материал в сердцах зрителей, зажигает их...» Янкавс. Ему лет восемнадцать. Не забудем это имя.

Место, о котором упомянул критик, — почти нескрываемая цитата из поэтической книги Райниса:

*Иди, дитя мое,
И как бы ни был спящих сон глубок,
Как бы морозы землю ни сковали,*

Иди от двери к двери, от окна

К окну...

Многие в зале слышали эту переключку двух поэтов, отзывались и на нее.

Может быть, самым внимательным зрителем спектакля был Райнис. Внимательным. Постоянным. Ревнивым. В это самое время, не без влияния неслыханного успеха жены, он торопливо дописывал «Огонь и ночь»: драму, в которой царит безраздельно почти та же героиня.

Первая книга стихов, к которой он пришел с таким запозданием, обеспечила ему первенство в латышской лирике. Если не впереди Аспазии, то наравне с нею. «Полуидеалист» оказался не столь убедителен. Требовалось доказать, что он и в драматургии способен одним махом вырваться вперед. Оставив за спиной всех, даже Аспазию. Прежде всего Аспазию: других соперников он не видел, замечательного Блауманиса почти не принимал в расчет: его пьесы обоим казались слишком приземленными, бытописательскими. Сам Рудольф Блауманис, хваля и славя Аспазию и Райниса, оставался верен себе, своим крестьянским сюжетам. Какая удача для латышей.

Сюжет Райнис взял готовый: «Лачплесиса», латышский эпос, воссозданный Андреем Пумпурсом «по народным сказаниям и мифам». События книги наш поэт берет почти не меняя, правда, с отбором. *А народного певца Пумпурса* делает одним из персонажей.

Лачплесис — богатырь, «разрывающий медведя» (так переводится его имя), — и сам медвежьего рода. В медвежьих ушах заключена его сила. Древний, подлинный мифологический мотив. Время действия — начало тринадцатого столетия: «Немцы уже появились, но еще свободны латвы».

Лачплесис сильнее всех людей на свете. Ему суждено поднять со дна озера утонувший Замок света — залог народной жизни и свободы. Но первая, с кем мы встретимся по ходу действия, — Спидола. Девушка, прекраснейшая на земле и под землей, в аду. И притом ведьма.

Ведьма она и у Пумпурса. И там, в эпосе, и тут, в драме, Спидола под конец «исправляется», раскаивается в содеянном зле и становится союзницей Лачплесиса.

Но с первых же шагов у Райниса дело обретает иной размах. После замечательной сцены с девушками-прядильщицами, после буйной пляски юных ведьм с чертями в замке старого латышского вождя Айзкрауклиса (Спидола — его приемная дочь) появляется посланец ада, Черный рыцарь. Он с поручением к Спидоле: она должна

Сгубить того, кто вскоре к вам придет.

Кто, полон дикой смелости и силы,

Готов потрясть основы нашей тьмы.

Спидола.

Но если он могуч, как ты сказал,

И силы зла обезоружить в силах,

То как же с ним я справиться смогу?

Черный рыцарь.

О, у тебя другое есть оружие,

Другая власть: ты краше и свободней

Всех на земле и даже в преисподней.

Что грубой, низкой силе не дано

Ни одолеть, ни приручить, то могут

Гармония и счастье, полнота

Блаженства и — забвение. Да, счастьем

Ты завлечи его и убаюкай

И сразу, после первой же победы,

С небес его на землю опусти.

Смири его, заставь забыть тревоги,

Борьбу...

Спидола наделена таинственной свободой и сверхчеловеческой, сверхдьявольской властью. И Черный рыцарь, при виде которого трепещут ведьмы и бесы, должен мириться с ее дерзостью. «Я пришел с заданием к тебе», — говорит он Спидоле при встрече. Ответ:

Сама себе задание я,

Другого нет.

Ему же, полномочному посланнику ада, она кинет в лицо:

Ты раб, а я свободна.

Ты, сам холоп, холопски заставляешь

Холопствовать других. Ты мне противен!

И дальше:

Мне все покорно. Все вы без меня

Бессильны!

Не раз и не два звучит из ее уст:

*Я всех прекрасней, всех свободней
И на земле, и в преисподней.*

Формула, принимаемая всеми вокруг безропотно — как данность.

Мускульные усилия людей и целых народов — ничто, если сила не одухотворена красотой. Не только красотой — всем тем, что несет в себе Спидола: дар волшебства и дар творчества, поэзия, культура. Но и Спидола неполна без Лачплесиса. Истинное царство Спидолы — вечность. Не пустопорожня — дышащая, теплая, включающая загадку жизни и смерти. Однако ж и там, в вечности, ей нечего делать без своего героя.

Спидола может встать — и встает — на сторону зла. И может сделать иной выбор. Делает его позднее на наших глазах.

Символика драмы иным до сих пор представляется слишком сложной, иным же — напротив, слишком откровенной, плакатной, чуть ли не примитивной. И если допустить, что правы и те и другие, что и крайняя простота и крайняя сложность выглядывают из одних и тех же строк, то без ведьмы Спидолы и здесь не обошлось.

Райнис не раз утверждал, что написанное им не почерпнуто из других книг. Что его идеи — не производное от чужих идей. Что и своих персонажей, и свои замыслы он берет из гуши жизни. Из природы. Что он всегда писал и пишет с натуры. Он на этом настаивал.

(На самом-то деле книги, мировая библиотека и спрессованный в ней опыт поколений давно уже сделались для каждого из нас такой же частью природы, как деревья и горы, моря и ручьи. Райнис из них тоже черпал, да еще как — полными пригоршнями).

Но Спидола, уж конечно, писана почти целиком с натуры. Он рисовал Аспазию: и ее идеальное представление о себе, и подлинный ее характер — взбалмошный, страстный, горделивый, ревнивый и собственнический, неудержимый в любви и вражде, изменчивый и верный себе, насквозь женственный, эгоистичный и самоотверженный.

Мать и обе сестры угадываются в Лаймдоте — воплощении мира, домашнего очага, родины. Он писал своих героинь с тех четырех женщин, которых к тому времени знал.

С натуры написано и многое другое. Когда Петерис Стучка в драме Райниса прочел слова предателя Кангарса о Лачплесисе: «Он мой друг юности», — то понял, холодея, каким способом решил мстить за себя друг Янис.

Заканчивал Райнис драму летом, на взморье. Страшно мешали гости, званые и незваные, поток их был беспрерывен. Спасался поэт старым испытанным способом: бегством. Утекал с листочками бумаги и карандашом в дюны, пристраивался где-нибудь под сосной, прислонясь спиной к ее гулкому теплому стволу, с которого отшелушивались рыжие чешуйки, тоже теплые, сухие и чистые. Исюда забредали люди. То парочка вчасос целовалась у ближней сосны, то налившийся пивом толстяк освобождался от лишней влаги и дико смущался, обнаружив чужое присутствие (нечаянному свидетелю было не легче). Струились также поблизости муравьи, но темно-рыжие эти ручейки перетекали беззвучно. Здесь можно было работать! Привычка выработалась еще в Слободском. Зима его запирала, как тюремщик, в четырех стенах, зато летом он должен был вволю и впрок набраться свободы, внешнего воздуха, вливая с каждым вдохом всю широту окрестного пространства. «Мне надо много любви», — писал он когда-то Аспазии; ему надо было и много воздуха, много моря, много солнца. Камеры четырех тюрем (то он был в них, а теперь они, затаясь, — в нем) все время подновляли изнутри ощущение свободы, добавляли ему остроты.

Да, здесь, *на пленёре*, как говорил он посмеиваясь знакомым живописцам, можно было работать. И когда в пьесе кто-то там то-ропливенько слизывал предсмертный плевок Кангарса, а с ним и саму заразу предательства, Райнис, хмыкнув, говорил знакомым муравьям: «Видали? Не вы одни работяги, я тоже кой-чего стою!» И сладко потягивался.

Продолжался роман Райнис-Аспазия-Бирута Скуениеце. Девушке уже было семнадцать, о ее успехе в «Серебряном покрывале» писали в газетах. Как и прежде, она была всегда, хронически влюблена: в Райниса, в Аспазию, в театр, в революцию.

Из воспоминаний Аспазии: «Счастливые были времена, короткий солнечный всплеск перед бурей! Мы бродили втроем по тамошнему сосновому бору, играя как дети, и Райнис брал на руки и укачивал «маленькую Ручочку», легонькую, как сосновая шишка. Множество значительных личностей посещали нас тогда... Ручочка была дитя нашего дома — так и представлялась всем и каждому».

Едва Райнис успел закончить пьесу, как все окончательно сорвалось с петель, и время и пространство, дни-ночи замелькали, как телеграфные столбы за окошком курьерского поезда, сливаясь в сплошную мельтешню света и теней.

ДВА АНГЕЛА (1905 ГОД)

Красными, багровыми были небеса во многих частях Российской империи и через три, и через пять часов после заката: горели помещичьи усадьбы. Горело где-нибудь каждый день и каждую ночь: тушили на западе — загоралось на востоке, ведрами и из шлангов заливали на юге — вспыхивало на севере.

Каждый день тысячи и десятки тысяч бастовали, выходили на демонстрации в городах, шумели на деревенских сходках. Все кипело, как в разворошенном муравейнике. Но муравейников такого размера на земле не видывал никто.

В балтийских провинциях, в особенности в областях, населенных преимущественно латышами, события принимали, по докладам растерянных властей, крайне злокозненный, злокачественный характер. Учащались стычки с полицией, в руках рабочих и даже селян появлялось оружие. Поджоги, убийства на селе учащались, помещики криком кричали о помощи, но помочь всем и всюду одновременно не было возможности. Противники самодержавия были неуловимы и вездесущи; твердая, безжалостная рука направляла, казалось, слепую ярость толпы. Толпато, может, и была слепой, но поводирь — зрячим.

Ни Райнис, ни тем более Аспазия не были этой «железной рукой». Но может быть, они были душою происходящего — особенно в первое время, покуда немислимая, слепящая надежда увлекала, тащила за собой людей — иной раз, кажется, вопреки их воле. Не королем и королевой они мне представляются, нет: точно два немолодых, сильно потрепанных ангела витали они над той революцией, вливая в жилы соплеменников энергию воодушевления и мечты — чистота тогдашних надежд и помыслов не повторится уже никогда. Откуда в людях вдруг берется эта

безоглядная смелость, самоотречение, мальчишеская готовность умереть, но доказать, — притом не в мальчишках одних, далеко не в мальчишках. Откуда свет, брызнувший из их глаз? И не рассказывайте мне, что так светится и сияет ненависть. Будут и ненависть и злоба, будут жестокость и страх, но те горят другим огнем, а ведь поначалу вела вперед именно надежда — отчаянная, неправдоподобная, надежда на чудо, — она в людях, обреченных на полурабскую долю, сама была чудом.

Напомню, что в последний раз пращурь латышей дрались с завоевателями и поработителями столетия назад, в тринадцатом веке. С тех пор попытки освободиться от ярма делала бесполезными мощь целых государств; подневольная жизнь казалась безвыходной и вечной. В других землях, у других народов складывалось как-то иначе: завоеватели или уходили с добычей восвояси или, оставаясь, через два-три столетия так или иначе сливались с завоеванными, принимали их язык и обычай или навязывали свои. В Латвии граница между чужеземными господами и исконными жителями осталась непереступимой. Для латыша был только один способ преодолеть эту границу: перестать быть собой, сделаться *тоже немцем*, перетащить на сторону врага и все последующие поколения своего рода, внуков и правнуков. На сторону врага? Врага. Все-таки и всегда — врага в народном сознании: поработителя, чужака, изверга. И ответная враждебность — соединенная с сознанием кастового превосходства; причем *немецкость*, обретенная при рождении вместе с рыцарским достоинством или без него, была тоже привилегией, отличием, которого у вас не отнять.

Кто бы ни приходил сюда — шведский король или поляк Стефан Баторий, датский принц Магнус или русский император Петр Первый, земля и власть над животом и смертью крестьян оставались у балтийских баронов. Было время, когда тысячи латышей толпами переходили в православие: может, русская вера спасет их? Нет, не спасла. Тысячами же перебирались в другие губернии, когда можно стало; начинали жить от ничего, с нуля. Был и высказывался даже план — всем народом переселиться куда-нибудь на другой материк, в Южную Америку или там в Австралию, — только бы спастись от железного неумолимого гнета, от упырьей жуткой власти, оседлавшей их семьсот лет назад.

И если свет безумной мечты, радости и надежды преобладал поначалу в тысячах и тысячах восставших, если они верили и хотели верить обещаниям свободы и счастья, если готовы были умирать, чтобы другому зажили наконец их дети и дети их детей, — чья рука поднимется, чтобы кинуть в них камень?

Еще весной Райнис закончил новую книгу стихов — «Посев бури».

*Жребий брошен, —
Мчитесь вперед, вихри!*

Вся книга была одной сплошной метафорой. Метафорой, бравшей начало еще в первом сборнике: ледоход, «зубы солнца» вгрызаются в толщу льда, долгой власти зимы и стужи пришел конец. Врожденное солнцелюбие, теплолюбие Райниса, буйная, хмелящая радость обновления сделали метафору живой, при всей простоте. Звон и скрежет ломающихся льдин, даже запах талого снега присутствовали в ней, музыка ранней весны захватывала.

*Я не боюсь! Не сгину
На яростном ветру.
И в жизни не погибну,
И в смерти не умру.*

Только с таким ощущением неуязвимости, с детской верой в физическое бессмертие и можно, наверно, бросаться очертя голову в бой, столь отчаянный, столь смертоносный.

*Прежним ничто, ни за что не останется,
Жизнь по-старому не потянется.
Ждете напрасно: еще, мол, чуток —
И в прежнее русло войдет поток.*

*Льды расколоты не до конца,
Жизни и воли жаждут сердца.
Ни прежней яви не будет, ни снов, —
Все обновится до самых основ!*

«Смерть, где твое жало?» — евангельский вопрос звучит в еще одном райнисовском стихотворении. И в самом деле начинает казаться, что эти неотступные, гипнотизирующие, заклинающие ритмы жало у смерти если не вырвали, то обезвредили. Хотя бы на время.

Стихи Райниса переписывали из книги, они печатались и цитировались на страницах газет, в сборниках и альманахах, календарях (а в латышском доме, если даже там не было ни единой книги, календарь присутствовал всенепременно, наравне с молитвенником). Десятки песен были уже написаны на стихи Райниса и Аспазии. Актер Екабс Дубурс составил целую программу — несколько десятков стихотворений Райниса и Аспазии, песни на их слова. Начиная с июля 1905 года он

выступал с этой программой, повторив ее более десяти раз перед тысячами слушателей.

Между тем способ распространения новостей еще оставался во многом прежним, вековым, — когда со скоростью телеграфа сообщение, новость, слух достигают всех ушей. Услышанное одним мгновенно делалось достоянием сотен. Стихи Райниса в Пятом году распространялись, можно сказать, с быстротой, с какой расходится деревенская сплетня. Они звучали на собраниях и сходках. На кладбище, опуская в могилу павшего товарища, остающиеся прощались с ним райнисовскими стихами.

Романтическую сторону латышского восстания, окрыленность, надежды, столько же яркие, сколь неопределенные, воплощали Аспазия и Райнис. А была и проза, была та самая железная рука, о которой говорили и в замке генерал-губернатора, и в Зимнем дворце.

Главным идеологом социал-демократов был анонимный автор, печатавший свои статьи под странным псевдонимом «Параграф». Иной раз он подписывался и просто значком: §.

Еще в апреле в журнале «Социал-демократ» Параграф писал: «Мы — партия сознательных борцов за освобождение пролетариата, и не раз мы уже говорили о том, что грядущая революция должна быть (в большей или меньшей степени) руководимой сознательно. Мы, конечно, понимаем, что повода к революции из ничего не создадим, но от нас, людей, зависит, как понять и использовать те или иные обстоятельства, определить время, составить план нашего участия в деле, направлять ход революции».

В серии статей «Политическая свобода» тот же автор объяснял: «Если нашему, т.е. социал-демократическому движению до конца революции будет принадлежать ведущая роль, тогда волей-неволей нам придется брать власть в свои руки, но только в том случае, если наше слово будет действительно решающим». И дальше объяснялось: прежде всего на местах нужно ликвидировать органы власти, заменив их тут же революционными учреждениями. Следует добиться роспуска регулярной армии и вооружить народ. Позже может идти речь о выборах самоуправлений в масштабах волости, города, а затем и всего края. Никакие реформы, учил Параграф, нас не устроят: «Удовлетворить требования пролетариата можно единственным путем — революционной борьбой».

Очень немногие знали, что под гениально скучным, ускользающим от внимания псевдонимом «Параграф» скрывается Петерис Стучка.

— Ты, конечно, приехала в Ригу не для того, чтобы со мной повидаться? Не только для этого? — говорил Райнис сестре, не сводя с нее испытующего, неласкового взгляда.

Дора смешалась.

— Хорошо. Но Петерис не в Риге? На это ты мне можешь ответить?

— Петерис в Витебске. Ты же знаешь, ему запрещен въезд в университетские города, в балтийские провинции тоже. Еще тогда, в девяносто седьмом кто-то донес в Петербург, что Латвия хочет отделиться от империи и что вероятный претендент на трон *латышского короля* — адвокат Стучка.

— Тогда и я должен бы претендовать... Но ведь он наезжает сюда, я знаю. В прошлом году провели учредительный съезд партии — я узнал об этом случайно через неделю. В этом году опять съезд... А кроме того, он ведь в ЦК?

— Ты должен понять. Конспирация. Не можем мы действовать так же по-детски, как тогда.

— Ага. И теперь ты, конечно, прибыла в качестве связной? Можешь не говорить ни «да» ни «нет», я не набиваюсь на откровенность. Но послушай. Неужели им не совестно полностью игнорировать меня?

— Ты не всегда справедлив. Ты почти всегда несправедлив к Петерису, и ты не можешь представить себе, как тяжело он это переживает. Он... он наизусть помнит множество твоих стихов! И цитирует их без конца в печати, в выступлениях... Даже на заседаниях ЦК!

Она проглатывала окончания слов, точно торопясь, но так оно было всегда — в детстве тоже. И у него была такая привычка. Издали он мог от нее отталкиваться, не любить ее больше, почти вычеркивать. Вблизи все летело к чертям, все решения. Он узнавал ее не умом и даже не душою, а всей своей жизнью, не исчезнувшей, оказывается, а сложенной в нем, со всеми узелками. Он мог бы не глядя узнать ее — порами кожи, безошибочным ощущением родства. Если б у них с Аспазией были дети, он чувствовал бы их, наверно, так же. Дора оставалась частью его существа, как ни странно. Так бывает, говорят, с близнецами, но какие же они близнецы?

— Янцис упоминал, что у тебя была хорошая встреча с Максимом Горьким? — перевела сестра разговор на другое.

— Была. Была и хорошей... я ведь его в Слободском немножко переводил. А потом он мне вдруг говорит, сильно напирая на «о»: «А я, понимаете ли, подружился здесь с вашим соплеменником, Яном Янсоном, вы ведь, кажется, знакомы? Великолепный человеческий экземпляр, доложу я вам. Каков огонь, какво обаяние!»

— Горького ведь в Риге арестовали?

— В Риге, ты же знаешь. Надеюсь, помнишь, что у меня свои соображения относительно «великолепного человеческого экземпляра».

— Разве вы не помирились окончательно?

— Мы никогда не ссорились. У всякого поступка есть свое имя, и есть вещи, которые никакими примирениями не сотрешь. Да, сейчас не время ворошить все это. Но я ничего не забыл. Кстати, — знаешь ли, что меня даже спросили: не против ли я назначения Янсона редактором подпольной «Цини»?

— А ты?

— Сказал, что не против. Вообще-то спрашивать меня об этом некорректно. «Господин N, как мы знаем, изнасиловал вашу дочь. Не будете ли вы возражать, если мы все-таки выдвинем его в судебные заседатели?»

— Ужасно, — сказал Дора упавшим голосом. — Ужасные вещи ты говоришь. Неужели ты вовсе не знаешь жалости?

— Как раз я-то знаю жалость. Не знают ее некоторые ваши деятели... Но мы заблудились, Дорочка. Не нужно нам заговаривать о некоторых вещах, — тебе больно, мне больно. Эта боль во мне как какой-нибудь гранатный осколок, застрявший у сердца. Временами из-за него дышать трудно. А вынь его — я, может, тут же помру.

— Мы были в прошлом году в Антверпене, на конгрессе Соц-интернационала, ты знал? На вокзале нас встретил Розиньш... Бебель совсем постарел, и глаза уже не так горят, иной раз вспыхнут — но ненадолго, лицо усталое... А Плеханов — тот меня даже вспомнил! После этого мы всю Швейцарию объехали, денег было как всегда в обрез, но мы все так хорошо посчитали, что в Витебск приехали с рублем в кармане и еще на извозчике подкатили к дому... К чему это я? Ах да, Швейцария. Ты не представляешь, как эта поездка все во мне всколыхнула. И тогдашний конгресс, и поляков наших вспомнила, Болеслава Миклашевского — помнишь? И... и свою тогдашнюю историю, *свободную любовь*... я ведь даже заикнуться о ней не могу Петерису, он такой разумный, такой вроде даже флегматичный на вид, но ревнив до ужаса! Он и к тебе меня ревнует. И даже, кажется, тебя ко мне... Ой, запуталась. Короче, ваша прежняя дружба — это тоже святое, и я к ней не должна прикасаться.

— Все это хорошо. но вот ты вспомнила девяносто третий год, тогдашнего Бебеля, Миклашевского. Не могла бы ты заодно припомнить, кто был здесь, в Риге, первым социалистом? Кто привез чемодан с литературой? Кто начал пропаганду? Чье детище эта самая социал-демократия, в которой Петерис со товарищи распределяют между собой посты? И свалив на меня в тюрьме всю ответственность, они теперь

обращаются со мной как с посторонним, просто-таки отпихивают от общего дела!

— Да они считают тебя лучшим поэтом пролетариата! Таким, какого нет сейчас в Европе и, может, в целом мире!

— Спасибо, спасибо, спасибо. А на съезд позвать не соизволили. В Антверпен на конгресс, извини, не меня послали. К участию в газете не пригласили. Ни по одному важному вопросу моего мнения не спросили. О Дора, милая, прости, я не хотел тебя так расстраивать. Веришь ли, я ужасно обрадовался, когда тебя увидел. Так обрадовался, как бывало в студенческие времена, из Питера приеду и вдруг вижу — ты навстречу... Я даже не знал, что все еще настолько могу обрадоваться. Нас ведь с тобой только двое и осталось.

— А знаешь, что я думаю? Что они берегут тебя. Потому и не подпускают к опасности. Они ведь знают, что другого такого у латышей нет и не будет.

— Кто это к нам пожаловал! Дорочка! Какими судьбами? — нараспев проговорила вошедшая Аспазия. Дора встала и пошла, немножко деревянно, ей навстречу.

Власти, упираясь изо всех сил, ворча и негодуя, все же отступали. Когда было разрешено обращаться в Петербург с петициями, одну из первых — от имени латышской интеллигенции — тут же написал Райнис. Не забыл, между прочим, указать, жалуясь на полицейский произвол, что «не разрешают ставить на сцене даже те пьесы, которые пропущены цензурой». (Вспомним историю «Полуидеалиста»).

Петиция с сотнями подписей ушла в столицу — и точно в воду канула. А в июне Второй съезд Латышской социал-демократической рабочей партии призвал не подавать никаких петиций: просьбами ничего не добьешься, чего-то достичь можно только силой.

16 октября началась Всероссийская политическая стачка. В тот вечер в Новом латышском театре давали «Серебряное покрывало». Возбуждение и энтузиазм нарастали с каждой «крамольной» репликой Гуны. И вдруг на сцене оказался посторонний человек, закутанный в черное. Выбежав на самый край, к рампе, он произнес пламенную революционную речь. Зал откликнулся овациями: сценическое действие слилось с драмой, бушевавшей снаружи, трон в Санкт-Петербурге шатался так же, как престол выдуманного Аспазией короля.

На другой день обнародовали царский манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»: провозглашались свобода слова,

совести, собраний и демонстраций, создание Государственной думы. Настоящая-то революция началась в Латвии с этого дня, все остальное оказалось прелюдией к ней.

Потом Райнис попытается восстановить хронику событий и происшествий день за днем, час за часом, но в это время он почти ничего не записывал: не успевал.

Социал-демократы объявили, что партия переходит на легальное положение, однако не раскрыли ни свою структуру, ни состав руководства: они ждали и жаждали войны, а на войне карты противнику не раскрывают. «Диенас Лапа» сделалась легальной газетой социалистов. Райнис ждал, что его позовут редактором. Не позвали. Стороной он узнал, что Яннис Янсон, член ЦК и редактор подпольной «Цини», самым резким образом возражал против его кандидатуры. В конце концов сам же Янсон и возглавил обе газеты.

В Риге события контролировал Федеративный комитет. Федерацию составляли латышские социал-демократы и еврейский «Бунд», позже к ним присоединились русские товарищи, они успешно работали, между прочим, в войсках, и кое-где солдатские массы близки были к бунту.

На местах все развивалось точно по сценарию, намеченному в статьях Параграфа-Стучки. Старые органы управления разгонялись, документы, списки, судебные акты предавались сожжению. Власть захватывали распорядительные комитеты, полностью контролируемые социал-демократами. Полицию разоружали. Оружие раздавалось боевым дружинам, отрядам народной милиции. Никто не ожидал, что революция на селе обгонит городские события, но было именно так. Горели замки, усадьбы — десятками, потом сотнями. В Лиепае восстали военные моряки; более ста человек тут же оказались под арестом, восьмерых расстреляли. Балтийские бароны, бросая имущество и родовые гнезда, бежали в Ригу. Многие отправляли жен и детей в Германию; пароходы глубоко оседали под грузом, живым и плачущим.

30 октября зал театра, где проходило очередное представление «Серебряного покрывала» Аспази, был как всегда переполнен. После спектакля на сцену вышла сама поэтесса. Зал встал. Когда она заговорила, настала такая тишина, какой — казалось в те дни — уже не бывает. Она говорила о поэзии и свободе. Говорила так, точно за нее говорила сама поэзия.

Может быть, увидим, услышим и мы, запомним и мы Аспазию в час ее триумфа — вдохновенную, пылкую, почти молодую, с пышной гривой разметавшихся от движенья волос. Аспазию, поднятую над целым миром волной сочувствия и понимания, единения и восторга. Тут, быть может, высшая точка ее жизни, исполнение тайных и жарких мечтаний юности: ты желала свободы и славы? Вот она, свобода, вот слава, вот общность с народом, выше которой не бывает.

Выше не бывает? Так дальше — вниз?

Нет. Ни о чем подобном она не думала, глядя близорукими глазами в темный рукоплещущий зал. Она умела насладиться триумфом. Запомнить его. Испить до капли.

Сразу после появления царского манифеста в Риге состоялся митинг, в котором участвовало не менее ста тысяч человек (так писали и пишут. Никогда я не мог понять: кто и каким способом считал, считает эти тысячи?). Распространялись листы, каждый желающий мог вписать туда свою фамилию и стать членом социал-демократической партии. Записалось 40 000 человек. Шаг этот ни для кого не был таким уж простым. Выстрелы раздавались с обеих сторон. В Московском форштадте прокатились еврейские погромы, оставив за собой сорок изуродованных трупов. Продолжались и множились аресты. В городах и поселках в противовес народной милиции состоятельные люди сбивались в отряды самообороны, группы поддержки полиции. Лютовала черная сотня.

Даже теперь, по прошествии почти сотни лет, нелегко говорить о героях и мучениках Пятого года, о палачах и жертвах. Нелегко произнести: герои и мученики, палачи и жертвы были и на той и на другой стороне. «Как? Вы царских сатрапов и их прихвостней ставите на одну доску с теми, кто жизнью жертвовал ради свободы?» «Как? Вы сравниваете обезумевшую толпу поджигателей и убийц с защитниками закона? Виновников хаоса и развала — с теми, кто им противостоял?»

Я считал и считаю, что русское самодержавие в том виде, в каком оно существовало до Пятого года, было обречено. Кто воспекает счастливую и могучую Россию начала века, тот Чехова, что ли бы, на досуге почитал. Писатель, никогда не вравший.

Так, как было, остаться не могло, — согласимся с Райнисом. Но в людской круговерти тех дней рядом с героями и мучениками попадались и мучители по призванию. Любители легкой добычи, разбоя, чужой дымящейся крови.

Можно ли, спросим наивно, быть героем, защищая неправоё дело? Если, однако, ты убежден в его правоте? Дети и женщины той, другой стороны. Те, кто их отчаянно и безнадежно закрывал грудью. Пастор, не пожелавший отречься от Бога и своего служения, поплатившийся за это жизнью. Офицер, верный своему пониманию долга и чести... Кто из них мученик и невинная жертва, кто жертва небезвинная, кто герой и были ли герои?

Не прошу, чтобы в разгар смертного боя кто-то стоял разом на обеих сторонах. Но — через сто лет? Увидеть *детей* в детях той и другой стороны, *стариков* в стариках той и другой стороны, *людей* в людях той и другой стороны? Поставить себя на их место? Ведь если не в Латвии, то в коренной России стреляли и падали, обливаясь кровью, дети одного и того же народа.

А если разных?

Или только Господь Бог в бесконечном своем милосердии способен услышать и те стоны и эти, понять предсмертную муку извозчика и баронессы, верного Ему пастора и верного своему неверию атеиста?

На селе крепкие хозяева присоединились к батракам, — вместе громили волостные правления и суды, захватывали поместья. Полторы сотни распорядительных комитетов действовали уже, *распорядились* в крае. Тайный осведомитель доносил наверх: комитеты эти не признаю т ни Бога, ни чьего-либо авторитета. Запасаются оружием, отнимая его и добывая где только можно. Прикрывают кабаки и «монопошки». Организуют и вооружают свою милицию. Вступает в силу террор.

Спустя годы П. Стучка назовет происходящее *Великой крестьянской войной латышей*. В Латвии сожжены 412 баронских замков, а во время Великой крестьянской войны в Германии, четырьмя столетиями раньше, уничтожено 1000 замков.

Социал-демократы хотели призвать к немедленному вооруженному восстанию в городах, но в Федеративном комитете бундовцы воспротивились — проголосовали против. Какая досада! «*Кровь, надо знать, совсем особый сок!*» — говорил Мефистофель Фаусту. Хотелось крови.

В «Цине» известный критик, социал-демократ Янис Асарс призывал и в разгар борьбы к некоторой человечности. Друг Райниса и друг Стучки, зубной врач и философ, литератор и революционер Паулс Дауге писал

потом: «Главная суть его, Асарса, статьи в том, что пролетарской революции нужно, дескать, быть *гуманной и корректной*. Силу применять следует только как *крайнее* средство! Дабы не проливать напрасной, невинной крови, в каждом деле, насколько это возможно, *разобраться!* Стоит даже оставлять в *неприкосновенности* частные бумаги пастора и его книги! «То же относится к личной собственности помещика, если она не представляет угрозы безопасности» и т.д.» (Восклицательные знаки и подчеркивания дают представление о всей мере возмущения, владевшего нашим уважаемым дантистом-философом). «Очень хорошо помню, как мы с т.Стучкой и другими большевистски настроенными товарищами на Втором съезде смеялись над этой мягкотелостью, — продолжает П.Дауге. — Мы-то придерживались формулы, выдвинутой в статье Стучки «Политическая свобода»: *Систематически использовать в открытой войне против самодержавия все средства, от мирного бойкота до оружия и бомб.*»

Прикроем глаза и увидим это. Стучка, Янсон, Дауге, другие *большевистски настроенные товарищи* читают друг другу, давясь от смеха (все они, по рассказам и воспоминаниям современников, обладали необычайно развитым чувством юмора): «Революции нужно быть гуманной!» «И корректной, бога ради не забудьте: корректной!» «Не проливайте, милые, напрасной, невинной крови!» «А силу... Ой, не могу! — силу, братцы, используйте только в крайних случаях!» «И пастора, бедняжку, оставьте в неприкосновенности, вместе с его молитвенником». «В неприкосновенности! Ха-ха-ха!» Здоровый хохот молодых, веселых, чрезвычайно веселых людей.

Не был и Райнис пацифистом. «*Arma virosque cano*» — «Пою мужей и оружие» — латинский эпиграф к его книге «Посев бури», вышедшей в свет как раз в октябре 1905. Но никогда он не стал бы потешаться над статьей Асарса: ему не было бы смешно при мысли о гуманности и корректности даже и в ходе революции, и под словами о непролитии *напрасной, невинной крови* он подписался бы обеими руками.

Он досадовал, что книга из-за цензурных препятствий опоздала: сплошное предчувствие грозы, а гроза уже разразилась! Но почти все стихи успели разойтись по рукам, были слышаны на митинге или со сцены.

Райнис сам выступал с речами и на сходке в лесу, и со сцены рижского Немецкого театра, на собраниях и съездах, на встрече только что выпущенных из тюрьмы политзаключенных и на литературном вечере.

Не был он никаким оратором, не обладал ни громким голосом, ни особым красноречием, но и тихий голос становится слышен, когда все замолкают. Иной раз казалось, что ему и говорить ничего не нужно — одно имя уже действовало магически. «Тех, кого еще недавно на все лады поносили в некоторых газетах, сегодня народ встречает с восторгом. Так, в городском театре одна немолодая дама бросила свою шубу под ноги поэту Райнису», — писали в «Диенас Лапа».

То была его революция. Он был тем зерном, из которого выросла буря. Один-единственный человек, нервный, измученный, вернулся когда-то из Цюриха с идеями, которые сейчас определяли жизнь и смерть сотен тысяч. Он зачинатель, пророк и певец этой новизны. Но разве можно было подумать, что все произойдет так скоро! Его народ осмелился. Его народ, быть может, станет первым в мире носителем социализма, зачинателем новой истории и морали. Чуть ли не самый забытый и несчастный народ на земле поведет за собой человечество!

Он не отказывается ни от чего. Его избирают в бюро учителей и родителей — он заседает с учителями и родителями, посылают на Съезд городов в Москву — едет в Москву. У себя в Юрмале он не пропускает ни одного митинга, хлопочет о создании боевой дружины, дает деньги на оружие, призывает других делать то же. Поздней, когда будут допрашивать участников собраний и митингов в Юрмале, почти все свидетели назовут его имя: все видели, слышали, запомнили его негромкий, неяркий голос... Ему поручали заниматься проблемами мясников на городском рынке, — поэт Райнис занимался проблемами мясников, разъяснял их нужды и требования. Будучи почти вегетарианцем.

И невозможно было отделаться от впечатления, что его затирают. Что некая невидимая сила отодвигает его от серьезных дел, от главных решений. Где-то там была настоящая власть, — его к ней и близко не подпускали. Янсон? Конечно, и он. О, как гремело имя Янсона-Брауна (псевдоним «Браун» он взял, кажется, из пьесы Гауптмана), как гремел он сам, оказываясь в центре любого скопления народа, умудряясь быть, кажется, одновременно в нескольких местах, публикуя две-три новые статьи ежедневно! Но не Янсон — ключевая фигура, он только видимая часть той невидимой власти. Стучка, член ЦК, в такое-то время оставался в Витебске... о, как его оберегают! — не туда ли тянутся нити?

Они умеют только разрушать. Захватили поместья с землей — и не знают, что с ней делать. В аграрной стране они вообще не включили в программу партии аграрный вопрос. И не по забывчивости, нет-нет, — сознательно! Вопрос о земле не то что не решался, но даже и не ставился. Логика такая: хозяевам помогать — не наше дело, а дай землю сельскому пролетарию, батраку, — он тут же потеряет свою революционность, превратится в собственника. Ну почему Райнис лишен возможности сказать свое слово! Все было бы иначе, если б...

В кипении страстей, в вихре перехлестывающих друг через друга событий, в водовороте опасностей, слухов, песен, смертей, в шуме голосов, надорванных на ветру, он не хотел и не мог отрешиться от обиды: у него отняли его кровное дело, отняли возможность влиять на события, и сделали это братья по борьбе, его ученики и последователи!

В декабре, сразу после разгрома вооруженного восстания в Москве, начался откат. Никто еще не знал о высочайшем приказе послать в балтийские губернии *все свободные полки*. Но очередная стачка захлебнулась. Пошли массовые аресты, обыски, первые карательные экспедиции. От первоначального ликования, от ослепительных недавних надежд почти ничего не осталось. Революция шла на убыль, и слухи о казнях и пытках передавались уже как когда-то раньше: шепотом.

Райнису порекомендовали эмигрировать. Бросив все. Иначе будет поздно.

11 декабря в Новом латышском театре прошло представление «Серебряного покрывала», — как оказалось, последнее. Аспазия и Райнис были в театре, и опять спектакль закончился митингом... тоже последним.

Границу переходили в Польше. Проводником был инженер Приедитис — муж Нины-Анны, той самой участницы «нового течения», к которой Аспазия долго ревновала мужа.

Через несколько дней в Швейцарии, в Цюрихе объявился господин Наглинь с женой. Высоколобый, худой, нервный. С паспортом, из которого глядела физиономия какого-то юнца.

Закончившаяся на границе жизнь была столь бурной и яркой, что ее достало бы на целый человеческий век, лет на семьдесят, и если бы растянуть ее на десятилетия, хватило бы на все тысячи дней и ночей, причем вся их материя оказалась бы насыщенной и полной.

Очередная гибель была окончательней предыдущих: он потерял все. Вплоть до имени.

Бедный, никому не ведомый Наглинь.

Бедная его жена.

Стучка по-прежнему жил в Витебске. В декабре он рвался в Ригу, но пути сообщения были перерезаны. Позже некоторые из соратников уверяли, что если бы Ветеран (еще один псевдоним Стучки) добрался тогда до Латвии, все повернулось бы иначе. Подтверждал и сам Стучка: окажись он в декабре 1905 года в Риге, «вооруженное восстание пролетариата было бы доведено до конца». (До какого такого конца, если поразмыслить? И еще: разве не говорит само это признание о размерах власти, влияния этого человека на события? Райнису в прозорливости никак не откажешь).

418

Центральный комитет ЛСДРП принял специальное решение: Янис Янсон должен немедленно покинуть Балтию. Несколько недель тот скрывался в Псковской губернии, близ станции Сущево. По рассказу хозяина, давшего ему прибежище, однажды к ним постучался гость: Петерис Стучка. Проговорили всю ночь, а наутро оба покинули дом; Стучка будто бы провожал своего друга и названного сына до финской границы. По другим сведениям, перед бегством в Финляндию Янсон провел несколько дней в Петербурге.

Когда-то — теперь казалось, столетия назад, а прошло-то всего несколько месяцев! — после объявления военного положения в Курляндии и Лифляндии газета «Циня» писала: «Революционный народ даст ответ, единственно для него возможный: «Око за око, зуб за зуб». Теперь этот лозунг был взят на вооружение противной стороной.

На Валку шел генерал Орлов с 10000 солдат. Облеченный генерал-губернаторскими, то есть почти неограниченными полномочиями. Теми же правами были наделены еще два генерала. Так что в двух губерниях, замечали не без юмора сами начальствующие лица, одновременно действовали пять генерал-губернаторов.

Око за око... Мстили за пережитый страх, за свою недавнюю слабость, за сожженные замки, за погибших. Ока за око показалось недостаточно, и мало было зуба за зуб.

Карательные акции куда страшнее войны, где приходится считаться с ответными действиями. Убивать не получая отпора значит звереть. С ужасающей быстротой безнаказанность развязывает в вооруженных людях спрятанную, подавленную до поры звероподобность. Человек, загадка для себя и других, имеет не одну разгадку. Но одна из обиднейших — дьявол, палач и мучитель, то ли притаившийся где-то внутри, в подвздошь, то ли заносимый, как вирус, извне и захватывающий толпы как эпидемия. «Не щадили ни женщин, ни детей, ни больных, ни старцев. Схваченных пытали, как в худшие времена инквизиции, и затем расстреливали без суда и следствия. Целые кварталы в городах и поселках разрушены снарядами, дома сожжены, имущество разграблено. Счет жертвам пошел на тысячи и десятки тысяч. Под грудами трупов, под руинами самодержавие решило похоронить народную свободу и революцию». Подпольная «Циня». Преувеличение здесь одно. Убитых были не десятки тысяч, — тысячи. Но сосланных, арестованных, избитых, изнасилованных, лишившихся кормильца, потерявших кров, — да, десятки тысяч.

Приказ генерала Орлова: «В плен не брать, расстреливать на месте бунтовщиков, пойманных с поличным, а также всех, известных как революционеры» снискал горячее одобрение в газетах. Рижская «Дюна цайтунг» по этому поводу замечала: «Террор социалистов можно сломить лишь устрашением. К сожалению, эта истина еще не уяснена до конца в некоторых кругах российских юристов, страдающих совершенно неуместной чувствительностью. На наш взгляд, к делу теперь же должны приступить военные полевые суды; нужно, чтобы они выносили решения без проволочек, жестко, по-солдатски. Производить массовые аресты и тут же отпускать задержанных на свободу не имеет смысла».

Янсона-Брауна разыскивали повсюду. Дважды объявляли о его задержании, даже в газетах. Некого Яниса Янсона, имевшего несчастье быть тезкой и однофамильцем революционера, расстреляли по ошибке.

Отец Яниса, не умевший или не желавший ответить, где его сын, был исполосован плетьюми, дом его сожгли. Двоюродного брата Янсона расстреляли, младшего брата с женой отправили на каторгу, двух сестер сослали в отдаленные губернии.

Имя Стучки не всплыло ни разу, нигде. Да ведь и что ж? Адвокат наш, ни в чем предосудительном не замеченный, продолжал себе адвокатствовать в Витебске.

Зато имена Янсона-Брауна и особенно Райниса склонялись на все лады. «Дюна цайтунг» прямо объявила Райниса главным подстрекателем и виновником всего. Называли его террористом, с особым упорством — грабителем банков.

Дым был не без огня. Александр Бирзвалкс, участник событий Пятого года в Юрмале, вспоминает: «Однажды ко мне обратился немец по фамилии Мунтер и попросил свести его с нашими вождями: он, мол, знает, где достать очень много денег для нужд революции. Мне этот господин показался сомнительным, но так как я себя не причислял к вождям революции, то и направил его к Райнису. На другой день, встретив Райниса на улице, спрашиваю: «Что там с Мунтером этим, выйдет что-нибудь?» Вид у Райниса был очень занятой, он спешил на поезд и ответил на ходу: может, что и выйдет. Позже оказалось, что Мунтер предлагал Райнису добыть деньги для революционных целей, ограбив некий банк. Сам он перед тем разорился и задолжал этому банку изрядную сумму. План его был — подговорить революционеров напасть на банк, в момент ограбления появиться там с полицией и, в качестве спасителя, добиться, чтобы долг его был погашен. Райнис от предложения отказался. Тогда Мунтер нанял пару уличных бродяг, дал им по револьверу и, оставив одного у входа, второго послал в банк — «грабить». Обоих «грабителей» задержала полиция. Райнис к тому времени давно был в Швейцарии, но это не помешало реакционным немецким газетам до изнеможения кричать о «грабителе банков — латышском поэте Райнисе».

Мы остановились на этом курьезном эпизоде потому, что он много крови попортил Райнису: обвинения в уголовщине, распространявшиеся по всей Европе, оскорбляли его и пачкали; живя в чужой стране под чужим именем и на птичьих правах, он даже не имел возможности возразить клеветникам. А ведь он ответил в свое время Мунтеру на предложение «миллиона» совершенно по-райнисовски: «*Чистота нашего дела требует и чистых средств*».

Революция кончилась.

Весной 1906 года, в разгар репрессий, адвокат Петр Иванович Стучка перебрался в Ригу. Через годы выяснится, что он был в это время председателем партии, ушедшей в глубокое подполье, что заседания ЦК чаще всего происходили у него на квартире, что в его руках были и газета «Циня», и партийная касса.

ЖИЗНЬ ШЕСТАЯ

421

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СИНЬОР НАГЛИНЬ

422

— Так на чем мы остановились? — спросил Черт. — Ага, на том, что если не веришь в Бога, то рано или поздно остановишься на Чёрте.

— Ни на чем таком мы не останавливались, — произнес Янис устало. Собеседник отбросил приличия и явился в виде непристойном: вроде жабы под микроскопом.

— Ты подумал, что так должна выглядеть душа реакционера Вейнберга. Угадал? — осклабился Черт.

— Хм, — выдавил из себя Наглинь раздраженно.

— Или одного из твоих братьев. Я ведь читаю и в подкорке, — сказал его визави.

— Уж если этот бред неизбежен, я бы предпочел, чтобы меня называли на «вы».

— Так вот о Боге, — продолжил, как бы не слыша, жабообразный. — Меня давно интересует, как он относится к тем, кто в Него не верует. Представьте себе, что Он ими вовсе не занимается. Решил, так сказать, что вы не в Его компетенции. Атеист на дуэли приканчивает верующего. Как быть? Как Ему быть? Проститутка с крестиком на шее развращает мальчика из интеллигентной и вполне безбожной семьи... Да вы, по моему, сучаете?

— Вы точно с ним заодно, — съязвил Наглинь. — Или даже у него на жалованье.

— Предполагается, что я заранее знаю ваши вопросы и ваши ответы, и наш диалог таким образом теряет смысл. Заблуждение. Мы знаем не все, и не столько вперед, сколько назад. Точно так же ваш брат... не вздрагивайте, это всего лишь фразеологический оборот... точно так же ваш брат социалист ошибается, воображая, что тайной полиции известно все и что она повсюду. Знали бы вы, сколько и там пробелов! И денег недостаточно, и моральный уровень сотрудников оставляет желать.

Отвечая же на ваш вопрос: я не на жалованье у Него, однако подозреваю, что и я — часть общего замысла. Но что мы все обо мне да обо мне? Слышали, издатель ваш, Янис Озол... того, расстрелян. Где-то недалеко от Це-си-са. Цесис. Есть такое местечко? Я правильно произношу?

— Что ты паясничает, гнусная жаба?

— То я вас на «ты», то вы меня. А на брудершафт, извиняюсь, не пили. А нет ли вашей вины, синьор Наглинь, в этих нагайках, посвистывающих и прорабатывающих мужицкие спины с кровью, с мясом. В этой вони... специфической, знаете ли, вони пожарищ, — ах, какая она стойкая! — и с родным, понимаете ли, адским душком. Нет ли да-альнего отзвука ваших призывов... Исчезаю, исчезаю. Не трудитесь кидать в меня башмаком. К тому же, это было бы плагиатом. Помните, Лютер? Один из ваших революционеров, говорят, взял себе подпольную кличку «Лютер». Странная фантазия, не находите?

— Как же мне вас выпроводить, беспардонное вы создание?

— Скажите, Райнис... Спидола — это ваша Эльза? *Мефистофель* в юбке, как заметит через некоторое время один ваш молодой критик, как бишь его... Андрей Упит. Остроумно будет сказано. И заметьте: в «Огни и ночи» предостаточно чертовщины, Богом же и не пахнет. Якобы.

— Что значит «якобы»?

— Но как же им может не пахнуть? Ведь всякий дар, говорят, Божья искра. Или...

— Да что ж это такое...

— Все, все! Как-то вы недоброжелательно ко мне настроены, *новый Фауст*. Злитесь на меня без конца. Фамильярничаете... Подарю вам понос на три дня. Прощайте.

Рай земной начинался за окном, сразу же.

Первые три месяца они прожили в Цюрихе. И все бы ничего, но недели через три там собралось около двухсот латышей. Почему люди так меняются вне родины? Почему эмигрантская среда через месяц напоминает банку с пауками?

Эльза относилась ко всему несколько иначе. Эльза, похоже, тайне наслаждалась тем, что никого крупнее их здесь не было. Во всяком случае, до прибытия Янсона.

До прибытия Янсона у Райниса было дело, примирявшее со многим. Он хотел немедленно составить историю революции. В немецких газетах статьи о происшедшем печатались в изобилии. В них доказывалось, что никаких причин для бунта не было, ни экономических, ни моральных. Что всем лучшим в своей жалкой жизни *летты*, аборигены Лифляндии,

обязаны балтийским немцам. Что перед миром — поучительный случай коллективного помешательства: спятил и начал буйствовать целый народ, вообще-то смиренный и робкий. Поминались недобром социал-демократы, в том числе немецкие. Вот плоды учения еврея Маркса, полюбуйте. И т.п.

Люди, вырвавшиеся в последний момент из России, многое видели, обо многом могли рассказать. Хотелось врасплох, по горячим следам поймать и схватить историю. И противопоставить истину измышлениям всех сволочей, отечественных и немецких.

Многие уже согласились, набросали уже, вроде бы, первые страницы... Но тут явился Янсон, и оказалось, что ему и никому другому поручила партия написать историю латвийской революции. Брат Яннис, — он писал свое имя на чужих языках с двумя «н», поясняя, что он не *Я-а-анис* (с долгим «а»), — так зовут его брата, — а именно *Яннис*.

Больше делать в Цюрихе было нечего. К тому же его паспорт с фотографией двадцатилетнего незнакомца никуда не годился. Берлин, по слухам, выдавал беглецов России, небезопасно и в Париже, Риме. Нужно укрыться где-нибудь в провинции. Им порекомендовали Лугано: райский уголок, озеро, горы, Италия рядом, — когда все уляжется, можно перебраться туда.

Лугано и впрямь оказался красивым до неправдоподобия: точно сон о юге, исполнившийся во всех деталях. Из осторожности они остановились не в самом городе, а по соседству, в ближайшем прогороде — Кастаньоле. Здесь никто не спросит документы, синьор и синьора Наглини могут жить у озера хоть до скончания века, было бы чем заплатить за жильё. Если не тратиться особенно на питание, денег на ближайший год должно хватить.

На сорок первом году жизни опять все сначала. Более сначала, чем после гимназии: тогда был отец, была мама, были Лизе и Дора, — чем после тюрьмы: тогда была родина.

Был шепоток, что в России за его голову обещана награда: десять тысяч рублей. Большие деньги, можно купить сотни коров. Эльза принесла известие, что даже здесь, в Лугано, о них спрашивали какие-то типы. Не латыши. И на том спасибо.

В Кастаньоле он снова взялся за дневник, заброшенный лет пять назад. Заброшенный вроде бы кем-то другим. Кто был тот человек — латышский литератор? Неудавшийся адвокат? Газетчик? Социалист, отвергнутый, кажется, собратьями? — в этом можно при желании разобраться. На досуге. Досуга будет предостаточно.

Но кто такой синьор Наглинь, снявший комнату в рыбацком поселке под Лугано, сам черт не разберет. Даже те, кто вынюхивает где-то рядом свои десять тысяч, ищут его прошлое. Ищут человека, который *был*.

Эльза молчит. Она-то, бедная, при чем? Как ни тащил он ее в свой социализм, ничего не вышло. Нет, она честно старалась, — и не могла. Вся ее мечта, если выразить одним словом: выбиться. Выбилась! Выбилась наверх. И в этот самый момент он решил поменять верх и низ местами. Он и ему подобные. Теперь она страдает за чужие грехи. С риском для жизни переходила ночью границу, живет среди чужих ей и абсолютно неинтересных людей, и она им так же безразлична, как они ей. Любовь? Да, конечно. Иначе зачем бы ей все это? Любовь. Но ведь мы не в возрасте Бируты Скуениеце. Милая, большеглазая. Милый наш ребенок. Не наш. Милый не наш ребенок. И не ребенок, впрочем. Тогда, в сосновом бору, он нес ее на руках, как Дору когда-то. Эльза обернулась — и зыркнула как-то нехорошо. И огромные глаза Ручочки кинулись к нему за защитой. Этот взгляд не был детским.

На чем мы остановились, — как спросил бес в недавнем бреду. Сна настоящего нет ни у меня, ни у Эльзы. Вместо сна, когда повезет, — забытие, наполненное пустотой. Пустота — отдых. Все остальное — вопросительный знак, тяжелый, как кувалда.

ВЕДОМОСТЬ О ЛИЦАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РОЗЫСКУ.

В Департамент полиции от начальника Лифляндского губернского Жандармского управления. 13 марта 1906 года.

№ по порядку: 1.

Звание, происхождение, имя, отчество и фамилия, лета, вероисповедание и прозвище, если таковое имеется:

Помощник присяжного поверенного Иван Христофорович Плекшан, 41 год, лютеранского вероисповедания.

Приметы. Рост 2 аршина 7 3/4 вершка, телосложение среднее, волосы на голове темнорусые, по бороде черные, на усах с рыжеватым оттенком, брови темные редкие, на темени плешивость, прическа без пробора назад, глаза голубовато-серые, средней величины. Зрение хорошее, лоб выпуклый, лицо худощавое, кожа бледная, на шее слева и сзади имеется небольшая родинка.

Состояли ли под стражей или под надзором полиции и по какому делу:
Привлечен при Лифляндском губернском Жандармском управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 102 ст. Уголовного Уложения.

Где проживал в последнее время и по какому виду.

В последнее время проживал в местечке Дуббельне Рижского уезда Лифляндской губернии, откуда в первых числах февраля с.г. скрылся неизвестно куда.

Имеет ли семейство и родных и где они проживают.

Жена Эльза, мать Дарта Яковлевна и сестра Дарья Христофоровна, по мужу Стучка, в гор. Витебске.

Куда должен быть направлен по розысканию.

Обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение Лифляндского губернского Жандармского управления.

Полковник (подпись).

Ай-яй-яй, господа. Прав был таинственный собеседник синьора Наглиня: нечисто работаете. Мать Дарта Яковлевна, хотя и действительно находится в гор. Витебске, но в могиле. Восемь лет как похоронили. И скрылся подозреваемый не в феврале сего года, а в декабре прошлого. И кожа у разыскиваемого не бледная, а чрезвычайно бледная. И родинка на шее не небольшая, а значительная, — через несколько лет придется даже ее удалять при помощи хирургической операции.

Дневник.

13 мая 1906 года.

Я был велик, теперь унижен; он как низок был, так и остался низок, и мое падение его не возвысило. Неужели не встанет на мою защиту никто из тех, кого я поил и кормил, кому помогал по их просьбе и кому помогал тайком, кого называл друзьями. Кого окормлял духовно.

...Надо быть очень здоровым физически и духовно, чтобы выдержать всю мелочную вражду и зависть, создать подходящую для работы атмосферу и еще заработать на хлеб. Торквато Тассо двух последних забот не знал.

14 мая.

Идет гром с большим черным мешком, чтобы накинуть горам на голову.

Мелкие, низкие людишки в юности тоже не лишены позолоты, прикрывающей никелевую или там чугунную, свинцовую душу. Жизнь жесткими своими руками быстро ее сколупнет, и тогда виден становится тот нижний, нечистый металл, он быстро окисляется, чернеет, и смердит, и пачкает каждого, кто до него коснется, то ли ища спасения, то ли стараясь придать блеска чужой душе, веря, что она хороша там, внутри. Но кто сам не золото и не серебро, тот не заблестит, как его ни три, не станет золотым, если не добавить золота. Позолоти других — и истрать на это себя.

22 мая. С такой болью отказался я от практической политики — и по-настоящему лишь тогда, когда мне всюду дали понять, что нет мне в ней места, что я не нужен. То же самое говорили и о моей литературной работе. Я не хотел верить ни тому, ни другому, я тут видел злой умысел. Но чтобы занять свое место, надо пускать в ход кулаки, а ничто мне так не претит, как грубая сила, — такая дрянь. Ничто так не повредило народу, да и всему человечеству, как эта грубая власть. И тех, кто ей противится, она тоже портит. Весь ход развития направлен на отказ от нее. Отдельному индивиду еще важнее отказаться от нее как можно быстрее, если это возможно и соответствует его натуре. Я не хочу ни терпеть над собой чью-то власть, ни властвовать.

24 мая. Нужно бы заключить мир и с миром, и с собой. С народом, с партией, с соперниками. Я должен отыскать основу: свое, неотъемлемое, делать то, чего не сумеет никто другой. Если каждый поступит так же, ни у кого не будет повода к ненависти и зависти. А я все еще ненавижу. И когда забываю вражду, тогда исчезают причины для тревоги, душа отдыхает, можно работать, ни на кого не оглядываясь, обрести мир и — любить.

9 июня. (О задуманном романе). В романе творческий, поэтический характер, но только не находящий средств, чтобы применить к делу силу, переполняющую его: нет такого искусства, таких способов и материалов, чтобы выразить то, что есть в нем, в его сердце. Бесплодие творца: нет исхода могуществу. (Как женщина, в чьей любви материнское, то есть рождающее начало не удовлетворено).

Время не дает творить — слишком мелкое и самодовольное, ничего нового не надо.

Он способен только создавать мыслящих людей, людей будущего (как я творил новое поколение, сидевшее у моих ног: Лепский, Хертелис,

Ольга, Бренцис)... Его самоедство ужасающе. Чудо, что человек способен выдерживать 15 лет кряду, без передышки, такую муку. Но в мучениях этих он закалился, многое передумал. Есть любовь и жалость к людям, может теперь учить их, развивать свое особое искусство — созидание людей будущего.

Герой романа перебирает многие искусства, прежде чем находит свое. Выход из сомнений в себе и своих способностях — в том, что спланирует возле себя кружок молодых людей, которых развивает духовно.

Роман «человека как все». Объять всю латышскую культуру. Цель та же, что в «Замке света»: поднять весь народ.

10 июня. Пусть пропадет все: мои друзья, моя любовь, даже мой народ, только бы остался мой труд, а если и он погибнет в будущем, я все равно хочу его исполнить, в нем моя жизнь.

1 сентября. Так мало нового, — нет времени для стихов, даже и в эмиграции нет, нет радости, нет мира, когда дома убивают.

Отвечать на нападение?

Сейчас все рептилии выползают из темных углов, и никуда не скроешься от этих чудовищ. Весь латышский народ оболган, мне-то вроде и не след волноваться. Но и на меня нападают из-за моего народа, потому надо бы ответить.

31 октября. Народ, масса... почва сама не говорит, из нее вырастают крупные мыслители и творцы, сама же она не мыслитель: земля дает плоды, но землю не едят.

Земля говорит только через живые души, нет у нее другого языка. Так и с народом. Не существует «глас народный», так как нестройные звуки, ощущения, инстинктивные движения и действия всяк истолкует по-своему. Народ говорит через своих избранников.

11 декабря. Я — не вождь «нового течения», я его душа.

Он пишет стихи и думает о романе-автобиографии, ссорится и мирится с женой; в своем «зеленом кабинете» за прекрасной старинной церковью, метрах в пятидесяти от дома — выше по крутому горному склону — что-то записывает и вычеркивает, и снова записывает, и только ярко-синее итальянское небо заглядывает ему через плечо, но конечно, ничего не умеет разобрать в остроугольных, явно неитальянских каракулях.

Он задумал трагедию «Спартак», перечитывает Джованьоли и в нетерпении заглядывает в конец книги: кто же предал вождя восставших рабов? Кто предатель? В «Спартаке» или еще где — сбросить груз,

придавивший душу, выложить то, что годами мучит, избавиться от наваждения!

Мучит его многое, и дневник об этом большею частью умалчивает...

Вдохновенной назвал он природу итальянской Швейцарии. Эльза иной раз соглашается поохать над здешними красотами вместе с ним, но она неискренняя: ей все здесь немило. Она похоронена в этом каменном и вечнозеленом гробу с его слепящим солнцем и черными тенями, черными до синевы. Она ума не приложит, о чем можно говорить с итальянцами. О курах? О вине? И разговор исчерпан. О чем они судачат друг с другом, треща как из пулемета и бешено жестикулируя? И что такого интересного находит Райнис в долгих полунемых беседах с квартирным хозяином, соседской девчушкой, захожими то ли покупщиками, то ли продавцами неизвестно чего? Он и в Слободском находил о чем часами говорить с тамошними уроженцами. Непохожими на здешних, но и похожими тоже: крайняя простота потребностей, интересов, жизнь, приближенная к жизни камней и деревьев, отсутствие высоких запросов. Как это говаривали о Янисе его отец и мать? «Простой сын, совсем простой». Ну, Райнис-то не простой, конечно, — вот уж недостаток, в котором его не упрекнешь. Правда, странно, что он как-то на всех уровнях свой: с ребенком, едва научившимся ходить, с глупой торговкой, с пьяницей и жуликом хозяином, с высокоумным ученым. Бог его знает: ведь гордец из гордецов, но, с другой стороны, явно не притворяется, — ему-то что интересно в этих, так сказать, детях природы, в пустых приземленных разговорах? Влезает в чужие дела и заботы, будто у него своих не хватает. Но стоит ему оказаться одному или с ней, как все оживление исчезает, и одиночество выступает из всех пор. Оскорбительно, как он позволяет себе быть одиноким рядом с нею. Другой бы притворился не таким одиноким, что ли.

Одинока и я, думает Эльза Плиекшан, Эльза Розенберг, просто Эльза, — никогда еще я не была одинока настолько. Я взобралась на вершину — а гору подняли, вместе со мной, с ним, перевернули вниз головой — и я вишу там, внизу, ухватившись за скользкое, бесполезное острие недавней вершины.

Что значит латышской поэтессе Аспазии оказаться в итальянской Швейцарии? Это значит, как в тягостном сне, проснуться никем и нигде.

Как они мерзли на хваленном юге! Как Эльза мерзла, дрожмя дрожала весь март, весь апрель напролет! Они здесь почти и не топят. Об окнах двойных никто не слышал. И — сквозняки, эти вечные сквозняки, открытые нараспашку окна и двери: нет места, где бы душа успокоилась

и отогрелась, все просвистано насквозь чуждым воздухом, странным холодом юга, — а ведь не такая уж она неженка, и в Слободском вそろкаградусный мороз выходила за покупками чаще, чем Янис.

О, в России, даже и на Урале, родина оставалась за спиной, доставала до нее — деловыми письмами, сплетнями, газетами; взгляды и ожидания протягивались за тысячи верст.

Здесь окружающее, сияющее синевой пространство было глухо, мертво. Связи оборвались. Родина, распятая под чужим сопящим телом, забыла ее. Да и кто будет думать о сочинителях всяких историй, когда его насилуют, убивают?

«Бабий век — сорок лет», — это она не раз слышала от старухи, не слезавшей с запечной лежанки там, в Слободском. Тогда-то еще Аспазии далеко было до сорока, она только посмеивалась. Но теперь... Век ее, женский короткий век, красота и свежесть, здоровье и веселье и без того были на исходе, а здесь оказались вовсе никому не нужны, — как ее стихи, драмы, как ее язык, как она сама. И все проклятые теории Яниса, проклятая гордость и упрямство!

Предположим, врачи оказались бы неправы в своем приговоре... После ужасной глупости, совершенной лет в пятнадцать, когда она простудила себе все внутри, когда жуткое воспаление каких-то там таинственных трубочек и придатков, о которых она и понятия не имела, едва не свело ее в могилу, доктора намекнули матери, что Эльзе уже не суждено иметь детей. До сих пор она видела перед собой мать со слепыми от слез глазами, ударяющую зачем-то себя кулачком в грудь и повторяющую: «Что же ты наделала, доченька! Что же ты наделала!»

Но если бы елгавские эскулапы и ошиблись, если б они с Янисом могли завести детей, то когда, когда это можно было бы сделать? До Берлина? Нет, она тогда считалась женой другого. В Берлине? За три-то месяца, при полной неопределенности? В Паневежисе? Но и там после трех месяцев ждала их первая тюрьма. Их? А как же, — во всех камерах она будто сама отсидела, все годы ссылки вместе с ним отбыла, ни в чем не повинная, никем не осужденная. Два года по возвращении из Слободского — вот всего и было их жизни, да и то поначалу — то же бездомье, а единственный год, прекрасный, победный, вознесший ее до небес, был уже и началом крушения, бегства, изгнания. Не успели оглянуться — жизнь прошла; в нашем возрасте, а тем паче в нашем положении детей не рожают. Я и работать не могу. Для кого? Зачем? О, какие мы были наивные: надеялись, да что там, уверены были, что уезжаем на месяц-другой. Переждем: все перемелется, забудется... Как же, забылось! От Петербурга до Берлина газеты жужжат о преступнике Райнисе. Хорошо хоть, чудом каким-то удалось вызволить из России

наши деньги. Что бы мы делали без них? Тратим и тратим без конца, — как ни жмемся, как ни экономим на всем: на дровах, на квартире, на еде. А капитал тает. И маме нужно как-то исхитриться помочь, и несчастным братьям, и сестре тоже. Господи, в кого они все уродились такие никчемные, такие беспомощные? Я за полгода не заработала ни копейки, Янис — гроши, а потрачено больше тысячи. Янису легче, привык обходиться почти ничем. Он не прочь бы и меня «воспитать» и «развить» до солдатской неприхотливости. Забывает, что я женщина, мне скоро в обществе появиться будет неприлично, до того обносилась, не говорю уж, что дома ходим в штопанном и перештопанном!

Не то чтобы она жалела о прошлом, но настоящее и тем более будущее убивало. В ней росла и росла обида: она вовлечена против воли в дела, которым не так уж и сочувствует. Говорила же она столько раз и Райнису, что он не должен губить свой дар: политику следовало оставить политикам, все равно так называемые братья его и в грош не ставят, при первом же случае вновь отдадут на растерзание, а сами спрячутся. Где, кто хоть слово сказал в осуждение Стучки? А имя Яниса треплют почем зря. Ладно бы немецкие газеты — но и в латышской «Ригас Авизе» называют разбойником, кричат, что он сбежал с собранными у крестьян и украденными миллионами, на них теперь и живет себе в Швейцарии припеваючи!

Их любовь так светилась и жгла, когда обстоятельства их разлучали! А здесь, на расстоянии вытянутой руки, нещадно чадила. Они такие разные. И меняться поздно обоим. Ах, даже в Цюрихе намного лучше, не сравнить: там город, там десятки людей, говорящих на твоём языке и знающих тебе цену, там жизнь. А он настоял на своем: забрался сам и затащил ее в захолустье, в полную, окончательную пустыню. Ему-то хорошо, он отшельник по натуре, со временем успокоится и будет работать точно так же, как работал в Слободском, нуждаясь только в кружке молока да в куске хлеба. Даже пишет он в «зеленом кабинете», на ветру и солнце, и доволен, — ей же нужны стены, нужен дом. Нужен, наконец, стол порядочный, какого они себе здесь не могут позволить. Она чувствует себя заживо похороненной без общества, а его любимые разговоры и встречи выбивают из колеи: больше всего он хотел бы, чтоб его оставили в покое.

Наконец, прав он был, когда написал ей однажды, что в литературе они — соперники. Здесь их всего двое, и кто-то из них будет первым. Но первым быть позарез нужно каждому из них! Хотя и по разным причинам. У Аспазии инстинкт первенства в крови с самого детства, без него она

никогда бы ничего не добила. Побеждать в любом обществе, всегда и везде, — этого требовала врожденная уверенность в себе, необходимость такой уверенности — стержень ее существа и характера.

Райниса снедала неуверенность в себе. Он снова сомневался во всем, в своем даре — прежде всего. Тем более что ниоткуда не было никакого отклика ни на «Огонь и ночь», ни на последнюю книгу стихов, «Посев бури». Там, в Латвии, несмотря на произошедшую катастрофу, продолжается жизнь, его место уже занято кем-то другим, он отстал, никому не нужен.

Начиналась тихая, безнадежная война двух одиночеств, двух творчеств и творцов, каждый из которых не мог смириться с положением второго: *второй* — значит *побежденный*, побежденный не только дышащим рядом соперником, но — жизнью. Состязаться более было не с кем, и проигрыш самому близкому человеку оказывался тотальным и окончательным поражением.

Четырнадцать лет будет продолжаться эта невидимая схватка, то ослабевая, то достигая страшного накала. Четырнадцать лет, которые предстоит им прожить в этом райском уголке. И все годы, которые они проживут после этого, и годы, которые будет доживать, так и не достигнув мира, один из них. Проницательны, насмешливы были оба. От них не ускользнули комические стороны этой долгой, безнадежной борьбы, и трагические тоже; да, они впрямь оказались героями трагикомедии, но не могли, как артисты за кулисами, снять грим, умыться и взглянуть на дальнейшее представление со стороны: роли расписаны были бессрочно.

При всем том они не переставали нуждаться один в другом, как в единственной опоре, как в последнем носителе родины и языка; тела их так же сцеплялись и не хотели оторваться одно от другого, как души. Холоднее, насмешливей были рассудки, склонные скорее к подозрительности и вражде, а голое-то их естество не знало другой защиты и сладости, хотело бы зарыться, спрятаться — одно в другом.

Но нет... даже и тут они были несхожи, и Райнис с некоторым осуждением писал на листочке дневника: «чувственность *a la* Иньня». Пуританство, внушенное покойной матерью, в нем не умерло, а притаилось было, теперь же то и дело вылезало из засады. Только во сне зажатость отпускала, и он, молодой и крылатый как бог, целовал пунцовые юные губы, губы из своих школьных стихов, обнимал, гладил чудесную девичью кожу, холмик груди с бессовестной алой вершинкой. Чья-то свежесть и красота, смутно знакомая, оставалась и по пробуждении, точно напаятая на ухо под гипнозом мелодия.

Жизнь, лишенная музыки, лишалась и смысла. Он вспоминал по-русски строки пушкинского стихотворения:

*Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.*

Без слез? Вот уж чего в их жизни хватало. Часто он заставлял Эльзу в слезах. Часто плакал сам. Слезы иногда сутками стояли в горле — и ждали малейшего повода, чтобы хлынуть. Это нервы, твердил он себе. Я справлюсь. Я должен победить.

Он верил, что воля может всё. Что волей можно одолеть и наружные обстоятельства, и отчаянье, засевшее внутри, что волевым усилием можно возвращать мужество, справляться с одиночеством. И любовь, даже если от ее огня остался один язычок, нужно терпеливо, настойчиво раздувать.

Бирута Скуениеце, — ей уже исполнилось восемнадцать, — была сравнительно недалеко, в Берлине. Так хотелось, чтобы она заехала, но почему-то не получалось. Бируту мать поспешила отправить из России: не дай Бог попасть в мясорубку государственной мести, девочка весь Пятый год бегала по митингам и собраниям, читала в гимназиях и школах стихи Райниса, Аспазии, звенела страстным и въедливым голосом, пылала взглядом, — кто же ее мог не запомнить, а чужие памяти теперь бывали смертельно опасны, не в переносном смысле «смертельно», а в самом прямом.

Бирута, девочка, прелесть моя, думалось ему во сне. Муза моя, наверное, выглядела бы так же: тоже большеглазая, с лицом без единой морщинки, смелая безоглядно, вдохновенная и угловатая.

Бирута, впрочем, нуждалась в десяти марках на отъезд из Берлина. Немного, — но музе и того не нужно.

Не меньше, кажется, волновало его и другое из сотен завязавшихся на родине знакомств. Литератор, критик Янкавс был немногим старше Бируты и вполне мог бы быть ему сыном. Юная артистка и юный, необычайно одаренный литератор для Райниса были как бы образом следующего поколения. Они ему верили, подхватывали на лету каждую его мысль; острое словцо попадало в них, как искра в хворост. Повторялось, и даже лучше, чем было однажды: он лепил податливые души учеников, творил людей будущего. Даже если б заранее знать, что один из тех, кто сидит у его ног, окажется Иудой, разве волен он не учить, не творить, не мять эту чудесную глину?

Янкавс тоже был замешан в революционных событиях, ему тоже пришлось бежать, и теперь юноша обретался в Париже.

Переписка с родными налаживалась! Наконец-то.

Писатель Август Деглавс, коллега Аспазии по редакции, оказался лучшим и драгоценнейшим другом из всех. Янис и Эльза сначала между собой, а потом уж всегда и везде стали называть его *Братом*. Брат согласился уладить там, на родине, одно дело, затем другое. Их беспомощность в теперешнем положении была полной: не достать было до Риги, до Юрмалы, где осталось их единственное имущество — «вилла», дача, построенная перед бегством. Брат передавал редакциям их стихи и прозу, договаривался с издателями и театрами, получал по доверенности или пытался получить гонорары, помогал родным Аспазии, сдавал дачникам «виллу» и вносил за нее необходимые платежи, сообщал литературные и прочие новости, о коих можно было сообщать по почте. Чем дальше, тем больше он взваливал на себя — безропотно, бескорыстно, притом сам будучи уже известным журналистом и писателем, одним из немногих латышских романистов.

Деглавс, Янкавс, Бирута. Их писем он ждал с наибольшим нетерпением, и они никогда не обманывали.

Бирута поначалу, впрочем, обращалась все больше к Аспазии. Робела? Ее Райнис иногда видел во сне.

Потом его переписка разрастется: десятки корреспондентов, до тысячи писем в год. Тысяча отправленных, тысяча полученных.

Аспазия получала гораздо меньше и посылала тоже немного писем. И слава Богу, говорили на почте. А то пришлось бы нанимать ради этих двоих еще одного служащего. И откуда у иностранцев столько денег на марки?

Артуру Наглинь — Августу Деглавсу. 8 сентября 1906 года.

Ты, милый, ошибаешься, думая, что я не могу участвовать в газете из-за моих тесных связей с партией. Нет, я так же независим, как Ты, у меня не было и теперь нет никакого официального партийного поручения... Твое положение иное. Я вижу в составе будущих сотрудников газеты своих личных врагов, для тебя этот пункт отпадает...

Здесь мое положение так тяжело, что остается, видно, отказаться от литературы и заняться чем-нибудь ради пропитания, напр., использовать знание языков и вести чью-нибудь деловую корреспонденцию. Можно бы писать отсюда для газет, но трудно, слишком утомляет.

Толстяк Стучка все еще в Риге или уже отбыл?

Янису Янкавсу, 24 сентября.

Последние доносы отняли у меня надежду на скорое возвращение, должно быть, придется оставаться здесь на целые годы.

Августу Деглавсу, 11 ноября.

В ужасном положении теперь честные люди. С одной стороны нападают, — и это еще можно понять, — кровожадные псы, но это же самое время выбрали для атаки и наши личные противники и оскорбляют Тебя в нашем же собственном органе печати. Я знаю этого толстого политика и его клику, они и Тебя ненавидят как меня, как всякого способного человека; что им идеалы! — только бизнес: сделаться директором в кассе! В душе все переворачивается, как только вдумаешься. Но омерзение и весь этот холод отпускают, когда я вижу, как Ты несгибаем в этой борьбе на два фронта, а ведь трудней всего — делать дело и за это же получать вместо признания насмешку, как Ты от М.Л.* Я от них терплю лишь тайные, исподтишка булабочные уколы, но и от этого горечь, — каково же Тебе!

М.Лиепе. 22 ноября 1906 года.

Вы выступаете с позиций друга, а не противника, и Вам следовало бы связаться с людьми, которые занимают руководящую должность или хотя бы просто активно действуют в партии. Я к ним не отношусь, скольконибудь решающая роль мне не принадлежит и не принадлежала во все то время, о каком Вы пишете. Говорю это не затем, чтобы откреститься от ответственности за совершенные ошибки, но чтобы ни Вы, ни другие не решили, будто бы использованные система и тактика были моими или вырабатывались с моим участием. Это не так. Вся тогдашняя деятельность, все методы, образ действия вырабатывались комиссиями и собраниями, в которых я не принимал участия. Говорить о боязни ответственности за ошибки неверно уже потому, что партия может указать и на свои успехи в организации рабочих выступлений, правда, благодаря большей частью самим рабочим... Если мое влияние и имело место, то дело не в какой-то там руководящей должности, а в моей деятельности как зачинателя *нового течения*, что и удостоверено 6-ю годами тюрем и ссылки; дело в моей литературной работе, посредством которой я пытаюсь пробуждать дух свободы и поддерживать в нем жизнь. Только духовная борьба была всегда моим ремеслом и, наверное, Вашим тоже, ведь оба мы писатели. Исходя из этого, Вы поймете, что террористические проявления последнего времени мне так же неблизки, как и Вам. Моим убеждением всегда было, что в большой общественной борьбе слишком мелко выглядят воровство и разбой, какие бы суммы

* Речь — о критике Деглавса в газете «Мусу Лайки», близкой к социал-демократам. Директором кассы взаимопомощи ремесленников был, как мы помним, П.Стучка.

ни были добыты этим путем. В теории Маркс отвергал террор, и на практике он оказался непригодным, неся с собой моральное разложение. Ошибки начались, впрочем, раньше. События застали партию врасплох, она не смогла трезво оценить свои силы, преувеличила их...

Аспазия — Бируте Скуениеце. 17 сентября 1907 года.

Милая младшая сестренка! Я могла бы быть Твоей мамочкой, но так как мама, притом такая милая и духовно богатая у Тебя есть, мне остается место старшей сестры. На том и поладим: Ты — маленькая, я — большая. Когда пару лет назад я Тебя видела вьявь, Ты была совершенный ребенок, веселый живой девчённыш; я радовалась Твоей упругой славной юности, но какие-то более тесные духовные связи между нами тогда мне не виделась. Теперь, через два года, из пережитого Тобой, из Твоих писем вижу, что в Тебе появилась большая серьезность и большая сила, и это делает Тебя столь милой мне и столь близкой — точно собственное мое обновленное «Я». Ты, может быть, идешь той дорогой, какую и мы, старшие, шагали, но не дошли до конца, — и достигнешь того, чего мы не достигли.

...Мы живем все там же — да и куда нам податься? Усталые кости, уставшее сердце и — родины нету нигде! Здесь, малыш, тихая чудная природа, она успокаивает и лечит...

Рукою Райниса приписано:

Милая моя, милая Ручка, где вы с сестрой на фотографии сидите так славно, там и я хочу присоседиться, порадоваться, глядя на вас, послушать, не перепадет ли и мне какое доброе слово и, чтобы так и случилось, подсяду еще ближе, и тоже скажу «сестренка» и «Ты» — знаю, теперь я могу это сделать, а хотелось мне этого давно, еще тогда, когда я смотрел в эти большущие глаза в давно минувшие дни, в Юрмале. Теперь, на отдалении, мне кажется, что они сияют еще светлей и теплее и что губы произносят те сердечные слова, от которых и на чужбине легче. Я счастлив, что отыскал столь милую душу, вот только смогу ли я Тебя удержать? Руки мои так шершавы, и мне так боязно Тебя потерять, я потерял так много. Будь со мной терпелива... и много, много удач на новом пути, начавшемся так хорошо.

В 1907 году, летом, заведена среди прочих еще одна папка с надписью: «Ежедневная хроника».

Первая запись — 15 августа.

Хорошо спал, но тяжесть в костях.

Сны: много бегства. Бегу с товарищем. Умершие родные по комнатам, в замке, в каменных склепах.

Читаю Мечникова — «Этюды о природе человека».

Проект: съемные подошвы к туфлям, как галоши, можно и с гвоздями.

Разговоры: партия, как церковь, хочет только брать. Ничего не давая взамен, как государство; ничьей деятельности не терпит рядом с собой.

17 августа. Не спал до часу из-за блох. Солнце. 18 градусов.

Сны путаные.

Работа: составлял календарь.

Чувствую себя хорошо.

19 августа. Проекты: в конторе, в банке занять ведущее положение, после этого — в экзотические страны. Учить: французский, английский, итальянский, арабский.

20 августа. *Мы свободные, не поддадимся.**

Почта. Бирута — с любовью.

Самочувствие хорошее, но теряю время: газеты.

Написал одну эпиграмму. 30 строк для календаря.

Разговоры. Насколько можно доверяться друзьям. Брату, может быть, полностью. Не требовать того, чего он не может дать. Не плакаться, не приказывать, но знать и от каждого ждать по его силам. Требовать всего только от себя...

* Эта фраза написана Райнисом по-русски.

Толстяк просчитался один раз — в самом начале, а терпеть придется всю жизнь. Назад пути нету, правительство ему не поверит. Поддался чувствам и думал, что можно соединить коммерцию и партию. Не вышло. Из него получился бы недурной лидер кадетов, вроде Берга.

Мысли: скопился в сердце осадок от всех бед, усталость в крови, как отравы.

Почта: газеты и письмо от сестры. Неприятное чувство, но нужно преодолеть.

24 августа. Разговоры: что делать. Три пути, если нельзя домой, где литература и издательства. 1. Продолжать литерат., сколько сможем. 2. Перейти на немецкий или в русскую литературу. 3. Практическое ремесло: выучить французский, итальянский, а мне еще и английский, пишущую машинку надо покупать в любом случае. Бухгалтерию можно освоить быстро. Латыш. литература может прекратиться: читателей не будет, кому она нужна? Партии латышский народ не нужен. Кругом перебежчики, ищут, где бы сделать карьеру, у немцев или у русских. Вейнберг, напр., латыш, и допускает, даже подзуживает: убейте 2000 из небольшого народа, сошлите в Сибирь и выдавите за границу еще больше, как Галифе, — 200000.

Почта: письмо от Толстяка, Доры. Признание, впервые.

Разговоры. Почему вдруг Толстяк меня признал? Или его положение пошатнулось, или новая интрига против меня, а снаружи — лесть.

Проекты. Мне использовать свои знания, стать профессором.

27 августа. Мне следует оставаться поэтом, идти на риск крупных работ; надежда есть — ощущение, что победе быть.

28 августа. У партии плохи дела. Теперь Толстяк предлагает сотрудничество, когда сами не знают, куда дальше.

29 августа. Жизнь поломана. Но если бы мы уехали до октября, как предлагала Нина, нас бы выслали. И было бы стыдно. Раньше надо было решиться, до 1894 года. Тогда можно было бы стать таким, как Порукс и пр.

Проекты. Зимой перебраться в Цюрих. Библиотеки, в которых топят, можно сидеть весь день. Там театр, готовая пища, бухгалтерия, стенография, можно писать для газет. Мне преподавать, сделаться профессором.

1 сентября. Сны: мы с Толстяком идем рядом, у меня новое, доверху застегнутое пальто. Скверная дорога — топкая, вязкая. Я, потом Толстяк, по-русски: *потонуть можно*. Но дно чуется под ногами. Я сошел с дороги, потом вернулся. Показываю новую книгу, которую изобрел: *цветущая книга, два листа, зеленые ветви и цветы*.

2 сентября. Достоевский пишет концентрированной всех. Толстой не поэт. Золя — поэт, но меньше. Достоевский: правда так правдива, что уже поэзия.

4 сентября.

Сны. Мы вернулись в Слободской, все заснежено, но леса зеленые, и в сарае зеленые дрова. Иныня лежит на земле как мертвая. Я: и все равно здесь красиво, эти высокие горы, вдвое выше, чем Монте Бре. Мне кажется: самые высокие на свете. У меня длинное пальто.

5 сентября. Латышам не хватает культуры: Гулбис слишком рано успокоился, Асарс презирует других, Толстяк — интриган. Народ долго был в рабстве, только выходит к свету.

19 сентября. Сны путаные, одеяло слишком теплое. Целовался с царицей; отец получил от царя в подарок швейную машинку.

25 сентября. Сны: много, запутанные, все — к лучшему. Разделяваю быка, хорошо режется. Сижу на краю скамьи. Какой-то мужик меня stalkивает; на скамейке есть еще место, толкаю толкающего. Тот, что сидит напротив, не приходит на помощь. Я как будто унижен, но не хочу этого выказать, говорю хозяину, что бык разделан, можно солить. Вижу яркий и красочный огонь. Занимаюсь с женщинами.

Куда нам деваться? Ехать в Париж?

26 сентября. Сны. Я застрелил важного сановника. Меня прячут под видом больного, потерявшего память... Партия победила, Янсон пирует, сестры нигде не видно.

27 сентября. Проекты: не поддаваться тоске. Собрать сторонников, если даже не партию, главное же: закончить свое. Быть одному. Никто не в силах помочь, и Иныня тоже. Каждому свое, — эгоизм. В действительности Ин. меня не ставит ни во что. Самому нужно со всем справляться. На суждения Ин. нельзя полагаться: в похвалах так же мало смысла, как в тех, какими декаденты осыпают друг друга. Наивность, без злого умысла. В нынешнем году у меня стихи слабее: старый стиль выработан, ищи новый. Это придет после отдыха.

2 октября. Сон Эльзы: я приговорен к 3 годам, двум месяцам и 5 дням тюрьмы, дядя Фр. целует меня и плачет.

3 октября. Сны; вместе с Толстяком...

4 октября. Дождь все утро, в полпервого ночи гроза, молния.

Сон: милуемся с Ин. в постели, очень бледная.

6 октября. Дождь весь день, под вечер суше, выступили звезды, молния в полпервого.

Сны: тетя. Янкавс режет мясо.

7 октября. Проекты: переплыть Ла Манш или океан... Этим летом в моих стихах ничего нового. Новое будет, когда начну новую жизнь.

9 октября. Мысли: зря потерял столько времени с партией. Партия под гнетом бюрократии, шаблона... Мне нужно бы защищать себя, но

противно и времени нет, надо делать позитивную работу. Но я хочу победить и добыю победы!

11 октября. Сны. Злюсь, что пустейшие люди оказываются на самых высоких постах. И у Толстяка — тоже пост.

Разговоры. Сестра Аспазии, Дора, не понимает, что грабит нас и маму. Из-за нее мне приходится писать на заказ, составлять календарь. Календарь — в пользу партии, а вся ответственность на мне: я пишу под своим именем, они скрываются под псевдонимами.

13 октября. Думаю, что Ин. втайне держит меня за глупца. Не могу положиться на ее мнение: лезть и тайное презрение. Был и останусь один.

19 октября. Сны: Бирута... Проекты. Учиться на повара, составить книги: поваренную, по домоводству — для служащих и рабочих. Недорого, не возьмет много времени. Физиология вкуса.

20 октября. Усталость, точно в гостях, когда заканчивал большую работу.

Разговоры. Мы не можем быть наивными, как древние греки. Гомер дает прозу. Правда тогда была поэтической, ибо примитивной, непригодной для практических целей. Нам нужно искать поэзию глубже, на самом дне прозы.

21 октября. Сны: папа и Херм. на маскараде, простое пальто, немцы не пускают. Ем мясо, *нищий с револьвером отнимает.*

Чувствую себя неважно. Волнуюсь, что Толстяк пройдет в Гос. думу.* Иныня не помогла мне решиться — остаться жить в Слободском, не ехать в Ригу. Теперь нельзя домой, нужно искать другие пути — податься.

23 октября. Бессонница, плакал. Ин. сочувствует.

Усталость сильная, головная боль, ревматизм, — и все-таки вижу, что воля моя окрепла.

24 октября. Проекты. Историч. литература простирует человека: нужно торговать своею душою, открывать себя и продавать, позволять критикам изгаляться и бранить. Легче тому, кто не лирик, не участвует во всем душой и сердцем. Таким мне и нужно стать. Не отречься от партии, не бежать в одиночество, а спрятаться за объектом. Это и цензуру устроит. И декадентов. А партия только так и понимает поэзию. Кто в ее рядах, тот поэтом быть не может... Эти мои песни — последние, написанные для вас. Не нужно мне деляг-политиков. Надо искать сторонников и идти своим путем. Теперь уже не до лирики. Завоевать сторонников, парод.

* П. Стучка был выдвинут кандидатом в Государственную думу и для этого записан крестьянином какой-то волости. Однако кандидатура его не была утверждена.

25 октября. Сны: учусь. Дора, но зубы не как перламутр.

Проекты: фантастические.

27 октября. Проекты. Изобрести линотипную машину, самому печатать дешево книги, уже прошедшие цензуру.

Драма: Вецозолс, не любящий партию. Трагизм: человека, чуждого политике, тонкого, принуждают отречься от своей работы, поддерживать чуждую ему партию.

29 октября. Мысли: в Риге новая жизнь, более свободная: конституция. Культурная работа делается, но без меня.

30 октября. Чувствую себя скверно, после письма — почти обморок, лихорадка. Закончить работу, — тогда можно будет начать новую жизнь.

Проекты: уехать в Америку, учиться ремеслу: портного, повара.

31 октября. Проекты. Быть одному. Закончить два сборника стихов за три месяца, потом новую книгу — за месяц. Итальянское путешествие в письмах. Не хандрить, а работать. Все нападки, все изданные книги, все газетные затеи — мелочь, мой труд превыше всего.

2 ноября. В Латвии — процесс; Дубулты.* Я — главный.

Проекты: написать историю революции в Юрмале. Оправдание подсудимых. Ретроспективный взгляд на революцию, мои тогдашние замыслы, надежды...

Сны. Будто бы я — шпион, пальто с адресом лавочника, мне дают пять рублей на паспорт.

Мысли. За год все написать и — в Америку, зарабатывать деньги. Отдохнуть бы и начать все сначала.

8 ноября. Сны. Едем верхом на лошадях. Я запрягаю коня.

14 ноября. Сны. В море, иду по щиколотку, вдруг проваливаюсь на шесть саженей; выплыв, рассказываю. Выбираюсь на высокую дюну. Толстяк тут же, печет блины, жарит старое сало. Толст. не хочет узнавать; на нем толстые одежды. Еще двое. Новый дом в Курземе, куда мне бежать.

15 ноября. Сны путаные. Папе даю рубль; Толстяк.

Проекты: реформировать все, весь народ, все старое уничтожить, взять в помощь науку. Дешевое жилье из бумаги — передвижное, чтобы рабочий мог взять с собой. Возродить работу на дому, шить рабоч. одежду.

Мысли. Масса инертна, это нужно знать, чтобы двигаться вперед. Не только вопросы пропитания, — духовное освобождение! Пополнить Маркса Дицгеном**.

* В 1907 году перед судом предстали 34 участника революционных событий в Юрмале. Обвиняемым № 1 (заочно) был Райнис.

** Иосиф Дицген (1828—1888) — весьма популярный к началу XX века немецкий философ, из рабочих. Книгу о Дицгене написал П.Дауге.

18 ноября. Почта: письма от Брата и от Толстяка. Предложение сотрудничать. (Исполнился сон, только там Толст. мне руки не подавал).

Ходил на гору лилий, выше, чем всегда, и там оставался.

Досада: эгоизм Иныни, хочет, чтобы и ее Толст. пригласил.

22 ноября. Сны. Быстро взбираюсь по склону горы. Кто-то с длинным посохом гонится за мною.

23 ноября. Корректурa «Огня и ночи». Сон в руку?

Усталость. Ощущение, что впереди — триумф, вхождение в русский мир, в литературу; новая поэзия, философия.

24 ноября. Сны. Прекрасный вид из дворца в Мемфисе: вижу далеко, горы с золотистыми солнечными облаками. Внизу зеленеют луга. Я во фраке. Слышу, немцы переговариваются: «Что тут нужно этим латышам?..»

Проекты: автономия Латвии.

9 декабря. Устал. Старым становлюсь и пустым, не поспеваю за временем. Отвращение к собственным стихам. Сбросить старую ношу — как-нибудь, чтобы дойти до отдыха и новой работы. Работать пока всерьез.

12 декабря. Сны. Идем по снегу, я прокладываю путь. Ин. говорит, что с другой стороны ограда дорога лучше.

18 декабря. Проекты. Перевести «Прометея» Эсхила.

22 декабря. Мысли. Основать социал-демокр. вероучение, там самым приобрести политич. вес. Пусть Толст. поддержит.

31 декабря 1907 года. Встречая новый год, говорили, что пора мне скинуть ярмо парт. поэзии. Иначе не прийти к новому. А мне нужно достичь высочайшего.

Объяснимся, читатель. Полдюжины страниц ежедневной хроники — не много ли? Не много, — отвечаю без запинки, — потому что, открытые для всех, опубликованные в томах собрания сочинений многотысячным тиражом, записи эти почти никем не прочитаны. Они и здесь даны не полностью, в выдержках. Я выбирал то, что никогда не интересовало литературоведов, — сны, например. Сны Райниса — кто и когда из райнистов, биографов, режиссеров, кто из профессиональных психологов в них заглядывал? Может, и заглядывали, но следов своего посещения не оставили. Читатель же не ангажированный, просто читатель до этих отрывочных и зачастую бессвязных записей с массой повторов и ненужных, казалось бы, подробностей вообще не добирался. Для меня же сны и фантастические проекты, погоды и настроения, здоровье и самочувствие моего героя значат много. Я всего лишь хотел показать,

откуда черпаю, где нахожу подробности и детали, почему иногда решаюсь рассказывать Райнису о нем самом: ведь нельзя же не заметить, что он изнутри видит себя не всегда таким, каким предстает перед другими, и правда об этом человеке, может быть, не в его субъективном представлении о себе и не в постороннем «объективном» (кстати, далеко не обязательно), правда в чем-то третьем, но для нахождения ее нужно почему-то знать и первое, и второе.

Заметили вы, читатель, что, независимо от желания пишущего, то и дело обманывают его письма, привирают дневники, не выдают всего даже и сны; чужие свидетельства приходится принимать с особенной осторожностью, выясняя, друг или враг говорит и можно ли ему доверять; документы, вплоть до полицейских и правительственных, явно тенденциозны и неточны. Есть у нас еще один источник: ведь перед нами — поэт, драматург, мыслитель. Он сам позднее заметит, что в поэтических книгах и в пяти драмах — вся его биография. Ну конечно! Он вкладывал всего себя — или правильной сказать, всего себя выкладывал? — в строчки как бы единой и бесконечной книги, которую писал едва ли не с детства. Там и сям он оставлял вешки, указания на связь и преемственность одного стихотворного сборника с другим, одной пьесы с остальными. «Посев бури» — *весенняя* песня, поэма «Ave, sol!» — *летняя*, «праздник цветов». Написанные в Кастаньоле «Тихая книга», «Те, кто не забывает» — *осенняя* песня. «Конец и начало» — *зимняя* песнь. Драма «Огонь и ночь» — *старая песня в новом звучании*. «Индулис и Ария» выйдет в свет с подзаголовком «*трагедия юности*», но и «*трагедия старости*» была предусмотрена в его планах. Все вписывалось в необъятный замысел, видимый, да и то неотчетливо, ему одному. И собственная жизнь все более казалась ему частью все той же непрерывно творимой, трудной и дарящей моменты неопишуемого, совершенного счастья, книги. Книги величиной и продолжительностью в жизнь, и в которой смерть не конец, а начало.

Его жизнь и для нас — часть «божественной комедии» Райниса, едва ли не главная ее часть, где смерть — рубеж не окончательный и давно преодоленный. Только наложив личность Райниса на личности его героев, поверив одни документы и одни свидетельства другими, дневниковую запись — письмом, воспоминание протоколом, справку стихотворением и фотографию записью спиритического сеанса, мы начинаем подбираться к истине, не самой значительной из открывающихся постепенно и доходящих до размаха судьбы, частной и всеобщей.

Райнис знал цену деталям. Говорящим. Иногда убийственным. Вспоминаю одну из заготовок для его романа: двое сыновей продали на аукционе вставную челюсть отца; обещали выкупить, когда разбогатеют...

Райнис, — не устаю мысленно благодарить его за это, — не убрал из своих записей ни одной шершавой, шокирующей детали, — а ведь знал, уверен был, что все будет прочитано, изучено, оценено. Ни малейшего желания прикрасить себя, приосаниться, показаться лучше, чем есть. Он ссорится в этих записях и дневниках с Аспазией, сестрой Дорой, Стучкой, с партией. И с народом, и с самим Богом. Делает замечания Толстому и Гете, выговаривает Шекспиру и Гейне. Он спорит на каждом шагу и с собой, со своим вчерашним суждением. Он противоречив, как Библия, хотя без конца уличает в противоречиях других. Когда у него появится свой «штатный» биограф, Антон Биркертс, Райнис с неудовольствием скажет Аспазии, что это совсем не то: будто скучнейший профессор Вагнер описывает жизнь Фауста. Он примеривает на себя тогу пророка, основателя новой религии, приходя в конце концов к старому-старому основанию для нее: любви.

В этой Книге, которую он пишет с такой болью и страстью, пишет не только пером, а и дыханием и шагами, кашлем, поцелуем, слепой доверчивостью к одним людям и идеям и безмерной подозрительностью к другим, в Книге, конца которой ему не дано предугадать, он позволяет себе шутки, намеки и знаки, оставляемые для посвященных, и я не собираюсь их раскрывать, эти маленькие секреты, хотя часть этих тайных знаков самовольно перекочевала и в нашу книгу.

Только один сон Райниса удостоился внимания исследователей и биографов — и то потому, что сам поэт указал на него пальцем, говоря о пьесе «Иосиф и его братья».

Трагедия, подсказавшая название и нашего романа, оказалась, пожалуй, самой емкой страницей Книги Райниса, о которой только что говорилось. Первоначальный замысел «Иосифа», по словам автора, относится к 1906 году. Но: «Аспазия не уставала рассказывать, что история «Иосифа» началась намного раньше. Еще перед революцией на рижском взморье, в нашем доме, было первое предзнаменование: сон. Будущий сочинитель видел во сне египетский город Мемфис; он стоял на высокой башне или на вершине пирамиды и озирает оттуда всю землю. Невозможно было понять это иначе, как указание на судьбу Иосифа в Египте. И когда через два года нам пришлось отправляться в изгнание и весь блеск, окружавший нас и который сулило будущее, разом исчез, Аспазия и тут увидела доказательство своей правоты: ведь именно на чужбине взошла звезда Иосифа. Однако первая мысль о трагедии родилась все-таки в 1906 году в Кастаньоле, когда с высокого балкона я смотрел на озеро Чересио. С той поры «Иосиф» уже не

оставлял меня, провел через все годы эмиграции и сопровождал в обратном пути на родину». Мы, правда, обнаруживаем запись о похожем сне (Мемфис, вид с высоты) в ежедневной хронике 1907 года, но Райнису, разумеется, виднее, да и сон мог повторяться.

Что же до всех остальных снов, записанных, правда, крайне лаконично: это всегда не пересказ, а скорее некая зарубка на память, — то они рассыпаны по годам десятками и зывают к прочтению.

Центральным персонажем сновидений остается Петерис Стучка, «Толстяк»; иногда этот настойчивый образ посещает розовый дом в Кастаньоле регулярно, ночь за ночью. Следом идут Аспазия, сестра Дора, отец с матерью, Лизе. Не раз видены во сне Яннис Янсон, Бирута Скуениеце, Нина времен «нового течения», Брат — Август Деглавс, «братья» из более ранних, молодых времен. Место действия часто выныривает из глубины, из детства. Но и в Слободской возвращается Райнис по ночам, и в Псков, и на берега Балтийского моря. Один из постоянных мотивов — бегство, уход от погони. Однажды приснилось, что он приговорен к смертной казни. Во сне Райнис купается в озерах Латгалии, в реках и в море, плывет на лодке, реже летает (а в снах его детства и юности полет был самым привычным средством передвижения), скачет на лошади. А то, заснув рядом с женой, оказывается вдруг в камере № 26, дважды тринадцатой, в Рижской следственной тюрьме, и снова задыхается от тесноты: три шага вдоль, три шага поперек, — и стена, отсыревший камень. Но вот другой камень — не тюремный, живой. Мокрый от дождя, а не от тюремной сырости, что сродни могильной. Камень — часть горы. Если во сне перед ним холм или гора, он лезет вверх. Взбирается, карабкается, из месяца в месяц, неотступно. (Наяву он занимается тем же самым).

Кто-нибудь однажды, быть может, не поленится пропутешествовать по этим снам, не пропустив ни одного, и ни в одном — ни слова, ни строчки. Образы, события там зачастую невнятные, темные, почти неразличимы, как вода в глубоком колодце. Но взглядеться стоит.

Свет возрождается в сгущении тьмы? Сгущение — вот оно: чернота такой плотности, что хоть ножом режь. Янис Озолс, издатель «Серебряного покрывала» и «Посева бури», расстрелян под Цесисом. Янис Асарс умер в казенном сумасшедшем доме, помещенный туда заботами жандармов. Блауманис, кажется, единственный, кто помер своей смертью, от чахотки, так и хочется сказать: счастливцев. Вот уже третий год свирепствуют военно-полевые суды (предшественники *ревтрибуналов*). По дорогам разъезжают, ухмыляясь с высоты коня нагло и пьяно,

патрули. Казаки и драгуны, жандармы, тюремные надсмотрщики — хозяева над жизнью и смертью революционеров, или сочувствующих, или заподозренных в сочувствии, или... Добровольцы из немцев указывают, кто громил усадьбы, и смотрят потом, прищурясь, на горящие крестьянские избы. Кого-то забивают до смерти, кого-то кастрируют. Слухи о виденном и слышанном пробегают по натянутым нервам сотен тысяч людей, невидимо соединенных, как электрический разряд. Десятидвенадцати-тринадцатилетние мальчишки видят острее других, и слух у них отменный. В народе, где почти каждый каждому знакомый или дальний родственник, удар хлыста на одном конце Курземе отзывается стоном на другом. Мальчишки, вздрагивая от ненависти и бессилия, смотрят, как расправляются с их родителями, с их сестрами, с их родным гнездом. Как ни тяжка подневольная доля долгих поколений, но такой крови, такого палачества здесь не знали два последних столетия. Смотрят, смотрят беловолосые мальчишки, все видят, все запоминают. Это из них составятся батальоны и полки латышских стрелков через... меньше чем через десять лет. Полюбуйтесь, как целый народ плетьюми и пулями вгоняют в будущую войну, в будущую революцию.

Пусть погибнет мой народ, — лишь бы жил мой труд, написал он то ли в отчаянии, то ли в запальчивости. Но уж конечно понимал, что его труд без его народа никому не надобен. Время от времени Райнис собирается сделаться русским или немецким литератором, но уж скорее он станет поваром, портным или бухгалтером. Его фантастические проекты действительно фантастичны до отказа. Он, к примеру, подумывает перевести пушкинского «Бориса Годунова»... обратно на русский со своего латышского перевода, сделанного в университетские годы. Ему чудится, что в его пересказе «Борис» более сценичен и потому имеет больше шансов на успех!

И тут же обнаруживается, что всё он знает: поэзия живет *в и на* том языке, на котором родилась, поэт и его язык неразделимы. Потому каждый удар по живому телу народа там, за тысячу верст, — удар по нему. Ни в каком не в переносном смысле: ему больно буквально, голова раскалывается, сердце не хочет биться. Убиение его народа есть убиение поэта Райниса. Ему, может, и хотелось бы, чтобы связь не была столь нерасторжимой и прямой, но ничего не поделаешь.

Издания, в которых он публикуется, конфискуют одно за другим. Его издатели разоряются, их сажают в тюрьму. Он печатает стихи в календарях, в социал-демократических газетах и журналах, каждый номер которых выходит под новым именем и почти тут же подвергается аресту.

Летом 1906 года латышские социал-демократы объединились с российскими. Теперь они назывались Социал-демократией Латвийского края и входили в РСДРП на правах территориальной организации. Петерис Стучка тогда же был избран в ЦК.

В 1907 году Стучкам пришлось перебраться в Финляндию, в Териоки. По соседству проживал известный революционер, лидер большевиков Ульянов-Ильин, брат казненного народовольца Александра Ульянова, которого Стучка встречал студентом. С Владимиром Ильичом Стучка познакомился годом раньше в Петербурге, а наслышан был давно. Теперь, в Финляндии, они близко сошлись. Стучка никогда еще не встречал человека, столь близкого ему по духу, по радикальности и в то же время трезвой прагматичности, по совершенной бескомпромиссности в борьбе за свою правоту. Ульянов выхлопотал в ЦК пятьсот рублей на издание латышского социал-демократического журнала. В этом-то журнале *Толстяк* и предложил участвовать другу детства и родственнику, поэту Райнису. Слова признания, произнесенные при этом Петерисом Стучкой, были для брата его жены драгоценны. Райнис тяжело переживал разлад с партией, в особенности — отсутствие всякого отклика на его стихи с той стороны; «ведь не для бюргеров же я пишу!» — вырвалось у него однажды. Каков бы ни был его счет к «братьям», поэт связан с ними намертво. Так, должно быть, верующий христианин, зная, что местный кюре такой-сякой и разэдакий, не может из-за этого рассориться с церковью и своим Богом.

И на очередной конгресс Социалистического Интернационала в Штуттгарте Стучка поехал по рекомендации Ульянова за партийный счет. Жена Дора была опять с ним: Петерис — официальный делегат, Дора — гость. А затем, не без содействия Ульянова, Стучки перебрались в Петербург.

С этих пор не было у Владимира Ильича Ульянова более пылкого сторонника, чем Петр Иванович Стучка. В последующие годы всегда и всюду Стучка брал сторону Ульянова-Ленина. Подобная верность вовсе не была чем-то саморазумеющимся. В те годы российские социал-демократы боролись, кажется, не столько с царизмом, сколько друг с другом. Соотношение сил да и сами эти силы менялись на глазах, вчерашние единомышленники становились кровными врагами. Ленин, признанный глава большевиков, был беспощаден к «отпавшим»: величайший еретик и раскольник, он не допускал сомнений в ряду «своих»; победившая ересь по отношению к себе еретиков не терпела.

Петериса Стучку веселая, дерзкая энергия Ульянова заражала: он любил даже его буршикозный слог, так напоминавший времена студенчества, нетерпимость к интеллигентскому сюсюканью, всяческой мягкотелости, ненавистной и Петерису издавна, даже в самом себе. Революция есть война, отважный труд разрушения, — пусть гибнет все обреченное гибели! Ульянов был моложе на пять лет, ростом доставал латышу до подмышки, но Петерис подчинялся ему с готовностью. Лидер был остер, как разящий клинок, и так же неумолим; логикой Ульянова, гибкой и совершенно послушной его целям, нельзя было не любоваться. Владимир Ильич всегда знал, чего хотел, и раздавливал встающих на его пути, как разогнанный по рельсам локомотив. Стучка был самолюбив и знал себе цену. Но быть в сцепе с этим паровозом не казалось обидно: скорость движения удваивалась, тебя тащило вперед, а потом, дальше, ты летел уже сам и тянул за собою других.

Двадцать один год Янису Янкавсу. Всего двадцать один, а он уже столько успел. Выпустил памфлет против декадентов — сильную книгу, «Старые идолы в нашей новейшей литературе». Переводил Горького и, кажется, Леонида Андреева, — этого-то не стоило, пусть его Янсон переводит. Из Парижа, куда он бежал в конце революции, Янкавс вернулся в Ригу, тут же попал за решетку, чудом каким-то вырвался — и опять в Париже. Составил и выпустил коллективный сборник статей, замеченный многими. Сейчас, в январе 1908 года, готовит выпуск нового журнала «Думы». Вместе с Бауманисом, Бирзниексом-Упитисом и Райнисом представляет новое издательство «Спекс», что значит «сила». Названное так по книге Райниса «Новая сила». Единственная книга, которую Райнис составил не сам: доверил Янкавсу. До чего деятельный, талантливый юноша!

Строго говоря, Янкавс не социал-демократ. Близок к анархо-синдикалистам: считает, что дело рабочего класса — защита своих экономических интересов. А партийная верхушка, состоящая из деклассированных интеллигентов, тянет рабочих в чистую политику. Обо всем этом можно спорить. Ничто не претит Райнису так, как нетерпимость. Почему двадцатилетний мальчик не может думать иначе, нежели мы? И если он заблуждается, то мало ли у него времени, чтобы потом самостоятельно выбраться на твердую дорогу? Да и полно, нет ли доли истины в том, что он утверждает с таким пылом, с такой убежденностью?

Неожиданно смиренные нотки звучат в письме Райниса к Янкавсу. «Не щадите меня, мой друг, говорите совершенно открыто. Открытость

— единственное, чего я требую от друзей. Если публикация «Огня и ночи» покажется несогласной с Вашими принципами, скажите без обиды... Только попрошу Вас тогда не затерять рукопись, у меня нет больше ни одного четкого экземпляра. И в том случае, если написанные мной до сегодня стихи не устроят «Думы», у меня все равно останутся самые теплые чувства к Вам и Вашему милому личному признанию в книге («Старые идола...»); своих друзей я никогда и ни при каких обстоятельствах не забываю. Притом в письме Вашем высказана характеристика моей поэзии, вернее которой, лаконичней и глубже мне не доводилось слышать».

И однако Райнис отнюдь не поддакивает молодому человеку во всем. Янкавс не доверяет интеллигенции? Думает, что в журнале должны участвовать только рабочие, занятые ручным трудом? В таком случае он столкнется с трудностями: у рабочих своей интеллигенции нет. Если же он готов отступить от этого строгого принципа, то Райнис хотел бы знать состав сотрудников. «Всякий элемент, если он правее соц.-дем., реакционен, его и Вам бы нужно остерегаться, и я с подобными людьми сотрудничать не буду».

Издательство «Спекс» прожило недолго. И немудрено: один из его учредителей находился в Париже, второй — в Баку, третий — в Швейцарии, четвертый в Риге! Но переписка с Янкавсом продолжалась. Молодого литератора занимает все: как Райнис пришел к социализму, как жил, когда и при каких обстоятельствах написаны его книги. Юноша говорит с знаменитым поэтом как равный, но при этом выказывает такой интерес и такое глубокое понимание... Едва ли не первым он оценивает «Огонь и ночь» как заметный вклад в европейскую литературу: пьеса заслуживает Нобелевской премии. Именно тот отклик, на какой автор втайне надеялся. Изголодавшись по читателю, успев по несколько раз вдрызг разочароваться в каждой своей строчке, он настолько благодарен своему юному корреспонденту, что забывает об обычной осторожности, с небывалой доверчивостью выкладывая Янкавсу все, все, все. Даже вполне личные вещи: «Каждый день собираюсь Вам написать, но не выходит. Виною — загруженность домашними делами: нужно готовить еду, ухаживать и присматривать за больной (у Аспазии катар кишечника, болезнь требует внимания, дисциплины, нужно поддерживать постоянно тепло, — на все требуется время, так что в день выкраиваешь два-три свободных часа, и я ничего не успеваю)».

Письмо, которое мы начали цитировать, явно написано не только Янкавсу, а — через голову собеседника — всем нам. Райнис

рассказывает миру о себе. «Я созрел очень рано (уже на 16-м году совершенный атеист), но никогда не чувствовал, что я полностью готов: разум и темперамент всегда гнали меня дальше, выше, через самого себя, но и неизменно я ощущал, что момент перехода, прошлое и будущее — все это я сам, связь не терялась. Способность развития я всегда рассматривал как наилучшую и совершеннейшую готовность, а остановку в развитии — как смерть. Я видел почти у всех своих знакомых эту законченность и остановку, и каждый раз отшатывался от этой завершенности в страхе, как от мертвеца. В развитии моем были определенные периоды, и теперь, может быть, главный из них: сейчас я, как и Вы, переживаю кризис. Но об этом — позже.

К социализму я пришел прежде всего через поэзию... Анархизм мне как личности не давал ничего нового: я и сам был индивидуалистом. Социализм дал недостающее: самость, массу, масштаб. (Мое «я» искало того же и в других явлениях: в природе, например, — широкие поля, высокие горы, с которых далеко видно; даже ровное, но простирающееся вдаль море: широта, масса).

Но и социализм выказал вскоре свои недостатки. Крупные личности — Бебель, которого я знаю лично и в котором люблю его увлеченность (его глаза так быстро загорались, — он, уже изрядно в годах, говоря со мной, юнцом, увлекался так, точно гимназист говорил с гимназистом), Маркс, гениальность которого я скорее чувствовал интуитивно, чем понимал, Лассаль — тут то же, что и с Бебелем, — эти крупные люди дали мне то, что я искал. Но в будни в социал-демократической печати, в немецкой и швейцарской партийной рутине, а позднее и у нас, и у русских все эти годы я видел в социализме только массу — без индивидуальности. Индивидуальное даже совершенно отвергалось, каждая самостоятельная инициатива оспаривалась, момент личной воли полностью отрицался и в истории, и в повседневной работе... Социализм был посредником между мной и людьми, время приблизиться к ним без посредников».

Следом Райнис шлет Янкавсу еще одно письмо. «Вы отрицаете социал-демократию, но — стоя на ее основе. Для отрицания нужна и основа другая». Откликаясь на письмо молодого друга, он еще откровенней, чем прежде. «В вашем отображении ошибка та, что слишком большой вес придан такому клоуну, как Янсон. Он всего лишь кукла (хотя и говорящая), а не руководитель клики: тот гораздо толще. Материальная основа этой клики — касса Бисниекса, а духовная — вторая редакция «Диенас Лапа» и адвокат Стучка. «Диенас Лапа» не только в 92, 93, но и в 94 и частично в 95 году вел я (летом 95 года кое-что делалось уже за моей спиной). Я ушел из редакции в 95 году, когда

деляческий социализм (не Янсона, а Стучки) полностью победил. Я всегда был верен себе и шел всегда левее, чем Стуч., но в политике тогда путь повернул к делячеству, и я перешел к совершенно другому виду деятельности ради той же цели — к поэзии. Но социалистическое учение (в нашем с Вами понимании) и этой клике дал я, «у моих ног они сидели», как сами говаривали тогда; теперь они всю заслугу приписывают себе и все повернули по-своему: печать у них в руках, а я сам об этом писать не могу. Они со своим вождем Ст. пустились в спекуляции; если принимать всерьез Янсона, ничего толком не поймешь. Я нес с честью имя социал-демократа, на том стоял и буду стоять до конца, — но не в политике, а в поэтической работе (которой мне и нужно придерживаться).

Раз Вы придаете такое значение поэзии... то согласитесь, что мне именно нужно оставаться при своем деле, не переходя на публицистику, а это неизбежно, когда вступаешь в полемику и т.п. Комментируя искусство, художник вообще перестает быть художником...»

«Я помню, осознаю и знаю все, все до единой обиды, даже тогда, когда сам обидчик об этом не знает и не помнит. Но я помню и знаю также, где я сам обижал...» — черновик письма к Бируте Скуениеце на этом обрывается.

Он помнил все.

Еще до того, как Райнис в письме к Янису Янкавсу выложил все, что думает о «кукле-Янсоне» и толстом «предводителе клики», пришла в Кастанюлу трогательная посылочка от Петериса Стучки и от сестры Доры: пять еловых шишек, предназначавшихся к Новому году. «С этими пятью шишками, кажется, занесло к нам все леса родины с их запахом, и когда заглянула к нам ваша заснеженная елочка, то и наши каштаны на один день покрылись снегом — из солидарности; обыкновенно же у нас только дожди».

Первое после многолетнего молчания письмо супругам Стучка далось ему нелегко. Оно начиналось с выраженья сочувствия по поводу нездоровья, на которое жаловалась особенно Дора. Но и тут же следовал замаскированный упрек: сестре, «прирожденной южанке», следовало бы жить в теплых краях, Петербург не сулит ей ничего хорошего. «Конечно, Петерис с его новой жизнью... это все перевешивает. А мы здесь точно заживо погребены. Но что поделаешь? Хорошо, что так еще... Хорошо, что здесь заживо погребен: это единственное, что я еще в силах выдержать. Вам, своим людям, могу признаться: вечный, десятилетиями труд не остался без последствий, я примерно в том же

состоянии (хотя и в ином смысле), в каком явился перед Тобой, Дора, когда-то в Цюрихе. Сейчас мне нужно бы совершенно от всего отказаться ради отдыха, иначе врач ни за что не ручается, а пример, достаточно поучительный, у нас перед глазами: судьба А.». А. — Янис Асарс, стараниями жандармов помещенный в психбольницу.

«Обещание насчет обзора литературы не смогу выполнить. Никаких неудобств вам этим, думается, не доставлю: во-первых, литература для вашего журнала не так уж важна, а затем, Янсон, находясь в центре литературной жизни, справится с этим лучше. К слову, не он ли выступил заодно с декадентами в альманахе «Дзелме»... То же самое — что беллетристика никогда не имела веса в глазах партии — облегчает мой вынужденный уход со сцены. И все же, как это все трудно. Я видел в этой работе свой долг... Уходя от трудов, я по-прежнему не уверен, что партия была права, и потому уходить еще тяжелее».

Петерис почти оправдывается в ответ. «Вопрос о партии — штука довольно сложная. Та дисциплина, что является основой ее существования, в свою очередь развивается совершенно самостоятельно и ведет к вере в авторитеты, против которой нужно выступать со всей твердостью... Я толком не знаю, как все происходило в Риге в 1905 году, мне кажется, нечто подобное было виной тому, что у Тебя не было достаточно тесных связей с тогдашними официальными руководителями. Так или иначе, обстоятельства изменились. Теперь они даже изменились настолько, что в партии руководства как такового почти и нет, а потому о какой-то точке зрения партии в этом смысле не может быть и речи. Партийная масса вообще малосознательна — и не только в литературных делах, но и в теории...»

Райнис: «Эта Твоя мысль очень хороша, — что дисциплина становится самодовлеющей. Оружие и без того обоюдоострое, а несовершенная организация еще и отдает его в случайные руки. Мысль эту нужно развивать дальше. Нужно учиться, надо начинать все сначала. Не тратить попусту силы, ни духовные, ни самих людей». И еще: «Что делать партии? Не знаю. Мне, во всяком случае, нужно отдохнуть, может быть, и ей тоже, фактически так оно и происходит. Когда и как ждать возрождения? Как бы то ни было, но ему надо быть великим, чистым и идти от самих масс, иначе опять будет ужасный эксперимент, не нужный прогрессу 1895 год».

Что же было в 1895 году такого страшного, если не считать смены редактора в «Диенас Лапа»? — размышлял, наливаясь гневом, Петерис Стучка. — Ничего! Кроме его ухода с работы, которую он манкировал

из-за любовной связи с Аспазией, ничего кроме его ни с чем не сообразной обиды и удаления от всякой революционной деятельности. Снова и снова перечитывал он письмо друга юности, ответ на его почти извинение — в сущности, неизвестно за что! — на сердечный, братский, примирительный жест! Дора, в конце концов, отняла у мужа письмо, но это ничего не изменило: Петерис уже знал его наизусть. «Не думал, что те старые чувства в меня так въелись...» Жалобы на нездоровье, — «и потому не смогу ответить вам так мило, как хотелось бы, и даже боюсь расшевелить все бывшее и надеяться на лучшее, мне нужно еще привыкнуть к этой мысли». Привыкнуть ему нужно! — забывшись, вслух сказал, почти выкрикнул он, и жена спросила испуганно: «Что, Петруша?» Сколько раз просил ее: не называй меня так, это имя оттуда... из их общей безалаберной, пестрой молодости, вспоминать о которой он так не любил. Он пишет, Янис: «Если б я получил такое письмо лет десять, пять или хотя бы два года назад. Теоретически это было возможно, тогда мы еще ни в чем не стояли поперек пути друг другу, нужно было только выделить каждому его долю, — Тебе публицистику и политику, мне — поэзию». Десять лет назад, в девяносто восьмом году? Мы ожидали приговора, он во Пскове, я в Витебске, — какой дележ? Бредит он, что ли? А пять лет назад, в девятьсот третьем, он уже был поэт, а я политик и публицист, без всякой дележки. «Если бы это произошло, не знаю, насколько бы это Тебе помогло, не мне судить, но я-то сделался бы другим человеком, по крайней мере не размолот бы себя так. Но я еще не могу говорить об этом, потерпите, не считите за обиду, и если этому суждено продолжаться, первое, что понадобится: терпение». Терпение! Да тут никакого терпения не хватит! И что он пишет, что он пишет дальше! «Что с партией все обстоит так скверно, меня как ее инициатора тревожит особенно, мне как ее начинателю она была и останется всего ближе, хотя другие как раз отрицают мою роль инициатора, Ты знаешь. Для меня партия была вопросом идеи и чувства, и все то зло, объективное и субъективное, о котором приходилось постоянно узнавать, мне пришлось пережить так, словно все это было моим личным. К тому же мое дело развивалось и утончалось в области чувств, и теперь еще сверхчувствительные нервы не выдерживают, хоть стыдно об этом говорить». Стыдно — не говори! Точно бы у других нет нервов! — откликалось в Петерисе без его участия, машинально. Стучка жалел уже, что размяк и написал Райнису о вещах, которые не следует знать постороннему. Да, постороннему, потому что он ничему не научился, лелеет и баюкает обиды столетней давности и, даже говоря о партии, думает лишь о себе. Ужасный эксперимент, видите ли! Нужно начать все сначала! И вычеркнуть тысячи жертв? Вычеркнуть героизм

поднятых нами на борьбу миллионов? Именно миллионов, ибо не местечковое, провинциальное латышское дело мы затевали, мы часть всероссийского и всемирного движения, мы прошли на сегодня путь, которым не ходил никто, разве участники Парижской коммуны. Но что с ним толковать! Если бы он не был таким поэтом. Если бы можно было плюнуть и забыть, выкинуть его из головы вместе со всеми его непомерными амбициями, злопамятством и благоглупостями, выдрать из сердца, как дурную траву! Но Дора...

Переписка опять надолго заглохла.

Все, все прошедшее всколыхнулось в Райнисе. Он и без того все помнил, но притупившаяся было боль жгла теперь сосвежа. В начале июня 1908 года он пишет Янкавсу: «Бесконечно устал: пришлось пережить немалое потрясение, когда ожили заново старые, болезненные воспоминания, составляющие весьма большую часть моей жизни. Довелось задеть и родственные чувства, силу которых я недооценил. Тем сердечнее я могу отохнуть на мысли о Вас, о новой дружбе и понимании».

Насчет дружбы он ошибался, насчет понимания — тоже.

Год за годом жили они в одном из самых прекрасных и теплых уголков планеты — и страдали почти непрерывно. Болезни и безденежье терзали их. Одно с другим было связано. Зимние тяжелые простуды, обострения ревматизма, измочаленные вконец нервы были уже привычны, с ними как-то справлялись. Но болезнь Эльзы — катар кишечника — оказалась настолько запущенной, что требовалось основательное лечение. Между тем швейцарская медицина была одним из самых дорогих удовольствий в мире. Богатые и чрезвычайно богатые люди всей Европы, да и других континентов съезжались сюда, санатории и курорты ориентировались на них. В Слободском можно было прожить лет пять на те деньги, что уходили здесь за год. В первое время они жили в одной комнате, потом удалось снять две. Ночами лежали без сна, каждый в своей постели, и давились слезами, стараясь, чтобы другой не услышал.

Убывала любовь. Ссоры и размолвки не освежали, как когда-то, а суммировались, обида прибавлялась к обиде, горечь к горечи. Примирения были недолговечны. Есть у Шопенгауэра знаменитая метафора: любящие дикообразы, чем тесней прижимаются друг к другу, тем больше ранят своими длинными иглами. Их прижимало друг к другу намертво все стечение обстоятельств: оторванность от соплеменников и языка, прошлое. Последним живым клочком Латвии они были друг для друга в настоящем. А в будущем? О будущем они ничего не знали. Любовь

убывала, но и разомкнуть тесное, всеми иглами ранящее объятие они не могли.

А что ж спасало? То, что жили они в Кастаньоле разве что четвертью своего существа, четвертью, не больше. Другая четверть была в том, что они сочиняли, отделенные воображением не только один от другого, но и от наличного времени и пространства. Так бывало и раньше. Но никогда еще не были так ничтожны их связи с окружающей жизнью. Аспазия, как-то не находившая общего языка не только с людьми, но и с природой этих мест, выпала из настоящего, жила воспоминаниями, фантазиями, надеждами. Утешаясь тем, что выплескивала это все на бумагу.

Райнис, уходивший ежедневно с карандашом и листочками бумаги наверх, за церковь, в свой «зеленый кабинет», умудрился сделаться частью пейзажа. «А вон там, — объясняли вновь прибывшим, — видите, под каштаном? Синьор Наглинь, он из России, не то Польши. Он все пишет, пишет... но так-то добрый человек, вполне безобидный».

Третья четверть: почта. Письма, газеты, журналы, реже — книги. Деньги, наконец. Их новости — почти все их новости — поступали оттуда. Если бы этой прерывистой линии, связывавшей их с миром, не стало, не стало бы и их.

Наконец, изрядная часть их жизни происходила там, где обретались их друзья и враги, родные, их издатели, зрители, читатели, цензоры, судьи. В Швейцарии они были двумя немолодыми иностранцами скромного достатка — и всё. То, что они крупнейшие, первые поэты своего народа, знали только там, где они не могли показаться, где Райниса подстерегала тюрьма, если не смерть, и где Эльза Плиекшан тоже не могла себя чувствовать в безопасности.

В четыре руки они перевели раннюю драму Шиллера «Разбойники». В Новом Рижском театре шли «Фауст» Гете, «Вильгельм Телль» Шиллера и «Потонувший колокол» Гауптмана, переводы Райниса. Тот же театр готовил к постановке драму Аспазии «Вайделоте». Эльза уже послала свои пояснения и пожелания режиссеру Екабу Дубурсу, но тут выяснилось, что и старый — Рижский латышский театр готовит ту же пьесу, причем там ссылаются на более ранний договор с автором... Итог: в обоих театрах работа скомкана, испорчена спешкой, Дубурс, на которого и Райнис возлагал немалые надежды, уходит из театра, громко хлопнув дверью, болезнь Эльзы в очередной раз обостряется, — врачи предписали ей избегать каких бы то ни было волнений. Летом 1909 года пришло известие о смерти брата Замуэля. Избегать малейших волнений? Драгоценный рецепт. И здешние медики берут за него достаточно дорого.

Наконец-то радость, притом неожиданная. В петербургской латышской газете «Варпас», близкой к социал-демократам, появилась заметка: «Фонд Бисниекса, основанный в честь 25-летия руководимой Бисниексом кассы взаимопомощи ремесленников и предназначенный для награждения лучших работ латышских писателей, в нынешнем году распределен очень странно. А именно: назначенная для этого комиссия признала за лучшие достижения в латышской литературе произведения Аспазии и А.Алунана, присудив соответственно Аспазии 800 и Алунану — 400 рублей. Разумеется, одному нравится мать, другому дочка, и потому присуждение 800 руб. Аспазии, притом полностью в обход Райниса, может и не вызвать возражений, но премия Алунану? (Следуют доводы: почему имя Алунана в данном случае выглядит чистой насмешкой. «Награду за лучшие произведения комиссия, нужно думать, не спутала с пенсией для заслуженных работников латышской сцены?»). Может быть, члены комиссии решили, что, в виду гонений администрации на лучшего лирика, его работы теряют свою ценность? Состоят в комиссии, кроме адвоката Чиксте, еще К.Каспарсонс и П.Стучка — люди, чьи имена латышам хорошо известны, и это заставляет нас, прежде чем высказать окончательное суждение по этому поводу, ждать объяснений от упомянутых господ»*.

Восемьсот рублей! По крайней мере на год это решило бы все их проблемы. Наконец-то Эльза сможет поехать в санаторий. А то уж на родине, по словам Брата, А.Деглавса, готовились собирать в складчину деньги ей на лечение. Райнис протестовал: надеялся как-нибудь наскрести нужную сумму сам; благодеяний же не терпел и просто боялся. Аспазия не была настроена столь решительно... Но теперь все уладится! Если, конечно, в редакции ничего не перепутали.

Но сообщение было повторено и в рижских газетах. Не хватало лишь официального подтверждения. Почему-то и самой Аспазии никто ничего не сообщал.

Бисниекс и Стучка! Все несчастья Райниса начались в 1895 году, когда именно эти два человека выставили его из газеты. Неужели — запоздалое раскаяние? Желание что-то исправить?

Он немедленно пишет Доре: «Правда ли то, что в «Варпас» было насчет премии фонда Бисниекса, или это только слухи? Если правда, то нужно уже заранее сказать спасибо Петерису. Но почему он ни слова не написал об этом и почему дали на Эльзино имя, а не на мое, хотя заметка в «Варпас» явно намекает на меня? Должно быть, из-за властей, но тогда можно и нужно было объяснить, что «по известным причинам»

* Доказательств у меня нет, но подозреваю, что автор заметки — сам Петерис или же Дора Стучка.

присудить премию мне не было возможно, иначе могут понять неверно; к воззрениям П. все-таки близок я, не Эльза. Со здоровьем Э. никак не наладится, вслед за улучшением — опять обострение. Если слух подтвердится, она сразу же поедет в Цюрих, к Айнхорсту».

Как он сожалел потом об этом письме! Поверил — и кому? — Стучке! Бисниексу!

Фонд, основанный в честь бессменного директора кассы ремесленников, существовал недавно, премии присуждались впервые. И члены комиссии были названы в печати верно: адвокаты Чиксте и Стучка, врач Каспарсонс.

Райнис и Аспазия писали во все концы, пытаясь выяснить, почему дело не пошло дальше газетных сообщений. Наконец, Брат написал, что вся загвоздка — в позиции Стучки. Он, Стучка, настаивает на том, чтобы премия была дана Райнису, а об Аспазии будто бы сказал, что она «никакая не поэтесса».

Написал и сам Петерис. Да, он не мог согласиться с тем, что личность лауреата определяется «свидетельством о благонадежности» и, коль скоро фонд боится дать премию Райнису, он выходит из состава комиссии.

Оскорбительная история, будто нарочно придуманная, чтобы унижить обоих поэтов, растянулась на месяцы, на годы. Бисниекс тяжело заболел, что еще больше осложнило дело. Райнис написал Стучке, что «отказывается от своих прав на премию в пользу Эльзы» и просит Петериса отозвать ультиматум. Ответила Дора: теперь уже, кажется, ничего нельзя сделать, но они охотно помогли бы деньгами; не отказывайся, братик... Отказался, конечно. Самое скверное, что их должники, их издатели и редакторы, прочтя в газетах о столь крупной денежной награде, не спешили платить долги и высылать гонорары. Дело получило шумную огласку. Разъяренная Аспазия и сама напечатала в газете протест: можно ли таким манером примазываться к славе поэтов и делать себе рекламу на их имени, не неся при этом никакой ответственности за свои же решения?!

Старая знакомая, Нина (она же Анна) Приедите пыталась в Риге выбить деньги из фонда. Касса ремесленников закончила год с большой прибылью, оборот ее приближался к двум миллионам рублей. Нина пыталась разжалобить собеседников положением двух изгнанников, но ей рассмеялись в лицо. Райнис изъял в рижских банках 30000 рублей, —

неужели же он себе ничего не оставил? То ли мифический миллион, экспроприированный якобы Райнисом в Пятом году, превратился в эти тридцать тысяч, то ли в чьем-то завистливом воображении этак выросли действительные средства Райниса и Аспазии, которые им удалось через посредников выволить из рижских банков и на которые они перебивались вот уже четыре года в самой дорогой стране Европы? Хуже всего, что старинная приятельница Райниса поверила этим господам. «А я-то, дура, распинаюсь тут за них...» — вот был полускрытый смысл ее письма, вызвавшего у Райниса приступ бессильной ярости.

Тончайшая, гениально закрученная интрига чудилась теперь Янису во всем, что произошло. Опять его друг как бы не при чем. Более того: он принципиален! Он высокоморален! А что, если в замысел входило все, абсолютно все, вплоть до нового отчуждения между двумя изгнанниками, которых взяли да издали столкнули лбами. О мастер! О кукловод! Но до чего же противно чувствовать, что и сам поддался, побыл в роли марионетки! Поделом тебе, не жди наград и премий, не жди подарков, ничто и никогда еще тебе не доставалось даром.

Премию так и не дали. Никому. Объясняли, что юридический механизм фонда не разработан... А года через полтора и Бисниекс умер. Стучка написал прочувствованный некролог. У Райниса и Аспазии для покойника не нашлось и одной слезы.

И в разгар некрасивой этой, тягостной волокиты Райнис получил из Риги предложение: написать пьесу для детей к Рождеству. Письмо пришло в октябре, пьесу они хотели получить не позже начала декабря. Что они там, с ума посошли? Райнис написал короткое и не очень любезное письмо с отказом и понес на почту.

По пути один, присмотренный как-то в сборнике эстонских сказок сюжет замерцал... выступили из тумана лица... Не доходя до почты, он повернул обратно. Будущая пьеса встала в его воображении разом, точно дворец, построенный джином за мгновение, и возвратясь домой, он едва успевал набрасывать планы, картины, первые диалоги.

Пьесу «Золотой конь» он написал за неполных четыре недели, и на Рождество в Новом Рижском театре была премьера.

Коротенькое отступление. Давно уже следовало шепнуть на ухо читателю, на ушко читательнице: я не литературовед. Вот уже сто лет латышские литературные критики, профессоры, целые институты изучают стихи и пьесы Райниса, анализируют, разбирают по косточкам и собирают заново; об отдельных его сочинениях написаны целые книги. Не могу похвастаться, что прочел хотя бы половину написанного о моем герое; признаюсь по секрету, что и решительно откладывал некоторые статьи и целые книги не читая, ибо хотел встретиться с моим героем и его творениями без посредников, даже и самых даровитых и добросовестных. Я к чему клоню-то? Я клоню к тому, что только нехотя и вынужденно я посвящаю страницу-другую рассказу о той или иной книге Райниса, той или иной пьесе. Рассказу заведомо беглому, неполному и, должно быть, неточному. Ни состязаться со специалистами, ни тем более ревизовать вековые усилия множества людей я не думал. И лишь необходимость хоть намекнуть людям, не читавшим, может быть, Райниса ни в оригинале, ни в переводе: чем занимался мой герой — составляет меня там и сям пересказать вкратце какой-то райнисовский сюжет, упомянуть о том, что прямо связывает очередной опус с моим романом, то есть *историей личности*. Только лишь в этих прикладных и своекорыстных целях автор залезает время от времени в чужой монастырь, и, не зная толком его устава, норовит поскорее оттуда унести ноги.

Уфф! Итак, «Золотой конь». Первая из пьес, написанных Райнисом в эмиграции. И, может быть, самая скромная из них. Года через два он назовет эту свою работу «самой любимой».

Жили-были три брата, двое умных, а третий...

Третьим был Антыньш. Как пояснил в одном из писем постановщикам пьесы Райнис: *Антыньш — поэт*.

На вершине стеклянной горы, в окружении стражи — семи воронов — спит в стеклянном гробу царевна. Кто взберется на стеклянную гору, кто оживит царевну, получит в жены ее и полцарства в придачу. Сюжет эстонской сказки, прочитанной по-немецки, был дополнен мотивами из латышских сказок. И собственной фантазией.

Черная мать — Смерть — видимая зрителям, а для участников действия невидимая, садится на ноги умирающему отцу, нажимает затем на его руку, грудь. «Кто это так сильно сжал мне грудь?» Да что ты, отец, нет здесь никого.

Замечательны братцы Антыньша. Самодовольные, жадные, невообразимо пошлые, умные торгашеским, расчетливым, плоским умом, который, гонясь за богатством, так быстро и непоправимо нищает.

Злодеи редко считают себя злодеями. Им свойственно взваливать вину за свои злодеяния на их жертвы. Грабя и обижая младшего брата, эти двое, кажется, с полной искренностью возмущаются им, с наслаждением находя вину в каждом его шаге и слове. С их жадностью, с их подлостью дело обстоит так же, как это было с появлением Черной Матери: зрители видят и слышат то, что для самих персонажей невидимо и неслышимо.

Что же до Антыньша, поэта, то Райнис, кажется, написал свой автопортрет.

Автопортрет? Ну да. Сказочный, слегка фантастический, но узнаваемый вполне.

«...а третий — дурак». Ничего нового: в сказках многих народов этот третий, презираемый первыми двумя, получает в награду царевну. Но такого, как этот, в сказках еще не встречалось. Не богатырь, не силач и не ловкач. Да. Дурак, — но только по дурацкому счету прикладной, ближайшей пользы. Свет милосердия и доброты, самоотречения исходит от него. Он позволяет братьям грабить себя не по глупости, а по бескорыстию: ему не нужно того, чего они домогаются. Или нужно, но он обойдется. Недостижимая мечта — принцесса, спящая там, на вершине горы, идеал, пришедший во сне, манит и заставляет забыть все прочее.

Антыньш слаб и преисполнен сомнений. Сомневается он не в других — в себе. В своей способности совершить чудо. И совершает его. По формуле:

Силу одолеет слабый.

Все твое, что дашь другому.

Тот найдет, кто потеряет.

Кто сумеет измениться,

Тот останется собой.

Парадоксы бывают и внешними. Эти — вместили судьбу Райниса. Он впервые отчеканил в слове то, что с ним происходило всегда и всюду. Все его находки обнаруживались на последнем дне очередной потери, свет он черпал в сгущении тьмы и умудрялся оборачивать силой свою слабость, все свои слабости.

Он наивен, Антыньш. И чем-то напоминает Юродивого из пушкинского «Бориса Годунова». Все, что он умеет, — сочувствовать, сострадать, любить недостижимое. И еще он готов отдать жизнь за то, что ему дорого.

Иной раз кажется, что ничего иного не умел и Райнис. Я понимаю, — это звучит похвалой, а хвалить так легко. Но если подумать всерьез — *какая ж тут похвала?*

Спектакль в Новом Рижском театре удался не вполне, сказались спешка и бедность постановки. Но зрители на него шли, и взрослые чаще, чем дети. В спящей принцессе угадывали латышский народ, в семи годах ее сна — семь веков немецкого ига, в семи воронах... Ну, черных воронов кругом хватало, и не приходилось долго искать прототипов.

«Милая, славная Нина, — писал Райнис давней соратнице по «новому течению», — знаешь ли, что у нас скоро будут неожиданные гости: сестра и Стучка? Они путешествуют в этих краях, сейчас в Люцерне и скоро будут здесь, а домой отправятся через Милан, Триест и Вену, как вы с мужем в тот раз. Я напишу попозже, когда они приедут и сколько пробудут у нас, может быть, Ты захочешь их видеть...»

21 августа 1910 года: «Милая, дорогая Нина, приехали оба, Дорочка и Петерис... Пробудут здесь дней восемь. Что если б Ты прикатила сюда, были бы все вместе, как в прежние дни...»

Нина приехать не смогла, но и без нее гостей в Кастаньоле хватало: здесь был и ежедневно встречался с Райнисом режиссер Нового Рижского театра Алексис Миерлаукс: в Риге целый год собирали средства на постановку драмы «Огонь и ночь», у Райниса уже побывал художник Янис Куга, а теперь вот подробно обсуждал постановку с автором режиссер. Вместе с Петерисом и Дорой приехал Вилис Хертелис, брат известного революционера, расстрелянного карателями; он рассказывал о последних днях брата...

Давно ж они не виделись с Петерисом: семь лет! С Дорой — немного меньше.

Легко Эльзе. Она никогда не любила их. Странно, даже теперь она робеет в присутствии Доры. Робеет, стесняется, — и становится шумной, чтобы скрыть это. Сестра всегда представлялась ей этакой светской львицей, перед которой надо не упасть в грязь лицом. Полжизни прошумело. Эльза теперь самая знаменитая женщина Латвии, чего ей бояться? «Бояться», может быть, не то слово, и все-таки...

А Стучке она вот-вот нагрубит. Рано или поздно выпалит что-нибудь такое... Она могла бы простить все, что угодно, только не слова, якобы

произнесенные Петерисом: *Аспазия — никакой не поэт*. И вся эта история с премией фонда Бисниекса — дело его рук, ночью напоминала Эльза. Трудно сказать, на сколько дней или часов ее хватит. Она обещала молчать, не задевать эту тему. Но «эта тема» раздувает ее изнутри, она будет рваться наружу, пока не...

Легко Аспазии: она их не любит.

Янис Плиекшан любит сестру, любит своего лучшего друга. Вся его молодость, живая, оказывается, под прикрытием первых седин, спрятавшаяся, как ребенок, в самом темном углу, вырвалась, чтобы броситься им на шею. Броситься навстречу девочке-Доре, броситься с распахнутыми руками навстречу студенту-Стучке. Вся его душа истосковалась по ним. Нет никого на свете ближе, нет роднее. Дора, милая, я люблю тебя. Петруша, ты жив, старина?

Вот так, хлопайте друг друга по плечу, бейте изо всех сил, выбейте один из другого одним ударом все чужое, все ненавистное.

Кто там говорит о ненависти?

Тот же, кто говорит о любви.

О любимые мои, ты и ты.

О ненавистные.

Хорошо Эльзе. Как нетрудно говорить с нелюбимыми, посторонними. Ссориться и мириться.

Интересно, понял ли Петерис... не пропустил ли в «Огне и ночи» слова Кангарса, которые ему следовало прочесть? «Он мой друг юности», — говорит Кангарс о Лачплесисе. Он говорит:

Я выведаю, друг, в чем твоя сила,

Предам тебя, продам...

Он утверждает:

Я, Кангарс, знаю, как достать его.

Вражда моя его сопровождала

Всегда, всю жизнь...

Всю жизнь, не так ли, друг Петерис?

Ни в письмах, ни в дневнике — ни слова о том, как прошла встреча с сестрой и ее мужем. Мы знаем только, что к чему бы ни притрунулись в тогдашних беседах, все должно было отзываться болью, все кропотливо. Слишком долго носил в себе Райнис обиды и подозрения, доказательства их вины и своей правоты. Годами — в тюремных камерах, в ссылке, в чужих и временных пристанищах он мысленно выкладывал им свои убийственные аргументы.

Дора Стучка, урожденная Плиекшан: «Последняя встреча с братом была за границей в 1910 году, когда мы во время своего путешествия посетили его и Аспазию у озера Лугано. Райнис и Аспазия жили очень просто в двух небольших комнатках и сами себе готовили. Райнис тогда снял для нас комнатку в ближнем пансионате, с хозяевами которого он был знаком. Мы совершали опять общие прогулки, экскурсии. Я простудилась и заболела ангиной. Брат сидел все время на краю моей постели и говорил со мной. Когда мы уезжали, уже попрощались, Райнис долго провожал нас взглядом. Могли ли мы подумать, что встреча эта была последней?»

Из позднейших воспоминаний Аспазии. «Прошли годы, раны уже не кровоточили, но и не заживали. Во время одной заграничной поездки они навестили нас. Прошое не поминали, но в отношениях царила холодная вежливость, и такая была во всем натянутость, что они очень скоро уехали. Дора от случая к случаю присылала брату открытку, но говорилось там больше о воспоминаниях детства».

Из письма Райниса. 8 сентября 1910 года. «Милая Нина, вот мы и опять одни, гости разъехались. Дора приболела пять дней, — ангина, — и поспешила домой напрямик через Цюрих».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЕРШИНА

464

Петерис Стучка был защитником на процессе по делу о «Тихой книге» Райниса. Предварительной цензуры в России теперь не было, книга поступала к цензорам сразу по выходе из типографии и могла так никогда и не дойти до магазина. Так и было на этот раз. Петербургские издатели «Тихой книги» пытались подстраховаться: они не раз были с рукописью у старого знакомого Плиекшана — либерального цензора Ремикиса. Это Ремикис пропустил когда-то в печать первый сборник Райниса «Далекие отзвуки в синем вечере», это к нему приезжал Райнис с «Серебряным покрывалом» Аспазии...

На этот раз старый либерал струхнул. В тех самых стихах, которые он устно «пропустил» совсем недавно, теперь Ремикису виделась отчаянная крамола. Ему и хотелось сохранить лицо, но альтернатива была жестокой: сохранять или лицо, или голову. Цензор пишет донесение в Комитет по печати: «Автор выражает сочувствие борьбе рабочего класса против существующего порядка и даже призывает массы, объединившись, продолжать борьбу». Перечисление десятка стихотворений... Цитаты... Комитет по печати, в свою очередь, шлет бумагу председателю Судебной палаты: «Комитет имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство возбудить судебное преследование против автора книги Я.Райниса (его фамилия, имя, сословие и местожительство Комитету неизвестны) и других персон, могущих быть виновными в этом деле».

На книгу наложен арест. Адвокат Стучка процесс проиграл. Может, его и нельзя было выиграть?

Зато в Риге тот же самый сборник, но под другим названием и в несколько сокращенном виде, вышел в свет в декабре. Райнис в письме к издателям советовал на случай конфискации выпустить книжку небольшим тиражом и постараться его немедленно распродать. Так и

было сделано. В Петербурге М.Ремикис, получив экземпляр книги Райниса «Листья, несомые ветром», поспешил с новым доносом по начальству: «Перед нами та же самая «Тихая книга» того же автора... В стихах подразумеваются события 1905 года... высмеиваются мирные обыватели...» Но на сей раз он опоздал: весь тираж к тому времени разошелся по рукам.

Что же до «Тихой книги», то типографские рабочие сумели припрятать сотни две экземпляров. В январе 1911 года издателя книги приговорили к году тюрьмы. А 9 июня того же 1911 года помощник городского головы Санкт-Петербурга сообщал в Главное управление по делам печати: «28 апреля сего года комиссия посредством разрывания на куски уничтожила экз-ры арестованного сборника стихов на латышском языке: Райнис, «Тихая книга». К сему прилагаются 2 экземпляра книги».

Весь 1910 год в Новом Рижском театре репетировали «Огонь и ночь». В рабочих обществах и кружках собирали деньги на постановку. О декорациях и костюмах, сочиненных Янисом Кугой, говорил весь город. Известно было, что художник и режиссер ездили в Швейцарию к автору. Актеры, а особенно актрисы в театре перессорились из-за ролей: интриги, разбирательства, крики и всхлипывания слышались аж за тысячу верст, в Кастаньоле. Райнис пытался вмешаться издаека, спасти положение, но убеждался в своем бессилии.

Даже Бирута Скуениеце поставила его в неловкое положение — затребовала телеграфом, чтобы автор подтвердил: роль Спидолы доверяется исключительно ее подруге Тие Банге, а не Лилии Эрике. Райнис телеграфировал, что оставляет дело на усмотрение дирекции, так как сам он «не специалист».

Бирута давно уже была не та шестнадцатилетняя гимназисточка, которую он легко, «как сосновую шишку», поднимал на руки там, под соснами, на песчаных, пропахших смолой и морем дюнах. Она была замужем, и с мужем ее, Янисом Дамбекалном, у Райниса в свою очередь завязалась дружеская переписка. Их сын был крестником кастаньольских поэтов, и звали его... Райнис.

Увы, молодая актриса оказывалась не раз вовлечена в шумные ссоры, сотрясавшие молодой латышский театр, в интриги, протесты, хлопанье дверьми... Аспазию она так рассердила, что на некоторое время переписка между ними была прервана.

С Райнисом иначе. Если уж он начинал кого-то любить — это было надолго, и сколько бы усилий ни прилагали другие, да и сам виновник этих чувств к тому, чтобы их разрушить, ничего не выходило. Бирута

Скуениеце была его последней, бескорыстной и чистойшей влюбленностью там, на родине, а в одном из писем к ней Райнис заметил, что за все эти годы он от них *никуда не уезжал*.

Январь 1911 года. На генеральную репетицию «Огня и ночи» приглашена уйма народу: газетные рецензенты, коллеги из других театров, литераторы, музыканты, седовласые мэтры и молодежь, просто лица богатые и влиятельные. Но в последний момент никого в театр не пустили! Бирута писала Райнису: «Чужих запретили пускать, и никого не было. Исключая, конечно, полицию. Пришли, потребовали цензурный экземпляр, сравнили с ним два своих экземпляра, и на генеральной репетиции в первом ряду сидели только два квартальных надзирателя, следили, не произнесут ли со сцены какую-нибудь фразу, вычеркнутую цензурой».

Но ничего такого не случилось, и представление пришлось разрешить. И вот 26 января 1911 года — премьера!

Любой театр запрограммирован на успех. Аплодисменты и лавры есть норма для театра, и вот почему так трудно писать об успехе редкостном, небывалом. Да, знавала латышская сцена и раньше триумфы, стоит только вспомнить «Серебряное покрывало» Аспазии или спектакли по пьесам Блауманиса. Но успех «Огня и ночи», по описаниям, был из ряда вон. *Праздником латышской сцены, переворотом в театральном искусстве* — и как только еще не называли эту премьеру! Драму показали десять раз подряд при переполненном зале.

Недоброежелатели Райниса поспешили объявить, что дело не в пьесе: «виноваты» художник и композитор, пляски и хоры, живописные и световые эффекты. Доля правды тут была: может быть, в биографии латышского театра это первый случай, когда сцена соединила все искусства и синтез их дал новое качество. Прежний театр стал после этого спектакля невозможен: в нем разом высветились черты не замечавшейся прежде бедности и дилетантства. Пройти мимо этого события не мог никто. Никто и не прошел: премьера «Огня и ночи» стала для десятков творческих биографий точкой отсчета.

Уже третья премьера проходит в отсутствие автора.

А что ж он сам? Торжествует? Упивается своей победой?

Да, торжествует. Да, упивается. Переживает моменты счастья, острого, как отчаянье. Еще острее.

Это следует знать. Материя, почти не оставляющая следов. Полнота признания, о которой мечталось с тех времен, когда и признавать-то было нечего. Лет с пятнадцати, если не раньше. Только экстраординарный, только небывалый успех мог его убедить. Заставить окончательно уверовать в себя. Так что ж, уверовал? Пожалуй. Навсегда? И да и нет. И навсегда. И до следующей вспышки сомнений.

В последующие годы он сделает едва ли не больше, чем за всю остальную жизнь. *Трагедия молодости* — «Индулис и Ария» — будет написана к концу этого же, 1911 года и поставлена в 1912. В том же 1912 выйдет из печати сборник стихов «Конец и начало», одна из главных книг в латышской литературе полутора столетий. «Вей, ветерок!» — *народная песня в пяти актах* — 1913 год. И осенью 1914, когда уже грянет мировая война, когда тысячи людских, конских, птичьих трупов будут валиться ежедневно на сырую землю — Галиции, кажется? — издали не разглядеть, — он поставит точку в трагедии «Иосиф и его братья», самой личной и самой выстраданной трагедии из всех, какие он успел прожить и написать.

По объему три сочиненные в это время пьесы равнялись всему «Фаусту». Он втайне надеялся, что не только по объему. Только вот время для нового «Фауста» не было подходящим. Соотечественники Гете зарились на балтийские земли. Скоро под натиском немцев начнется исход с родины сотен тысяч латышей: бросив насиженные веками места, беженцами растекутся они по всей России.

Но это будет; на внутреннем календаре нашей книги — все еще мирное, довоенное время: последние отголоски девятнадцатого века в двадцатом.

Нежданно-негаданно объявился Яннис Янсон или *Браун*, как его в эти годы чаще называли. Он прислал только что вышедшую первую часть своей книги «Балтийская революция». Давний поединок Райнис-Янсон входил в новую стадию.

Надпись автора на титульном листе можно было толковать двояко. «Милому, незабываемому Райнису в память о прошлой и будущей борьбе от Янциса». Нет, «Янцис»-то явно думал при этом о революционной борьбе, но ведь была и борьба между ними: из-за Аспазии, из-за первенства в «новом течении», из-за этой самой книги, которую Янцис прямо-таки «увел», вырвал из рук Райниса в 1906 году!

Янсон-Браун занимал теперь в Латышской социал-демократии видное место. Да и не только *теперь*: одну из главных ролей он сыграл в событиях 1905 года. Его имя широко известно в международных кругах.

О книге «Балтийская революция» был хорошо осведомлен Максим Горький. Она еще не была готова, а Горький уже хлопотал об издании. Писал «самому» Карлу Каутскому: очень рекомендовал Янсона, называя своим другом. «Я буду бесконечно признателен за Ваше к нему внимание...» Известному русскому издателю Ладыжникову Алексей Максимович предлагал издать книгу Янсона в немецком и русском переводе, обещая не только написать к ней предисловие, но и оплатить все расходы по обоим изданиям, включая авторский гонорар. «Прибыль — издательству, расходы мои». Впрочем, из этих планов ничего не вышло. Единственный экземпляр рукописи Янсон отослал в Ригу; там книгу уже набрали и начинали печатать, — но тут в типографию нагрянули жандармы с обыском. Все — и манускрипт, и набор — было уничтожено. Потом Янсон восстанавливал текст по памяти. (Какой-то рок преследовал эту книгу, — уж не сглазил ли ее наш герой? Вторая часть была сдана в типографию в Женеве перед войной, но в хаосе последующих событий пропали и типограф, и типография, и, само собой, несчастная рукопись).

Получив подарок, Райнис растерялся. Как это понимать? И что ответить? Аспазия в это время лечится в санатории в Цюрихе, он спрашивает у нее совета: как быть? Явный шаг к примирению, но нет ли тут какой хитрости? Не дождавшись ответа из Цюриха, он пишет Янсону. «Мой милый Янцис! Давно уже я к Тебе так не обращался. Что и как я говорил о Тебе, должно быть, рассказала Дора, почему — Ты тоже знаешь. Но со временем наши вражда и любовь, наши дела всем сделались безразличны, всеми забыты — кроме нас, — в таком узком кругу мы вращаемся. Я сейчас переживаю внутренний кризис, и вот приходит Твоя книжечка с напоминанием о прошлой и будущей борьбе и со словом «незабываемый». Все годы — полжизни! — с их горечью и меня не заставят забыть Тебя, даже если сами эти годы мы предадим забвению. Только всякую новую горечь теперь оказалось бы снести трудней, чем прежнюю. Я собираюсь помнить об этом, и если бы Ты поступил так же, все могло бы быть хорошо. Хочу надеяться. Привет! Твой... Кастаньола, 27 ноября 1911 года».

Копию он отправил Аспазии. Та откликнулась в тот же день: «Письмо Янису Ты написал хорошее, пусть так и будет, — забудем горечь прошедшего...» Забудем? Как будто он на это способен!

Ответное письмо Янсона-Брауна приведем почти полностью. «Милый, дорогой! — писал он 3 декабря. — От всего сердца спасибо Тебе за Твое милое письмо, хотя многое в нем остается для меня темным. Когда Петерис и Дора были здесь прошлой осенью, я их расспрашивал о Тебе: как Ты живешь, как чувствуешь себя и т.п., но о каких-то наших несогласиях не было речи. Хотя мне известно было все эти годы, что Ты обо мне не слишком хорошего мнения, и больно мне это было, но что поделать! Я и посейчас не знаю, чем провинился перед Тобой — в жизни столько недоразумений и люди столько всего пересказывают и переиначивают (сознательно или бессознательно). Или вина — в литературных делах, в каких-нибудь субъективных суждениях с моей стороны? Об этом что ж я могу сказать! Нет более любимого и близкого мне современного поэта, чем Ты! И вообще, я не думаю всю эту кучу недоразумений распутывать сызнова, скажу только вот что: Ты мне был дорог и мил все эти вот уже скоро двадцать лет, с тех пор, как впервые Тебя встретил, мил и дорог Ты мне останешься навсегда, если даже все эти упреки не сотрутся из памяти и Ты будешь все еще держать на меня обиду. И еще одно скажу: я, право же, заслужил, чтобы Ты мне больше верил.

Задело меня, что такое горькое сожаление звучит в Твоем письме. Ты пишешь: «Со временем наши вражда и любовь, наши дела всем сделались безразличны...» Но милый, добросердечный, это же попросту неправда! Как Ты можешь сказать, будто то, что Ты чувствовал и перестрадал и сделал, всем сделалось безразлично, когда строки Твоих стихов придают силы сотням и сотням?.. (Тут следуют горячие похвалы книге Райниса «Те, кто не забывают»; их мы опускаем).

Теперь несколько строк обо мне самом. Что оба, я и жена, бьемся с нуждой, ради куска хлеба, писать вряд ли стоит. Три года (с 1907 по 1910) прожили в Финляндии, очень одиноко. С людьми встречались мало (вообще интеллигенции в европейском смысле, как мы это понимаем, у финнов почти нет). Осенью там темно, туманы густые, тяжелые, зима с морозами и метелями. Но читать, учиться и думать там можно было без помех, если не считать постоянных тягостных забот и тревог. Но все-таки я там успел кое-что составить и еще многое начал. Год назад перебрались в Брюссель. Здесь совсем иная атмосфера. Политика, партийные дела, — их даже слишком много, так что в этом году времени для других работ не осталось. Ты знаешь, конечно, какие споры сейчас раздирают российскую партию, какие тут сложности, конфликты, интриги, — иной раз хочется уши заткнуть, только бы не слышать все эти распри. И все же приходится влезать во всю эту сутолоку, помогать вытаскивать опрокинутый воз из болота и ставить телегу снова на твердый путь!

Среди наших тоже был сильный крен в сторону легальности и реформизма. Много времени и энергии отнимают заседания, споры, писанина, выяснение отношений, уйма мелких и незаметных дел. Но ни в коем случае не скажу, что вся эта работа ведется впустую и никому не нужна...

Там, дома, наши организации держатся довольно прочно, хотя, конечно, провалы кое-где неизбежны. Однако наш край в этом смысле считается самым сильным во всей России. Мало-помалу все идет к лучшему: организации обновляются и укрепляются, есть довольно твердая надежда, что в самой России будет создан общий руководящий центр. Тогда и российская партия однажды скинет теперешнюю зависимость от эмигрантов и хоть сколько-то утихнут некрасивые скандалы, связанные с фракционной борьбой.

Фактическое руководство газетой «Циня» теперь лежит на моих плечах, хотя для равновесия мне придали в помощь молодого парня с противоположными — меньшевистскими взглядами. У нас к Тебе большая просьба: не можешь ли Ты прийти на помощь и поддержать «Циню»? По крайней мере, поэтическими строчками, они всегда у Тебя выражают так много и вызывают столь живой отклик в массе читателей...(NB: в последние годы живопись и скульптура меня интересуют почти что больше, чем литература).

Моя вторая половина — поистине «*ein Kamerad, einen bessern findst du nicht**», — до сих пор вместе пробивались сквозь все трудности и лишения и надеемся, что выдержим те годы эмиграции, которые еще нас ждут. У нас двое детей: Эллина шести лет, Эрик — четырех с половиной, оба уже ходят в школу (мальчик, собственно, в детский сад). Жаль только, что они растут без родины, без родного языка: сначала говорили по-немецки, потом по-шведски и по-фински, а теперь вот заделались настоящими маленькими французами. Мы их учим говорить латышски и они латышские слова понимают, но больше говорят на том же языке, что и окружающий их мир. Малыши — наша радость, хотя и хлопот с ними немало. Столько в них веселья, бодрости, детского счастья.

Сам я со всеми своими нервными недугами усталым и сломленным себя не чувствую. От всего сердца желаю Тебе бодрости и радости. *Дай радость людям!*** В Финляндии, лечась в санатории, много думал и о Тебе: боюсь и за Твое здоровье... Я теперь, с возрастом, стал замкнутей. Но думаю, что однажды мы все-таки встретимся, и многое, что вставало между нами, отпадет и растает как снег.

* Товарищ, лучше которого не найдешь (нем.).

** Последняя фраза написана Янсоном по-русски.

Сердечно и дружески прощаюсь с Тобой в этот раз — Ты остаешься мне мил и дорог, но теперь много ближе! Твой Янцис».

Только слепой не заметит разницы в тоне двух писем. Райнис отвечал внезапно вынырнувшему «Янцису» недоверчиво, опасно, не скрывая горечи и вовсе не спеша в раскрытые для него объятия. Янсон ничего этого вроде бы и не замечает! Он объясняется в любви и дружбе взахлеб! Странно все это. Литератор он был небесталанный, никак не бесчувственный к оттенкам слова, к интонации. Поверил он — или *хочет* верить во что бы то ни стало, что все прежнее сброшено с плеч и, несмотря на оставшуюся у поэта горечь, все можно начать сначала?

Райнис думает иначе. Пропуская нетерпеливо все уверения в дружбе и *вечной, с первой встречи*, симпатии, он должен был ухватиться за строчку: «Я и посейчас не знаю, в чем провинился перед Тобой».

Райнис знал.

Именно то начало их отношений, о котором Янсон склонен был теперь вспоминать с сентиментальной нежностью, поэт считал истоком всех бедствий. Блистательный дебют Янсона на общественном поприще был подготовлен им, Райнисом; двадцатилетний студент вышел к публике, чтобы громогласно пересказать услышанное и усвоенное от него. И, присвоив себе все заслуги, тут же предать учителя. Попытаться отнять у него все: его женщину, место в обществе, его партию, его идеи и друзей, его хлеб и свободу. Все, кроме женщины, и отнял. Не в одиночку. Райнис по-прежнему считал его лишь исполнителем черного замысла. Вдохновитель тайно направлял, исполнитель — топил. Намерение погубить соперника почти осуществилось. В тюрьме Райнис физически погибал, еще немного — и сама камера оказалась бы для него смертным приговором. Предательство Янсона, Стучки и Доры сломило в нем что-то навсегда, необратимо: вся прежняя жизнь оказалась перечеркнутой; другую жизнь выстраивал на пустом месте заново другой человек. Все это в глазах Райниса не нуждалось в доказательствах, и время ничего не изменило в происшедшем. Для него.

Он не верил в искренность теперешнего Янсона. Не верил, что тот мог забыть свои поступки и мотивы, побудившие к ним. Следил за каждой публикацией литератора, критика-Янсона ревниво, неизменно ожидая подвоха. И находил: в книге о современной литературе Латвии — единственное беглое упоминание о себе, в популярном календаре — нападки на Аспазию, в переданных ему отзывах Янсона — неприятие его пьес.

Теперь, читая неожиданные объяснения в вечной дружбе и любви, он полон подозрений, он гадает: к чему бы это? Что за маневр? И какая новая гадость последует с этой стороны?

Братьям, задумавшим когда-то его погубить, нельзя было простить злодеяния, покуда они не раскаются.

Хуже всего было то, что они оставались *братьями*, они стояли во главе того дела, которое Райнис по-прежнему признавал своим, вершили большую политику, их соратники все еще были его соратниками, а их враги — его врагами.

Трагедия «Иосиф и его братья» будет обо всем этом. Он никак не мог сесть и закончить ее, потому что он-то и был Иосифом, и в жизни трагедия продолжалась; он даже не знал, как далеко до развязки. Огромный, решающий кусок действия ему предстояло прожить, а потом уже написать об этом. Он и проживал его со всей страстью, и попытки замазать зияющую пропасть между ними слабыми, сентиментальными словами примирения его раздражали визгливой фальшью, — точно скрежет железа по стеклу.

Очередное происшествие заставило его подозрения вспыхнуть с новой силой. Латышская пресса довольно резко разделилась. Крупных газет и журналов на латышском языке было немного. Борьба за души, умы и кошельки тысяч подписчиков шла ожесточенная. На крайне правом фланге выделялась «Ригас Авизе» («Рижская газета»), не скрывавшая проправительственной и пронемецкой ориентации. На левом — социал-демократическая «Яунайс Лайкс» («Новое время»), близкая к социалистам «Яуна Диенас Лапа». На объективность и «нейтральность» претендовала популярная «Дзимтенес Вестнесис» («Вестник родины»). Главным редактором последней был с некоторых пор Арону Матис — ближайший помощник Райниса в начале девяностых годов, когда Янис Плиекшан сам был редактором газеты.

Одной из трудностей эмигрантской жизни была их недостаточная осведомленность о всех перипетиях борьбы «правых» и «левых» там, на родине. Райнис был крайне озабочен тем, чтобы по случайности не забрести в чужой лагерь. Он дотошно выспрашивал своих корреспондентов: какова направленность издания, не стыдно ли появиться на тех или иных страницах. Известно его резкое письмо старинному знакомцу Петерису Залите, поддерживавшему чету поэтов в годы заключения и ссылки: несмотря на прежнюю дружбу, он отказывался сотрудничать с газетой Петериса, «принявшей сторону реакции». Аспазия с наивной откровенностью спрашивала Арону Матиса: напишите, кто с кем враждует и кто нам противник, мы тут ничего не знаем...

Арону Матис был не только редактор газеты, но и председатель Литературного фонда, присудившего в 1910 году Аспазии премию. Он же предложил собрать средства для того, чтобы Аспазия могла поехать

в санаторий — и было это в самые трудные для двух поэтов, самые нищие времена. Аспазия чувствовала, что обязана ему благодарностью, охотно посылала в его газету стихи.

15 октября 1911 года в «Дзимтенес Вестнесис» появилась статья Яниса Вайновского «Мне стыдно». Стыдно автору было за латышских писателей, будто бы заискивавших перед богачами. Три известных литератора — Яунсудрабиньш, Скалбе, Акуратерс — почувствовав себя задетыми, объявили, что выходят из числа сотрудников газеты, превратившейся, по их словам, в бульварный листок. Прочитав этот текст, Аспазия решила поддержать «старого, доброго Арона». Сделала она это с присущим ей пылом: объявила, что даст газете лучшие стихи из своей новой книги, а заодно отозвалась уничтожающе о трех литераторах: «Яунсудрабиньш — подражатель, Скалбе не в состоянии сказать ничего нового, у Акуратерса слепая фантазия». Письмо это, в общем-то не предназначенное для публики, Арону Матис напечатал на самом видном месте. Почти немедленно в газетах социал-демократического толка появилась отповедь — письмо «студентов-марксистов из Петербурга». «Аспазия, — говорилось в нем, — открыто и демонстративно выразила симпатии и поддержку направлению газеты «Дзимтенес Вестнесис», известной своим доносительством, провокациями всяческих янкавсов и вейнбергов».

Для Райниса все это было точно гром с ясного неба. Аспазия была в санатории, в Цюрихе, и даже о ее письме в защиту Арона он узнал только из печати. Во всяком случае, протест «студентов-марксистов» поразил его грубостью, а то, что появился он разом в нескольких *прогрессивных* изданиях, заставляло подозревать о существовании заговора, направленного не столько против жены, сколько против него самого. Полемика там, на родине, разрасталась и ширилась, имя Райниса действительно все чаще всплывало. Да это ж война — своих против своего, как уже бывало. Кто стоит за всем этим? Кто же, как не старые враги, кто же, как не *братья?*

Он пишет сестре.

«Милая Дора, понимать ли так, что нападение из Петербурга — итог нашего обмена нежными письмами и исход надежды на честное взаимопонимание? Или есть этому другое какое-нибудь объяснение? Напиши хоть несколько строк, иначе придется считать, что первое предположение правильно».

Янсону: «Твое письмо, столь ласковое по тону, получил здесь, в Цюрихе, куда приехал на лечение. Но одновременно получил и газету

«Яунайс Лайкс» и известие, что все социалистические, да и демократические издания ополчились самым непристойным образом на Аспазию. Так как публикации эти появились везде одновременно, ясно, что все подготовлено заранее, и может быть, Ты знал обо всем этом, когда писал мне? Так ли? И действительно ли в нынешнее мирное время затеян целый военный поход против меня? Надеюсь, все это лишь сплетни, — хотя бы потому, что в то же самое время пущены всякие слухи и о Тебе. Напиши мне как можно быстрее».

На другой же день Янсон отвечает из Брюсселя: «Милый Райнис, Твоя открытка меня больно задела. Если после моего письма, в котором я по отношению к Тебе так открыт, так сердечен, Ты все-таки способен думать, что я держу в то же время камень за пазухой и что-то знал об упомянутом «нападении», — что ж на это скажешь! Протест петербургских студентов был для меня такой же неожиданностью, как и для Тебя, и читал я его впервые, может быть, одновременно с Тобой в «Я.Лайкс». Ни одного петербургского студента я не знаю, ни с одним не переписываюсь... Да и вообще нет оснований думать, что здесь какой-то организованный «военный поход» со стороны своих... Повторю еще раз: мне очень жаль, что Ты можешь быть обо мне таких мыслей».

«Твоя открытка меня успокоила, — отвечал Райнис через несколько дней, — сняв тяжелые, давящие подозрения. Трудно сблизиться после стольких лет отчуждения, но когда все подозрения рассеются, мы, смотришь, и достигнем цели».

А когда же, когда все подозрения рассеются?..

История с Аспазией на том не окончилась. Райниса бесило, что среди гонителей были даже издания, которые он поддерживал и публикациями и деньгами. Он запретил печатать в газете «Яунайс Лайкс» свою новую пьесу, «Индулис и Ария», хотя первые фрагменты там уже появились, отозвал свои рукописи из журнала «Домас». После чего в прессе появилось сообщение: Райнис отказывается сотрудничать с социал-демократами и переходит в другой лагерь. До Кастаньолы и Цюриха докатился слух, что социалисты намерены бойкотировать спектакль по новой трагедии Райниса. Он метался как в западне: кроме левой прессы и левого театра ему, да и Аспазии некуда было податься: ни в каком другом «лагере» его не ждали и вряд ли бы приняли.

Письма этого времени. Брату — А.Деглавсу. «Из лечения и отдыха ничего не выходит, дело Аспазии все тянется». К.Кирпенсу: «Напиши, что это за слухи, будто рабочие собрались бойкотировать спектакли «Индулиса и Арии»? Правда ли, что хотят устроить боевой поход на

меня и театр только за то, что я не нападаю на свою жену? Сдурели они, что ли, от своих постоянных интриг? Неужели партия так низко пала?» Паулсу Дауге: «У нас возобладал совершенно догматический взгляд на наше учение... Старые противники вроде Акуратерса и Скалбе обласканы и защищены, а старый друг, истинный демократ — Аспазия — подвергается травле. И так как я не помогаю травить мою жену, против меня тоже грозят поднять скандал!» Адвокату Я.Дамбекалну, мужу Бируты Скуениеце: «Сама борьба против Аспазии ведется черносотенными методами... Насколько широко и кто именно выступает против меня? Мне нужно это, чтобы знать, кого остерегаться. С мелкими интригами мне трудно разобраться из-за расстояния, а еще больше из отвращения, но друзья мои могли бы мне что-нибудь подсказать... Скажи еще, не слышал ли о каком-нибудь специальном запрете упоминать мое имя в ходе тех или иных мероприятий?» Ему же: «Недоразумение в том, что Аспазию всеми силами хотели записать в с.-д., хотя ведь каждый мог убедиться с самого начала и по сей день, что она есть и хочет оставаться только демократкой. Силу менее всего годится употреблять против убеждений; все правительства только это и делали и делают, но мы-то не должны употреблять их средства, против которых воюем, когда они направлены против нас».

Последнее высказывание запомним. Ибо Райнис попал в «десятку»: партия, к которой он обращался то мысленно, то вслух, уже тогда не стеснялась *применять силу против убеждений*. Со временем это делается правилом и нормой. Бывшие революционеры, придя к власти, будут арестовывать, ссылать, казнить за убеждения. По себе, по своей собственной деятельности зная, что ничего опаснее чужих убеждений не бывает.

Аспазия напечатала свой ответ на обвинения: она не отвечает за направление «Дзимтенес Вестнесис». «Еще более странно звучит то, что марксисты меня, притом сами признавая меня за демократа, судят с позиций с.-д. Мне приходится на это ответить, что я была и остаюсь только демократом и считаю, что искусству следует быть выше границ любой партии и что оно не должно зависеть ни от одной газеты».

Ответ, достойный и разумный, вызвал целый шквал возмущения. «Только демократка» и «демократ Аспазия» сделались в некоторых изданиях чем-то вроде бранной клички. Как же можно ставить себя над партиями и не зависеть от *прогрессивных* газет? Ату, ату ее!

И снова Райнис, бледнея от бешенства, бегал по своей цюрихской комнатке, искал слова для ответа. У самой Аспазии был и

дополнительный повод для обиды. Стрелы, направленные поначалу в нее, переадресовывались все чаще ее мужу. Ее не признавали даже достаточно серьезным объектом для нападков! «Пускай меня бранят и бойкотируют, — писала она Иванде Кайе. — Я ведь не стала другой, я такая, как есть. Но вот мужа я втягиваю в неприятности, и этого я не ожидала. Арон пишет ему, и люди его тоже пишут Райнису: «твое дело». Мне самой не оставляют даже моих грехов!»

В 1909 году, когда умер брат Эльзы Замуэль, она написала: боюсь, что когда вернусь на родину, меня встретят одни могилы. Предсказания поэтов имеют обыкновение сбываться. В том числе и неосторожные. Неосторожные — чаще.

В 1911 году умирает второй ее брат, Кристап. В марте 1912 получено известие о тяжелой болезни матери... Аспазия давно уже заговаривала о возвращении домой, наводила справки: не грозит ли ей арест сразу по прибытии; никто, впрочем, ничего не мог толком сказать. Более или менее безопасным представлялось поехать в Финляндию и вызвать туда же мать: в российской «полузагранице» беглецов к тому времени не разыскивали. Но когда в конце апреля сестра Дора написала Эльзе, что матери совсем худо, Аспазия ехать не решилась. Через неделю Грета Розенберг, мать Аспазии, умерла. хлопоты, связанные с похоронами, взял на себя *Брат* — Август Деглавс. Один из венков был от редакции «Дзимтенес Вестнесис»; там же появился прочувствованный некролог.

Отдадим должное Райнису: он забыл обо всех размолвках последнего времени, он находил поразительно нежные, добрые слова для осиротевшей Эльзы. Но она как бы не слышала... Угрызения совести терзали Эльзу. Ей казалось, что она за всю жизнь не сумела выказать матери свою любовь. Странные фантазии к тому же посещали ее: казалось, что мать могут по ошибке похоронить заживо. Она писала на родину и заставляла писать Райниса, чтобы там не спешили, чтобы «дождались верных признаков тления: запах и т.д.».

Беда одна не ходит. В марте Райнису пришлось — процитирую его друга Паулса Дауге, знавшего, о чем говорит, — «сделать небольшую операцию в области шеи, и он, в виду ограниченных средств, обратился не к опытному хирургу, а, если не ошибаюсь, к какому-то русскому врачу-эмигранту, занимавшемуся в свое время больше политикой, чем

медициной. Операция прошла весьма неудачно, и Райнис едва не истек кровью. Долго после такого лечения он не мог оправиться от болезни».

И как раз на это время пал самый пик полемики о *демократке-Аспазии*, похороны в Елгаве, приступ черной безнадежности, охватившей Эльзу. Жена писала ему тогда: «Я со своим сердцем, полным любви, ничего не способна разрешить, никого защитить. Так я и от мамы не отвела удар, не смогла даже ей подсластить одно-единственное лето... Так же точно я со всей своей любовью, такой истинной, такой глубокой, неспособна дать Тебе ни счастья, ни силы, ни отвлечь от нападки и грубости, которые Ты с Твоей тонкой, слабой натурой так тяжело переносишь».

Лишь к середине лета Аспазия отдышалась. И возобновился «поединок роковой», — так назвал любовь мужчины и женщины Тютчев.

Аспазия взбунтовалась! Три ее письма расскажут, как все выглядело с ее стороны. Первое написано Райнису еще в ноябре 1911 года. «Я любила Тебя так сильно, что не знаю, возможно ли еще кого так любить. Я себя забывала, стараясь приноровиться к Тебе, а все-таки постоянно слышала: и то, и се я делаю не так. Перелом наступил, когда Ты сказал: у мужчины на первом плане работа, а уж потом женщина. Это вырвалось у Тебя так наивно, Ты потом и сам забыл о своих словах, но у меня глаза раскрылись: я-то любила Тебя больше своей работы, больше отца и матери, даже больше старого Боженьки. И тогда я начала понимать мало-помалу, что и себя нужно любить, что я вредила сама себе. Я осознала, что есть вещи, на которые мы смотрим по-разному, вспомни хотя бы столкновение весной из-за Ниедры, — и это заставило меня еще яснее определиться как личность. Ты это мое ощущение свободы воспринял как повод для ревности. А я чиста настолько, что могу Тебе сказать: сердце мое принадлежит Тебе, и другого сердца у меня нету. Сердце это Ты обижал, и теперь Тебе остается только завоевать его заново. Я никогда не любила другого мужчину так, как Тебя, и не могла бы любить. Отношения мои со Скабаргой Ты понял совершенно превратно: там только дружба и сочувствие. Ты мог бы иначе отнестись и к нему, ведь он Тебя очень любит... Поговори и с ним, загляни в его сердце, тогда и в Тебе пробудится дружба.

Фотография неважная, никому ее не посылай. Ты сейчас не можешь фотографироваться, нервы Твои слишком возбуждены, потому и выглядишь старым, — это пройдет, когда отдохнешь месяца два. Вся беда в том, что Ты переработал. Вообще же старость или молодость, красота или некрасивость мужчины никак не влияют на любовь к нему».

Заметим, что социал-демократ Скабарга (Янис Бушевиц), живший тогда в Цюрихе, был десятью годами моложе Райниса и Аспазии.

Июль 1912 года, письмо Аспазии издателю и литератору Эрнесту Бирзниеку-Упитису, много сделавшему для четы поэтов. «Дорогой друг! Пишу Вам из Цюриха, где опять нахожусь, так как в Кастаньоле больше не могу выдержать... Вы, прислав мне лично те 800 рублей, дали возможность, не мучаясь угрызениями совести, поступать по-своему, быть даже эгоисткой: позаботиться о самой себе. Со всеми своими хворями и слабостью я чувствую себя как школьница, сбежавшая с уроков, и, шатаюсь по городу, гуляя в сосновом бору над Цюрихом, ощущаю, как во мне оживает дух неукротимой свободы и радости, как у неприрученного сокола, у первобытного существа, каким я, в сущности, и являюсь. Только рядом с любимым человеком я теряю себя, страдаю и жертвую, и не могу иначе.

Но я болтаю этак-то больше сама для себя, чем для Вас... Шлю две свои фотографии; та, где я столь беззаботна, сделана 7 лет назад, вторая — прошлой зимой, когда я приехала больная в Цюрих... Здесь и Райнис, больной, каким он прибыл сюда зимою; он по природе страдает слабыми нервами, неврастеник, и мне приходится видеть, как весь тот духовный огонь, который я поддерживаю годами, чтобы согреть его, бессилён там, где причины физического свойства. И все же за те два месяца, что я опять пробыла в Кастаньоле, ему стало гораздо лучше, зато я снова захворала. Мы как двое утопающих, тянущих друг друга на дно. Я от природы здорова, хотя надломлена, и я с моей силой, боюсь, пропаду еще раньше его. Он так мил, и добр, и гениален, только вот не понимает меня, не понимает мою неукротимую тягу к свободе и видит в этом отсутствие любви. Ах, чего только я тут не написала, — и что Вы поймете из сказанного? Но у меня к Вам доверие как ни к кому. Я никому не пишу так, никому не жаловалась, а впечатление от Вас после нашей встречи — что я видела милого друга и брата. У меня теперь уже нет ни матери, ни братьев, ни друзей. Поклонников у меня тоже не может быть, т.к. иначе я сделала бы больно своему мужу. Попрошу Вас ни слова не говорить ему об этом обмене письмами между Вами и мною. Весь июль, август и сентябрь я проживу одна здесь, в Цюрихе, ибо тамошний климат и обстановку не переношу, в то время как ему, наоборот, и обстановка нравится, и климат весьма благоприятен для его слабых нервов. Я все время страдала от той обстановки и того климата, — но я давно уже отказалась от себя и живу не своей, а его жизнью...»

11 июля 1912 года. Аспазия — Антонии Лукиной (писательнице Иванде Кайе): «Моя милая Тоня, нежная, прекрасная моя сестра! не

знаю, с чего и начать. Всего больнее, наверное, свобода и личность женщины, об этом и сами-то женщины еще ничего не знают, куда уж мужчинам! Мужчина способен выложиться ради женщины, умереть, озолотить ее с головы до ног, но предоставить ей свободу? Это ему непонятно, он решит, что женщина его не любит, что она хочет других мужчин. Это долгая песня, бесконечно грустная и болезненная, я тяну ее дольше, чем Ты, потому как я старше. Тебе я, может, и помогу как-нибудь, попробую убедить Твоего Феликса, чтобы он не держал Тебя как красивую птицу в клетке. Феликс ближе к людям, до него легче достучаться, чем до моей заиндевевшей горной вершины. Твое письмо, такое продуманное, произвело на Р. негативное впечатление*, но я все-таки скажу, что все хорошо и через какое-то время Ты можешь снова подкопать эту скалу, я дам сигнал, когда, — а Ты в свою очередь скажешь, когда и как мне обработать Твоего господина и повелителя. Нам нужно образовать тайный женский союз, вроде *Freimauerei***; мы и для других должны пробить дорогу. Хорошо, что Ты пишешь свой роман, можно все втиснуть туда, внутрь, и я тоже ничего не скрою, я ненавижу жизнь, людей и как полураздавленная змея хочу излить свой яд. У меня, правда, будет не роман, а воспоминания...

Теперь вот вырвалась и хочу здесь, в Цюрихе, остаться. Лугано с одиночеством посреди тамошних крестьян, нервозность, трения, влажные каменные дома и озеро, — все вместе меня просто съело. А сейчас я сижу одна под шумящими темными соснами, понемногу начинаю работать... Экономически мы теперь не зависим друг от друга, это мое завоевание. Продав дом на взморье, мы получили 5 тысяч. Отдали долги, заплатили за зимний курс лечения и т.п., осталась 1000 и еще 2 тысячи нетронутые лежат в Риге, у меня на них тоже права, т.к. туда вложен и мой труд. Пока у нас финансы были общие, он не мог понять, что женщине нужно и то, и другое, он-то довольствуется самым необходимым, потребности его совсем примитивны, — ну а меня Ты видела. Это его тоже очень задело, что я хочу быть экономически самостоятельной, но я, право, не могла уже выдержать. Теперь и он начал привыкать...»

*Gott verzeih's meinen lieben Mann,
Er hat an mir nicht wohlgetan!*

* Антония Лукина на правах друга и в ответ на некоторые назидания Райниса позволила себе указать на отдельные изъяны в его отношениях с женой. Райнис отвечал раздраженно, но не без изящества: «Дружба не возлагает столь тяжкую ношу, чтобы судить и помогать даже там, где не владеешь обстоятельствами».

** вольных каменщиков, т.е. масонов (нем.).

*Geht da stracks in die Welt hinein
Und läßt mich auf dem Stroh allein.
Tät ihn doch wahrlich nicht betrüben!
Tät ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben.
Vielleicht ist er gar tot! — O Pein! — —
Hätt ich nur einen Totenschein!**

— Это не ваш текст, и вы — не Марта, — сухо сказал Янис. Он давно был один в Кастаньоле, совсем один. Не хватало ему здесь гости, шпарящей наизусть слова соломенной вдовы Марты из «Фауста». Хотя... гостя была уже с острой бородкой и рожками: гость. Надо было догадаться.

— Извольте, извольте, почему же... маленький маскарад... не взыщите... — говорил Черт с почти подобоострастием, впрочем, слегка ироничным. — Текст помните и в оригинале, или только лишь в своем переводе? Я могу вспомнить реплику, гм... Мефистофеля:

*Ich hoffe, Sie läßt mich's drum nicht büßen.
Ihr Mann ist tot und läßt Sie grüßen***

— Хотите знать, помню ли я текст «Фауста»? Положим, что да. Помню.

— Хитрите, уважаемый, гм... автор. Хитрите — и с кем? Вам ли не знать: не стоит. Я ведь хотел напомнить не о... а о комнатке в Берлине, Канта штрассе. И вам, и вашей подруге не было еще и тридцати, и она, ваша, так сказать, Маргарита была совершенно в положении Марты, то есть один к одному! А вы как раз переводили этот фрагмент, — вспомнили? И Эльза получила известие о якобы смерти мужа там, за океаном, — между нами, он и теперь живёхонек и мыкается где-то в Филадельфии... м-да, и его и ваша супруга написала в Петербург, в консисторию, что он как бы мертв, вы еще вместе ходили на почту...

— Но Эльза до сих пор уверена, мы оба до сих пор... Да что я тут распинаюсь перед... Хорошо. К чему ваше напоминание?

* Прости Господь, мой муженёк
Женою бедной пренебрег!
Соломенной вдовою вяну,
А сам уплыл за океаны.
А видит Бог, я ль не жена?
Любила и была верна.
...Небось уж помер на чужбине!
Иметь бы справку о кончине...

** Простите за суровость,
Мне горько выступать посланцем бед.
От мужа вам нерадостная новость,
Он, умирая, вам послал привет.

— С вами говорить, точно в шахматы играть самому с собой. Знаете ведь, что отвечу. Откуда Иоганну Вольфгангу Гете было известно, что ваша... избранница окажется в таких обстоятельствах? Как мог он провидеть этот эпизод за сто лет до вашего появления в Берлине? Нарисовать то, что с вашей подругой происходило, слегка поиздевавшись при этом. Вы ведь почувствовали и прямое попадание и эту издевку тоже?

— Бывали совпадения и почище. Но ладно, ладно... я не спорю.

— Спорить было бы смешно, — подтвердил бес. — Я собственно предьявил вам сей текст как опознавательный знак... Чтоб вы не усомнились.

— В чем? В существовании беса? Но вы и сейчас с успехом можете оставаться плодом моего воображения. Вернее, моей нервозности. Вы мне не открыли ничего такого, чего бы я сам не знал. Если не считать Филадельфии... которая окажется сплошным блефом.

— Оскорбления я пропускаю мимо ушей. Я вам не открыл ничего нового? Так же поступает и литература. Она всегда открывает читателю только то, что тот сам знает. Не замечали? Прочесть можно лишь то, к чему ты внутренне готов. Остальное остается скрытым — до прихода другого читателя.

— Это говорит бес. Интересно, о чем бы мы беседовали с ангелом, посети он мое жилище?

— Ангел как правило является к верующим — если не в него, то в его высокого патрона.

— А с чертом — иначе?

— В том-то и дело! Черт демократичней, — если хотите, веротерпимей. Он вполне может сцапать и атеиста, и еретика. Была бы живая душа.

— А-а! Душа! Вы не оговорились?

— Да, душа, не оговорился. А чего же ради я вас, как это говорится... или будет говориться со временем.... охмуряю? Вы, помнится, в юности относились и к понятию души скептически. Шутили, несколько примитивно: мол, тело простудилось, а душа чихает, тело выпило лишку, у души похмелье. Было?

— Не помню. Так вас интересует любая душа, покупка оптом и в розницу?

— Прежде всего, я не Чичиков. Меня не интересуют мертвые души, — только живые! А из живых... н-ну, почему же любая? Душа Фауста, даже и нового, — лакомый кусочек, не так ли?

— Не знаю. И зачем вам — конкретно — моя душа? Что вы с ней собираетесь делать?

— М-да. Вопросик не из легких. Вы сами изволили заметить однажды:

работа — все, результат — ничто, он как бы даже враждебен самому делу.

— Да что вы меня повадились цитировать, как молодой критик, когда ему самому нечего сказать!

— Ха-ха, остроумно. Хотите знать, с кем изменяет вам ваша избранница?

— Фу, гадость какая. Вы что ж, доноситель?.. Так, говорите, изменяет?

— И — изменяет ли.

— Причем тут душа?

— Хитрец. Душа — она притом. Душа ваша меня интересует еще и потому, что она связана с целым христианским народом. Целый народ, целый язык, — некоторых хлопот они стоят, как по-вашему?

— Гм... В латышских сказках бог и черт — братья.

— Да, и черт — старший брат. Черты язычества в вашем сознании так обаятельны. Даже на небесах, я думаю, против них ничего не имеют.

— Вы помните, как в наших сказках...

— Я помню даже, как в вашей пьесе, которую вы, впрочем, вряд ли когда-либо закончите... как в этой пьесе женщину создают втроем Бог, Черт и Человек... Адам, он у вас Янис. Кусок глины, отъятый от божественной плоти, и вот он обретает очертания, Бог вдвухает женщине жизнь через ноздри, Человек — через рот, а Черт — ха-ха! — через задницу! И есть же латыши, которые находят вас скучным!

— Кто это?

— Их не так уж и мало. Вот и сейчас, сию минуту, выходя из театра после представления «Индулиса и Арии», некоторые плюются. Это происходит в Риге, я веду прямой, так сказать, репортаж. До чего болтлив этот Райнис, брюзжит некий господин в бобровой шапке.

— Я пишу не для таких.

— Ах да! Пролетариат! Рабочие! Ну, из них тоже не все способны высидеть до конца, слушая пылкие излияния ваших героев. Даже актеры жалуются, что действие в ваших пьесах приостанавливается где-то на половине второго акта, начинаются рассуждения. Между тем в театре, говорят они, рассуждать предпочтительно руками и ногами.

— Да вас не Янсон ли подослал? Или — Толстяк?

— О-о, какие мы подозрительные! Ваши *братья* — *бесы*, конечно, однако в несколько ином качестве и смысле. Вы же читали роман Достоевского.

— И Гоголя помянули, и с Гете накоротке, и с Достоевским.

— Не мог же я к вам явиться без подготовки. Мы профессионалы. Кстати: не хочу вас вводить в заблуждение относительно пьесы. Зрители

разные, как вы догадываетесь. Каждый увидел в ней то, что готов был увидеть. Там есть актер с такой труднопроизносимой фамилией. Амт... в общем, он в роли Индулиса превосходен. Вам подтвердят. И Бирута ваша довольно хороша, вы ведь роль Визбулите, девочки этой наивной писали для нее? Или даже с нее?

— Так вы были на спектакле?

— У меня привычка быть в нескольких местах одновременно и, таким образом, в то же время не быть ни в одном из них.

— Очень невразумительно.

— Вы чрезвычайно любезны. А я-то хотел сообщить, что при некоторых сценах некоторые женщины в зале плачут навзрыд и даже отдельные мужчины роняют скупую слезу.

— Благодарю; этого, впрочем, не требовалось.

— Сказать ли? Эта ваша трагедия... Как и две последующих...

— Это каких же?

— Каких? Вам лучше знать. Три ваши пьесы, начиная с Индулиса, продержатся в Латвии лет двести-триста, так сказать, живьем, а затем приблизительно тысячу лет простоят в качестве литературного памятника, постепенно ветшающего.

— Цифры какие-то... шарлатанские. Но и на том спасибо. Значит, и язык наш будет жив?

— Простите, я этого не говорил.

— Не будет?

— О, я не говорил и этого. Задержался я тут что-то с вами, пора и честь знать.

— Че-есть?

— Как вы все это буквально понимаете иной раз. До свиданья.

— Зачем приходили-то?

— Сам не знаю. Спросите у себя.

Растаял...

С «Индулисом и Арией» хлопот и тревог вышло много.

Но время сказать несколько слов и об этой пьесе Райниса, четвертой по счету. Написана она на сюжет средневекового сказания, популярного, между прочим, среди балтийских немцев: местные сочинители с полдюжины раз обращались к нему. А.Лерхис-Пушкайтис в многотомном собрании латышских легенд и сказок излагает его так: «Некий сильный, могучий латыш по имени Индулис стоял во главе немногочисленных защитников замка Эмботе, когда литовец Минтаут подступил к нему со своими полками. Индулис незадолго до того принял христианство — не

так по убеждению, как из любви к прекрасной девушке-христианке Арии, не желавшей отдать руку язычнику, но охотно согласившейся на помолвку с христианином. Ария была со своим отцом в замке, когда Минтаут напал на него. Индулис задумчиво смотрел с земляного вала на огромное войско противника, расположившееся на окрестных холмах; была темная ночь, и повсюду горели сторожевые костры. Тут к Индулису явился Пудикис, его друг и соратник; оставшись язычником, он в то же время сохранил верность Индулису. Пудикис сказал: «Индулис, неверно ты сделал, оставив отеческих богов и предавшись неизвестному, чужому богу. Видишь, он бросил тебя в трудную минуту! Вернись к истинной вере, проси великого лесного бога — Иода простить твои грехи. Только Иод может тебе помочь, ибо Перкон, который сильнее, защищает литовцев, им он друг».

Райнис давно присмотрел этот сюжет; неожиданное известие, что в Риге Екабс Лаутенбах написал драму «Индулис и Ария», заставило его отложить в сторону все другие дела и срочно взяться за «Индулиса». Литературный соперник был слаб и немощен, но Райнис опасался, что сам по себе благодарный сюжет может быть использован конкурирующим театром, чтобы отбить публику, отвлечь ее от «Огня и ночи» и «Золотого коня».

Под пером Райниса простодушное сказание обратилось в «трагедию молодости», совершенно новую для латышской литературы. Куршский вождь из тринадцатого столетия предстает здесь «человеком будущего».

Индулис — гений, выламывающийся из тесных рамок века. Земная страсть к врагине, дочери немецкого комтура, — облачась в рыцарские доспехи, Ария не раз гнала и убивала язычников, — заставляет Индулиса пересмотреть все законы, все нормы своего рода и своей эпохи. Любовь, раскрывшую ему глаза, он хочет сделать законом законов, разорвать с ее помощью заколдованный круг вражды и ненависти, соединить людей, народы. В «Индулисе» почти не найдешь символизма, столь существенного для «Огня и ночи»; характеры живые, «штучные», — ни один не забудешь. Что разгневанные женщины, готовые разорвать врагину-Арию (зал, слыша их страшные обвинения и жалобы, замирал: так же могли бы возвысить голос латышские крестьянки 1906—1908 годов, так же готовы были они выцарапать глаза палачам своих сыновей и мужей), что мальчик — оруженосец Индулиса, Угис, которому автор подарил свои пятнадцать лет, что девушка Визбулите, списанная Райнисом с тех, кого он любил и продолжал любить всегда: с пятнадцатилетней Доры, с шестнадцатилетней Бируты, что литовка старуха Туше,

что честный Пудикис, трогательный и в своей верности, и в своем непонимании запредельных для него мыслей и стремлений друга, что могучий властитель Минтаут — люди живые, живые даже более, чем некоторые из нас. Правда этих характеров была бы невозможна без правды и остроты ситуаций, в которые драматург ставит своих героев. Индулису нельзя не мучиться, не корчиться от стыда и унижения, когда в замке его тестя немецкие рыцари потешаются над ним, оскорбляют, дразнят. Но и рыцарям этим невозможно не ответить на появление врага-соперника. Каждый верен себе, а напряжение между тем и другими нарастает до нестерпимой остроты. Любовь Арии и любовь оставленных им друзей, народа рвут Индулиса на части, тащат каждая в свою сторону. Это трагедия — подлинная, беспримесная, грозная.

Но господи ты боже, как он размахнулся! «Индулис и Ария» — самая длинная пьеса Райниса. Он забыл обо всем и дал перу бежать как и сколько угодно. Хватившись, понял, что такую пьесу пришлось бы играть два-три вечера кряду. Послал текст Аспазии — вроде бы не понимая, что у него получилось и получилось ли что-либо. Попросил почистить и сократить. Страшно обиделся, когда Аспазия поняла просьбу слишком буквально и начала «резать» трагедию. Да еще что-то там менять местами. Обиделся, надулся.

В конце концов решил: в книге печатать пьесу целиком, театру же дать сокращенный вариант. Вычеркивал долго, трудно, почти так же долго, как писал.

Когда писал, бывал временами совершенно счастлив. Дыбом вставали остатки волос, мороз гулял по хребту. Нельзя привыкнуть к вдохновению. Так понятен Бог-отец, шесть дней создававший мир, а затем увидевший, что сотворенное им — хорошо. Писал больной, отвлекаемый ссорами и газетной полемикой, растущей перепиской, денежными хлопотами: всем тем, что уже описано им и нами (с учетом того, что не все же возможно описать).

Когда вычеркивал — для театра — целые страницы, был несчастлив. Кроме прочего, он терпеть не мог перечитывать то, что сделано.

А в Риге склонялась над дневником Бирута Скуениеце. «Перечитала открытки и письма Райниса. Прошлой весной он писал о выпадах критики против «Огня и ночи»: «не собираюсь пускаться с ними в полемику, ответом и свидетельством о себе будет новая пьеса, «Индулис и Ария»...

А теперь вот об «Индулисе и Арии» говорят и пишут еще хуже, чем об «О. и Н.». Райнис думал их переубедить, а оказалось, люди эти неспособны принять в себя чувства поэта, его правду. Райнис предлагает им подняться до небес, плыть в открытое море — а им хватает потолка, а они гребут напрямиком в лужу. Райнис так опередил свое время, что при всем своем величии не может увлечь людей за собой... И теперь мне кажется, что он, может быть, принимает близко к сердцу чье-нибудь дурацкое суждение. Может, думает, что неверно, плохо написал что-то. Что если бы его творение было и впрямь хорошо, его бы все признали, и не было бы этих мелочных нападок. Ах, при всей своей сердечности и ясности Райнис не знает, насколько люди черствы и ограниченны! Его бранят не потому, что пьеса плоха, а потому, что не умеют понять! Райнис думает, что «Индулис и Ария» нравится публике меньше, чем «Огонь и ночь», потому что пьеса слабее, что в ней какая-то ошибка, которую он проглядел. Но нет! Есть тут достоинство, не устраивающее публику: в пьесе нет этой пестроты — музыки, плясок, песенок, световых эффектов, пышных костюмов, ведьм и чертей, драконов и т.д. Неужели он и в самом деле думал, что все эти тысячи людей, побывавших на «О. и Н.», действительно поняли его? Сколь бесконечно хорошо он думает о людях! И как больно было бы ему видеть, что немалая часть публики отпала, как только отпала эта пестрота. Ах, ужасно было бы, если б он слышал все, что говорят зрители! И все-таки: как нравится публике «Индулис и Ария»? Зрителей много, хотя и не все места распроданы. Но попробовали бы дать в эту пору, весной, другую какую-нибудь пьесу! Пусто было бы, хоть шаром покати!»

И опять он рассорился с «общественным мнением». Эта невидимая, необъявленная цензура становилась все деспотичней. Возросший вес Райниса заставлял и друзей, и врагов пристально вглядываться в каждую его фразу. Он потерял статус частного лица, — когда, не заметил, — и сейчас удивлялся постоянным «придирам» и злился. Весной 1912 года одна за другой прошли юбилейные даты Арону Матиса и актрисы Ольги Эзерлаук (Зэфельд). И тому, и другой он послал поздравления. И немедленно в газетах подняли шум: Райнис поддерживает реакционеров и прислужников реакции!

Поэт допускал, что поступает иной раз опрометчиво. Да ведь многого он просто не знал! Сестре Доре и Петерису Стучке он писал в июле: «Если бы Паулс Дауге в прошлом году хотя бы одним словом обмолвился о том, какие на родине настроения, всего «дела Аспазии» могло бы и не быть, и она давно уже была бы настолько же здорова, насколько сейчас

больна... Теперь о моих приветствиях. Вы, по крайней мере, Паулс и все, кто помнит старую, т.е. мою «Диенас Лапа», знают, что Арон был мой помощник, второй редактор, так же как Ольга Эзерлаук — со-трудница. И я не должен поздравить своих бывших коллег в столь важный для них день? Какая чушь — требовать этого от воспитанного человека! Ибо я, хотя и социал-демократ, остаюсь человеком воспитанным... Нетрудно сообразить, откуда идет это духовное снижение: от русской декадентской партии. Та настолько прогнила, что уже и живой не выглядит... Дело Аспазии было ведь тоже направлено против меня: уже тогда заговаривали о бойкоте, теперь опять вспомнили. Меня бойкотируют, как какого-нибудь портного! Отчего бы им не объявить бойкот Марксу? Нет, не приветствия мои виноваты. Вина в том, что я культурный человек и европеец и считаю до сих пор партию носителем культуры и работаю для этого...»

Янсон-Браун ему писал регулярно; Райнис ему посылал стихи для «Цини», удивлялся, почему не воспользовались его разрешением сыграть бенефисный спектакль в пользу партии. Тон райнисовских писем оставался прохладным, и в каждом обнаруживалась какая-нибудь шпилька. «Примирился ли Ты с «Огнем и ночью» или все еще относишься отрицательно? А с «Индулисом»?..»

Янсон делал вид, что холода не замечает... В декабре Райнис опять «набросился» на него. «Только что мне сказали, что на Конгрессе в Базеле Ты открыто провозгласил священную войну против меня! Упрекал, что я не пишу статей для партийной печати. Верно, я пишу только стихи, — и так как статьи у нас строчат тысяча человек, а поэтов пока что меньше ста, я думал, что партии мои стихи полезнее, чем мои статьи. Но больше, чем этот упрек, понятный все-таки со стороны такого старого и известного газетчика, как Ты, меня изумил сам факт нападения, то, что Ты призвал к походу против меня. Пару месяцев назад у меня были основания видеть в Тебе друга, и повода для вражды я Тебе не давал никакого. Или тут недоразумение? Сплетни, какими питаются в партийных кругах? Или Тебе сказали, что я уже умер? Могу со всей определенностью утверждать и доказать, что я вполне жив. Лучше бы Ты сказал эти вещи мне в лицо. Но теперь объясни мне по-дружески, что же произошло. И так же открыто, как объявил эту войну, объяви о ее отмене. Через прессу: что не было у Тебя намерения напасть на меня и все это чистое недоразумение».

«Милый — спешно отвечает Янсон. — Письмо Твое меня поистине поразило, я и теперь еще не могу понять и уяснить себе, как Ты мог поверить чьим-то рассказам, будто я «открыто призвал» к войне против Тебя!! Какие мотивы могли бы побудить меня к этому и что вообще означала бы такая «война» против Тебя? Призвать, чтобы Твои стихи не покупали и не читали? Но у меня у самого они лежат на столе! Или не признавать Тебя как поэта? — но это не в моей власти, и сколь высоко я Тебя как поэта ценю, я говорил многократно в статьях и скажу не раз в будущем. Что же это может быть за война?»

И дальше Янсон разъясняет, как на самом деле все было. В частном разговоре с «партийцами, неблизкими ему по убеждениям», он упомянул о неумехах-газетчиках, повадившихся к месту и не к месту цитировать Райниса, пересказывать его мысли и даже выдавать их за свои. Нетерпим этот плагиат, это забалтывание, банализация истинной поэзии. Через печать все это объяснять неуместно, «Таким образом я выставил бы на смех не столько себя, сколько Тебя». «Ты живешь слишком уединенно, — писал Янсон, — и потому Тебя задевает каждая глупость, какую ветер к Тебе принесет. Я же, напротив, живу в самой толчее, здесь ежесекундно нужно быть готовым к заглазным обвинениям и интригам, я к этому привык, не обращаю внимания».

И опять он выражал надежду на личную встречу: ему пошел сороковой год, он все более одинок и потому чувствует себя еще тесней связанным с теми, кто рядом боролся в юности и всю последующую жизнь.

Ах, лучше бы ему не поминать лишний раз эту юность!

В конце 1912 года в Петербурге в издательстве А.Гулбиса вышла новая книга стихов Райниса — «Конец и начало».

Книга вызвала почти шок и среди «своих» и среди «чужих». Если не шок, то уж непременно — недоумение.

Начиналась она с посвящения: «Тебе, основной класс!» То есть, понимали и друзья и враги, книга посвящена пролетариату. Но уже первые десять строк: «Тебе, класс основной...» и т.д. — несколько озадачивали, если в них вчитаться. Речь шла как-то не совсем о пролетариате. Об основном классе, каким он будет, когда загасит в людских сердцах злобу и боль; когда он вырастет и «перерастет сам себя», отменит всякое разделение людей, все классы. Оторопь в читателе вызывало все дальнейшее: в книге ничего вообще не было ни о классах, ни о революции, ни следа «партийной риторики», в которой соратники Райниса до сих пор находили его величие. Здесь не удавалось найти ничего привычного: лирика, безоглядное высказывание страждущего и

бесконечно одинокого человека. Да, это была книга об одиночестве, о любви и страдании, о природе, о глубинах ищущего и неутомимого человеческого духа — глубинах, сообщающихся с космосом; о преодолении смерти, о вечности. Сам автор менее всего был доволен заключительной частью, где философия выходила напрямую, оттесняя плечом поэзию. Сердцевину же сборника составили стихи величайшей простоты, доступные, кажется, даже ребенку. Эта простота, неожиданная, достигнутая через сложность, многих ставила в тупик. Философия Райниса, выработанная десятилетиями исканий, была здесь растворена, сделавшись воздухом. Воздух ведь тоже невидим. Книга была из тех, что погружены в материю материнского языка с головой; нет ничего безнадежнее попыток рассказать о таких вещах на другом языке.

Да и на родном — поняли и прочли «Конец и начало» совсем немногие. Сбивало с толку посвящение. Социалисты искали излюбленные ими идеи — и не находили. Отдельным товарищам казалось, что тут почти хулиганство, какой-то эксцентрический выверт. Противники, — в том числе прекрасный лирик Фрицис Барда, — искали здесь тоже политику и на всякий случай с ней воевали. Эта странная, почти поголовная ошибка критиков — с той или иной стороны разбирать политический смысл щемящей, сердечнейшей лирической исповеди — поражает.

Райнис соединил в «Конце и начале» стихи шести-семи лет, и никогда еще он столько не трудился над тем, чтобы множество стихотворений, сцепленные друг с другом, образовали «живой организм». Он этого добился, проведя от первой до последней страницы ритм непрерывного движения, развития, которое считал залогом всего. Даже смерть побеждалась ростом, поступательным движением, развитием, выходом на новые круги бытия: он не верил в мертвую, застывшую вечность — и там, в вечности должно быть движение, с той стороны смерти — высшая жизнь.

И все-таки сказанное мало что объясняет: бедные слова! Книга эта еще не прочитана, да и будет ли когда-нибудь прочитана до конца? До нового, ждущего там же *начала*? Может, самым непростительным грехом литературоведов, критиков, учителей было то, что именно словами о *вечности, развитии, победе над смертью* и т.д. они напугали целые поколения читателей. Меж тем об этих и еще более сложных материях Райнис на сей раз говорил стихами, из которых многие могли бы стать песней. Некоторые и стали.

Нельзя сказать, чтобы откликов на книгу не было. Отклик был, но неадекватный. «Партия» книгу явно не приняла; *прогрессивные* критики

в лучшем случае молчали. Отдельные стихи удостоились, впрочем, и похвал. Сбылись опасения автора: может, напрасно я так стараюсь, записал он как-то в дневнике, создавая этот живой организм, тратя на это столько сил. Читаются-то все равно отдельные стихотворения...

Но были, конечно, души, отзывавшиеся душе. Бирута Скуениене писала наивно: прежние стихи Райниса я не могла читать (со сцены), а эти ложатся на язык сами. Паулс Дауге: «Твоя способность кристаллизовать переживания и мысли в сверхконцентрированной форме в этой книге достигла невиданной степени. Книгу эту не прочтешь за один вечер. Чтобы ее по-настоящему понять, нужен серьезный труд...»

Опять — «серьезный труд». А книгу можно было читать, как дышат, выйдя впервые на волю после долгой болезни, как пьют ключевую воду, пробыв на солнцепеке весь день без питья.

Словам признания Райнис радовался, хотя ими не насыщался. Однажды, когда Арону Матис предлагал собрать в складчину деньги, чтобы помочь ему и Аспазии, он ответил: я нуждаюсь не столько в помощи, сколько в любви и понимании. Любовь и понимание он ценил, что уж. От вражды и непонимания становился болен. «Не выдерживаю полемику, — запись в дневнике. — Эта неспособность засела в костях с времен «Диен.Лапа». И неспособность выносить нападки партии. Уже не вычусь, это требует слишком много сил».

Записи в его дневнике становятся точнее, отточенней. Он пишет не только для себя. Пишет нам, через головы двух-трех поколений. Пишет и тем, кто придет после нас. Не поступаясь личным, интимным характером дневника, возможностью высказывания, свободного от цензуры, — даже невольной, своей.

Послушаем его? Говорите, Райнис.

Поэт должен страдать, нести все боли мира, как Христос.

Поэзия моя именно потому, что она так слаба, производит такое сильное впечатление.

Каждое дело становится низким, как только его заграбастает политика. Будучи мелкой, она делает мелкими и тех, кого вовлекает, портит характер. Учение Христа политика превратила в догму, Шиллер втянут в политику как «патриот», Гете — как филистер. Политика с ее

делячеством и серостью хочет захватить всё. В политике только малый велик.

Человек больше, чем просто кости, собранные в тесный кожаный мешок.

Внутренняя жизнь образует внешнюю, как соки дерева образуют кору и листья. *Душа сильнее плоти.*

Кто начинает жалеть себя, того перестают жалеть другие.

Когда все тебя оставляют, когда ни солнце, ни деревья, ни вода тебе уже не друзья, остаешься один... Тогда выдумываешь себе друзей: друга-одиночество, друга-боль. Еще лучше — выдумываешь других людей, каких еще нигде нет. Тех, что тебя выслушают. С которыми не боишься говорить. Живущих другой, чистой жизнью. Бред? — но мечта не напрасна: появятся люди будущего, твое одиночество и твоя боль создадут их.

Социалистом я останусь, пока несправедливость царит в обществе. Но когда победит социализм, он наверное сам станет несправедлив, и тогда я перестану быть социалистом. Уже сейчас несправедливость нарастает по мере того, как у них прибавляется власти.

Я отпал от социализма, как Лев Толстой — от христианской церкви, я остался с Марксом, как он — с Христом... Он — последний христианин, я — последний марксист (у латышей — и первый).

Лев Толстой со всей своей яростью и фанатизмом, в конце концов, — слабый, но милый русский человек... Последний христианин в современном мире. Дон Кихот в мире железа и бумаги.

Невыносимо узки обстоятельства жизни на родине, среди латышей. И все приходится применять к этой малости: народности, мелким партиям, плоским понятиям. Крупные идеи и замыслы, поэзия невозможны. Первый выход в иной масштаб — социализм.

Вырвать из себя любовь к одному месту, к родине. Вырвать собственные свои корни... Но береза останется березой.

Всех любить, не только своих. Или: не только единственно любимого человека.

Угроза русификации возросла с тех пор, как ее поддерживали социал-демократы. Увлечлись борьбою со старым и угрожают своему собственному существованию, латышам как нации.

Давно меня одолевает мысль, что надо иметь готовый выход из латышской литературы, когда в ней станет окончательно невыносимо. Выход: в немецкую и русскую литературу, средство — драма...

И все-таки — одно утешение, сквозь весь космополитизм: тоска по родине и любовь к ней. Мы все же слабые, смертные люди, личность погибает, переходя в надзвездные выси. Родина держит тысячью нитей, мы и духовно — ее продукт. И себя приносим ей в жертву.

Пусть берут меня всего, а не по буквам. Пусть берут мою личность и жизнь, мою суть и соизмерят со всеми этими прокламациями, пудами бумаги, — не будет ли перевес на моей стороне? У меня свое оружие, и оно тоже остро. Я предуготовил духовное пространство, поле для посева, всю атмосферу во всех сословиях, не только пролетариат — страну, землю. Я — летчик в небе, мое поле — дух. Только с ним можно победить.

Я импрессионист, написал кто-то. Нет, я художник, и как таковой не хочу быть втиснутым в рамки шаблона и направления. Эти штуки нужны дилетантам. Нельзя делить художников по используемым ими художественным приемам. Художник использует все приемы, примеряя их к исходному материалу и к своему темпераменту. Время художнику уже дано, темперамент — тоже. Он и их лепит соответственно своему темпераменту: он способен менять и развивать и себя, и свое время. Но прежде всего у него есть материал, сырье: мир и он сам. Если Репин поддался импрессионизму, это плохой знак. Я свободен.

Моего «Индулиса» защищал перед Дубурсом Херманис. Особенное в его статье то, что он из меня делает основателя религии, поэта новой философии и религии, которые им же и созданы. Если не употреблять

слово «религия», мне противное, то он прав... Можно назвать это и религией. Необходимо другое слово, у меня его пока нет.

Квинтэссенция моей религии, если одним словом: позитив. Делать добро. Толстой: *не* делать, *не* противиться злу. Социализм: противиться злу. Христианство: *не* делать дурного и любить. Мое требование, как и требование социализма, — активное, у тех пассивное. Но социализм хочет активной *вражды*, я хочу активной *любви*.

Я скучал раньше по дружбе, по дружеским советам. Теперь вижу, что и их не могу переносить так же, как вражду. Могу быть только самим собой и свободным.

Все годы после крушения первых иллюзий относительно Толстяка и друзей, партии в 1895 году я думал, что мне предстоит главная борьба с этим противником. Я по-своему готовился к этой борьбе, я переменял вид оружия, все перенес на другое поле, недоступное им — литературу, поэзию. Пробовал пойти на примирение с Толстяком, Янсоном, но из этого никогда ничего не выходило... Только теперь я почувствовал, что забыл оглядеться и посмотреть, нет ли других противников, что со временем выросли новые враги, еще злее, и которые из-за отдаленности меня к тому же ничуть не понимают. Так у Иосифа исчезли прежние враги и жажда мести.

Читаю стихи рабочего — настоящего, несознательного, черного и по работе и по духу. Есть способности, но не обработанные, мысль шаткая, мутная, пропитанная завистью и враждой. Больше всего бросается в глаза, как охотно он сам себя оплевывает и позволяет оплевывать. Это его постоянная внешняя и духовная атмосфера. Хотел бы свободы, но вместе с другими рабочими бороться не желает. Так же полон вражды и зависти к ним, как к капиталистам. Пускать ядовитую слюну — вот его единственная борьба. В конце: пусть каждый станет хорош, тогда и все будет хорошо... Как глубоко засел в них дух рабства.

Ни одной партии не следует быть столь сильной, чтобы она могла запретить быть честным.

Все они одинаковы, эти дилетанты из рабочих, к примеру, Микельсон и Ленц. Та же неясность мысли; картины порой недурны, взяты из

незнакомой мне среды, но сведены воедино без всякой связи, часто притянуты к неподходящему предмету, смысл темен... Внутренняя, духовная несвобода наполняет автора безмерной враждой. Он не верит ни единому доброму чувству в другом человеке, поучает: мол, нужно быть добрым, — жалуется на несправедливости и вражду, но сам — несправедливейший из всех, самый враждебный по отношению к своим же собратям и глубоко презирает себя, хотя и пытается это скрыть за иронией. Жалкая тварь. Нужно сделать из нее человека.

Партия дикость возвела в этический принцип. Права люди: партия — враг культуры. Нас ожидает возвращение в средневековье, когда врага не считали за человека.

Не выношу насилия, мне противна власть грубой силы где бы то ни было. Слышать не могу про насилие над женщиной, читать современные романы с изнасилованиями, слышать рассказы. В любви насилие особенно отвратительно и нелогично, ведь любовь — дар, она независима от нас, приходит как счастье, нельзя ее заставить прийти, нельзя взять грубыми пальцами. Любовь и женщина — это тонкость в жизни, благородство. Даже эмансипация ей вредит, редуцируя все в область телесного. Женщине не нужно гнаться за деловым и практическим — а за поэзией, не писанной, но переживаемой.

Видел девочку, немного высоковатую, серьезную, но когда она улыбалась — это была такая нежность, до потрясения. Это не для практической жизни. Тут специальная женская сила, какой у мужчины просто быть не может!

Иныня: те же самые скачки в мыслях и чувствах... Может быть, это общий для всех женщин закон, стоящий в связи с месячным циклом, на котором построена почти вся жизнь женщины? Я и, быть может, мужчины вообще думают беспрерывно, способны совладать с нервами. Но нет ли и у мужчин периодических, ежемесячных приливов страсти? Я почти уверен, что замечал их за собой. А может, здесь постороннее влияние? Трудно отделить его, чтобы получить чистый эксперимент... Ин. сказала, что испытывает такое сильное чувство ко мне, на какое не способен никто другой. Мне не нужно бы обижать ее мелочной ревностью. Знать и верить тому, что меня любят. Это ведь правда, в конце концов: меня любят.

Я часто понимаю что-то не так, ибо не верю, что женщина любит меня по-настоящему...

Последний выход для слабых духом — отрицать факты, когда неспособен их объяснить.

Конфликт возникает, когда одна из сторон жизни обретает или воображает, что обрела перевес над другими, и отнимает что-то у них. Так было с религией в средние века, так — с политикой сейчас. Выше всего нужно ставить гуманность, к тому идет всё, цивилизация и культура. Если политика вступает в конфликт с культурой, политике надо отступить. Где этого не происходит, неизбежен возврат к варварству. Техника какое-то время может служить этой чрезмерно раздутой стороне, но потом зачахнет и техника. Покатятся вниз и политика, и народ, наконец. Только дух и гуманность способны народ возвысить.

Какое счастье видеть красоту! Краски неба, удивительные формы цветов, запахи — непонятные явления, вызывающие нашу радость помимо нашей воли. Видеть красивое лицо, не тронутое еще увяданием, нормальное, юное. Видеть хотя бы и увядающее, но полное силы, сердечности лицо, — и этого я лишен; только видеть... Может быть, тут объяснение тому, что я невольно остро вглядываюсь в лица встречаемых, так что со мной часто здороваются чужие люди.

Видел опять девочку, на этот раз лет 10—12, такую милую, что она невольно захватывала окрестность и даже себя самое делала еще красивее, чем была. Тут главная сила женщины; почему не применить здесь закон самодостаточности красоты? Разум и воля хороши, но не необходимы. Идеал — обаяние и красота как основа, как самостоятельная сила. Она ничего не берет у разума и т.п. Ее ничем не заменишь и не возместишь.

Две несоединимые личности соединяются в ребенке. Плод физического взаимодействия, значит, возможен и достигает высшего, чем обе из соединявшихся частей? А духовное единение разве невозможно?

(Самое время сказать, что дневник и стихи, и пьесы Райниса — сосуды сообщающиеся. Для сравнения с только что приведенной дневниковой записью — стихотворение «Третья жизнь»:

*Исчезнуть и моей душе дано.
Моя душа в тебе воспрянет,
Твоя душа моею станет,
Они сольются, как с вином вино.*

*Возникнет третья жизнь и, нам пока чужая,
Она возвысит нас, два существа сближая.*).*

Массы для начала, прежде всего движимы простейшими, низшими побуждениями: гонятся за пищей. Мы видим только зачатки демократии. Удовлетворен будет первый голод — появятся и другие стимулы, посветлей. Но если в процессе добывания пищи не будут включены более высокие мотивы и дух, то массы не победят и в борьбе за хлеб.

Как далек я от живого мира, этого даже и я не знал... Клике Толстяка и другим своим друзьям я оказался чужд, партии чужд и тогда и теперь.

Любовь и чудесное счастье — вот что такое общая с Иныней жизнь, говорю, оглядываясь назад. Никогда я не был счастлив, вечно отбивался от соблазна самоубийства. И в то же время — правда и то, что я сказал о счастье, то и другое правда. Обернешься назад — да, было счастье.

На деле мы большей частью вовсе не руководствуемся разумом. Почти всегда нами движут чувства, а разум подыскивает для них законные и логичные оправдания; так адвокат защищает даже и неправое дело. На том строится и вся трагика, особенно у Шекспира: страсти владеют человеком.

* Перевод С.Липкина.

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

Наконец-то мы подошли к этим дням. Семнадцать лет ожидал их наступления Райнис. Не может быть, чтобы предательство, переломившее надвое его жизнь, осталось безнаказанным и безвестным. Должна, должна быть на свете справедливость. И мести он тоже жаждал. Мести и справедливости. Теперь судьба и люди, со-братья получили шанс искупить содеянное зло.

В 1913 году с закатным великолепием и подобающей пышностью справляли в России 300-летие дома Романовых. По этому случаю объявлена была долгожданная амнистия для участников революции Пятого года. Аспазия и Райнис могли, казалось бы, возвратиться без препятствий на родину. Но опять никто ничего не знал толком. Может, это ловушка? Попадешься на приманку, а крышечка — рраз! — и захлопнется.

Весною и в Цюрихе, и в Риге отмечали другой юбилей: двадцатипятилетие работы Аспазии в литературе. Между прочим, с легкой руки Иванды Кайи по всей Латвии был собраны немалые деньги в пользу Аспазии; по мере поступления они пересылались в Швейцарию, составив в конце концов круглую сумму: счет шел на тысячи. Не обошлось и тут без гадости: в газетах мелькнуло сообщение, что чуть ли не сама поэтесса придумала эту складчину. Райнис опять нервничал, ожидая крупного скандала, но нет, обошлось: тему быстренько замяли... Муж и жена теперь жили по большей части врозь: на несколько дней приедет Эльза в Кастаньолу проведать «свою заиндевелую вершину», на две-три недели появится Райнис в Цюрихе, чтобы подлечиться. Иванде Кайе Аспазия писала, что, мол, «неврастеник и есть неврастеник»: снял даже обручальное кольцо и носит его теперь не на пальце, а на часовой цепочке.

В душное предгрозье, незадолго до того, как в очередной раз расщепилось, раскололось все, точно дерево, принявшее в себя молнию, — было еще одно письмо Райниса другу Янцису. Райнис писал, что в газете прочитал интересную, как всегда, статью Янсона о свободном слове. «И здесь Твой прежний, враждебный искусству взгляд: ему, искусству, можно уделить в лучшем случае лишь небольшой уголок в рабочей газете». Поэт напоминал: в социалистической прессе и без того культуры почти не видно, разве изредка встретится убогая театральная рецензия. «О художественной литературе — ни слова даже тогда, когда книга посвящена пролетариату, как например «Конец и начало»! Систематическое замалчивание Ты называешь «увлеченностью искусством»?

Ответить Янсон не успел. На него обрушился страшный удар — самый сокрушительный за все эти годы. 12 апреля 1913 года (по старому стилю — еще в конце марта) газета «Дзимтенес Вестнесис» опубликовала статью «Старые дела». На основании приводимого тут же документа — сообщения директора Департамента полиции Сволянского — в статье делался вывод: Янис Янсон-Браун в 1897 году, в ходе памятного процесса новотеченцев, предал своих товарищей. (В скобках заметим: подлинность документа ни тогда, ни позже никто не оспаривал).

Неизвестно было, кто стоит за публикацией. Предположения строились самые разные. Больше всего грешили на *союзников* — отколовшуюся от Латышской социал-демократии группу «Союз», ни в чем не согласную с большевиками; самые громкие имена там были: Микелис Вальтер, учившийся когда-то в одной гимназии с Янсоном, Эдуард Скубикис, Паулс Калныньш. Со всеми ними у Райниса была переписка, Калныньш с супругой даже гостили однажды в Кастаньоле. В латышской социал-демократии, во всех ее группах и ответвлениях все знали Райниса, и он знал почти всех.

Секретарь Зарубежного комитета ЛСД Волдемар Скарре (он же Меркель, он же Зауэр... у профессиональных революционеров было иногда по целой грозди псевдонимов; кажется, сами они иной раз запутывались и не сразу могли сообразить, как назваться), — так вот, Скарре прислал Райнису текст коллективного протеста против «подлой очернительской акции»: на подпись. Подпись поэта была как никогда важна: именно Райниса изображали едва ли не главной жертвой предательства. Авторы протеста считали, что удар направлен против партии в целом.

Письмо прислал и Янсон.

Читатель, открывший эту книгу на рубеже тысячелетий, а может, и позже! Ты волен пропустить десятки страниц, посвященных давней тяжбе. Я пропустить их не вправе. Участники драмы жили в разных городах и странах, их страсти выплескивались на бумагу, и некоторые письма придется давать без пропусков. Скажу одно: без переписки 1913 года, без представления о буре, сотрясавшей тогда души сотен людей, понять моего героя нельзя, а ведь то, чего он искал и жаждал на протяжении всех своих жизней, — понимание. И любовь, может быть напомните вы. Да-да. Но на любовь к себе он редко надеялся, на понимание — хотя бы через поколение, через несколько поколений — надеялся всегда.

Янсон — Райнису. Брюссель, 16 апреля 1913 года.

Милый! Может быть, в Твоих руках уже оказался 73-й номер «Дзимтенес Вестнесис», в котором с самыми подлыми, направленными против меня намерениями напечатаны материалы процесса 1897 года. Может, Ты уже догадался, что за «Сволянским» стоят мои давние недруги — «союзники» с М.Вальтером во главе... Вражда этих Вальтеров и Скубикисов против меня всегда была жестокой, — не знаю почему, но они считают меня причиной всех своих неудач и потому всегда искали повод укусь и отомстить. В 1910 году в моей книге «Исторический материализм» я раскрыл плагиат Вальтера. Тогда они, нарочно «перепутав» меня с каким-то Александром Янсоном, пустили по Парижу и другим центрам слух, что я — опасный провокатор!! Я был тогда в Финляндии и представления не имел об этих наговорах... Они и этим не удовлетворились и всюду, где только можно, распространяли за моей спиной сплетни и сказки обо мне. Теперь они измыслили великолепный план, который окончательно должен убить меня политически и морально. Они каким-то образом раздобыли у Бурцева* документ 1897 года (не знаю пока что, каким образом и на каких условиях), прибавили к нему всяческие украшения и дополнения и вместе с обвиненьями против меня решили разослать это всем партиям: социал-демократам Германии, Финской партии, Польской социалистической, Российской с.д. и эсерам. В статье сказано, что я опаснейший предатель и что моя деятельность — угроза латышской с.д., ее «свободе и существованию».

Весь этот негодяйский поход против меня затеян за моей спиной и за спиной партийных организаций, «Союз» даже не сообщил им о своем

* Владимир Бурцев — известный в ту пору историк, публицист, издатель правого толка.

шаге. Мы об этом узнали только от Международного соц. бюро II Интернационала, которому компания Вальтера тоже послала свое изделие. Хисман, секретарь Международного бюро, тотчас понял, для чего затеяна вся эта кампания, и со своей стороны предпринял ряд шагов. Я в своем письме дал ему необходимые пояснения: о чем тут идет речь и что на самом деле означают выдвинутые против меня обвинения. Хисман разослал мое письмо тем же партиям, прибавив со своей стороны, что видел и видит во мне «*ehrenschaften und verdienstvollen Genossen*»*. Оказывается, Вальтер с друзьями перестарались: в Германии члены «Форштадта» тут же отозвались: «*Wir haben gleich die ganze Sache als einen Schwindel betrachtet*»**.

В дело вмешался Зарубежный комитет ЛСД и со своей стороны прислал Международному бюро пояснения: было рассказано о моей работе в партии и подтверждено, что я пользуюсь ее несомненным доверием. Мы не хотим оставлять это дело просто так и доведем до конца, до полного выяснения, — пусть зачинщики этой кампании появятся в истинном свете и представители Интернационала произнесут над ними свой приговор. (...)

О самом деле 1897 года я на этот раз говорить не хочу. Если бы мы тогда не вели свои дела так по-детски, без всякой конспирации, если б жандармерия до наших допросов не собрала уже все материалы, если бы не покончил с собой Крумберг, если бы не были перехвачены мои письма и при всем том если бы я тогда знал, что можно отрицать, что это твой почерк, а можно и вовсе отказаться от показаний, — тогда жандармы не выжали бы из меня ни слова. Все это оставалось моей болью многие годы, но теперь я смотрю на дело иначе. После этого прошло шестнадцать лет в трудах и борьбе, я работал и нес жертвы ради партии, сколько было в моих силах, я десятки раз доказал свою твердость и смелость и ничуть не сомневаюсь, что оставшиеся годы жизни посвящу той же борьбе. Сейчас нас, может быть, человек 7—8, оставшихся верными идеалам юности, а потому я с величайшим равнодушием слышу, что меня ругают «предателем» — и притом кто? Вальтер и Сволянский!

Мы в 1897 году в тюрьме уже говорили об этих делах. После нашего возвращения на родину в 1903 году в Майори, во время той торжественной встречи Ты мне сказал, что все прошедшее «заглажено». Самому мне важно знать, как Ты теперь смотришь на эти вещи и на чьей стороне Ты будешь в этом случае. Поэтому прошу — напиши откровенно, как Ты рассудишь. На этот раз обращаюсь к Тебе не как к старому другу и милomu человеку, а как к члену партии.

* честного и заслуженного товарища (нем.).

** Все это дело мы рассматривали с самого начала как жульничество. (Нем.)

Мое имя теперь будут втоптывать в грязь буржуазные газеты, — я к этому привык, и не это меня заботит. Я только отсюда не могу судить, какое впечатление эта подлость окажет на партийцев там, на родине: вот уже восьмой год, как я там не был, выросло целое поколение, не знающее меня близко. Эта атака на меня, главным образом, акт личной мести, но есть тут и другая цель: сеять недоверие и панику в партийных рядах, вносить раскол и раздоры, дать оружие в руки агентов «Ригас Авизе». Потому-то я и не могу остаться равнодушным и добьюсь открытого выяснения дела в печати. Как ни привык я ко всяким нападкам, но так подло и низко, как эта банда Вальтера, против меня не действовал никогда и никто, — и такая горечь от этого, такое омерзение.

P.S. Мне, к сожалению, сейчас невозможно отвечать на Твое письмо о моей, якобы, враждебности искусству. Здесь просто непонимание. Я вовсе не против того, чтобы в нашей маленькой газетке обсуждались Твои работы...

Отдельной строкой вписано:

В «Дзимтенес Вестнесис» все подтасовано и перевернуто так, чтобы выставить меня предателем моих лучших друзей.

Такое вот письмо. Вскоре после его получения Райнис написал и секретарю Зарубежного комитета, и самому Янсону.

В Зарубежный комитет (собственно, высший орган социал-демократии вне Латвии) он писал: «Дело чрезвычайно серьезно и касается не так Янсона, как всей партии... Главная ошибка Янсона та, что он, а с ним вместе и вы говорите только о внешней стороне инцидента, а не о сути. По существу же все, что сказано в опубликованном газетой документе, правда; почти все там сказано самим Янсоном. Его оправдание только в последующей работе. Я сам напишу ему в том же духе, а вам подробней отвечу несколько позже. Лучше всего подождите с публикацией протеста. Кстати, и его изложение не слишком удачно и выдает поспешность».

И вот он пишет другу-недругу, брату-врагу, человеку, с которым мысленно спорил изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, в тюремных камерах, среди сугробов Слободского, в горах Швейцарии, которого часто видел во сне — то вместе с его вдохновителем Стучкой, то одного. Человека, спор с которым оставался тайным стержнем судьбы; но настал час истины, думал Райнис.

Цюрих, 29 апреля 1913 г.

Милый Янцис, настал для Тебя трудный миг, и вот вступает в права дружба тех давних времен, когда она не была попорана и оскорблена. Те первые чувства — лучшие, обратимся к ним, они помогут. И эта первая, светлая дружба говорит мне, что родилась она из нашего общего порыва к великому делу и что только в величии способны существовать и это дело, и эта дружба; и в исправлении того урона, что был нанесен ей, тоже требуется величие. Вот почему говорю Тебе: не посчитай малым это трудное для Тебя мгновение, не отнесись к нему как к обычной газетной полемике или к фракционным дрызгам и интригам. Там обычно одни утверждают что-то, другие отрицают и дают сдачи. Тебе понадобится другой стиль, чтобы придти к ясности...

Ты сам знаешь: все, что сказано в докладе, правда. Ты ведь помнишь, как в тюрьме в приливе лучших чувств сам написал мне и признался, что в присутствии прокурора свалил всю вину на меня, что Ты это сделал, хотя я как-никак был Твоим учителем и руководителем; что не только сам наговаривал на меня, но и других побуждал делать то же, — все потому, что меня так и так нельзя было спасти.

Что побудило Тебя поступить так, Ты тоже еще помнишь. Ты перешел вместе со всей Твоей дружбой к Петерису и частично в 1894 году и весь 1895 год действовал с той стороны против меня, чтобы отнять у меня редакцию и передать ее Петерису, что и было сделано. Тогда вам нужно было полностью меня уничтожить, и Твои показания в 1897 году были всего лишь продолжением начатого. Не думаю, чтобы у Тебя были какие-то другие мотивы свидетельствовать против меня, хотя назначенное Тебе наказание было сравнительно мягким. Я говорю только о докладе, о том, что опубликовано и мне известно, — везде Ты даешь показания больше против меня, меньше против других. О других здесь не буду говорить хотя бы потому, что о них не знаю так точно, как о себе. Но все эти Твои показания против меня я давно простил; то не было ни первое, ни последнее проявление вражды, и от прочих я страдал еще сильнее. В 1903 году, вернувшись из ссылки, я по Твоей просьбе сказал, что прощаю, — но увидел, что Ты действуешь в партии как и прежде. Я не считал возможным протестовать из-за себя одного, зная, что Ты выступаешь против меня из личной вражды. Поздней Ты — оставаясь столь же враждебным ко мне, что ярко выразилось в 1905 году, — работал на благо партии долгие годы как журналист, занимал видные посты. Эта Твоя работа получила признание и двигала дело вперед.

И вот моя мысль — как можно Тебе помочь: прими все, что было, во всем размахе; не отрицай малодушно того, что сделал, а в оправдание свое представь всю работу в партии за многие годы. Внешне Ты, может,

и проиграешь, но морально одержишь победу: так Ты послужишь и нашему правому делу, истории, а она велика.

Совет мой продиктован той давней, первой дружбой и лучшими чувствами. Хотя немало боли принесло знакомство с Твоим слабым характером, я не переставал ценить Твой талант и работу для партии. Прими сказанное так же хорошо, как оно было сказано, — от старого друга. Протест, кажется, уже опубликован; я-то хотел, чтобы он был доработан в этом смысле. Но у Тебя остается время и лично объяснить-ся по этому делу.

В письме этом что-то может нравиться или нет, одно удивляет: как точно определена здесь доля вины Янсона. Как Райнис сумел разобраться в происшедшем, не зная до конца всех обстоятельств? Янсон, и правда, свидетельствовал не против всех: вспомним, как он выгораживал своих друзей — Стучку, Розиньша, Ковалевского — и как топил других, ему немилых, прежде всего *Плекшана*, а затем — Вальтера, Пуце. Неизвестно почему в то время не был упомянут еще один момент из прошлого. Когда в декабре 1897 года Райниса освободили из тюрьмы под залог, Янсон подал *прошение о помиловании*. Там он напоминал о своих *чистосердечных показаниях* и утверждал, что в последние два года *совершенно отошел от революционной деятельности*. То есть опять же отсылал следствие к временам, когда главой редакции «Диенас Лапа» и всего «нового течения» был *помощник присяжного поверенного Иван Плекшан*.

Райнис в письме не солгал ни в чем, наконец-то сказал, что думал. Разве только одна строка вызывает сомнения: он не слишком высоко ценил талант Янсона. «Каждое дело, до которого коснется Янсон, становится слабым и обращается в пустую фразу», — записано пятью годами раньше в его дневнике.

Янсон-Браун не просто оскорбился. Он был разъярен. Его ответное письмо, навеки заканчивавшее их переписку и личные отношения, никогда не публиковалось целиком — ни в подлиннике, ни тем более в переводе на другой язык.

Вот оно.

Милый Райнис!

После долгой паузы получил Твое письмо, — можно видеть, что Ты

над ним немало потрудился. А кроме того, Тебе ведь надо было поспрашивать, как другие отнеслись к моему делу, — и тогда только, как Ты пишешь, «вступила в права дружба тех давних времен» и т.д. Ты уверяешь, что пишешь «из лучших чувств» (этого добра у Тебя хватает!), а я должен сказать, что редко встречал что-то столь же фарисейски-подлое, как это Твое письмо, продиктованное «чувством старой дружбы». Воистину — не будь Ты Райнис, из Тебя вышел бы хороший Ниедра!

У Тебя не нашлось ни единого слова, чтобы осудить гнусное нападение на меня. Ты делаешь вид, будто не знаешь, что этими людьми движет жажда личной мести или другие темные цели, что мое уничтожение понадобилось им для удара по всей партии, что все делается в интересах «Дзимт. Вестн» и «Ригас Авизе», что этому гнусному поведению нужно дать отпор. Тебе все это безразлично. Зато попробуй кто-нибудь отозваться критически о Твоих пьесах — и Ты годами будешь мусолить нанесенную Тебе обиду!

При всем желании Ты не можешь отрицать, что дело 1897 года я давно уже искупил с лихвою своей работой в партии. Но Тебя раздражает то, что я противостояю всем обвинениям и лжи с высоко поднятой головой, что я не позволял и не позволю банде Вальтера и Скубикиса втоптать меня в грязь, — и потому Ты являешься со своими советами «из лучших чувств». Сколько я понимаю Твои фразы, Ты хотел бы, чтобы я бросился на колени перед агентами «Дзимт. Вестн.» и «Риг. Авизе», назвал себя ужаснейшим грешником и молил о прощении. И тогда Твоя роль была бы превосходна: Ты, видишь ли, был бы «невинной жертвой», Ты меня мог бы все-таки «простить» и опять швырять в меня грязь, и еще раз простить, и снова закидать грязью и т.д.

Я уже дал открыто свои объяснения по делу и ничего не собираюсь менять. Я годами размышлял об этих событиях, проверял и знаю, что мои тогдашние показания нельзя рассматривать как «предательство». Можно говорить о необдуманности, о недостаточной выдержке, о неумении держаться на допросах, но предательства там нет, и ни один честный человек, знающий обстоятельства процесса, не возьмется меня судить и осуждать. Даже такой народ, как здешние старые эсеры, — мы почти незнакомы, но они читали все протоколы и заявили: «О предательстве не может быть и речи»; притом подчеркнули, что подобное случилось и с их товарищами в начале всего движения. То же самое было и в Российской с.-д. партии где-то до 1901 года, когда была принята общая для всех тактика: не давать жандармам и прокурорам никаких показаний.

Тебе так хочется поскорее поставить меня к позорному столбу, — а что же Ты не выйдешь и не обвинишь перед всеми самого себя, что Ты тогда нарушил все, даже самые простые правила конспирации. Перед

первыми допросами к Тебе в Паневежис был послан Дунцис с предупреждением — надо почистить дом и освободиться от компрометирующих бумаг. Ты этого не сделал. Ты сохранил мое письмо (там были упомянуты планы транспортировки литературы, имена Минкса и другие связи). Я могу сказать, что именно это письмо меня доконало, его прокурор набросил на меня как петлю в момент крайнего волнения. Но Ты знать не знаешь и об этом письме, — распускаешь обо мне всякие сплетни, а свою вину умеешь тонко замолчать.

И что это за сказки Ты рассказываешь: будто бы я признался, что « всю вину свалил на Тебя, хотя Ты был мой «учитель» (?) и «руководитель» (!), и даже «других побуждал делать то же»! Я, конечно, сейчас не могу вспомнить, что я Тебе тогда в лихорадочном состоянии написал в записке, но никаких сомнений, что таких глупостей я Тебе написать не мог (я только упрекал Тебя, что письмо Твое меня свалило и что прокурор выжал из меня показания с его помощью).

Ну перечитай сам тот «документ», что Тебе подсунули, — что Ты там найдешь такого, что не было сказано или известно без меня? Из «документа» этого можно еще вычитать только то, что я в тогдашнем смущении и волнении сам себя оговорил сверх всякой меры. Это Твоя старая-старая привычка: вообразить, нафантазировать себе все так, как удобней и лучше для Твоего эгоизма. Беда моя в том, что я тогдашнее свое несчастье принял слишком близко к сердцу и, обмениваясь с Тобой записками, преувеличил свою вину. Но разве мог я знать, что слова, написанные в припадке отчаяния, Ты с холодным расчетом сохранишь, разнесешь повсюду и еще 16 лет спустя будешь меня шпынять моим же собственным тогдашним отчаянием! Я действительно не мог тогда знать, что Ты за низкая, мелкая душонка. И как всегда, Ты даже мотив сочинил для моей беды: мною руководила вражда, эта «вражда» появилась много раньше, когда у Тебя отняли редакцию «Д.Л.» и т.д. В этом смысле Тебе можно только изумляться. Сам Ты можешь поступать низко и непорядочно, но для себя всегда найдешь оправдание. Ты, видишь ли, добрый, благородный, честный, Ты всегда — жертва, козел отпущения, а все другие — завистники и враги! Никакой вражды к Тебе не было у меня тогда, нет и сейчас. Ты сам постепенно отдалился от своих тогдашних друзей и от «Д.Л.» Тебе нужно было уйти из газеты потому, что Ты довел ее до ручки своим бездействием и халатностью. Бисниекс вынужден был продать газету, и таким образом Петерис взял на себя редактуру (я там был совершенно не при чем); могу добавить только, что никакой вражды к Тебе не было и со стороны Петериса.

Ты не постеснялся сказать, что мое наказание «было относительно очень мягким», такое же примерно было и у Тебя: Ты просидел 7 месяцев

в тюрьме — и я тоже; Ты был сослан до приговора — и я тоже; Ты получил позднее Вятку, я — Смоленск. Но обрати внимание, что против меня было возбуждено потом новое дело, я просидел 5 месяцев в петербургских «Крестах», и на родину мне довелось вернуться одновременно с Тобой и другими. Или же Ты считаешь, что так велика разница между Вяткой и Смоленском? Не забудь, однако, что Ты в материальном смысле был относительно обеспечен, а мне пришлось сражаться с нуждой, давать уроки и т.д.

И так опять же фарисейски-низко звучит, что Ты *по моей просьбе* в 1903 году даровал мне прощение. Во-первых, Ты в Витебске был у Петериса и завернул ко мне тоже, мы поздоровались, как в прежние времена, и не было речи о каком-либо «прощении»... Потом на вечере в Майори у нас был разговор — около минуты — о том, что «старые дела между нами считаются погашенными» (я под этим понимал прежние несогласия и все те случаи, когда Ты был ко мне несправедлив). Ты был столь чувствителен, Ты плакал и расцеловался со мной, — Ты ведь любишь такие сцены! — но в то же самое время уже копил компромат на меня? На все, что Ты мне теперь твердишь про свое «прощение», могу только сказать, что мне его вовсе не нужно и что я на него, грубо выражаясь, просто плевать хотел! Я сам себя простил и своим трудом загладил все, в чем мог себя упрекнуть по тем временам.

Ты упоминаешь, что еще в 1905 г. моя «вражда» к Тебе проявилась «ярко». Должно быть, речь о том случае, когда на собрании партийного актива я высказался против того, чтобы доверить Тебе руководство легальной партийной газетой. Я ничего бы не имел против, если бы Ты добавил к заслуженной славе получил и незаслуженную (просто подписывая газету в качестве редактора), но столь важное и ответственное начинание, как издание легальной газеты, заставило меня, при всем уважении, сказать, что Ты попросту не годишься для столь строгого и безотлучного дела, как редактирование ежедневной газеты, что путаница и неудачи были бы неизбежны. То же самое я повторил бы и сейчас. У Тебя большой талант лирического поэта, но на ответственные партийные посты Ты не годишься. Тебе вовсе не обязательно принимать это как обиду или унижение.

Несколько лет назад я начал снова переписку и, так сказать, сближение с Тобой. Меня к этому побуждали главным образом старые воспоминания, ибо в начале нашей дружбы я к Тебе действительно привязался всем сердцем. В последующие годы я уже узнал Тебя получше, но все еще верил и ждал, что хотя бы во второй половине жизни Ты одолеешь свои мелкие, несимпатичные слабости. Ты остался все тем же старым себялюбивым эгоистом — только сделался еще

мельче и ничтожней, чем прежде. Ты писал мне вплоть до последнего времени такие милые и сердечные письма, называл «старым другом», — а в то же время распускал по Цюриху все те же слухи о моем «предательстве» (а ведь Ты мне «простил» и даже снова пообещал свое «прощение»!). Факт этот точно мне известен. И, может, я не ошибусь, предположив, что Ты — вольно или невольно — был соучастником подлого плана, придуманного бандой Скубикиса. В любом случае, Ты мог знать о готовящемся нападении, но ни звуком не упомянул о нем, однако «из лучших чувств» продолжал мне писать как дорогому и близкому другу... Этому негодному поведению Ты можешь сам подыскать поэтическое наименование.

Я переживаю трудные дни, — целый месяц отбиваюсь, точно от стаи волков. Но убежден: из этой мерзкой заварухи я выйду победителем. Не один год вы там, в Цюрихе, этом гнездовье интриг и дрязг, высиживали план нападения, и так долго судили и рядили, что вся эта история вам показалась удавшейся, и я в итоге обязательно должен был погибнуть. Но любому честному, незаинтересованному человеку сразу же видны все эти нечистые замыслы, все это жульничество... Международное соц. бюро сказало уже свое слово: полное доверие мне. Знаю, на том дело не кончится, высиживаются новые гнусности; знаю, что и с Твоей стороны можно всего ожидать, но я не боюсь. Дело мое правое, и честь мою вам не замарать!

Ты сам понимаешь, что между нами отныне не может быть никаких дружеских отношений. Я, конечно, не думаю начинать какую-то войну против Тебя, попытаюсь, наоборот, Тебя щадить, т.к. знаю Твои слабости. Я не откажусь также от какого-то общего дела в интересах партии. Но для дружбы требуется взаимное товарищеское доверие, известное моральное уважение друг к другу. У меня такового по отношению к Тебе нет.

Будь здоров! Твой Янцис».

Письмо Янсона насквозь лживо, если он помнил настоящие обстоятельства своего «дела». Но может быть и так, что чувство самосохранения зачеркнуло и вытравило в его памяти самые нежелательные страницы, перебелило их... Механизм такого преобразования реалий можно наблюдать по этому письму. Берется событие совсем свежее, — возобновление между Янсоном и Райнисом переписки, восстановление дружеских и деловых отношений. И подставляется на место истины только что сотворенная легенда. Ну не писал Райнис «Янцису» милые и сердечные письма! Не обращался как к дорогому и близкому другу, —

чего не было, того не было! Мы свидетели: недоверчиво и неохотно, с массой оговорок он соглашался попытаться... в то время как *старый друг Янцис* соловьем разливался о всегдашней любви к Райнису, о *дружбе даже и вопреки его холодности...* Холодность, почти оскорбительная, особенно в сравнении с пылкими дружескими уверениями Янсона, и все новые подозрения и укоризны... Все это нельзя было не видеть, если не закрывать нарочно глаза. Или потребность обманывать себя, внутренняя, не для публики, а для собственного употребления подтасовка фактов, передергивание их вошли в привычку, сделались условием хрупкого душевного спокойствия?

Между тем письмо дышит искренностью. Искренним горем, искренним возмущением, искренним разочарованием в друге. (Вспомнилось некстати, что именно искренностью поразил и убедил в свое время выдавших виды жандармов студент Янсон). А гнев, праведный гнев — разве он выглядит напускным? Наверное, мало было обмануть себя. Для того, чтобы сохранить какое-то самоуважение, надо было поверить, искренне поверить обману! Не думаю, чтобы Янсон 1913, так же как Янсон 1897 года, был хладнокровным негодяем. Он был скорее романтиком, революционным романтиком, всегда умеющим поверить в свою правоту. И охотно путающим правоту великого дела, которое привык представлять чрезвычайно и полномочно, с собственной правотой. Ошибка нередкая, и она будет со временем учащаться в судьбах и биографиях.

Райнис был потрясен. С ним никто еще не позволял себе так разговаривать. Вспышка ярости, багровым сполохом ослепившая в первую минуту, сменилась уверенностью: он кругом виноват, Янцис, он гораздо более виноват, чем казалось. Так отвечают только на прямое попадание в самую сердцевину давней, неизжитой вины. И еще это письмо подтверждало, что всегда, все эти годы, как Райнис и предполагал, даже под гипертрофированным дружелюбием последних писем тлела старая вражда, подпитываемая, должно быть, и завистью к растущей славе соперника, к его неуязвимости.

Но не бывает неуязвимых поэтов, — Райнис был уязвлен. Целая жизнь, выстраиваемая так мучительно трудно после катастрофы девяностых годов, была поставлена под сомнение. Так вот, значит, как они думали и говорили о нем меж собой все эти годы? На сей раз он не отступится, пусть и не мечтают; долго он ждал этого часа — и добьется, чтобы разоблачение было доведено до конца. Он понимал — борьба не будет легкой. Янцис для большинства друзей и недругов никакой не

Янцис, а виднейший представитель латышского и международного рабочего движения. Ясно, что он и его защитники будут прикрываться от ударов партией: это не его, Янциса, бьют, а через него хотя бы расправятся с социал-демократией! С какой неприличной поспешностью выдали ему мандат доверия Международное бюро II Интернационала, Зарубежный комитет ЛСД! Не сделав даже вид, будто пытаются что-то выяснить: доверяем — и все тут! Нет, дорогие мои, так не пойдет...

Письма, письма, письма полетели из Цюриха во все концы.

Молодому социалисту Феликсу Циеленсу: «Вы тоже собирались подписать протест, — подписали? Браун теперь использует его как прикрытие, и без того он намерен выставить свое дело как дело партии, но эти два дела надобно разделить. Когда я посоветовал ему сказать все как было и сослаться в оправдание на свою дальнейшую деятельность, то получил от него вскоре невообразимо наглое, полное ругани послание. Значит, он кругом виноват и теперь попытается отвлечь от себя внимание, атакая на меня».

Карлису Кирпенсу: «Помнишь, как Янсон, выступая против меня, подбивал Пуце и других на меня все сваливать? Как он пил у прокурора и давал показания. Поговори с Х. — тот знает еще лучше и видел, как Янсона привозили от того прокурора в подпитии».

Роберту Пельше: «Ему бы потребовать суда чести, а вместо этого он добывает свидетельства о доверии, как какой-нибудь проворовавшийся русский генерал, который опровергать обвинение идет не в суд, а к начальству. И партии его не нужно бы покрывать, как правительство покрывает своих обделавшихся генералов. Янсона я знаю. Он не терпит конкурентов... Кому Янсон не завидовал? Как он, к примеру, держал себя по отношению к Аспазии? Сколько было попыток примирения, и всегда он снова нападал исподтишка, а если мог, то и открыто. Так было со всеми его друзьями, и с Горьким тоже, — он его поздней называл «толстой сальной свечой» против своего «солнца», Л. Андреева. Янсон — истинный тип «политика вражды». Его наиглавнейшая цель — не позитивная цель, не позитивная политика, агитация и т.п., а лишь негативная: споры, интриги, тайные и явные нападения и единственное оружие: бесконечная брань».

Скандал и на родине, и в эмиграции разразился неслыханный. Газеты всех направлений подключились к «делу Янсона»; власти, кажется, не только не препятствовали этому, но и потирали руки не без злорадства. Шквал обвинений и контробвинений прокатился от Петербурга и Риги

до Цюриха, Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона. Янсон-Браун выступил со статьей «Мое дело», в которой защищался ожесточенно — не столько оправдываясь, сколько нападая на врагов.

Между тем обнаружилось, кто стоял за первой публикацией в «Дзимтенес Вестниекс»: никакие не «союзники», не меньшевики то есть, не «банда Вальтера и Скубикиса», а — одиночка: Янис Янкавс. Вспомним еще раз, как любовался Райнис этим юношей в 1905-м, при их первом знакомстве! Этот юноша да еще гимназистка Бирута Скуениеце были, казалось, самыми драгоценными «человеческими приобретениями» Райниса в том незабвенном году. Большеглазый, розовый как молочный поросенок, порывистый, смесь категоричности и неуверенности в себе, смелость и — застенчивость, почти девичья; хрупкая, недолгая красота: последнее детство, первая возмужалость. И этот быстрый, обожающий, стыдящийся своего обожания взгляд! Любви и понимания хотел, искал всю жизнь Райнис. Настоящее-то понимание и возможно только через любовь, — и как понимали его Бирута и молодой Янкавс, как загорались от его огня! Чем-то Янкавс напоминал студента Янсона двадцать лет назад, но в том московском студенте было больше самоуверенности, и тогда уже он был себе на уме, знал себе цену, — а юный, блистательно талантливый Янкавс в Пятом году цену себе не знал — и оттого не было ему цены! — слушал, впитывал чужую мудрость и поэзию самозабвенно. Оруженосец Индулиса, Угис, получил от тогдашнего Янкавса кое-какие черты, — от тогдашнего Янкавса, от самого Райниса времен Рижской гимназии и Ясмуйжи. Бирута и Янис тогда подарили ему чудесное чувство причастности к самому свежему, только-только выходящему в путь поколению. В последний раз Янис Плиекшан испытывал подобное в дни своего редакторства, может быть, еще в Елгаве, где в его дом стайками залетали гимназисты и гимназистки. Он любил эти лица и души, жаждущие наполнения: само будущее смотрело на него из широко распахнутых глаз. Без юношеской впечатлительности и восторга мир опустел бы, — как если бы из природы разом исчезли все птицы.

Странности начались потом, когда Янкавс обретался политическим беженцем в Париже. Продолжалась и на расстоянии дружба, но как-то неровно. Янкавс был первым, кто оценил «Огонь и ночь», — этого забыть невозможно. Общие литературные проекты последовали, они сотрудничали на расстоянии. Янкавс задумывал даже книгу о поэте, выспрашивал дотошно о пьесах и стихах, о подробностях биографии; никто, кажется, не был так ненасытен в расспросах. Затем начал периодически исчезать из поля зрения, проваливаться. Ну, и это со многими случалось.

Возвращался в Латвию, был арестован, непонятным образом вырвался на волю, опять эмигрировал. Политически явно уходил куда-то в сторону от общего течения. В социал-демократических газетах все решительней ополчались против его «заблуждений».

В ноябре 1909 года после длительного молчания Янкавс прислал вдруг странное письмо. «Мне теперь совершенно невозможно поддерживать какие-либо связи, исключая чисто практические. Вам, конечно, следовало бы порвать со мной переписку, а то, что несмотря на все, Вы еще беспокоитесь обо мне, делает мое поведение по отношению к Вам вдвойне грубым и непростительным. Но я не могу ни перебороть себя, ни взять ответственность за то, что Вы продолжением наших связей вредите своей работе, кажушейся мне куда важнее, чем мелкие, чисто негативного свойства споры, какими мне приходится заниматься. Мне не хочется только, чтобы в моем поведении Вы увидели лицемерие и какие-либо другие причины кроме упомянутых. С Вами я не лицемерил и не хочу этого делать. Последствия моего поведения, мои необдуманные шаги нанесли моральный урон и Вам и другим; никакие слова или чувства здесь уже не помогут, но я, по крайней мере, хочу, чтобы так не было в дальнейшем. Это необходимо и потому, что мое отношение к социал-демократии не смягчилось, а сделалось еще острее, только от отдельных личностей, раньше меня восхвалявших... моя вражда перешла на все их учение и цели».

Может быть уже тогда Райнис начал беспокоиться и сожалеть о некоторых чересчур откровенных высказываниях в письмах, адресованных молодому человеку. Правду говоря, он возлагал на Янкавса немалые надежды. Янкавс был революционер, но не принадлежал к партии, то есть был свободней большинства. Разногласия юноши с социал-демократами не смущали Райниса: тем лучше, что он с ними перессорился, руки у парня развязаны. И если уж он так и так охотно ввязывается в драку, то мог бы высказать некоторые горькие истины, давно уже ждущие какого-то выхода. Райнис объяснял Янкавсу, что сам он выступать с критикой и разоблачениями не может: это означало бы смену профессии, он давно покончил с публицистикой, полемика отвлекла бы от позитивного труда — поэзии, драмы. К тому же, находясь внутри латышской социал-демократии, а не вне ее, он связан.

Янкавс крайне чувствителен и обидчив. Разделение труда: старшему позитивные, младшему — негативные задачи — вряд ли показалось ему справедливым. И самоуничижительное: что мои мелкие, негативного свойства споры против Ваших позитивных трудов, — отдает этой самой обидой плюс иронией, которой Райнис, кажется, не заметил.

Еще случай прямо-таки растрогал поэта. Понадобилась ему одна

книга, и он написал в Париж, просил поискать ее. И получил через какое-то время нужное ему издание переписанным от руки! Оказалось, что найти книгу в продаже не удалось, в Национальной библиотеке экземпляр на руки не выдавали. Книга была переписана с начала до конца почерком Янкавса! Переписка между ними к тому времени прекратилась, и доказательство дружбы показалось Райнису столь же необычным, сколь и бесспорным. И трогательным, наконец!

Летом 1912 года Райнису в очередной раз удалось разыскать «пропавшего». Поэт попросил его вернуть адресованные ему письма. Янкавс откликнулся не сразу. «Думаю, не остается ничего другого, как прервать наши дружеские связи. Возможно, Вы этого желали и раньше, но медлили, щадя меня. Но если даже это и не так — я не могу иначе... Я не думаю отказываться от всего, что приобрел благодаря Вам, и надеюсь, что в свою очередь моей работой расчищу хоть немного места для *Вашего позитивного труда*. Но в теперешней ситуации личные связи я должен отделить от связей идейных. Мне нужно полностью быть свободным от личных отношений... Прилагаю Ваши письма, которые Вы просили возвратить; себе я списал копии, не знаю только, когда смогу написать задуманную работу».

Недели через две после начала «дела Янсона» Янкавс обратился через газету к Райнису: «Многоуважаемый господин! (Раньше неизменно — «Милый товарищ», «Дорогой друг»). Надеюсь, Вы сочтете возможным прочесть обращение политического противника. Осмеливаюсь указать на следующее: ради некоторых политически нейтральных ценностей было бы лучше, если бы Вы поторопились сказать свое слово в деле социал-демократов уже теперь, пока Вы можете говорить достаточно авторитетно, не ожидая момента, когда Вы будете *вынуждены* заговорить, но Ваш политический авторитет, ввиду Вашего молчания, пошатнется...»

Он закусил удила, Янкавс. Poleмика его с латышской социал-демократией — с той ее частью, к которой принадлежали и Стучка, и Янсон, и Розиньш, и Дауге, и — номинально — Райнис, перешла уже к тому времени в открытую войну. Появилось на страницах левой печати и пошло гулять слово *янкавизм*, и никто другой как Янсон-Браун обзывал молодого — все еще молодого — оппонента и провокатором, и *литературным агентом охраны*, и реакционером, и ренегатом.

Ренегатом Янкавс себя не признавал: он участвовал в революции 1905 года, но в весьма пестрой по составу группе, членом какой-либо партии не состоял никогда. Реакционером же быть охотно соглашался.

«Бывают обстоятельства, когда необходимы движение вперед и прогресс, а реакция являлась бы злом, — писал он, — бывает и наоборот — когда нужна в первую очередь реакция». Может быть, в целом мире тогда не нашлось бы второго реакционера, который бы во всеуслышание провозглашал: да, я реакционер! А этот добавлял: «В слове *реакционер* не нахожу ничего неприятного и оскорбительного. Совсем напротив! Я действительно не написал ни одной строки, которая позволила бы хоть злейшему врагу включить меня в ряды сторонников того «прогресса», в коем прочно поселились все эти Асарсы, Упиты (имеется в виду молодой тогда писатель Андрей Упит), Лиготни, — имя им легион!..»

Янкавс убежден: «Кто верен политике — той же, что и в двадцать лет, тот или ленив духом, или имеет свой расчет, когда человек свою идею выгодно капитализирует, превращая в постоянный источник дохода, теряемый в том случае, если расстаеться с идеей. Куда бы пошли и что бы делали теперь такие инвалиды прогресса, как редакторы «Яуна Диенас Лапа» и другие персонажи 90-х годов, если бы отнять у них их «прогресс»: он, как старая солдатская шинель, дает им «моральное право» на какое-то пособие. Кто хочет отнять у Пипиньшей, Асарсов и всей их толпы или оспорить их «прогресс», тот сначала должен обеспечить их какой-либо еще «идейной» нищенской торбой, без которой они просто не выживут! Но насколько важна этим инвалидам их «принципиальная стойкость», настолько же необходима и неизбежна эволюция взглядов для каждого, не принадлежащего к *тем, кто не забывает** и кто ничему не учится. Моя приверженность марксизму, как и вообще социализму, была ошибкой, — обычно это случается в возрасте, когда не может быть еще у человека устоявшихся, сколько-нибудь продуманных взглядов».

Попадают у Янкавса в статьях и брошюрах 1913 года вещи не только острые, но и пронзительные; можно в них наткнуться и на пророчество, притом сбывшееся в ужасающей полноте: «Нужно заключить, что если бы социал-демократы пришли к власти в государстве, то соц.-демократическая полиция преследовала бы сторонников неприятных для нее взглядов, может быть, много злее, чем сегодняшняя полиция — социал-демократов».

В чем-чем, а в смелости, почти безумной, Янкавсу не откажешь. Он выступил чуть ли не в одиночку против... кажется, что против всех! Власти конфисковывали его брошюры, благонамеренные граждане

* Янкавс иронически обыгрывает название поэтической книги Райниса — «Те, которые не забывают».

считали за фанатика, революционеры — за ренегата и врага более опасного, чем жандармы.

Обижаться социалистам было на что. Янкавс утверждал, что их вожди-интеллигенты не имеют ничего общего с рабочим классом, что пролетариат и крестьян они используют для своих целей, для захвата власти, положения, что их пропаганда — дешевая демагогия, что ради собственного возвышения кучка эмигрантов навязывает народу кровавые авантюры, способные привести нацию к гибели. И дело, писал он, не только в руководителях: вина «во всей системе, а она куда шире, чем вся даже социал-демократия. Ее продолжает весь *прогрессивный демократизм*, в последнее время так далеко зашедший, что трудно найти хоть одного дурака, который не был бы прогрессистом и демократом».

Оглядываясь с привычным ужасом на прожитое нами столетие, видишь, что прав был Янкавс, может быть, чаще, чем неправ. Но... было нечто лихорадочное в его писаниях; ущемленное самолюбие? — да, и оно; однако и глубже чернеется нечто... Видимо, был где-то в его прошлом удар, оставивший вмятину в нежном веществе его психики. Враги не оставили эти странности без внимания: советы полечиться в соответствующем заведении уже прозвучали в печати, и Янкавс откликнулся на них злобным раненым ревом.

Почти сразу же он потребовал к ответу Райниса. «Либо Райнис сам заговорит и добьется выяснения всего дела, да так, чтобы правда не осталась секретом участников суда чести, либо — в случае молчания — заговорят его письма».

Шантаж, видимо, был задуман давно: недаром же еще в 1909 году он хотел «прекратить дружеские связи» с поэтом, а в 1912 односторонне прервал их. Нанести сокрушительное поражение всей латышской социал-демократии — вот что он задумал. Арону Матису Янкавс писал с полной откровенностью: одним ударом я вывожу из строя три главные фигуры социал-демократов: Янсона, Стучку и Райниса. О, как ему не терпелось! Эти пятилетней давности письма жгли ему руки.

«На чьей стороне будет Райнис: на моей — чтобы защищать им самим высказанную в письмах историческую истину о Янсоне и Стучке — или, быть может, на их стороне, чтобы защитить *свою партию* от нападков «реакции»? Вопрос этот для Райниса сейчас весьма щекотливый. Но ответ необходим. Райнис недоволен тем, что в своей брошюре я привел из его писем суждение о делах 90-х годов. «Письма были частные, — пишет он в газету «Лайка Балсс», — и если бы у меня было подозрение, что их используют для политических целей, они не были бы написаны».

С наслаждением, почти болезненным, Янкавс контратакует: «Райнис хотел, чтобы его сведения были использованы; он не знал лишь, каким образом это будет сделано и надеялся, что я все выскажу от своего имени и под свою ответственность. Чтобы это подтвердить, приведу отрывок из того же письма, которое я цитировал в своей брошюре. Указав, что социалистическое учение вводил он, а не Янсон и Стучка с друзьями, Райнис говорит: «У моих ног они сидели, как сами говорили тогда. Теперь они эту заслугу приписывают себе и исказили все дело; печать у них есть, а я сам не могу об этом писать». Райнис хотел, чтобы я написал об этом. — И с нескрываемым злорадством недавний друг поэта добавляет: — Но за эти годы, нужно признаться, у меня прошла охота таскать «дружеской рукою» для других каштаны из огня».

«Далее Райнис говорит: «Но главное — мои письма адресованы товарищу по борьбе, социалисту и революционеру, недовольному тогдашним руководством социал-демократии как слишком умеренным, недостаточно социалистическим. На письма, посланные революционеру Янкавсу, не может ссылаться реакционер Янкавс, как написанные ему».

Многословно и страстно Янкавс доказывает, что возражению этому недостает логики. Логика в ответе Райниса, конечно же, была. Можно бы добавить, что письма его адресованы другу, и обличая предательство Янсона, Янкавс не замечал, что и сам сладострастно предает в этот самый момент дружбу, свое и чужое прошлое, доверие, которым ведь он дорожил когда-то.

Райнис назвал публикацию частных писем бестактной и поведение бывшего друга неслыханным. На какое-то время Янкавс забыл и Янсона, и Стучку, и Асарса, и всех своих прочих врагов, чтобы обрушиться на Райниса. «Только бестактность и двуличие самого Райниса заставляют меня теперь действовать иначе...» С лихорадочной торопливостью Янкавс вываливал перед публикой свое богатство: сказанное Райнисом о Янсоне как кукле и клоуне, о Стучке как истинном предводителе клики, о дяляческом социализме. Появление этих строк в печати вызвало, как и ожидалось, эффект разорвавшейся бомбы. Дело Янсона было отодвинуто в сторону, вся партия обсуждала теперь *дело Райниса*.

Сотни страниц, листочков, обрывков исписал поэт в то время, споря, отбиваясь, нападая. Раздумывая, ища наиболее точные формулировки для происходящего. Для мучающего, терзающего, закогтившего и не отпускающего «дела», для тяжбы с братьями.

«К дружбе нельзя принудить, как Янкавс пытается, принудить можно только к вражде. Но и к этому он не способен, много чести для него — быть моим врагом, слишком он мелок».

«Меня вынуждают заниматься политикой обе стороны и тянут каждая к себе. Но мне политики мало, у меня другая задача: поэзия, она мне кажется крупнее. Я буду политиком настолько, насколько понадобится, чтобы от политики отделаться. Моя политика — в моих стихах, в «Индулисе», других вещах».

Черновик письма к Арону Матису: «Я выразил свои мысли — как они есть, а шантажист вообразил, что он сможет чего-то добиться на их основании: например, заставить меня встать на его защиту или принудить меня думать по-другому... Против меня он посылает как самого грозного противника меня самого, а я уж как-нибудь договорюсь со своим прошлым, ибо я его не предал, как Янкавс предал свое».

Группа латышских марксистов — 106 человек! — обратилась с письмом к «товарищу Райнису». Копии письма разослали по городам и марксистским группам всей Европы. Письмо укоряло и обвиняло. Дружеские связи с ренегатом Янкавсом, нарушения партийной дисциплины, сотрудничество в буржуазных газетах, приветствия реакционным деятелям...

В трагедии «Иосиф и его братья» есть сцена, когда все братья-пастухи поочередно проклинают Иосифа. Так, именно так, как загнанный в угол Иосиф, чувствовал себя поэт. В который раз все отступились от него, и не было, казалось, среди сотен вчерашних единомышленников и товарищей ни одного, кто не бросил бы в него камень.

«Уйдут от меня все друзья, я знал это и предсказал еще в «Конце и начале»».

Где искать защиты? На этих судей суда нет. Открытое рассмотрение дела Янсона-Янкавса-Райниса заблокировано. Зарубежный комитет ЛСД запретил Райнису что-либо публиковать по этому поводу в *гражданской* печати. Сами они пишут и печатают на эту тему все, что хотят, и в нелегальной «Цине», и в легальных изданиях.

«Дайте мне место в «Цине» для ответа!» — надрывает голосовые связки Райнис, но его не хотят слышать. Еще бы: газетой все еще руководит Янсон. «Нет ни одного места, где бы я мог высказать свои мысли, выступить против шаблона — когда даже мне, ветерану, не

позволяют ни защищаться, ни критиковать партию, которую я же и основал».

«А вы-то сами, товарищи, что сделали за все это время? — взрывается он. — Позитивного — ровным счетом ничего. Только негативное: раздоры. Газета «Циня» полна дрязгами, просто-таки лохани помоев. Это вы называете «духовной борьбой»: только и ждете, когда же грянет очередной скандал, чтобы всласть покуражиться и составить резолюцию. Междоусобицы в Цюрихе: *большевики, меньшевики*. Вы следуете примеру русской партии в ее падении, напускаетесь на всякое культурное дело, ополчаетесь на искусство, театр...»

Острым, еще более неразборчивым, чем обычно, почерком он набрасывает один за другим варианты письма в Зарубежный комитет ЛСД. «Не стыдно ли вам хоть немного, что вы выступаете с обличениями против меня, в то время как мне вы же запретили говорить?»

«Вам хоть немного не стыдно бить того, кто связан по рукам и ногам?»

«Вы можете выставить меня из партии. Мне даже удобнее быть вне ее — как Ибсен, Бьерн, Гауптман, Стриндберг, Шоу. Это лишний раз доказала Аспазия, которую вы сначала травили, а когда она оказалась демократом, вне партии, и весь народ чествовал ее, вы спохватились и хотели было снова завербовать ее. Нет уж, лучше я буду снаружи».

«Какие же материалы я дал против партии? Мои взгляды, которые я в печати высказывал щадяще, а в частной переписке беспощадно? Не мог я справляться у партийной организации, как мне поступать в частной жизни. Не слышал, чтобы другие это делали или кто-либо требовал от них этого. И впрямь никогда ни у одного, тем более официального учреждения я не спрощу разрешения поступать в своей частной жизни так или иначе. Личную свою жизнь каждый строит по своим внутренним законам и законам этики, и те и другие не требуют бюрократического вмешательства».

«Нарушение конспирации — что я бюрократию называю бюрократией. Ибо каких-либо других партийных тайн я не знаю».

«Меня поражает, что т. Стучка называет всякое несогласование с бюрократами — анархией, всякую попытку самозащиты — анархией, всякое разоблачение неправды, всякую самостоятельную мысль — анархией... Такою стала социал-демократия: даже убежденные товарищи, такие, как Стучка, в восторге, когда зажимают рот тем, кто бюрократии не поддался».

Насчет всеобщего отшатывания от него Райнис все же ошибался. Группа латышских социал-демократов, живших в Париже, в том числе известный революционный деятель Берзиньш (Зиемелис), заступилась за поэта. Она была малочисленной брюссельской, а мужества ей потребовалось больше. В письме «парижан» говорилось, что Райнис — гордость всего народа и в особенности пролетариата, что подобного ему нет даже у рабочего класса «старых культурных народов».

О, как набросились на «непрощеных защитников!» Их распекали печатно и устно, грозилась исключить из партии, — во всяком случае поднять этот вопрос на очередном съезде ЛСД.

«Если действительно исключат или всерьез захотят исключить парижан, тогда в партии победит именно клика, и я от отвращения не смогу дольше оставаться в партии. Уже и теперь я еле удерживаюсь от этого шага, и что ж меня держит? Чистая сентиментальность: отец не может оставить сына. Я художник, что мне за дело до политики? Да пожалуй, я был бы и здоров без нее. И все же: *не могу ли я чем-нибудь помочь?*»

И снова с лихорадочной поспешностью он записывает:

«Меня хотели *задушить под покровом секретности, заткнув мне рот кляпом из канцелярских бумаг...* Видно, что *эта секретность, отрицание всего демократического — их система*».

«Мы с моими идейными противниками внутри социал-демократии всегда были чужими, хотя и бывали друзьями, это они чувствовали так же, как и я».

«Я так верил тем людям, что стоят сейчас передо мною как злейшие враги!»

«Дело возникло на родине — посреди живой жизни, — а разбиралось в эмиграции — в неживой жизни, где неживым становится все: каждая мысль обращается в сплетню, борьба — в интригу».

«Я хочу только свободы!»

Сотни, повторяю, — *сотни* листков, исписанных нервным, измученным, порой совершенно неразборчивым почерком.

В это время Петерис Стучка писал своему названному сыну, Янсону Брауну: «Напиши как-нибудь, что там было дальше в направленной против Тебя афере. Правду говоря, мне бы нужно сказать что-то тоже *pro docto sua**, и мне это было бы не слишком трудно, но не хотелось

* В свою защиту (латин.).

размазывать все это дело еще шире, а по отношению к Райнису казалось, что это немножко смахивало бы на «бить лежачего»*. Мои личные с ним отношения после этого инцидента, разумеется, окончательно прекратились, и мне невозможно первым вступить с ним в переписку или переговоры. Таких писем Янкавсу я от него не ожидал после того, как наши отношения, вроде бы, прояснились. Будем надеяться, его самого этот случай не заведет еще куда-нибудь, — еще и потому я воздерживаюсь от какого-либо ответа по своему персональному делу, хотя знаю, что иные товарищи считают это за «признание».

Приписка Доры: «*Großvater*** не оставил места для изливания моих чувств — поэтому остается только поцеловать вас обоих».

Из последующих писем П.Стучки Я.Янсону-Брауну.

«По моему внутреннему убеждению Тебе совсем неплохо было бы пойти «*durch dick und dünn**** с Лениным и его товарищами, ибо их линия фактически всего ближе к нашей и сам Ленин в конце концов единственный дееспособный политический вождь».

«Если ничто не помешает, следующим летом хотим быть за границей, но куда податься? Выбор маршрута так же труден, как между Сциллой и Харибдой: в Швейцарии — Райнис. В Бельгию? В Англию?»

«Брошюра Янкавса дает не так много нового, исключая пару выписок, смертельных для Райниса, ибо видно, что он со-виновник тогдашнего выпада Янкавса. Мое положение довольно глупое, — я молчу насчет обвинений в мой адрес, точно воды в рот набрал, — и теперь многие решили, что я признаю свою вину; какой-то полемист в «Дзивес Балсс» не постеснялся назвать меня под кличкой § — делягой. Сам Райнис думает, что в словах «деляческий социализм» (прямо и не знаю: то ли я делал бизнес через этот социализм, то ли социалистов учил делячеству?) нет ничего обидного. Я с ним, как говорится, «*bin fertig*»****, труднее пережить все это Доре. И потому всякая мысль о загранице так отравлена перспективой нечаянно встретиться и сызнова обострить боль, успевшую притупиться».

Очередной съезд Латышской социал-демократии в январе 1914 года признал дело Янсона исчерпанным, поддержал обращение брюссельцев к Райнису, а парижских марксистов за их письмо в поддержку поэта осудил.

* Эти два слова написаны по-русски.

** Дед (нем.). Та же игра: если П.Стучка — «отец» Я.Янсону, то после рождения его детей он — «дед».

*** «через огонь и воду» (нем.).

**** Приблизительно: покончил; не желаю больше его знать (нем.).

Фр. Мендерс, вместе с Р. Эйхе и Я. Ленцманисом бывший в комиссии, которая в ходе IV съезда ЛСД рассматривала это дело, вспоминал много лет спустя: «Брауну, представшему перед комиссией, грозил нервный срыв. Впервые я видел этого физически сильного мужчину плачущим. Жалко было смотреть на него. Комиссия и съезд единогласно встали на сторону Брауна. Райнис был очень и очень недоволен».

Недоволен? Не то слово.

«Я отмежевываюсь от всех официальных инстанций и представительств Латышской социал-демократии, с антидемократическим духом и поведением которой у меня нет ничего общего и к которой я не желаю быть причастным», — откликнулся поэт.

Много раз писал он в это время — и многим: дело это не личное, оно, быть может, начиналось как личное, но сделалось делом принципа. В одиночку или почти в одиночку вступил он в эту борьбу, проиграл по всем статьям, — и потому победил.

В жестоком споре с *братьями* он распознал и обличил ту систему уже сложившейся несвободы, слепого послушания «под кнутом конспирации», заговорщицкой скрытности, сектантства и фанатизма, которая вскоре возобладает на пространствах огромной страны. Отмежевавшись от партии Стучки, Янсона, вошедшей составной частью в партию Ленина, Райнис оказался почти непричастен ко всему, что натворила она в этом мире и в XX, слава Богу, уходящем столетии.

И в это же самое время, в разгар выматывающего, убийственно тяжелого спора он сочинял драму «Вей, ветерок», — самое органичное из своих творений, самое свежее по языку, доступное любому крестьянину, простое и возвышенное.

Райнис тогда замечал в одном из писем: «И ведь все они товарищи и не хотят плохого, только не понимают и боятся думать, и по привычке надеются *злом достичь добра*. Не знают, что зло всегда останется злом, даже если его хотят использовать во благо».

Но это — слова из «Лодочника» (первоначальное название пьесы «Вей, ветерок»):

*Не добьешься злом добра.**

* Перевод А. Кушнера.

Народная песня в пяти актах, — подзаголовок пьесы. И действительно: четырех-пятистрочная латышская народная песня раздвинута до масштабов пятиактной драмы. Пьеса осталась живой, краткой и емкой, как песня, лишь выросла вся, целиком, раздалась вширь, ввысь, вглубь.

Юноша-лодочник, плавающий по Даугаве, богатый, всегда хмельной, сильный и властный, приезжает сватать хозяйскую дочь, высмотренную где-то на гулянке. И влюбляется в пугливую девушку-сиротку. Увлекается мгновенно — потому уже, что дикарка посмела оказать ему сопротивление. (И опять детство пришло поэту на подмогу. Крестьянские речи и характеры убедительны настолько, что вся Латвия вскоре признаёт в них себя).

Улдис — лихой лодочник — решил добиться любви недотроги любой ценой, даже силой. Байба и тянется к нему, и боится его нахрапа, его властной, грубой хватки. Ничто не мешает по-настоящему их единению, кроме мелочи: той самой неуступчивости, что заворожила Улдиса. Девушка ни за что не отступится от того, что и есть ее суть: стыдливости, чести, как она ее понимает. Улдису никак нельзя отступить: он должен во что бы то ни стало подчинить, сломить упрямыцу, его натура, характер на меньшее не согласны. Но подчинившаяся, сломленная Байба была бы уже кем-то другим, не собой. Девчонка гибнет, бросившись в Даугаву — и, может быть, только смерть молодого Вертера в свое время вызвала столько же слез в городах и поместьях Европы, сколько их было пролито по всей Латвии зимой и летом 1914 года над судьбой сироты Байбы.

Позднее автор писал: «То было время полемики против меня, требовался ответ — и, как бы это ни казалось невероятно, «Вей, ветерок» — это полемическое высказывание с моей стороны». Он говорил еще о «стыдливой красоте родины», и пожалуй, в характере Байбы ему виделась, кроме прочего, неуступчивость Латвии под напором любящих, но уж очень нахраписто любящих и осаждающих предмет своей любви *братьев*. Райнис: «В то же самое время выростала и трагедия «Иосиф и его братья», и тоже как своего рода полемический акт».

Это преобразование грубой, в чем-то бесчеловечной вражды, эмигрантских склок и разбирательств, отчаянного спора поэта с партийной верхушкой — в живую плоть «народной песни в пяти актах», в живую душу Байбы, в лица и голоса любящих и нелюбящих, любимых и отвергнутых, этот поворот, внезапный выход из мертвечины, из спертого воздуха распрей в иное измерение — одна из тайн Райниса, а может быть, и поэзии вообще.

Писалась пьеса необычайно легко — как пелась. Автор сам

изумлялся, записывая в дневнике: «Сегодня написал 100 строк». И даже угрызения совести испытывал он от этой легкости, от того, что так споро и весело работает: ну конечно, обрадовался, как школьник, сбежавший с урока; пишет, что полегче, отлынивая таким образом от настоящей работы: «Иосифа».

Сейчас уже нелегко поверить, что пьеса «Вей, ветерок» вызвала в театре поначалу недоумение. И сомнения: да полно, будут ли это смотреть? Новый Рижский театр жил скудно, неудачный спектакль был для него роскошью непозволительной: один неуспех — и всё, прогорели. Актеры, привычные к пятистопному ямбу, запинаясь на первых же строчках. Ритм был непривычен и стеснял, как меньшая на два размера обувь. «Кому нужно слушать стихотворение длиною в целый вечер?» — роптали скептики, почти не скрываясь. Настроения, близкие к панике, преобладали. Другое дело, что театр не мог себе позволить ссориться с главным своим драматургом.

Потом, когда спектакль зажил своей жизнью и успех пьесы стал несомненен, скептики исчезли все до одного: точно провалились в сценический люк. Все, оказывается, с самого начала верили в пьесу. Ну и хорошо.

Хорошо бы. Если б не драка за роли, от которых недавно несмело отпихивались. Бурные страсти сотрясали театр по-прежнему; за кулисами Нового Рижского жили не дружнее и не легче, чем за кулисами Латышской социал-демократии. В этом самом, тринадцатом году конфликт артистов с режиссером Теодором Амтманисом достиг такого накала, что труппа объявила забастовку: случай небывалый. Театр едва не погиб, не говоря уж о поднявшемся шуме. На смену Амтманису пришел Алексис Миерлаукс... и вскоре служители Мельпомены сами недоумевали: стоило ли затевать войну? Не бывает режиссера, одинаково устраивающего всех. Кто не терпит над собой посторонней власти, кто ищет неограниченной творческой свободы, должен искать другую профессию. Ибо чужая, объединяющая воля в театре — условие игры, которое можно разрушить только вместе с театром.

Самозабвенно участвовала в раздорах, играя не последнюю скрипку, Бирута Скуениеце. «Я — злая!» — как-то написала она Райнису; поэт с терпеливой нежностью уверял ее в обратном.

Младший современник нашего героя Александр Блок заканчивал одно замечательное стихотворение словами: «Только влюбленный имеет право на звание человека». Влюбленность была постоянной

потребностью Райниса. Райнис-лирик неспособен выдумывать, убедится в этом каждый, кто заглянет в его книги «Конец и начало», «Пять эскизных тетрадей Дагды».

Райнис влюблялся в свою Бируту постепенно, по мере ее взросления, как бы дававшего ему право на это чувство. Он знал, что влюбленность эта не безответна, а от чьей-то дружбы или любви он никогда не отказывался добровольно, так было даже с Петерисом Стучкой, с Дорой, так было с Янкавсом. Он цеплялся за уходящие дружбы вопреки всему, — не соглашался отпускать тех, кому однажды поверил. В письме он как-то заметил о журналисте Х.Асарсе: я по-прежнему считаю его другом, хотя бы даже он сам смотрел на дело иначе; *не от него — от меня зависит, считать его моим другом или нет.*

Итак, эта странная влюбленность на расстоянии существовала и была обоюдной. Со стороны Бируты Скуениеце там дополнительно присутствовала некоторая экзальтация и, быть может, ревность. Ревнивые нотки улавливаются и в письмах Райниса времен ее замужества: отдавать любимицу в чужие молодые руки не хотелось.

Из ее дневников.

«Райнис, Райнис. На стене передо мной барельеф — его лицо. Сегодня ходила по комнате, говорила сама с собой; инстинктивно остановилась перед барельефом, почти молясь: «Милый, милый, милый...» Что он сейчас думает обо мне?»

«Жизнь моя принадлежит Райнису, — другому ее отдать не могу».

«Всю неделю опять играла Визбулите каждый день!.. Позавчера в четвертом акте, слушая слова Индулиса там, на сцене, подумала, что сам Райнис мне говорит их. И почудилось, что в том своем далеке Райнис знает: я о нем думаю, отвечает на мои вопросы. Может, и правда он думал обо мне в тот миг? Может быть, писал мне письмо? Скоро увижу».

«Получила от Райниса письмо с фотографией, и выходит — точно: он послал его в четверг вечером или на следующее утро. Писал как раз тогда, когда я об этом думала!.. Райнис так осунулся, выглядит усталым. Кажется, вокруг него — зло, и он страдает, страдает всю жизнь! Напишу сразу же».

В декабре 1913 года Бируте пришло на ум — сколотить труппу и летом объездить Латвию с одним спектаклем: «Вей, ветерок». Пьеса точно создана для выездов: действующих лиц немного, декорации

недорогие, костюмы тоже. И уже ясно было, что ее поймут и примут повсюду. Бирута просила автора, чтобы он не разрешал вывозить пьесу на летние гастроли никому, кроме них: «Местности, где можно показать спектакль, в Курземе и Видземе наперечет, всем они известны. Если кто-то затеет опять интригу и с худшим составом опередит нас, побывав на тех же площадках, мы прогорим, т.к. расходы будут большие, если хотим сделать все как следует».

Уже через два месяца обнаружилось, что к летним гастролям готовится и другая группа артистов, и везти они собрались по городам и весям ту же пьесу; разрешения на это от имени большинства актеров и собственно театра просил у автора А. Миерлаукс. Господи, что за свара началась опять в театре на ул. Романова! Какие страсти бушевали, сколько было пролито слез и сыграно обмороков, какие обвинения пулями свистали с обеих сторон! Все еще терзаемый нескончаемой тяжбой с «братьями», Райнис дал понять через А. Деглавса, что не против и гастролей второй труппы. К весне его осаждали телеграммами и письмами обе стороны, но особенно Бирута. И муж ее Янис Дамбеканс, ведавший финансовой стороной предприятия, писал, что «неверность» автора их разорит. Опять Райнис был загнан в угол — и кем?! Неужели Бирута не поняла, что он не может из-за ее амбиций ссориться с большинством артистов, с руководством «своего» театра? Нет, понимал Райнис, — не поняла и обижена смертельно. Он дает Бируте телеграмму: «*20 versprochene Aufführungen bleiben euch Monopolrecht keinen Theaterpersonal Kollektionsbitte muß beachten*». К несчастью, особенности построения немецкой фразы позволили Бируте и ее мужу понять телеграмму так: «20 обещанных спектаклей. Вам остаются монопольные права. Просьбу персонала театра не принимать во внимание». Миерлаукс и театр прочли текст иначе (как и следовало): «20 обещанных спектаклей остаются вам, монопольные права — никому. Просьбу персонала театра (нужно) принять во внимание».

Трагикомическая история завершилась тем, что «Вей, ветерок» играли все лето обе труппы и — ни у кого не испрашивая разрешения — «все, кому не лень».

Бируте Райнис в мае писал сердито и грустно: «Милая Ручочка, эти бесконечные волнения выносить тяжело, особенно теперь. Ты пишешь: если я не разрешу другим актерам показать «Вей, ветерок», они объявят бойкот всем моим пьесам. И в то же время требуешь, чтобы я им не давал разрешения: иначе Ты финансово и морально уничтожена. Ты уверена, что одному из нас придется погибать, Тебе или мне, обоим

никак не выжить. Я-то свои пьесы, уже написанные и задуманные, не ставлю так высоко, чтобы из-за них надобно было бы страдать хоть одному человеку, да еще такому художнику, как Ты; они вообще пишутся не для страдания, а для радости. Ты однажды уже ставила меня перед альтернативой: или известную роль будет играть такая-то актриса, или «Огонь и ночь» не будет на сцене. Тогда Ты сделала выбор в пользу «Огня и ночи», и спектакль уже сыгран в 100-й раз. Теперь альтернатива еще острее: либо разрешить Твоей и только Твоей труппе показать пьесу, либо вообще не ставить мои вещи, то есть мне не писать пьесы — и тем нанести вред Новому театру и его актерам, — я-то, отложив пьесы, могу заняться и чем-нибудь другим... Из-за нескольких неприятных личностей вредить всему коллективу и самому театру? И чтоб я помогал нанести им урон, — а ведь я товарищ этих артистов, у нас с ними общее дело! Они просят, чтобы я им позволил хоть сколько-нибудь подзаработать за пустое лето, и я им в этом должен отказать? Тогда и они действительно вправе ответить мне тем же... Думаю вот что: может быть, Твоя натура требует постоянного напряжения, и потому Ты вступила во вражду не только с верхушкой театра, но и с актерами, с которыми вместе совсем недавно бунтовала против руководства. Но для меня это постоянное напряжение и вражда просто физически невыносимы, и ни одному делу они не на пользу. Я этак совершенно не способен работать и думаю о том, чтобы действительно не писать больше пьесы...»

Через год с лишним Бирута запишет в дневнике: «Если бы только я могла снова назвать Райниса другом!»

А сотое представление «Огня и ночи» — всего через три сезона после премьеры — прошло в апреле 1914 года. Райнис написал по этому случаю стихотворное приветствие:

*Из дальней дали и из тишины,
Незримый и бесплотный, я пришел, —
Привет мой вам!..*

Итак, почти сто тысяч зрителей-латышей на спектаклях «Огня и ночи», десятки тысяч детей и взрослых, видевших «Золотого коня», еще десятки тысяч видевших и полюбивших Байбу из пьесы «Вей, ветерок», друзья Индулиса. Да, его знал теперь весь народ. Почти поголовно. Его и Аспазию. Пьесы ее шли тоже в театрах почти непрерывно.

До первой мировой войны оставалось три месяца.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВОЙНА

526

— О ч-черт! — выругался Черт, ерзая на колченогом венском стуле напротив. — Потерялась где-то страничка. А, вот она. Получи свою трагедию. И там, наверху, и там, внизу ее прочитали. Дружно жалели, что ты опоздал.

— Мы отчего-то опять на «ты»? — осведомился другой.

— Какие мы чувствительные. И каким пустякам придаем вес. А если бы я общался с... вами по-английски? И «ты» — ю, и «вы» — ю, это знает, небось, даже Аспазия.

— Ишь, полиглот, — сказал он.

— А вы сомневались? Обижаете...

— Почему опоздал? Куда опоздал? — спросил человек.

— Да не в театр же. Театра скоро не будет. Только театр военных действий и останется. Первая мировая война.

— Как вы сказали?

— Ах да, вы и этого еще не знаете. Так она будет называться, война, начатая на той неделе. Первая мировая. Ах, — сказал рогатенький, мохнатенький, скользкий. И задергался, запотирал ручки, мохнатые тоже.

— Пришло, пришло наше время!..

— Опоздал?

— Мир рушится, а вы о своем. Се человек, как было однажды сказано. Се автор. Нужно было закончить «Иосифа» в двенадцатом, а еще лучше — в одиннадцатом. У вас для этого почти все было... Вру. Нет, не все. И тогда Нобелевская премия, уверяю вас, и сто семьдесят четыре театра на четырех континетах, и слава как у Ибсена, все было бы.

— А теперь?

— А теперь сами знаете: война. Выпущенными из врага кишки десять тысяч раз можно будет опоясать земной шар, это минимум. И латышские кишки будут присутствовать. Не говоря уже о немецких,

русских, австрийских, польских, французских и, конечно, еврейских. Как же без них. Только в Галиции тринадцать тысяч евреек будут изнасилованы, в возрасте от семи до семидесяти трех. Нужно же миллиону простых, здоровых крестьянских парней куда-то девать любовную энергию напоследок...

— Да перестаньте вы лапки потирать! — взорвался Райнис.

— У вас голова трясется — я же не в претензии? — сказал Черт, надувшись совсем по-детски. — Ну ладно, ладно. Рецензии, самой первой, не желаете?

— Что ж. Хуже латышских критиков все равно ничего не придумаешь.

— А вы, расставшись с большинством иллюзий, не лишились известного остроумия. М-да. Начнем с негатива. Столь вам немилого. Длинно! Очень длинно! Одну бы треть, а лучше — четверть оставить, и это было бы... это был бы шедевр. Монологи эти бесконечные... Да-да, в каждом что-то есть. Это знаете, как с «Войной и миром» графа Толстого. Написал бы в четыре раза меньше — получил бы в сорок раз больше читателей. Я, грешным делом, даже прикидывал... что можно из «Войны и мира» выкинуть. Философию там... масонов... Но у русских есть поговорка: что написано пером, не вырубишь топором. Я пробовал. Не вырубается. С вашей пьесой, впрочем, было бы легче. В театрах ее так и так порежут. Да и Аспазия, если доверите, могла бы этот опус пошерстить. По-шер-стить! Как я хорошо говорю. Самому приятно.

— Что еще?

— Куда вы так спешите? О-ох! Только что накрылся целый окоп. Двадцать семь человек — на куски. Запах свежей убоины — чувствуете? Да нет, куда вам, с вашим обонянием. Поймите: все, что вы излагали с такой страстью, может в глазах торопливых людей... А этот век будет ужасно торопливым, просто ужасно! — может показаться выпренней болтовней.

— Выпренней... болтовней?

— Успокойтесь, милый вы мой... воды?

— Болтовней?

— Ах, мы-то с вами знаем, какая концентрация мысли и чувства в этой... так сказать, болтовне, — не мое, не мое слово! Нет, уж лучше я перейду к позитиву. Не возражаете? Или все-таки... воды?

— Оставьте, черт побери.

— Вот речь не мальчика, но мужа. Пьеса великая. Угадай она вовремя, вошла бы в поговорку на семнадцати языках. Включая иврит. А теперь — извините, не до вас, не до нее. И еще долго не до нее будет. Но какая вам разница? Латыши лет через пять этот текст прочтут и увидят. Дора прочтет и заплачет, Стучка прослезится и все поймет.

И кроме него поймут некоторые. Человек пятьдесят на планете в ближайшие полвека отнесутся с пониманием. А большего числа зрителей и читателей, — я имею в виду читателей, умеющих воспринять адекватно до 70 процентов текста, — не было даже у Гете. Так что место в мировой литературе вы заняли. Правда, видеть вас в ней можно пока что лишь оттуда... — Черт указал когтистым пальцем в потолок, — и от нас.

— Утешили.

— Любезный Янис... Иван Христофорович, выражаясь языком протоколов. Вас что, несколько не волнуют судьбы мира? Ведь мир катится ко всем чертям, — извините за плоский, так сказать, каламбур. Я бы даже каламбуром это не назвал, тут, как в вашей трагедии, — все правда.

— Правда... Настоящей-то правды вы не скажете, соврете?

— Как не скажу? Чем же я занимаюсь битый час? Вот, позвольте, я вам письмецо прочитаю. Только что написано, даже адресат не успел получить. Пишет ваш товарищ Ленин...

— Ленин — не мой товарищ.

— Ну — товарищ ваших товарищей, брат ваших братьев... М-да. Так письмо. Ленин пишет какому-то Шляпникову, — смешная фамилия, точно из Андерсена, не находите? Читаю. «Неверен лозунг «мира», — «мир» в кавычках! — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну... Не саботаж войны, не отдельные выступления в таком духе, а массовая пропаганда, не только среди штатских...» Я вам скажу, как это будет. Офицер воскликнет: ура! Умрем за царя, за отечество! А ваш брат-социалист прямо на ухо солдатику, справа и слева, шепчет: не умирай! Воткни штык офицеру в пузо и — айда домой! Как вы думаете, будет иметь успех такая пропаганда? О, не теперь, теперь по обе стороны фронта двести миллионов патриотов, — но со временем, когда кишочками-то в первый раз обмотаем планету, — а? Башковитый этот ваш Ленин.

— Повторяю: он не «мой»!

— И иже с ним, это-то — ваши? Послушаете дальше или надоело?

— Послушаю.

— Читаю. «Лозунг мира, по-моему, неправилен в этот момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война». Чудо! Поповский лозунг — мир! Замечательно! Поповский! Ах, милый Наглинь, сердце радуется, читая все это. Вы думаете, у Черта нет сердца? Не положено? Напрасно. Есть, есть оно, — только лишь с оригинальной направленностью. Наши с Лениным лозунги аб-со-лют-но совпадают! Наши сердца, образно говоря, бьются в унисон!

— И Стучка с ним?

— И Стучка, и Дора, и Янсон, позволивший было себе некоторые разногласия, будет с ним, особенно в вопросе о войне, и процентов восемьдесят ваших друзей и соратников — с ним.

— Нет у меня ни друзей, ни соратников.

— Какая горечь. Да-да, я в курсе. Но может быть, помириться? Не знаю, как они вам, но вы им нужны позарез. Кстати, насчет... зареза. Знаете, сколько человечков прикончат в гражданской войне? В России. Ленин надеется на гражданские войны повсюду, но в полной мере добьется своего только у вас. Между прочим, немцы уже выделили для его партии три миллиона марок. Не верите? Дело ваше. Что-то я сыплю сегодня цифрами, как бухгалтер. Шесть миллионов человек окачурятся... нет, кажется, когда люди сами, своей смертью умирают, тогда говорят: окачурился. Кстати же. Никто и никогда не помирает «своей смертью»: прискорбное заблуждение. Шесть миллионов мужчин и женщин, а также детей накроются в гражданской войне, может и больше, окончательно не подсчитал. И в два и семь десятых раза больше окажутся покалечены: одни лишатся одного глаза или одной ягодицы, как помните, некая героиня Вольтера, другие же проживут еще какое-то время совершенными обрубками, без рук и ног, даже издали смотреть страшно. Ах, какое времечко наступает, какое время! Вы мне верите?

— Как можно верить или не верить? Вы — плод моего воображения.

— Гм. В романе Достоевского «Бесы», который вы в последнее время столь часто вспоминаете, есть эпизод... Ставрогин приходит к старцу, Тихону.

— Вы что-то путаете. Это в «Братьях Карамазовых» старец...

— Путать я никак не могу. Впрочем, эту главу автор не включил. Вы могли и не читать в том вашем издании... Да вот, я прочту вам.

Черт возвел очи горé и стал действительно читать без запинки, как если бы произносимые им слова были начертаны на стене где-то под потолком, рядом с буфетом.

— Это о Ставрогине. «Вдруг он, впрочем, в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галюсинациям... — Там так и напечатано: галюсинациям! — почему-то восхитился Черт. — ...что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное», в разных лицах и в разных характерах, но одно и то же... И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах и больше ничего...» Вы что же, Иван Христофорович, меня тоже принимаете за себя самого? Или, выражаясь слогом Ставрогина, за галюсинацию? Для плода воображения, даже и вашего,

я выложил слишком много разнообразных сведений... Но вот что мы сделаем: вы этот разговор на всякий случай возьмете да забудете. Точно его и не было. Согласны?

Отвечать не потребовалось. Когда Наглинь поднял глаза, на венском стуле никто не сидел; через минуту он и не помнил, чтобы там этой ночью сидел кто-либо.

Если бы Райнис ничего не написал кроме «Иосифа и его братьев», хватило бы и этого. Она писалась, эта трагедия, так, словно в первый и в последний раз дана автору возможность сказать все, вместить всего себя в строки, себя и — мир, тоже весь.

Иосиф, как и некоторые другие герои его пьес, гений. Живший примерно 3500 лет назад, как сказано в ремарке, Иосиф одержим идеей смены вековечного уклада жизни — кочевого скотоводства — оседлым земледелием. Десять братьев осыпают его насмешками. Это люди шаблона, устоявшегося закона, привычки. Пророческий дар Иосифа, яркость его мыслей и слов, его снов, «несправедливое» предпочтение, оказываемое Иосифу отцом, — все вызывает в них вражду, все воспринимается как вызов. Иосиф же — человек любви, не ненависти, не вражды. Он жаждет любви, нуждается в ней как в хлебе насущном, готов давать и дарить любовь, он чуть ли не навязывает ее братьям — но становится им еще ненавистней. Любовь опасна для ненависти, любовь ненавистна ей, как ненависть ненавистна любви. Людям шаблона ненавистен гений, ломающий все шаблоны. Как говорит один из персонажей Достоевского: «Мы всякого гения потушим в младенчестве!» Ненавистность чужого таланта! Вдохновения! Гения! Потушить бы его еще в колыбели! Но и теперь, может быть, не поздно? Братья сговариваются убить Иосифа. Остальное известно: яма, в которую он брошен... Продажа его за двадцать сребреников богачам из проходящего каравана. Полугибель юноши, преданного братьями и проданного. И — возрождение его в чужой стране, в Египте, восхождение на вершину власти и славы.

Райнис много читал (по-немецки большей частью) о Египте и древней Палестине. Хотел добиться, чтобы библейские евреи в пьесе мыслили и изъяснялись как евреи, чтоб Египет был Египтом. Кроме того, Индия с ее философией и религией явно присутствует в трагедии. И, если добираться до корней, античная традиция, немецкая классика. Сама Библия... Все, усвоенное с детства, с времен учителя Базенера и впитанное за десятилетия, так или иначе понадобилось ему за семь лет работы над трагедией. Но не стоит обманываться: она не греческая и

не древнееврейская, не египетская и не индийская, — пьеса насквозь латышская, как все, что он писал. Даже Петерис Стучка скажет, что «Иосиф» — о латышской жизни. Еще бы не о латышской. Кому это знать, как не Петерису Стучке.

Да, целая библиотека стоит за «Иосифом», но и прав был Райнис, говоря, что материал он берет «прямо из жизни». И ревность, зависть «братьев» к его свободному гению, и яма, в которую он был кинут, и планы мести, вынашиваемые, — как сказано в трагедии, — семнадцать лет (посчитаем: от 1897 до 1914 года), — все это его жизнь. Даже слава, обретенная на чужбине: все совпало.

Как он вылепил братьев! Так непохожих друг на друга и так похожих — в ненависти. Одна из лучших сцен — когда братья, один за другим, потрясая пастушескими посохами, подходят к Иосифу, чтобы произнести над ним свое проклятие. Десять врагов и лишь один друг: младший, Вениамин. В Брюсселе братьев было больше: 106, и хором выкрикивали они свое проклятье...

«Судить еврея может лишь еврей», — бросают братья в лицо египетскому вельможе. (Читай: судить партийца может лишь партиец и т.п.). Ничего... Райнис все-таки вывел *братьев* на суд всего народа. И не одного своего народа, может быть.

В конце концов самая жестокая и трагическая борьба выходит у Иосифа не с другими — с самим собой. С жаждой мести, с духом вражды, тем самым, что движет и его братьями. Победа Иосифа над идеей вражды есть одновременно и победа над смертью. В побеждающей любви больше глубины и силы, чем во всем переходе от кочевой жизни к оседлости.

Любовь к братьям засела в Иосифе так же глубоко, как обида и месть. Все его внешнее величие разбивается вдребезги при взгляде на нищих, голодных пастухов, на их родные черты... Истинное величие вырастает и утверждается при нас, на наших глазах. Не тогда, когда Иосиф провозглашает любовь. Когда любит. Вопреки всему. Душит зверя вражды в себе голыми руками.

Четверо любят там, в пьесе, Иосифа. Старик отец. Младший брат. Дина. Египтянка Аснате — жена вельможи-Иосифа.

Всегда и всюду любовь у Райниса — подвиг самопожертвования. Забвения и отдачи себя, своей жизни без остатка. Обожание, почти поклонение предмету любви. Других разновидностей любви он не признает, кажется. Другая любовь для него, может быть, и не любовь.

Любовь забирает райнисовских героев целиком, как призвание. И дружба, и братство для него — та же любовь. Так любит Улдис Индулиса, и так любит его Визбулите. Так любит Дина, идя ради Иосифа на смерть. Так любит Антыньш свою принцессу: отдай жизнь, на меньшее любовь и судьба не согласны.

И опять из дневника мысли и строки переключиваются в пьесу. Получив первый вариант протеста против него, — тогда еще только 72 «брюссельцев», — Райнис записывает: прочитал и вижу, что могу победить. *Но как противна и победа тоже!* Иосифу в какой-то момент так же становится противна его победа.

Октябрь 1914 года. Цензура признает трагедию «Иосиф и его братья» *неудобной к представлению*. Почему? Как почему: сюжет из Библии. Негоже героев боговдохновенной книги выводить на театральные подмостки.

Потом в социалистической России пьеса тоже окажется под негласным запретом. Почему? Как почему, — а библейские персонажи?! При царе «Иосифа» не пускали на сцену из уважения к Библии, при коммунистах — из неуважения к Библии. Чудны дела Твои, Господи.

Впервые трагедия Райниса «Иосиф и его братья» напечатана после войны, в 1919-м. Нужно было пасть огромной империи, нужно было образоваться новому, никогда не бывшему государству — Латвии (названному по имени, может быть, впервые в пьесах Райниса, почти всегда заключающих в себе и некое политическое пророчество), нужно было отпасть старой цензуре, рассыпаться и возникнуть заново театру, чтобы трагедия «Иосиф и его братья» смогла, наконец, попасть на сцену.

Но теперь война, и спор Иосифа-Райниса с «братьями», сгрудившимися подле Владимира Ленина, выходит из эмигрантских углов и каморок, из библиотек и кабинетов, с газетных страниц на дороги и поля Европы. Первая мировая, первая настоящая война XX века поставила жирный крест на воинской романтике всех минувших эпох: пулеметные очереди и бомбы, мины, газы и тяжелые снаряды сметали с почерневшего лица земли, топили, калечили сотнями храбрецов и трусов, грешников и праведников, не различая, подряд. Нельзя было любить эту войну, она велась не по-людски, грозила из-под воды и с небес; никогда

еще человек на поле боя не был такой пешкой: сгребали и отбрасывали тебя как-то не глядя, не поинтересовавшись. Смерть опять же никогда не была такой деперсонифицированной и смердящей. Против этой войны агитировала она сама, а затем уже пораженцы-большевики; этих становилось все больше. Мало кто подозревал, насколько вездесущие агитаторы с той же смертью, тоже вездесущей, в обнимку.

Ближе, ближе к родине ухало, трещало, свистело, рвалось. И вот уже германские дивизии, стальная серо-зеленая саранча в Курземе! Какой ужас были газеты, швейцарские газеты на немецком, берлинские газеты. Угорелые от ненависти, захлебывающиеся в похвалах солдатской каске, в славословиях арийской отваге и выносливости, силе и напору, прекрасной немецкой кровожадности, мужской силе воинов, их сапогам, мускулам: в здоровом теле — здоровый дух!

«Немцы не читают больше классику, и потому Бог и Гете оставили их», — записывает в дневнике Райнис. Так вот. Он не отдавал им своего Гете. Бога вспомнил — и тоже не отдавал.

Когда в Латвии гонимыми окажутся балтийские немцы, он вступится за них. Воспитанный на немецкой классике, отдаст ей долг благодарности. Но не сейчас.

Начался великий исход беженцев. За два года от 600 до 800 тысяч жителей покинули Курземе и Видземе, Латгалию. Бросая все нажитое, двигались на восток — с детьми и стариками, с серыми котомками, в которых тащили самое тяжелое, что есть на земле: свою неприкаянность и нищету.

Россия приняла их.

Сама нищая, сиротеющая, теряющая кормильцев сотнями тысяч на фронтах, — находила, потеснившись, кров для бездомных, делилась тем, что имела.

Богат не тот, кто имеет, а тот, кто делится. Для сочувствия, для доброго слова и вовсе никакого богатства не надо: нужна только душа, такая же избыточная и голая, да жалость не только к себе, да инстинкт, заставляющий даже птицу защищать птенцов, своих и чужих.

В войну, когда жизнь дешевет, дорожает зато милосердие. Посреди всеобщего озверения и зла добро видней и ярче, а тут добро было взаимным. Латыши любили и умели работать. Грамотность их, деловитость и

точность, обязательность в делах пришлось в России военных лет ко двору: порядка хронически не хватало на российских просторах, да и в крови, и в характере бушевал первозданный хаос. Но и латыш не оставался равнодушным к русской широте, к щедрости и гостелюбию, к бешеной радости и горчайшей тоске, гнездившейся в душах и в песнях. Изъянов в чужой, незнакомой земле было — не счастье, они первыми бросались в глаза и в людях. Но там же, как второй край этих изъянов, таились и свойства, которых тебе, быть может, не доставало: душа их желала, как собака ищет целебной травы.

Не все беженцы выживут, все или почти все сполна хлебнут лиха. Но, возвращаясь через годы в родные места, одного они не привезут с собой: ожесточения.

Все военное лихолетье — пять лет! — чуть не половина народа спасалась на востоке, в коренной России. Спаслась. На время, положим, но — спаслась.

Пятидесятилетний юбилей Райниса отмечали в сентябре военного 1915 года всюду, где были латышские беженцы: в Москве и Питере, в Харькове, Ростове, Баку, Перми, Одессе... а также и в Цюрихе и в Стокгольме, в Париже и Лондоне: да, разметало латышей, кажется, по всему свету...

В 1916—1917 годах жили в Швейцарии, в Цюрихе два русских эмигранта, муж и жена. Он — низенький, плотный, на вид лет пятидесяти, с крупной головой и быстрыми небольшими глазами под высоченным лбом, переходящим неизвестно в каком месте в лысину. Она — тоже невысокая, склонная к полноте, с зачесанными назад и собранными в узел за теменем волосами, с большими добрыми глазами чуть навыкате, заставляющими предполагать базедову болезнь. Женщина была вяловата в движениях, точно перевозмогала пожизненную усталость; покорное, робкое обожание к мужу она скрывала, по-видимому, стыдясь выказывать чувство на людях, а может быть — и наедине. Что-то серое, притушенное было в ее облике, — что-то то ли от монахини, то ли от учительницы. Монахиней она не была, — следовательно, учительница. Мужчина был столько же порывист и нервен в каждом движении, сколько его жена медлительна; он точно опережал сам себя, забегая вперед, она же чуть-чуть запаздывала с каждым шагом. Друг с другом они ладили.

Жили супруги в большой светлой комнате, окна которой выходили на двор; к сожалению, открыть их было невозможно: в глубине двора стояла колбасная фабрика, горячий пар и вонь из отдушин сбивали с ног непривычного человека. По этой причине и комната при некоторых неоспоримых достоинствах была недорого.

Каждое утро перед девятью мужчина отправлялся с папкой под мышкой в библиотеку. После двенадцати, через десять минут после того, как читальню закрывали на перерыв, он являлся домой на обед, через час уже снова был в библиотеке, — сидел, делал выписки из книг и толстых подшивок. Летом по четвергам читальня работала лишь до обеда. В эти дни по пути домой лысый господин покупал две шоколадки в синих обертках, по 15 сантимов каждая. В два часа пополудни муж и жена выходили из дому, направляясь к горе Цюрихберг, — там под соснами у супругов было излюбленное местечко в стороне от гуляющей публики. (Здесь же, бывало, как школьница, сбежавшая с уроков, наслаждалась свободой приехавшая из Кастаньолы Аспазия). Супруги устраивались поудобней — жена сидела, покусывая травинку, муж лежал на подстеленном пледе и читал, мгновенно пробегая глазами очередную страницу.

Они были, как большинство небогатых русских и поляков в Цюрихе, политические эмигранты. Жена время от времени устраивалась секретарем в какое-нибудь бюро, в свободное время изучала постановку школьного дела в Швейцарии. Он же был литератор, весьма известный в социал-демократических кругах.

«Так жили мы в Цюрихе помаленьку да потихоньку... — вспоминала потом женщина. — Однажды, когда он уже собрался после обеда уходить в библиотеку, а я кончила убирать посуду, пришел Б. со словами: «Вы ничего не знаете? В России революция!» И он рассказал нам, что было в вышедших экстренным выпуском телеграммах. Мы пошли к озеру: там на берегу под навесом вывешивались все газеты тотчас по выходе. Перечитали телеграммы несколько раз. В России действительно была революция».

27 марта три десятка русских эмигрантов-большевиков через Германию выехали на родину. Немецкое правительство согласилось пропустить их. «При посадке не спрашивали у нас ни вещей, ни паспортов, — пишет та же мемуаристка. — Немцы старались показать, что у них всего много, повар подавал исключительно сытные обеды, к которым наша эмигрантская братия не очень-то была привычна. На берлинском вокзале наш поезд поставили на запасный путь...»

Этот поезд, этот тщательно охраняемый вагон с тридцатью пассажирами был секретным оружием Берлина. Ибо литератор, муж учительницы, так методично делавший еще месяц назад выписки в Цюрихской библиотеке, имел своей ближайшей целью военное поражение русского царизма, — а нанести поражение России, вывести ее из войны никак не менее страстно желало и германское правительство.

Оружие сработало. То, чего не могли добиться миллионы солдат ни жизнью своей, ни смертью, что не сокрушили мириады пуль, тучи снарядов и бомб, то разрушил железной волей и энергией невысокий, лобастый муж Надежды Константиновны Крупской, литератор-эмигрант из Цюриха: Ленин. И никто еще не догадывался, что рядом с завоеваниями этого человека померкнут триумфы Чингис-хана, Тимура и Тамерлана, а черепа будущих жертв его и его преемника, если их сложить, составили бы курган высотой... ну уж выше горы Цюрихберг, это точно.

«Питерские массы, рабочие, солдаты, матросы пришли встречать своего вождя, — вспоминает Крупская. — Было много близких товарищей. Тот, кто не пережил революции, не представляет себе ее величественной, торжественной красоты. Красные знамена, почетный караул из кронштадтских моряков, рефлекторы Петропавловской крепости, освещающие путь от Финляндского вокзала к дому Кшесинской, броневики, цепь из рабочих и работниц, охраняющих путь. Товарищи повели Ильича в царские покои... Когда Ильич вышел на перрон, к нему подошел капитан и, вытянувшись, что-то отрапортовал. Ленин, смутившись немного от неожиданности, взял под козырек. Нас посадили на автомобили, а Ильича поставили на броневик и повезли к дому Кшесинской. Там стояли толпы рабочих и солдат. Ильичу пришлось выступать с балкона...»

После комнатухи с вонью от соседней колбасной фабрики, после шоколадок за 15 сантимов по четвергам — сперва щедрое варево от немецкого повара, потом — царские покои (*товарищи, ведущие товарища Ленина с товарищем Крупской в эти самые царские покои...*), капитан, берущий под козырек, броневик, восторженные толпы, роскошный особняк знаменитой балерины и не менее знаменитой любовницы, почему-то избранный для пары цюрихских эмигрантов, — тоже своего рода *царские покои* или как?

Кто бы не смутился от неожиданности, хотя бы немного!

Среди встречающих на Финляндском вокзале «близких товарищей», среди организаторов встречи — Петр Иванович Стучка. Был он рядом

с Лениным и на балконе в особняке Кшесинской. И наутро — в Таврическом дворце, где Ленин изложил свои, с первого дня знаменитые, Апрельские тезисы. «Никакой поддержки Временному правительству. Прекращение войны. Рабочий контроль над производством и распределением. Республика Советов как особая форма диктатуры пролетариата. Переименование социал-демократической партии в коммунистическую». Этот сухой перечень уже содержал в себе несколько миллионов смертей, слом большинства биографий, зигзагообразный поворот мировой истории. Без малейшего желанья что-либо преувеличить или приуменьшить докладываю читателю: если бы не Ленин с его Апрельскими тезисами, все мы жили бы сегодня в другом мире; в каком? — что тут скажешь... не знаю; знаю, что в другом.

Ленинский план *перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую* был настолько неожидан для всех, что оторопели даже единомышленники. Мнение других социалистов выразил короче всех Плеханов: он назвал ленинские тезисы бредом. Один из вчерашних соратников Ильича заявил в Таврическом дворце тогда же: Лениным водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии. (Если бы только в этой среде! Гражданская война, о которой В.Ульянов-Ленин мечтал, о желательности и необходимости которой писал Шляпникову, помните, еще в 1914 году, с его прибытием в *революционный Питер* сделалась неизбежной).

Изменилось все и сразу. То, что еще недавно было предметом отвлеченных дискуссий, эмигрантских ссор и примирений, теперь вот-вот выльется в борьбу не на жизнь, а на смерть. Скольким пламенным ораторам в широко раскрытые рты влетит, как решающий аргумент, пуля!

Борьба среди самих большевиков «за» и «против» ленинского плана длилась ровно неделю. Общегородская конференция большевиков г. Петрограда поддержала все пункты ленинских тезисов. Новая революция, по сути, началась через месяц с небольшим после февральской, — с момента приезда Ленина — и разрасталась лавинообразно.

С этого дня обнаружилась среди части большевиков новая черта, раньше не замечавшаяся за ними. Вера. Безусловная, почти фанатичная вера в своего *Ильича* — Владимира Ленина. Вскоре она распространится, захватит тысячи и миллионы. Вера тем более безоговорочная, чем более слепая. Замена отброшенной веры в Отца, Сына и Святаго Духа.

Однако ж этих первых верующих не назовешь слепыми; не были они ни темными, ни безграмотными, — знаниями, революционным и

жизненным опытом могли помериться и с самим вождем. Необходимость такой веры таилась, может быть, не внутри людей, а в механизме событий. Революция жаждет повелевающей и железной воли, более решительной чем сумма других волей. В определенные миги истории нельзя, видимо, обойтись без Робеспьера и (или) Бонапарта. Бешеная борьба между претендентами на власть идет тогда, и побеждает всегда тот, кто развязывает стихию, кто снимает запреты и высвобождает силы разрушения. Надеюсь их со временем обуздать. Повороты такой политики должны быть стремительны и парадоксальны, их непредсказуемость не менее важна, чем внезапность. Застать врасплох и врагов и «своих», не дать опомниться оппонентам, сомневающимся, опережать события всегда и везде: они там собрались возражать — а ты уже на следующем витке дороги. Поздно, любезные, поздно!

Стучка, Дауге, Розиньш, Берзиньш (Зиемелис) и множество других были среди тех, кто уверовал, кто перестал сомневаться в Ленине раз и навсегда.

Паулс Дауге, друг Райниса, друг Доры и Петериса Стучки, напишет через несколько лет: «Неудивительно, если Райнис сразу не мог стать на линию нашего пролетарского вождя Ленина. Бывали ведь моменты, когда политическая линия Ленина находилась, казалось для многих, на грани между гениальностью и сумасшествием, и требовалась фанатическая вера в его ум и честность, чтобы с уверенностью идти за ним». Фанатическая вера! Это не мы — это он сказал, один из поверивших в Ленина.

Дауге в эти годы, похоже, самый близкий из друзей Райниса. Никаким секретом не была для поэта и дружба его друга Паулса с Петерисом, и его совсем особое отношение к Доре: восхищенная нежность, старательно запихиваемая в рамки товарищества. Что ж — он только связывал разорванное, письма Паулса шатким мосточком перебрасывались через все, разделявшее Райниса и Стучек. И приверженность Дауге учению Ленина, которое Райнис отвергал, тоже ничему не вредила. Среди друзей Райниса, тех, кого он называл друзьями, были люди, которые никогда не протянули бы руку друг другу. Его это не смущало. Поэт оставлял за каждым широкую свободу выбора, свободу заблуждения. Там, где вступала в свои права нетерпимость, где кто-то за тебя решал, как тебе поступать и куда идти, он становился неуступчив до крайности. Но — неуступчив за себя. Порвать с человеком потому только, что тот смотрит на мир иначе, — нет, это не для него. Чего боялся, чего не прощал он, — это обманутой дружбы, обманутой любви: предательства.

Виделись Райнис и Паулс Дауге в последний раз перед войной, в 1912 году. «Будучи проездом в Цюрихе, — вспоминал П.Дауге, — я узнал, что Райнис вместе с Аспазией, так же как и я, по случаю болезни покинули свое гнездо в Кастаньоле, возле Лугано, и находятся в маленьком частном санатории в Цюрихе. Увидев Райниса пять лет спустя после последней с ним встречи, я буквально смутился при виде ужасной перемены, происшедшей с ним. Вместо бодрого, подвижного, преисполненного энергии и жизни мужчины передо мной стоял сгорбленный, усталый, донельзя худой старик с тихими спокойными движениями, с отпечатком глубокого горя на добром, мне так хорошо знакомом лице. Глубоко врезавшиеся морщины, грустно улыбающиеся губы говорили не столько о перенесенных физических страданиях, сколько о тяжелых продолжительных душевных испытаниях».

Еще Дауге рассказывал, как в том «маленьком частном санатории» над его другом и больной Аспазией «производила свои *недоуменные, крайне жестокие эксперименты* какая-то женщина-врач». Дауге даже намекнул двум поэтам, что они попали в руки шарлатанки (между прочим, в присущей ей резкой, откровенной манере писала им о том же Иванде Кайя).

(И опять же в скобках, для сравнения, — что об этом рассказывала сама Аспазия много лет спустя, в 1931 году. «После первых лет в изгнании мы начали болеть, покуда почти совершенно не пропали. Тут мы познакомились с врачом из Цюриха, госпожой Фарбштейн-Остерсэзера. Упомяну, что дама эта — известный врач, к тому же занимает заметное место в соц.-дем. движении. Она приехала на летний отдых в Лугано и остановилась рядом с нами в Кастаньоле... У Райниса были сильные боли в костях, ревматизм и нервные боли еще с тюремных времен. В последнее время он почти не способен был подниматься... В Цюрихе он пробыл несколько дней в простынях, завернутый так, что не мог двигаться и что-либо делать. Простыни часто менялись, и на них оставались от тела совершенно черные выделения. После этого началось лечение голодом. Райнис голодал семь дней, и когда врач хотела прекратить процедуру, он пожелал ее продолжить. Прошли еще семь дней без всякой еды, только вода и лимонный сок. После чего постепенно давалась растительная пища, пока организм не был возвращен к обычному порядку. Месяц электромассажа, причем Райнис без конца потел. После всех этих процедур Р. был так бодр и обновлен, точно в первой молодости». Сравним — выше, в воспоминаниях Дауге — тот же человек, в те же дни: «...передо мной стоял сгорбленный, усталый, донельзя худой старик...» Кому прикажете верить?).

«Он стал за эти годы крайне осторожным, — продолжал Дауге. — Чувствовалась какая-то болезненная подозрительность и

недоверчивость к лицам. Я ощущал и видел, что между мною и Райнисом стал какой-то гнетущий большой вопросительный знак. Но когда из дальнейшего разговора ему не удалось уловить ни малейшей тени какого бы то ни было недружелюбия, когда он убедился, что меня к нему привлекало исключительно искреннее чувство старой, неподдельной дружбы, для доказательства которой не потребовалось никаких слов и заверений, Райнис вдруг, посреди разговора, вскочил, грустные глаза его покрылись пеленой нежной, ласковой влаги, и он бросился ко мне на шею и горячим поцелуем поблагодарил за дружбу и доверие... Да, я скажу, что мало на свете есть людей, кто так сильно умеет любить, как любит Райнис, и любовь эта во сто раз искупает совершенные им ошибки и несправедливости». («Ошибки», «несправедливости» — это, конечно, о Стучке, о партии...).

Никто иной, как Паулс Дауге, пришел на ум Райнису в декабре 1916 года в момент, когда физическая гибель казалась ему снова близкой как никогда. «Не возьмешь ли на себя хранение и упорядочение моих работ и, соотв., их издание? Ты видел меня тогда, в 1912 году. Теперь повторилось то же. Мне нужно считаться с тем, что возможно всякое...»

В необычайном волнении Дауге отвечал другу: да, он готов взять на себя все заботы о райнисовском наследии. «Мы с Тобой о смерти можем говорить смело, хладнокровно, с ясным сознанием и спокойствием». И Паулс обещал в случае необходимости свести к минимуму все остальные свои занятия, ограничить тремя-четырьмя часами свою врачебную практику, а все остальное время посвятить... покойному другу.

Ответное письмо начиналось благодарностью — за его большую любовь. «Даже наши несогласия мне милы: лишь бы сердце Твое оставалось со мной! А взгляды когда-нибудь да сойдутся, ведь мы оба бескорыстно желаем человечеству блага. Мне кажется, во мне все так просто, во мне и в моей поэзии, в моей политике, которая хочет сохранить народ живым. Однако я убеждался много раз: целые годы понадобились, чтобы понять хотя бы мои стихи. Должно быть, простое вообще понять труднее. Цивилизация, всезнайство всё разделили, вредя естественному пониманию. Нет еще синтеза, полной жизни... Наука — только средство, которое может помочь жизни, но может и пойти против нее. Как раз к этому рубежу наука подошла. Я же хочу жизни, живого. Я сам собираюсь жить нормальных 200 лет, и потому смело могу говорить о смерти...»

Двести лет он собирается жить! Вот так покойничек!

В Петрограде Петерис и Дора Стучка тоже много думали о Райнисе. В 1916 году готовился к изданию первый сборник латышской литературы на русском языке, и центральное место в нем должен был занять Райнис. Над изданием взял шефство Максим Горький, среди приглашенных переводчиков были русские поэты первой величины: Александр Блок, Вяч. Иванов, Валерий Брюсов, Вл. Ходасевич... С русской стороны большую часть практической работы взял на себя Брюсов. С латышской — Янсон-Браун обещал развернутое предисловие, молодой поэт Андрей Курций и Дора Стучка готовили подстрочники. Паулс Дауге, вначале недовольный тем, что стихи и пьесы Райниса дали переводить декаденту Брюсову, после встреч и подробных переговоров с последним оттаял...

В конце года Петерис побывал в Москве у Дауге, и Дора Стучка писала Паулсу в январе 1917 года: «Меня так встревожил рассказ Петериса о полном отчаянья письме брата к Вам, — как думаете, в его словах слышной душевная мука и следы моральных терзаний или же тут серьезное органическое заболевание? Я всю ночь не спала; если б не война, тут же поехала бы к нему, — но что сделаешь в нынешних обстоятельствах? Хотя бы теперь, получив посланную Вами сумму, неужели он не может обратиться к хорошему специалисту, пожить какое-то время в санатории? Но в отношении себя он ужасный Плюшкин, жалеет потратить на себя даже копейку...»

11 марта 1917 года. В России революция. Дора Стучка пишет Паулсу Дауге: «Всего несколько слов: живем как в лихорадке, голова вот-вот расколется от обилия впечатлений. (И — четыре слова по-русски): *Петер горит ярким пламенем*. Работает свои 20 часов в сутки: в Исполкоме Петроградского Совета, в двух газетах, в Петроградском комитете партии. Ждем приезда Янсона, Азиса etc...»

В конце марта Паулсу написал и Петерис Стучка. По недосмотру в «Цине» появилась статья с нелестными замечаниями в адрес П. Дауге и Райниса. «Я увидел газету только наутро. Сам я никогда бы не допустил его имени в таком виде, — хотя последняя его позиция была совершенно национал-шовинистической. Что я бы этого не сделал, видно хотя бы по тому, что в ходе острейшей полемики, когда, быть может, вмешаться было моим прямым долгом, я ни разу не выступил против Райниса. Хотя бы — или, верней, именно потому, что ценю в нем большого поэта, которого нужно мерить иной меркой. Хорошо знаю, что если Тебя я и сумею переубедить, то Райниса — никогда. Но что ж делать! Пролитую воду не соберешь...»

«Национал-шовинизмом» Стучка в это время, вслед за Лениным, за другими большевиками, называет и все то, что прежде именовалось любовью к отечеству. Ленинцы были последовательны, они не терпели этого самого «шовинизма» ни в ком: ни в англичанах и французах, ни в латышах, ни в русских, ни в немцах. Любить следовало не родину и не свое племя, а — братьев по классу во всем мире; ненавидеть буржуев, империалистов независимо от национальности. Три года кряду сотни, потом тысячи агитаторов на всех фронтах, на военных кораблях, на фабриках занимались «разрушением патриотизма», и разрывы бомб, свист пуль, вой снарядов, вдовьи вопли и причитания на редкость убедительно аккомпанировали их речам.

Петерис Стучка продолжает *гореть ярким пламенем*. 15 апреля его вместе с Лениным, Сталиным, Стасовой избирают в правление большевистского издательства «Рабочая печать». Ленин подписывает доверенность, согласно которой именно Стучка ведает всем делом производством «Рабочей печати». В «Правде» и латышской «Цине» статьи П.Стучки появляются почти ежедневно. *Мы должны стоять не на почве законности, а на почве революции*, — говорится в одной из этих статей. В этих словах, как оказалось, — целая программа. Выполненная позднее с лихвой.

17 мая. Стучка — в Риге, на съезде представителей латышских стрелковых полков. Он приветствует делегатов от имени ЦК ленинской партии. Стрелки принимают большевистские резолюции! О недоверии Временному правительству. О переходе всей власти к Советам рабочих и солдатских депутатов. О братании с солдатами вражеских полков на фронте. Собрание шлет телеграмму Ленину: *«Мы приветствуем вас, как величайшего тактика российского пролетариата, истинного вождя революционной борьбы, выразителя наших дум»*. Потом не однажды из Латвии будут посылаться Ленину телеграммы, почти дословно повторяющие эту. И всякий раз обнаружится присутствие среди собравшихся тов. Стучки. Впрочем, со временем подобные телеграммы сделаются рутинной, но в мае 1917 никто еще таких текстов не посылал и не получал.

Двадцать один российский полк поддержал резолюции латышей. Как громом поражены были и в Риге, и в Петрограде: никто такого не ожидал. Латышские полки славились железной дисциплиной. Ни правительство, ни командование не ставили под сомнение их надежность И вдруг...

Внезапность, полная, казалось, немотивированность этого превращения привела в шок всех, кроме большевиков. Не верилось, что такое возможно!

Но не было внезапности. Невидимая рука, невидимая воля давно уже направляла события и умы в нужную сторону. Один из знающих, К.Гайлис: «Роль Стучки в огромной работе по революционизации латышских стрелков мало кому известна. Но именно ему первому принадлежит идея — превратить латышских стрелков в армию революции».

П.Стучка: «Когда я в конце мая 1917 года, вернувшись в Петроград, сообщил т. Ленину о рижских событиях, он наибольшее внимание обратил на факт революционизации латышских стрелков. По его указанию я должен был написать статью в «Правду», где говорилось о резолюции стрелков. Наш великий вождь и потом всегда, в продолжение всей революции давал этому факту высокую оценку».

Ну еще бы! Еще бы Ленин не оценил обращение в большевистскую веру 40000 вооруженных солдат — умелых, с боевым опытом, не разбегающихся по домам (а им и некуда было бежать: в Курземе — немцы, разбежишься — они тут же будут и в Видземе), сохранивших дисциплину и боевую структуру.

...И ничего не поймет в «превращении» и «обращении» латышских стрелков тот, кто не умеет оглянуться в поисках причин и истоков. Напомнить ли? — за десять-одиннадцать лет до описываемых событий горели избы этих самых стрелков, бывших тогда детьми и — огромными, все впитывающими, все запоминающими глазами глядевших на зверское веселье карателей, на сытые жеребьячи лица и крупы насильников: никогда не пропадал из их снов свист тех нагаек, топот тех коней, никогда не гасли в памяти отсветы тех пожаров. Это их матерей и сестер бесчестили деловито, почти равнодушно, точно ходили лишний раз в уборную; это в их отцов стреляли, прищурясь, как в картонную мишень; это их самих отшвыривали от ноги с брезгливым: «Гаденыш».

И первой мстью была месть против немцев: всю силу вкладывали в войну, всю душу.

А теперь большевики обещали им и вторую месть: карателям и тем, кто их посылал: начальникам, судьям, вельможам, царю, Богу в небесах, — всему устройству мира, обрекавшему их на нежизнь. Ленин был врагом их врагов: самым жестким, самым решительным и беспощадным. Они поверили в Ленина.

Грамотность, самая высокая в Европе, делала латышей особо восприимчивыми к печатному слову. С времен райнисовской «Диенас Лапа»

в латышских домах присутствовал бунтарский дух, рассыпаемый вместе с утренней почтой по городам, по волостям и уездам. Стучке же, утверждает один из мемуаристов, принадлежала мысль создать типографию, которая с 1916 года печатала листовки и брошюры, предназначенные специально для стрелков...

Среди документов, принятых в мае латышскими стрелками в Риге, — приветствие Райнису, Стучке и Розиньшу как «основателям латышской социал-демократии». Получил ли Райнис это приветствие? Знал ли о нем?

...Гибель представлялась то близкой, рукою подать, то отодвинутой на десятилетия — и еще дальше. Госпожа Фарбштейн, заподозренная друзьями Райниса и Аспазии в шарлатанстве, обсуждала со своими пациентами возможность продлить деятельную жизнь до двухсот-трехсот лет. Ссылалась на новейшие исследования, поминала, между прочим, русского ученого Бутлерова, другие авторитеты. Аспазия сомневалась, Райнис верил, хотел верить ей. По-прежнему множество замыслов теснились в его мозгу, десятки начатых работ ждали своего часа, а сколько их еще и не начато! Ему нужно сказать так много, что и в два столетия не уложишься.

В те годы он заказывал себе подробные гороскопы у парижских астрологов К.Ванса, Р.Рокскроя. «Считаю, что астрология как толкование знаков и предзнаменований отжила, теперь она превращается в науку; астролог должен бы выступать публично как советчик в деле самовоспитания», — пишет он в Париж. «Так как у меня впереди много работы, мне нужен долгий век, более ста лет. Возможно ли это?» Ответ, судя по всему, положительный: в низу черновика дописано рукой поэта: «200 лет». Из того же письма Рокскрою: «Особо хочу спросить, следует ли мне в нынешнем году оставить Швейцарию и сменить род занятий?»

И спиритизм, и астрология, и просто приметы хорошие и дурные занимали нашего героя с юности. Соблазнительно объяснить это безбожием. Но не все так просто. Была ведь и Вифлеемская звезда — первая вдохновительница и оправдание всего племени звездочетов. Астрологией не брезговали наихристианнейшие государи. Что же касается поэтов, им ясновидение и волшебство, поиски философского камня или чаши Грааля написаны на роду.

Но не подыскиваем ли мы оправдания для «суеверий» Райниса — словно их кто-то требует? На самом деле задача рассказчика иная: не сгустить и не разжижить краски, не умолчать о том, что для самого поэта важно.

Другая вера, распространившаяся по планете, шествовавшая победно по материкам, по головам и книгам, — вера в научный и технический прогресс, в прогресс всего и вся, в людское всемогущество. На протяжении двух-трех столетий она спорила с религией. В начале XX века ее торжество казалось очевидным. За срок жизни одного поколения люди научились летать по воздуху и плавать под водой, перемещаться по суше с невиданной скоростью, передавать сообщения в мгновение ока за тысячи километров. Электрический свет вспыхнул в городах, споря яркостью с солнечным; один мотор заменял целый табун лошадей, искусственные удобрения утраивали урожай, — и чудеса множились, росли как на дрожжах. Медицина справлялась с оспой и холерой, продолжительность жизни в культурных странах все росла, так что 200—300 лет жизни, о которых грезил Райнис, многим представлялись реальной перспективой. Главное же, разум все заметней определял шаги государств и народов. Менялись к лучшему люди, смягчались нравы. Оставалось не так много: побороть социальную несправедливость, уничтожить вековое деление общества на классы и касты, — и уже ничто не помешает обратить землю в царство разума и в обитель радости для миллионов свободных людей. Общая эйфория нарастала. Шло какое-то бесконечное крещендо: еще громче, еще сильнее, еще торжественней! — и так до выстрела в Сараево.

Война была страшным ударом по самолюбию человечества, представлениям цивилизованного мира о себе. Первая мировая война обнаружила: человек не сделался лучше, чем был. Вместо земного рая люди испытали на себе последние достижения научного и технического прогресса: бомбы с неба, мины под ногами, отравляющие вещества в воздухе. Кромешный ад, созданный нами самими.

Паулс Дауге: «События понесли с сумасшедшей скоростью. Воздух России, казалось, был насыщен электричеством. Три года мировой войны породили столько потрясающих фактов, так много бед и тревог, злобы и горечи, что человеческий мозг почти уже не мог воспринимать эту бурю впечатлений. Только величайшие гении — такие, как Ленин, — способны были найти выход из хаоса, сплотить вокруг себя мыслящих людей, верных товарищей и с их помощью вовлечь в сознательную борьбу народные массы».

Вряд ли кто-нибудь опровергнет: выход из хаоса, предложенный Лениным, оказался входом в хаос, на порядок больший.

Мировая война подготовила и удобрила почву. Миллионы людей вкусили отравы дозволенного и даже поощряемого убийства. Все прежние запреты рухнули. Потерявшие Бога, потерявшие близких, потерявшие себя не знали, чем возместить образовавшуюся пустоту. Смысла в порушенной жизни не оставалось, мстить за это хотелось всем: Богу и дьяволу, виноватым и правым. Нераскаянное зло умножает себя на себя самоё.

Большевики указывали, казалось, выход в безвыходности. Они не растерялись, а наоборот, обрели себя. Вера в безверие была их верой, хаос — основой их порядка, вражда и насилие — той стихией, в которой они купались и блаженствовали: какая же революция без вражды? Петерис Стучка страстно возражал автору, призывавшему не допустить в латышской деревне раскола между бедными и богатыми, — иначе, мол, революция погибнет: «Никогда и нигде классовая борьба не приводила к гибели революции — наоборот, нам ее нужно всячески приветствовать и поддерживать».

Взамен презираемой и высмеиваемой веры в Бога большевики предлагали людям веру в себя, веру в партию и ее вождей, в мировую революцию и ослепительно светлый, новый мир — там, впереди, совсем близко.

Партия Ленина не боялась жертв: кровь и ужас — искупительная жертва, без которой ничего не достигнешь. Кровь на войне и обок войны лилась и без того. Большевики лишь предлагали солдатам и рабочим проливать свою и чужую кровь не бессмысленно, не за чужие интересы, а за свои. (Правильней и честней было бы сказать: не за чужие интересы, а за *наши*).

«Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», — провозгласит однажды Ленин. (Бессовестной, бесчестной и безумной представлялась эта партия Райнису. О ее падении, декадентстве, моральном крахе он писал многим и много раз. Называл он ее и кровавой. Писал: «Ленинское, исполненное вражды учение»).

Ленин безусловно верил в мировую революцию. Его уже изредка называют «вождем мирового пролетариата». И он хочет быть таковым. (Старая, как мир, идея мирового владычества выползает из-под философии и практики большевизма, пошевеливает усиками, помаргивает подслеповато. Ленин ее не видит — искренне, — не замечает). Он полон решимости перевернуть мир — ради самого мира. Прервать

вековую цепь несправедливостей. И если для этого придется пожертвовать половиной человечества, — он пожертвует ею, не моргнув глазом. Глупо жалеть сырой человеческий материал. Чем бы занимались эти десятки миллионов, не будь они вовлечены в борьбу? Ели бы, пили, совокуплялись, протирали коленями пол в церквах, рожали и крестили новые миллионы таких же бесполезных, терпеливых созданий?

Предлагают человеку счастье. Определенное, вычисленное лучшими умами. Он, глупый, несознательный, от счастья отказывается. Тогда его убивают. Во имя будущих поколений.

А почему, дяденьки, нужно *этими* жертвовать во имя будущих, *тех*? А теми опять жертвуете, ради следующих? О философы, о борцы и деятели, вы погубили моего отца, на развязанной вами войне искалечены брат и сестра, их еще не рожденные дети и внуки убиты. Почему ваше счастье так воняет пожарами, желтой спермой насильников, гноем, распадом? Почему, лишь вспоров живот настоящему, достаете вы будущее по кускам, а ведь раньше оно рождалось само — без таких повитух, у которых железо в глазах (из железных их ртов вылетают слова как осколки)? Вы себе предоставили эксклюзивное право решать, кто, которая часть народа — народ; остальные по-вашему — кто или что? удобренье для всходов грядущих? Вы стреляете в тех, остальных, задыхаясь от сознания исторической правоты. Истерицизм ваших лидеров — он ведь попросту *антивера*? Массы, массы (те, которые с вами) — и часть человека, которая с вами и с массой, а все прочее вы в себе задавили и хотите похерить в других. Почему ваше будущее так чурается просто людей? Почему их отдельность, их самость, их любовь, наконец, вызывают в вас смех и тоску, и желанье облить это все керосином, мочой, кислотой соляной иль серной? Почему ваше счастье, всеобщее и ослепительное (оно — всегда послезавтра) обернулось сегодняшним, непроходимым горем — для нас? Ваша всемирная справедливость — градом затрещин, пинков, зуботычин, вполне персональных? Ваша арифметика — не умножением, не прибавлением даже, а всегда вычитаньем. Ваша воля — тюрьмой или братской могилой? Мы свободны служить вашей власти, подчиняться вашим декретам, умирать за ваши идеи. Но такой-то свободы мы наелись за тысячи лет, как покойники наши — землей. Вы щедры: разделяя на всех нищету и бескормицу, тьму и неволю, вы себе оставляете меньше. Мы свободны — поднять руку «за» и шагнуть туда, куда скажут, и подумать, что следует, и что нужно сказать. Вы не лжете? Вы взаправду почитаете *это* свободой и счастьем?

Стыдно спрашивать. Вопросы мои безнаказанны вроде. Сейчас. А тогда бы — за каждый по горсти свинца, по удару штыка в беззащитный, невоенный живот, в грудь, посмевающую выдохнуть слово сомненья.

Все удары мирового зла были нацелены и попадали прямо в него, в Райниса. Одним из первых стала измена социал-демократов Германии. Еще недавно клявшиеся в верности пролетарскому интернационализму, они послушно проголосовали в рейхстаге за военные кредиты и вскоре включились в шовинистическую свистопляску, точно этого только и ждали всю жизнь.

Потом — оккупация Курземе, трагедия латышских беженцев. От тех, кто не успел или не смог уйти, просачивались какие-то вести. Зажать уши, не слышать! Но хоть ты оглохни вообще и ослепни, мучительная правда не изменится. Старый враг торжествует, ножкою играет на горле побежденных. Старые господа с особенным сладострастием мстят за пережитый десять лет назад страх. Прежняя, отцовская ненависть к немецким баронам вспыхнула в нем. Бессильная ненависть.

Когда были сформированы латышские батальоны, когда, может быть, впервые за столетия соплеменники Райниса получили вместе с оружием возможность воевать не за чужого короля — за родительский дом, за жизнь своих жен, детей, стариков, — он жалел только об одном: что не может быть рядом. Отомстить давним обидчикам, отстоять от них кусок родной земли, болота, леса! И опять его взгляд был прямо противоположен партийному. Янсон, на некоторое время разошедшийся с большевиками, теперь снова с ними. Латышские батальоны — обман, — убеждает он. — Вас заставляют проливать кровь за интересы империалистов. Бросайте оружие — а еще лучше, поворачивайте его против царя и помещиков!

Поначалу большевистская агитация, казалось, никак не задевала латышских стрелков. Для немецкой армии латыши оказались неожиданно грозным противником. Других таких, пожалуй, и не было: они дрались с ожесточением и воодушевлением, странными на этой войне. Да ведь одно дело — воевать за тысячу верст от дома неизвестно за что, другое — стоять на своей земле, умирать за нее, мстить за родную кровь, пролитую только что, дымящуюся перед тобой.

Но ни чья-то храбрость, ни умение, ни даже частные победы не могли изменить общий ход войны. Райнис терял родину, убивали его язык и народ, рушилась жизнь. Братья: Стучка, Дора, Янсон, Розиньш, — в очередной раз предали: они согласны были жертвовать народом,

жертва казалась им, как в шахматах, разумной и оправданной. О как они доверяли глупому, плоскому рассудку, как спокойно отбрасывали свое же непогибшее сердце, как заглушали его робкий ропот революционной гремучей фразой!

Физически ощущая сыпавшиеся на его народ удары, он если и жил еще, то лишь своей теперешней болью.

Но что слова! — они подозрительно вялы, от них разит неполнотой за версту.

В пятьдесят лет он разом и вдруг поседел. Та первая седина, с которой он вышел когда-то из тюрьмы, была ничто в сравнении с этой, окончательной.

В 1915 году написана пьеса «Играл я, плясал». Мертвый барин-упырь присосался к прекрасной девушке, невесте — Лелде. Музыкант Тотс следует за Лелде в преисподнюю, чтобы ценой своей жизни спасти Лелде — Латвию. Тотс — загадочный певец, плясун, музыкант, приглашенный на свадьбу... Предпоследний и фантастический автопортрет художника, соединивший его наконец с предтечами — скоморохами и бродягами, поэтами всех времен: все новыми воплощениями неумирающего Орфея. И от ранней старости до раннего детства, от Кастаньолы до Рандене, до старой риги —местилища страхов и фантазий — оказалось полшага. В заброшенной риге был ход в чертово логово, в ад — и герой Райниса, и сам он теперь были там.

Эти годы он пробыл в преисподней.

И вышел оттуда белым как лунь. Точно прожил уже те 200—300 лет, что нужны были ему для работы. Точно жизни всех своих героев успел изжить день за днем.

Пьесу негде и некому было ставить или читать. Толстая стопа исписанной бумаги лежала, ждала. Никому, по видимости, не нужная. И о себе самом он писал в очередном письме, отправляемом в никуда (почта почти не функционировала): «Я никому не нужен».

Больше года Райнис потратил на Латышский комитет в Швейцарии. Замысел учреждения был безупречен: рассказать Европе о латышах и Латвии, разоблачить ложь тех немцев, что заявляли громогласно о своем «праве» на балтийские провинции России, о своей культурной и чуть ли не освободительной миссии. Подумать только: работорговцы, плантаторы выставляют себя благодетелями!

Кое-что удалось сделать. В газетах и журналах появились необходимые статьи. Мощное германское лобби в Швейцарии хотя и пыталось

замолчать их, но отклик был. Райнису, председателю Комитета, приходилось прочитывать и писать сотни писем, участвовать в конференциях, дискуссиях, ставить печать на все новых бумагах, распорядиться какими-то деньгами, принимать и отказывать.

Появление молодого, свежего девичьего лица скрасило трудные месяцы. Первые же письма к секретарю Комитета, Аустре Краузе-Озолине, выдают увлечение Райниса. Ей к моменту их знакомства — двадцать пять, и ровно на столько же, на четверть века она моложе поэта.

Было ли что между ними? «А если бы и было?» — откликнулся еще через десятилетия один из друзей Райниса. В самом деле: а если и было?

Уже после начала второй мировой войны, в 1940 году Аустра Краузе-Озолиня, пятидесятилетняя, наконец-то догнавшая в возрасте Райниса времен их первой встречи, приехала к Аспазии. Она просила прощения. За то, что давным-давно, в годы первой мировой, «уговорила поэта уехать с ней вместе...» А мы-то и не знали ничего о таком эпизоде. От него и следа не осталось. Почти не осталось.

Две женщины обнялись, поплакали вместе. Вскоре Краузе-Озолиня покончила с собой. О причинах позднее упоминалось глухо: в жизни ее были трудные тайны, в свое время она была завербована разведками двух противоборствующих держав, и двойная, тройная ложь сделалась ей не по силам... Но это уж совсем другой рассказ.

Даже с ненавистной канцелярией смирился бы Райнис, если б это понадобилось для спасения родины. Но тут пошли обыкновенные эмигрантские истории: борьба за власть и влияние в Комитете, ссоры, интриги, дразги, все мучительно знакомое и трагически неуместное: дело тонуло в разногласиях, в выяснениях отношений. Кончилось тем, что и он и Аспазия вышли из Комитета.

Тут обнаружилось, что Аустра Краузе-Озолиня не желает возвращать адресованные ей письма. Неужели предопределено, что всякая дружба и вообще близость к другому человеку отомстит за себя, интимные признания будут выставлены напоказ и сделаются предметом торга? Бывает ли так и с друзьями, или это — только его пожизненный крест?

Бунт Аспазии совершился тремя годами раньше. Поэт, она не могла не выплеснуть все однажды в стихи. Читайте книгу «Охалка цветов»,

там найдете прежнюю мятежную Аспазию, самовольную, вольную, ведьму и ангела разом.

Стареющий ангел — ладно, но *стареющая ведьма?*..

Райнис оценил сполна силу и красоту поэтического высказывания. Нет в Европе другой поэтессы такого таланта, такого размаха, думал и писал он тогда и потом. С этим убеждением жил и умер.

551

Но и силу женского бунта, отречения, «измены» он вычислил тогда же, там же. Да и как не вычислить? Все — прямым текстом.

Прощание с молодостью

*Мои семимильные сапоги
Пылятся в углу, где не видно ни зги.
Проходят года...
Мне их не носить уже никогда.*

*И траченный молью, там Фауста плащ.
Он силы волшебной лишился, хоть плачь, —
Уже никогда он меня не взнесет
До прежних высот...*

Или: Гроза и воля

*Ты хочешь держать меня в гавани тихой.
Пусти, отпусти меня в горе и лихо.*

*В погибель пусти — и погибшей, немой
Навек поцелуями очи закрой.*

*...Нет, тихие гавани — не для меня.
Свобода — сестра мне, гроза мне — родня!*

Дневник Райниса.

«Перечитал «Охапку цветов» и вижу, что Иныней движет тоска по свободе, несамостоятельность, сопротивление всякому порядку, прямому пути, труду. Женский характер: бесцельность и желанье бесцельности. Хочет наслаждения: лучше погибнуть, чем не наслаждаться... Только бы радоваться — точно жеребенок, выпущенный впервые на волю. Ин. сама не своя оттого, что не использовала свободу. Ну, я должен дать ей эту свободу».

От личной обиды он привычно переходил к обобщениям.

«Мужчине, состоящему в браке, в нынешние времена не принадлежит ничего от его жены, кроме позора, который она приносит». «Женщины в наше время недостаточно любят. Возможно, потому, что вовлечены в дела и в делячество. Но женщине необходимо быть любящей, ведь она рождает и вынынчивает. Недостаток любви — корень всех других изъянов современности».

Восстание Аспазии, целые годы, прожитые чаще врозь, чем вместе, сделали независимей и Райниса. Он отныне «имел право» на влюбленности; он мог теперь любоваться женской, девичьей красотой, — а высшей красоты он, пожалуй, не назвал бы и под пыткой, — невозбранно, почти без оглядки. И если муж писательницы Иванде Кайи, по-видимому, ревновал ее к Райнису и даже не хотел поэтому отпускать в Швейцарию, если Аустре Краузе казалось, что она имеет права на поэта, если студентка Наталья Робиня, переводившая «Огонь и ночь» на французский, почти не скрывала свою несмелую нежность к автору, если Бирута Скуениеце, несмотря на все недоразумения, на разделявшие их время и расстояние, сохраняла свое место в его жизни, если Райнис переживал смерть девочки-итальянки, жившей по соседству, как личную потерю, — если и так, то что? Он не умел жить не-влюбленным — хотя бы издали. Он не умел жить нелюбимым.

Любовная лирика этих лет окончательна искрення. После сборника «Конец и начало» Райнис пишет с полной свободой, так же мало думая о средствах высказать себя, как блистательный пианист, Горовиц какой-нибудь, — о технических трудностях игры: есть рубеж, за которым вопросы техники отпадают, играешь как дышишь.

Райнис влюбляется и любит, и любит женской красотой бескорыстно, но и чувственность ему вовсе не чужда, вопреки идущим из детства запретам. Роман в стихах «Пять эскизных тетрадей Дагды» включает немало стихотворений, написанных в Кастаньоле, в том числе в годы войны.

Вот подражание латышской народной песне:

*Белым-белых два клубка
Лайма парню бросила.
Мир избегал в поисках, —
Отыскал за пазухой.*

Или еще — из народной эротики, улыбчивой, дерзкой и нежной. Отдельная, отделенная от других звездочкой строка-стихотворение:

Это к тому, что бескорыстие — не бесчувственность. Без чувственности поэт пропал, стихи рассудком не пишутся, уж Райнис-то это знал.

Рассудком, им одним и жить нельзя, он это повторяет себе и другим снова и снова. Из письма Ф. Циеленсу: «Наши социал-демократы забывают думать сердцем, а где сердце не помогает думать, там разум мелеет, мельчают все мысли и заключения. Так наша официальная партия дошла до бюрократизма и предательства...»

В другом письме — к Паулсу Дауге — говорится: «Всего глубже способны понять любовь и дружба; вражда недалновидна и схватывает только то, что на поверхности. Для глубокого же понимания — не только в критике, но и во всех жизненных явлениях, — нужна любовь к рассматриваемому предмету. Говорю это безо всякой сентиментальности. Это экономичный закон природы: любовь сильнее, она не отвлекается на побочные и частные цели, как, напр., ненависть».

«Моя философия любви», — записано на одном листке.

Любовь к человечеству и любовь к смеющейся девушке, со всей прелестью настоящего и будущего, откровенной и сокровенной, с мгновенной и вечной прелестью, с тайными прелестями, о которых с целомудренным бесстыдством поется в латышских «озорных» дайнах, любовь к бессмертной красоте и красоте смертной Райнис различал, но не хотел отлучать одну от другой и третьей.

Тема занимала его, занимает и нас. Отнимает ли любовь к одному предмету что-нибудь от любви к другому? Всю возможную силу чувства отдавая любимой, не обкрадывает ли юноша — родителей и друзей, отец — ребенка? Нет, скажут мне, вон их сколько — любящих только себя или не любящих никого вовсе, и на родителей им начхать, и от детей они отпихиваются руками и ногами, и дружба для них — пустой звук. Да-да, верно: точно ампутировал им кто-то чувство любви, вшив взамен ленивую страсть к господству или к наживе. Но речь не о том. Если есть способность любви в человеке, безгранична она или нет? А если границы есть, то где и какие? Отделена ли плотская любовь от сыновней и братской, от горячей молодой дружбы непроходимой стеной — или невидимая субстанция любви распределяется по всем «статьям расхода», и когда прибывает в одном месте, убывает в другом? Ребенок, когда

родители расходятся и отец уходит к другой женщине, воспринимает это как измену ему, ребенку: прав он или нет?

*В нас такую любовь воспитали к Родине,
Что женщинам только остатки скребем, —*

написал в советское время мой знакомый, поэт; горькая шутка эти строки — или?..

554

Райнис упрекал себя в том, что временами человечество любил больше, чем отдельных людей; подозревал в этом личное несчастье или ошибку.

Можно видеть, как каждая новая влюбленность отрывает его от смерти, от безысходности («Я никогда не желал жить больше, чем не жить», — записывает он во время войны), как освещает изнутри его строки. Любовь для него — противоядие, может быть, единственное, от хронического отчаяния, от преследовавшей с юности тяги к самоубийству. В годы первой мировой, когда явно обозначилась возможность гибели родного ему языка и народа, отрезанный от всех или почти всех, кого он любил когда-либо, от тех, кто думал о нем с изумлением и любовью, он нуждался в любви вдвойне. И физически чах без нее. И хватался за соломинку каждого увлечения, хватывался за солнечный зайчик, за луч. Луч не обламывался иной раз — выдерживал.

«Любовь, — писал он, — ничто иное, как излучение жизненной силы субъекта на других: личность или предмет. Она и движущая сила истории, поскольку в близком родстве с интеллектом, героизмом, духом. Исторический материализм не умеет оценить эту духовную силу».

Да, Райнис выработал свою «философию любви», и грубо ошибется всякий, кто заподозрит ее в декларативности. Но еще большая ошибка, быть может, искать эту философию в рассуждениях и формулах, выведенных специально. Она присутствует, может быть, и в афоризмах и сентенциях, но истинную силу обретает в живой материи стиха и драмы, в магнитном поле поэзии. Философия художника — в художественном откровении: он философствует кистью. Что не мешает художнику мыслить впрямую — как Гете и Толстой, как Микеланджело и Дюрер. И всякий раз не две разные философии перед нами: одна, только интуиция художника закалывает ее в формы особенно живые и дышащие. Философия художника, может быть, — мысль о мире в соединении с любовью, «духовной силой», о которой толкует своему другу Дауге и нам поэт Райнис.

В стихах его читаем:

Не жизнь — твой враг, не с ней
Борись. В грудь грудью
Дай смерти бой,
Вражде — ее орудью.

Итак, вражда, по Райнису, орудие смерти; жизнь утверждается посредством любви. «Подумаешь, открытие...» Открытие: за ним встает вся, буквально вся жизнь Райниса, вечное противостояние с его вечными оппонентами, глашатаями вражды, построившими на ней всю свою философию и практику, самую кровавую в мировой истории.

Приведу здесь, — приберегал на потом, но не могу утерпеть: как сплетнику новость, мне нужно немедля выложить, сообщить замечательную цитату. В двухтомнике «Райнис. Литературное наследие», в статье, открывающей это академическое издание*, сказано: «На пути философских исканий Райнис временами заходил так далеко в своих заблуждениях, что называл любовь наряду с классовой борьбой главной движущей силой истории... Как латышский мыслитель мог допустить такую ошибку?» Умри, лучше не скажешь!

К слову, о классовой борьбе. В письме к Паулсу Дауге Райнис говорит: «Мой путь на этот раз, может быть, будет другим, не через борьбу: я уже видел, сколь мало стоит всякая борьба чисто негативного свойства... Борьба эта необходима согласно взглядам и догмам, которые ведь нам навязаны; с самой этой борьбой нам надо бороться».

И дальше — о положительной (в противовес той самой борьбе) работе: о творчестве. «А творить — отдых. Ты ведь тоже чувствуешь — это возможность отдышаться, постоянное ненавязанное движение, как детская игра. Мне все это особенно необходимо из-за слабых нервов. Нынешнее ужасное время меня совершенно истрепало: нашу отчизну и народ убивают, а в нем и без того так мало воли к самостоятельности, к жизни в качестве народа. И тут — вина партии, которая учит стремиться только к благосостоянию личному и классовому, а не к самостоянию живого организма — народа. Человечество состоит не из отдельных индивидуумов, а из народов... Мы, латыши, можем исчезнуть как народ, а убить латышский народ значит нанести урон всему человечеству, ведь мы только начинаем отдавать свои богатства; укажу лишь на одно: в нашей народной поэзии скрыта старая вера, которая будет и новой верой».

* Literārais mantojums. Tautas dzejnieks Jānis Rainis. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, Rīga, 1957. 1. s. 25. lpp.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ Я НЕ ПОЕДУ»

556

Из Цюриха прислали опросный лист, распространявшийся среди эмигрантов: каким путем вы собираетесь добираться домой? «Дорогой товарищ, — отвечает Райнис приславшему анкету. — Я уже писал Вам, что цюрихские эмигрантские дела меня не касаются. Анкету заполнил. Теперь выясняется, что представляемый Вами ЦК — антипатриоты (пораженцы), задумавшие ехать через Германию, как Ленин. Я уже писал т. Туркиной, которую исключили из секции за патриотизм, что я через Германию не поеду. Как патриот... я не могу считаться принадлежащим к вашему ЦК и отзываю высланную анкету».

Паулсу Дауге. «Собираемся оба с Аспазией ехать домой, опасаемся только морем, — корабли топят. Через Германию не поедем».

В это время в Кастаньоле уже получено известие о гибели Янсона-Брауна. Немецкая подлодка потопила корабль, на котором он возвращался из Лондона в Россию.

Телеграмму с соболезнованием он послал мадам Янсон в Лондон. «Ваша потеря — потеря и для всей латышской социал-демократии». Может, и не следовало ему посылать эту телеграмму. Вдова хорошо знала, чего стоила Янсону вражда с Райнисом.

В бумагах его лежали наброски пьесы «Предатель». Писалась она в разгар полемики, в мучительном 1913 году. Восемнадцать действующих лиц были названы своими именами: Янсон — Янсоном, предателем. Розиньш — Розиньшем. Дора — Дорой.

«Янсон — Каупо, темный принцип, талант, Ярл Скуле*, интерес к себе на первом месте. Его борьба против гения. Но прямые его антагонисты в драме — люди середины, малые и средние таланты: Скубикис, Вальтер. Гений, преданный Янсоном, остается в отдалении».

Райнис думал даже о драматической трилогии, куда кроме «Предателя» вошли бы трагедия «Иманта» (о легендарном латышском вожде 13 века) и — «Иосиф и его братья».

В списке действующих лиц «Предателя» — два слова, одно под другим, соединенные справа скобкой:

Толстяк]
Я]

В мае 1913 года сделана запись: «Толстяка поминает: что тот скажет, что велит делать? Толстяк не показывается, не появится и теперь, только в самый решающий момент, на большом собрании возникнет. Руководит из-за кулис. Адепт, — живет на расстоянии своей жизнью».

«Адепт» — слово, которое Райнис употреблял и по отношению к себе. Адепт в переводе с латыни — *достигший*. Посвященный в тайны. В понимании Райниса это человек, не подчиняющийся обстоятельствам и людям, а выстраивающий обстоятельства, пересоздающий события и явления своей волей. Композитор, а не исполнитель, инициатор, а не продолжатель. Толстяка — П.Стучку — он считал противником своего масштаба. Адептом.

Мне тяжесть эту сбросить надо с плеч.

Полжизни волочу ее по жизни... —

стихи из материалов к той же ненаписанной пьесе.

«Тот, кого ты считаешь своим противником, чересчур велик для тебя: лягушка вола не поборет», — о Янсоне, из тех же заготовок к «Предателю». «Все самостоятельное и истинное ненавидит», — о нем же, о Янсоне.

Запись. «Вставить старые стихи: «Я бедный, бедный мученик».

Стихотворение относится не к Янсону. Оно — о Толстяке, о Стучке, написано еще в 1906 году и весьма безжалостно по отношению к герою:

* Имя Каупо стало у латышей нарицательным, обозначая предателя. Ярл Скуле — персонаж пьесы Ибсена.

Я толст, я толстый мученик,
 Сто бочек пива выдувший.
 Растет и пухнет мой живот,
 Застежки лопаются, вот —
 Я мученик, я мученик!

Иной в неволе скинет вес
 И может прыгать до небес.
 Но я в плену, в мороз, в жару
 Томлюсь, тону в своем жиру.
 Я мученик, я мученик!

.....
 Не всякий мне поверит: тот
 Лгуном, тот плутом назовет.
 Но хватит мне моих рублей,
 Мне роль милее всех ролей:
 Я мученик, я мученик!

(Можно бы и смолчать, но уж очень поразила меня «несолидность», несерьезность этого стихотворного обличения. Смахивает на школьную дразнилку; в наше время орали толстяку: «Жиртрест! Мясокомбинат!» — и язык высовывали. И тут точно бы гимназист Янис выкрикнул что-то обидное, показал гимназисту Петерису язык и... Не тянет «толстый мученик» на высказывание, хотя бы и сатирическое, одного *адепта* о другом. Наверное, обида была так глубока, что рассекла всю жизнь, вплоть до детства? Не знаю я, что ответить, не знаю).

...Что за ночь пережил он, услышав о смерти Янсона!
 «Господи», — сказал он про себя.

— Господи? Вы — вы сказали «Господи»? И произнесли это слово как бы даже с прописной буквы?

— О ч-черт!

— К вашим услугам, и на сей раз совсем ненадолго. Хотел только насладиться вашим торжеством.

— Торжеством?

— Ну как же! Злейший ваш враг уничтожен! Разве не об этом вы мечтали? Ликвидирован, лежит себе среди водорослей, никому не мешая, расквитавшись разом со всеми долгами. Рыбки там снуют мимо лица. Не боятся. Одна только что запуталась в волосах...

— Да что ж это за наваждение опять!

— А в большевистской газете «Правда» печатается некролог. Знаете, кто его написал, по моим сведениям? Владимир Ленин.

— Гм...

— Человек, имя которого не сходит со страниц... которое на устах у... Без преувеличения. Могу засвидетельствовать: ни одно имя не называлось за последний месяц чаще, чем это. В России, Германии, Франции, в Штатах. Вы коллегу, по-моему, недооценили. А Петр Иванович Стучка...

— Что Стучка?

— Оценил. Как и все мы... хе-хе, грешные. Кстати: черт, исполняя свое предназначение, — грешит или нет? Раньше я как-то не задавался этим вопросом. Но что я опять о себе. Торжествуйте! Что ж вы не торжествуете? Сотни бессонных ночей, скрежет зубовой, ярость, презрение, — даже я все помню, а вы-то? Спор закончен, понимаете? Спор закончен!

— Закончен?

— Все-таки не могу не уважать вас. Вопрос в точку. Закончен ли? Только начинается! Только выходит из стадии бумажной и теоретической в гущу событий. Собственно, спор ваш не с Янсоном, как вы прозорливо заметили в набросках к пьесе «Предатель». С адептом, — а уж имя сами проставьте, только не спешите. Ибо этот ваш спор станет сюжетом всемирной истории. Теперь понимаете, почему я к вам так неравнодушен? Мировая история — вообще по нашему ведомству; в небесах времени нет, а значит, нет и истории.

— Гм...

— Впервые на моей памяти вы так немногословны.

— Мм...

— В настоящий момент ваш друг Стучка стоит за спиной лысого, энергично жестикулирующего и презабавно картавящего человека. Много рабочих. Завод какой-то. Все смеются. Петр Иванович Стучка тоже хохочет. Что-то там было сказано о буржуях... о бабах, сидящих во Временном правительстве. Бабы — это в переносном смысле, в российском правительстве женщин нет. Ленин оглядывается и, видимо, очень удовлетворен. Ему нравится, как искренне и неудержимо смеется товарищ Стучка. Окончен ли спор, говорите? Ах вы, шутник. Исчезаю! Дела! Между прочим, вы правы в своих опасениях: Ленин действительно готов отдать Курземе немцам. И не только Курземе. Ради мировой революции он и Ригу, и Петербург сдаст, не моргнув глазом. Впрочем нет. Петербург не сдаст, не успеет. Приятно было побеседовать.

Было — не было, — все спуталось в круговороте ночи-дней, свившихся в клубок, точно морские водоросли. Янсон и все с ним связанное успело стать частью его самого; теперь что-то в нем рушилось, сползло целыми огромными пластами в образовавшуюся пустоту. Торжествовали ли он? Нет, он не торжествовал...

Из писем Райниса, июнь 1917 года.

Аманде Циелене: «У нас, жителей Куземе, родина отнята, и партия не желает ее возвращения, они не желают даже быть латышами. Что мне, латышу, делать в компании ново-немцев и ново-русских? Мне противно быть вместе с людьми, отрекшимися от отца с матерью».

Лизете Калныне: «Собираемся и мы домой, но так ослабели, — главная работа предстоит вам. Работа эта двойная: нужно выступить не только против атакующих немцев, но и их друзей изнутри. Ленин готов отдать Курземе немцам, а латышская социал-демократия и не думает протестовать! Верю воинам, что остаются латышами, верю вам. Защитите социал-демократию и Латвию».

Хроника.

Июнь 1917. Стучка избран в Петроградскую Центральную городскую думу.

Июль. Временное правительство разгоняет демонстрацию рабочих в Петрограде, есть жертвы. Отдан приказ об аресте Ленина. Он скрывается в Финляндии, чуть было не погиб при переходе границы.

Стучка в событиях начала июля не участвовал. Он удачно заболел в это время и был на даче, невдалеке от станции Саблино.

Статьи П.Стучки публикуются по-русски и по-латышски изо дня в день. По поводу приказа об аресте Ленина он иронизирует: точно так же губернатор Вятки, часто встречавший в письмах политических ссыльных имя Маркса, приказал одного Маркса Карла (отчество неизвестно) разыскать и арестовать. Но урядникам не удалось обнаружить в Вятской губернии названного Маркса и, согласно их докладу, «адреса своего он не оставил». Ленин, продолжает П.Стучка, тоже забыл, кажется, оставить свой адрес Временному правительству...

Владимиру Ильичу шутка чрезвычайно понравилась. Правда, узнал он о ней лишь в октябре.

Из письма Доры Стучки Паулсу Дауге.

«Мы опять как на распутье; придется должно быть ехать в Ригу, гротсфатера зовут неотступно и энергично, каждую неделю — *очередной вопль души**: приезжай, спасай нас!.. Петерис закончил свой отпуск и впрягается опять в двойное ярмо, общественное и юридическое. Внутренне и духовно он с адвокатурой уже порвал все связи, ни малейшего интереса, — но впереди внешняя, фактическая ликвидация. Будет она довольно болезненной, так как связана с немалыми убытками. Нет ни одного коллеги, кому он мог бы передать дела; довольно сложно разделаться с конторой, обстановкой. Но так или иначе, мы оба покончили с юридической практикой и всем, что с ней связано, — остальное приложится. В эти дни (13 августа) решится, каков будет состав Рижской городской думы. Если наши победы, судьба Петериса решена: придется обязательно ехать; но и в противном случае его хотят обязательно видеть там».

Райнис в Кастаньоле в июле-августе 1917 года завел несколько папок с надписями: «Даугава. Первые стихи»; «Даугава. Стихи в работе»; «Даугава. Материалы».

В папке накапливались постепенно строчки и страницы «сиротской песни», песни о родине, которую у него отнимали. Начал Райнис «Даугаву» еще в 1915 году, когда немцы оккупировали Курземе, двигались к Даугавпилсу. Жестокие бои, в которых тысячами гибли и юноши из латышских батальонов, слезы беженцев отзывались в нем все новой болью. Ничем иным, как воплем отчаянья, были стихи «Даугавы», написанные большей частью в 1915—1917 годах. «Когда реакция положила Латвию на лопатки и готовилась перерезать ей горло, я не выдержал — и выкрикнул свою «Даугаву». Я кричал, что мой народ убивают».

13 августа. В Риге на выборах в Думу победили социал-демократы. Стучку избирают председателем Рижской городской думы.

19 августа Петерис Стучка выезжает вечерним поездом из Петрограда. В Инчукалсе поезд простоял семь часов. В это время генерал Корнилов уже отдал войскам приказ оставить Ригу. 21 августа в 6 утра новоизбранный председатель Рижской думы прибыл в город, а в 10 утра в Ригу уже входили передовые немецкие части.

* Выделенное курсивом написано по-русски.

Дора Стучка — Паулсу Дауге. «Я пережила несколько ужасных дней, полных тревоги. Каким-то чудом Петерис выбрался целым и невредимым. Встретившись с несколькими товарищами, он через два часа пешком ушел из города через Александровские ворота. 40 верст прошагал пешком до Инчукалнса, над которым летал немецкий цеппелин, сбрасывая бомбы. На другой день прошел еще 35 верст, пока не забрался в санитарный поезд, с которым доехал до Валмиеры, а оттуда попутным грузовиком — до Валки. Грузовик попал под бомбежку, одна бомба разорвалась совсем рядом. Из Валки поездом наконец добрался до дома».

Сдача Риги входила в далеко идущие планы генерала Корнилова. Вслед за тем 8 сентября Корнилов направил против Петрограда Третий казачий корпус и кавалерийскую дивизию: он решил брать власть. То был первый и единственный случай, когда большевики выступили не против Временного правительства, а заодно с ним — против мятежного генерала.

Провал корниловского мятежа резко повысил престиж и шансы большевиков: они выступили в роли защитников революции и добились победы. С этого момента в Петроградском и Московском советах у сторонников Ленина — перевес, все более значительный. Постепенно их влияние в войсках и на флотах становится решающим.

17 сентября. В новом петроградском латышском рабочем клубе на улице Цветочной, на празднике открытия П. Стучка выступает с почувствованным словом о Янсоне-Брауне — своем «названном сыне».

Сентябрь. Райнис — Паулсу Дауге: «Домой еще не едем. Эльза и я, оба болеем. Поехал бы и больной, но там нет надобности во мне. Если бы я мог работать хотя бы здесь...»

20 сентября. Райнис — Аустре Краузе-Озолине: «Пока Вы держите у себя мои письма и доверенные Вам чужие рукописи, не скрывая намерения опубликовать их, никаких связей — ни личных, ни политических — между нами быть не может. Вам следует решиться. Если Вы и теперь остаетесь при своих угрозах, придется порвать последние, чисто человеческие отношения и отослать обратно все полученное когда-то от Вас».

7 октября. П.Стучка, член предпарламента — временного Высшего Совета Российской республики — появляется на его заседании. Представитель большевистской фракции встает и зачитывает *манифест*: «Всю власть Советам! Всю землю народу! Да здравствует немедленный, честный, демократический мир! Да здравствует Учредительное собрание!» (Прошу запомнить. Учредительного собрания хотят и требуют большевики!) После чего фракция в полном составе покидает заседание. Ушел с остальными своими товарищами и Стучка. Неучастие в предпарламенте было категорическим требованием Ленина, а с Лениным Петр Иванович не спорил.

11-13 октября. В актовом зале Смольного института проходит Съезд Советов северных областей России. Избирается исполком в составе 17 человек, среди которых — П.Стучка.

После 16 октября. Образован Военно-революционный комитет, подчиненный Центральному комитету большевистской партии. Юридическую (следственную) комиссию при Комитете поручено возглавить П.Стучке.

24 октября. Временное правительство решило предать суду всех членов Военно-революционного комитета, арестовать назначенных им в воинские части большевистских комиссаров, вызвало юнкеров к Зимнему дворцу. Поздно!

Об октябрьских днях, предшествовавших большевистскому перевороту, Крупская вспоминала: «Ильич страшно волновался, сидя в Финляндии, что будет пропущен благоприятный момент для восстания». С 9 октября он уже в Петербурге — нелегально — и руководит подготовкой к новой революции. Почему он так спешит и нервничает? Почему не устает повторять: промедление смерти подобно? Причин несколько. Война: Петроград могут захватить немцы, и тогда все пропало. Временное правительство или же союзники могут заключить сепаратный мир с Германией — и один из главных козырей, обещание немедленного мира, будет для большевиков потерян. Власть нужно захватить до начала Второго съезда Советов: неизвестен состав его участников, вполне может статься, что перевес будет у других партий. Наконец, нужно воспользоваться междувластием, параличом официальной власти. Немедленно, *до созыва Всероссийского Учредительного собрания*. Кого пришлет в Петроград вся Россия в результате первых в истории равных,

прямых, тайных и всеобщих выборов? Хорошо если парламент будет большевистским, но можно ли на это твердо рассчитывать? Временное правительство нетрудно свергнуть, полномочия его краткосрочны и сомнительны. С момента созыва Учредительного собрания восстание считалось бы преступлением против законной, избранной всем народом власти. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Следовало немедленно захватить власть и с помощью всех рычагов, которые дает в руки господствующая позиция, повлиять на состав будущего Учредительного собрания. Или обойтись вовсе без него.

Второй съезд Советов был назначен на 25 октября. «Успех и русской, и всемирной революции зависит от двух-трех дней борьбы», — предупреждал Ленин.

24 октября с нелегальной квартиры он ушел в Смольный. На захват власти оставались всего одни сутки.

В десять часов утра 25 октября отдано в печать написанное Лениным обращение Петроградского Совета «К гражданам России».

Временное правительство низложено, говорилось в нем. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Днем, в 2 часа 30 минут П.Стучка принимает участие в заседании Петроградского Совета. Выступает Ленин. Делегатам сообщают, что почта, телеграф, вокзалы, Государственный банк захвачены, предпарламент распущен, начался штурм Зимнего дворца.

В 22.45 открылся II съезд Советов. П.И.Стучка — в президиуме. Меньшевики и правые эсеры огласили декларацию протеста против *военного заговора и захвата власти, устроенного большевиками за спиной других партий и фракций, представленных в Совете*. И ушли, громко хлопнув дверью. В зале остались 600 делегатов, половина — большевики.

Роль П.И.Стучки в официальных документах отражена не полностью. Он произнес речь на съезде. По-видимому, ему поручена организационная часть. О степени доверия к нему говорит такой факт: он самолично назначал людей, охранявших во время съезда В.И.Ленина, и подписи его или устного распоряжения было достаточно, чтобы в зал заседаний пропустили человека с оружием.

В ночь на 26 октября в 3 часа 10 минут делегатам съезда сообщили, что Зимний дворец взят.

Переворот был почти бескровным.

Съезд отменил смертную казнь, введенную Керенским на фронте. Утвердил правительство — Совет Народных комиссаров во главе с Ульяновым-Лениным. Народным комиссаром юстиции был назначен Петр Иванович Стучка.

Почти два десятилетия до этого П. Стучка пребывал в тени. Мало кто знал, что это он готовит речи для большевиков — депутатов Государственной думы, что именно у него на квартире вырабатываются стратегия и тактика большевистской фракции, что адвокат Стучка, в совершенстве знающий российские законы, заботится о юридическом обеспечении деятельности депутатов...

Ни в Латвии, ни во всей Российской империи никто, кроме посвященных, не ведал, кто скрывается за псевдонимами «Параграф», «Ветеран»: то был один из тщательно оберегаемых секретов партии.

В течение 1917 года имя Стучки стало известно тысячам, затем десяткам тысяч и наконец миллионам людей. Нередко оно звучало рядом с именем Ленина, сразу вслед за ним. Когда в газетах писали, что Ленин — германский шпион, то же обвинение предъявлялось и Стучке.

В Латвии в стрелковых полках, в рабочих поселках его знали все поголовно.

Но не в известности дело. Петерис Стучка в одиночку совершил революцию, быть может, не менее значительную, чем весь октябрьский переворот.

Революцию? В подтверждение — вот хотя бы цитата из Антона Розенберга, председателя Революционного трибунала в Екатеринбурге, Перми (1918 год) и т.д. «В теории права товарищ Стучка поистине совершил революцию. Он, руководствуясь принципами марксизма-ленинизма, доказал классовый характер всякого права». (Мы, собственно, имели в виду все-таки другую революцию, совершенную не столько в теории, сколько на практике).

В одиночку? Послушаем академика М. Покровского. В 1930 году тот говорил, обращаясь к Стучке: «Вы начинали эту работу один или почти один».

Подтверждает и сам Стучка: «Если бы я, начиная с 1917 года (с первых своих работ на темы права) пугал себя вопросом — что скажет будущее поколение; если бы останавливался на каждом шагу с мыслью: а вдруг что-нибудь выйдет не так, как бы не ошибиться, — разве бы я добился успеха? Ибо долго, слишком долго я был один, был одиночкой, и если бы не поддержка Владимира Ильича, волей-неволей пришлось бы эту работу бросить».

Пóлно, — можно ли совершить «революцию права» в огромной стране в одиночку? Можно было. В момент перелома, в дни, когда жизнь, казалось, перевернулась вверх дном, — можно было. Государственные служащие поначалу отказывались сотрудничать с большевиками. Сведущих людей в правительстве и вокруг него можно было сосчитать по пальцам. Все приходилось начинать заново; новички-энтузиасты, годом раньше не знавшие грамоты, совершали грубейшие ошибки. На этом фоне Петр Стучка, специалист высокого класса и в то же время убежденный большевик (партийный стаж его исчислялся с 1895 года, с той «детской» сходки новотеченцев, на которой Стучку избрали председателем ЦК, а Пликшана — казначеем), выглядел надежнейшим и компетентнейшим среди комиссаров; не удивительно, что он получил полную свободу рук и мог действовать буквально на свой страх и риск.

Кто их помнит сейчас, первые декреты советской власти? А тогда от них зависели жизнь и смерть миллионов.

Правительственные декреты и инструкции обычно безымянны. Документы, написанные лично Ульяновым-Лениным, правда, всегда отмечались особо; в остальных случаях сыскать концы затруднительно. Тем удивительней, что авторство Стучки в некоторых случаях известно и никем не оспорено. Эрнест Сиетиньсонс, юрист и советский работник: «В начале 1919 года, будучи на фронтах гражданской войны, мне пришлось участвовать в организации революционных трибуналов... Кажется, ни у кого из нас тогда не было юридического образования. И тут нам очень пригодились составленные П.Стучкой декреты Советского правительства «О суде» № 1, 2 и 3 и о революционных трибуналах, а также инструкции Народного комиссариата юстиции. Основной принцип в декрете № 1 — *руководствоваться революционной совестью и революционным правосознанием. Законным признавалось то, что отвечало интересам революции*».

Вот это и есть переворот, совершенный в ноябре 1917 года лично П.Стучкой. Составленный им и одобренный В.И.Лениным декрет «О судах» одним росчерком пера отменял все законы прежней России, уничтожал губернские суды, судебную палату, правительствующий Сенат со всеми департаментами, институт мировых судей, следственные органы, адвокатуру. (К слову: Сенат, в котором когда-то не без успеха выступал, Стучка «закрыл» лично). Взамен всего перечисленного вводились *народные суды*: судья, назначенный местным Советом, и два заседателя из списка, также утверждаемого местной советской властью. Судье единолично поручалось и предварительное следствие. В качестве обвинителя и защитника на суде

и в процессе следствия могли выступать «любые лица обоего пола, обладающие гражданскими правами и незапятнанной репутацией». Этот пункт, не лишенный правового романтизма, не выполнялся никогда.

Важнейшие пункты декрета — пятый и восьмой.

Пятый. Местные суды решают дело именем Российской республики и в своих решениях и приговорах руководствуются лишь теми законами свергнутого правительства, которые не отменены революцией и *если они не противоречат революционной совести и революционному правосознанию.*

Пункт восьмой предписывал для борьбы с мародерством и грабежом, саботажем и другими подобными действиями «торговцев, промышленников, служащих и пр.» *основать революционные трибуналы рабочих и крестьян.* Председателя и заседателей ревтрибунала избирали опять же городские или губернские Советы. Советами же назначались следственные комиссии при трибуналах.

Что же такое были Советы, объединившие в себе теперь все виды власти: законодательную, исполнительную и судебную? Они с некоторых пор стали властными структурами Коммунистической партии, полностью ей подчиненными. Чего никогда не скрывал тот же Стучка. Цитируем и Ленина: «Партия создавала эти Советы и практически осуществляла Советскую власть».

Эти «органы диктатуры пролетариата» появились когда-то (еще в 1905 году) стихийно, но партия уже тогда перехватила руководство ими. Никто не мог бы объяснить, какую часть населения, какой процент рабочих и крестьян представляет тот или иной Совет. Правил, процедуры, единой системы выборов не существовало. Долгое время депутат избирался на митинге или собрании простым поднятием рук, гулом одобрения, отклонялся нежелательный кандидат — свистом и топотом. На такие выборы нетрудно влиять. Для завоевания большинства в Советах коммунисты готовы были пойти — и шли на все. Представление об этом дает ленинская «инструкция» по несколько другому, но схожему поводу. «Надо уметь... пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае необходимости — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытия правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы», — объяснял соратникам Владимир Ильич. Но Советы были большевикам еще нужней профсоюзов, и потому весь арсенал средств — от «сокрытия правды» и до запугивания и террора — использовался на всю катушку. А однажды заполучив большинство в Советах, партия Ленина никогда и никому не собиралась отдавать его. Уже в семнадцатом

году состав Совета заранее обсуждался и утверждался в партийных инстанциях, рабочим же и крестьянам предлагалось одобрить принятое решение. Попытки протеста рассматривались как действия антисоветские и контрреволюционные. На сей случай существовали ревтрибуналы, Всероссийская Чрезвычайная комиссия (ВЧК).

Знаю, знаю, что окончательно *достал* несчастного своего читателя политикой. Но тему воистину «ни объехать, ни обойти», выясняя, что же было на самом деле, было с моей страной, со мной до моего рождения, с вами. Ну скажите: вы знали, что Ленин В.И. всерьез предполагал одно время, где-то году в шестнадцатом, в *интересах революции* раздать оружие подросткам от 13 до 16 лет? О, как же он был дьявольски умен. Дать мальчикам власть над жизнью и смертью взрослых и ровесников, — вы понимаете, что это такое? И понимаете ли вы, что эти мальчики были бы полностью управляемы — теми, кто вложил в их руки оружие?

И еще. Кусочек из ленинской статьи о советах, о советской власти, на который мне указал т. Стучка. С его подачи нашел, не могу не поделиться. «Эта власть не признавала никакой другой власти и никакого закона, никакой нормы, от кого бы то ни было исходящей. Неограниченная, незаконная, опирающаяся на силу, в самом прямом смысле слова, власть — это и есть диктатура. Никаких регламентов, никаких формальностей. Ты — рабочий человек? Ты хочешь бороться за избавление России от горстки полицейских насильников? Ты — наш товарищ. Выбери своего депутата. Сейчас же, немедленно выбирай как считаешь удобным, — мы охотно и радостно примем его в полноправные члены нашего совета рабочих депутатов...»

Дальше. «Мы видим диктатуру именно народа, ибо народ, масса населения, неоформленная, «случайно» собравшаяся в данном месте (в идеале — подростки 13—16 лет? — Р. Д.) сама *чинит суд и расправу*, применяет власть, творит новое революционное право... Наконец, это есть диктатура революционного народа. Почему именно революционного, а не всего народа? (Почему же, почему? *Внимание, читатель, еще не бросивший книгу!*) Потому что во всем народе... есть люди, забытые физически, запуганные, забытые нравственно, например, теорией о непротивлении злу насилем, или просто забытые, не теорией, а предрассудком, обычаем, рутинной, люди равнодушные, то что называется обыватели, мещане... Вот почему *диктатуру осуществляет не весь народ, а только революционный народ*».

Читатель, мы находимся в серёдке, в самой сердцевине жульничества, стоившего России — и не одной России — так безбожно дорого.

(Это у Достоевского Верховенский, что ли, в «Бесах» говорит: «Какие мы социалисты? Мы жулики»). Ленин называет народом ту часть народа, которая его устраивает, которая поддерживает большевиков. И далеко не весь *революционный народ* ему угоден: тех, кто голосует за социалистов-революционеров (эсеров: почти поголовно российские крестьяне), за кадетов, за социал-демократов, но другого крыла — меньшевиков, тех скоро будут расстреливать из пушек и пулеметов. *Народом* тов. Ленин и тов. Стучка называют только и единственно ту часть народа, которая во всем согласна с большевиками. **Во всем!** Ибо любое несогласие или даже тень его будет считаться преступлением и наказываться лишением свободы или смертью. Теперь понятно, как чуть ли не половину народа можно объявить *врагами народа*?

В громадной стране, измученной годами тяжелейшей войны, процентов на восемьдесят неграмотной предложить руководствоваться вместо законов «революционной совестью и революционным правосознанием» значило развязать небывалый, дикий, ничем не ограниченный произвол. Нет, — «ничем не ограниченный» — сказано неверно. Ограничитель был, единственный: воля партии. Выстроенной так, что власть в ней осуществлялась всегда сверху вниз, с самого верха пирамиды — до самого основания.

Ленин, сделавший в проекте Стучки незначительные исправления, был в общем-то *архидоволен*. Он объявил во всеуслышание, что Наркомат юстиции — *самый революционный из всех*.

«Мой декрет», — обмолвился однажды Стучка, рассказывая о месяцах, проведенных в «министерском кресле».

Его декрет — его и ответственность перед мировой революцией (в которую он верил непреложно), перед всемирной историей, перед народами России, перед человечеством. Так он сам считал, так, холодея от волнения, говорила ему Дора, и тут мы готовы согласиться и с ним, и с ней: да, он несет такую ответственность. Но что с него теперь спросишь?

Декрет, составленный Стучкой, был из числа немногих, воплощенных в жизнь. («Декрет о мире» обернулся потерей огромных территорий, отданных немцам без сопротивления: когда одна из воюющих сторон объявляет с завтрашнего дня мир, а другая о нем и не помышляет,

больше всего это смахивает на капитуляцию. «Декрет о земле» вскоре уже читался как прямая насмешка: сначала у крестьян стали отбирать все, что они вырастили и имели, — называлось это «продразверсткой», — а затем и скот, и землю, и все нажитое, нередко — вместе с жизнью. П.Стучка все это застал и во всем успел поучаствовать, вплоть до коллективизации).

Зато реальный, действующий декрет, объявлявший законом революции беззаконие, работал с утра до ночи, уничтожая сотни тысяч россиян. Смертная казнь, ненадолго отмененная, вскоре стала одним из основных средств убеждения. И в каждой пуле, посланной в грудь или в затылок человека по приговору ревтрибунала и по «велению революционной совести», была доля Петра Ивановича Стучки, — добродушного, остроумного, высокообразованного человека, любителя поэзии, живописи и музыки, охотно игравшего, между прочим, наизусть бетховенскую «Апассионату».

«Апассионату», по свидетельству Горького, любил и Ленин.

Из воспоминаний Н.К.Крупской. «Изучая самым внимательным образом опыт Парижской коммуны, этого первого пролетарского государства в мире, Ильич отмечал, как пагубно отразилась на судьбе Парижской коммуны та мягкость, с которой рабочие массы и рабочее правительство относились к заведомым врагам. И поэтому, говоря о борьбе с врагами, Ильич, что называется, «закручивал», боясь излишней мягкости масс и своей собственной».

Ах, напрасно, напрасно боялся Владимир Ильич и мягкости масс, и тем более своей мягкости! Такой войны одной части народа против другой его части, какая начата была в 1917 году, не бывало еще в истории; такого количества живых и глазастых голов, превращенных в безгласные, безглазые черепа, никто не мог себе вообразить.

На посту наркома юстиции П.Стучка пробыл вначале недолго: левые эсеры согласились войти в правительство, и должность эта была отдана им.

Николай Крыленко — коллега Стучки по Совету Народных Комиссаров, какое-то время — Главком Вооруженных Сил республики, затем председатель Верховного трибунала, затем — нарком, прокурор РСФСР. Он вспоминал: «Из-за политических обстоятельств момента необходимо

было на время заменить т. Стучку на посту народного комиссара юстиции левым эсером Штейнбергом. Когда Петр Иванович вернулся на практическую работу в органы юстиции, ему пришлось не только продолжить борьбу за идеи, которые он выдвинул в 1917 году, но и разрушить то, что успел натворить Штейнберг. Его небольшая *инструкция в июле 1918 года, отдававшая революционным трибуналам неограниченные права на репрессии*, — эта короткая инструкция, вернувшая ревтрибуналам неограниченные полномочия, *больше дала революции, чем все указания левого эсера Штейнберга*, во многих отношениях *тормозившие революционные репрессии*». (Репрессии, о которых Крыленко говорит с нескрываемым удовольствием, как бы смакуя, повторяя опять и опять это слово, в 1938 году уничтожат его самого. П.Стучку Бог миловал — он до этого не дожил; уничтожены были только его книги).

Но вернемся в ноябрь 1917. По секретному распоряжению Ленина в Петроград прибывает Шестой Тукумский полк латышских стрелков. На вокзале его встречает Петерис Стучка. Представителей полка немедленно пригласил к себе сам В.И.Ленин. Спрашивал: как устроились на новом месте, как настроение? Стрелки отвечали четко, по-военному, и сильный акцент придавал, кажется, каждому слову еще больше твердости.

Ленин стрелкам понравился: лобастый, глаза живые и умные. При своей занятости нашел для них время. Стучка не обманул, рассказывая им еще в мае о вожде большевиков. Посматривали и на Стучку с благодарностью.

Недавний глава Временного правительства, А.Ф.Керенский, нашедший приют за границей, не раз повторял в тогдашних статьях: «Россией правят Стучки!» И читатели в Америке, Франции, Англии знали, о ком идет речь, знали, кто такой Стучка. *Братья* Райниса, его товарищи и товарищи его товарищей правили Россией, и спор поэта с ними выплеснулся, наконец, на шестую часть земной суши, сделался планетарным. Все, что возмущало Райниса в практике российской и латышской партии, что заставило его в 1914 году порвать с ЛСД, все осталось прежним, приобретя, однако, иной размах: к тому времени скрытое течение болезни, казалось, пронизало метастазами полмира.

Райнис — Р.Иванову, 2 ноября 1917 г.

Я писал Тебе, может быть, слишком импульсивно, то было после

потери моего родного города. Я спрашивал себя: не стал ли Прометей Эпиметеем*? Сентябрьские события — падение Риги — и теперешние тоже сделали меня больным. Но как-то нужно все вынести и надеяться на Прометея.

В Петроград, Карлису Тифенталю**, 27 декабря 1917.

572

Дорогие друзья, приглашение быть вашим кандидатом*** получил через четыре месяца, когда выборы давно окончились. Я бы принял его, хотя вы и рисуете положение очень мрачно. Однако нездоровье пока что не позволяет ехать ни мне, ни Аспазии. Пишу эти строки, а там у вас все уже произошло и, должно быть, через пару недель у вас опять будет монарх, только другой национальности...**** Никакой связи с родиной и Россией у меня не осталось. *Слышал, что Параграф умер 24 декабря и что сестра моя умерла тоже.* Но точных сведений нет...

Когда-то в Берлине знакомый литератор поучал его: «Есть восточная мудрость — не старайся уничтожить своих неприятелей, не суетись. Сядь на берегу реки и жди: трупы врагов проплывут мимо тебя по течению». Сколько страсти, сколько мучений и слез стояло за давней враждой! — но он давно перестал суетиться... И вот уж неживое тело Янсона-Брауна проплыло, именно что проплыло мимо него. Неужели и...

Страшную, сосущую пустоту ощутил он в себе при известии о смерти Стучки и сестры Доры. Точно вынули стержень из всего, — и оставшееся развалилось, превратясь в грудку ненужного хлама. Нет, он не желал, никогда не желал этих трупов, уж лучше бы ему проплыть мимо них!

Он забыл, что способен ощущать горе с такой силой и безутешностью — как в детстве. Первая и до Аспазии — единственная, идеальная его любовь, Дора. Петерис — первая, тоже единственная и, кажется, навсегда единственная дружба, — да было ли вообще в его жизни что-нибудь кроме этого? «Ты несправедлив», — отвечал ему осуждающий взгляд Аспазии. «А нас забыл?» — вопрошали ночами голоса Бируты Скуениецы и Натальи Робини, Иванде Кайи и Августа Деглавса, Бирзниека-Упитиса и Гулбиса, Микелиса Вальтера и Паулса Дауге, и еще, и еще, — десятки голосов. «Несправедлив, и буду, и хочу быть несправедливым, — отвечало в нем что-то упрямо. — Простите, дорогие,

* Эпиметей — брат Прометея, полная ему противоположность: трус и негодяй.

** Литератор, более известный под именем К.Дзильея.

*** Поэту предлагали баллотироваться в Видземский земельный совет.

**** Райнис опасался, что «через пару недель» на российском троне окажется германский кайзер.

буду жив — оправдаюсь. Но сейчас на душе у меня так, словно был у меня единственный ребенок, и только что я его потерял».

А Дора, а Петерис Стучка были между тем живы и невредимы, хотя измучены тревогами и бессонницей. Большевики нервничали. Не спал ночами, не находил себе места и Ленин, пугая многотерпеливую жену. Приближался самый трудный с момента захвата власти, самый опасный день. День созыва Учредительного собрания.

О, как оно было некстати! Горячие головы предлагали вообще от него отказаться. Но весь мир был свидетелем того, как ленинская партия требовала скорейшего созыва парламента. По словам Карла Каутского, русские большевики «всех громче кричали» об этом. Громче или не громче, но кричали и были услышаны. Выборы уже кончаются, отступить поздно. Но и пора на всякий случай бить отбой... Равные, всеобщие, прямые и тайные выборы могли преподнести самые нежелательные сюрпризы. Если народ по темноте своей и незнанию проголосует не за тех людей и не за ту партию, тем хуже для народа. Не для того была взята власть, чтобы кому-нибудь отдавать ее.

Ленин — на заседании ВЦИК (Всероссийского центрального исполнительного комитета), 14 декабря 1917 года: «Мы делали переворот для того, чтобы иметь гарантии, что Учредительное собрание не будет использовано против народа. Мы не дадим обманывать себя формальными лозунгами... Мы скажем народу, что его интересы выше интересов демократического учреждения. Не надо идти назад к старым предрассудкам, которые интересы народа подчиняют формальному демократизму».

Петерис Стучка в свою очередь писал еще в ноябре: «Не забывайте, что Учредительное собрание есть неживой лозунг по сравнению с лозунгами советской власти, но одно другого не исключает, *если только не возникнет конфликт между ними*. Мы ждем благоприятного исхода и победы нашей линии в Учредительном собрании, — это было бы утверждением мирной победы пролетариата; наши «могучие социалисты» жаждут Учредительного собрания, в котором большинство будет за нашими противниками. Я не верю, что их ожидания сбудутся, но не мешает рассмотреть различные возможности. В первом случае мы были бы избавлены от новой гражданской войны, во втором война стала бы неизбежной». (Статья опубликована в «Цине» 21 ноября 1917 года и завершается, между прочим, цитатой из Райниса).

Ожидания эсеров и меньшевиков, упования кадетов оправдались, так же как опасения ленинцев. Хотя выборы происходили уже при

советской власти, исход их был для большевиков плачевным. Большинство мест в «Учредилровке» Россия отдала не им. Правда, за них было подано больше всего голосов в Петрограде и в Москве, но и за кадетов голосовали в обеих столицах сотни тысяч. Крестьянская Россия отдала предпочтение эсерам.

Открытие Учредительного собрания после долгих проволочек назначили на 5 января 1918 года. На тот же день оппозиционные партии планировали демонстрацию в его поддержку. Ходили слухи, что готовится не демонстрация, а вооруженное восстание против большевиков.

1 января, в первый день 1918 года обстреляна была машина, в которой Ленин возвращался с митинга Красной гвардии*.

В постановлении ВЦИК от 3 января говорилось: «*Вся власть в Российской республике принадлежит Советам. Поэтому всякая попытка со стороны какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваться как контрреволюционное действие и подавляться всеми средствами вплоть до применения вооруженной силы*».

Что называется — вот тебе, бабушка, и юрьев день! Учредительное собрание, не имеющее никаких функций государственной власти? Что это такое? Зачем его тогда выбирать, зачем ему собираться?

ЦК партии эсеров предупреждал: «Разгон Учредительного собрания сделает неизбежной войну за Учредительное собрание». Разве не о том же со своей стороны писал недавно П.Стучка?

Ленин вызвал Стучку к себе. Никогда еще Ветеран не видел, чтобы эти глаза были устремлены на него с таким нетерпением и... с таким сомнением. Это был испытующий взгляд, резкий как бритва, начисто лишенный банальной вежливости.

— Можем мы положиться на латышских стрелков? Если понадобятся самые решительные действия, если на провокацию контрреволюционеров придется ответить огнем?

Стучка отвечал без тени сомнения: стрелки все до одного — за большевиков и врагам советской власти, кто бы они ни были, дадут сокрушительный отпор.

— Без малейших колебаний?

— Без малейших колебаний.

* «Бдительность латышских стрелков в январе 1918 года сорвала покушение контрреволюционеров на Ленина во время одной его поездки по Петрограду». Р.Трейс. Ленин и революционное движение в Латвии. Рига, 1960, с.79.

Ленин: именно такого ответа он и ждал, ничуть не сомневаясь в верности красных латышских стрелков социалистической революции. Он только хотел обратить их внимание на важность исторического момента.

Пятого января около шестидесяти тысяч человек вышли на демонстрацию. То был первый случай, когда советская власть в упор стреляла по народу. Три десятка убитых, около двухсот раненых. Н.К.Крупская: «Произошло вооруженное столкновение, быстро ликвидированное». Ложь. Не было вооруженного столкновения. Демонстрация была мирной, люди — безоружными. Как 9 января 1905 года.

575

Вопреки уверениям властей, что в шествии участвовали «только интеллигенция, студенты и представители буржуазии», в колоннах было и немало рабочих. (Не удивительна ли логика, по которой в студента стрелять можно, а в рабочего нельзя? Но даже и по этой странной логике не получалось для Смольного оправданий).

У себя в Полтаве старый русский писатель В.Г.Короленко запишет в дневнике: «Мирная манифестация за Учредительное собрание 5 января расстреляна большевиками... Одному латышу-красногвардейцу сказали: «Зачем вы убиваете рабочих?» — «Рабочим приказано было сидеть дома». — «Так же было приказано и 9 января».

В это время охрана Смольного уже поручена сводному батальону латышских стрелков (по сорок большевистски настроенных добровольцев от каждого полка). Они становились ленинской гвардией, вызывавшей в одних страх и ненависть, в других...

Враги называли их наемниками — и напрасно: мотив корысти здесь отсутствовал. Латыши никогда не считали себя и чужеземцами: российские подданные, они воевали с германскими полчищами в составе российской армии, подчиняясь ее командованию; Петербург-Петроград двести лет был столицей той страны, к которой они официально принадлежали от рождения, законам которой подчинялись, в сражениях за которую умирали. Сейчас, когда немцы оккупировали их родину, чуть ли не половина латышей оказалась в русских городах и селах.

Но латышские полки резко отличались от остальной армии. Разоружив большинство офицеров, они ухитрились не потерять воинских навыков и дисциплины. В Петрограде и родной язык, непонятный окружающим, сплывал их воедино; язык был единственным, что сейчас оставалось им от родины.

23000 латышских стрелков проголосовали за Ленина на выборах в Учредительное собрание, за кандидатов других партий было отдано около 800 голосов... Они поверили своим: Стучке, Данишевскому, Ленцманису, Петерсону, они поверили Ленину.

Однажды в этой книге надо сказать: была же и вера в небывалое государство рабочих и крестьян, в мировую революцию, была надежда на ослепительно новую, счастливую жизнь, которая начнется, как только справимся с врагами. Не только у латышских стрелков — у миллионов людей, чья участь была предрешена в прежней России их «низким» происхождением, теперь захватывало дыхание от возможностей, казалось, открывшихся перед ними. Ленин говорил, что каждая кухарка может управлять государством. Попробуйте найдите кухарку, которой бы это не понравилось. Но что там кухарки... Ученые, изобретатели, поэты и художники, архитекторы хотели верить, что на развалинах старого мира жизнь начнется заново, что несправедливости и жестокости революции временны, а завтра...

О стрелках. Их личная вера в Ленина, персональная преданность вождю революции, умело поддерживаемая коммунистами, их молчаливость (не все в достаточной мере владели русским), их узнаваемый всюду и всеми акцент, их дисциплинированность и фронтовой опыт оказались для большевистского правительства счастливейшей находкой. Если в русских полках все кипело и ежечасно менялось, если сегодняшние симпатии кронштадтских моряков завтра могли смениться недовольством и даже бунтом, то латыши оставались при тех же убеждениях, с какими появились в Петрограде, почти недоступные постороннему влиянию. Им поручались трудные, неблагодарные задачи, участие в опаснейших боевых и карательных операциях. Не они решали, кто друг, а кто враг: они выполняли приказы революционного командования, лично товарища Ленина. И чем безупречнее выполняли, тем бесповоротней связывали себя с большевиками. Кольцо нараставшего страха и ненависти отрезало им дорогу назад: победы назавтра другая сила, нашлись бы желающие разорвать их на куски.

Чувство благодарности не просматривается в жизни и деятельности В.И.Ленина. Его жизненные привязанности можно сосчитать по пальцам одной руки. Стучка писал, что у товарища Ленина вообще нет личной жизни: он живет только революцией.

Но Петру Ивановичу Стучке он остался благодарным навсегда. Мы в этом не без изумления убедимся.

...Ого! Мне что — перекреститься? Собеседник Фауста и — *нового Фауста*, как называл себя время от времени мой герой, собеседник Ивана Карамазова и композитора Адриана Леверкюна и... несть им числа, собеседникам моего теперешнего визави, возникшего из ничего и выдающего для начала обольстительнейшую из меписто-улыбок. Выглядит он как Шаляпин в гриме из оперы Гуно, даже борода, кажется, приклеена. Но на это можно не отвлекаться.

— Перекреститься? — отвечает он задумчиво на мою первоначальную мысль. — Не возражаю. Кстати: вот единственный жест, невозможный для нашего брата. Все что угодно, но не это, — лапа отсохнет. А вы, как человек более или менее верующий... Знаю, знаю, можете не трудиться: «Верую, о Господи, помоги моему неверию...» Это все ваше дело. Осеняйте себя... себя, а не меня! — крестом на здоровье, меня это, простите, не колышет. По-моему, я как-то говорил вашему Райнису, что с атеистами мне гораздо трудней. То есть душа-то, конечно, есть даже у отрицающих это понятие... Но душа атеиста — добыча легкая. Если человек сам для себя устанавливает правила, кто ему запретит самолично же их и нарушать? Закон должен идти извне, и наказания за неисполнение должны поступать оттуда же: свыше... или сниже.

— Спорно, — сказал я.

— Нарушения же — моя специальность, — продолжал Черт, не слушая. — Дуракам закон не писан, дураки, следовательно, и не нарушают его. С безумцами ад не имеет дела. С них спрос маленький. Или никакого спроса. Чем прельстил Мефистофеля Фауст? С него спрос велик.

— А как с Лениным? С Петерисом Стучкой?

— Хорошо, что напомнили. Вам с ними не везет. Помнится, вы собирались живописать и Ленина и Стучку, и Янсона, и прочих братьев самыми сочными красками. Показать их необычайное обаяние, ум, интеллигентность, дарования. Человечность, наконец. Как это у Маяковского о Ленине? «Самый человечный человек»?

— Даже Маяковского помните? Его теперь никто не помнит.

— У чертей не бывает склероза. Преимущества бессмертия, хотя бы отрицательного. Но — отвлекаемся, отвлекаемся без конца! Не приснилось же мне: хотели вы показать, что ваши, так сказать, *бесы* симпатичнее, красивее, милее окружающим, чем ваш герой-неврастеник. Грубо говоря, вы собирались доказать, что ложная идея дает обратный знак всем достоинствам. К примеру, — помню, говорили вы себе, — железная воля для творца — замечательная вещь, а в применении к людоеду, сексуальному маньяку или к фанатику-расисту — не такая уж замечательная.

— Разве так я себе говорил?

— За точность не ручаюсь, но приблизительно... Дайте, наконец, договорить: у вас ничего не вышло! Вы к ним недоброжелательны, необъективны, вы к каждой ложке меда, неохотно выделяемой для них, добавляете бочку дегтя. Вы их не любите! А не любить их так легко в наше время. Не любить, осуждать, резать в глаза правду-матку — им, давно покойным! Попробовали бы сделать то же в двадцатых, в тридцатых годах.

— В двадцатых, смею напомнить, я еще не родился, во второй половине тридцатых — мочился в пеленки, по молодости.

— Да? А я, кажется, пребывал в том же возрасте, что и сейчас. Хм... Ленин, Стучка, Янсон. Это не наши клиенты. Они, собственно, не скрывали своей ненависти к... Всевышнему. Хорошее слово. Всевышний — он и для чертей Всевышний. Так вот, их вражда к небесам многократно превосходила нашу. Если мы признаём, что мы часть общего замысла, то они отрицают замысел. Помните, как им необходимо было расстреливать, вешать священников и епископов, осквернять святые мощи, взрывать храмы. Им нужна абсолютная вера в коммунизм. Не требующая никаких доводов и доказательств, ни с каким другим объектом не делящаяся. Закрадывается подозрение, что они знали, кто их главный враг. Побить крест пятиконечной звездой — во вселенском масштабе! Мы, признаюсь, не так честолюбивы.

— Но ведь разрушение они начинали с себя? Если главный-то алтарь — внутри человека?

— Элементарно. Саморазрушение вообще предварительное условие любого разрушения, производимого людьми. Но что же это мы расфилософствовались, да еще так школьно. Я, собственно, хотел предупредить. Вам пора закругляться. Романы такого объема не только писать — и читать-то в наше время некому.

— Да ведь будет и другое время?

— Будет? Вы уверены? М-да. Закругляйтесь, закругляйтесь. Какой там у вас сейчас год на таймере? Восемнадцатый?

— Да. Начало.

— Небось, собрались писать о Брестском мире, которого уже никто не помнит... кроме нас да узких специалистов.

— Ну, а как же о нем не писать? Помните: выезжает в Брест-Литовск на переговоры с немцами делегация, и в составе ее — Петерис Стучка... и от имени Латвии он соглашается на мир, который даже Ленин называл «похабным»...

— Однако мы-то с вами знаем, что мир заключат попозже и на условиях еще похабнее прежних. И Латвию немцам отдадут, так же как остальную Балтию, и Украину, и...

— Но и Стучка ничего не возразил. Его согласие, его участие в той капитуляции было шоком даже для тех, кто в него верил.

— Послушайте, ведь и латышские стрелки смолчали. Правда, Ленину доложили, что они недовольны. Знаете, чем он их взял? Он сказал, что готов сдать и Петроград, и Москву. С полной искренностью, поскольку правду говорил. Готов отступить хоть до Урала. Лишь бы «сохранить первое в мире пролетарское государство». Он лично обещал им скорую мировую революцию, после которой не только Латвия, но и все будут свободны. Он называл все то, что большевики несли с собой, свободой. И кажется, сам себе верил. Гений — не гений, но ведь по-своему умен он был...

— Да, и для меня эта его куриная слепота — загадка! К слову. Райнис, мой герой, о роли Стучки в Брест-Литовске знал уже в марте. Представляете, что он испытывал?

— Зачем мне представлять? Я помню.

— И я помню.

— Вот как? Странно. Так закругляйтесь, слышите?

— Слышу.

— По сугубо личным вопросам проконсультироваться не желаете?

— Во-первых, не желаю. Во-вторых, если бы и желал, то не у вас. В-третьих, пока эту книгу не кончу, у меня, как у Владимира Ильича, личной жизни почти не будет.

— Ну-ну. На прощанье: у вас там пробел. После разгона Учредительного собрания Советское правительство объявило кадетов, всю партию *врагами народа*. Выражение употреблено едва ли не в первый раз. Вот ведь как изящно. Кадеты были в городах самым грозным соперником большевиков. Миллионы голосов получили. А мы их объявим за это врагами народа. *Если враг не сдается, его уничтожают*. Помните такое изречение, если не ошибаюсь, Максима Горького, знакомого ваших персонажей. И не забудьте, что в наступившем тысяча девятьсот восемнадцатом году в России возникнет новое для этих мест понятие: концентрационный лагерь. Понятие, словосочетание и, конечно, сами лагеря.

— Как-нибудь обойдусь без подсказок.

— Это вы вместо спасибо? Не за что.

Кадеты — враги народа, соответственно произведены аресты и убийства известнейших деятелей партии.

Во времена первой русской революции П.Стучка опубликовал большой цикл статей под названием «Политическая свобода». В то

время социал-демократы клеймили позором режим самодержавия за отсутствие всем известных прав и свобод, Стучка их перечислял: «Свобода совести, слова, печати, собраний, шествий и демонстраций, забастовок... неприкосновенность личности и жилища». Всего легче политическая свобода распознается по тому, писал Стучка, в какой мере жители равны перед лицом одного и того же закона. «Там, где король и слуга, миллионер и босяк совершенно равны перед законом, там мы могли бы говорить о политической свободе... Мы требуем **всеобщей** свободы, равной политической свободы для всех людей».

В первые же месяцы советской власти **все до единой** политические свободы были отняты у **всех**. Представители бывших имущих классов были вообще лишены гражданских прав, так и назывались — лишенцы, но и рабочим оставлялась лишь свобода поддерживать правительство и его декреты. Однако свобода без права выбора — уже не свобода, и слишком многие все еще понимали это. «*Вели-ка их зарезать, как ты зарезал царевича Димитрия*», — приснилась однажды Петерису Стучке фраза из пушкинского «Бориса Годунова». Юродивый там это говорит... нет, поет, кажется. Юродивый во сне пел, — должно быть потому, что несколько лет назад они с женой слушали «Бориса» Мусоргского в Мариинке. Юродивых тоже в этой стране предостаточно! И если бы только в этой! Стучка не хотел себе признаться, что у Юродивого было знакомое лицо. Слишком знакомое. Янис Пликшан, молодой еще, в нищенском отрепье, с вытянутой на полметра цыплячьей шеей выглядывал из его сна, вращал глазами, полными синего нестерпимого блеска, пел фальцетом, козлиным каким-то: «*Вели-ка их зарезать... как ты зарезал царевича Димитрия*».

Царевича — не Димитрия, Алексея, — строго говоря, не зарезали. Расстреляли в Екатеринбурге, в июле 1918-го. Вместе с сестрами-царевнами, с царем и царицей, доктором Боткиным и кем-то еще. Стучка запамätовал, как была оформлена казнь царской фамилии: кажется, постановлением облсовета? Так или иначе, поступлено было согласно революционной совести и революционному правосознанию.

ТРИ БЕЗДЕТНЫЕ ПАРЫ

Ленин, по словам Н.К.Крупской, «меньше всего был человеком холодного рассудка, каким-то расчетливым шахматистом. Он воспринимал все чрезвычайно страстно». Но той вспышки страсти, какую в нем вызвало известие о расстреле царя и его семейства, Владимир Ильич не ожидал даже сам от себя. Было и у него детство! Была и у него первая юность, а в ней — потрясение, перевернувшее жизнь навсегда: майский день, когда в Петербурге палач затянул петлю на шею любимого брата. Всплыли из прошлого круглые от ужаса глаза матери, зазвучали постылые голоса соседей и учителей, симбирских обывателей, будь они прокляты! О страшная, раскалывавшая шестнадцатилетнюю голову боль, о ненависть ко всем окружающим, идиотам, мерзавцам и трусам, о жажда мести, немедленной, кровавой, от которой мир содрогнется! Он знал тогда, он поклялся, что гибель Саши не останется неотмщенной. Вспомнил ли царь перед смертью братьев Ульяновых? Вспомнил, не мог не вспомнить, — та казнь была событием и его жизни, и его юности, сколько лет было тогда престолонаследнику? Кажется, восемнадцать? Так мы почти ровесники? Злорадствовал он, когда наша семья умирала от горя и унижений? И вздрагивал ли, когда имя Ульянова снова стало наступать его, окружая со всех сторон, как волка в облаве? Теперь для него все кончено. Вот если бы у его папаши достало дальновидности и твердости — поступить подобным же образом со всей семьей Ульяновых... не оставить мстителей, — кто знает, а вдруг судьба его сына и внуков сложилась бы иначе? Но нет, исторически он был обречен, с Ульяновыми или без. И казнили царскую фамилию, что ни говори, отнюдь не из мести: она вредила делу пролетариата самим своим существованием, оставаясь потенциальной угрозой для новой России. Не так ли?

А в Кастаньоле политический эмигрант Наглинь опять начал записывать сны. Видеть сны было частью его работы. Так же как влюбляться. Как мучиться — своей ли болью, чужой ли. Поэт, может быть, не тогда поэт, когда перо скользит по бумаге. А когда завязывается в нем, в глубине, что-то, что когда-нибудь станет (или не станет) стихами. Наяву или во сне. Днем или ночью.

Из снов восемнадцатого года, записанных рукой Райниса.

15 февраля. Ржаное поле, берег Даугавы, в прозрачной воде — затонувшая лодка.

9 марта. Стучка. Долгий разговор, политический.

19 марта. Китайцы сидят, их много, удивляюсь, что почти такие же, как мы. Симпатичные. Хотим понять друг друга — не можем. Мама болеет, собралась помирать. Голова обвязана. Врач: если не снять повязку, она умрет. Но нельзя снять.

Клоп или божья коровка: *душа* — или?..

К. в черном пальто, стоит на четвереньках, привязан к столбу, чтобы не сбежал от жены. Протягиваю руку помощи.

2 апреля. Иныня уговаривает жениться на незнакомой девушке. Нужно писать ей открытку, не хочется.

6 апреля. Изобрел новый способ передвижения: затопить уже существующие каналы, плавать по ним на маленьких моторных лодках. Грести нельзя: узко. Дешевый и быстрый транспорт. Затраты небольшие, потому что каналы уже готовы. А пущенная по ним вода пригодится для орошения.

31 мая. И вижу: Даугава, коричнево-желтые берега, точно обожженные, вода прозрачна до самого дна. Иныня плачет, я тоже плачу горько.

6 июня. Собираюсь ехать вместе со Стучкой...

Три службы сослужил Ленину Стучка, не считая «революции права», совершенной им в одиночку. Ликвидация кризиса с Учредительным собранием и его сторонниками — раз. Брестский мир: поддержка в вопросе, расколовшем даже руководство большевиков — какое-то время Ленин оставался в ЦК в меньшинстве, пришлось даже пригрозить, что он выйдет из состава ЦК и из правительства. Поддержка в этом пункте была для Ленина *архиважной*. Это два.

Третья служба — подавление лево-эсеровского бунта. Москва, июль 1918 года.

Гражданская война, которую все всех пугали начиная с февраля 1917, давно уже полыхала, подступая к Москве со всех сторон света. «Советская территория сузилась до пределов бывшего Московского государства XVI столетия», — вспоминал И.Вацетис, человек по военному точный.

Шестого июля В.И.Ленин вызвал к себе Стучку, Данишевского, комиссара Латышской советской дивизии Петерсона. П.Стучка: «Когда мы пришли к нему, Ленин сообщил, что левые эсеры восстали и что *единственная полностью верная революции часть армии, по его мнению, — дивизия латышских стрелков*».

Ленин измучен, лицо серое. Сверля редким даже для него пронизывающим взглядом поочередно всех троих собеседников, он добивался ответа: понятно ли, что на этот раз поставлено на карту?

— Можете ли вы ручаться за Вацетиса? Петр Иванович, вы понимаете, о чем я: головой ручаться? Да или нет?

— Я... Да, я за него ручаюсь, Владимир Ильич. И они, — Стучка кивнул головой в сторону двух своих спутников, — и они тоже. Можете положиться на латышских стрелков.

— И на Вацетиса? Кивков мне мало. Извольте произнести это вслух.

— Да, Владимир Ильич.

— Он беспартийный, но... Да.

— Да.

— Ну что ж, Петр Иванович. Что ж, товарищи. Этого, пожалуй, достаточно. Вам я верю.

Иоаким Вацетис, командир Латышской советской дивизии:

«Первое — надо было удержать в наших руках Кремль. Там был расположен в качестве гарнизона 9-й латышский стрелковый полк, около 1500 бойцов. Этих сил было вполне достаточно, чтобы считать Кремль обеспеченным от захвата штурмом... В чьих руках была Москва в ночь с 6 на 7 июля? Дать определенный ответ на это довольно трудно. Мятеж был налицо. Восставшие против власти большевиков имели в своем распоряжении вооруженную силу, вполне достаточную, чтобы добиться успеха... Из состава 9-го латышского стрелкового полка были высланы две роты отбить центральную телеграфную станцию у левых эсеров, но эти роты действовали так неискусно, что были захвачены в плен, обезоружены и отведены в Б.Трехсвятительский переулок, где часть стрелков была оставлена в качестве заложников, а остальные отпущены

в Кремль. Один полк московского гарнизона перешел на сторону восставших и захватил Покровские казармы».

Председатель ВЧК Дзержинский, член коллегии ВЧК Лацис, председатель Моссовета Смидович оказались в плену у восставших.

Большевики, между тем, не доверяли и стрелкам, и Вацетису. «Командовать войсками вы не будете. Ваша задача — разработать план разгрома левых эсеров», — было сказано ему. Вацетис считал, однако, что сам должен командовать операцией — в интересах дела. Он потребовал передать его мнение Ленину.

«Прошло около получаса времени, — пишет Вацетис, — а Муралов и Подвойский все еще вели переговоры с Кремлем. Наконец они вернулись и сообщили, что тов. Ленин одобрил мое решение взять на себя руководство операцией по подавлению восстания, причем было сообщено, что они оба назначены при мне в роли комиссаров с добавлением еще двух комиссаров от ЦК латышской коммунистической партии, а именно: Петерсона К.А. и Данишевского К.Х. Следовательно, при мне было четыре комиссара: Муралов, Подвойский, Петерсон и Данишевский. Тов. Петерсон сообщил мне, что моего отвода от командования добивался очень настойчиво Троцкий и что в конце концов Лениным были запрошены члены ЦК латышской компартии, могут ли они поручиться за мою верность большевикам. Ответ был дан положительный, но Троцкий настаивал, чтобы от ЦК латышской компартии были при мне два комиссара. В течение ночи Троцкий четыре раза справлялся, не изменил ли Вацетис, причем указывал смотреть за мной зорко.

...По пути в штаб округа я заехал в штаб вверенной мне дивизии, и здесь был сюрприз. Ко мне подошел начальник штаба, бывший полковник Генштаба и заявил, что сдал занимаемую должность и покидает штаб. На мой вопрос, какая причина заставляет его в столь ответственный момент для советской власти бросить работу, он ответил: «Вы революционеры. Вы знаете, за что погибаете, а я за что погибну? Кроме того, весь гарнизон против большевиков, и что же вы думаете — кучкой ваших латышей победить?»

Вацетису — «военспецу», бывшему полковнику царской армии, не слишком доверял и Ленин. И напрасно. Сам Вацетис писал: «Латышские стрелки 17 мая 1917 года выбрали своим идейным вождем тов. Ленина и оставались ему верны непоколебимо». Верным непоколебимо и он оставался своему выбору до конца. За что был расстрелян в 1938 году. Большевиками.

Около полуночи в Кремле состоялась встреча комдива с Лениным. «Обстановка напоминала мне прифронтовую полосу на театре военных

действий, — вспоминал Вацietис. — Войдя в зал правой дверью, я остановился шагах в пяти. Через несколько минут дверь на противоположной стороне зала отворилась, и в нее вошел т. Ленин. Он подошел ко мне быстрыми шагами и спросил вполголоса: «Товарищ, выдержим до утра?» Задав этот вопрос мне, Ленин продолжал смотреть на меня в упор. (...) Почему было важно выдержать до утра? Неужели мы не выдержим до конца? Может быть, состоявшие при мне комиссары скрывали от меня истинное положение наше? Я просил тов. Ленина дать мне около двух часов времени».

2 часа ночи. «Встреча с товарищем Лениным состоялась на прежнем месте. Я ожидал появления тов. Ленина, стоя у того же кресла, где я в первый раз стоял. Тов. Ленин вышел из той же двери и таким же быстрым шагом подошел ко мне. Я сделал несколько шагов навстречу и от-рапортовал: «Не позже 12 часов 7 июля мы будем победителями в Москве». Ленин схватил обеими руками мою правую руку и крепко-крепко пожал ее и сказал: «Спасибо, товарищ. Вы меня очень обрадовали».

Вацietис слово сдержал: восстание на другой день было подавлено. «Около 14 часов весь район, занятый левыми эсерами, был в наших руках. Все войска, бывшие под моей командой, собрались около помещения ВЧК. Туда же приехал и тов. Ленин. (...) А что если выступление латышских стрелков сорвалось бы и победили бы вожди левых эсеров? — пишет дальше в своих воспоминаниях И. Вацietис. — Тогда в Москве образовалось бы другое правительство...»*

* Возможность военного поражения большевиков тревожила Вацietиса, и не его одного. «Как ни странно, но тогда настроение умов было такое, что центр Советской России делается театром междоусобной войны и что большевики едва ли удержатся у власти и сделаются жертвой голода и общего недовольства внутри страны... Меня крайне беспокоил вопрос о том, что будет с латышскими полками в случае дальнейшей интервенции германцев и появления в центре Советской России казаков и белых армий, — писал он позднее. — Такая возможность тогда допускалась, и она могла бы привести к полному истреблению латышских стрелков, в состав которых вошло почти все молодое революционное поколение латышского народа, истребление которого обрушило бы на мою голову вечное проклятие. Мне известно, что вышеприведенные положения и неясные перспективы... тревожили и стрелковую массу. Конечно, каждый из нас думал свою тяжелую думу втайне, не выдавая свою тревогу, но допуская возможные несчастья, ибо много было налицо весьма серьезных предпосылок к этому. Я как-то застал комиссара 1-й бригады Л., когда он втайне зубрил немецкий и французский языки по словарям Туссана и Лангеншнейдта. Л. объяснил мне, что он в случае свержения большевиков думает бежать в Германию и там заняться сапожным делом, для чего и изучает немецкий язык... С моим преемником Авенем у нас было условлено, что в случае занятия Москвы германцами или белой гвардией он должен будет сосредоточить находившиеся под его началом латышские полки в Псковской губернии, в районе, населенных латышами, и выждать там разгрома Германии на французском театре, после чего двинуться в Латвию и выполнить там пожелания латышских стрелков...»

Если бы наступление латышских стрелков 7 июля 1918 года сорвалось, вся история двадцатого столетия повернулась бы иначе, в этом трудно усомниться.

Особую следственную комиссию по делу о восстании левых эсеров, образованную в тот же день постановлением Совета Народных Комиссаров, возглавил — кто, как вы думаете? — П.И.Стучка.

Супруги Стучка жили в Кремле, так же как и Ленин с супругой. По указанию Владимира Ильича квартира здесь была предоставлена П.И.Стучке пожизненно (оказалось, что и посмертно: урна с его прахом будет вмурована в кремлевскую стену).

А друг его юности Плиекшан-Райнис снимал по-прежнему две комнаты в гостиничке, выбранной им за дешевизну. Аспазия в это время тоже живет в Кастаньоле. Россия — Швейцария. Москва — Кастаньола. Три бездетные пары...

Что знал Райнис о происходящем в Москве? О Петерисе и Доре? Мало. Только в мае он убедился, что оба живы.

Живы! Вокруг столько смертей. Чего бы он ни отдал, чтоб не сидеть на берегу той реки, не видеть проплывающие мимо, плохо различимые под слоем бегучей воды лица. Умер в Петроградской психиатрической больнице Янис Янкавс... проплыло и его скрюченное, точно у зародыша, бедное тело. Но ведь и отца, и мать, сестру Лизе, братьев Эльзы и ее мать унесло в те же дали той же рекой. В феврале 1918 утащило под воду Наталью Робиню. Как она была мила, по-детски доверчива и на щеке ямочки, — латышечка, студентка; все последние месяцы сидела над подстрочниками «Огня и ночи» для француза Камилля Мобера, взявшегося перевести пьесу Райниса. И еще была она человеком, целиком разделившим тревогу поэта о его языке и народе. Уже смертельно больная, вспыхивала и сжимала кулачки, говоря о планах пруссаков пожрать Балтию, менялась в лице, читая злобные пасквилы на свою родину, старалась протиснуть хоть словечко правды на страницы равнодушных, если не враждебных газет.

Был еще русский один, Николай Щетинин. Жил он в Рувильяне — метрах в ста от Кастаньолы вверх по склону горы. Станный человек

с добрым истощенным лицом, замученный болезнями, передвигавшийся уже только с помощью инвалидной коляски — но живой и увлекающийся людьми и теориями до самозабвения. Болезни приобретены были в российских тюрьмах: наследник старинного дворянского рода, он участвовал в революции Пятого года, в Петербурге развернул тогда культурную работу среди пролетариев. Подумать только! — многим и в голову не пришло бы соединить восстание и культуру. Да и разве они соединимы?

— Когда говорят музы, пушки молчат? Черта с два! Без культуры не было бы и пушек: средневековые орудия были еще и произведениями искусства, вам ведь доводилось видеть эти бронзовые литые стволы с львиными головами, с витыми рукоятями, исполненные истинными художниками? — это он говорит, как всегда чуть захлебываясь словами, как бы спотыкаясь под их напором изнутри. Неизвестно что: какая-нибудь из его хворей или одиночество или одна из древних мистических сил, в которые он верил, — что-то законсервировало в нем облик вечного юноши. Сколько бы он ни прожил, он умрет в двадцать лет, думал Райнис. Немного революционер (с годами отошел от политики, но продолжал считать себя социал-демократом, меньшевиком), немного философ, немного естествоиспытатель, немного литератор, немного мистик. Он разбрасывался, но работал непрерывно: читал, думал, писал, когда же болезнь отрывала его от занятий, впадал в такую черную меланхолию, какой Райнис и не думал никогда встретить в другом человеке.

Сошлись они на интересе к мифологии и фольклору, к Индии и... и к Райнису и Аспазии. Сказать «интерес» — значит ничего не сказать. Он вцепился в «Рейниса», как почему-то он стал называть его устно и письменно; вначале, видно, ослышался, у Райниса как-то не хватало духу поправить его, да и зачем? Рейнис так Рейнис, первое его стихотворение появилось в «Диенас Лапа» как раз с этой опечаткой. Николай вцепился в свежего собеседника, точно утопающий в своего спасителя: вот-вот утащит за собою на дно. Или в небеса свои, в мечты, горячечные, как у семнадцатилетнего. Инфантилен он не был — но был хронически молод.

Переписка между ними, отрывочная, на открытках, причем простым карандашом часто исписывались обе стороны открытки, — переписка эта возникала, если Райнис или Аспазия не могли подняться в Рувильяну или на какое-то время уезжали из Кастаньолы. Писали Щетинин и Наглинь друг другу по-русски, хотя Николай недурно владел и немецким, английским, французским. Два из многочисленных начинаний Николая захватили и Райниса. Первое — работа, посвященная змеям, их роли в мифологии разных народов, медицине и т.п.; тут Райнис сделался почти соавтором, доставляя больному сведения и примеры из латышских

и литовских песен, сказок, поверий. Другая работа касалась гностицизма; причудливая смесь веры и знания, античной философии, христианских догматов и древнеегипетских жреческих тайн обретала в его восприятии неожиданную цельность; во всяком случае, русский купался во всей этой материи, как рыба в воде.

Вот несколько открыток из тех, которыми обменялись два изгнанника.

Щетинин — Наглиню, 1.1.1916.

Многоуважаемый г-н Рейнис, спешу поздравить Вас и Вашу жену с Новым годом и новой победой латышских батальонов.

Щетинин — Наглиню, без даты.

Многоуважаемый г-н Рейнис,

Вас, может быть, удивило, что я еще не высказал своего мнения о Вашей драме? Прошлый раз я умышленно не затронул этого вопроса, т.к. еще не успел ознакомиться с последними двумя действиями и хотел высказаться только после ознакомления с целым. В настоящее время спешу принести Вам искренние поздравления. По глубине высказанных мыслей, тонкой обрисовке характеров и высокому поэтическому подъему Ваша пьеса составляет ценный вклад в мировую литературу. Высокие достоинства Вашей драмы я мог оценить даже в той неудовлетворительной передаче, в которой мне пришлось с ней, к сожалению, познакомиться. Хотелось бы скорее увидеть ее изданной в России в достойном ее литературном переводе. Глубоко сожалею, что я не могу ознакомиться с оригиналом. Не окончила ли г-жа Рейнис своего перевода на немецкий язык? Я многого от него ожидаю.

Щетинин — Наглиню, 30.5.16.

Дорогой товарищ, как Вы поживаете в Лозанне? Когда думаете возвратиться? Без Вас здесь скучно и не с кем поговорить о своих работах. Я сейчас изучаю Панчатантру и Сомадеву-Бхату. Эти сборники древнеиндийских (большей частью буддийских) сказок и сказаний представляют большой интерес. В них прототипы почти всех европейских сказок, особенно славянских. В «*Zeitschrift für Ethnologie*» нашел перевод латышских народных песен мифологического содержания, их глубочайшая древность не подлежит сомнению. Пожалуй, древнее Вед. Содержание полно величайшего интереса... Очень берет меня соблазн заняться санскритом. Есть приятели санскритологи, которые могут дать указания для начала.

Наглинь — Щетинину, из Лозанны, 31.5.16.

Дорогой товарищ, Вы поймете, как я обрадовался Вашей открытке... Мне тоже кажется, что латышские песни древнее индийских вед, так выходит из Вашей теории.

Щетинин — Наглиню, 18.7.16.

Весь день провожу на балконе, не вижу решительно никого и уже месяца два не открывал рта за отсутствием случая для разговора. Очень был бы рад Вашему возвращению. А то я здесь боюсь разучиться говорить. Живу как схимник «в затворе». Солнце у нас сейчас великолепное. Даже кусается.

Наглинь — Щетинину, 22.7.16.

Вы когда-нибудь увидите Россию, я — никогда... Скоро собираюсь быть в Кастаньоле. (Несколько слов неразборчиво)... я делаю то же, и до сих пор у нас полное сходство. А потом уже наши дороги расходятся. Впрочем, до свидания.

Щетинин — Наглиню. Без даты.

Я очень занят своими гностиками, и результатами работы пока доволен... Я за это время два раза видел Вас во сне: один раз участвовал в избрании Вас депутатом от Пензы, а другой — был министром и поспешил первым делом Вас амнистировать. Знаете теорию Фрейда? Сны — исполнение тайных желаний. Посылаю Вам еще все подробности о смерти Распутина, как они изложены в «Русском слове».

Щетинин — Наглиню, 5.2.17.

Дорогой товарищ, я хотел бы иметь Вашу фотографию. Поищите, не найдется ли у Вас для меня экземпляра, и сделайте мне на ней надпись! Посылаю Вам статью Рубакина, которую получил вчера от Кирхенштейна... 181-й полк, отказавшийся стрелять в стачечников, — тот самый полк, в котором мой Владимир, Вы его знаете. Я недавно получил от него письмо, их полк отправляют из Петрограда на фронт. Не поэтому ли? И не в самое ли опасное место?

Наглинь — Щетинину, 7. 2. 17.

Встретить доброго и умного человека — это счастье, оно поднимает из злобы дня в высшие сферы объективности. Вас ранние несчастья

и сама природа предназначили для высшей жизни и станут Вам в ней звездой. Я счастлив, что встретил Вас, и все, что могу Вам сказать: не препятствуйте Вашей звезде.

Щетинин — Наглиню, 10.2.17.

590

Благодарю за прекрасные фотографии и за сделанную надпись. Только вот что: моя звезда не путеводная *stella maris* — Изида, а созвездие Скорпиона, посвященное злему богу Сету.

Но благовоспитанные люди могут говорить о своих страданиях только в юмористическом тоне. Повешенный нос есть самый неприличный из всех предметов, а погибать следует только за последнею баррикадой.

Наглинь — Щетинину, 13.2.17.

Милый, дорогой товарищ, дайте простор своей душе и своему уму, не огорожайте их тоскою и горем, предчувствиями и предсказаниями и другими сентиментальностями. Все это хорошо только тогда, когда понимаешь жизненную силу. Эта сила — главное орудие личности. В личности такая мощь, что ей равняется только атом, самодержец мира. Против личности все грозные императоры и скорпионы смешны. Возьмите в руки свою личность — и возьмете свою судьбу... Вот Лозинский не управлял собою и погиб. Вы хотите, чтобы все далось Вам без усилий? Усилия — это движение, и это радость. Или трагедия, все равно. Погибнуть без борьбы и без работы — это смешно или скучно. Но кричать о своих болях можно. Греки того не боялись, а умирали как герои. Не на баррикадах одних можно умирать героически.

В поздней своей книге «Кастаньола» Райнис посвятил Щетинину главу. «Однажды ночью нам передали просьбу срочно навестить его, но собравшись и придя сразу же, мы нашли его уже умершим. По смерти его мне пришлось принять на себя обязанности душеприказчика, *tuttore*, у меня и теперь еще сохранилось удостоверение волостного суда Кастаньолы, подтверждающее это. Имущества он почти не оставил, — хватило только чтобы оплатить его мелкие долги. Рукописи Щетинина сданы на сохранение в волостной суд. Хоронили мы его на красивом Кастаньольском кладбище — очень просто, очень сердечно. Он был из богатой старинной дворянской фамилии, с огромными именьями в Пензенской и Уфимской губерниях. В поместье под Уфой одних овец у них было около 10000. Война и революция разорили и семью, и его самого: от всех овечьих отар у него не осталось и столько шерсти, чтобы связать

пару носков. А его научные труды — кто их закончит, кто издаст? В него влюбилась русская дворянка, очень красивая, мне довелось ее видеть: да, точно, красавица. Он из-за своей болезни не захотел связывать ее, и потому выдумал какой-то там «идейный конфликт»; та уехала, где-то в лесах Финляндии построила себе дом, стала торговать — и весьма успешно — пушниной. Так рассказывал сам Щетинин, удивляясь, как в него, калеку, могла влюбиться красивая женщина; но он был сильным духовно и глубоким человеком. Мне кажется, это многое объясняет... Щетинин мог бы быть героем психологического романа, вобравшего в себя время, — кто его напишет?»

— В чем загвоздка? Как бы не хватает чего-то? — справился красноносый карлик, ерзающий на стуле-вертушке возле моего пианино; он привлек мое внимание деликатным покашливанием. Раньше там карлика не было. В человечке было три вершка росту, и нос его был, собственно, не красным, а сизоватым, распухшим и с сиреневыми прожилками. Черт подсунил мне себя в виде карлика-алкоголика, синюшника, я бы сказал. В порядке предупреждения, что ли?

— Оставьте в покое мой нос, — сказал карлик резко. — Мне не до этого, вам не до этого. Спрашиваю: вам не хватает чего-то, ведь так?

— В каком смысле?

— Ну не в этом же, — ответил карлик раздраженно, покрутив пальцем у виска. — Щетинин у вас неполон, так?

— Так. Чувствую, там было больше.

— Еще бы. Этой их переписки вообще могло не быть, их связывала живая речь. Этот умирающий, все еще довольно молодой человек, влюбился в Райниса, в его, кхе-кхе, душу. Райнис — его последний собеседник. Если угодно, я открою ненадолго слуховой коридор... звуковую дорожку в прошлое, можете послушать их. Минут десять, пятнадцать, больше не обещаю.

— Но как?..

— Черт побери, звуки записываются в облаках, застревают в стенах, тканях, в зеркалах. Да и какая разница? — что за народ эти авторы, уму непостижимо!

— Все-то вы раздражаетесь. И какая вам корысть...

— Черт — так уж обязательно и корысть? Делюсь с вами информацией. Информационный взрыв вообще проходит по нашему ведомству, и я бы поосторожней на вашем месте... Хотя, что уж там, ящик Пандоры открыт, обратно нич-че-го не запихнешь. Ящичек Доры — Пандорры, — пропел карлик, крутясь на вертушке и пританцовывая узловатым

тельцем, помаргивая, гримасничая. — Мы из данайцев, дары приносящих, — сообщил он, оседая и проваливаясь: был карлик — нет карлика.

Зато обещанный звуковой канал открылся: приглушенные, точно из незримого радио, далекие голоса. Райниса было почти не слышно, и слова оказывались неразборчивы, как его почерк; другой же голос был тенороват, взвинчен, срывался порою почти на фальцет: Николай захлебывался речью, то ли наголодавшись по слушателю, то ли в горячке.

— Знаете, я даже сны стал видеть филологические! Не хотите ли побеседовать с господином Н., замечательный тип! Ах, вы с ним говорили? Думаю, это знамение времени. В Европе теперь все решительно фальсифицируется, так вот это — маргаритовая интеллигенция.

Александр Кач им скоро

Сделал нос из мельхиора.

Почему вы не спрашиваете, кто такой Александр Кач?

— Бу-бу-бу, — бубнил неразборчиво второй голос, пытавшийся успокоить.

— Милый Рейнис, я вас так понимаю, когда вы объясняетесь в любви к латышам. Все мы, наверно, так устроены. В других нациях нам бросаются в глаза изъяны. Англичане чопорны, французы скупы и поверхностны, к тому же лягушек едят, немцы... ну, о немцах что ж говорить, мы теперь не можем судить о них непредвзято. Евреи талантливы, но жадны до денег, итальянцы с живым воображением, но непостоянны как дети... и этак мы все народы можем перебрать. Небось, и в нашем брате русском вам со стороны видны все изъяны. И мы не слепые, и мы их видим. Но Боже мой, с какой неприличной торопливостью я отдал бы десяток вежливых, отлично вышколенных и обязательных европейцев за одного соплеменника! В том смысле отдал бы, что если бы мне напарника предлагали на необитаемый остров до конца дней... Или в кругосветное путешествие, или несчастье какое вместе терпеть, голод там или несвободу. Нет, не думайте: я не только не шовинист, я даже, грешным делом, думаю, что шовинисты наши — не совсем русские, не по крови, кровь у всех смешанная, и кто ж ее проверит дальше бабушки с дедушкой... а в смысле характера. В истинных русаках есть застенчивость, природная какая-то стыдливость, они своей русскостью не токмо не размахивают, не хвастаются, а как бы стесняются себя. Вот прочтите всего Чехова. Самый русский, самый естественный наш писатель из всех. Ни разу, нигде не сказал ни единого слова специально в похвалу своему народу. А зато сам — весь! — и есть похвала. А вот посмотрите, Рейнис, — друзья наши, швейцарцы. Говорю о людях нашего круга. Культурные, энергичные, умные, — и абсолютно предсказуемые, то есть в каждом слове и поступке, лет на пятнадцать вперед. И —

скучные до зевоты, до нервного, знаете, неудержимого разевания рта. Они, понимаете ли, и рождаются и умирают с готовым на все ответом. Они окончательны и самодостаточны, как точка. А наш брат — сплошной вопрос. Господи, мне ли не знать, сколько бестолкового, расхристанного, неряшливого в россиянах, как мы ленивы и невежественны, как умеем проматывать свои и чужие жизни, выбрасывать на ветер! Но самодовольства этого, удовлетворенности собой, решенности заранее, разложенности по полочкам — нет, этого нету. Мы ищем ответов, как другие денег и благополучия, мы бы от швейцарской законченности и предрешенности жизни от колыбели до могилы сдохли бы, руки на себя наложили. У нас самый презируемый пьянчуга смысла жизни домогается, у нас голая душа выглядывает даже из купца-миллионщика — высовывается из-за всех его шальных богатств и плачет как осиротелый ребенок. Но можете себе представить, Рейнис, я вполне чувствую, что снаружи могут быть видны одни лишь неприглядные и безобразные наши стороны. И что швейцарец, француз или китаец изнутри видят и слышат в родном характере, в языке, в песне такую изумительную красоту, какая нам и не снилась. Нет, дорогой поэт, я очень понимаю и догадываюсь, какие единственные вещи вас связывают с вашими соплеменниками, а поскольку вас мало, то и тоска, и боль ваша остра и оправданна...

— Николай, накройте лучше... вы открываетесь все время.

— О, я хотел бы открыться. Вам, любимой, всему человечеству. Но уже не успею.

— Успеете...

— Успение по-русски — кончина. Вы мудрец, мой друг, иногда я боюсь вашей мудрости. А вы свою мудрость возьмите да перехитрите. Перемудрите, а? Крысы бегут на корабль, к чему бы это? Я не брежу. Догадайтесь? *К потопу*. Перед всемирным потопом спасаются крысы.

— Бу-бу-бу...

— Я придумал единицу измерения интеллекта: дебил. Умственные способности отдельно взятого юноши-дебила берутся за эталон. Олигофрен будет — минус три дебила. Полковник Скалозуб, скажем, полтора дебила, член Государственной думы в среднем три дебила, а вот есть такой молодой ученый Эйнштейн — верите ли, дебилов на 800 потянет. Что? Вы? Вас в дебилах не измеришь, вас надо — в децибелах. Вы открываете рот в Кастаньоле, а вас слышат в Риге. Какая сила звучания! Какая насыщенность!

— Т-с!.. Кажется, уснул.

— Часть больше целого! Один человек бывает больше, чем племя, его породившее. Христос больше толпы отвергающих Его, а каждый из апостолов — больше своего народа и своего поколения. Земля крупней

мироздания, вблизи. Космос весь, быть может, вмещается в один-единственный атом. Но не больше ли Космос, Мир Божий, чем люди, народы, планеты и галактики?

— Вы думаете вдоль: «да», «нет». Я — поперек: нет смысла ни в вашем «да», ни в вашем «нет». Человечество в трясине и пытается вытащить само себя за волосы, как Мюнхгаузен тащил себя из болота. Но это дохлый номер, простите за выражение! Вам дана была внешняя, другая сила: Бог. Идея Бога, если хотите, нравственный закон, который, как звезды — вне вас, не вами создан, не от вас зависит. Вы его отвергли — и гибнете.

— Вы?

— Конечно, вы. Я не в счет. Сколько мне осталось?

— Я верю в бессмертие.

— Личное? Персональное? Бессмертье без Бога? Интересно, как вы меня представляете — там, по ту сторону, — тоже в инвалидной коляске?

— Вы упрощаете сложное, упрощаете до смешного.

— До смешного? Да, до чего же смешно... Смеюсь, задыхаюсь от смеха — видите?

— Николай... отвар... он поможет... выпейте, хотя бы глоток.

— Шигалев — ваш Ленин! Шигалев напополам с Верховенским! Выходя из безграничной свободы, заключает безграничным деспотизмом. А все — безбожие. Фаусты доморощенные, прометейчики. Прометей на Зевса восстал — а вы? Выхватили кусочек из вселенских тайн и возомнили, что мудростью превзошли и Отца, и Сына, и Святого Духа? Да и к чему им — дух? Тем более — святой? Им материю подавай. А материя-то подыхает. Мрет. Разлагается! А дух — живет и сияет. Упрощенцы, вот где упрощенцы! Упрощают мир до себя. А кто на упрощение не согласен — к стенке!

Не хочу свободы! Не хочу по колено в крови... в дерьме, не желаю! Подавитесь вашей свободой! Согласен на оковы самодержавия, на либеральную фразу... На черта согласен, на дьявола: все лучше вашего... светлого... будущ... *Крысы бегут — с корабля на бал.*

Я тут лениво умираю, а они девочку мучают... Рейнис, вы куда?

Щелкнуло что, невидимо, в воздухе. Голоса пропали.

— Рейнис, вы куда? — спросил Щетинин в последнее их свидание, перед разлукой, из которой никогда уж не вынырнул. *Вы-то куда, Николай? Знать бы,* — думал Райнис.

И русского протащило вниз по течению, лицом в волны.

Еще одна фраза из бормоченного им в полубреду вспомнилась почему-то. «Одни кричат: хаос, ничего кроме хаоса! Другие: ах, созвучия, ах, гармония. Одни все про жизнь, все про жизнь. Другие — все смерть да смерть. Что ли, не знают: умереть может только живой, только мертвый может воскреснуть».

Сестре Доре. Кастаньола, 25.5.1918. (В Москве письмо получено в июле, уже после разгрома восстания левых эсеров).

Милая, дорогая, золотая сестренка, какой у меня сегодня большой день! — получил от Тебя первую весточку, первый знак жизни после страшно долгого перерыва, словно от самого детства... Милая моя маленькая Шишечка... Детство и весна человечества — они были общими для нас, общими и останутся. И права Ты, вспоминая Фрейлиграта: «*O lieb, so lang du lieben kannst*», — «Люби, пока ты в силах любить». Любовь да будет в конце, как была она и в начале; хорошо, что есть она и посередине. У меня на ней основывается и политика, как бы неправдоподобно и парадоксально это ни звучало, я могу это доказать...

Мы с Эльзой много хворали, месяцами не вставали с постели — старые болячки все сильнее донимают, теперь еще и с почками неладно. Я тоже седой уже, как и бедняжка Петер, только он еще способен работать как юнец. Пусть держится! Скажи ему от меня доброе слово! — был и он моей первой любовью.

Мои материальные обстоятельства: с начала войны никакого заработка, в позапрошлом и прошлом году Паулс Дауге присылал. Вот уже год получаю пособие как больной эмигрант, но теперь с этим все. Видны будущее? Никаких. Латвия и латышский народ уничтожены, для кого теперь писать по-латышски? Писать на другом языке? Трудно вживаться. Остается переводить... Но у меня и другая надежда: я очень мало трачу, ем только молоко и хлеб, одеваться здесь хорошо не нужно... Не мог работать, видя, что революция гибнет, но может, ее еще удастся спасти?

Будем жить и с переломанными костями и если понадобится коммунибудь, нас позовут. Целую Тебя, маленькая Шишечка, и несую Тебя на руках, как когда-то в нашем ясном детстве».

Никогда больше он не поссорится с Дорой. И с Петерисом, по крайней мере вслух. Те дни, когда он считал их погибшими, выжгли прошлую боль, вражда выгорела дотла. Может быть, это случилось еще раньше: когда Иосиф в его пьесе отказался мстить братьям. В нем не осталось яда, нисколько. Хорошо это или плохо? Как бы то ни было: не осталось.

Паулсу Дауге. Через два дня.

Когда я думаю вернуться домой? Нет у меня дома. Латвии больше нет, латышского народа нет больше, — куда мне возвращаться? Когда у кого-нибудь возникнет надобность во мне, позовут, и я приду — как всегда шел туда, куда звал долг.

...Я тоже думаю, что на Твоей стороне сделаны бесчисленные ошибки, но я враг только этим ошибкам... Верно и то, что идеал никогда не воплощается так, как было задумано: французская революция тоже была проиграна и все-таки была великим событием, и ошибка — этого не признавать.

Французская революция тоже была проиграна? Тоже? Так Россия проиграла свою революцию? Бесспорно. Он это знал.

Райнис — сестре Доре и Петерису Стучке. Кастаньола. 19.10.18.

Милые мои, дорогие, вновь найденные, теперь все будет хорошо между нами, возвращается наша молодость...

21.10.18. Все сомнения пропали, все исправило и повернуло к лучшему одно-единственное слово от вас, от глубины ваших душ, от женщины, от Дорочки. Последнюю основу и оправдание каждой идеи ищи у женщины, у чувства. Дора сказала: если не суждено нам вместе победить, тогда умрем вместе. Это слово, понятное мне, тут я с вами и ваш. Мои мысли и взгляды вам известны, мои чувства — больше: в них я сам, т.е. моя поэзия. Моя деятельность вся в том, что я писал, всем открыта, — другой, закрытой у меня нет, хотя политики не могут этого понять и в это поверить. Такой же открытости и правды я требую, только такой может быть политика.

22.10.18. Я хочу Латвии и свободы; нельзя уничтожать в истории народы и личности, они живые организмы, я и сам такой же, живой, свобода — все равно что возможность жить. Эту свободу для народов жить и развиваться я всегда искал в социализме или в коммунизме, как вы это называете, ее не может дать капиталистическое государство и хозяйственное устройство. Где идет решающая борьба между капитализмом и социализмом, я могу быть только на стороне социализма, как всегда, если учтут то, что забыли в пылу борьбы: нацию.

24.10.18.

С согласия врача могли бы ехать только весной, без согласия — в любое время. Лучше один год прожить со своими, чем десять лет с чужими. Но к какому делу вы меня приставите? Пригожусь ли я вам в практической сфере или только своей беллетристикой? Я бы охотно занялся практической работой, чтобы отдохнуть от литературы, но сможете ли вы мне доверить что-то, — мои телесные силы невелики, и духовно я отчужден от жизни.

(...) Домой мне нужно бы попасть, чтобы впитать в себя новую жизнь, ведь и поле не рождает, если долго нет дождя. Я доставал изнутри, из себя, как радий излучает вечную силу — вечно умирая. Правда и то, что трудно мне будет снова возвращаться в жизнь и к людям: я был наедине с собой и с историей, с образами фантазии; я избалован мягким климатом и духовно — дружелюбием окружающих. Но — нужно идти и обновляться.

И наконец — письмо Петерису Стучке, первое за годы и годы, адресованное лично ему. Райнис только что получил и прочел «Сборник латышской литературы» на русском языке под редакцией Горького и Брюсова, с предисловием покойного Янсона-Брауна. И пишет Петерису (считая его и Дору составителями книги):

Сильно представлена латышская литература другому народу! Свой характер и стиль, обаяние и стремительная, влекущая сила, полнота и единство, элегизм, — точно ранняя весна в поэзии. Главная заслуга — составителей. Жаль только, что автор предисловия столь смиренен, он словно извиняясь заводит нас с черного хода, хотя мы вполне можем зайти и с парадного. Составители понятливей, вы — светлые литературные головы, не отпирайтесь! Здесь видится большое понимание и чутье, схватывающее сущность и суть поэзии. В таком небольшом сборнике дать понятие о большом организме! В вас больше силы, чем вы хотите показать. Не скромничайте и не скрывайте своих чувств. Вы ведь все-таки любите свой народ! И Ты, П.с.о.*, со всем своим негодяйством, Ты тоже любишь свой народ, как бы Ты его ни гнал, ни преследовал, ни желал прикончить, оставив лишь в зоопарке или музее образчики латышей — для будущего... Но теперь я не верю Твоей ненависти к латышам, — из любви Ты и ненавидишь, скрытный Ты человек, все юмористы прячут свои чувства. Ты мне причинил много боли, не всегда я Тебя понимал, готов был скорее погибнуть вместе с народом. Ну теперь-то не прячься больше, открой свою любовь, чтобы народ мог восстать из могилы и — через социализм — жить. Свободная, т.е. социалистическая Латвия и новый, свободный социалист. мир, — такова была моя первая формула в поэзии, ее вы тоже не поняли...

Письмо написано 7 ноября. На следующий день в Германии началась революция. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола. 11 ноября немцы обратились к странам Антанты с предложением перемирия. 13 ноября Советское правительство объявило Брестский мир аннулированным. Первая мировая война фактически закончилась.

* Шутливое обращение, принятое между ними еще с времен гимназии: П.с.о. — Петерис, сын отца.

В Латвии 17 ноября образован предпарламент — Народный совет из представителей Крестьянского союза, социал-демократов и других политических сил. 18 ноября в 4 часа пополудни торжественно провозглашена независимость Латвии. Главой временного правительства назван агроном Карлис Ульманис.

— Опоздали! Опять опоздали! — говорил жене Петерис Стучка, шагая по комнате из угла в угол так стремительно, что казалось — вот-вот задевет, уронит что-нибудь. Но нет: не задевал, не ронял. — Только что мне передали подробности. Второй городской театр — помнишь его? Бывший русский. Зал переполнен. Речи так себе, но никакого шовинизма, все — за права нацменьшинств. Большевики сияют, у них в предпарламенте 10 мест из 40. Доктор Калныньш, представляешь, возвестил со сцены, что свободная, независимая Латвия — не самоцель, а средство достижения социализма! Как его там живьем не сожрали. Но теперь нам полгода расхлебывать всю эту кашу, доказывать, что Ульманис самозванец, Народный совет — антинародный, да и не совет вовсе, что большевики врут напропалую, что...

— Стрелки докажут, — произнесла Дора негромко.

— Что-о? Что ты сказала? — седой толстяк с легкостью, почти юношеской, подбежал к жене, приподнял ее от полу, закружил.

— Сумасшедший! — шутя отбивалась Дора. — С твоим сердцем...

— Знаешь, кто ты? Адепт, выражаясь языком твоего братца. Ох, боюсь я за него... Если он окажется с большевиками...

— А он окажется, — грустно откликнулась женщина, уже отпущенная.

— Уж лучше бы...

— Что? Что лучше?

— Ничего...

Вот оно как. Мысль еще не успела оформиться в слова, а Дорочка уже услышала, поняла, испугалась. Иной раз кажется, у них один ум на двоих, одна душа, если употребить столь немарксистское выражение... Он не подумал — он как бы увидел на миг: Янсон-Браун жив, а его шурин... а поэт Райнис, возвращаясь на родину морским путем... Нет-нет, он не желал человеку-Райнису гибели, ни в коем случае. Но если бы в это сложное, путаное время окончился — трагически, как и подобает, — путь поэта, каким, в сущности, счастьем это обернулось бы для него и его стихов, для партии и латышского пролетариата! Ведь сейчас от него можно ожидать чего угодно: это последнее его письмо — ну просто ни в какие ворота!.. Некогда, некогда, некогда! Опоздываем, как всегда; я в цейтноте. Ленин чувствовал себя, наверно, так же в октябре семнадцатого. Ах, Райнис, Райнис.

СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

23 ноября на внеочередном заседании Российского бюро Центрального комитета ЛСД Стучке, Розиньшу и Ленцманису поручено составить манифест Советского правительства Латвии. 4 декабря ЦК ЛСД утвердил временное Советское правительство Латвии в составе девяти человек во главе с председателем — П.Стучкой.

17 декабря: в Москве правительство Стучки публикует манифест, в котором провозглашает переход всей власти в Латвии в руки Советов.

20 декабря: Стучка, Данишевский и Петерсон выезжают поездом из Москвы — через Петроград — в Валку, небольшой город на границе Эстонии и Латвии.

В ночь с 21 на 22 декабря: в Валке, в вагоне поезда проходит первое заседание правительства Советской Латвии.

23 декабря. Совет Народных Комиссаров РСФСР издает за подписью Ленина декрет о признании независимости Латвийской Советской республики и ее высшей власти — *«правительства рабочих, батраков и стрелков Латвии, во главе которого стоит товарищ Стучка».*

Уже 18 декабря красные латышские стрелки были в Огре, 22 декабря — в Валмиере, 23 — в Цесисе. По оценкам германской разведки, большевиков в это время поддерживало около 65 процентов латышского населения.

2 января правительство Ульманиса выехало из Риги в Елгаву.

4 января в Ригу бронепоездом прибыл Петерис Стучка.

— Слыхали? Не трудитесь открывать глаза, меня можно видеть и так. Слыхали или нет? Как в девяносто седьмом году доносили в Петербург секретные агенты: Стучка — латышский король!

— Так уж и король.

— Король, король! А сестра ваша — королева. Хотя и некоронованная. Далеко не у каждого европейского... и даже африканского монарха возможности, как у вашего старого друга. Он волен над жизнью и смертью подданных, он казнит и милует ежедневно, — большей власти попросту не бывает! Как я понимаю, спор двух адептов закончен? Вы проиграли по всем статьям!

— Почему это я проиграл?

— Помилуйте, кто он и кто — вы? Он — еще вчера могущественный министр громадного государства, самого крупного на планете по территории и... по способности к саморазрушению. А эта способность, отвечающая второму, если не ошибаюсь, началу термодинамики, — всем способностям способность! Закон природы. Кстати, о законах. Это он, ваш друг Петерис, написал декрет, отменяющий все сословия, все разряды и классы в России, — что, не знали? Он, он. Это он пнул ногою под зад всю вообще юстицию. Между прочим, ваши же старые стихи вспоминал при этом, из первой книги, как там? «*Fiat justitia*»? Это он фактически заменил все законы «революционной совестью» и «революционным правосознанием». Еще немного, и законы природы... некоторые, глядишь, отменил бы тоже. Закон сохранения энергии, например, вполне буржуазен. Теперь Стучка — *красный владыка Риги*. Так его прозвали. Вы всю жизнь рассуждали о социализме, а он его принес. На штыках. Ах, острота каждого штыка, знающего дорогу в нежную плоть человека, в ваши уязвимые потрошки, «унутренности», как говорил не помню кто... Острота. Во множественном числе — остроты. Ведь он неподражаемый юморист, ваш Стучка? А теперь возьмем, извиняюсь, вас. Взгляните на себя. Что вы видите? Беспомощный, седой старик с трясущейся головой, живущий на пособие для больных эмигрантов, не властный даже над своей жизнью, не говоря о чужих... Книги, говорите вы, стихи, пьесы? Еще немного гражданской войны в Латвии и России, красные и белые окончательно перебьют дееспособных мужчин, уморят голодом детишек и женщин, и где, спрашивается, ваши читатели, зрители? Да и разрешит ли товарищ Стучка оставшимся в живых читать ваши творения? Все, кроме революционных и пролетарских? Советская власть, знаете ли, строга, особенно к спекулянтам, попам и поэтам.

— Наконец-то я понял. Уразумел. Все гадал: какой смысл в этих ваших... появлениях. Откуда такое внимание и чуть ли не благоволение? А цель-то — вот она: дожидаться самой скверной минуты и попинать ногами, сесть верхом на поверженного, понаслаждаться моим поражением, выпить по капле, до дна всю сладость моей горечи, моей беспомощности, моей смерти. Так, что ли?

— Не без того. Но рассужденье ваше плосковато... даже и на вас не похоже. А что если ваша гордыня для нас, мефистофелей, будет послаще вашего бессилия? А что если ваш друг-то полущарственный, Стучка, чем больше наверху, тем больше внизу? Погодите еще, из него идола сделают, статую, — люблю это слово по-русски со старым петербургским ударением на втором слоге, — и... и из вас, может, тоже. И буду я беседовать поочередно то с его, то с вашей статуей.

— Почему это вы, мефистофели, как вы изволили выразиться, так говорливы, а другая сторона, о существовании которой вы мне все намекали, молчит и молчит? У Гете Бог-отец действует хотя бы в Прологе на небесах.

— На этот счет есть различные мнения. Некоторые называют языком другой стороны... но нет, выражение неточно: тут сторона, стоящая, так сказать, над всеми возможными и невозможными сторонами. Так вот, язык этого... если хотите, персонажа Гете, по суждению одних — горы, реки, деревья, облака, радуги, молнии, свет. Другие же утверждают, что голос Бога в человеке — совесть. Разумеется, только не *революционная совесть*, та — исключительно в нашем ведении.

— Хорошо, хорошо. Я устал. Черт в наше время — не худший собеседник, но иной раз вздохнешь и по ангелу.

— Так ведь вас крестили в младенчестве, так что при вас имеется ангел-хранитель.

— Не замечал.

— Есть, есть у вас ангел. Иной раз мне кажется, что я — его тень.

— А на самом деле?

— На самом деле, может быть, я — это вы? Одна из ваших ипостасей? Многие предполагали, вслух или молча, что Мефистофель — всего лишь один из псевдонимов Фауста... и что оба, Фауст и Мефистофель — не что иное, как Иоганн Вольфганг Гете собственной персоной... И опять у вас в глазах недоверие. Что бы я ни сказал, вы подозреваете подвох.

— А разве его нет, подвоха-то?

— Есть, как не быть. Прощайте, Наглинь. Я с вами что-то разоткровенничался. До скорого.

— До скорого? Ишь ты...

К чертовщине каким-то боком относились и спиритические сеансы; начало этих опытов — в юности, когда Янис Плиекшан слушал в университете лекции академика Бутлерова, никогда не упускавшего случая поговорить о «медиумизме», как он это называл. Знаменитый химик выпустил целую книгу на эту тему; Петериса она оставила равнодушным,

Янису врезалась в память, да так в ней и осталась. С января 1919 года Райнис наскоро записывал ход спиритических сеансов, на которых присутствовала и Аспазия. (Слишком много было вокруг и впереди неизвестного: жизнь их в годы войны и революции решалась окончательно без их участия, или так казалось; верных сведений о происходящем ниоткуда нельзя было получить). Духи умерших — и, что еще удивительней, души живых, находящихся за тысячи километров людей, отвечая на вызов, являлись в итальянскую Швейцарию, в Кастаньюлу, в недорогую гостиничку, к двум усталым больным эмигрантам, чтобы восполнить пробелы. Духи противоречили сами себе и друг другу, были то послушны, то нетерпеливы и раздражительны.

Первая запись — 8 января 1919 года, в полдесятого вечера. Приход Доры. Ее тени? Духа? Души? Спящей. Вот разговор с ней. Спрашивающий — Райнис. И запись — его почерком.

— Ты, Дорочка?

— Дорочка, Дор...

— Не понял.

— Выйди на балкон.

— Вышел. Вижу, небо проясняется, месяц мрачный, вижу. Что я должен увидеть?

— Ты должен видеть вот что: вперед, вперед.

— Что ты хочешь этим сказать мне, спящая?

— Что ты пессимист.

— И что же мне делать?

— Ехать сейчас же домой.

— Куда домой? В Ригу или в Москву?

— В Ригу.

— А как туда проехать?

— Через Германию.

— Как получить паспорт?

— Через Каутского.

— На кого сослаться?

— На Паулса.*

— Что мне дома делать?

— Вперед, вперед!

Отвечает очень резко, нервно; сразу ушла.

* Паулс Дауге был лично знаком с К.Каутским. Осенью 1918 года, в ходе поездки в Германию, с ним познакомился и Стучка, привезший В.И.Ленину последнюю книгу Каутского. Эта книга вызвала гневную отповедь Ленина — работу «Пролетарская революция и ренегат Каутский».

А что же реальная, во плоти Дора Стучка, урожденная Плиекшан? Если помните, однажды она то ли оговорилась, то ли проговорилась — в письме к П.Дауге: «Мы оба оставили адвокатуру». А что если теперь, в «красной Риге», правили **они оба**? — Но нигде об этом — ни слова, ни звука. Чего не знаем, того не знаем.

О пяти месяцах Советской Латвии образца 1919 года написано и много и мало. Много — если говорить о ее апологетах или о ее врагах. Непредвзятой истории тех дней не существует. Да и кто сказал, что она возможна?

— Товарищ Стучка! Тут к вам чудак какой-то. Очкарик. И одет непонятно... чудно как-то. Пропуска нет, а прошел через все посты. Тоже и там чудачки, на букву «м».

— Фамилия?

— До... Добровенский.

— Не знаю.

— Говорит, что он из двухтысячного года. Почти.

— Что — «почти»?

— Почти, говорит, из двухтысячного. Чокнутый, что ли? Может, шлепнуть его на всякий случай?

— Экая надежда у вас в голосе, Берзиньш. Сколько раз говорилось: разобраться надо, а потом уж, если необходимо, как вы выражаетесь, *шлепнуть*.

— Что правда, то правда, товарищ председатель правительства, мы такие, сперва шлепнем человека, потом разбираемся. Слышал, Киселев? Убери пушку от гражданина Добрянского. Ежели он чокнутый — вылечим, пуля не единственное лекарство. Мобилизуем, дадим шинелку... Что? Пропустить? Слышал, Киселев? Пропусти человека. Сопроводи к товарищу Стучке.

— Слушаю вас.

— Я к вам из будущего. В творческой командировке. Взять интервью.

— А что, в будущем порядка не знают? Документы какие-то при вас имеются?

— Один только. Вот... Членский билет Союза писателей Латвии. Выдан 27 ноября 1990 года.

— Это вроде профсоюза?

— Понимаю, этого мало. Но вот — куртка моя. Дешевая, из полистирола, кажется. Искусственная ткань, в ваше время таких не было.

Вот авторучка, шариковая. Тоже появится лет через тридцать. Диктофон. Записывает речь. Сейчас, только перемотаю... Вот, наш разговор записан, начало: «Слушаю вас... — Я к вам из будущего...»

— Гм... Любопытная игрушка. Убедили. Товарищ, скажите, мировая революция восторжествовала?

— Я не уполномочен... Извините, не имею права отвечать. Могу только спрашивать.

— Жаль. Ну что ж. Спрашивайте... писатель.

— В свое время большевики победили, обещая стране немедленный мир. Мир без аннексий и контрибуций. А война у вас так и не прекратилась.

— Мы всегда утверждали: мир наступит только тогда, когда победит всемирная революция. Если когда-то граждане Рима говорили: «Хочешь мира — готовься к войне», то мы прибавим здесь всего одно слово: к *гражданской войне*, то есть мировой революции.

— Правда ли, что большевики расправляются со своими бывшими товарищами по борьбе, социал-демократами и эсерами?

— Когда нас вынудили перейти к красному террору, он, естественно, был распространен и на этих бывших революционеров... Было и остается трагедией, что в Ижевске и Воткинске коммунистам при помощи пушек пришлось вести дискуссию с рабочими массами, которых одурачили меньшевики и эсеры.

— Но если вы стреляете из пушек в рабочих, чего же ждать представителям других классов и сословий... той же интеллигенции, — им, значит, не будет пощады?

— Мы никогда не исходили из того, что всех «граждан» нужно в буквальном смысле слова уничтожить, то есть перебить. Уничтожить их надо как *класс*, а физически уничтожить тех из них, кто ведет с нами непримиримую борьбу. Но сами по себе эти жертвы — *не цель*, а только *средство* борьбы. Я говорил нашим горячим головам: ошибаются те, кто думает, что победа оценивается по числу убитых противников.

— А как вы отнесетесь к высказыванию: грязными средствами не достигнешь высокой цели, — сама цель становится грязной. Когда наливают грязную воду в чистый сосуд, сосуд загрязняется.

— Кто это сказал?

— Райнис.

— Райнис? Но ведь он не политик.

— И еще. «Цель, нуждающуюся в несправедливых средствах, нельзя назвать праведной целью».

— Опять Райнис?

— Нет. Карл Маркс.

— Маркс тоже бывал непоследовательным. А потом, кто доказал, что наши средства — «грязные» и «неправедные»? Даже пуля, пролетарская пуля, чиста, как ланцет хирурга.

— Но вы сами писали, что со средними классами следует заключить перемирие, ссылались на Ленина.

— Да, товарищ Ленин советовал вести с этими элементами переговоры о перемирии, на основе нейтралитета и признания ими диктатуры пролетариата. Если же нейтралитета не будет, то Чрезвычайная комиссия — ВЧК — не собирается прерывать свою деятельность. Так считает товарищ Ленин.

— Но в Латвии вы...

— Ленин говорил о российских реалиях. В Латвии не так! Меньшевики здесь не только не нейтральны, но прямо участвовали в самозваном «Народном совете»... Латвийский пролетариат давно отмежевался от здешнего среднего слоя. Я предупреждал: в Латвии предстоит единственно беспощадная борьба. Я писал еще до отъезда из Москвы: по настоящему гражданская война в Латвии только начинается. Я был прав.

— Вы сами обнародовали в печати полученное вами в Риге анонимное письмо. Позвольте напомнить его текст. «Свобода зажата в ваших инквизиторских тисках. Равенство! — ни следа. Вам в Доме рыцарства, с автомобилем, хорошо одетым, за богатым столом должно быть ясно: где максималисты у власти, там беднейшие слои населения терпят жесточайшую нужду. Нигде нет большего разорения. Нигде нет большего неравноправия. Братство? Когда вы каждого, кто думает иначе, обливаете грязью и бранью, арестуете или расстреливаете на месте? В Риге вы все уничтожили. Сразу после 3 января начались безработица и лишения, ужасающий голод и разруха в таких размерах, как никогда раньше. Бедным труднее всего. Вы обманываете мир, утверждая, что оккупанты и буржуазия виноваты в вашем скверном хозяйничанье. Скажите же честно, прямо, открыто: «Наша борьба есть борьба против Бога живого и против созданного Им мира. Против природы и права. Отсюда наша практика: уничтожение, грабеж, убийства. Коммунизм — произвол грешного человека».

— Вы должны знать, что я на это отвечал. О свободе, равенстве, братстве. Мы *братьями* называем не всех. Нам, представителям рабочего правительства, братом и товарищем является только рабочий, все равно какой нации... Мы откровенны и честны, а потому не скрываем, что во времена диктатуры пролетариата свобода, равенство и братство существуют только для масс, только для этого класса.

— Но по вашим же словам, по прибытии в Ригу вы нашли здесь 212000 жителей и среди них — всего 3080 фабричных и заводских рабочих. Это — полтора процента от числа жителей. И только на эти полтора процента распространяется ваша свобода? Ваше равенство? Ваше братство?

— Мне решительно не нравится ваш тон. И желание товарища Берзиньша «шлепнуть» вас на всякий случай более не представляется мне столь иррациональным. Великая вещь — пролетарская интуиция.

— Но человек, живущий в 1997 году, для пули, посланной в 1918-м, недостижим.

— Хм... И все-таки не нравится мне все это. И мистикой подозрительно попахивает.

— Госп... товарищ Стучка, вопросы могут вам не нравиться, но ведь ответы — ваши*, и не сомневайтесь, они с точностью до единого слова будут переданы людям будущего. Ваша правда — из первых уст.

— Из первых, говорите? Ну ладно. Что касается рабочих, за несколько месяцев их число выросло до 10 тысяч. Мы бы вернули Риге пролетарский характер. Но на все нужно время.

— Но ведь и рабочие, насколько я знаю, роптали?

— Чушь. Я не знаю других правительств, которые могли бы себе позволить не выдавать рабочим ни фунта хлеба месяцами и в то же время пользоваться их единодушной поддержкой как в советской работе, так и в проведении добровольной или принудительной мобилизации.

Прервем интервью, чтобы добавить от себя несколько слов. Латвия в первой половине 1919 года — кипящий котел, и другого такого котла, так кипящего, может быть даже тогда, в разгар гражданской войны, не было. Немецкие войска, английские и французские корабли, эстонские части, шведы, финны, датчане, балтийские и русские дворяне, — все это смешалось и переплелось, все это воевало против большевиков и друг с другом, подчиняло кого-то и кому-то подчинялось, — и каждая из сил требовала участия и безусловного согласия латышей, требовала по меньшей мере лояльности.

Пронемецкое правительство Ниедры (старого литературного соперника Райниса), правительство Ульманиса, поддерживаемое союзниками, правительство Стучки с войсками, подчиненными непосредственно Москве и главному Вооруженных сил РСФСР Вацциетису,

* Пора сказать: вопросы действительно заданы мной, Р.Добровенским, в 1997 году. Ответы получены действительно от П.Стучки, — см. 7-томное собрание его статей и писем, изданное на латышском. Рига, 1976—1984 гг.

действовали одновременно. Были еще и оккупационные немецкие власти (Германия обязалась временно сохранять свои войска в завоеванных областях России по условиям мира с Антантой), — и все это хотело заполучить тело и душу каждого, ожидало поддержки и верности, в противном же случае оскорблялось, стреляло и вешало. Крестьян, считая с четырнадцатого года, грабили по девятому, десятому разу, — и назывался грабег мародерством или реквизицией, какая разница; при этом большевики, отнимавшие зерно и припасы уже после немцев, эстонцев и еще какой-то мелкой сволочи, промышленявшей на свой страх и риск, вызывали наибольшую ненависть, потому как отнимали уж вовсе последнее.

В феврале Советская Латвия объявлена на осадном положении.

В марте, во время крупного наступления противника, в Риге началась паника... В ЦК и правительстве подумывали об оставлении города, но затем ограничились эвакуацией некоторых документов и ценностей. Апрель и май прожили в 20—30 километрах от передовой, затем фронт был прорван — и «красная Рига» пала в одночасье. В отсутствие Стучки, накануне катастрофы удачно выехавшего в Москву и таким образом не видевшего всеобщего панического бегства и позора. Известна телеграмма Троцкого насчет брошенного в Риге военного имущества, которое давно уже требовали отправить в Москву и не вывезли свое временно «только из соображений дурацкого сепаратизма»; Троцкий грозился призвать к ответу виновных.

Расстрел при бегстве десятков заложников, — в том числе немецких баронов и священников, — едва ли был только жестом досады и бессилия. Скорее виден расчет на немедленную кровавую месть нападавших. Оставляемый в Риге безоружный пролетариат должен был почувствовать на своей шкуре, почем фунт лиха. Жестокости и казни, следовавшие за взятием Риги, были ожидаемы и нужны отступавшим: в них виделся залог возвращения.

Жестокость многим на этой войне заменяла и ум, и отвагу. Не нужно таланта, военного искусства, и доблестей тоже особых не требовалось там, где вступало в права живодерство. Чудовищная демагогия, обилие высокопарных слов, перемежаемых угрозами, — и от всего разило мочой и кровью, стойкой вонью пожара, предательством. Гражданская война клянется всем святым, размахивает знаменами и лозунгами наверху; внизу она деловито расстегивает штаны, наваливается на оставшуюся жизнь, дыша перегорелым луком и самогоном,

икает, тычет ружейным стволом, спускает курок, актом палачества заменяя тот, что служил когда-то зачатую. Пули в избытке, доступном прежде только природе, мириады живчиков-пуль, — вот посев гражданской войны, вот ее свинцовая сперма.

Был ли Стучка повинен в происшедшем или нет, — неважно. Спрашивают с того, кто на самом верху. Большевики терпеть не могли поражений, неудача считалась виной и каралась. Не сносить бы головы и Петру Ивановичу, и уже гневно, набирая праведный накал, гремели голоса обвинителей, — и Стучка, разом сдавший, постаревший лет на десять, готов был, видно, к самому худшему... но тут и обнаружилось, что Ленин, Владимир Ильич, вождь мирового пролетариата, умеет быть благодарным.

Когда обсуждался состав высшего руководства РКП(б), Ленин заявил, что не представляет себе Центральный комитет партии без Петра Ивановича Стучки. Несмотря на сильнейшую оппозицию, Стучка снова стал членом ЦК, заместителем наркома, затем — председателем Верховного Суда РСФСР, вошел в руководство Коминтерна, при этом оставаясь «вождем» латышских коммунистов. В ближайшие годы он переведет на латышский язык первый том «Капитала» Маркса (когда-то за эту работу думал взяться Райнис), напишет десятки статей для латышских коммунистических изданий в России и в самой Латвии. Одну за другой он выпустит несколько книг по вопросам права, которые станут учебниками для целого поколения советских юристов. Профессор, академик, директор института, основатель и редактор журнала, он работает, кажется, не оставляя себе ни минуты свободной. Он почти не скрываясь руководит коммунистическим подпольем в Латвии, без усталости и со страстью разоблачает тамошних правителей, в особенности бывших товарищей по борьбе, социал-демократов; он так же неустанно предрекает мировую революцию и ждет ее со дня на день, чутко вслушиваясь в голоса недовольства, прозревая начатки бунта в Англии и Франции. В Германию он выезжает один раз официально — и встречается там с высшими служителями закона, один раз — частным образом, чтобы в качестве члена Коминтерна побывать на нелегальных встречах с тамошними коммунистами. Одному человеку справиться со всем этим вряд ли под силу. Он и не один. Вот, например, статья памяти Розы Люксембург, убитой в Германии в январе 1919 года: она частично написана рукой Доры Стучки. Дора познакомилась с Розой Люксембург в Цюрихе в 1893 году, когда Петерис Стучка еще и не помышлял ни о каком социализме.

Теперь включим снова наш диктофон, продолжим интервью.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей политике в отношении крестьянства.

— Немецкая оккупация внесла большие перемены в латвийскую деревню. Почти полностью исчезли или переродились батраки. С серьезными трудностями мы встретились там, где батрак потерял чисто пролетарский характер, обзавелся своей лошадкой, коровой, арендовал так или иначе кусок земли. В нем оставалась еще вражда к «серому барону», но в нем самом заговорили уже частнособственнические инстинкты. В Малиене, бывшей цитадели большевизма, произошло даже небольшое восстание против нас, в котором действительно принимали участие безземельные крестьяне.

— Но почему — восстание?

— Потому что наши идеи слишком новы, чтобы все и сразу их поняли. «Зачем вы оставляете хозяевам землю?» — кричат нам безземельные. «Почему вы отнимаете нашу землю?» — надрываются хозяева. Но какой смысл — убрать одного хозяина и поставить на его место другого? Безземельного крестьянина сделать хозяином, а хозяина — безземельным? То была бы сказка про белого бычка, а не революция. Наша мысль — не делить землю между всеми, а обрабатывать сообща под водительством самого трудового народа.

— Вы пытались организовать совхозы?

— Да. Таких советских хозяйств было примерно 230. Только из-за недостатка работников, — в некоторых местах не было ни одного коммуниста! — наша аграрная политика не воплотилась в жизнь так, как следовало. Были случаи, когда коммуны основывали насильно, это порождало определенную горечь. Но месяца через два-три мы бы это изжили и ошибки исправили.

— Правда, что вы не разрешали крестьянам в совхозах держать скотину?

— Это тоже ошибка. Позднее одну корову на семью мы держать позволили. Я ж говорю: мы всегда готовы осознать и исправить любую ошибку.

— Не все ошибки поправимы. Ошибочно расстрелянного к жизни не вернешь, не правда ли?

— Если говорить о Риге, то в приговорах трибуналов было не так уж много брака. Хуже обстояло дело в провинции, тут нас упрекали в излишней строгости к мелкобуржуазным и даже пролетарским элементам.

— К пролетарским?! К друзьям и братьям?

— Пролетарии тоже бывают разные. И не забывайте, что с другой стороны нас обвиняли в непростительной мягкотелости. Вот что

писала газета «Коммунист» в Петрограде. Минуточку, сейчас найду в блокноте... Вот. Цитирую: «Рабочие все как один говорят: смерть палачам! Но примазавшиеся к нашей партии буржуазные соглашательские элементы, зачастую в роли главарей, — слышите, в кого они метят? — всеми силами пытаются щадить буржуазию. Таких фактов, когда мы вошли в Латвию, было очень много со стороны «цекистов», которые приютили в тюрьме и кормили баронов. Не будем говорить, кто тут виноват, но поклянемся, что в другой раз войдя в Латвию, не оставим в живых ни одного буржуа и раздавим тех мягкотелых, кто попытается нам помешать». Конечно, это левацкие перегибы.

— Но ведь жестокости были?

— Послушайте, наша буржуазия почти вся ударилась в бег. Еще более панически, и не без основания, скрывались от нас контрреволюционеры от рождения — немецкие бароны. Только отдельные экземпляры этих зверей под маской цивилизации попали к нам в руки и без жалости были преданы суду революционного трибунала... Мы были жестоки, я почти склонен думать, что слишком жестоки. Главная беда в том, что за отсутствием сбежавшей буржуазии и баронов от репрессий пострадали очевидно элементы, неправильно причисленные к буржуазии.

— А смерть заложников? Там ведь были люди ни в чем не повинные... Женщины...

— Ни в чем не повинных людей не бывает... Это шутка. Прочитую Ленина. Он говорил именно об этом, об институте заложничества, и слова его врезались мне в память. «Пусть себе возмущаются, — это он о тех, кто нас обвинял в «варварстве», — но войны без этого вести нельзя, и при обострении опасности употребление этого средства необходимо... Я рассуждаю трезво и категорически: что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих? Первое лучше. И пусть меня обвиняют в каких угодно смертных грехах и нарушениях свободы — я признаю себя виновным, а интересы рабочих выиграют».

— Но рабочие не выиграли, когда, оставляя Ригу, большевики в последнюю минуту расстреляли несколько десятков человек...

— Три десятка баронов и пасторов. Учтите: в 1906 году священники еще рьяней, чем бароны, участвовали в карательных экспедициях. Не удивительно, что среди осужденных ревтрибуналом и среди заложников священников довольно много. Передо мной снимок — вот он: трупы пятерых пасторов, которых наши товарищи расстреляли 22 мая вместе с тридцатью баронами...

— И баронессами?

— ...за предательское нападение на Ригу. Я твердо знаю, что на широкие массы Риги и Латвии этот акт народного гнева произвел только благоприятное впечатление. В отместку за него кровожадные немецкие генералы в Риге расстреляли 4500 рабочих — это их собственные данные.

— А чем вы объясните паническое бегство Красной армии, неспособность дать отпор противнику?

— Причин немало. Крупные силы были отвлечены от нас на другие фронты, вне Латвии. И еще. Нашу армию несомненно дезорганизовало то, что через мобилизацию в нее были привлечены прямые противники коммунизма.

— Через принудительную мобилизацию? Понятно... А если бы не поражение?

— У нас были грандиозные планы. Сразу после сбора и учета нового урожая намечалось частично отменить деньги, перейти на натуральную оплату труда: продуктами, жилплощадью, дровами, одеждой. Рабочим и крестьянам не нужно было бы ничего копить: социальное обеспечение покрыло бы все их нужды в случае болезни или по наступлении старости и недееспособности. На селе конфискации коснулись бы только зажиточных хозяев. Все остальные крестьяне, в том числе и не использующие наемный труд, должны были бы соблюдать такие же условия труда, как в городе: восьмичасовой рабочий день, отпуска и прочее.

— Ваш нарком сельского хозяйства, Фрицис Розиньш избрал для себя в свое время подпольную кличку «Козел», Азис. Вся Латвия повторяла, говорят: «Пусти козла в огород...»

— Ну вот что. С меня достаточно! Можете передать тем, кто послал вас, что я не нашел вас достойным того будущего, за которое мы сражаемся. Странный выбор, если не сказать больше. Берзиньш! Проводите гражданина Добрецкого!

Райнис по-прежнему в Кастаньоле. Он никак и никогда не обмолвился о пяти месяцах большевистского правления в Латвии. Но в июле 1919 он снова «вызывает духов». Почтовых сношений с Россией и Латвией все еще нет; отсутствие реальной связи он пытается восполнить связью ирреальной, «вызывая» снова и снова Петериса Стучку, Владимира Ленина.

Я представления не имею ни о технике этих «вызовов», ни о том, кто и как откликнулся Райнису. Не знаю, кто отвечал на вопросы. Зато твердо знаю, кто задавал их: Райнис. Умерших — Наполеона, Гете, отца с матерью — он почтительно выслушивал. С духом Стучки спорил! «Спящему» Ленину пытался что-то объяснить...

24.7.19. 10 вечера.

— Кто пришел?

— Стучка.

— Что скажешь?

— На Ригу!

— Когда выступаете?

— Немедленно.

— Как вы относитесь к Колчаку и Деникину?

— Мы победим.

— На кого полагаетесь?

— На латышей.

— На чьей стороне будут немцы в Курземе?

— На нашей стороне.

— Как сочетается с вашими принципами — стакнуться с реакцией?

— Мы победим.

— Что, лучше быть заодно с баронами, чем с Ульманисом?

— Победим.

— Что мне делать в Риге?

— Можешь сказать свое слово.

— Но я — ваш принципиальный противник в национальном вопросе!

— Можешь сказать.

— А не заставите вы меня замолчать?

— Поднимем на штыки. (...)

В тот же вечер был «вызван» и журналист Херманис Асарс, воевавший в это время в «белых» латышских батальонах на стороне Колчака. Верней, он явился без вызова, сам.

— Кто еще хочет сказать что-нибудь?

— Я.

— Кто?

— Асарс Херманис.

— Где ты?

— В Сибири.

— Что скажешь?

— Пиши, Райнис, призови к борьбе против насильников.

— Ты говоришь о публицистике или литературе?

— Пиши против большевиков.

— Ты за Колчака?

— За Колчака.

— Какое положение занимаешь там, в Сибири?

- Имею влияние на самого Колчака.
- Колчак против самостоятельной Латвии?
- Он даст автономию.
- Мало. Пусть дает нац. федерацию.
- На это он не пойдет.
- Какие он даст гарантии, что будет соблюдать автономию? Мы пойдем за тем, кто даст нам самостоятельность.
- Я и сам хочу Латвию.
- Ну так действуй на Колчака.

Ленин, позванный Райнисом в Кастаньола, говорит с ним по-немецки (Владимир Ильич и впрямь владел немецким хорошо). Вечер 1 ноября 1919 года. Только что здесь был дух Наполеона, отпущенный теперь с миром на остров св. Елены. Настал черед Ленина.

- Что ты хочешь сказать мне, спящий?
- Защищай наше дело.
- А ты намерен дать независимость Латвии?
- Что за вопрос? Тебе мало того, что наше дело побеждает?
- Понимаешь ли ты, что без поддержки народов вы не сможете победить?
- Ты должен, ты обязан быть с нами. Делай, Райнис, что я тебе говорю!

И снова затребован оттуда же, из московского Кремля, П.Стучка.

- Что скажешь, спящий?
- Мы победим. Немцы нападут.
- И вы нападете вместе с ними?
- Немцы нападут раньше.
- И вместе вы уничтожите Латвию? (Оставлено без ответа).
- Отдадите ли вы немцам Курземе? (Молчание). Ты понимаешь, что вы действуете во вред делу: уничтожите народ — кто вам поможет?
- Вы хотите монархии.
- Ты не понял, что твой взгляд устарел? Ведь речь о народах — живых организмах, которые только и способны двинуть вперед дело, само по себе неживое?
- Заткнись.
- Зажимать рот — это что, метод вашей борьбы?
- Схлопочешь по жопе.
- Хорош довод!
- И еще раз по жопе!

— Я-то думал, для победы важней голова?

— Мы победим!

В начале декабря, точнее: второго, в пол-одиннадцатого вечера, Стучка является вновь.

— Что хочешь сказать, пришедший во сне?

— Хочу вернуть тебя в партию.

— А дадите вы Латвии самостоятельность?

— Можешь быть уверен.

— И вы не собираетесь уничтожить латышей как народ?

— Весь народ нельзя уничтожить.

— Что ж вы ему грозите?

— Наши угрозы — буржуям, их хотим уничтожить.

— И ты не видишь, что так вы отпугиваете социал-демократов? Не сомневайся, ты на ложном пути.

— А сам отвернулся от социал-демократии?

— Я отвернулся потому, что вы вообще не признаете национального.

— Это я знаю.

— Вы на деле дадите самостоятельность или только на бумаге?

— На бумаге.

.....
— Как у Доры дела?

— У Доры все хорошо.

И еще раз, вслед за Петерисом Стучкой — Ленин. Разговор опять по-немецки. Перевожу:

— Разве не могли бы вы построить господство пролетариата на национально-федеративных основах?

— Нет, это не пойдет.

— А вы не думали о том, что власть пролетариата не будет достаточно прочной, если она не имеет под собой органической опоры — нации?

— Я... сомневался...

— Не хотели бы вы обдумать и обсудить все это со мной?
.....

В первый раз Райнис с Лениным был на «ты». Но не в том дело. Заметили: он согласен договариваться с красными и белыми, со Стучкой и с Колчаком, пожалуй что и с чертом и с дьяволом: лишь бы спасти свой народ, «живой организм», лишь бы обеспечить его будущность. Отбросив все другие соображения, он готов поддержать тех, кто

пообещает Латвии большую самостоятельность. В ходе таинственных этих сеансов он вопрошает и говорит почти на уровне подсознания, выкладывая то, что сверлит душу. *Братьев* он спрашивал о главном. А покойных родителей, а Наполеона и Гете о прочем: когда ему ехать на родину, быть ли ему президентом, ждет ли успех его «Иосифа». Гете, между прочим, при каждом своем появлении требовал настойчиво — разумеется, по-немецки, — чтобы Райнис бросил политику и целиком отдался литературе.

К Ленину он больше не обращался. Зато спор с Петерисом Стучкой, длившийся уже четверть века, продолжался. К июлю 1919 года относится замысел новой пьесы Райниса. Запись в «рабочей хронике»:

1. Характер стремительный, сталкивается с умеренными. Героя сделать большевиком, выступающим против перехлестов, враждебности к культуре, аморальных средств.

2. Его загоняют в меньшевики и «буржуи».

3. Когда они расстреливают пленных или большевиков-оппозиционеров, герой протестует: стреляйте тогда в меня! Спасает.

4. Недоверие к нему...

5. Смерть? Лучше уйду сам, раз вы отреклись от прежних убеждений.

Пьеса могла бы идти и в Германии.

И в конце записи — загадочная фраза: «Но и это все-таки еще не драма мирового кризиса».

Может быть. Может быть, эта ненаписанная пьеса и не...

«Драмой мирового кризиса» была та драма, в которой «играл» он сам.

Дневник Райниса. Знаменитая запись от 10 июля 1919 года. Собственно, в этот день сделаны две записи. Одна короткая, скучная: «Давно уже не пишу ничего своего, забросил и другие работы. Мрачное, скверное ощущение. Рассудок подсказывает, что надо закончить начатое, но во мне что-то противится: хочется писать новое. Может, и просто лень».

И другая — пространная, пылкая, сделанная точно в лихорадке.

«Пишу слова, вызревавшие годами: быть сильным, победить всех своих врагов, все неблагоприятные обстоятельства, победить самое зло. Всегда обновляться, быть молодым, сильным, здоровым и несказанно счастливым. Я должен всегда быть с прогрессом, должен стать и оставаться ведущим духом всей мировой литературы. У меня есть любимая — Иныня, любимый мой народ, любимый мир, друзья и любимые... Я должен превратить мою милую Латвию в свободное, политически и экономически независимое государство еще в этом году; я должен

сделать ее первой в мире страной будущего; должен сделать ее счастливой. Я должен стать ее первым президентом еще в этом году; я должен стать президентом Латвии, России и Европы еще в этом году. Быть сильным и победить, стать первым поэтом мира и пролетариата, первым властителем Европы, первым новым Человеком. Я должен стать основателем и создателем будущей пролетарской драматургии, лирики, эпики. Я должен прожить триста лет в полном здравии, духовном и телесном, с чистой совестью, получить Нобелевскую премию, стать баснословно богатым. Еще в этом году меня должны призвать для спасения революции и социализма в Латвии и России. Я должен спасти их, стать президентом латышской, российской и европейской республики еще в этом году. Я обязан отыскать верный путь в политике, творчестве и издании моих работ. У меня достанет сил исполнить свое назначение, мне всегда хватит смелости добиваться величайших целей, требовать от себя высочайшего».

Вот так.

Что же нам с этой записью делать? Оставить как есть — или?..

Или. Хочу понять. Хочу разобраться.

Первое впечатление: экзальтации. В таком взвинченном состоянии я своего героя давно не видел. (Легкомысленное, почти крамольное предположение: а может, он выпил? Райнис никогда не повторял загулы студенческих времен, но вовсе от вина не отрекался. Литературоведы, имеющие дело с текстами, забывают иногда об их живом источнике: человеке, зевающем от усталости или раздраженном, голодном или сытно поевшем, выпившем, наконец, — почему бы и нет?).

Второе: перед нами — сеанс самовнушения, самогипноза, накачивания воли, — это узнаваемо, мотив всемогущества созидающей воли проходит через все до единой поэтические книги Райниса.

Третье. Эту запись мог бы сделать пятнадцатилетний Янис Плиекшан. Вот так, до экстаза, до той сладкой боли, какую Достоевский и герои Достоевского ощущали перед припадком падучей, — так мечтал он, бывало, о доле нового Наполеона, Александра Великого, вождя и пророка для всего человечества..

Четвертое. Есть где-то у Райниса заметка: если не можешь достичь малой цели, поставь перед собой великую и достань до нее!

Пятое: время. Время было фантастическое. Русский поэт Велимир Хлебников называл себя без тени шутки Председателем Земного шара. И словно отвечая ему, художник Петров-Водкин в любом пейзаже горбатил земную поверхность, не уставая подчеркивать планетарность, шарообразность любого куска пространства.

Мир перевернулся на их глазах; они сами его и перевернули. Мировой революции ждали нетерпеливо не только Стучка и Ленин. Она казалась близкой, она страшила или притягивала миллионы людей в Европе, Америке, Азии; мир трещал по швам, и все могло случиться, абсолютно все.

Чудак, воображающий себя Наполеоном: мания величия. А если перед нами сам Наполеон? Величие? Или мания? Или и то и другое?

617

Райнис ощущал себя и сыном своего народа и, как ни странно, его отцом (а может, и святым духом? — насмешливо шептал ему кто-то на ухо; он отмахивался досадливо, как от мухи).

Литературный латышский язык был преобразен, пересоздан им, и не только он — другие, например, Андрей Упит, говорили об этом. Он сделался первым поэтом своего народа, выпустив первый стихотворный сборник в тридцать семь лет. И вскоре — первым драматургом. Он стал провозвестником социализма в Латвии. Все, что происходит сегодня с сотнями тысяч людей, счастливое или страшное, уходит истоками к тому дню, когда он вернулся со своим знаменитым чемоданом из Цюриха; он был бы в тысячу раз безобиднее, этот чемодан, если бы был набит динамитом.

Ладно, уговорили, скажут мне. И Европейская республика казалась возможной в те дни, и Райнис, фигура объединяющая, в конце концов мог бы сыграть в ней свою роль. Но отчего столько честолюбия? Тщеславия? Столько суеты? Откуда жажда почестей, должностей?

От неуверенности, отвечаю я.

Ему всегда нужен сигнал извне. Янис Плиекшан в себя не верил. Снова и снова он должен получать подтверждение, удостоверяться, что его слышат и понимают, что он нужен, что он прав.

Его вечный друг-враг, Стучка, был теперь одним из правителей громадной страны, издавал законы, определявшие жизнь ста пятидесяти миллионов людей. И «латышским королем» с королевой-Дорой он успел побыть, пускай недолго. Чем друг-Янис хуже друга-Петериса? В глубине души он считал себя лучше. Выше. То была самая «детская», самая неважная, но и самая интимная часть их спора. Самая глубокая.

И — шестое, кажется? Вроде шестое. Он едва не стал президентом Латвии в следующем, 1920 году. Он был реальным претендентом на Нобелевскую премию (и ее заслуживал).

Сколько ж тут величия? Сколько — мании?

Что касается Европейской республики, то она тогда не состоялась, а потому и президента для нее не потребовалось.

Рабочий дневник Райниса.

«Не бояться фрагмента. Не бояться, что ничего не выйдет. А вдруг? Учиться у Гете сразу же выписывать, выплескивать на бумагу свои беды и вопросы. В том, что выписано, несчастье твое видно как на ладони, можно найти средство справиться с ним, от самой работы оно проходит. Если б делать это раньше, жизнь моя не пропала бы. Энергии не хватало, нервы не давали работать и счастья не было; Дорочка не помогла и не было любви. Комитет мучил годами.

1. Сейчас надо бы выписать по методу Гете:

Создание Латвийского государства. Федерация — или же непонимание с демократической Россией и миром. Здесь был бы выход и для соц. государства, так как миру мало радости от нового сильного централизованного государства: пролетарская диктатура тоже может быть опасна.

2. Кризис социализма, предательство коммунистов. Письма Паулса...

Спор Иосифа с братьями продолжался.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Море людей, море голов, повернутых в одну сторону, море, — на меньшее никто из мемуаристов не согласен. На перрон попали только избранные, но и этих, избранных набралось — не протолкнуться. Вокзал переполнен. Привокзальная площадь — море, то самое море.

— Was geht hier vor?

— Hier wird der lettische Kaiser erwartet!*

Этими немецкими фразами вполголоса и не без опаски обмениваются два господина в котелках, нечаянно затесавшиеся в толпу. Значит, кайзера ждут, латышского кайзера, по словам немца. Это уж поболее, чем латышский король. Бери выше: император! Петерис Стучка, услышь он этот разговор, имел бы право возревновать.

Ждали Райниса и Аспазию. Поезд опаздывал, — никто не роптал. Все очевидцы встречи сходятся: ждали прибытия двух поэтов как праздника. Наивная, детская вера светилась в тысячах глаз. Ждали двух очень немолодых людей, мужа и жену. Вопреки всякой логике казалось, что с их приездом кончится вражда всех со всеми, кончится смута и безнадежность; кончится страшное, кровавое время и начнется для всех новая, другая жизнь: как до войны, только много лучше. Налетел жуткий вихрь, шесть лет бесновался, рушил и калечил все на своем пути, и вот сегодня, сейчас с ним будет покончено.

Ждали избавления от произвола и нищеты, от злобы врагов, тайных и явных. Ждали, быть может, спасения от самих себя, хотя вряд ли кто себе в этом признавался.

Едут, едут! Наконец-то.

Поет хор. Овации. Цветы. Страшная давка. Но тесное пространство вокруг приехавших оберегается. Аспазия и Райнис, знакомые по

* «Что здесь творится?» — «Да вот, ждут латышского кайзера».

портретам и совсем другие, спускаются, преодолевают три вагонные ступеньки, — вот он, первый шаг, сделанный через четырнадцать лет после тайного бегства, после...

Знамя. Два знамени, и первая трудность: нужно выбрать одно из них. Красно-бело-красное знамя Латвийской республики или знамя социал-демократии, красное знамя. Помедлив, Райнис подходит к «пролетарскому» знамени, целует его. И наживает тут же, в это самое мгновение, тысячи новых врагов.

Встречу эту видят и издалека. Каждый шаг оценивают, запоминают надолго. Стучка напишет через пять (!) лет: «На вокзале он поцеловал четверых детишек. Хорошо, — в конце концов, о таких он писал:

*Друзья мои, близкие и родня —
Ростки и побеги грядущего дня...*

Он расцеловался с представителями своей партии, забыв спросить их: «Где брат твой Авель?» Так же сердечно он познакомился с кучей других делегатов, не вспомнив, что у тех, кто их послал, давно уже нет и не может быть ничего общего с основным классом. Он, точно во сне, не заметил даже, что его приветствует «священник, который когда-то его обвенчал!» (немало поиздевался он в свое время над такими). Да, он «точно во сне». И, видите ли, нашел объединительницу всего и всех: народную песню. «В последние дни я встретил столько любви, доброты и сердечности, сколько способна дать лишь душа латышского народа, породившая народные песни, равных которым нет на свете...»

Это — через пять лет. Но и немедленно, весной того же 1920 года П.Стучка откликается на приезд друга юности в родные края. «Новый факт: во главе списка кандидатов от социал-демократов — меньшевиков как официальная вывеска — имя нашего великого поэта, Райниса. Да, он сила, которая на голову выше всей Латвии, но это — если говорить о поэзии. Политикой Райнис не занимался десятилетиями, уже в 1905 году стоял от политики более или менее в стороне. Трудно экспансивной природе поэта найти себя в политической борьбе, где приходится опираться прежде всего на ясные и определенные факты, реальную информацию о реальных жизненных обстоятельствах. Если глянуть духовными очами, — слишком велика разница между возвращением к политической жизни после столь долгого отсутствия двух эмигрантов:

* Намек на то, что многие коммунисты в то время были в заключении.
Намек вообще на предательство «каинов»-меньшевиков.

Райниса и Ленина. Кто-то меня упрекнет за это сопоставление, но я скажу откровенно: Райнис среди поэтов по-своему сто́ит Ленина среди политиков и революционеров. Это — похвала Ленину, больше которой я не знаю, и не сегодня — 10 лет назад я пришел к ней...»

Возвращение Ленина из эмиграции было сигналом к началу большевистской контрреволюции («контр» — по отношению к демократической февральской) и гражданской войны в России. Возвращение Райниса было сигналом к общественному примирению, прекращению гражданской войны в Латвии. Да, это два разных возвращения, — прав Стучка.

Двигается по улицам, запруженным людьми, кавалькада машин. В первой — Райнис, растроганно и счастливо размахивающий огромным букетом, Аспазия, откинувшаяся на спинку сиденья, — устала; рядом Бирута Скуениеце, писатель Павил Розит, встречавшие их аж на границе; детишки какие-то...

В декабре 1918 — январе 1919 года Петерис Стучка с соратниками, а также двадцать тысяч стрелков завоевали Латвию, — частью заманчивостью своих обещаний, силой и напором агитации, частью силой оружия.

Четырнадцать месяцев спустя Янис Плиекшан-Райнис вошел в Ригу без единого выстрела. Четырнадцать лет одиноких трудов в рыбацком селении на берегу далекого озера, стихи и пьесы были в его арсенале, ничего больше.

С балкона театра он смотрел на море — да-да, море людское там, внизу; то было повторение давнего сна, с верха башни или пирамиды взирал Иосиф на... Где это было, в Мемфисе? В Мемфисе. В Египте. Египтом называлось и местечко на его родине, внутри детства, в сердцевине судьбы. Как странно, э т о т Египет теперь дальше, чем Мемфис, но и рядом, — вчера проезжали на поезде, едва не коснувшись его. Разве вчера? Время прыгало, ходило на руках, вертелось колесом, как рыжий в цирке. Все было точно во сне. Что там говорит усталая Аспазия ему на ухо, дыша горячо и влажно? «Начало конца. Репетиция наших похорон». Господи, когда она научится радоваться? Что за привычка переживать беды заранее, до того, как они нагрянут, наклепать их? Мало ей реальных, уже пережитых невзгод? Разве ты не мечтала о счастье? О признании народом, всем народом твоего гения? Побудь счастливой — прямо сейчас, сию секунду, а там разберемся.

— Сегодня я счастлива! — раздается со сцены голос Эльзы. В театре на торжественном вечере в их честь Райнис после нескольких фраз

вдруг начал заикаться, споткнулся и — умолк. Комок слез стоял в горле, он не мог продолжать. Аспазия благодарила собравшихся от его имени. Она хорошо говорила. Почти как актриса. Внятно и правильно артикулируя. И говорила дело: Латвия может стать носителем всечеловеческой культуры, подобно древней Элладе. Мы будем выше классовых и групповых интересов. Латвия уже теперь свободна, ей нужно стать еще и вечной.

Но самые горячие овации достались все же Райнису. Ни за что. За то, что не смог сказать пару слов. За то, что забыв о всяком красноречии, глотал слезы. Плакали и другие, мужчины и женщины, многие. Не каждый знал, о чем плачет, но плакать было о чем — каждому, каждой.

Жилье для двух поэтов было приготовлено и обставлено, но большая — в семь комнат — квартира оказалась холодной. Ревматизм, знакомый Янису Плиекшану с детства, усугубленный двадцать три года назад стенами четырех тюрем, обострился; пришлось переезжать. Поселились в центре, на пятом этаже доходного дома: улица Муйтас, дом 4, квартира 20. Заняли две комнаты. Двери выходили в общий коридор — рядом комнаты других квартирантов. Коммуналка. Одна комната оставалась свободной, но вскоре и там поселилась жиличка — студентка университета Ольга Клигере. При первой — неизбежной — встрече в коридоре она показалась Райнису «маленькой испуганной девочкой». Дору времен Ясмуйжи напомнила она ему, Бируту 1905 года... Но Ольга не была уже ребенком: она успела побывать замужем и развестись; муж, обрусевший немец-музыкант, остался в Москве, где юная беженка из Латвии познакомилась с ним. Теперь двухлетняя дочка Ольги жила в деревне, у ее родителей, а сама она с младшей сестрой перебралась в Ригу. Все это Райнис выведал у студентки очень скоро. Дети и молодые женщины испытывали к этому человеку необъяснимое, мгновенно возникавшее доверие, — может, потому, что он сам доверялся им весь, без остатка. Седой поэт и студентка встречались теперь все менее случайно, — может быть, еще и не замечая этого. Разница в возрасте между ними — тридцать три года. Те самые тридцать три года, пришло в голову Райнису, которые он, как русский богатырь Илья Муромец, сиднем просидел, готовясь к будущим подвигам. Когда он говорил с Ольгой, когда она смеялась, дышала неслышно и чисто, — да, незащищенной чистотой, свежестью веяло от нее, — тогда эти лишние тридцать три года можно было безболезненно вычесть, они не мешали. Ольга была проста, незамысловата, как поздняя подруга Гете. Стихи — то Гете, то Гейне, то почему-то Ленау — приходили на ум в изобилии, да и свои уже вылуплялись где-то в темном закутке сердца, отряхивали с себя скорлупу, попискивали.

Через несколько дней после возвращения двух поэтов — выборы в Учредительное собрание. Райнис, возглавлявший список социал-демократов, получил наибольшее количество голосов. Депутатом стала и Аспазия.

Райнис — чудак, ничего не смыслящий в политике и покончивший с ней десятилетия назад? Как бы не так. Он оказался ключевой политической фигурой тех дней.

Страна все еще была на военном положении. Партии, движения, группы нередко представляли людей, недавно еще стрелявших друг в друга, разделенных кровью жертв, жаждой мести. Каждая из недавно сменявшихся властей, отряды и армии старались втянуть в свои действия, сделать соучастниками как можно больше людей. Волей или неволей, — неволей чаще, — вовлечь, связать круговой порукой. Непричастных не было, и даже трупы в могилах различались политической окраской и вовлекались в жестокие игры живых. Тюремь были переполнены. Продолжались расстрелы сторонников Стучки, бермонтовцев; беженцы начали возвращаться из России. Бывшие красные стрелки, не ушедшие с большевиками, и русские офицеры-эмигранты, солдаты ландвера и военнопленные, отпущенные из Австрии, — какое столпотворение судеб и языков, какое скопище леденящих душу историй, которые некому даже рассказать: кого и чем удивишь? Каждый пережил не меньше. Если пережил.

Стучка считал *красную Ригу* одним из центров мировой революции, сравнимым с Петроградом и Москвой. Глобальные масштабы не были чужды и другим. Десять месяцев назад, овладев Ригой, командующий «Железной дивизией» фон дер Гольц мечтал пойти на Москву, свергнуть и там большевиков, подчинить Россию немецкому влиянию и в союзе с этой новой, пронемецкой Россией переиграть мировую войну заново... Четыре месяца назад Бермонт-Авалов с Русской Западной армией, состоявшей большей частью из немцев, — крестоносцев, завербованных через семь столетий после епископа Альберта, подкупленных обещанием даровой курляндской и лифляндской земли, — этот самый Бермонт, захвативший было левобережную часть Риги, планировал двинуться на Петроград, восстановить монархию и...

При внешнем безумии этих планов и Ленин, и правительства стран Антанты относились к ним серьезно: всё могло случиться. И союзники совещались: никак нельзя допустить, чтоб немцы завладели Россией, тогда война и победа — все насмарку; если Бермонт после Риги захватит Петроград, нужно напустить на него Колчака и Деникина.

Ничто еще не завершилось, не устоялось. Расколотым на несколько непримиримых лагерей латышам нужна была личность, стоящая над распрями, нечто, бесспорное и для правых и для левых, правых и виноватых, для неправых и нелевых, для всех. Райнис был, может быть, единственным, чье имя что-то говорило почти каждому. Живя то далеко на востоке, то далеко на западе, он успел войти в поговорку, сделаться частью сознания и подсознания тоже. Давно ли он писал из Кастаньолы: «Я никому не нужен...» И вот он нужен всем. Социал-демократы с возвращением Райниса — уже не экстремисты и подставные фигуры большевиков, к ним приходилось отнестись с полной серьезностью: с ними (к сожалению!) Райнис. Но и многие другие не оставили надежды перетащить поэта к себе, во всяком разе не отдать «социкам» Райниса целиком. «Социками» дразнили социал-демократов их неприятели. Были еще и «нацики»: крайние националисты.

О, если бы Райнис вернулся на родину нейтралом, если б отказался от своих «пролетарских иллюзий»! Его бы на руках носили все, в том числе и социал-демократы, за него боролись бы до посинения; вопрос о том, кому быть президентом республики, вообще не возникал бы... Но он не умел отказываться от того, что было частью его самого.

Он считал себя инициатором латышской социал-демократии: всей. Из него вышли и большевики, и меньшевики. Он приветствовал сибирских латышей, воюющих на стороне Колчака, а через день отсылал сердечное письмо большевику Паулсу Дауге в Москву. Защитники «буржуазной» Латвии писали с фронта: «Даугава» Райниса стоит целого полка! А в московском Кремле в присутствии Владимира Ленина актриса читала райнисовские стихи красным стрелкам, многие шевелили губами: они знали эти строки наизусть.

И те и другие были братьями Иосифа-Райниса; братьев не выбирают.

Первым президентом Латвии стал Янис Чаксте — адвокат и журналист, с которым Янис Плиекшан познакомился в Елгаве в прошедшем столетии, в молодости, — до редакции «Диенас Лапа», до встречи с Эльзой...

Президента избирал по конституции парламент. Все понимали: ни Крестьянский союз, ни другие партии, ни могучие силы в Латвии и особенно вне ее не допустят, чтобы социал-демократ встал во главе страны. Будь это хоть Райнис, хоть сам Господь-Бог. Социалистам оставалось лишь выгодно «продать» успех своего почетного председателя, получить за «его голоса», передаваемые теперь другому кандидату, максимум уступок. Обыкновенная практика политических торгов, без которых не

обходится нигде. Не хотел с этим прагматизмом мириться только Райнис. Обижался до слез.

Неуступчивость парламентариев, так и не подпустивших поэта к президентскому креслу, становится понятнее, если заглянуть в одну из статей П.Стучки. «Только представьте себе, — писал он 6 мая 1920 года, — победу меньшевистского списка со светлой головой во главе (это он о Райнисе), с беспокойной армией за спиной. Могло произойти чудо: сравнительно мирным путем, в союзе со всеми левыми силами можно было бы передать власть в Латвии в руки пролетариата и, опираясь на поддержку Советской России и III Интернационала, перевести хозяйственную и политическую жизнь Латвии в другое русло». Вот какой вариант в случае победы «неполитика» Райниса грезились его братьям, *этим его братьям*. Чего и боялись как чумы все другие.

Осенью в Национальном театре режиссер Миерлаукс и художник Куга поставили «Иосифа». Премьера состоялась 17 ноября 1920 года. Успех, огромный успех. Райнис не был прежде ни на одной из своих премьер. Может быть, настоящим его возвращением был этот спектакль, и окончательная черта между войной и миром в Латвии пролегла через него же? Ольга Клигере, студентка, сказала, что боготворит Дину, «ее глубокую, трагическую, чудесную любовь». Угадала. Это и нужно было сказать автору «Иосифа», чтобы привязать его крепче. Связующие их нити множились и крепились постепенно. Медленно. Неотвратимо.

За сезон «Иосиф» прошел полсотни раз. На пятидесятом представлении на автора надели тяжелый лавровый венок. «Какой прекрасный хомут», — подумалось под грохот аплодисментов. Но все вокруг выглядели такими восторженными, такими любящими. Райнис застеснялся мелькнувшей мысли.

В Москве вышла первая книга о Райнисе на русском языке. Написал ее Паулс Дауге. В предисловии говорилось: «Год назад мне пришлось все собранные мной материалы вместе с собственными рукописями о Райнисе на немецком, латышском и русском языках бросить во время перестрелки на улицах Пскова, в момент отступления наших войск и эвакуации учреждений из сов. Латвии и последующего занятия Пскова немцами. Я счастлив, что мне удалось сохранить хоть письма Райниса, — единственное богатство, которое я тогда спас и которое решил не

выпускать из рук до последней возможности. Москва, лето 1919 года». И постскрипtum: «По причинам, не зависящим от издателей, выход книги запоздал на целый год. Многое за это время изменилось в жизни Латвии, многое — в жизни нашего поэта. Латвия стала самостоятельным государством, Райнис вернулся в свой родной край. Его приветствовал «народ», устроив ему торжественную встречу как триумфатору, народному герою. В гуле приветствий не был лишь слышен голос того «основного класса», которому Райнис пел свои лучшие песни... Август 1920».

В добавление к прежним — два слова об авторе. Дауге был превосходный зубной врач. Добросовестность и профессиональная этика, свойственные настоящему врачу, проявлялись и во всем, что он делал: от опасной работы подпольщика-социалиста до литературных и философских трудов (он не только написал о Дицгене и перевел его книгу: в переводе Дауге латыши впервые прочли книги Энгельса — «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», Маркса. В 1904 году Дауге познакомился с Лениным — и тот отнесся к теоретику-Дауге настолько серьезно, что удостоил его своей критики в одном из главных трудов — «Империализм и эмпириокритицизм»).

Между прочим, был у Владимира Ильича — главы Советского государства — зубной врач. Личный, так сказать, лейб-врач. Он же по совместительству — организатор всей стоматологической службы в новой России, основатель соответствующего института, журнала и т.п. Кто же он, допущенный к нижней и верхней челюсти, к ротовой полости вождя мирового пролетариата? Друг Райниса, друг Стучки — Паулс Дауге.

Дауге в самом деле любил Райниса — и не только видел, но и угадывал важные вещи, невидимые для других. Вот что он пишет о 1895 годе: «Уход Райниса от газеты и редакционной деятельности был связан с глубокими внутренними переживаниями, с целой психологической ломкой. В эти дни в буквальном смысле слова решалась участь его дальнейшей жизни. Это не был простой разрыв с лицами или группой лиц, даже не простая перемена профессии. Здесь решался вопрос рождения для латышского народа его «Богом избранного» поэта. Здесь проходили родовые муки появления на свет совершенно новой личности...»

Книга Дауге драгоценна еще и тем, что отражает короткий, почти забытый клочок советской истории, когда государство еще не успело

наложить свою тяжкую лапу на образ мыслей, на человеческое слово, когда идеологические прокрустовы ложа еще только монтировались и не решено было до конца, какие гайки и где надо закручивать. Вот страничка книги о Райнисе. «Мы переживаем в настоящее время одновременно с невиданным в истории нравственным и идейным подъемом дни ужасающего морального разложения в наших партийных и советских кругах. Всюду всплывают на поверхность обман, воровство, карьеризм, пошлое угодничество и ужасающий страх перед работой». Это пишется в 1919 году, через год с небольшим после «Великой Октябрьской Социалистической революции». В последующие годы мы уже не найдем подобных свидетельств, свободных от заискивания перед временем и властью. Дальше: «В наше тяжелое время, когда среди весьма многих коммунистов новейшей формации установился до цинизма упрощенный взгляд на задачи социализма, будет бесполезно ознакомиться с той широкой постановкой вопроса, которую встречаем в письмах Райниса». И следуют еретические высказывания нашего поэта, неприемлемые уже и для тогдашней советской России. Лет через десять их публикация была бы приравнена к преступлению, но в двадцатом году еще *можно* то, чего вскоре будет ни под каким видом нельзя. «Партия, на мой взгляд, должна быть не только организацией экономической, но и этической, духовной, философской. На этом пункте начались наши разногласия уже с 1895 года... Теперь должен явиться новый Интернационал, построенный на принципах духа, этики, свободной мысли. Сам социализм нужно рассматривать как звено в эволюции общества; должны родиться новый дух, новая мысль, новые формы... Ты видел, что это нелегко: расти, ломать себя, всем переболеть. Но черт побери, я все же пойду дальше! — может быть, я и найду попутчиков, готовых на страдания, на отказ от друзей и общепринятых убеждений. Быть может, на этот раз мой путь будет иной, может быть, он не будет путем борьбы: я убедился, как бесполезна всякая борьба, если она носит исключительно негативный характер. Мы должны бороться против самой борьбы...» Впрочем, дальше это письмо мы уже «проходили». Хорошо, однако, что все сказанное прозвучало по-русски, в Москве, в году 1920.

«О Райнисе снова нет известий, — заканчивал книгу Дауге. — Лишь глухо пущены в оборот новые клеветнические выпады против него. Падкие на сенсации шарлатаны захотели связать имя Райниса с попыткой организации на подмогу Колчаку белогвардейских латышских стрелковых батальонов в Сибири. Популярным именем Райниса, несомненно, еще попытаются воспользоваться всякого рода политические

авантюристы... Если читатель желает знать мое мнение о Райнисе в данный момент, то я ему с чистой совестью могу ответить только одно: Райнис сейчас переживает самые ужасные дни своей жизни. Не белогвардейские авантюры его интересуют, а всею душою, всеми фибрами своего существа он страдает из-за новых испытаний, посыпавшихся, как из рога изобилия, на голову латышского народа. С окровавленным сердцем и разбитыми надеждами он сидит у берега отдаленного озера, прислушиваясь к плачу волн, и в его чуткой душе, как в микрокосме, проходят все картины пережитого ужаса. Но на его замкнутых, тонких губах я вижу так хорошо мне знакомую, легкую дрожь упрямства и нежелания подчиняться судьбе».

Давно уж не возле отдаленного озера — на берегу родной Даугавы видели Райниса, но чего-чего, а разбитых надежд и здесь хватало. Чем более Райнис был нужен всем, тем более он всем мешал. Да, он принес множество голосов социал-демократам, но его старомодный идеализм, нежелание играть по правилам делали поэта крайне неудобным союзником. Главное, неизвестно было, чего от него ждать; вечное донкихотство старика раздражало, как зубная боль.

Что ж говорить о политических противниках социал-демократов! Райнис оказался неприручаем. «Поэты вообще — животные дикие», — как выразился один почтенный банкир.

Райниса то видели во главе первомайской демонстрации, где, между прочим, опять стреляли; то он рвался в тюрьму к женщинам-политзаключенным и на резонный отказ прокурора отвечал обидными обвинениями. Вообще прокуратуре и тюремному начальству доставалось от него: вечно он хлопотал за кого-то, ручался за отъявленных большевиков вроде Андрея Упита, одного из деятелей большевистского правительства Стучки, и т.п. Взяв на себя роль защитника всех угнетенных и преследуемых, он, кажется, не умел остановиться. «А что бы сделали коммунисты с нами, если бы год назад одержали верх? Об этом вы подумали?» Не слышит...

«Нацики» обижались не меньше: Райнис вступается то за белорусов, то за немцев, то за русских, то за евреев. Не пора ли ему подумать и о латышах? Но в том-то и штука, что спорить с этим костлявым стариком трудно. Говорят, это в его пьесе впервые прозвучало словосочетание «свободная Латвия». Говорят, он с большевиками поссорился из-за того, что те плевали на национальные чувства. Его обзывали националистом еще до того, как нынешние «нацики» внятно сказали «мама».

Осенью 1920 года на квартире Райниса и Аспазии произведен обыск. У девицы, переписывавшей для Райниса его пьесы, вернее, у ее мамы, нашли фальшивые деньги. Изготовленные якобы в советской России. В печати девушку назвали «секретаршей поэта»; теперь двое сыщиков, два наглых усатеньких типа переворачивали квартиру вверх дном, только ухмыляясь при гневных восклицаниях Эльзы.

И сыщики, и молодые, крепко сбитые «нацики», поджидавшие Райниса несколько раз у дома, обступавшие и с ленивой уголовной задержечкой каждого слога, со сплевыванием под ноги желтоватой слюны советовавшие папаше вернуться туда, откуда приехал, — не то посадим на кобылку лицом к хвосту и стеганем так, чтобы лошадка бежала аж до самой Швейцарии... — все они тоже братья, страшноватые, но уж какие есть. Тоже народ — или болячка, нарыв на его изможденном теле; однако и болячка — часть больного, срежешь ее не так — и какую; помнишь операцию на шее, на твоей шее, Райнис?

Ни одна из партий не знала слова «любовь». Знать-то знали, но оставляли в лучшем случае для любовниц. В общем же не сомневались, что словечко — из области детских сказок, чувствительных романов в переводе с немецкого, песенок того же происхождения и типа. И еще: «любовь» — из лексикона пасторов, лютеранских, католических, православных священников. Что ж Бог не защитил своих смиренных служителей, сколько их перестреляли точно куропаток? Даже верующие, то есть ходящие в церковь, то есть с истинным чувством поющие: «Боже, благослови Латвию!» — даже они, кажется, в глубине души уверены, что евангельская любовь — нечто из области чистой словесности. Повторить вслед за пастором, что «Бог есть любовь», что любить надо ближнего — как на партийных собраниях повторяют нужные лозунги: разговоры эти — отдельно, а жизнь — отдельно.

Вот и суть его разногласий с братьями. Это он принес в Латвию идею социальной справедливости. Но они отделили ее от народной идеи и пропитали безумной враждой, в то время как справедливость жива только вкупе с любовью, вражда дает ей обратный знак: была справедливость — стала несправедливость. И что из этого вышло? Миллионы трупов.

Другие взяли его же национальную идею, идею патриотизма, и напоили ее ядом вражды — ко всему, кроме своей нации. По невежеству, по бедности воображения и ума они думают: выдернем наш народ из всех прочих, поставим особняком и над ними, — то-то заживем без помех, без никаких проблем. Но кому нужен народ, вынесенный за скобки

человечества? Не говоря уж о том, что дурь это, чушь: никаких народов-отшельников посреди Европы не было и не будет; все и затевалось затем, чтобы народ-личность занял свое место среди других народов, с достоинством взглянул в глаза братьям по планете, проронил свое и неповторимое слово. Как он ненавидел «патриотизм» — с тем же обратным знаком, ищущий врагов, сам же их плодящий — да-да, из неврагов устраивающий врагов до гроба, их и своего. Патриотизм ненависти — какой он патриотизм? Он заряд взрывчатки, способный разнести на куски страну и побольше Латвии.

Третьи же отделились божкам наживы и власти. Сколько повылезало из всех щелей крутого народца, готового продать мать родную за известную сумму, готового зарезать за рупь и в задницу расцеловать за червонец! От социалистов они узнали, что Бога можно не бояться, нет Бога; о чести и морали они что-то слышали, но убеждены, что все это для облапошивания простаков. Все средства хороши, чтобы выскочить наверх, разбогатеть и пнуть ногой беднягу, которому не повезло: прочь с дороги! Как партия решила, что все средства хороши, лишь бы на пользу революции, так эти братцы тоже не стесняются в средствах — на пользу святой мошне. И притом в полной убежденности, что так и нужно, что разговоры о добре и чести, о разуме и красоте — туфта, ловкий обман или бред. Причем когда обман, хитрость — что ж, это понятно. Но если уж бред — пусть идут полечатся! «Во всей Латвии осталось не больше пяти патриотов», — сказал однажды с тоской Райнис. Все, чему отдана жизнь, оказалось не ко двору. Нравственные понятия здесь упоминались лишь в порядке риторики в тех местах, где за риторику платят.

И сколько молодых, востроглазых, быстрых появилось, с красными влажными губами, вполне довольных наступившим торговым временем, чувствующих себя как рыбы в воде, и чем мутнее водица, тем слаще! Они выросли посреди смертей, предательств, жестокостей, они выжили и теперь наслаждались этим: тут, сейчас было их время, другого они не знали никогда и, может быть, не узнают. Они искренне решили, что половина словаря — для выдуманных, для лишних, несуществующих понятий; приличия для них ограничиваются умением держать вилку в левой руке, а также чмокнуть даме ручку, любовь — то, чем занимаются с женщиной, сняв штаны, смелость — впятером разделать под орех одного и долго, со вкусом бить ногами лежачего.

Какая там новая Эллада! Какое там первое в мире государство свободных и счастливых людей, очаг культуры! Латвия, которую он считал наполовину своим творением, не хотела подчиняться творцу.

Вы безбожно преувеличиваете, говорила, поджимая губы, Антония — писательница Иванде Кайя. Может, она имела право так говорить. В самую тяжкую пору это она организовала сбор средств в помощь новорожденному государству среди женщин. Посреди беды и разрухи латышки отдавали последнее, снимали даже обручальные кольца с руки. Разве это не патриотизм? А кто отогнал полчища Бермонта-Авалова? Да, конечно, английские корабли в заливе помогли справиться с негодяями, но ведь не англичане дрались врукопашную, умирали. И не так уж бездуховна эта новая Латвия. Сам же Райнис рассказывал о крестьянке, которая месяц экономила на всем, чтобы приехать посмотреть «Иосифа и его братьев» в Национальном театре!

Жизнь, треклятая и благословенная, начисто лишенная сантиментов, бушевала и скандалила за окном, торговалась и божилась, разбойником нападала из-за угла, молилась, все-таки молилась в храме, издавала, как извозчик, поцелуйные звуки, сопротивлялась всем попыткам дать ей одно какое-нибудь, окончательное определение.

«Ну да, — говорила Антония, — бескорыстие — редкость, но оно и всегда было редкостью. Пускай их работают локтями, пускай богатеют всеми правдами и неправдами, с каждым богачом Латвия богаче, с каждым бедняком — беднее». «Может быть, тогда выслать всех бедняков из страны, куда-нибудь на Байкал?» «Зачем же. Дадим им разбогатеть. Дадим им землю...»

Землю дали. После короткой яростной схватки с немецкими баронами (в черной неблагодарности обвиняли они латышей: если бы балтийские немцы, ландвер не освободили край от большевиков, что сейчас было бы с ними? В Лигу Наций жаловались: нарушаются права собственности, нас попросту грабят!) в спешном порядке был принят аграрный закон. Помещичьи и бывшие казенные земли раздавались равными долями крестьянам, новохозяевам. Даже Стучка издалека, из Кремля, заметил, что одним этим законом «режим» разом упрочил свое положение. Латвия оставалась крестьянской страной. Для крестьян своя земля была всем — и родиной, и свободой. Получив надел, они начали строиться. Выстраивать жизнь, почти от нуля. И как только разрушение сменилось строительством, стало ясно: новая страна состоялась.

Возвратились из России муж и трое детей Антонии. Возвращались десятки тысяч. По мирному договору с Россией прибывали на родину

латышские стрелки. Троцкий, подписывая приказ, открывавший им путь к возвращению, сказал с усмешкой: «Мавр сделал дело, мавр может уйти». Но еще долго латышей не отпускали с фронта; еще долго Стучка и его Центральный комитет задерживали выполнение приказа под разными предлогами, придумывали все новые проволочки... Наконец, на Пленуме ЦК было решено: пусть едут красные латышские стрелки к себе домой. Они станут той силой, которая вернет Ригу на путь истинный. Мощный агитационный и пропагандистский заряд давался каждой отъезжающей группе. Там, дома, эти люди должны были установить связь с коммунистическим подпольем и продолжить борьбу за восстановление советской власти, за диктатуру пролетариата.

Никто ничего не продолжил. Стрелков ждала земля. Своя. Они истосковались по ней, она — по ним. Стрелок, получивший земельный надел, был потерян для коммунизма навеки. Собственность, самый страшный враг большевиков, захватывала человека крепче любой власти. Вот почему уже с восемнадцатого года Советы начали войну — великую антикрестьянскую войну, призванную покончить раз и навсегда с частной собственностью и с собственником как таковым. Там, в России. Здесь, в Латвии, их война была пока что проиграна.

Иванде Кайя рассказывала о пяти месяцах правления Стучки. Читала отрывки из дневника, который продолжала вести и в те дни — не без опаски. Впрочем, в дневнике было и об этом. «Первый раз в жизни пишу дневник — и не осмеливаюсь сказать все, что думаю. Такого, как этот режим, еще не было. Интеллигенция под угрозой, каждого из нас на ночь глядя могут увезти куда угодно. Свободы слова нет; как только большевики переступили через порог — все умолкло. Латвия онемела. Какие бы до этого ни были власти, в известных, разумных пределах критика позволялась, — но большевики не терпят и полслова критики в свой адрес. Все и вся застыло. Словно бы нас захватили монголы. Стучка и Данишевский уже уселись во главе правительства в Риге...» «Все вокруг полнится страхом за бедную растерзанную Латвию, на руинах которой большевики справляют свои оргии». И дальше, дальше, перелистывая страницы: февраль девятнадцатого... март... — читала Антония: «Жизнь в теперешних обстоятельствах опостылела. Да и ничего не стоит во время революции жизнь человеческая — головы летят, точно капустные кочаны. Мысль застывает... живем под ужаснейшим террором...» «Нельзя уже дневник писать. Нельзя говорить, нельзя думать. Красный ужас кругом... Красные сотнями уводят заложников в концлагерь под Смоленском. Берут и спекулянтов, и строительных

подрядчиков (и архитектор Ванагс расстрелян) и всяческих «контрреволюционеров»; сажают женщин, а в последнее время и детей, чьи родители бежали... В Риге невиданный разор и голод. Ни у кого ничего нет...»

— Они всякое несогласие рассматривали как преступление, — говорила Антония, отрываясь от тетрадки. — Всем хотели распоряжаться. Все учитывать и распределять. Отбирать, учитывать и распределять. Куда бы они ни пришли, исчезало все: молоко, хлеб, мясо, одежда. Ты стоял, точно нагишом на ветру: тебе ничего, совершенно ничего не принадлежало. Ни дом, — они могли прийти и сказать: собирайтесь, вы переезжаете на Заячий остров. Из вещей разрешается взять то-то и то-то. Это уже не твои, это их вещи. Ни жизнь, — то есть она была твоя, пока не понадобится им для чего-нибудь. Рабочие их тоже возненавидели за эти месяцы. Даже эти... железнодорожники — а уж до чего были радикалы! — от них отступились; крестьяне — все до единого! И в то же время я заметила одну странность. Террор, весь этот гнет приводит не только к повиновению. Людям мало уступить под давлением страха, им нужно найти для себя какое-то оправдание. И тогда они сами разжигают в себе... не знаю, как и назвать: ложный восторг, что ли? Посмотрели бы вы на праздник Первого мая. Голодные, все потерявшие люди... и они не просто изображали энтузиазм — они его испытывали! Это новое какое-то свойство психики, нигде не описанное, по крайней мере, я не читала. Масса людей точно под гипнозом. Славят тех, кто довел их до нищеты и страшной жизни, кричат «ура» своим притеснителям, убийцам своих близких! Оказывается, настроениями людей можно манипулировать, посредством силы и страха внушать любовь... почти любовь... так некоторые женщины чуть не молятся на мужей, которые их третируют, даже избивают...

Рассказывала Антония — правда, с чужих слов — и о Петерисе Стучке, о Доре. Побывали у них, по делу, общие знакомые. Дора — гранд-дама, величественная, холодная. Стучка отказывал в приеме даже людям, с которыми знаком много лет...

Райнис слушал, не зная — верить, не верить? Антония, как-никак, была врагом не только Стучки, но и социал-демократов. Ничуть этого не скрывала.

ВВЕРХ ПО СКЛОНУ,
ВЕДУЩЕМУ ВНИЗ

— Стоп! Когда еще я вам говорил закругляться? Ваше время истекло, господин автор, переходите к эпилогу и постарайтесь, чтобы он был коротким.

— Кто это здесь раскомандовался? А-а... «Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла»?

— «Я дух, всегда привыкший отрицать». Мы с вами, однако, недурно помним «Фауста». Нет, в самом-то деле — вы что, не чувствуете, книга окончена! Тема «Райнис и его братья» практически исчерпана, остался только Райнис. Что, так и будете тащиться по оставшимся восьми годам, наблюдая, как ваш герой дряхлеет, все больше обижается на целый свет, теряет связь с наличными поколениями, терпит неудачу в попытках преобразить каждый свой шаг в поэзию, — а раньше удавалось!

— Помнится, вы или ваш сменщик, многоуважаемый Нечистый, говорливый враг рода человеческого, сатанинское отродье...

— Не трудитесь, у меня псевдонимов не меньше, чем у некоторых революционеров-подпольщиков. Что — «помнится»?

— Помнится, вы иначе относились к моему герою.

— Он кончил тем, чем начинал Фауст:

Клянуп Маммона, власть наживы,

Растлившей в мире все кругом.

Клянуп святой любви порывы

И опьянение вином.

Я шлю проклятие надежде,

Переполюняющей сердца,

Но более всего и прежде

Клянуп терпение глупца.

— Неправда. Райнис никогда не проклинал ни любовь, ни надежду.

— Не придирайтесь Он ведь чувствовал, что обманулся в своих надеждах? Что обманут? И вообще, у нас, как вы догадываетесь, не благотворительная лавочка. Райнис последних лет... трагикомедия обманутого тщеславия... Директор театра (есть, помнится, такой персонаж и в «Фаусте»), министр, без малого президент небольшой страны или, как говорил ему один льстец, «духовный президент», почти Нобелевский лауреат... — зачем ему было все это?

— Еще немного, и вы начнете проповеди с амвона читать. А кто раздувал в нем тщеславие, не вы ли? Не говорите мне, что оно от Бога.

— Лет пятьсот назад... по вашему летоисчислению — я решил втайне, что всё от Бога. Но считайте, что вам я этого не говорил. Ваш Райнис много ездил в последние годы. Седой как лунь... Похожий на Дон Кихота с картинки Гюстава Доре. И писал из этих путешествий обоим своим женщинам: Аспазии и Ольге Клигере. Вот в письме к последней он, если помните, неосторожно пожелал, чтобы *мгновение остановилось*. Это и не письмо даже, а посланная из Лугано открытка, 1926 год. Цитирую: «Трудно отсюда уезжать, здесь такой покой и так красиво, пускай бы само время остановилось». Мог бы я поймать его на слове, но не захотел.

— Почему же?

— Черт знает почему. Аппетита не было. А что вы-то молчите? Что ж не встаете грудью на защиту своего героя? Не говорите, что я все вру?

— Врете вы все. Хотя и посредством правды. Можно ведь и цитировать, и документы представлять, причем сплошь подлинники, а в результате будет ложь. Как, например, Райниса сделали другом и чуть ли не боевым соратником Стучки. Были, поясняли, некоторые недоразумения, легкое недопонимание, недостаток информации. А в целом, значит, презирая и ненавидя буржуазную действительность, Райнис только и мечтал переехать в Москву, к сестре Доре и ее мужу.

— Так ведь он «буржуазную действительность» и впрямь терпеть не мог, а с сестрой и ее мужем помирился. Ваш Стучка, извиняюсь, один из главных бесов, устроивших ад на земле — при постоянных обещаниях рая. Они нас всех переплюнули. Косточки до сих пор хрустят в ушах, мясом горелым от разожженного ими пламени так и несет, — не чувствуете? А Райнис возглавил коммунистическое издательство «Дайле ун дарбс», которым руководило зарубежное бюро ЦК компартии Латвии, председатель т. Стучка. А посылочки продуктовые по адресу Москва, Кремль кто слал? Масло, сыр, варенье, шоколад... Так студентам Петерису и Янису их мамы отправляли что повкуснее во время оно...

— Ну и посылал шоколад и письма ласковые писал, не столько Петерису, сколько сестре Доре. Но в них — ни слова о политике. Ни разу, ни единым

словом Райнис не одобрил происходившего там. Посмотрите, посмотрите эти письма, посылавшиеся с верной оказией, так что можно было не опасаться чужих глаз. В них все — о здоровье да об ушедшей общей юности вздохи. А издательство... Там выходили его книги. Мог он и не знать, что помогает таким образом легализовать посылаемые из Москвы деньги.

— Мог не знать, мог и знать. Издательство-то, помните, славно его отблагодарило: после смерти Райниса тоже приказало долго жить, повесив на Аспазию должок в 60 000 латов. Подумать только: боялись всю жизнь нищеты, лезли из шкуры вон, чтобы уж наверняка никогда не нуждаться — и на тебе! Ну-с, я жду возражений.

— Издательство я защищать не буду, а Райнис сам себя защитит. Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка освящал буквой и духом советского закона жесточайшую в истории войну правителей со своим народом. Помните, он говорил, что физическое уничтожение людей не цель, а средство? Райнис отвечал издалека: грязные средства делают и саму цель грязной. Да, он ссорился в Латвии со многими, проклинал власть наживы, — но неужели не видно, что и тут он верен себе, решениям, принятым раз и навсегда? Он — на стороне тех, кому хуже. Помните, как поносил он балтийских немцев, воевал с ними, когда те хотели и могли оттяпать Латвию? Но вот немцы сделались национальным меньшинством в Латвии, и он готов вступиться...

— Стучка тоже на стороне тех, кому хуже. А хуже постепенно становится абсолютно всем. Не без его помощи.

— Стучка убивает свободу, а Райнис — ее воплощение. Он произносит и пишет неразрешенные вещи. Он воплощает собой оппозицию. Будь он жив к тому времени, Ульманис не смог бы совершить государственный переворот, запретить все политические партии. Райниса нельзя было бы арестовать, как прочих социал-демократов, нельзя было бы и заставить замолчать.

— Кто его знает. Каталажка быстро вылечивает от ненужных привязанностей: приказали бы не любить Райниса, и любовь быстренько бы выдохлась.

— Вот и произнесено слово, необходимое защите. Любовь.

Черт (впервые проявляя признаки беспокойства):

— Слова, слова, слова.

— Одно только слово.

— Но почему только одно? Есть много прекрасных слов. «Искушение», например, «соблазн», или «ненависть», или «месть» семантически ничуть не беднее. Что вы молчите?

— Наблюдаю. Все-таки проповедник из вас вряд ли получится.

— Если хотите знать, я уже проповедовал... с амвона в том числе. Бывал священником, и не раз, одновременно сотрудничая с такими

нешуточными учреждениями, как НКВД и гестапо. Не говоря уж о более ранних: святой инквизиции, к примеру.

— Мы отвлеклись.

— Вот именно. А ведь я в последний раз с вами. Пользуйтесь.

— Почему же в последний?

— Надоело мчаться по первому сигналу то к вашему герою, то к вам лично. У меня и других душ хватает. К тому же роман, по моему убеждению, закончен, а я до сих пор не соображу, что я в нем делал.

— Я тоже. Однако ж я видел, как вы вздрогнули при слове «любовь».

— Я? Вздрогнул? Ну и фантазия у вас. Пожалуйста, произнесу и я: любовь. На востоке говорят: хоть сто раз скажи слово «халва», во рту слаще не станет. Он толкует всю жизнь о любви, ваш Райнис, а где, где она, его любовь-то? Мать он любил? Не так чтобы слишком. Отца? Да весь так называемый социализм Райниса и Стучки — это спор хилых тринадцатилетних мальчиков с их могучими отцами. Зигмунд Фрейд, если не читали, оч-чень рекомендую.

— А в независимой Латвии победил старый Плиекшан...

— И старый Стучка. Заметьте, та часть их родителей победила, которую ваш герой пуще всего ненавидел. Хищность, грубый напор, безжалостность к «мелкоте», беспощадность к соперникам...

— Да вам самому в пору романы писать.

— Благодарю. Это, пожалуй, идея. Но мои сочинения дальше ада не пошли бы. Да и там оказались бы в спецхране. Так где вы видите любовь? Аспазию он оскорбил смертельно, когда связался с ничем не примечательной девицей и, главное, посвятил ей целую книгу — «Дочь Луны», если помните. Но ведь и Ольгу Клигере он под конец готов был сменить... мечтал, во всяком случае, о новой любви — старый хрыч.

— Вы... того. Говорить говорите, но не заговаривайтесь.

— Это вам заговариваться нельзя, а мне все можно. Где любовь, спрашиваю я? Впрочем, оставим это.

— Почему же оставим? Для сравнения возьмем композитора одного. Русского. Петра Чайковского.

— Ха! Это са-авсем другой случай.

— Другой, другой. Там уже и вовсе далеко было до любви, не дотянуться. Но послушайте его Шестую — но страсть и горечь какая, какое желание высочайшей и чистой любви и плач по ее невозможности, недостижи... Попал! Я вижу, что попал! Вас передернуло всего, и притворное ваше равнодушье никого не обманет!

— Да плевал я на вашу риторику, как покойный Янсон плевал на «прощение» брата Яниса! Обидно, конечно. Трудился-трудился, силы тратил, говорил с вами интеллигентно, понимаешь.

— Вопреки своему одиночеству, вопреки слабостям, из которых он, кажется, состоял, вопреки неумению любить — он возвестил целому народу и языку ту самую любовь, что проповедовал Христ...

— Без имен, черт побери! Без имен!

— Его любви не хватило ни на одного близкого человека, но ее достало на пять поколений латышей. На человечество.

— Так уж и человечество. Оно о любви вашего героя и не подозревает. Да и где вы его видите, человечество? Никакого такого человечества нет.

— Ладно-ладно. Его завет, его победительный довод в споре с бе-сами, вашими и нашими: *политика, основанная на любви*. О, конечно, скажут, что это всего лишь прекраснодушное мечтанье. Что он безумец, если надеялся на...

— Безумец, безумец, безумец.

— А те не безумцы, кто политику основывает на ненависти, на вражде и презрении к другим? Это и есть дьявольский заговор: перевести все понятия, все величины в отрицательные? Поставьте за единицей хоть тысячу нулей, только любовь сделает число положительным. Вражда — минус, поставленный пред всем. Признайтесь: земной шар видится вам последним нулем в этих минус мираадах? Так ведь? О чем — спор Райниса с братьями, не об этом? И герою моему, атеисту, безбожнику, пришедшему к истине, обогнув Вселенную, с другой стороны, не будет ли сказано как Маргарите в «Фаусте»: «Спасен!»?

— Вы мне осточертели. Текст, произнесенный вами, запальчив настолько же, насколько наивен. И кроме того, невежлив. Я умываю руки. Лапы то есть. Райнис — ладно, но с вами, р-романист, мы еще посчитаемся.

— Ай-яй-яй, в аду не умеют проигрывать?

— Игра не кончена.

Разгневанно исчез.

Еще один персонаж. По одному покидают они наш роман: первым — Янсон, за ним — Янкавс, на очереди Ленин В.И. — полупарализованный, учащийся заново говорить «мама», — светлый гений всего человечества? «Безумец, безумец, безумец»?

Все реже вспоминает Райнис о тех трехстах годах, которые собирался прожить. Мысль о смерти... иной раз смерти самовольной посещает его нередко. Не реже, чем мысль о бессмертии. Два мотива звучат в дневниках этих лет: отъезд (может быть, обратно в Кастаньюлу?) и — уход. Имя Льва Толстого в этой связи возникает все чаще: уйти, как он из Ясной Поляны, оборвать все нити, уйти от Аспазии, из дому, из Латвии, и если это будет

окончательный уход отовсюду и насовсем, как было с Толстым, — тем лучше.

Да и неправда, что не было в его жизни любви. За пять месяцев до смерти, в апреле 1929 года он пишет Ольге Клигере из Италии: «Счастье — вот оно: Ты — счастье. Я среди дня ищу солнце, — да вот оно светит! Смогу ли я нарисовать Тебя, как Гете Маргариту?... Ты умная работающая женщина, благодарный рабочий материал, — и все-таки маленькая, светлая девочка: детская простота, истинность, прямота. И Ты не отравлена горечью, не искалечена, Ты вполне такая, какой пришла от природы, жизнь не сумела ничего поделывать с Тобой. Ты устала — вот и все. Со мною жизнь тоже не могла сладить, но лишь до того, как я исполнил свою задачу: к 60 годам я окончил дело, а с ним кончилась и моя жизнь. Но и посеючас я не знаю, точно ли это была моя задача — то, что я исполнил, — или то была только задача времени, а моя осталась где-то, пропала? Как бы то ни было, эти последние годы — мой отпуск и подарок, и Ты была этим подарком. Я это не сразу понял, искал что-то еще, ждал впереди чего-то... Мне доктор сказал, что новые впечатления помогут вернуться к работе, но тут нужна новая задача, новые идеи, новые глубокие чувства, а во мне только равнодушие... Ты одна осталась золотой ниточкой, что привязывает меня ко мне, Ты милая, дорогая, хорошая, Ты, светлая милая девочка... Держись, не замыкайся от радостей, живи для своей жизни — не для задачи! Ты видишь, что вышло со мной, с моей жизнью, житьем ради задачи. Будь только светлая, как подсказывает Твоя природа, иди природным путем».

Каждому слову этого письма я верю. Тем более что на следующий день Райнис уходил в плаванье — от берегов Италии к Палестине и Египту. Египет! Палестина! Земля его Иосифа. И невидимая дуга, мост от этого Египта — к тому, латышскому, к девятилетнему мальчику, впервые — и навеки — покинувшему родительский дом; почти вся жизнь, все жизни уложились в промежутке от одного Египта до другого.

Трудно было с Аспазией. Когда она прочла только что вышедшую книгу — «Дочь Луны», простодушное и почти протокольное изложение романа с молодой соседкой, она швырнула книжку ему в лицо. Райнис жалуется: «Эльза сегодня пять часов кряду отчитывала меня, трудно выдержать». Любовь ушла. Оказывается, нельзя любить из благодарности, из уважения. Уважение осталось, благодарность осталась, любовь — нет. Может быть, сказалось и упрямое свободолюбие Райниса. Легенда о чете поэтов,

фатальное соединение их имен превратилось в мышеловку. Молва соединила их намертво — не дернешься. Он переставал чувствовать себя живым, его жизнь была уже до конца решена за него. Сердитые потуги высвободиться не всегда удачны. Он нарочно, напоказ выходит на люди с Ольгой, не замечая, что у той слезы наворачиваются на глаза. «Ты со мной только из-за моей славы», — сказал он как-то молодой подруге. «Я не сказала ему, как успели *ославить* меня из-за него злые языки...»

Аспазию оскорбляла не только сама по себе измена, но и выбор: после нее — зауряднейшая особа, ни красоты, ни особенных дарований, ни ума. Ей предпочесть ходячую посредственность! И раззвонить о том всему свету. Будь это Бирута Скуениеце, она бы еще поняла...

Весной 1926 года, во время очередного путешествия Райниса в Европу, Аспазия писала мужу: «Никогда мы не были разлучены так, как в эти два года, никогда так много чуждых впечатлений не разделяло нас... В последние полгода мы видимся еще меньше: до обеда Ты работал или отдыхал и я, заходя к Тебе, только мешала бы, а с 4—5 пополудни время и вовсе не принадлежало мне, я могла только постоять у изголовья кровати и погладить Твою милую головушку. И в последний раз, когда Ты решил, что я шпионю за Тобой, я приходила всего лишь ласково погладить Тебя. Так между нами мало-помалу образуется пропасть... Будь мои волосы золотыми, как когда-то давным-давно, я бы могла перекинуть мост из них, — но они уже начали седеть. Прости, что напоминаю о прошлом, Ты весь — человек настоящего и будущего (Ты сказал недавно, что не помнишь, чтобы у меня вообще были когда-либо такие волосы), я же напротив человек прошлого, у меня, как у дерева, корни в прошедшем, оттуда я черпаю силу. Все, что Тебя сделало сильным, великим и бессмертным, — это наше прошлое и общая жизнь. Я думаю, что она сильнее Твоего красивого настоящего и что Ты вернешься к величию или со своей старой подругой или один, другого пути нет: мы слишком органично срослись, нас обвенчали время, звезды, весь народ».

В открытке, посланной пятью днями позже, Эльза писала, что тяжело болела, думала уже, что не выкарабкается. «Тяжело было бы уйти, так и не увидав Твои милые глаза... Смерть не была бы так трудна, если б не это отчуждение между нами. 30 лет я держала Тебя в руках, все корни моей жизни вросли в Тебя, это жизнь, которая выше жизни, и теперь, когда я оставлена здесь, у меня есть святое право никому не отдавать Тебя».

Никогда еще Райнис не бывал так неубедителен, как на этот раз в ответных письмах из Франции. «Разве Ты не видишь, что все хорошо? — пишет он Эльзе. — Своими напрасными и бесконечными печальями Ты лишь изводишь себя и меня и не даешь нам выздороветь. Разве нет у нас

в жизни никаких целей, если из-за каких-то «бед» можно жертвовать собой, своим здоровьем? Между нами ничего не изменилось, мои чувства к Тебе те же самые, что и были, — зачем же придумывать себе всякие страхи? Не забудь, у Тебя драматическая натура, ищущая и требующая потрясений, а сердце страдает больше всего именно от них. Тебя «никто не навещает», пишешь Ты, но может быть, Ты сама затворилась от мира? Милая, дорогая, друг сердечный, не терзай себя, иди снова к людям, работай».

Первое письмо к Аспазии было послано из Франции 24 марта, второе — 12 апреля. А между этими датами, 26 марта Райнис писал Ольге Клигере: «Что Ты за прекрасный человек. Такая радость — за Тебя и за меня, что Ты мне дана. Поддерживай свои глубокие чувства, свою волю стать сильной и умной — телесным здоровьем: делай зарядку, купайся, дыши, пусть Твое тело тоже будет сильным и умным...» 15 апреля — ей же: «Ты славно сказала: наше счастье было таким красивым и сильным, что надо искать новые слова, чтоб его выразить. Прошлое нашей любви сейчас согревает и ласкает нас без всякой нашей заслуги в настоящем... Я целую Твои ручки и ножки и все 20 пальчиков и т.д. Красивы слова Твои, чудесна Ты сама, божественна Твоя милая милость — любовь, только взгляды могут выразить ее, только поцелуи и ласки, солнышко мое, мое счастье».

Была, была любовь — земная и преходящая, с приливами и отливами нежности, с приступами сомнений, ревности, — «вечерний день», как сказал Тютчев, предзакатное счастье.

И та, что подарила ему эту позднюю радость, вспоминала, что никогда не встречала человека более одинокого.

Чего только ни делала Аспазия, чтобы вернуть его! Одно время, — они жили тогда в купленном ими доме в Задвинье, на тихой зеленой улице Дикю, — приручала деревенскую девочку, жившую по соседству, носилась с мыслью удочерить ее: Райнис так любит детей, он и сам остался во многом ребенком (между прочим, по-детски эгоистичным и своевольным! — думала сердито Аспазия), может быть, появившись в доме дочка, не нужна была бы и Ольга? У самого лицо как печеное яблоко, давно уж белый весь, а подавай ему молодость и свежесть; только этим она его и взяла, да и что в ней есть кроме этого?..

Еще сложнее было с чувством, не менее главным во все времена: любовью к своему народу. Он ссорился с народом и государством, как ссорился то с Аспазией, то с Ольгой. Он возмущался многим и вел себя иногда

как рассерженный автор, не узнающий свою пьесу в том, что нагородили на сцене бездарные режиссеры и неопытные артисты. Он говорил, что не хотел бы умереть в такой Латвии. «Но это не значит, что я хотел бы в ней жить». Подобных резкостей, произнесенных вслух, ему не прощали, а молчать он не собирался. Не мог он смириться с кардинальным расхождением между вымечтанной им страной и этой, реальной. То, что он вменял в вину Стучке и его партии: пренебрежение моралью, преобладание чисто материальных интересов и отрицание духовных, враждебность или равнодушие к культуре, — все это парадоксальным образом он находил теперь и у противников Стучки, с прибавлением мотива корысти — как доминанты всех интересов и страстей. Не то что героизм, благородство помыслов и поступков были поставлены под сомнение: казалось, вышла из моды даже простая порядочность. Ополовинив жизнь, оставив от нее только волчьи клыки и аппетиты, его удачливые сограждане были уверены, что преуспели. Бедняги! Неужели так и проживут свой век — не узнав ни беззаветной любви, ни бескорыстных порывов, не расслышав ни музыки, ни стихов, не взглянув на бесплатные звезды? И эта свиньячья жизнь, не дающая поднять голову от кормушки, — венец всех усилий? Итог борьбы и жертв, споров, мечтаний? Ладно, в конце концов, это поколение латышей — не последнее, — решал он.

Первые разочарования — почти сразу после приезда. 1921 год: «Не требовать от родины больше, чем она может дать. Мы как народ не очень-то прогрессивны. Мы и не столь сердечны, как мне и нам казалось. Сердечность и энтузиазм, наверно, — от литературы и революционного времени, и от меня. Мне отдают то, что дал я... была иллюзия, что теперь, после пятидесяти, во второй половине жизни — жизнь, родина, люди шагнут мне навстречу, как дереву, вытянувшему вперед свои ветви. Не идут и не пойдут. Знать это раз и навсегда».

1922. «Целый месяц не оставляет впечатление, что хватит, не нужно больше жить. Не хочется и работать, и за то, что не работаю, не хочется упрекать себя, как было в 1917, 18, 19. Единственное, что могло бы быть: совершенно новая жизнь за границей. Беда только, что Иныня будет страдать, может умереть от этого. Так что я не свободен даже умереть. Разве это правильно? Разве жизнь моя не прожита наперекосяк?»

«Латвия — только средство, не цель. Лютая вражда против меня доказывает, что я ошибался, выбрав латышский народ, чтобы через него выразить свои мысли. Вообще малые народы, должно быть, уже исчерпали свою роль как носители идей. Великие идеи у великих народов, а теперь уже великие идеи — во всечеловечестве, которое начинает формироваться с разных сторон, особенно во влиянии пробуждающегося Востока на Европу.

Коммунизм взбудоражил политически; духовный крах Европы заставляет искать спасения на Востоке — в философии, поэзии, искусстве. Наступит время серьезных исканий: в одиночестве, новом отшельничестве, аскезе, адептизме».

Декабрь 1922 года. «У меня голосов больше всего, больше, чем у Чаксте и Ульманиса вместе взятых, а партия и не думает выдвигать меня в президенты... Не достаточно ли жертв идее государства? Не достаточно ли уже поработал и дал? Если можете развивать идею дальше — развивайте, путь указан, если нет — я вам тоже не помощник. Мне нужно идти дальше, пора...»

1923. «Нужно начать жизнь сначала: без целей, без иллюзий. Все делать самому. Но что делать? Продолжать свои работы. Но у всех у них — свои цели, старые и ненужные. Все вещи, все 100 — кончены точно так же, как мой путь в политике».

«Теперь, когда все внешние цели отпали, вещи могут быть красивы без заданности, без внешнего движителя... Одно, что обходится без внешнего толчка, — любовь. Второе: философия, личная жизнь высшего порядка, жизнь в идее, без материального вознаграждения, *говсада*. Жизнь индийца в лесу».

«Может быть пока что внутренняя цель, когда отпали цели внешние, человечества ради. Временно, чтобы развить себя и позднее вложить в дело, еще неизвестное. Понять себя через работы, когда восприятие полное и активное. Осознать себя, решить, для чего живу, — не было времени в погоне за каждодневными целями. Ладно, то были великие цели, — но теперь они достигнуты. Разве жизнь от этого потеряла цену? Разве остается только самоубийство? Или мелочное наслаждение? Разве нет целей еще более высоких? А само искание — не цель? Или это искание — уже род самоубийства? Новая жизнь есть умирание старой?»

Он по-прежнему спрашивает, спрашивает без конца. Боялся, что в старости будет иначе.

Один из постоянных мотивов, повторяющихся и в поэзии, и в дневниковых записях, и в пьесах, и в снах: человек, идущий, взбирающийся, карабкающийся в гору.

Он и теперь, день за днем, год за годом, цепляясь за скальные выступы, за шаткие кусты, тащил в гору слабеющее тело; он карабкался к вершине, но похоже, некий жестокий шутник перевернул гору, и человек передвигался вверх по склону, ведущему вниз.

1929. «Я отрекся от одиночества, пустился в общество — правильно это было? Породило обязанности... Отныне писать только для себя. От

обязанностей отказаться. Довольно рабствовал... Быть одному! Я сделался зависим от других, и когда они не помогают (Ольга) я несчастлив. Обществу нужны другие — те, кого можно собирать, подчинять, подталкивать. В поэзии буду совершенно один. Можно обзавестись приверженцами среди современников, а можно и без них обойтись и быть большим художником. Тут, возможно, путь к новой поэзии: без целей и тенденции, без друзей и помощников. Не могу ли я теперь, сейчас же уйти — в *говсаду*? Что меня держит? Мелочи. Обеспечить близких, отдать вещи учителям и уйти. Обойтись можно малым. Но — окончанье работ? Но — легенда и оправдание? Но биография?.. Так или иначе, когда-то нужно уходить. Лучше — когда все труды закончены, биография написана тобою самим. А Гете? Его биографию разве не писали другие?.. — Но я вроде бы классич. поэт первой эпохи самостоятельности?»

Это — одна из последних дневниковых записей Райниса. Если не последняя.

Так вот, он обижался на страну и народ и обижал их тоже. Другого народа и другой страны ему не дано было, и он это знал. Расслышит ли человечество сказанное им, неизвестно, — но все им сказанное произнесено на языке латышей, на том языке, что рождался в ходе речи и был поэту Райнису столько же родителем, сколько и дитем. Бывало, в Кастаньоле он писал в дневнике о «превосходстве» латышей над немцами и швейцарцами, русскими, итальянцами, евреями и... и кем там еще. О молодости и древности своего народа. Потом от всяких претензий на превосходство отказался. Ни одному народу не нужно быть выше других, важнее быть выше себя-вчерашнего.

Теперь он знал, что братья его могут быть ниже всех или выше всех, могут быть учены или невежественны, как кочевники из Ханаана, — и ничего это не изменит: хула их шипом достанет до самого сердца, их любовь подымет из гроба. Все так, как сказано, как предсказано в его «Иосифе».

Райнис недооценивал глубину трещины, расколовшей к моменту их приезда Латвию и ее народ. Ему казалось естественным понимать и выслушивать и белых и красных, и большевиков и меньшевиков, центристов и «ультра». Каждая из сторон воспринимала самую попытку такой объективности как предательство. Иванде Кайя написала Райнису и Аспазии: «С каким глубоким пониманием и любовью весь народ принимает каждое ваше слово, когда оно обращено ко всему народу! Тогда мы вас боготворим. Но когда вы выступаете от имени одного класса, поддерживая претензии меньшинства на господство — вы наши противники. И тогда — зуб за зуб!..

Если бы вы хотя бы приблизительно знали, сколько горечи вы успели к себе вызвать со дня приезда! Если б можно было вслух выкрикнуть все это, — вы бы испугались. Только с бесконечным трудом сдерживаясь, народ терпит, не желая вас огорчать здесь, на родине... Вспомнить, как Райнис, выйдя из вагона, поцеловал красное знамя, не национальное. Мелочи? Но они так болезненны для нас. И они копятя все время, и вместо любви во многих возникает холодность, а в других и гораздо более того...»

Зента Мауриня, известная в Латвии тридцатых годов и в послевоенной Европе, особенно в Германии писательница, эссеист, философ, а в середине двадцатых — студентка, боготворившая Райниса, вспоминает, как из-за поэта поссорилась с благодетелем, выдававшим ей в то время ежемесячно деньги на учебу. «Он велел мне писать об Андриевсе Ниедре — самом крупном, по его мнению, латышском писателе, и запретил писать о Райнисе, *этом шуте, друге коммунистов и жидов*. Я отвечала упрямо, что буду писать, о ком хочу, что Андриевс Ниедра меня не интересует, зато о Райнисе я напишу целую книжку — правда, только тогда, когда дорасту до Райниса. Это было для него чересчур. Испепеляя меня злобным взглядом, он принялся выкладывать лживые слухи, сплетни о Райнисе, и чем больше я их разоблачала, тем больше нечистого белья он вываливал передо мной. Наконец, почти зайдясь в истерике, он выкрикнул, что Райнис *целуется с жидами*, что он не удивится, если тот на старости лет сделает себе обрезание. «Вон! — закричала я. — Прочь из моей комнаты! Никогда больше не желаю вас видеть!»»

Сказанное Зентой Мауриней подтверждается и другими свидетельствами. Один из современников, Петерис Айгарс (1904-1970), например, вспоминает: «Радовались, что на улицах Риги зараженная антисемитизмом молодежь скандирует: «Жид и Райнис целуются!» Происходило это всего лишь через несколько лет после того, как поэт и его жена были встречены на родине с таким невиданным почетом. Бранное словцо «красный барон», приклеенное к Райнису правой прессой, тоже прижилось».

И если какие-то молодчики в канун Нового года *обстреляли пробками* старого поэта возле ворот его дома, если в газете «Латва» Райниса обвиняли в том что, будучи директором Национального театра, он украл тему своей пьесы у начинающей писательницы, принесшей в театр свою рукопись, — можно себе представить степень ожесточения, обступавшего поэта в его последние годы.

И точно такая же непримиримость и ожесточенность наблюдались с другой стороны: большевики обвиняли Райниса в ренегатстве, и если он не был окончательно предан анафеме за участие в *реакционных правительствах буржуазной Латвии*, то лишь под сильным давлением из Москвы. Стучка, остававшийся «вождем» латышских коммунистов, не желал отдавать «пролетарского поэта» врагам; не уставая объяснял: большой поэт — не обязательно большой политик. В статье, написанной к шестидесятилетию Райниса, он писал: «Поэт оставил поле битвы. Он все более погружался в себя. И то, что он сказал, достал из себя в сборниках «Конец и начало» и «Вещание змеи» — высшее достижение его лирики и по форме и по содержанию. Это вещи, поистине достойные сравниться с творениями «олимпийца» Гете. Они так всесторонне берут внутреннюю жизнь человека, так поэтичны и глубоки по мысли, что действительно будут полностью поняты только после «обновления» человечества. Ни одной мысли он не оставил недодуманной. В них вся боль бессонных ночей!.. Дух его не терпит оков. Он не останавливается перед мыслью о смерти, о бесконечности...» Ни до, ни после этого Петерис Стучка не писал строк более проникновенных. Там же он назвал «Иосифа и его братьев» пьесой «изумительной». А ведь кто, как не он, знал — о чем, о ком она, эта пьеса.

И еще из воспоминаний Зенты Маурини. «Он, так много сказавший о красоте, неужели не видел, насколько невзрачной, мещанской была его домашняя обстановка? Как он мог выносить эти пыльные полусохшие пальмы, портьеры красного плюша, безвкусные картинки на стенах? В непроветренных комнатах всё мелко, узко, загромождено старомодной мебелью. Противным мне казался и большой кот Аспазии...»

М-да, не одна она к Аспазии не благоволила. Еще в молодости Эльзой или восхищались и тогда принимали ее целиком, как и вообще принимает любовь, не считая достоинств и изъянов и не различая их, — или на дух не выносили. С годами слава ее среди латышей сделалась бесспорной, но любили ее больше издалека, близких дружб почти ни с кем не выходило, а многие почитатели Райниса и десятилетия спустя отзывались о ней с нескрываемой антипатией, если не враждой. В женщинах могла говорить и ревность. Зента Мауриня, передвигавшаяся только с помощью инвалидной коляски, была нескрываемо влюблена в поэта («Мое везение: в меня всегда влюбляются некрасивые», — записал он по этому поводу). Что уж говорить об Ольге Клигере, о некоторых актрисах... Но и мужчины шестидесятилетнюю Аспазию не балуют комплиментами. Порой к ней явно несправедливы. Конечно, обстановка в домах, где жили два поэта, явно не отвечала вкусам Райниса: достаточно вспомнить ремарки в его пьесах, рисующие картину всегда

ярко и с безупречной свободой художника, избирающего нужные формы и краски интуитивно. Но и вкус Аспазии не был «мещанским»: он всего лишь отвечал представлениям о красоте, сложившимся в богатом крестьянском доме времен ее детства. Ни позднейшие путешествия, ни все виденные музеи и дворцы не смогли перебить в Эльзе силу первых впечатлений; и большие жирные коты, сопровождавшие ее и Райниса в Слободском, в Кастаньоле и Риге — оттуда же, из раннего детства, из тысячи восемьсот семидесятых годов...

Почувствовав себя брошенной, Аспазия не стала добрей и краше. Что делать: потерпев поражение от соперницы, женщина дурнеет.

Райнис так и не одумался, хотя по возвращении в 1926 году из Европы он не нашел в доме на улице Дикю Ольги Клигере: она съехала с квартиры и вернуться отказывалась наотрез. Что ж... поэт стал реже бывать дома. Смирение и вопль оскорбленной любви одинаково не привели ни к чему. Не стало смирения, и о любви, по-видимому, тоже более не было речи.

Янис возвращался от своей *пассии*, жившей на... *бульваре Аспазии!* (А лекции она слушала в университете на *бульваре Райниса*). Возвращался в дом, затаившийся в гневе и обиде, с тем особенным неуютом, что выглядывает изо всех углов при отсутствии любящей руки. Аннушка, бывшая не моложе хозяев, прибирала в комнатах кое-как, но разлад придавал всему черты запустения, даже странного при нескольких живых людях и при частых посетителях.

Долгие годы нужды или неопределенности приучили Аспазию к бережливости; как многие черты характера и лица, эта тоже заострилась с годами, и, может быть, чрезмерно: гостей в доме редко приглашали за стол, а все-таки приглашенные молча удивлялись скудости угощения.

Гостей, впрочем, становилось все меньше. Поэты жили теперь в центре города, в деревянном особняке на улице Базницас, недалеко от прекрасной готической церкви св. Гертруды. Дом был куплен впрок, еще в 1923 году, и вот пригодился. Переезжали, думали — ну, теперь отбою не будет от людей. Но нет: не сравнить было число посетителей и гостей с прежними годами. Тогда приходили к ним целыми делегациями, школьными классами, да и знакомых, близких и дальних, в день бывало до десятка, и просители не оставляли вниманием, — Райнис почти никому не отказывал, помогал и деньгами и защитой, и веским вмешательством... когда можно было помочь.

И все эти годы он умудрялся непрерывно работать. Сочинял пьесы, стихи, подготовил и издал к шестидесятилетию десятитомное собрание сочинений, упрекал себя в лени, строил грандиозные планы, начинал и бросал

новые трагедии, затевал роман, снова и снова напоминал себе о ненаписанной биографии... Из крупных вещей «Илья Муромец», давно задуманная и частично написанная еще в Швейцарии «трагедия старости» — по мотивам русских былин — напоминала о прежнем размахе и прежнем могуществе. Райнис понимал, как трудно перевести эпос в драму, частично преодолел непреодолимое, добился своего... Но оценить результат оказалось некому. На сцене «Илья» успеха не имел. Кроме прочего, намекали автору, зачем же он обратился к *русской* былине? Это не вполне патриотично; мы-то понимаем... но народ... после пережитых потрясений...

Патриотизм? Они называют это патриотизмом? Райнис хватался за голову.

Зента Мауриня — об одном разговоре с поэтом. «Стоя у окна спиной ко мне, он произнес тихим, едва слышным голосом: «А теперь скажу вам то, чего не говорил никому: я не хочу, чтобы меня похоронили в этой земле... Нет другого народа, в котором бы друг друга высмеивали, презирали и топтали ногами так, как у нас. Мне обрыдло их холодное равнодушие и их вражда. — И, после долгой паузы: — Странное у меня сердце. Ни одна боль не проходит. Я не способен что-либо забыть. Шип каждой обиды впивается и язвит. Сейчас они меня презирают, я им безразличен, а потом они устроят паломничество на мою могилу? Зачем? Души их очерствели, они умеют любить только мертвых... Хоть бы мне уехать отсюда. В Кастаньоле было труднее, чем здесь, и намного легче: те, кто наносил там обиды, не были моими братьями».

Это не мы, это он — по словам Зенты Маурини — произнес слово **братья**.

Оставалось и тайное знание: единственный народ, которому на сегодня нужен Райнис, необходим как соль, — этот самый, ранящий и насмехающийся, презирающий, равнодушный, глухой и все слышащий, сгорающий и в который раз восстающий из пепла, жалящий глубоко и больно, не отпускающий. И единственный народ из всех народов, нужный и необходимый Райнису: он же.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ

Убывали творческие силы, росла растерянность: впервые он не знал, что думать о критике, о реакции публики на его новые пьесы: верить, не верить? Этот холод, сквозящий, пронзительный, идущий из темного зрительного зала, — он действительно заслужен? Как холод домашний, тоже ледяной, — от него приходится спасаться в Юрмале, но и там он достаёт. И тот, что идет извне. И тот, что подступает, кажется, изнутри.

После многолетнего перерыва он снова вызывает духов... На этот раз — только мертвых: Гете... Блауманиса... Отца с матерью.

- Идти ли мне к тебе? — спрашивает он отца.
 - Еще нет... (до смерти Райниса — десять месяцев).
 - Ждет ли меня что-то хорошее? Счастье или несчастье?
 - Бедствие.
 - Материальное или духовное?
 - Жена.
 - Что мне делать, как предотвратить беду?
 - Готовь бумаги на развод.
 - Жениться ли мне снова после развода?
 - Угомонись. Пиши роман.
 - Буду ли я счастлив после развода?
 - Солнце тебе улыбнется.
 - Получу ли я Нобелевскую премию?
 - Да.
 - Еще что-нибудь скажешь?
- На это ему отвечает мама:
- Сыночек, люби нас.
 - Как там у вас, маменька?

— У нас тут странно.

— Спасибо. Пусть вам будет хорошо.

С Нобелевской премией вышло так: считалось, что выдвинуть Райниса должен Латвийский университет (досадная ошибка Райниса и его современников: условие это вовсе не было обязательным), но в последний момент господа профессора его кандидатуру не поддержали, предложив альтернативную фигуру — весьма скромного прозаика Екаба Яншевского. Райнису передавали, что вот если бы он перестал быть социал-демократом...

Обидней всего, что свое, домашнее препятствие было чуть ли не единственным. Весной 1928 году Райнис ездил в Осло, где отмечали 100-летие Генрика Ибсена. Латышский поэт возложил венок на могилу великого норвежца, сказал короткую речь. Его попросили выступить и на правительственном приеме, посвященном торжествам. Райнису легко было говорить об этом писателе: имя Ибсена можно встретить в его дневниках, письмах, рабочих папках, начиная с юности; оно упоминается рядом с именами Шекспира и Шиллера, Гете и Толстого. Ибсен — один из его духовных спутников, постоянных, самоочевидных. Один из тех, с кем он соглашался и спорил, с кем состоял в отношениях неформальных: Ибсен был впущен в душу, а потому и судим по особому, пристрастному счету. Норвежцы почувствовали это сразу, после первого же выступления Райниса выделив его из множества именитых гостей. Через несколько дней никому доселе не известного латыша знала вся страна. Речь и фотографию Райниса перепечатали 132 провинциальные газеты. Рассказывали, что изображение «латвийского Ибсена» долго потом красовалось на видном месте на многих норвежских хуторах.

По пути в Норвегию и обратно Райнис останавливался в Стокгольме, где был устроен литературно-музыкальный вечер, посвященный целиком его творчеству. В шведском переводе были показаны две сцены из «Иосифа и его братьев». Запомнили седого поэта и в Стокгольме. Хорошо запомнили, — вполне достаточно, чтобы члены Шведской Королевской академии не спрашивали, переглядываясь недоуменно: «Райнис? Кто такой?»

Об этом придется сказать. Облик, личность, речь Райниса в то время на многих производят впечатление, которое обычным не назовешь. Бельгийский король Альберт и норвежский король Гаакон забывали о строгом регламенте, беседуя с гостем из Латвии; прекрасный русский художник Константин Коровин в Париже, поговорив с Райнисом,

буквально заставил его принять в дар свою картину — пейзаж ночного Парижа... По-прежнему дети любого возраста и в любой стране принимали этого очень худого и высокого, очень седого человека как своего — немедленно, с первого взгляда и слова. В Палестине, в Египте он осматривал достопримечательности, а люди взирали как на достопримечательность на него самого. Что-то произошло с ним, и ощущали это что-то даже случайные встречные.

Странный рассказ социалиста Камила Хисмана (бывший секретарь II Интернационала, в двадцатые годы он — бельгийский министр образования), относящийся к весне 1929 года, будет здесь к месту. «Было первое мая. В наших скудных равнинах Райнис увидел черты своей родной страны. В Геле мы остановились возле здания, над которым развевался красный флаг. Там было полно народу. Райниса провели на сцену, и он произнес речь по-немецки. Кратко обрисовал трагическую борьбу латышского пролетариата, говорил об успехах рабочего класса Бельгии. Выступление закончил парафразой своего стихотворения «Сломанные сосны». После этого ко мне подошел брат одного нашего активиста, пенсионер. Указывая на Райниса, он сказал: «Это Иисус Христос!» — и пал на колени».

Что-то с ним происходило, незнакомое по прежнему опыту. Напала слабость — не такая как всегда, другая. Люди, попадавшие навстречу, казались ненастоящими: точно движущиеся фигуры на полотне. А может, они-то как раз были трехмерными и живыми, а он — плоская жестикулирующая фигурка на экране синематографа?

Он стал иногда проваливаться в беспамятство. Очень ненадолго, на минуту-две. Никто, к счастью, не замечал. Думали наверно: вздремнул чужак, ну и ладно, возраст, как-никак. И отводили глаза. Сам он почти полюбил эти странные выпадения из времени. Перед тем, как утратить сознание, он чувствовал прилив сил и необъяснимого веселья, точно легкого искрящегося вина выпил. Правда, очнувшись, нужно было всякий раз как бы собирать себя заново: непонятно было в какое-то мгновение, кто ты, где, в каком мире находишься и почему. Нужно было ухватиться зрением, слухом, мыслью за какую-то деталь, а к ней уж пристегивалось все остальное, от шарканья Аннушкиных шлепанцев до трагедий Эсхила.

Однажды он взял с полки «Разбойников» Шиллера. Открыл наугад. Ага: обманутый негодяем Францем, старый граф Моор думает, что любимый сын его, Карл, погиб.

Франц. Ну что? Досыта наплакались о вашем сыне? Можно подумать, что он у вас один.

Старик Моор. У Иакова было двенадцать сыновей, но о своем Иосифе он проливал кровавые слезы. (*Обращается к Амалии.* Да-да, помнит Райнис: Амалия, возлюбленная Карла, которой домогается мерзавец Франц. Очень похожий на Янсона). Возьми Библию, дочь моя, и прочти историю об Иакове и Иосифе: она и прежде меня всегда трогала... (Да. Да! И меня она трогала всегда... — шепчет про себя Райнис). ...трогала, а я не был еще Иаковым.

Амалия. Какое же место прочесть вам?

Старик Моор. Читай мне о горести осиротевшего отца, когда он меж детей своих не нашел Иосифа и тщетно ждал его в кругу одиннадцати, и о его стенаниях, когда он узнал, что Иосиф у него отнят навеки.

Амалия (читает): «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили отцу своему и сказали: «Мы это нашли; посмотри, сына ли твоего это одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф».

Амалия (читает дальше): «И разорвал Иаков одежды свои, и возложил вретиче на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему во гроб...»

Старик Моор. Перестань, перестань, мне худо!

«Перестань, перестань», — сказал и Райнис себе; слезы катились, щечка разбрелась по желобкам его морщин. О чем, о ком он плакал? Об Иосифе? О Карле Мооре? Об Аспазии, с которой вместе переводил когда-то «Разбойников» Шиллера? О себе? Или об одиннадцати братьях, из которых один лежал на дне Северного моря, другой был расстрелян под Цесисом, третий в московском Кремле писал статью о коллективизации, четвертый умер в сумасшедшем доме, пятый... «Перестань же!» — скомандовал себе Янис и пальцем погрозил... Подействовало.

Когда он в последний раз писал Доре? Давно, ох, как давно! Они обиделись, Дора и Петерис, и Паулс Дауге тоже. Когда ж это было? Осенью двадцать шестого года, почти зимой. Я был в Минске, и все они ждали моего приезда в Москву, приготовили пышную встречу, но Аспазия панически боялась этой поездки, и я тоже опасался, правду говоря, а враги и ненавистники уже набрали полную грудь воздуха, чтобы выдать

рекордную порцию клеветы и ругательств. И Аспазия телеграфировала, что больна, и пришлось извиняться перед латышскими актерами, латышскими писателями, латышскими художниками в Москве, да и перед латышской, тоже старой сестренкой в Москве за то, что я их обманул и не приеду. Неужели мы так и не увидимся когда-нибудь? — «Каркнул ворон: «Невермор!»*»

...Поздним, почти ночным вечером в дверь Юрмальской дачи Райниса постучались. Осень была на дворе. Влажный ветер дул с моря, и сосны шумели. Все переехали в город. В Риге жила Аспазия, а в этот вечер и Аннушки не было: отпросилась к родне.

Райнис ничего не делал перед этим: сидел, смотрел в темноту пристально, как бывает, смотря в огонь, думать не думал, но думалось что-то, не увлеченное до времени ни единым словом.

«Кто это может быть?» — легкое раздражение прошло по лицу: точно ему помешали. Было чему мешать! Сидел, бездельничал в темноте.

Внизу в прихожей горела темная лампа. Он спустился по лестнице, спросил:

— Кто там?

— Вы — Райнис? — спросили в ответ.

— Я — Райнис.

— Тогда я к вам, — сказал голос, которому нельзя было не открыть.

Вошел стройный молодой человек в сером красивом пальто, габардиновом, что ли, ростом выше Райниса и с глазами синей его глаз. Лицо было чистым, чуть женственным, глаза занимали почти его треть. Стройный? Был бы стройным, но природа, в сущности, не любит совершенства: всегда что-нибудь внесет, штришок какой-нибудь, чтобы красота не слепила. Юноша, видать, в детстве был неудачно уронен или сам свалился с дерева или с коня: круглое вздутие на спине, думал Райнис, могло бы казаться по-своему тоже красивым, если б только такие же были у всех.

— Я принес сочиненье, совсем небольшое, — произнес пришедший, и голос был так же прекрасен, но голос был без горба.

Странные все-таки были глаза у него: то выступали навстречу, оказываясь впереди лица, то уходили вглубь; то вбирали тебя в синеву, то отталкивали негрубо, но явственно.

— Совсем небольшое? — переспросил Райнис, стараясь, чтобы голос не выдал сомнение. Ох уж эти «небольшие» сочинения! И в такую пору...

* Строка из знаменитого стихотворения Эдгара По «Ворон».
Nevermore — никогда (англ.).

Следовало бы рассердиться, но не хотелось. Ему было почему-то хорошо. Стало хорошо. В недавнем оцепенении было худо.

— Вы убедитесь, — сказал посетитель. — Позвольте, я сниму пальто?

— Да-да, что ж это я! — заторопился хозяин. — Может быть, чаю поставим?

— Спасибо, но мы не успеем выпить его. Сочиненье короткое.

— Ах да... в самом деле. Гм... здесь нет названья?

— Оно без названия. Или так. Назовем его: «Донос. Новейший апокриф».

— Гм... А имя ваше?

— Я его после скажу. Сейчас вы хотите, должно быть, ответить: «Оставьте, я скоро прочту?»

— Да нет, — сказал Райнис, собиравшийся сказать именно это. — Я сяду и прочту сейчас же, при вас. Тут всего три страницы.

— Спаси Бог, — сказал незнакомец. Что, видимо, означало «спасибо».

— Пойдемте наверх, — заторопился опять почему-то хозяин.

В тесном кабинетике он предложил гостю сесть. Пиджак был юноше маловат, и горб оказался плотнее обтянут — кажется, шевиотом? Никогда он толком не знал этих названий. Для писателя — минус. Он надписал над страницей своею рукой: «*Донос. Новейший апокриф*». И начал читать.

Строчки, написанные убористо и четко, прежде всего не содержали ни одной орфографической ошибки, в чем Райнис не без удивления убедился, охватив взглядом первую страницу. Проза показалась ему не совсем прозой, — влияние декадентов? — и не совсем латышской, хотя к ее латышскому языку было трудно придраться. В чем дело? В ритме? Строки выстраивались в почти музыкальном порядке.

А, оставим это! Он перестал оценивать. Просто читать предложенное — мирно и непредвзято. Тут же выяснилось, что не проза перед ним и не стихи. Так. Текст.

Донос

Новейший апокриф

Как-то раз допустили по недосмотру к престолу Господню человека по имени Информатор. Входит тот, робея и озираясь. Видит — вот Он, Господь Вседержитель, восседает на троне небесном; хоры ангелов и серафимов осанну поют; блеск идет от всего, глазам нестерпимый, а праведный Бог что-то пишет левой рукой на скрижалях. Испугался вошедший, почти что ослеп и оглох. Но тут славословия стихли, и услышал он голос в себе:

— С чем пришел, Информатор?
 — Я? — он спросил, растерявшись, но поскольку выдвигал виды, то взял себя в руки, поднапрягся, как если бы перед начальством («Что ты! Выше бери! Бог — всем начальствам начальство и боле того!»). — Я, о Боже, Твой раб, я — с доносом на Латыша.

Бог нахмурился. Сразу, как в бурю, стемнело.

— Что? Ко Мне — и с доносом?! Смелый же ты. Говори.

— Он... значит, это, Латыш, в церковь ходит раз в год, а в Бога почти что не верит. Жадный — очень! Завистливый на чужое добро. Злобный — очень! Сам себя любит раз в месяц, а других и вовсе не может терпеть. Он убийца! Он множество раз убивал. Не скрою, Господи: и его, Латыша, убивали. Но своих-то убитых он помнит, а всех тех, кого сам порешил, — забыл, и покаяться, думает, не в чем.

Не светлело. Совсем почти было темно. Из свечения слабого доносилось:

— Все сказал? Дай подумаю.

Пауза. Очень темно. Глас раздался из тьмы:

— В церковь ходит раз в год? Это лучше, чем раз за полвека.

Информатор поежился: сказано было о нем.

— Кто почти что не верует — верит хотя бы отчасти. Жадность? Кто-то еще то ли скуп, то ли жаден по слухам. Француз? Украинец? Еврей? Новый русский? Даже ведая все — всего не упомнишь. Зависть? Злоба? Убийства? Показали бы мне человека, который никому не завидовал, ни на кого не был зол, никого не убил... скажем, в мыслях: ведь тоже убийство! Но скорблю, потому как и правду в услышанном вижу. Да, черна нелюбовь! Да, постыдна неполная память — та, что помнит в угоду себе и в угоду себе забывает. Тяжек грех нераскаянный! Страшен Латыш! Эй, защита! Что скажешь?

Защита. Я спою. (Поет):

С кем останешься ты, Боженька,

Когда все мы перемрем?

Ни жены, ни малых детушек,

Старому кто даст кусок?

Глас Господень. Еще пой!

Защита.

С кем ты, Боженька, останешься,

Когда все мы перемрем?

Кто покушает твой хлебушко,

Тебя, Боже, помянет?

Глас. Еще!

Защита (поет):

*Здесь коней пасли в ночном,
Здесь костерик разожгли.
У огня здесь грелся Боженька,
Здесь оставил пальтецо.*

Господь. Да ведь это и не обо Мне? Какое у Меня может быть пальтецо?

Архангел. И о Тебе, Святый Боже, Господи наш, и о том, кому они поклонялись когда-то, по темноте своей, во язычестве. Имя в ихнем языке то же: Диевс.

Господь. Однофамилец, значит!

Свет брызнул от Его невидимой улыбки. Страшное сияние залило все кругом, как если бы светила остановившаяся молния.

— Информатор, ты здесь еще?

— Здесь! Здесь я, о Господи, — отозвался тот, закрываясь рукавом. От рукава запахло паленым.

— Как же ты собрал столько темноты, столько страшноты, а о белизне, о свете, о доброте неизреченной и не заикнулся? Ты что, не знал за Латышом этих песенок?

— Знал! Знал, Господи! Как-то к слову не пришлось.

— Вот и я знал. Все знал, да всего не упомянешь. Шел бы ты себе, Информатор. Не хочу больше видеть тебя. Да и другим неприятно.

И не видел Информатора больше никто. Ни на небе, ни на земле, ни в раю, ни в аду, ни в чистилище.

Пропал человек — точно и не был.

— Что скажете? — промолвил гость, увидев, что Райнис уже не читает.

— Утешительно, — произнес Райнис медленно. — Вы меня согрели. Было так холодно. Утешает, да... хотя я атеист, но ведь дело не в том. Утешительно и — опасно. Эти песни... Вы их замечательно угадали. Больше ни один народ, кажется мне, не пожалел вот так, в простоте и в нищете своей, Вседержителя. Но песни наши, как ни хороши они, — все-таки не индульгенция за все грехи и пороки, изьяны настоящего и будущего. Надо отвечать за себя, не кивая на песню. И на предков вообще. На их страдания. Бог у вас все прощает, и он мне близок как никогда, даже — сам себе не верю — симпатичен. И пусть он прощает латышей, мы слишком много претерпели, — пусть прощает! Но мы-то... мы-то не имеем права прощать себя, прощать заранее подлость, ложь, корыстолюбие, убийства эти. Зло без раскаяния.

— Вы сказали! — почти пропел незнакомец с величайшей торжественностью.

- Что? Как вас понимать?
- Это должны были сказать вы, латыши, а не кто-то другой.
- Еще непонятней. А вы — не латыш? И вообще... кто вы?
- Не все же мефистофелям посещать таких поэтов, как вы, — сказал юноша. Райнис всматривался в его глаза — или те две струящиеся синева всматривались в него и вбирали, вбирали, несли с собой, два потока, синих до неправдоподобия, два... нет, один...
- Гостя не было, когда старый поэт очнулся. Обещал сказать свое имя — не сказал.
- Странно.
- Что такое был его горб? Футляр для крыльев?

Лето было жаркое, Райнис уже в семь утра уходил к морю, возвращался веселый, бодрый, всех уговаривал: «Идите искупайтесь! Вода божественная!» В конце августа погода точно сломалась. Ветер брел напролом по верхушкам деревьев. Потянулась вереница дождей, и все разных: короткие буйные ливни, нудная морось, звонкий, при проблесках солнца, грибной дождик, затяжной осенний, когда беспросветно-серое, от горизонта до горизонта одинаковое небо не обещает, кажется, перемен никогда, и море, такое же серое и бесприютное, выглядит чужим. Караваны подвод и машин, навьюченных до отказа, двинулись в Ригу.

Райнис обрадовался.

Летом его замучивали соседские граммофоны: джаз-банд, Вертинский, Вертинский, джаз-банд. Пили по соседству тоже не дай бог. И пили неумело, и пели соответственно... «А сам — когда-то?»

Только заколотили окна, только дачники убралась восвояси, — вернулось солнце, пошли золотые дни бабьей осени, тихие, чистые, с морем, светящимся утром и вечером; небеса его отражали, краски сделались ярко-нежны.

«Вот теперь-то я поработаю!» — говорил Райнис последней дачнице, снимавшей у них комнату. «Гоните Екаба!» — говорила та. Екаб был ее четырехлетний сын; к Райнису он точно приклеился. «Екаб мне помогает!»

3 сентября он рискнул искупаться. 4 сентября, переноса на второй этаж ящик с тяжелыми книгами, Райнис упал, потеряв сознание. Очень сердился на себя: зачем напугал женщин — дачницу Эсфирь и прислугу Аннушку.

Хорошо одному. Они все не понимают: настало время свиданий. Доктор Лифшиц — прекрасный спутник, с ним и его женой хорошо было ездить по заграницам. Это они познакомили его с Коровиным, достали в Париже билеты на «Бориса Годунова» в Гранд-Опера. Он слышал оперу Мусоргского и раньше, в Петербурге. Пушкинский текст с этой музыкой дополнительно оживал: становился выпуклым и царапающим, забирающим за живое. Эта музыка была гениальным актером: от певцов, пожалуй, игры не требовалось. Спектакль в Париже соединил его с молодостью, с днями и ночами, когда он переводил «Бориса» с таким увлечением, иногда смеясь вслух, — записывать, помнится, не успевал! О чем бишь я? — доктор Лифшиц: он и жена, оба служили у Колчака, они столько всего навидались и пережили в Сибири, что им бы книгу писать... Может, не одну. Мысли путаются. Никак не додумать начальную. О чем я? Лифшиц. Он славный человек, но чересчур врач. Прописал после обморока 4 сентября постельный режим, теперь и Аспазия, и Аннушка, и дачница пристают без конца: почему вы встаете, куда вы?..

День рождения близится. Что-то готовится: все окрестные сосны вовлечены в заговор, шушукуются: шш-ш, шш-шш. Свидания. Эти бесконечные напоминания: отдохни, не вздумай купаться, полежи, не носи воду, — они сами по себе могут сделать человека больным. Дайте мне побыть одному!

Телефон испортился.

Уезжает Эсфирь. Уезжает маленький друг — мальчик Екаб, как потешно он трется лицом о ладонь. Ты хотел быть один? Ты один. Вызывай на свиданье, кого заблагорассудится. Ты почти именинник. Позови, они придут.

Нет, приходят без зова. Кто хочет. Самым первым — мучительно знакомый человек, сутулый, немного скособоченный. «Вы что, уезжали куда-нибудь? Хорошо выглядите». Что же он, издевается? Мы в последний раз виделись с ним... дай бог памяти: в Елгаве, четверть века назад? Уезжал? Это называется — уезжал куда-нибудь?

Янсон. Он не сам пришел, а напомнил о себе сообщением в газетах: потонул корабль, где-то возле Финляндии, 130 человек погибли. Янсон стоял спиной к тебе, чернел за газетной страницей: ты сложил газету, он молча кивнул и пропал. «Милый Райнис», — сказала Бирута Скуениеце; хоть она-то живая! До чего же большие глаза, и все ближе, все больше. «Милый Райнис!» — и свидание окончено, очередь ждет. Бисниекс... покойный Бисниекс... толстый, как всегда. Боком поклонился, развел руками: извини, мол, за причиненное беспокойство... я не хотел... Иди, иди. Дора, Петерис! Снова мы с Эльзой и вы... Странно: снова в Берлине! «Потонувший колокол». Вот оно что! Нам дали шанс! Петерис, нам

позволено переиграть эту сцену. Мы с тобой идем навстречу друг другу... и — все повторяется с точностью до последней детали. Наши руки не могут достигнуть одна другой, мы не можем разбить эту стену. Дора, прости: не выходит! Я хотел бы, но видишь: нельзя!

Среда, 11 сентября. Райнис с утра, как всегда, направился к морю, но вернулся: дождик заморосил. Вечером вышел снова. Море было спокойно, берег пуст. Только шумная компания, трое парней и девица, прошли чуть не задев; девица обернулась вслед Райнису, что-то сказала парням. Те засмеялись, один повернул тяжелую голову тоже назад: пара рожек торчала над низеньким лбом? Показалось: волосы нечесанные, всклокочены, и две скрученных пряди над... низеньким лбом...

Он опять потерял сознание. Очнулся — трость валяется далеко от него, шляпа тоже лежит на песке. В этот раз трудно было собраться, сил не оказалось. «Дополз», как потом сказал Аннушке, постучал тростью по стене. Аннушка ждала давно. До пустого берега близко. Где ж хозяин пропал? Часа полтора как ушел. (Он помнил из полутора часов минут, наверно, пятнадцать).

Тут он вспомнил про свой день рождения. Самый странный из всех: никто его не поздравил. Ну да, телефон не работает. Ольга говорила, что едет куда-то, навестить больную подругу. И кроме того, она боится встретиться здесь Аспазию, да и он бы этого не хотел. Аспазия? Ее-то можно понять. Последняя ссора, из-за кота, была ужасна. Расскажи кому-нибудь, что из-за такого пустяка могут схватиться два самых знаменитых поэта, — не поверят! Что ж кот? Кот — только повод. Там столько всего накопилось... И делать вид, что все как прежде, нет сил у обоих.

Да, но где ж остальные? Ведь всего четыре года назад в этот день вся Латвия осыпала его цветами, словами признания, дарами, песнями на его же стихи, замучивала рукопожатиями и речами. И не только Латвия... Нет, я понимаю, сегодня никакой не юбилей, я не жду ни торжеств, ни каких-нибудь там делегаций. Но цветочек какой-нибудь? Но лишнее доброе слово, но...

Брошен всеми? Не нужен ни одной живой душе на планете? Хорошо. До чего хорошо! Наконец-то! Никому ничего не должен. И мне не должны.

Этот день рождения в пустом доме на взморье, эта горечь, гнавшая вспять, по следам прошедших событий и лиц... Великий день; в нем все

не случайно: отнятие внешних связей, невольное отъединение от славы (да по́лно, есть ли, была ли она?), от суеты. Глупый сор повседневности, нужный или ненужный его отходящей оболочке, вдруг провалился куда-то, обнажив правду одиночества, правду наступающей смерти, правду исполнившейся судьбы.

Все неполученные цветы этого дня рождения, все славословия, которых он ждал по слабости и желал услышать от современников, — все они обрушатся лавиной уже послезавтра на его гроб. А почта еще с неделю будет приносить мертвецу с острым профилем Дон Кихота запоздалые поздравления.

Из воспоминаний Николая Истомина. «На другой день у Райниса появился Лифшиц. «Мне немного трудно дышать, — сказал поэт. — Хорошо, что ты приехал. Кто тебе сказал, что мне худо?» «Никто. Аспазия только передала, что у тебя был обморок».

Они решили перебираться в город. В это время Аннушка металась по опустевшим улицам Майори, искала врача*. Заскочила к жившему недалеко Юрмальскому городскому врачу М.Фаусту, с которым поэт был лично знаком, но оказалось, что того нет дома. На той же самой даче жил и я. Сидел в тот момент у открытого окна и писал. «Райнису опять плохо!» — крикнула Аннушка. Услышав это, я сел на велосипед, доехал до полицейского участка и по телефону разыскал Фауста. Потом поспешил на дачу Райниса. Вбежал на веранду. Охваченный горем Лифшиц сидел возле недвижимого поэта. «Поздно! Райнис умер», — ответил он на мое сообщение, что вот-вот будет врач».

Доктор Фауст! Где доктор Фауст? Райнису плохо! — сто лет сиди, придумывай, не выдумай такой концовки. Где же вы были, *доктор Фауст*, за десять минут до кончины поэта Райниса?

За десять минут до очередной гибели, глядя в расширенные от ужаса зрачки приятеля-доктора и не видя их, он был и на веранде своей дачи в Майори, и не там, где — неизвестно. Где — это мог бы рассказать герой одной его пьесы, Слепец, ничего не видевший при этом солнце, но

* Стоит учесть, что приятель Райниса, д-р Лифшиц известен в это время как специалист по женским болезням. Заглянул он к поэту на всякий случай, не имея с собой ни лекарств, ни инструментов. Вот почему Аннушка разыскивала по всему поселку доктора Фауста.

все видевший при *том, другом*. За минуту до остановки сердца, с телом и душой, еще качающимися на черте меж двумя мирами, он почувствовал еще чье-то присутствие. Какая там веранда! Он был далеко от нее, на башне в Мемфисе, а может, на верху пирамиды, но и еще выше поднимало, возносило его, и все время рядом был кто-то второй. Пропорции всего сущего там, под ними, менялись: огромное съеживалось и отпадало, незамеченное прежде выросло и занимало собою все пространство. Истинные отношения вещей делались так прозрачны и ясны, что Янис диву давался: как можно было не видеть всего этого? Открывалась душа людей и явлений, связи между птицами в небе и рыбами в темной пучине прочерчивались: все соединялось со всем, все от всего зависело. И теплая, уверенная сила, спокойствие и жизнь исходили от его соседа, как свет. Кто он был? Прометей? Гете? Учитель Базенер? Или кто-то еще, страдавший за людей и умерший за них, знающий, как и Райнис, что смерти нет? Собеседник, вот кто это был: Собеседник, по которому он тосковал годами; тот, чья близость не разрушает лучшего в одиночестве: ты один настолько, насколько ты не один... Излучение мира, спокойствия, воли; энергия, сродная, может быть, солнцу во славе лучей, нарастала, — так музыка нарастает в могучем крещендо, — пока дирижер, невидимый, приподнявшись на цыпочки, не поставил в воздухе точку. И на могучем форте, заполнившем воздух от края до края, музыка оборвалась.

Одна только флейточка, видно, забыла умолкнуть и тоненькой-тоненькой ниточкой звука протянулась во тьму.

Аспазия — Бируте Скуениеце, 27 марта 1930 года.

Милая моя, маленькая Ручочка! Ты меня так порадовала своими цветами. Давно, давно уже я не отмечала свой день рождения... Цветы я отвезла бы на могилу Райниса, но в тот день как раз подморозило. Глядя на них, я думала о Тебе и о нем. Знаешь, если бы Ты не родилась слишком поздно... Ты могла бы стать подругой жизни Райнису, и он не заплутал бы так сильно на путях, приведших его к катастрофе и смерти. Я могла бы быть ему сестрой и другом вам обоим, ведь и Тебя я давно люблю и всегда любила бы, даже если б Ты вдруг сделала мне что-то плохое. Это глубинная душевная симпатия, основы которой ничто не разрушит. Могу сказать Тебе еще и то, что может быть Тебя единственно Р. истинно любил, это прорывалось и в его речах...

Бирута Скуениеце погибла через год после получения этого письма в железнодорожной аварии в Юрмале.

Петерис Стучка после смерти поэта, в сентябре 1929 года опубликовал статью «У могилы Райниса». Он писал: «Никто не может меня обвинить в том, что я не знаю достоинств Райниса или его изъянов, или что я могу быть пристрастен в его пользу. Мы с ним были ровесники, сидели за одной партой в школе и четыре года жили в одной комнате, учась в университете, работали вместе. Это немало, при наших полностью противоположных характерах. Позднее более тридцати лет мы жили отдельной, каждый своей жизнью, притом Райнис нанес мне обид больше, чем кто-либо другой, на что я никак не реагировал публично. Я открыто осудил Райниса как политика, но всегда и всем сердцем боролся за Райниса-поэта, готов делать это и у его могилы, и дальше. Маркс по поводу своей дружбы с Гейне, при всех политических завихрениях последнего, высказался так: поэты — странный народ (*sonderbare Käuze*), и мерить их нужно особой мерой. Эту-то меру нам нужно применить к слабостям поэта Райниса... У этой могилы мы отдаем должное выдающей роли, какую он играл с 90-х годов до карательных экспедиций 1906 года и затем, вплоть до мировой войны. На том эпоха его настоящей деятельности и заканчивается. Но этого достаточно, чтобы латвийский пролетариат проводил его в последний путь как своего поэта».

Оспорить Петериса Стучку можно было бы по многим пунктам. Не столько осудил он Райниса-политика, сколько утверждал, что тот вообще не политик. И насчет нанесенных обид — разговор нелегкий и долгий. И слишком много решил выбросить он вместе с последними пятнадцатью годами жизни Райниса, показавшимися *другу юности* несущественными. Но что же с ним спорить? Жить самому Стучке оставалось совсем недолго: два года с хвостиком. Невесело было ему и Доре в московском суровом Кремле. Сердце Стучки, и без того слабое, не выдерживало перемен. Сталин, ненавидевший всех, кто стоял близко к его предшественнику, только и искал случая придраться — и погубить. Молчаливый, подозрительный, дальновидный, как плетущий свои сети гигантский паук, он высасывал кровь из своих жертв, подкарауливая их по одной. Иррациональность страхов и ненавистей вождя причудливо сочеталась с прагматизмом. Он последовательно убирал со своего пути сторонников Ленина — самого грозного соперника, не перестававшего быть опасным и после смерти. К латышам у Сталина была особая, отдельная неприязнь: не мог он простить их личной преданности Ленину и обидного, полного их неинтереса к себе, Сталину. Однажды, с наслаждением глядя в глаза одному из высокопоставленных, все еще высокопоставленных латышей, Иосиф Виссарионович сравнил большевистскую партию с *орденом меченосцев*. Только глупец не понял бы намека, — а глупых латышей, может быть, это и случайность, но — Сталину не попадалось.

Враги Стучки — и в Латвийской компартии, и в Коминтерне, и в высших юридических инстанциях — подняли голову. Их нападки на *Ветерана* не только не встречали отпора, но и несомненно поощрялись. «Начальником» Стучки в области права оказался Лазарь Каганович, один из самых энергичных, решительных и невежественных вождей, каких только приходилось видеть Петру Ивановичу, а ведь крайне энергичны, решительны и не обременены образованием были почти все они...

Шла коллективизация: изнасилование крестьянской России. В последних статьях Стучки есть и похвала колхозам, и неизбежные ссылки на товарища Сталина. Он, правда, смущенно защищает какую-то старушку — бедняжку раскулачили, отняв все ее имущество: единственную козу. Но в общем и целом его голос применяется к хору. «Когда мы вынуждены в ходе экспроприации кулачества высылать вместе с кулаками и их семьи, мы выполняем работу необходимую. Но ведь в известной мере это трагедия, в которой повинны и мы... Жизнь внесла классовую борьбу и на крестьянский двор. В несколько искаженной, не всегда верной форме это выражается в уведомлениях, появляющихся все чаще в газете — что такие-то и такие порывают все связи со своими отцами, семьями и т.д. Мы должны прийти на помощь в этой борьбе, средствами права освободить семью от извечного рабовладельца, «отца семейства», «главы и хозяина дома...»

Так отречение от отца и семьи, отречение от братьев доводится, наконец, до логического конца, до «правового» обоснования. Не может

быть настоящим советским гражданином тот, кто не предал отца и брата. Аминь.

Если бы в дни молодости показать пламенным революционерам — к чему они придут и приведут общество? Классовая борьба внутри семьи: любимое детище партии, вражда, добравшаяся до первооснов, запущенная даже под одеяло — взамен *устарелой* любви. Свобода — быть сосланным в неизвестные места, на голод и смерть, с детьми, женщинами, стариками только за то, что ты, трудясь в поте лица, за целую жизнь что-то нашл? Да было ли государство, свое или чужое, когда-либо таким грабителем и убийцей? Был ли за тысячелетие враг, который опустошал бы страну настолько, косил правых и виноватых, отнимал право выбора во всем и у всех, убивал в еще неубитых людях веру и надежду? И уж точно за всю историю, от Адама начиная, не было столько лицемерия, столько вывороченных наизнанку слов и понятий: последняя коза у старушки отбиралась *именем свободы и справедливости*; именем *народа и светлого будущего* изничтожался цвет народа, обворовывалось то самое будущее; ум и талант были виной непростительной и карались как преступление. Этого вы хотели, об этом мечтали, ради этого вскакивали на стол с пылающими вдохновеньем глазами? Дора, Янис, Яннис, Петерис, что ж вы молчите?

В почетном карауле у гроба П.Стучки стояли и молодые Янсоны, брат и сестра. «Как вымахал юный Янсон-Браун — высокий, широкоплечий, истый великан», — рассказывал в газете один из организаторов траурной церемонии, Э.Шупре. Детям Янсона, обоим, суждена была недолгая жизнь. Причем и брат и сестра умерли, судя по всему, своей смертью. Чего не скажешь о других участниках скорбных торжеств — в Большом зале здания ВЦИК, на Красной площади. Почти все, кто произносил речи, кто стоял в почетном карауле, будут арестованы через пять-шесть лет и расстреляны. Тайно, ночью их зароят в общей яме с другими «врагами народа»; там смешаются кости крестьян и полководцев, народных артистов и извозчиков, старых большевиков и мальчишек, посмеявших повторить «антисоветский» анекдот. Нет ни малейших сомнений, что в той же яме оказался бы и Петерис Стучка, проживи он еще несколько лет. Не дотянул до этого — окончательного? — торжества *свободы и справедливости*. Его счастье.

К началу тридцатых годов умерли и Райнис, и Янсон, умерли Стучка, Розиньш, Ленин, другие «братья». Что осталось от их спора? Да все осталось. То был, может статься, главный спор XX века.

Напомнить, в чем разногласия?

Райнис: любовь — движитель всего, в том числе и политики. Движитель истории. «**Братья**»: вражда, «классовая борьба» — движитель всего.

Райнис: не только массы, индивидуальность, личность должна стоять во главе угла. «**Братья**»: только пролетариат, только массы.

Райнис: народ, язык — живой организм, нельзя допустить его гибели. «**Братья**»: или национализм, или социализм; различные языки — досадное препятствие на пути рабочей солидарности.

Райнис: мораль, этика — единственно возможная основа всего. Грязные средства делают и саму цель грязной. «**Братья**»: морально все, что на пользу большевистской революции.

Райнис: приоритет культуры. Творчество. Позитивный труд. «**Братья**»: равнодушие к культуре или ее отрицание, если она не служит пропаганде, добыванию средств. Их творчество — прежде всего, разрушение.

Райнис: дух важнее материи, душа сильнее плоти. «**Братья**»: слово «душа» отсутствует в лексиконе. От духа оставлен разве «боевой дух».

Райнис: требуется демократизм, полная открытость, свободный и честный обмен мнениями. «**Братья**»: система секретности, безоговорочное подчинение вождям, подавление инакомыслия, апология доносительства.

Нельзя быть противоположнее, чем «да» и «нет», чем Северный полюс и Южный. Противостояние абсолютное, по всем решающим пунктам.

Социализма, который проповедовал Райнис, никто и никогда не видел. Возможен ли он? Неизвестно. Реальный социализм через полвека после «Великого Октября» в лице камбоджийских подростков отрубал головы соотечественников лопатой; затем юные герои вспарывали животы «контрреволюционерам», мужчинам и женщинам своего племени, доставали дымящуюся печень и пожирали. До такого финала не додумался даже Достоевский.

Судить этих подростков? Они не ведают, что творят. Будет ли международный трибунал, наподобие Нюрнбергского, над идеологией классовой ненависти? Над философией, обрекающей на муки и смерть всякого, кто не торопится в страну всеобщего равенства? Да и тех, кто торопится?

Райнис считал себя до конца дней убежденным социалистом, последователем Маркса. Не ошибался ли он? Или же не были социалистами те, другие?

И еще труднее ответить, да и спросить тоже. А что было бы, окажись Райнис у власти?

Но было только то, что было. И бесовским силам разрушения, порабощения и обольщивания людей поэт противопоставил «позитивную

работу»: сотворение людей и миров. Три бездетные пары: Ленин и Крупская, Петерис Стучка и Дора, Райнис и Аспазия далеко не равно бесплодны. Только третья не повинна прямо ни в одной гибели, только она рожала, производила на свет: Мирдзу и Гуну, Антыньша, Спидолу, Арию, Индулиса, Визбулите, Иосифа, Дину. Вереницы живых лиц и характеров; родители — Аспазия, Райнис.

Эльза прожила после смерти мужа еще четырнадцать лет, успела составить и опубликовать (не полностью) собрание своих сочинений «Жизнь и труды» по образцу такого же, вышедшего в свет к 60-летию Райниса. Она много работала, много болела, публиковала письма и дневники поэта, кое-что из них старательно вычеркивая, ссорилась с Янисом и мирилась, ревновала к нему публику («Сначала была Аспазия, потом Аспазия и Райнис, потом — Райнис и Аспазия, и наконец, один Райнис!»). Написала автобиографический роман «Осенний соловей», несколько пьес, воспоминания. Нашелся, между прочим, первый муж Эльзы — в Америке, в Филадельфии, где жил все эти годы и был даже, оказывается, почетным членом местного Латышского общества. Оживший покойник присылал странные письма, отзывался о Райнисе чрезвычайно нехорошо, да и непутевую свою жену Эльзу особенно не щадил, приводя совсем иные, чем она, варианты давних событий. Но выскочив из небытия столь неожиданно (не без помощи *мефистофелей*, что ли?) мистер Вальтер так же внезапно и исчез: ушел однажды из своего филадельфийского дома и никогда не вернулся. Видно, кто бесследно пропал однажды, тому суждено вечно выступать в том же амплу.

Газеты вздохнули писали и об этой странной истории, и о тяжбе Аспазии с дальней родственницей поэта, отсудившей у вдовы более половины наследства, и о политических неожиданностях, которыми поэтесса иногда ошарашивала и друзей и врагов. Политиком Аспазия, собственно, никогда не была, но жестокое время хватало за шиворот, спрашивая: «Да» или «нет»? — причем оба ответа были, кажется, наказуемы. Печальней всего, что совершая больше чем неловкие, порой — невозможные шаги, стареющая поэтесса насильно волокла за собой и Райниса. В 1933 году можно было прочесть однажды утром в газете: «Поэтесса указала, что и Райнис еще до победы Гитлера во многих статьях и письмах упоминал национал-социализм, как будущий путь, по которому неизбежно пойдут все народы. Движение это принесло бы возрождение и справедливость в народную жизнь». «Аспазия, что вы делаете с Райнисом?» — заголовков из газеты тех дней, «Педея Бриди». Возможно, она просто не отдавала себе отчет в последствиях сказанного. Была очень удивлена, узнав, что ее исключили из социал-демократической партии, из студенческого общества «Клинтс» и т.д.

Не могу не сказать, что Аспазия на этот раз солгала. Что такое национал-социализм в понимании Гитлера, было понятно уже при жизни

Райниса, и никаких похвал нацизму в его письмах и дневниках не было, конечно, да и быть не могло. Его национальная идея — любовь к своему языку и народу, а никак не ненависть к другим. Две заветные мысли Райниса были искалечены у него на глазах. Большевизм, извратив идею свободы и социальной справедливости, обратил ее в кровавый и мрачный деспотизм. Нацизм так же обошелся с народной, национальной идеей. Найдите у Райниса хоть слово о господстве одного народа над другими, о презрении к иным языкам и расам, отыщите хоть одну фразу в похвалу палачеству и насилию «высших» народов над «низшими»!

«Аспазия, что вы делаете с Райнисом!» Да, тут она взяла на душу великий грех — тем более, что все бумаги поэта оставались в ее распоряжении и никто, кроме вдовы, еще не знал, что в них.

Умерла Аспазия в 1943 году, во время немецкой оккупации Латвии, разом и навсегда излечившей ее от симпатий к Гитлеру. Все права на издание произведений, писем, дневников своих и мужа она завещала фонду Аспазии и Райниса. После 1944 года распорядители фонда оказались за рубежом вместе с десятками тысяч латышей, бежавших при приближении Красной Армии: в памяти многих свеж был 1940—1941 «советский» год с арестами, казнями, депортациями. Даже война с ее ужасами не заставила забыть все это.

Почти полвека после войны прошли в попытках посмертно «развести» жену и мужа, Райниса и Аспазию. Скромная могила, холмик, притулившийся в подножии огромного, прекрасного памятника Райнису, был демонстративно незамечаем.

Но что такое полвека для их любви и для их отчуждения, для их правоты и их вины друг перед другом? Перед их народом? Власть, считающая себя всемогущей, страшна вблизи, смешна издали. Улицу Свободы, конечно, можно переименовать в улицу Гитлера, бульвар Аспазии назвать Советским, воздвигнуть в центре Риги памятник солдату вермахта или перед старым генерал-губернаторским дворцом установить неуклюжую фигуру Стучки. Но запретная песня оказывается долговечнее пули, мысль поэта, не найдя отклика в одном поколении, ускользает к следующему, молодое чувство Яниса Плиекшана и Эльзы Розенберг, без которого не было бы и Райниса, живо, — точно книга с поющими и цветущими страницами, виденная поэтом однажды во сне. Эту любовь и все рожденное ею не смогли убить даже они сами, — а ведь многим удастся. Над слабостями и болезнями, над изменами и забвением, над плоскими выкладками безверия, над жестокостями и пытками полутора столетий сияет и дышит любовь, спасшая когда-то двух людей от смерти. Она сделалась достоянием и драгоценностью латышей, и если опять же одно-два поколения не сумеют принять это

наследство, не смогут или не захотят, — что ж, придут однажды другие люди, сдуют пыль с почерневшего серебра, просияют.

Паулсу Дауге повезло. В конце 1937 года его арестовали. Обычно это означало конец биографии, а затем и жизни. Но случилось чудо, нечастое в те времена. То ли Дауге между делом вылечил однажды зуб не только Ленину В.И., но и Сталину И.В., то ли уже в заключении угодили кому-то своим врачебным искусством, то ли кто-то из его друзей умел совершить невозможное, — но через какие-то полтора года, в апреле 1939, он был не только выпущен на «свободу», но и полностью реабилитирован. Умер он уже в Риге вскоре после войны, 2 сентября 1946 года.

Дора Стучка после войны также перебралась в Ригу, где мирно и с достоинством дожила до восьмидесяти. Похоронена она в двух шагах от брата, сразу за колоннадой, окружающей его памятник. И можно только догадываться, сколько тайн похоронено вместе с нею.

Дольше всех близких Райнису людей прожила «дочь Луны», Ольга Клигере. Райнис перестал стареть в 1929 году, и Ольга сначала сравнялась с ним в возрасте, а потом сделалась старше его на годы, десятилетия. Старая, а затем и престарелая дама охотно делилась воспоминаниями о Райнисе, и общее внимание ей льстило. Может быть, хотелось и большего; могло показаться, да и казалось некоторым, что она не прочь была бы играть роль если не вдовы поэта, то хотя бы полувдо... Нет, не дает договорить эту фразу до конца тень Аспазии, напрягаясь в боевой позе. Спасибо Ольге Клигере за ее молодость и отзывчивость когда-то. Но тягаться с Аспазией не под силу и ей, и — никому, ни мертвым, ни когда-то живым.

И еще целую книгу можно было бы написать о том, как различные партии и идеологии, государства и группы людей боролись за Райниса и его наследие, перетягивали на свою сторону, как выпячивались одни его мысли и высказывания и отметались другие. С какими только ломиками, фомками, с зарядами тротила не подступались к духовному наследию, оставленному двумя грешными и слабыми людьми. Ну и что, взяли?!..

Недавно на грани яви и сна припомнилась мне еще одна из загадочных бесед Райниса с духами умерших и тогда еще живых. И мнилось — в той же полудремоте: вся литература — не такой же ли разговор с вызываемыми нами духами иной раз живущих где-то, а чаще —

умерших людей? Беру «Гамлета» — вызываю дух Шекспира, и он не скупясь отвечает на мои вопросы. Беру Чехова. Беру Гете. Беру Райниса.

Райнис, в свою очередь, общается с писателем Рудольфом Блауманисом. В тот момент мой герой был на этом свете, Блауманис — на том. Теперь оба они по ту сторону завесы, а мы ненадолго — по эту...

Райнис задает вопросы Блауманису. Своей рукой записывает и вопросы, и получаемые ответы. Откуда и как получаемые, я не знаю, да и не слишком интересуюсь.

На той самой грани, между явью и сном, почудилось, что вопросы задаем мы — Райнису. И будто бы это он нам отвечает.

— Не погибнет ли Латвия при такой политике?

— Будут невзгоды.

— Как тебе там?

— Мне хорошо.

— Ты работаешь как поэт? (Молчание). Твоя нынешняя работа выше прежней?

— Что спрашиваешь? Не суетись.

— Все сказал, что хотел?

— С Богом.

Последнюю строку можно было бы перевести и как «Прощай».

Эхом спрошу и я себя: все сказал, что хотел? Не все? Далеко не все? Хорошо. Так и надо.

Эхом повторю — для читателя, терпеливейшего из терпеливых:

— Прощай.

— Или, еще ближе к оригиналу:

— С Богом.

Рига, 1987—1997.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	7
Пролог	9
Жизнь первая	
Глава первая. Египет	26
Глава вторая. Выбор	45
Глава третья. Чудак Базенер	63
Жизнь вторая	
Глава первая. Рига	82
Глава вторая. Маленький Иаков	99
Глава третья. Ясмуйжа	118
Глава четвертая. Петербург	151
Глава пятая. Гибель в Вильне	188
Жизнь третья	
Глава первая. Новое течение	200
Глава вторая. Цюрих	223
Глава третья. Пророк и Аспазия	233
Глава четвертая. Катастрофа	263
Жизнь четвертая	
Глава первая. Елгава, Берлин и далее везде	292
Глава вторая. Яма	319
Глава третья. Орфей, Эвридика	336
Глава четвертая. За много сотен миль...	362
Жизнь пятая	
Глава первая. На родине	384
Глава вторая. Два ангела (1905 год)	405
Жизнь шестая	
Глава первая. Синьор Наглинь	422
Глава вторая. Антыньш	437
Глава третья. Вершина	464
Глава четвертая. Иосиф и его братья	497
Глава пятая. Война	526
Глава шестая. «Через Германию я не поеду»	556
Глава седьмая. Три бездетные пары	581
Глава восьмая. Спор продолжается	599
Жизнь седьмая	
Глава первая. Возвращение	620
Глава вторая. Вверх по склону, ведущему вниз	635
Глава третья. Вечерний день	650
Эпилог	663

Роальд Добровенский
РАЙНИС И ЕГО БРАТЬЯ

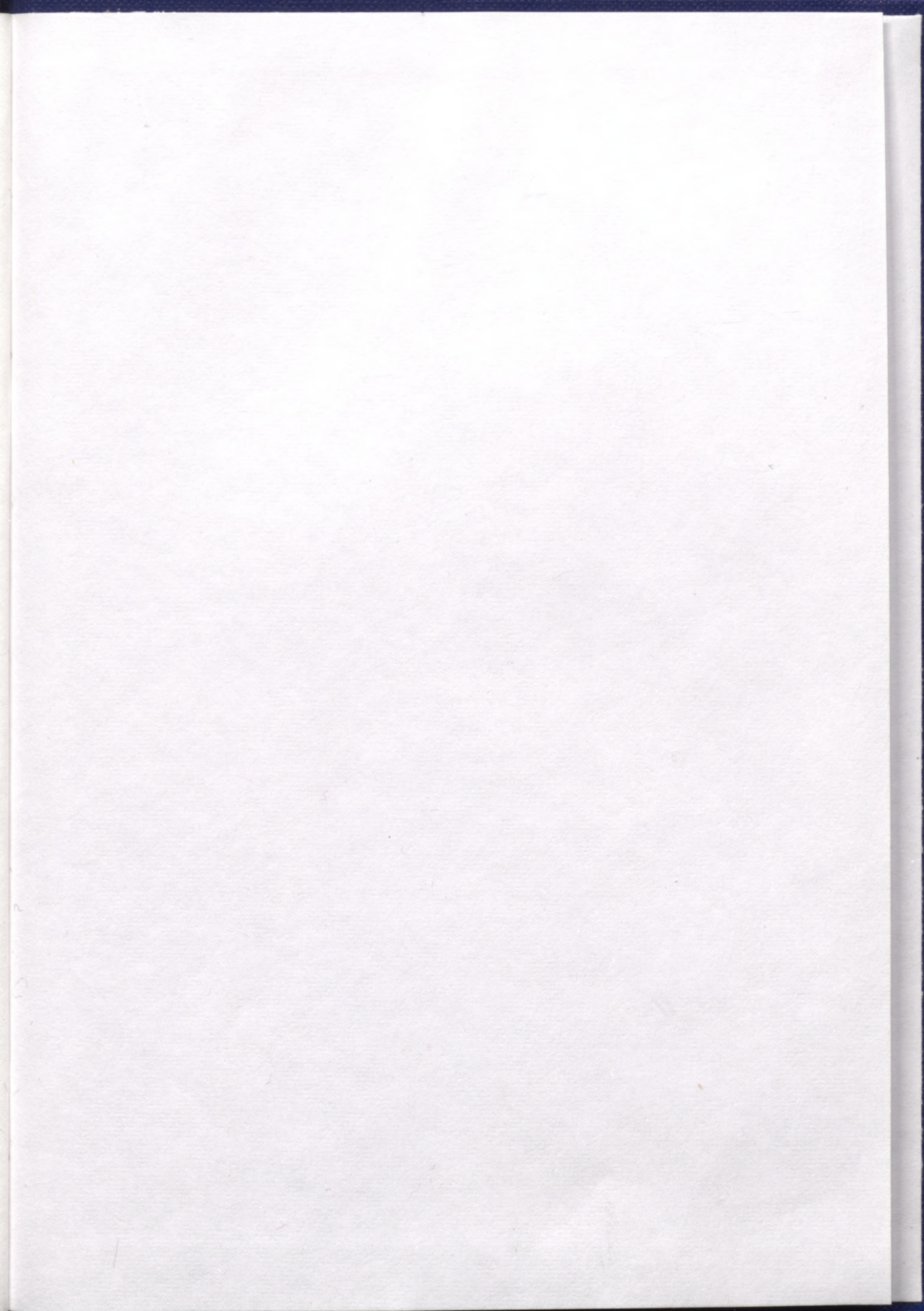
Художник ИЛМАРС БЛУМБЕРГС

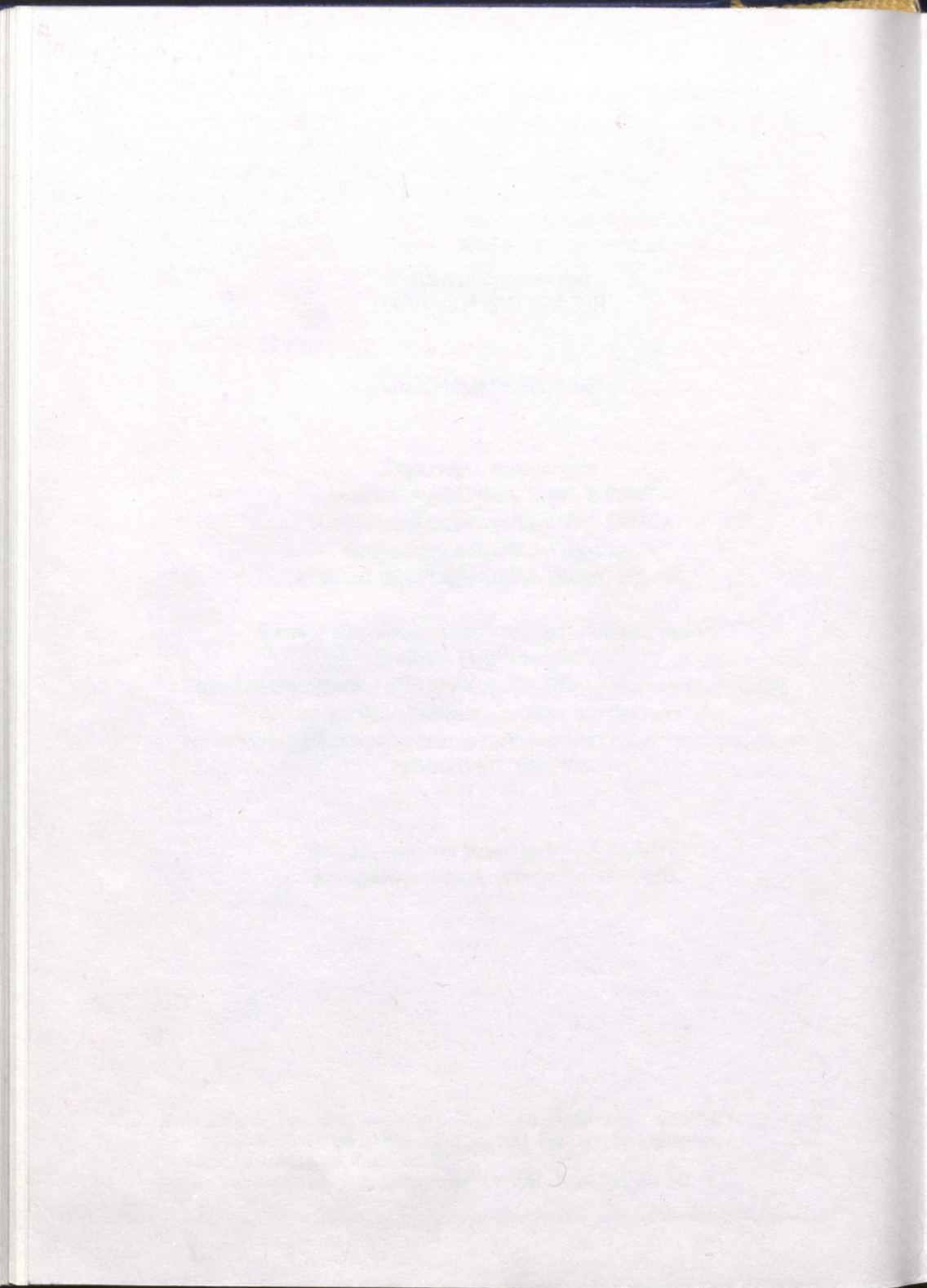
Редакторы, корректура:
ЛЮДМИЛА АЗАРОВА, ЖАННА ЭЗИТ
Технический редактор ДЗИНТРА ВИМБА
Компьютерный набор и верстка:
РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ, ИВАРС ВИМБА

В книге использованы фотопортрет Райниса работы
ВИЛИСА РИДЗИНИЕКСА,
а также фотография ЮРИЯ ИКОННИКОВА — сцена из спектакля
по трагедии Райниса «Иосиф и его братья»,
поставленного в рижском театре Дайлес в 1981 году; сценография —
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС

“Karogs”, главный редактор МАРА ЗАЛИТЕ
Заведующая издательством ВИЯ ЮГАНЕ

Datorsalikums. Parakstīta iespiešanai 24.03.2000. Reģistrācijas apliecība Nr. 2—0072.
Formāts 60x84/16. Ofseta tehnika. 42 fiz. iespiedl. Pas. nr. 127. Līgumcena.
“Karogs”, LV 1006, Rīgā, Kuršu ielā 24.
Iespiesta un iesieta a/s “Paraugtipogrāfija”, LV 1050, Rīgā, Puškina ielā 12.





OBLIGĀTĀIS
EKSEMPLARS

5-

П О Э Т А
О Д Н О Г О
Ж И З Н Е Й
С Е М Ь
Б Р А Т Ь Я
И Т О
Р А Й Н И С



РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

2000-3
К 147

РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

СЕМЬ

ЖИЗНЕЙ

ОДНОГО

ПОЭТА

РАЙНИС
И ЕГО
БРАТЯ

